Евг. Пермяк

ОЧАРОВАНИЕ ТЕМНОТЫ

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

ОЧАРОВАНИЕ ТЕМНОТЫ

РОМАНЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1980

Р2
П27

Художник Л. ГРИТЧИН

П $\frac{70302-002}{074(02)-80}$ 329—80 подписное



Евг. Пермяк



ЦАРСТВО ТИХОЙ ЛУТОНИ

I

Рассказчик этой истории Лаврентий Матвеевич Рябинкин, человек очень старый, скрывал свои годы, шутливо объясняя это тем, что костлявая карга Смерть может подслушать, сколько ему лет, и, исправляя свой недосмотр, скосить его одним махом.

Он был сухопар, сед, морщинист, но читал без очков, не обижался на слух, не сетовал на ноги, не жаловался на сердце. Самым удивительным достоинством Лаврентия Матвеевича была его память. Приезжим его рекомендовали говорящим архивом.

Рябинкин любил предварять свои рассказывания афоризмами, видимо, им же сочиняемыми. Вот и теперь как эпиграф к своей устной повести, ставшей канвой этого романа, он предпослал такие фразы:

«Послушаешь иную новину и подумаешь — какая же это трухлявая старина, замшелая сказка в новой раскраске, знакомая кошка в заморской одежке, а когти те же. Но забытое — не убитое, вспомнишь — и оживет».

Рассказ Лаврентия Матвеевича начинался с описания личности владельца экипажно-тарантасного заведения Патрикия Лукича Шутемова. С этого и будет начат роман.

Патрикий Шутемов, не в пример своему отцу, тележнику Луке Фокичу, был человеком фасонным, грамотным, одевался по-барски, ступал по-царски, носил длинный сюртук, пеструю жилетку, брюки на улицу, штиблеты с узким носом, на голове «шляпа-кляк», на руках перстни, из кармана в карман золотая цепь — и все как у людей высшего сословия. Бородку Патрикий стриг титулярно, коротко, усы помадил, волосы подчернял, только с глазами ничего сделать не мог. Они у него как у рака, навыкате, зато зорко глядели, далеко видели. Был и ум у Патрикия Лукича, хотя и подлый, но был: умел уговорить, заговорить, оплести, в дремучий лес завести, без рубахи оставить и по миру пустить.

Этим он был в отца, только жаднее. Жадность его даже книги читать заставляла. Из книг можно было узнать, как лучше поставить свое дело, которое нужно неустанно расширять, и по возможности всеми не наказуемыми законом способами удушить тех, кто мешает или замышляет помешать этому расширению. А такие предвиделись.

Поэтому нужно читать о новых красках и лаках, о замене дорогой ручной силы дешевой, паровой, о рекламах, движущих торговлю, о предпочтительности малых прибылей при большом сбыте, скором обороте и обо всем, что в других странах известно и мелкому лавочнику, а в России еще не стало азбукой. А исходя из сего, можно не пожалеть и десятки за раздобытые книги по развитию капитализма в России, которую не зря читает Петька Колесов, замышляющий возродить отцовский тележный скрип товариществом на паях. А где паи? Кто станет пайщиком пустомельного колеса без оси, без основы всякого коловращения?

Без этой основы нет ничего. Будь то лесопилка на одну раму, как у Хохрякова, или мыловарня Сорокина, у всех у них одна ось — капитал. Без него не выкружишь и горшка. А какой капитал у Колесовых? Наберут ли они, распродавшись дотла, и двадцатую долю того, чем владеет он, Патрикий Шутемов, а капиталистом себя пока при других называть не осмеливается...

Капиталист для Патрикия Лукича — высокий титул, и не всякий тысячник может быть облечен в этот торгово-промышленный сан. Для этого сана, по разумению Шутемова, у него не хватает «ноля». Половина «ноля» припишется через год, через два, полностью «нолек» у

него может быть, если сумеет он прибрать к рукам Парамона Жуланкина.

Бог даст, сбудется. Парамон темен, наследник-сын глуп, войдет в компанию, и деваться ему будет некуда. Каша круто заварена, дать ей только упреть, не подгореть — и с законным браком, милый зятек, родная доченька.

Дочь в рассуждении развития экипажно-тележного производства тоже капитал, хотя и не основной, а оборотный, но не пятое колесо в телеге. Зря, что ли, он свою Эльзу воспитывал в пансионе и дома дообразовывал в господском кругу! Вся в мать, хоть и не столбовая, но может и по-французски, и на рояле кого хочешь околдует. Не просчитается и в копейках. Зажмет — не выпустит. Пальчики тоненькие, а стальные. Клещами не перекусишь. Двух сыновей стоит такая дочь.

Другое дело — младшая, Наталья. Отцовского в ней только фамилия. Итальянской смуглоты награда. А что сделаешь? Не надо было отпускать Магдалину с тещей в Римы, Ниццы, Венеции. Но как было не отпускать, когда его самого тогда канарейка до полусмерти припела. Грех за грех. Бог, как и деньги, счет грехам любит.

Так и прожил Шутемов двадцать годиков со своей Магдалиной Григорьевной. Точно сводили дебет с кредитом. Она горничную поскладнее наймет, он — приказчика помоложе. Горничная его кабинет блюдет, приказчик ее в карете на променады возит. Баш на баш — и шабаш. Таинство брака от этого крепло, и семейных раздоров не наблюдалось.

Старшая дочь Патрикия, Елизавета по метрикам, Эльза для благозвучия, рано усвоила, что атласный пустой карман на вельможном камзоле, расшитом золотом, значит меньше дерюжной мошны, набитой им же.

И что из того, что Колесов Петя-петушок, красный гребешок, задушевно выписан, затейливо вылеплен, умственно выпечен, но кто он? Кто? Инженер-технолог, топтатель дорог, читатель вывесок. Какая он пара Эльзе? Можно ли ему дать завертеть, закружить ее своим краснобайством? Но как знать, не сидит ли Эльза одной из ста лутонинских дур на его вихревой карусели, как та же Катька Иртегова, у которой несчитано и немерено осталось от деда, да еще сибирская тетка грозится умереть и оставить ей витимское золото. С другой стороны, есть резон Эльзу выдать за Петьку Колесова и

отвести от него Катькины богатства. Он при них может оставить без осей шутемовские телеги. Тогда — труба.

Трудно дышится Патрикию Лукичу, но не ломать же старый, верный план. Эльза помолвлена за Виталия Жуланкина. Не мудрец, но тоже с высшим технологическим образованием. Пусть не с петербургским, а с томским, но не все ли равно — диплом и нагрудный знак. Говорят, что за него экзамены сдавали отцовские деньги, а Петька Колесов сдавал их даже за других,— ну и что? Кто как умеет. И если Витасик Жуланкин никто в отцовских кузнечно-механических мастерских, то это даже лучше. Зачем ему в них быть хотя бы шплинтом, когда есть Патрикий Шутемов, он через дочь поможет сделать дочерними мастерские. Вдовец Жуланкин, дай бог, будет недолговек, и Патрикий допишет нехватающий нолик в своем капитале. Но и теперь, при жизни, Парамон Жуланкин будет оковывать только шутемовские телеги и откажет в этом другим мелким тележникам, и тогда Патрикий Лукич доконает их всех, как Петькиного отца Демида Колесова, и останется самым сильным в уезде хозяином цены и оптовым поставщиком телег на все базары и ярмарки. Недобитых конкурентов добьет: раз-два!

Точно ложились карты в игре Патрикия Шутемова. Масть к масти, и он — козырной туз, главный во всей колоде. И ничего не помешало бы ему обыграть всех, если бы не приехал Петр Колесов. Никакая не карта. Шестеркой не назовешь, а спутал все ходы и пошел ва-банк.

Началось это все в прошлогоднюю масленицу.

II

В первый день масленицы Магдалина Григорьевна Шутемова, урожденная Столль, пребывая еще в ягодной поре, давала бал-маскарад в большом, прирубленном к шутемовскому дому зимнем зале. Зал был так велик, что шесть печей едва нагревали его в дни гулевых сборищ.

На шутемовский маскарад гости обязаны были приходить только в масках, исключения не делалось и пожилым. А чтобы в зал не проник кто-то из чужих, из простых, двое рослых парней проверяли, есть ли при маскированном печатная марка. Марки, печатавшиеся в

маленькой скоропечатне Глобарева, заменяли бесфамильный пригласительный билет, а затем, по усмотрению гостей, вручались лучшим из претендентов на призы. В двенадцать часов маски снимались, и трем из гостей, получившим большее число марок, хозяйка дома преподносила призовые награды.

Тихая Лутоня невелика. В ней почти все знали друг друга. В кратком губернском справочнике Тихая Лутоня именуется заштатным торгово-промышленным городом, стоящим на реке того же названия. Главное предприятие городка — завод металлических изделий графини Коробцовой-Лапшиной, на котором бывает занято до тысячи рабочих, всего же населения к началу нашего века в Лутоне насчитывалось до пяти тысяч человек. Из крупных предприятий после коробцовского завода следовали экипажно-каретное заведение Шутемова, кузнечно-механические мастерские Жуланкина, далее салотопенно-мыловаренный завод Сорокина, лесопилка Хохрякова, кузницы, тележные мастерские без названия фамилий владельцев. Особо упоминается ныне бездействующий, а некогда знаменитый винокуренный завод Иртегова. Церквей в Лутоне указано три, одна из коих деревянная, при богадельне, основанная тем же винокуром Иртеговым, три церковноприходские школы, земская больница с приемным покоем, общество трезвости, имеющее свой дом, построенный на пожертвования, где даются представления любителями драматического искусства. Далее перечислялись базарные дни, время зимних и летних ярмарок, годовые обороты и все прочее, характеризующее Тихую Лутоню как город, заслуживающий быть приравненным по своей значимости к уездному.

Трудно в Лутоне придумать маскарадный костюм и остаться неузнанным. Наиболее удачливым в этом был Виктор Юрьевич Столль, двоюродный брат Магдалины Шутемовой, управляющий заводом графини Коробцовой-Лапшиной. Искусен был и начальник почтово-телеграфной конторы Красавин. Он мог нарядиться и гоголевской Коробочкой, и фавном с копытами. Артист, режиссер в любительской труппе и в жизни, первый сплетник и передатчик новостей, он бывал непременным гостем на всех званых вечерах.

С восьми вечера начали появляться маски. Фея, цыганка, принц, тореадор, клоун, Пиковая дама, осел в сером фраке, девица-кавалерист, гусляр, князь Серебря-

ный, леший с кларнетом, повар, лоточник, торгующий пряниками, маленькая Кармен с высоким гребнем, Степан Разин с персидской княжной, Золушка в деревянных башмаках, Снегурочка, ухарь купец с гармошкой... Позднее пошли дамы с камелиями и без таковых, но не без бриллиантов, королева с пажом и шлейфом, церемониймейстер в белых чулках и белом парике, турецкий султан, внесенный слугами, три гренадера и три грации в белом...

Одни рукоплещут, другие разводят руками, пожимают плечами, недоумевают, не узнают, хотя на этот раз были узнаны и сам Столль, нарядившийся веселым монахом, и шарманщик с шарманкой — начальник почты. Неузнанным остался только один — Сатана в ярко-красном плаще, накинутом поверх черного фрака. Сверкающий золотой цилиндр на его голове с рожками и тоже золотые, с загнутыми носками туфли ослепляли, привлекали всеобщее внимание, и никто уже не сомневался, что первый приз будет принадлежать этому хорошо сложенному и по всем приметам молодому человеку. Сатана изысканно и церемонно подходил к маскам, целуя руки у одних и расшаркиваясь перед другими, он покорил все женские сердца после первого вальса, а затем лихой мазуркой очаровал одну из трех граций, имя которой было Эльза.

Она первой угадала, чье лицо скрывается под маской, отороченной золотистым кружевом. Сначала его узнала спина Эльзы, по руке, обнимавшей ее. Затем Сатану выдали его розовые уши. Они пылали и тогда, при встречах в Летнем саду в Петербурге, и при расставании на Николаевском вокзале. Он хотел на прощанье сказать очень нужное, но мать Эльзы помешала этому... Горящие уши тогда заменили язык. А ей пришлось ответить ему опущенными ресницами и нервным теребленнем кончика кружевного платка. С тех пор они не встречались, и теперь Эльза не знает, что будет с ослом в сером фраке, которому она трижды отказала в танцах, и шестой раз танцевала с ослепительным Сатаной в черном фраке.

Узнала Сатану и Золушка в деревянных башмаках и старом платье. Его назвало ее сердце, которое с четырнадцати лет открылось для него, а он ни разу за все эти годы не заметил и не хотел замечать ее.

Может быть, он обратит на нее внимание потом, ког-

да снимут маски и ветхий наряд сменится нарядным платьем, а деревянные маскарадные башмаки — хрустальными туфельками, каких нет здесь ни у кого. И может быть, Сатана, став прежним прекрасным принцем из ее любимой сказки, пригласит ее хотя бы на один танец...

В полночь Сатана эффектно сорвал маску и оказался Петей, Петечкой, Пьером, Питером, Петюнечкой, Петрушей, Петром Демидовичем Колесовым. Дама с камелиями, в которой все узнали Магдалину Григорьевну Шутемову, преподнесла Сатане, почтительно снявшему золотой цилиндр, бисквитно-кремовую карету с шоколадными колесами на вафельном подносе.

— А я,— объявил он,— хотя и не как Чацкий и не с корабля, а из почтовой кибитки, но все же попал на бал.

Тут Эльза «узнала» его и он «узнал» Эльзу, расцеловался он и с Витасиком Жуланкиным. Тот, радуясь, что его не узнала даже Эльза,— ха-ха! — снял ослиную голову и от этого еще больше стал выглядеть ослом.

Здороваясь, целуясь и обнимаясь, щебеча, воркуя, каркая и просто злословя, все понимали, что красавец Колесов не случайно приноровил свой приезд к первому дню масленицы и, конечно, у столичного портного, загодя, сшил себе фрак, так обворожительно подчеркивающий его рост и статность.

Столлю не первому показалось, что мастерским Парамона Антоновича Жуланкина не суждено быть подъяремными Шутемову, а Витасику-дубасику нужно понять, что грация не по его формации при любой комбинации и трансформации.

Виктор Юрьевич Столль любил рифмованные каламбуры, а Витасик любил блины с зернистой икрой. И он первым сел за стол, как только голос хозяйки дома Магдалины Григорьевны объявил:

— Блины, блины! Рысью к столу!

Русские блины — лучшая из упаковок ко всем видам закусок, представленных здесь с показной щедростью и в каком-то вызывающем изобилии.

— Пей, гуляй! Широкая масленица!

«Натали-итали», как называл младшую дочь Шутемова Талю все тот же каламбурист Столль, сидела рядом с Петей Колесовым. Она угощала Петю на правах

хозяйки и на правах обойденной его вниманием заметила:

— Вы проскакали со мной только в одном галопе, за это после ужина вам придется танцевать только со мной и с Золушкой, а Эльзе — с женихом в сером фраке, которого она теперь не может не узнать.

Маленькая Кармен, Таля, не заметила, как побелели розовые уши Колесова. Ей было только еще семнадцать, и она пока еще умела читать только по глазам. А в них вспыхнуло удивление и, угаснув, перешло в негодование.

Ей немножечко жаль, что она его так огорчила. Но это ненадолго. Ее голос вернет Петиным глазам голубое пламя, и она согласится сгореть в нем.

Бал-маскарад закончился под утро. Виталий Жуланкин послушно пил налитое Эльзой и не давал остыть на своей тарелке блинам. Он уснул на диване в кабинете Шутемова, а Эльза обещающе танцевала с Колесовым и после ужина. Золушка — Катя Иртегова — была приглашена им только для приличия. Она благодарна и за это. Катя, как и маленькая Кармен — Таля, знала, что танцы ничего не предрешают в жизни, где правит Сатана, которого так искусно представил Петя, чего не поняли очень многие на балу, кроме разве проницательной Эльзы, но и она, запроданная невеста, тоже не все поняла.

III

— В девятнадцать годов всякая девка красна, да не каждая ясна. Оно, конечно, Эльза всем вышла, и статью, и поступью, юрка и звонка, но зубаста. Отец — сом, мать — щука, а она в обоих. Не родит ведь свинья бобра, а того же поросеночка.

Так внушал своему сыну Виталию в опустевшей на обед большой кузнице Парамон Жуланкин. Чернобородый, длиннорукий, в кожаном фартуке, хозяин кузнечно-механических мастерских не отличался по внешности от своих кузнецов. Он ковал два часа до обеда и столько же — после, чтобы не дать отяжелеть брюху и показать другим, как надо стараться.

— И ежели ж, допустим, она и золотая рыбка,— гнул свое Парамон Антонович,— то не насадная ли? Не на шутемовском ли крючке наживка? За тебя ли хочет он выдать дочь, а не за наши ли мастерские? Телега без

железа — солдат без ружья. Положим, я не овечка и Патрикею в стрижку не дамся...

— И я, папаша, не баран,— заявил горделиво сын.— Станет Жуланкиной — и всем Петькам от ворот поворот.

На эти слова у отца был прямой ответ, да жаль было сына, и Парамон сказал мягко:

— Ты не баран, Витаська, а барин при золотых пуговицах. В таком, сын, мундире на казенном заводе служат. Там спрос малый. Служи — не тужи да покрикивай. А Петру Колесову не поворот от ворот нужен, а приворот к нашим воротам.

Виталий попытался возражать отцу, но тот не дал ему и рта открыть. Парамон Жуланкин знал цену людям и не жалел переплатить мастеру лишнюю копейку, когда она возвращалась рублем. Работая сам, он понимал, что значат руки кузнеца, токаря, слесаря и даже самого последнего подмастерья в его прибылях. От них — все.

Однако же руки сильны головой, а без нее они бездумные клещи. К рождеству, к пасхе, к масленице, к своим именинам он вознаграждал каждого рабочего, который припрягал к своим рукам смекалку, радел за штучность и сортность изделий. Будь то тележная гайка или дверной крючок — и они копили благополучие мастерских. От этого мастерские ширились, капитал рос, хотя и не так скоро, как хотелось бы. Но его мастера не могли дать большего, чем позволяло их разумение. Поэтому-то Парамон хотел видеть своего Виталия не только на вывеске «Жуланкин и сын», но и главой своей будущей фабрики. Однако его Виталий так и остался Витасиком, а Петька Колесов, одних с ним лет, ходит в Петрах Демидовичах, и сам Столль метит его на коробцовский завод, вторым лицом после себя. Большое жалованье сулит Столль, а Парамон даст больше — и к этому участие в прибылях.

— Вот ты и подумай, сын,— терпеливо внушает Парамон Антонович своему чаду,— до того, как от себя людей отворачивать.

Жуланкина пугало и то, что если Петр Колесов придет на графинин завод и войдет в курс, то так ли вольготно будет Парамону Антоновичу жить на дешевом коробцовском железе, платя Столлю половинную цену? Петр Колесов может захотеть показать себя перед графиней Коробцовой-Лапшиной, и, как знать, уцелеет ли

тогда и сам продувной Столль? Захочет ли Петька быть при нем, когда может стать сам при себе и выговорить у Коробчихи проценты, кроме жалованья? Она хотя беспечна, но тысячам счет знает.

С приездом Петра Колесова его судьба стала занимать и тех, кто до этого к нему не имел никакого отношения. А он тем временем проводил дни у Шутемовых, целовался с Эльзой, не пропускал званых вечеров и удивлялся, как много в Тихой Лутоне невест. Шестнадцатилетняя златокудрая Стася Столль и та стремилась выглядеть старше своих лет. Мать Стаси, Марина Вениаминовна, любившая, когда ее называли мадам де Столль, что подчеркивало знатность происхождения, тоже придуманного ею же, плела свои сети. Она по поводу и без повода замечала, что мужчина не должен вступать в брак ранее двадцати шести лет, что подтверждается опытом и логикой светской жизни. Она же утверждала, что жена должна быть моложе своего мужа хотя бы на восемь лет, если супруги хотят быть счастливой и крепкой парой.

— Оскорбительнее всего,— настораживала она,— оказаться вам, инженеру, в образованных батраках, а таким вас хотят видеть некоторые наши знакомые.

Любезный и вежливый Петр Колесов полностью соглашался с мадам де Столль и продолжал целоваться с Эльзой всю масленую неделю, а потом оказалось, что и наступивший великий пост не предусматривает запрета на любовь, и они продолжали встречаться.

В постной пище немало прелестей. Грибные и капустные пельмени с подсолнечным, конопляным, горчичным маслом, вина, настойки и водки всех сортов были хорошим поводом для встреч обеспеченных лутонинских семей. На одном из таких рыбно-пельменных вечеров в середокрестную, половинную неделю поста, когда Витасик Жуланкин дремал, отягощенный едой и сопутствующим ей, произошло выяснение дальнейшего направления жизней Елизаветы Патрикиевны Шутемовой и Петра Демидовича Колесова. Он предложил ей не скрывать далее, что ее помолвка с Витасиком не может продолжиться свадьбой. А чтобы карточный домик, построенный ее отцом Патрикием Лукичом не рухнул оскорбительно для Жуланкиных, а был осторожно разобран карта за картой, он соглашался уехать на какое-то время. А если Эльза захочет решить все молниеносно, то в

одну из ночей они покинут Тихую Лутоню и обвенчаются там, где и когда она пожелает.

Эльза, не ожидая такой решительности, прибегла к французским и русским афоризмам, которые на всех языках мира означали, что благоразумие должно руководить ими.

С этим невозможно спорить, но в чем заключается благоразумие Эльзы? Она растянула ответ на несколько дней, обнажаясь постепенно перед своим единственным, провидением, посланным и найденным ею на всю жизнь,— Петей.

На катке Эльза сказала:

— Любовь требует жертв, и я готова к ним.

На именинах мадам де Столль, когда ей исполнилось на год меньше, чем год назад, был ограниченный круг знакомых. Сама мудрость одела Эльзу в темное глухое платье и причесала в соответствии с тем деловым разговором, который должен был состояться в этот экстравагантный вечер.

— Пьер,— начала она, впервые назвав Колесова этим именем,— я обманула надежды своего отца, не родившись сыном, но я обязана сделать все, чтобы стать достойной его дочерью. Фирма папы должна преуспевать, и мы должны помочь ей в этом.

— Ну, разумеется,— подтвердил Колесов не очень уверенно, еще не понимая, в чем будет состоять его помощь, и побаиваясь, что Эльза оправдает предположения мадам де Столль относительно «образованного батрака». Ему, мечтавшему о большом поле деятельности инженера, было бы оскорбительно убедиться, что Шутемов в самом деле надеется, что Петр посвятит себя его телегам. Не дурак ли?

— Конечно,— повторил Петр,— я никому и никогда не отказывал в технологических советах...

— Вот и умница. Но, Пьер, папа хочет большего...

— Чего же? — насторожился Колесов.

На это Эльза, став очень сосредоточенной и чем-то похожей на отца, ответила пространно, убежденно, что Жуланкины и Шутемовы должны стать единой крупной фирмой. Слово «фирма» она произносила с особым смаком, чуть картавя. И он благоразумно должен согласиться пойти на службу к Парамону Антоновичу и взять его в свои руки. Эльза очень мягко заметила, что Пьер не так богат и не столь много мест, где ему будут так ще-

дро платить. Когда же он поможет соединить жуланкинские капиталы с шутемовскими, то его доходы возрастут вдвое.

— Я обещаю, что мой Пьер станет управляющим и пайщиком фирмы отца.

Колесова приташнивало. Ему хотелось прервать унижающий его разговор, но Эльза не пожелала останавливаться, и ему пришлось выслушать ее.

— Вдвоем мы очень скоро приберем жуланкинские мастерские к рукам,— сказала Эльза.

Колесов не верил услышанному и переспросил: как понимать слово «вдвоем»?

— Петя, милый, разве я вам не сказала на катке, что любовь требует жертв, и я иду на это... Мы будем счастливы. И если хотите, я вам могу это подтвердить до того, как стану Жуланкиной. Дома у нас ни души...

IV

Когда с человеком случается горе, он вспоминает старых друзей. У него возникает потребность пожаловаться, поделиться, облегчить свои страдания.

Таким другом, самым близким из всех, у Пети был Павлик Лутонин. Заштатная, затерянная, отрезанная Лутоня давно была местом, пригодным для ссылки. Ссыльных было не так много, но для Пети с Павликом хватило и одного молодого, высланного под надзор доктора Хейфеца, который не только лечил, но и учил. От него они еще подростками узнали о декабристах, ранних народниках, народовольцах и, не расставшись еще с мальчишеством, играли в покушения на царя. Царем был одно время зловонный, бодливый козел при пожарной дружине, потом им стал ростовой портрет Александра III, стоявший по миновании надобности, после воцарения Николая II, за шкафом в обществе трезвости. Царь был выкраден из-за шкафа и заточен сначала в «Шлиссельбургскую крепость», которой была заброшенная штольня, а потом подорван на полуфунтовой банке охотничьего пороха и сожжен в старографском лесу вместе с рамой.

«Террористами» Павлик и Петя были недолго. Появился другой наставник, Михаил Петрович Зубцов. Тоже ссыльный. Окончив духовную академию, он отказался служить вере. В числе книг у него была одна, которая называлась «Дас Капитал». Из нее он кое-что пере-

сказывал повзрослевшим «петропавловцам» — так он шутливо называл своих юных друзей-рыболовов. Он их решительно отвел от террора, хотя они все же до этого доконали козла.

«Дас Капитал», написанный пока еще не известным для Павлика и Пети автором, привел их впоследствии к Марксу и Энгельсу. Павлик знал кое-что, а Петя, став студентом и переехав в Петербург, узнал значительно больше, бывая на тайных чтениях, а потом вступил в тайный кружок без особой программы — «Освобождение».

Кружок был предан и полностью арестован, за исключением четырех человек, не оказавшихся в предательском списке. Это так потрясло Петю, так подорвало в нем веру в возможность существования тайных обществ, кружков и даже союза двух человек, что он долгое время ждал ареста, подозревал в предательстве каждого из трех оставшихся, как и он, на свободе, а потом замкнулся в себе и даже не был до конца откровенен с Павлом.

Он не верил больше, что капитализм можно победить, не взорвав его изнутри, не переродив его экономическими средствами в новое общество, если не равных, то хотя бы приблизительно равноправных.

Ему думалось, что инженер, как никто другой, может стать организатором этой экономической борьбы рабочих с капиталистами, и рабочие легально, дозволенными законами империи способами, вернут себе все созданное ими — фабрики, заводы, шахты, а крестьяне — землю.

Эта идея, жившая в Колесове теоретически, после услышанного от Эльзы, начала воплощаться в практический план борьбы, и телеги, неожиданно для него, приобрели новое значение.

— Кто они такие? — спрашивал Петр пришедшего к нему Павла.— Кто дал им право думать обо мне как о батраке! Неужели только деньги? Можно понять Шутемова. Он хищник. Понятен и Парамон Жуланкин, для которого его фабричонка — сфера жизни и он ее раб. Но Эльза? Нимфа обернулась акулой. Мать Эльзы, кичащаяся своим благородством, тоже змея. И самый лучший из них — Витасик. Он недалек, но простодушен, доверчив, незлобив. В нем нет и капли ихнего бесстыдства.

Павлик молчал. Он удивлялся, как Петя мог полюбить эту вторую Магдалину, известную своими похож-

дениями всем лутонинцам и, конечно, отцу Пети, Демиду Петровичу, и тем более его матери.

— Если ты так распаляешь себя, Петя, значит, еще любишь ее,— утверждал Павел.

— Может быть,— не скрывал Колесов.— Но во мне родилось желание доказать, что все они пыль, мусор. На чем зиждутся их благополучие и бесстыдство? На отсталости производства телег. Они так же, как и бишуевский удельный князь саней и кошевок Адриан Кокованин, держатся на сотнях порабощенных кустарей. Одни гнут сани, другие поставляют колеса, дроги, оглобли, сделанные ручными, варварскими инструментами, а он всего лишь собирает все это в телеги, оковывает, подкрашивает, продает и жиреет.

— Ты говоришь так, Петя, будто узнал об этом впервые,— сказал Павел.

— Нет, Павел, я знаю это давно, но впервые задумался, что стоит телегу из рук передать машине, как она намного, может быть, вдвое, станет дешевле и от Шутемова останется только вывеска да фонарь на фигурном кронштейне.

Задумался в этот вечер и Павел Лутонин. Инструментальщик и механик по станкам завода Коробцовой-Лапшиной, он понимал, как немного нужно сделать, чтобы изготовление телеги перешло в цех. Не паровоз же и даже не молотилка. Он представил, как может вытачиваться ступица колеса, как легко можно выдалбливать станком гнезда для спиц, а спицы, как спички, будут выскакивать из станка тысячами. Дерево мягче и послушнее железа. И если бы его друг в самом деле затеял завод, то Павел мог бы многое подсказать практически. И он принялся в своем воображении приспосабливать выбракованные Столлем станки для тележных механических мастерских.

Задуманное вскоре овладело Петей так, что он забыл об Эльзе, о своих обидах, оказавшихся мелкими, и потребовало от размышлений переходить к действию.

Действие началось с детального изучения телег в доживающей свой век мастерской отца.

Отец Петра, Демид Петрович Колесов, считался в Лутоне справедливым человеком. Этому способствовало главное достоинство Демида Колесова — добросовестность. Ему верили на слово. К нему приходили за «пра-

ведным судом». Демида Петровича уважали и его работники.

Демид Колесов, как и Патрикий Шутемов, был тележником. Его телеги ходили на доброй славе. Фамильное колесовское клеймо было хорошей рекомендацией для покупателя. Сначала оно вырезалось косой стамеской, а потом Демид завел «огневое тавро». Оно представляло собою изображение тележного колеса о двенадцати спицах и выжигалось на дрогах, ободах и даже оглоблях. Каждому неграмотному оно говорило, что это колесовская телега, и если прогадаешь на ней в полтиннике, выгадаешь в ее прочности, сроке службы и легкости хода.

Работников Демид Петрович держал тоже совестливых. Уговор простой: сбезобразничал, сбездельничал — не обижайся на потерю работы. А работа была круглый год. И все шло в полной исправности. Телеги не только не застаивались, а даже покупались заглазно с зимы.

Когда Петя подрос, Демид Петрович не увидел в нем своего продолжателя и начал подумывать о старости. Пусть она не скоро придет, но ее не минуешь. Тогда трудно будет стоять за верстаком. А если хозяина нет в мастерской, дело не пойдет. Скопленные деньги Демид Петрович решил пустить в недвижимое. Оно всегда в цене. И он построил каменный двухэтажный дом для почты. Вечное и верное дело. Постоянный квартирант и ремонты за счет казны.

Вовремя построил Демид Петрович дом для почты. Она-то и стала кормить его задолго до старости. Как будто знал он, что его друг и кум Патрикий Шутемов поведет свои дела так, что колесовской телеге придет конец. Сначала Шутемов начал играть ценой. Потом переманил у Колесова хороших мастеров, его лучшего выученика Корнея Дятлова. Привадил к себе поставщиков колес, сговорился с Парамоном Жуланкиным, и тот удорожил оковку колесовских телег, которые стали от этого убыточны. Затрещали вместе с Демидом Колесовым и другие малосильные тележники, а Шутемов их «пожалел», вынудив работать на себя, взял клятву перед иконой ни одной телеги не продавать на сторону.

Демид Петрович не захотел отдавать свое прославленное тавро богатому куму, поблагодарил за высокую честь и стал делать свои дорогие телеги для немногих, понимающих заказчиков, умеющих ценить мастерство.

Таких становилось меньше и меньше. К приезду Пети в мастерской отца работали только двое, да и то по старой привычке, по большой любви к тележному делу.

Петя внимательно наблюдал, как старый мастер Ефим Трофимович Силин и его напарник Яков Егорович Баклушин любовно и тщательно занимались телегой, будто это была скрипка. Часы тратились на то, что станок лучше и точнее сделал бы за несколько мгновений. Телега и теперь делалась так же, как и во времена его детства. Мастера, словно боясь потерять дедовское ремесло, не заменяли и отжившие инструменты.

Ефим Трофимович как-то осведомился:

— Не телеги ли, Демидович, собираешься мастерить?

— А вдруг да и соберусь? — так же шутливо поддержал разговор Петя.— Пошел бы ко мне наставником? Не работником, а наставником?

— Да кого же, Петенька, наставлять? — присоединился к разговору второй мастер, Яков Егорович.— Шутемов всех наставил и обставил.

— А теперь мы его...

— Поздно, Петяша. Он глубоко корни пустил,— сказал и задумался Яков Егорович.— Побить Шутемова можно только ценой.

— Об этом я и думаю.

— А чем цену сбавить? Телега — ручной товар. Машиной ее не выработаешь.

— Ой ли? — подзадорил Петя Якова Егоровича.

— Не все, Петя, может машина,— пожалел Ефим Трофимович и почесал затылок.— Если б могла, так Патрикий давно бы ее примашинил.

Поговорили, посмеялись два старых мастера и молодой инженер — и как будто все это было так, для перекура. А разговор почему-то запал им в душу. И всерьез его принять не хотелось, и на шутку свести было жалко. Не будет же он, из молодых да ранний, которого сам Столль обхаживает, Жуланкин Петром Демидовичем величает, ни с того ни с сего в телегу вникать. Тут что-то есть.

Предчувствия их не обманывали. Вечером Петя поделился с отцом своей затеей, и Демид Петрович воспылал желанием увидеть в сыне продолжателя своего дела на новой основе.

— Но где для начала взять деньги, Петенька?

V

А деньги были рядом, через две улицы на третьей. Бери их хоть завтра, хоть сейчас и строй, что твоей душеньке надобно. Не просто же так зачастила в дом Колесовых Марфа Максимовна Ряженкова, переселившаяся в дом Кати Иртеговой после смерти ее матери.

Ряженкова, довольная своим бездетным вдовством, двумя доходными домами, посвятила свою жизнь устройству счастья других. Это было для нее благочестивым служением людям. И у Кати Иртеговой она поселилась затем, чтобы у той была верная наставница в делах и в жизни, чтобы не дать присвататься к Катиным несчитанным деньгам смазливому охотнику до чужого богатства, каких было больше, чем надо, и в Тихой Лутоне, и в дымной Векше, и в самом Санкт-Петербурге, где училась Катя на частных женских курсах и вернулась оттуда девушкой умной, книжной и самостоятельной.

Мать Пети, Лукерья Ивановна, обожала статненькую, ладненькую, с тонкими рученьками, с пряменькими ноженьками, с розово-мраморным, гладким личиком, точеным носиком, небалованную, никем не целованную, сто раз сватанную, да никого не обнадежившую Катеньку... Ни дворянских сыновей, ни купецких ухарей, ни гусарских фертиков. Хорошо бы при такой матерью побыть. Да что там матерью, хотя бы кем-никем... Пыль сдувать, в гости обряжать, кружевца ей разглаживать, как за царевной ухаживать.

Стоит того картина писаная, ангельская мамочкина душа, дедов гордый, иртеговский характер, отцовская щедрость, теткина самосильная широта.

Хорошо бы Петьке такую-то умную жену и верную советницу, а другой раз, может, и верховодительницу. Петька-то голова, да не всегда в ней царь дома. Подумать только, на чью уду клюнул! Едва-едва она его не ошутемила. Хорошо, Марфа Ряженкова помогла. Она ведь подсказала Эльзе открыть Петруше свои ходы-выходы насчет Жуланкиных. Знала умная сваха, что это ветром Петьку от Эльзы отдует и навсегда отшатит. Так и случилось. И кто знает, обошлось ли тут без Катенькиного ума? Сама ли по себе Марфа Максимовна встряла в это дело? И сама ли по себе она говорит про Петрушу с Катенькой, что жизнь их свела, что никакие Эльзы, Тали, Стаси не порушат предначертанное?

Дай бы бог, матушка богородица, святой апостол Петр, отверзи ключами своими носящему имя твое райские врата... Жарко молится она перед неугасимой лампадой за счастье сына, и апостол Петр иногда вроде бы как улыбается ей с иконы, но темнит, ответа не дает, ни во сне и никаким другим образом. Поэтому Лукерья Ивановна ничего не говорит о Кате ни мужу, ни сыну. Да только им теперь ни до кого. Задумали начать свое тележное дело с продажи дома почте.

Зачем? На что? Когда счастье рядом и красная горка на носу. Тогда и открывай какое хочешь дело, хоть ту же иртеговскую водку кури, хоть пароходство на Каме заводи.

Жаль Лукерье Ивановне продавать дом, арендуемый почтой. Жаль, но разве Петьку с Демидом перекукуешь? Она откуковала свое.

Начальник почтово-телеграфной конторы Красавин был человеком предприимчивым. Он мог все. Купить, продать, ославить, возвысить, узнать, подслушать, передать, сосватать, развести... Он только не мог сладить со своей единственной дочерью Настенькой. Воспитывая ее барышней для заполучения в семью пусть не очень богатого, но образованного зятя, он выучил ее в прогимназии, покупал ей высоконравственные книги, пристроил певчей в соборный хор, чтобы была на виду, одевал по парижским журналам мод, которые, проходя через почту, задерживались им, а она выросла «политиканкой» и влюбилась в человека хотя и хорошего, но фабрично-заводского, пусть не простого рабочего, а механика, но все же не из разряда интеллигенции и с фамилией тоже не ах какой — Лутонин.

Положим, он принят Иртеговой и по нему тоскуют не в одном дому, но не «герой нашего времени», и даже не в штиблетах, а в сапогах.

От него Настя никак не могла набраться большой политики и судить о конституциях, и парламентах, и народовольцах, и других декабристах, как столичный студент, сосланный в Лутоню на поселение. Алексей Алексеевич Красавин тем более не мог допустить, что всем этим Настя обязана в первую очередь ему. И если уж мы заговорили о Настеньке, которой суждено пройти через этот роман хотя и не первым лицом, но и не последним, расскажем о ней, пока Петя одевается для встречи с Красавиным.

Алексей Алексеевич по долгу службы интересовался почтовой перепиской и особенно утолщенными пакетами и всегда производил необходимые изъятия, сохраняя целостность упаковки до сургучных печатей включительно. Из больших городов и особенно из Одессы, не говоря уж о Питере и Москве, приходили хитрые книжечки. Обложка, скажем, на ней «Аленушкины сказки», а откроешь нутро и видишь: «Без революционной теории не может быть революционного движения» ... Изъять. А взамен положить настоящие «Аленушкины сказки» или что-то другое. Ищи, кто изъял, кто подменил,— пакет идет через много почт.

Хитрее всех прячут газету «Искра» и вырезанные из нее статейки. В обложки даже ухитряются заклеивать. Найди! Раньше, при старом приставе, это было делом доходным. А теперь назначили нового «безмундирного врида». Сиречь временно исполняющего должность. И этот «врид», по слухам, из опальных бар, Анатоль Мерцалов, находит неправомочным не только брать, но и читать корреспонденцию. Или хитрит, или на самом деле не желает этим заниматься.

Но привычка берет свое.

Почтовые изъятия Алексей Алексеевич складывал стопочкой в нижний ящик комода впрок. Мало ли?..

Настенька давно, еще при старом становом, когда изъятия лежали дома два-три дня, прочитывала их. Теперь же, когда они лежат впрок, она дает их для чтения другим: Кате, Павлику, а более важное, например, статьи из «Искры», переписывает для Павлика.

Так отец, не желая того, воспитал дочь в сочувствии революции.

А теперь предоставим возможность Пете Колесову встретиться с Настенькиным отцом.

С начальником почтово-телеграфной конторы Красавиным у Пети разговор был простым. Нужны деньги — и все. Алексей Алексеевич скомпоновал ответ в духе монолога участливого покровителя:

— Позволю себе, драгоценнейший Петр Демидович, предложить вам скорый путь продажи. В Лутоне да и окрест ее достаточно состоятельных людей, каковые пожелают, не утруждая себя, получать на свои мертволежащие капиталы живой доход с почты. И если вам будет угодно, мною сегодня же будет пущен слушок о вашем намерении расстаться с домом, за каковой вы получите

куда больше, нежели с почтового ведомства, а равно избегнете мздоимного выжимательства корыстолюбивых чиновных лиц, которые придумывают сто тысяч препон, чтобы вам меньше дать и больше взять с вас. Прошу простить за мое чистосердечие, что, смею думать, вами будет оценено.

Алексей Алексеевич Красавин, разговаривая с Колесовым, менял свой облик, как на репетициях комедии Гоголя «Ревизор», где он показывал любителям, как и кого надобно представлять на сцене. И на этот раз он представал то угодливым Бобчинским, то развязным Хлестаковым, то подобострастным городничим, и в каждой из этих ролей он оставался самим собой — бедным чиновником, готовым сделать все зависящее от него и быть не обойденным за свои старания.

Колесов понял, что дом уже продан и он может не беспокоиться за исход, предупредив, что вознаграждение будет тем выше, чем дороже дадут за дом.

Продажа дома состоялась через три дня. Сверхбыстрая продажа и неожиданный покупатель.

Марфа Максимовна Ряженкова, появившись у Колесовых, принесла деньги.

— У вас, оказывается, в них нужда, а у меня они зазря на книжке лежат. Торговаться не буду. Сколько сказал Красавин, столько и дам.

Отца и сына Колесовых удивило, почему так щедра Марфа Максимовна и откуда у нее столько тысяч. Лукерья Ивановна ничего не сказала, да ей и не надо было ни говорить, ни спрашивать, и так все как на блюдечке.

Теперь можно было решать, где и каким будет механическое производство телег. Два места были на примете у Колесовых. Первое — это пустующие Екатерининские конюшни, где в теплое время года любительская труппа давала народные представления, и заброшенный винокуренный завод. Конюшни можно легко арендовать у казны, но они были малы и неудобны по месту расположения в центре Лутони, на бывшем Екатерининском плацу, ныне базарной площади.

Арендовать пустующий винокуренный завод было бы счастьем. Но как подступиться к нему, как сделать, чтобы не выболтать другим о своих намерениях?

Если бы Петя знал о разговоре Марфы Максимовны с его матерью, тогда бы ему только стоило сказать о своем желании, как оно тотчас было бы исполнено.

Исполнено без условий и обязательств с его стороны.

Иртеговский винокуренный завод необычен среди таких же других. Дед Кати, Евлампий Митрофанович Иртегов, был богачом не без причуд. Он, возведя завод, оградил его стенами, напоминающими Нижегородский кремль. Меньше, ниже, но в том же обличии. Водка — приманное зелье, и ее нужно стеречь и беречь. Поэтому по стенам днем и ночью ходили отставные солдаты с ружьем, а на коренной башне отбивались большим колоколом с бархатным голосом часы, так что вся Тихая Лутоня, а в хорошую погоду и дальние селения узнавали время по иртеговскому звону.

Завод-кремль стоял на незатопляемом берегу Тихой Лутони. Там же, у самой воды, надежный каменный причал и склады для зерна и картофеля. Осенью в плоскодонных лодках по Лутоне и ее притокам поставляли все, что могло стать водкой. Евлампий Иртегов широко покупал и еще шире торговал. Никто не знал, сколько у старика денег и в каком банке они хранятся.

Завод был закрыт в полном его расцвете своенравным Иртеговым в год повышения акцизов. Не хотел он, как оброчный мужик, пребывать в большом обложении и отдавать свой прибыток царю и его приспешникам. Им было сказано: «Пущай стоит до лучших годов, для внуков». На сына надеяться Иртегов не мог. Тот рано сжег себя зельем, выкуриваемым трезвенником Евлампием Иртеговым. Завод перешел матери Кати, а затем стал ее наследством.

С тех пор и стоит он на берегу Лутони, одинокий, молчаливый, нелюдимый и зарастающий молодым лесом.

Сюда-то и пришел Петр Колесов.

VI

Пришел сюда Петр Колесов один, будто бы мимоходом с охоты.

Страстная неделя стояла сухой. Первые прилетевшие птицы славили весну пением, щебетом, свистом за высокими зубчатыми стенами с малыми башнями по углам и коренной, побольше, над въездом. Петр обошел вокруг стен, задержался на причале. Вслед за последними льдинами по большой воде торопился первый караван барок с железом из Векши. Вел его старательный винтовой буксиришка «Глеб», названный так по имени хозяина

Векшенских заводов Стрехова, поставщика металла графине Коробцовой-Лапшиной. Следом, как всегда, пойдет второй караван, и поведет его «Ольга» — жена Глеба Трифоновича Стрехова. И так, пока не спадет вода, пароходы-супруги раз двадцать сходят туда и обратно, чтобы сделать годовой запас для Лутонинского завода.

Подойдя к литым, тяжелым воротам под башней, Петр остановился. Запертые давным-давно Евлампием Иртеговым, они не отпирались.

— Теперь-то уж они совсем прикипели, приржавели, заросли, Петенька,— сказала старуха, жена сторожа Денежкина. Она знала Петю с детства и пускала его вместе с Павликом Лутониным, с Витасиком Жуланкиным в заросли.

Денежкины, наследственно сторожившие иртеговский завод, жили здесь, в старой конторе, за десять рублей в месяц.

— Гуляй, Петенька,— провела Денежкина Петю через сквозные сени каменной конторы, выходившие одной дверью в завод, другой за его стены.— Ружье-то с собой возьми. Теперь тут и крупная птица гнездится. Глухота.

Последний раз Колесов был здесь лет пять назад. Двор завода, поросший и тогда уже молодым ельником, теперь походил на лесной питомник. Ели и березы подымались до крыши главного здания завода. Заросли и склады. Ежи, зайцы, кролики нашли здесь счастливое убежище. Их запустили сюда играючи Витасик и Петя. Они размножились, обереженные от хищников, и шныряли теперь под ногами. Нашли здесь постоянное пристанище и птицы.

Обойдено все. Прикинуто. Промерено и оценено. Лучшего и невозможно представить. Капитально строил Евлампий Иртегов. На многие годы замышлялся им винокуренный кремль. Недорого стоит его воскрешение, недолгой будет расстановка станков. Как только начать и с чего разговор с Катей?

Подумав о ней, он услышал ее голос:

— Кто это бродит в моем заколдованном царстве? Кто пугает моих зверьков и птичек?

— Это я, Катя.

— Как ты забрел сюда, дерзкий стрелок? — спросила она, выйдя из ельника.

Петя уловил знакомую интонацию, ту, которая звучала, когда он, Катя, Эльза, Витасик, Павлик, Костя

Денежкин и его сестра Маруся играли в «Спящую красавицу». Красавицей была, конечно, Эльза. Маруся Денежкина изображала спящую служанку царевны, мальчики — спящих слуг. Катя была ключницей, сторожившей старый замок, которую не брал никакой сон, а Петя был царевичем-королевичем, принцем и даже Иванушкой-дурачком. Каждый раз для игры придумывались новые сюжеты. Сегодня он был тоже новым и нужно было по-новому играть.

— Я не вор, не разбойник, царевна,— ответил с поклоном Петя, не зная еще, что скажет он дальше.— Я вольный стрелок из далеких земель. Пришел посмотреть на твои уснувшие палаты, царевна.

— Уж не хочешь ли ты разбудить их, вольный стрелок?

— Разбудил бы, царевна, да не знаю как...

— А зачем тебе их пробуждение?

— Зачем? — спросил он, как обычно.— Вот это-то я и боюсь сказать вам, Екатерина Алексеевна.— Он протянул руку и, выходя из игры, сказал: — Здравствуйте, Катя!

— Здравствуйте, Петя, отвечу и я с добавлением «те», если «вы» теперь заменило наше всегдашнее «ты».

— Да нет, что ты, Катя! Мне показалось, что мы давно выросли. Стали серьезными людьми. Ты так самостоятельна, богата и независима, что мне нужно знать свое место и...

— Петя, остановись на этом «и» и не обижай меня. Зачем ты здесь?

— Захотелось. С этим местом столько связано. Здесь наши с Витасиком ежи, зайцы... Здесь я ловил птиц. Тебе не нравится?

— Да что ты, Петя! Витасик тоже приходит сюда, и очень часто.

— А он зачем?

— За тем же.— Серые глаза Кати смеялись.— За тем же, что и ты.

Мнительному Колесову показалось, что Жуланкиным пришло в голову то же, что и ему. И это было вполне правдоподобно. Жуланкин, а может быть, и пронырливый Шутемов, соединяясь теперь через Эльзу и Витасика, задумали воспользоваться этим заводом.

— В каком смысле ты сказала, Катя, что Витасик приходит за тем же, что и я?



— В том же.

— В каком «том же»?

— Витасик любит птиц. И не просто любит, а одержим чижами, чечетками, снегирями, щеглами. Витасик сказал, что теперь, когда ему не нужно больше учиться, он может наверстать потерянное, и соорудил у себя в саду «птичий рай». Это птичий домик с пристроенной к нему... и не знаю, как назвать это сооружение, клеткой, что ли, только очень большой. На столбах и поперечинах натянута сетка. За сеткой посажены деревца, установлена скамейка, размещены кормушки, поилки, скворечницы, гнезда и напущены птицы.

— Странно.

— Мне тоже сначала показалось это несуразным для его возраста, а потом я поняла, что в этом есть какая-то прелесть ухода от кузниц, мастерских, которые ему не-

навистны, в мир его наслаждений. Ты видишь, стоит западня? Это его. У него недостает для пары не то чижихи, не то щеглихи.

Вспомнив об Эльзе, Петя заметил вскользь:

— Поймает. Скоро в его птичьем раю все будут жить парно.

— Ему завидовать не стоит.

— Но все же он удачливый ловец.

— Мы очень часто завидуем чужому выстрелу, пусть даже в воробья, не замечая рядом дичь крупнее, которая без выстрела сама в ягдташ стремится... Так кто-то, в какой-то из пьес, будто нечаянно... Случайно реплику такую обронил. И кажется, тогда ее не понял тот, для кого она ронялась.

— Почему же?

— Не знаю. Наверно, был он привередлив. А может быть, и толстокож... А то и тугодумен. Люди так научились усложнять и самое простое... Ой! Я тоже, кажется, заговорила белыми стихами, как та, в той пьесе, что вместе с репликой к его ногам была готова броситься сама... И быть растоптанной... Не вообще, конечно, а его ногами. Ты, Петя, почему вздохнул?

— Я давно вздыхаю, глядя на этот завод. Так жаль его видеть пустующим, неработающим. Спящим!

— Возьми да разбуди.

— Если б мне позволили...

Катя опять заглянула в глаза Пете.

— А кто же тебе может запретить, принц? Уж не я ли?

— Не знаю, Катя...

— Вот что, Петя, тебе не следовало бы так осторожно говорить со мной. Если тебе нужен для чего-то этот завод, бери его.

— Но у меня нет денег.

— Денег? А зачем они мне, Петя? Что мне делать с ними? Построить второй собор? Или вместо старого дедушкиного дома соорудить для себя дворец, как у Стрехова? Но кто будет мести в комнатах, убирать пыль, топить печи, кто, наконец, будет жить в этих комнатах? Я да Марфа Максимовна? Нам с ней так мало надо. Возьми, если нужно, завод и делай с ним что хочешь.

— Катя, но завод все же не пасхальное яичко.

— Да, конечно, за пасхальное яйцо нужно поцеловать, а завод не потребует и этого. И вообще, если тебе

нужны были деньги, не следовало для этого продавать дом своего отца и прибегать к услугам Красавина. Нужно было просто сказать, что тебе нужны деньги. Я бы не спросила, зачем они тебе нужны, потому что я знаю, что ты не истратишь их на плохое. Сейчас я скажу Анне Дмитриевне, и она отдаст тебе ключи от ворот, складов и от всего, что заперто и еще не растащено.

Колесов не верил услышанному.

— Но, Катя, это, очевидно, налагает на меня какие-то обязательства?

— Никаких! — Катя расхохоталась громко, звонко и своим высоким голосом спугнула с березы грача в весеннем, сизо-вороном наряде.

Ее глаза цвели, сияли, пели. Они бездонно глубоки. Волшебны. Сказочны. Безумны. Ласковы. Добры и... Беспощадны. Рядом с ними у Эльзы не глаза, а два кружка. Две кляксы. Два пятна. Без цвета. Без страсти грешной, но... святой.

«Ах, Катя, милая Катюша, как ты сверкающе манящa!» Он ей этих слов, конечно, не сказал, как и других: «Но что ни говори, какой наядой ни кажись, ты все-таки купчиха, Кетхен. Капиталистка. И будь ты даже той, какой хотел бы я тебя увидеть и без памяти... любить — я сам собой и сам в себе. Все это ни к чему».

Взамен этих слов Петя сказал:

— Тогда, Катюша, если можно, то в аренду и нотариально...

— Как скажешь, Петя, так и будет.

Колесов поцеловал Катину руку. Она черт знает как была пахуча, а пальцы так тонки, что их было боязно переломить прикосновением к ним губами.

— Пожалуйста, мой принц, другую тоже. Для симметрии хотя бы,— сказала Катя, протягивая левую руку, и крикнула: — Анна Дмитриевна, я сдала в аренду мой завод Петру Демидовичу Колесову! Нотариально. Отдайте ему все ключи... И этот ключик тоже возьмите себе.— Произнеся эти слова, она оторвала от маленьких старинных бабкиных часов на тоненькой цепочке ключик и положила его в карман Петиной охотничьей куртки.

— Зачем?

— Чтобы я не вздумала их заводить,— покосилась она на часики, приколотые к кофте слева,— если они снова сумасбродно захотят отстукивать свои «тик-так». «Часами только тот владеет, кто может их пускать и

останавливать умеет...» Это уже рифмованная реплика из... кажется, Лопе де Вега или из... меня. Петя,— притопнула она,— смотри скромнее на меня. Я могу не так понять и ошибиться. Бери ключи и занимайся делом. Девчонки до добра не доведут. Ам!.. И во щи вместе с гребешком.— И снова смех.— В горшок!.. Дедушкина водка в том подвале.— Катя указала на кованую железную дверь.— О'ревуар, мой принц. Помоги взнуздать мне Афродиту. Она послушна, но кусача...

VII

Катя знала, какой завод замышлял Петя. Отец и сын Колесовы не таились от Лукерьи Ивановны и говорили при ней о своих видах на винокуренный завод, а она не могла скрыть этого от Марфы Максимовны, а та — от Кати. Иначе как бы она оказалась на заводе в тот же день и час вместе с Петей?

Два друга, Петр и Павел, не уходили теперь с завода. Мечтали, планировали, расставляли машины, станки, котлы, которых еще не было. Подрядчик Токмаков, чуя работу, составлял смету ремонта крыш, перетирки и покраски стен. Нетерпение было так сильно, что в четверг, пятницу и субботу — в дни страстей господних — мужики согласились начать порубку леса и кустарника. Еще бы не согласиться, когда, кроме поденщины, давалось по бутыли стоялой, задубелой, похожей на коньяк водки из иртеговского подвала... Бог простит мужикам работу, зато всю святую неделю они будут гулять и славить воскресшего спасителя.

Зайцы, ежи и кролики не хотели покидать места, где они родились и прижились. Выгнанные за ворота, они снова возвращались на заводской двор, боясь воли в большом лесу.

На второй день пасхи Петр Колесов укатил в Сормово за паровыми машинами. Демид Петрович и уволившийся с завода Павел Лутонин занялись разборкой винокуренного оборудования. Снимали его осторожно и сносили на склад. А вдруг да найдется покупатель? Устарело не все.

Ворота завода снова были закрыты от кроликов, зайцев и от любопытствующих, а их было немало. В Тихой Лутоне знали все, что иртеговский завод сдан в аренду Демиду Колесову, а орудует Петр. Знали, что Денежкин,

назначенный смотрителем завода, получает теперь не десять, а двадцать пять в месяц и обязан не пускать на завод посторонних.

Не знали только самого главного, каким будет новый завод, что станет вырабатывать он и как это скажется на жизни Лутони.

Занимал этот вопрос и Шутемова, и Жуланкина, и Столля. Занимал и Эльзу, отложившую свадьбу «по нездоровью».

Обменяться кольцами, надеть венцы, обойти вокруг аналоя — дело нехитрое. А что потом? Схоженная карта выходит из игры. Шутемов допускал разное. На всякую помолвку можно подобрать размолвку, а венчанную не развенчаешь, так что пусть пока Эльзочка похворает, а там видно будет.

Витасик первую половину дня проводил в своем «птичьем раю», затем шел к Шутемовым. Невеста к его приходу ложилась в постель, а если она этого не успевала сделать, просила оставить ее одну, и Витасик возвращался в свой «рай», где сидели в гнездах пернатые питомцы.

Жил в своем, еще не созданном раю и мечтательный Петя Колесов. Большой разлив Камы, дыхание весны и одиночество пассажира первого парохода из Перми в Нижний Новгород помогали его размышлениям.

Вспоминая о том, что было, он стыдился теперь своих чувств к Эльзе. Как он мог желать соединиться с нею? И что было бы, если б это произошло, и как хорошо, что она так откровенно раскрылась перед ним.

Жена Столля точно определила его назначение «образованного батрака». Таким же или почти таким же является ее муж, управляющий заводом графини Коробцовой. Таким же хотели видеть его Жуланкины и Шутемовы. И где бы он ни применил себя, как бы ни называли его, он должен участвовать в производстве материальных ценностей для обогащения тех, кому принадлежит то, чем производят, и то, из чего производят.

Он стал бы рабом с высшим образованием, слугой своих господ, сажающих его за свой стол. Деревенский мироед тоже сажает за стол рядом с собой работающих у него. Разница только в столе. И на свете пока нет стола, за которым бы он сидел равным среди равных.

Но такой стол можно создать. Создать без криков, лозунгов и прокламаций. И он сумеет показать труже-

никам, в чем их сила, заставить поверить их не книжно, а практически, как могут они победить богатеющих на их труде, и начатое в захолустной Лутоне станет достоянием многих людей. Этому можно посвятить жизнь.

Кто-то один открыл колесо и первым применил его. И оно стало служить всему человечеству. Откроет и он людям окно в новую жизнь, и станет оно вратами царства труда и содружества.

Им уже сделаны первые шаги, и большие, успешные шаги, только странно — почему так легко и просто удалось столько сделать? В три дня продался дом отца. В течение часа был отдан винокуренный завод. Почему так добра Катя Иртегова? А что, если она тоже «Эльза», но более умная и менее торопливая? Не хочет ли она купить его и приручить? Как хорошо, что он сумел устоять, не поддался широте ее натуры, а предложил большую неустойку и возмещение расходов по переоборудованию завода.

Возможно, он излишне предусмотрителен и требователен. Вообще-то говоря, Катя Иртегова по-своему очаровательное создание, и, будь она менее богатой, может, стоит поверить отцу и матери, которые так недвусмысленно хотят их сближения. Но как можно верить отцу, если его отец хочет торжества над Шутемовыми и Жуланкиными для себя, для своей правды, а он, Петя,— для других, для тех, кто будет работать на этом заводе. Отец надеется, что его сын будет владеть заводом, а сын хочет всего лишь управлять им и получать положенное за управление, но не от капиталиста, а от рабочих. И его никто не назовет тогда «образованным батраком». Но если он даже станет им, то не у кого-то, а у тех, кто создает, кто производит. Поэтому нужно держаться подальше от Кати, не позволять чувствам управлять собой, они могут сломать все. Катя не сумеет полностью понять и принять его идей, хотя она так либеральна во взглядах. Новый молодой образованный лутонинский «врид» Мерцалов тоже либерален, свободомыслящ, но все же он «врид». И Катя остается Катей, богатой наследницей оставленных дедом капиталов и еще не полученного от витимской тетки золота, которое тоже будет ее.

Не портить отношений с Катей, не мешать ей сотрудничать с ним, не попадая, однако, к ней в кабалу, будет самым правильным и полезным для задуманного им.

VIII

В чем-то Колесов был прав относительно Кати, но все же он знал о ней меньше, чем Павел Лутонин, живший в иртеговском флигеле со своим дедом.

Дед Павла, Анисим Сергеевич Лутонин, изработавшись на заводе графини Коробцовой, перешел на тихое место, к Иртеговым. Живя при готовой квартире с дровами, не обиженный платой, он делал все необходимое по дому. Мел двор, топил печи, нанимал мыть полы, стирать, «блюл добро», покупал провиант, надзирал за кухаркой,— словом, до прихода Марфы Максимовны Ряженковой вел все хозяйство.

Павел — двумя годами старше Кати. Он осиротел, по существу, при живой матери, вышедшей замуж за доменного мастера в Векшу и отдавшей его деду. Дед, из «темных бунтовщиков», дал ему грамоту, привил свою ненависть к «самодержцу» всея Руси и его «содержателям-прижимателям», устроил внука на завод, ввел в иртеговский дом. Скромный, воспитанный дедом на большой трудовой правде, Павлик был допущен у Иртеговых к играм с Катей. Привязавшись с детства один к другому, они сохранили эти отношения до последних лет. Но теперь уже не игры, а общность судеб и взглядов связывала их.

Катя, как всякая сирота, рано повзрослела и быстро поумнела. «Образовывалась» она, как и Эльза, в Петербурге. Жила у витимской тетки Хионии, которая покидала на зиму свои золотые прииски и переезжала в петербургский дом. Тетка хотела видеть свою племянницу не просто знающей и «манерной» не менее дворцовых девок: княжон и графинек,— Хиония желала воспитать ее «хозяйкой дела», такой же, как и сама. Ей, властной женщине, Катя виделась не «при муже вчуже», живущей под ним, а вершащей всем наследницей и хозяйкой, какой была она, золотая, всемогущая вдова. Но для этого красавица должна знать не только «истории-географии», уметь «выкадриливать менуэтки», если снадобится — в Зимнем дворце, не только гнусавить с парижским выговором, но и знать, как «отче наш», главную науку — коммерцию, для чего она наняла ей особого учителя — «коммерцгер-юристпрюдента». Так называла тетка скромного, засидевшегося в ненасытности наук, седьмой год переходящего из одного учебного за-

ведения в другое, бородатого студента родом из Самары, бедствующего в Петербурге.

«Коммерцгер» добросовестно преподавал Кате коммерцию, состоящую из многих наук, начиная с политической экономии, учения о капитале и рынках, эксплуатации и конкуренции, кончая чтением «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

На третий год обучения Кати коммерческим наукам ее «коммерцгера» выслали на вольное поселение в дальние губернии Сибири, «по выбору места высылаемым». Катя упросила тетечку Хионочку взять учителя на Витимские прииски, да и тетка поняла, что лучшего письмоводителя по коммерческим делам ей не найти.

«Коммерцгер» вскоре оказался на Витимских приисках, а Катя дообразовывалась, как могла, «коммерческим наукам» самостоятельно. Бывая в домах просвещенных и передовых людей, она поняла, что истины, исповедуемые ее кругом, несовершенны, что установленные порядки, как и те, кто устанавливает их, не вечны. Там же, в Петербурге, она впервые услышала слово «революция» и увидела, какими бывают революционеры.

Рассказ о жизни Кати в Петербурге, где она, любимица бездетной тетки, бывала и в детстве, выглядел бы односторонне, если бы мы ограничились только ее науками. Катя рано познала блеск балов, толпу поклонников и женихов. Об этом довольно красноречиво рассказывает не лишенное юмора альбомное стихотворение, написанное Катиным «пажом». Так он звался и по своей фамилии Пажевитин, и потому, что на самом деле был ее пажом-рыцарем, влюбленным безнадежно.

Вот его альбомные стихи,— они могут вызвать улыбку, но все же без них не обойтись в этой главе.

Мой ангел Китти с колыбели,
Когда ей баю-баю пели,
Была завидная невеста.
Еще тогда искали места
В ее сердечке сыновьям
Их дальновидные отцы,
Которые по всем статьям
Стяжатели и подлецы.
Не за нее они радели,
А — что за ней, отцы хотели
Заполучить, разбогатеть...
Чего же большего хотеть?
Но...

Катя смотрит сентябрем,
От Кати веет хладом, стужей...
Ей ни один из них не нужен.
Она в четырнадцать годов
Свой выбор сделала.
Готов
Давно наряд венчальный.
И Виктор, паж ее печальный,
Смирится с Катиным венцом,
Любви надежного концом.

И если говорить правду, Катя была немножко влюблена в студента-филолога Виктора Пажевитина. Ее жизнь в Петербурге была шумна и весела, но все же голова у Кати там не закружилась.

Приезжая на лето в Лутоню, а потом поселившись здесь, она осторожно делилась с Павлом своими суждениями, а Павел, тоже не открывая всего, не называя тех на заводе, с кем он связан и кто влиял на него, рассказывал о социал-демократах, о главной силе общества — рабочем классе. И они, не замечая того, взаимообогащались знаниями. Появились и книги, которые можно было читать только вдвоем. Их приносила Павлу влюбленная в него тайно и нежно Настенька Красавина, приносила на время и под большим секретом. Это были брошюры, гектографические оттиски, списки с почтовых изъятий. Постепенно в их представлении революция становилась неизбежной. Они не знали, какой будет и когда произойдет эта революция, но для них было совершенно ясно, как жалки все эти Шутемовы, Жуланкины да и сама графиня Коробцова-Лапшина в своей суете и как ограниченная, хитрая, но недалекая Эльза в этой мышиной возне мелких обманов, грошовых выгод.

Все это прах.

Отсюда и небрежение Кати к деньгам, к богатству, как к преходящему и обреченному, подлежащему справедливому возврату тем, кто создал все, от тех, кто присвоил чужое...

Но не раздавать же принадлежащее ей неимущим. От этого ничего не изменится. Она уже пробовала покупать скот, сохи, бороны, строить избы... Капли в море. И если она раздаст все и станет учительницей, то прибавится ли по копейке на душу? Нужно создавать, приобретать необходимое всем и полезное многим, которое нельзя растащить, растворить, как куль сахара в Луто-

пинском пруду, от чего не посластеет в нем вода и не останется сахара.

Таким и был для нее тележный завод. Благом для многих. И она увлеклась заводом, вовлеклась в его жизнь.

Из переписки с «коммерцгером», которому она с восторгом рассказывала о заводе, следовало, однако, что начинания Пети припахивают какой-то новой разновидностью народничества. И Павел говорил, что завод чем-то похож и на «птичий рай» Витасика, на заячье раздолье в заросшем винокуренном заводе. И зайцы и птицы ограждены там от хищников большого леса, им не нужно заботиться о корме, бояться быть съеденными и растерзанными. Этим, наверно, допустимо умиляться, если забыть, что большой лес остается со всеми его звериными законами, по которым сильный побеждает слабого.

Так не будет ли «тележный рай» Пети благополучным островком в темном, бесправном «лесу»?

Катя согласна с Павликом, что нужно переустраивать весь «лес», всю империю с ее волчьими законами, и свергать не Шутемова, а «шутемовых» — от царя до сельского паука-кровопийца. Но Катя думает также, что, пока этого нет, нужно делать хоть что-то. И если стам, двумстам, а может быть, и тысяче семей будет легче жить, надо этому помогать. Конечно, опекаемая ею и недавно расширенная богадельня обеспечивает сносную старость сорока старухам, а миллионы их бедствуют, но все же сорок старух не ходят по миру.

Значит, Петечка Колесов по-своему прав. А вдруг да Петя Колесов в самом деле откроет новое и люди повторят это?

Так думала Катя особенно после возвращения Пети Колесова из Сормова. Там он сделал очень удачные покупки, ему посчастливилось раздобыть и те станки, которые, казалось, можно достать только за границей. В Сормове нашлись друзья по институту, и они во многом помогли ему. Все было погружено при нем и отправлено.

Через неделю начнется установка котлов, машин, станков.

Столль поражался быстроте и умению молодого инженера Колесова. Мадам де Столль прославляла Петра Демидовича дома, в гостях, при встрече со знакомыми

и в письмах к знакомым, не жалея слов, не боясь преувеличений, считая самые лестные сравнения недостаточными для изображения его знаний, ума, трудолюбия, находчивости, прирожденного благородства, наследственной доброжелательности, кристальной честности и, конечно, всепобеждающего обаяния.

Таким нарисовала она Колесова и графине Варваре Федоровне Коробцовой-Лапшиной, приехавшей на свой завод, чтобы попробовать избавиться от него.

— О, я непременно хочу видеть этого гениального инженера!

За Колесовым была послана одна из трех шутемовских карет.

IX

Коробцова-Лапшина искусно скрывала свои лета. У нее для этого были сообщники, начиная с денег и кончая парижскими мастерами.

Художник Дуарте, сопровождавший графиню с целью нарисовать ее портрет на фоне особняка, помогал ей играть в жмурки с возрастом.

Колесову графиня была нужнее, чем он ей. Одевшись в солидное, визитное, не позабыв букет белых роз и белые перчатки, он появился в ее гостиной аристократом по всем статьям, от поклона до умения поцеловать руку знатной дамы, от сдержанности речи до полноты ответов на заданные вопросы.

Графиня попросила не чиниться и называть ее Варварой Федоровной.

Колесов поклонился не слишком низко, но достаточно учтиво.

После кофе с французским ликером и вяземскими пряниками графиня перешла к делу, спросив, что думает о ее заводе Петр Демидович.

Петр Демидович сказал, что завод стар и нуждается в больших затратах. И развил свое утверждение, оправдывая этим Столля, с которым не следовало пока портить отношения. Далее, усомнившись в целесообразности производить расходы, которые возместятся далеко не скоро, Колесов одновременно находил опрометчивостью продажу завода, которую Столль считал «печальной неизбежностью».

Этому не удивлялся Петр Демидович. Столль, обворовывавший завод, видимо, достаточно скопил для того,

чтобы стать из управляющих совладельцем завода. И ни с кем-то, а с Глебом Трифоновичем Стреховым, хозяином Векшинских заводов. Не случайно же Столль называл его фамилию как верного покупателя. Во времена основоположника уральской и прикамской промышленности Татищева Лутонинский и Векшинские заводы возродились как два звена единого предприятия. Одно превращало руду векшинского месторождения в металл, другое — металл в изделия. Так это было и теперь, когда казенные заводы стали принадлежать двум хозяевам. Векшинские — Стрехову, Лутонинский — Коробцовой-Лапшиной. Они, живя на одной реке, отрезанные от большой промышленности и железных дорог, зависели друг от друга.

— Заводчику Стрехову будет выгодно,— почтительно убеждал графиню Столль,— воссоединить разрозненное в единое целое. Так думаю я...

Так думал он. Но его намерения противоречили далеко идущим планам Петра Колесова. Поэтому Колесов сказал:

— Виктор Юрьевич прав, но Стрехов предложит за Лутонинский завод меньше, чем он при его плачевном состоянии может дать прибыли за пять-шесть лет, при условии надежных, постоянных заказов, а не случайных изделий, сбыт которых зависит от превратностей рынка. Виктор Юрьевич не может поручиться, в каком количестве могут быть куплены лемехи для сох, зубья для борон, колеса для тачек, гвозди, заклепки, скобы и все, что производит завод в расчете на этот коварно-вероломный спрос.

Графиня одобрительно кивнула. Это было доступно ее пониманию.

— И если, осмелюсь заметить вам, Варвара Федоровна, жалкие мастерские некоего Жуланкина оказываются способными иногда конкурировать с заводом,— слегка кольнул Столля и посмотрел в его сторону Колесов,— то, может быть, стоит подумать, как это происходит.

— А что бы посоветовали вы, Петр Демидович, чтобы нам с Виктором Юрьевичем знать, о чем нужно подумать?

— Извольте, Варвара Федоровна, мне вовсе не трудно повторить старую истину: делать скорее, лучше, а следовательно, и дешевле.

— А это возможно? — не утерпел молчавший до этого Столль.

— Если вам будет угодно, почтеннейший Виктор Юрьевич, я рад показать, как это делается, безвозмездно, из уважения к вам и моей глубокой признательности графине Варваре Федоровне.

Графиня после этих слов заговорила совсем по-купечески:

— Полноте, батенька мой, говорить о безвозмездности. Безвозмездно и в храме не молятся. Поговорим, как мы можем сделать это возмездно.

Она позвонила колокольчиком и спросила вошедшую горничную, готов ли стол, и, не дождавшись ответа, попросила Колесова и Столля в столовую.

В столовой после первой рюмки она пригласила Колесова стать шеф-инженером ее завода, «возмездным и паевым».

— У меня, как вы знаете, Варвара Федоровна, затевается свой завод, и я весь в нем. Но и при этом я могу стать полезным вашему заводу, если завод захочет быть полезным моему, смею заверить вас, святому делу. Я могу покупать половину производимого заводом и платить двенадцать рублей заводу за то, что будет стоить ему десять рублей. Таким образом, я гарантирую прибыль в двадцать процентов и при условии, если вторая половина изделий завода не даст дохода, как это случается, к сожалению, часто, завод выйдет с десятипроцентной прибылью.

После заливной рыбы разговор возобновил Столль. Ему нужно было выяснить, что именно закажет заводу Колесов, и по заказанному определить, что будет производить его таинственный завод, и он спросил об этом. Колесов теперь не скрывал:

— Я буду делать телеги. Мне понадобится все, что в телеге железное. Оси, втулки, колпаки, оковка. Но у меня условие — завод будет делать все это по моим указаниям и шаблонам. И я помогу заводу выполнять заказанное мною дешевле, в чем я заинтересован, потому что оплата будет не поштучной, а по сумме заводской стоимости! — Обратившись снова к графине, он указал на бокал: — Допустим, этот бокал заводу обходится в десять копеек — я плачу за него двенадцать. Но если я помог удешевить заводу его вдвое, я вдвое меньше плачу. Выгода бесспорна.

Графиня поняла и приняла предложение Колесова.

У Столля не нашлось возражений. Удешевленное изобретательным Колесовым можно продавать дороже другим. Продажа завода теперь не могла состояться. Но тут же, между заливной рыбой и ростбифом с кровью, Столль подумал о Жуланкине и увидел его банкротом, а себя ущемленным Колесовым.

В конце завтрака, перед мороженым с клубникой, Колесов успел заметить, что расчет в этот первый пусковой год он будет производить векселями. А после мороженого, поблагодарив за божественный завтрак и честь, оказанную ему, пригласил графиню снизойти до его именинного обеда.

— Мне, Варвара Федоровна, исполняется четверть века, но у меня нет кареты, которую я мог бы подать вам.

— Бог мой, я согласна приехать к вам на телеге!

X

Оттягивать свадьбу Эльзы, придумывать новые причины стало невозможным. Влюбленный Витасик Жуланкин, рыдая, спрашивает:

— Не разлюбила ли ты меня, моя птиченька?

— Разве это возможно? — лжет Эльза и разрешает стоящему на коленях жениху обнимать себя, приникать к ней, пьяниться ее запахами, не запрещает его нетерпеливым рукам брать свадебные задатки, но думает о потерянном Пете.

Есть еще надежда в день его именин вымолить у него последнее свидание, с которого она уйдет женщиной и, может быть, матерью, и это обяжет его...

Представляя себе, как и где произойдет ее встреча с Петей, продолжая стоять перед зеркалом, она не чувствует разгоряченных рук Витасика, не слышит его трепетного дыхания, уносится в желаемое и живет в нем, как в свершающемся.

Патрикий Шутемов думает в том же направлении, мечтая о возможном компаньонстве с Петькой Колесовым, после породнения с ним. Но если надежд на Петьку не будет, все равно Эльзе снова придется похворать. Открылась новая, третья свадебная негоция.

Неделю тому назад Шутемовы были на похоронах жены Глеба Трифоновича Стрехова, вдовец так пялил

глаза на Эльзу за похоронным обедом, что и дурак понял бы, о каком возмещении невозвратимой утраты думал грешник, знающий цену женской красоте.

А позавчёра, не находя себе дома места, Стрехов приезжал к Шутемовым в модном трауре пожаловаться на бездетное одиночество, не позабыв привезти Эльзе алмазную брошь, как памятное подарение от покойной Ольги Ивановны, которая любила шутемовскую дочь, как родную. Любила, как оказалось, покойница и Магдалину Григорьевну и завещала ей также на помин своей души жемчужное ожерелье. Можно ли Патрикию Лукичу не задуматься над этим, особенно после сказанного Магдалиной:

— Стрехов — это тебе не Витасик. И стреховские заводы не жуланкинские мастерские. Стрехов немолод, но у него нет наследников...

Жена повторяла мысли мужа, но, думая о журавле, нельзя было выпускать из рук синицу. Петька завтра открывает свой завод.

В петров день с утра, в ознаменование успешного, до срока законченного подряда на ремонтные работы завода, было большое угощение на берегу реки Лутони. Собрались все артели подрядчика Токмакова. В это же утро на башне заводских ворот к загодя вцементированным анкерным болтам было привинчено большое бронзовое, о двенадцати спицах, тележное колесо. По утолщенному ободу колеса отлитые вместе с ним буквы гласили: ТРУДОВОЕ ТЕЛЕЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ.

А по низу обода значилось: ТИХАЯ ЛУТОНЯ.

Что и к чему, теперь уже не надо гадать. Шутемовские лазутчики донесли Патрикию Лукичу все и во всех подробностях, а о саженном колесе особо. До спицы его пересчитали, до буквы перерисовали, и как его подымали, и сколько пудов оно весит, обсказывали взахлеб.

— Понял,— остановил Шутемов услужливых пересказчиков и выдал им по полтиннику.— В нутре надо знать, что у него, а наружу я сам увидеть могу.

Подозрения, в которые не хотелось верить Шутемову и которые он гнал от себя, сбывались. Тележное тавро Демидки Колесова стояло в рачьих глазах Патрикия Лукича. И смотрел ли он в окно или на стену, закрывал ли глаза, колесо было в них. Колесо было и в блюдце,

когда он пил чай, и на дверях, когда Шутемов выходил из дому.

Патрикий Шутемов утешал себя тем, что колесо еще не телега и телега тоже еще не товар. Надо, чтоб она легко катилась, ходко бралась и долго жила, а пока да что, нужно воспользоваться поводом и до больших вечерних гостей поздравить Колесовых с дорогим именинником, а Петьку с днем ангела и назвать его Петром Демидовичем.

Сахарное слово мало стоит, да дорого ценится.

Колесовы жили в небольшом одноэтажном, деревянном доме, обшитом в шашку тесом, украшенном резными наличниками, крытом железом. Ворота как у всех. Три столба. Три полотна. Два воротных, одно калиточное. На воротах все еще старая вывеска — тележное колесо. Так велось. Сапожник вывешивал сапог, пекарь — крендель, красильщик — синий холщовый флаг, бондарь — бочку. Вывески пошли позднее, но и они читались не по написанному, а по нарисованному. Коли на вывеске колбаса и окорок, так ясно, что это не аптека, также и господин в пальто или мадама в салопе без слов говорили, какое это заведение.

Колесо Демид Петрович не снимал, потому что хоть и считанные десятки телег, да делались в его когда-то шумной, веселой мастерской. А так что ж, без колеса? Кто ты такой? Почтовый нахлебник.

Человек до гроба должен кем-то быть.

Шутемов не пошел через гостевое крыльцо, хотя его дверь была заметно не приперта. Через двор попроще, посвойственнее.

На дворе стояло до десятка телег. Не загляделся бы на них только слепой. Одна другой краше, и все разные. Языком так не вылижешь. Мебельная пригонка, царская выделка, и разглядеть тянет, и останавливаться неловко.

Пройдя через черный ход, Шутемов еще в кухне начал распочтеннейшие поздравления. Не успев закончить своего певучего славословия, он должен был остановиться. Второй поздравитель принялся лить елей и воскурять фимиам пожеланий. Парамона Антоновича Жуланкина тоже обеспокоило бронзовое колесо, и ему небезразлично было знать, кто будет одевать колесовские телеги в железо.

Колесовы, облобызавшись с гостями на кухне, не провели их к себе: для этого надо было идти через большую

горницу, теперь переименованную в столовую, где был накрыт стол на считанное число персон, в которое не входили и не подходили ни первый, с бородой клинышком, ни второй, с бородой помелом.

— А мы вас ждали вечером, как положено,— не стал хитрить Петр.— Но дорогих гостей и два раза в день принять радостно. А пока прошу вас покорно посмотреть на отцовские телеги.

Можно было обидеться, но до этого ли, когда он так открыто повел себя с ними. Не таясь, не боясь, показывает им то, что другой держал бы под семью замками, за двенадцатью печатями.

— Вы первые судьи, тонкие ценители,— сделал Петр широкий жест, как бы показывая, что для них душа нараспашку.— Десять телег. Ругайте, хвалите, смейтесь, ищите изъяны — за все спасибо скажу,— поклонился он тому и другому поясным поклоном.

Начался злой, завистливый, зоркий осмотр.

XI

Демид Петрович тем временем вынес на двор небольшой круглый стол, одна из подряженных на этот день стряпух застлала его скатертью, другая принесла тарелки, приборы. Лукерья Ивановна прихватила на кухне первый попавшийся под руку пирог и, кланяясь гостям, пригласила к столу.

— Там складнее будет Петрушину заумь разглядывать. Честь и место!

Пока Демид Петрович разливал по лафитникам мадеру, притащили стулья.

— За что выпьем? — обратился к Жуланкину Патрикий Лукич.— За чудо-телеги или за чудо-тележника?

— Оси-то кто ковал? — спросил Жуланкин.

— Да мало ли в нашей Лутоне кузнецов...— уклонился от прямого ответа Колесов.

— Я о мадере, а он об осях. Поздравим наперед с днем ангела, днем возрождения хозяев дома сего, а потом скажем, что нас просят сказать. За трех Петров — за сына, за деда, за святого апостола Петра... Аминь!

Церемонно и смачно закусив пирогом, Шутемов принялся хвалить телеги, отмечая достоинства каждой, не обойдя мелочей, тут же предостерег Колесовых:

— Такие телеги, Петр Демидович, можно делать для наслаждения глазам, но не для коммерции. Эти краса-

вицы из красавиц могут получать медали и на иноземных выставках, стоять в кунсткамерах, славить руки русских мастеров, ублажать видом, но не умножать капиталы, вложенные в них. Не серчай на мою прямоту, Петр Демидович, и ты, мой кум, Демид Петрович.

Он что-то хотел сказать еще, но оба Колесовы поблагодарили его за похвалу и, как заметил Шутемов, не захотели выслушать его далее. Они обратили свой взор на Жуланкина, и тот понял, что теперь его очередь сказать свое мудрое слово.

— Оно, конечно же, ежели взять такую гайку да поставить на стол заместо черниленки, и губернатору писать из ней не зазорно. А ведь гайкино дело не красоваться, голубок мой Петенька, а не дать колесу соскочить с оси и не допустить хлябины.

На примере гайки Жуланкин принялся доказывать, что «дешево, да сердито» пользительнее «дорогого, да милого», ибо с телегой не целуются, а возят на ней кладь. И упредил:

— Я черен, да не ворон, и мне вчуже жалко накаркивать непогодь трудовому товариществу на паях, ежели пайщики в нем станут люди, пестующие телегу из года в год, по спице, по дрожине, как родное дитё, и болеющие за ее крепость, долговекость и малую цену.

— Золотые слова, Петрушенька, мы услышали от умудренных людей,— замял никчемушнее поучительство Демид Петрович и принялся снова разливать вино, но у ворот послышалось громкое «тпру».

Остановилась карета. Ее узнал Шутемов, увидев в просветы ворот. Послышался голос Столля и два женских.

— Прошу извинения, я встречу графиню,— бросил на ходу Колесов-сын.

— А она, Демид, с какой стороны гостья? — не удержался Жуланкин.

— По всей видимости, сватать Петрушу на завод,— отговорился Демид Петрович.— Я в эти дела не путаюсь.

— Та-ак,— промычал Шутемов.— Выходит, мы не в компанию попали.

— Да какая они нам компания! Хорошо, что вечером не прикатили, когда соберутся свои да наши. Связали бы по рукам и ногам. Ни выпей, ни закуси...

Шутемов начал догадываться. Его догадки усугубились после встреченного на улице кабриолета, в кото-

ром сидела Катя Иртегова в пышном ситцевом сарафане, с непокрытой головой. Кабриолет остановился у колесовских ворот.

— А ты, Парамон, говоришь, что у него гайки не те. Он, братец ты мой, в гайках толк знает и, по всему видно, умеет их навинчивать.

— Да будет тебе, Патрикий,— ободряя не столько Шутемова, сколько себя, изрек Жуланкин,— захотела овца волка съесть, да сама им была съедена.

Шутемов не отозвался. Его злила самоуверенность Жуланкина, возмущала болтовня, выдаваемая за мудрствование, сердили телеги под колесовским навесом, жгла обида угощения на дворе, мучил и приезд графини, ни у кого никогда не бывавшей в Лутоне — и вдруг: «Здравствуйте, мой милый друг Петр Демидович!», бесила и Катька Иртегова в ситцах и при бриллиантах незнаемо на сколько тысяч рублей.

В народе говорят: «Петр и Павел час убавил». Этот петров день убавил Патрикию Лукичу не меньше года жизни.

— Да не молчи ты, Парамон, вспомни что-нибудь из Священного писания.

— Не зря он тогда, на масленице,— ответил Жуланкин,— нарядился Сатаной. Надежда теперь, Патрикий, только на бога да на твою Эльзу.

— А на Эльзу-то каким боком?

— Уведет она Петьку от Катьки Иртеговой — и тогда конец его колесу.

— А как же твой Виталий без Эльзы?

Шагов через двадцать ответил медленно идущий Жуланкин. Ему хотелось избавиться от Эльзы, обезденежить Петьку и сохранить благополучие своих кузнечных мастерских.

— А что Витаська? Поревет месяц-другой, пожалуется своим птахам и женится на той же столлевской Стаське или его Катенька пожалеет. И пущай! А мы целы будем.

Еще темнее стало в голове Шутемова. В ней стало совсем темно, когда в легкой тележке мимо, не глядя на них, промчался Стрехов и тоже остановился у колесовского дома. А вдруг Столлева жена не зря сболтнула, что вдовый Стрехов может теперь не покупать «Лутоню», а жениться на ней? Вместе с графиней...

А вдруг?

XII

Косоворотка молодого Колесова и сарафан Кати задали тон обеду, а потом ужину. Развеселившаяся графиня соизволила остаться на вечер.

Петров день Колесовы праздновали еще при деде Петре хлебосольно и широко. Под навесом, забитым зимой телегами, распродаваемыми весной, ставились столы и скамьи. Гостей собиралось до ста человек, без разбора чинов и званий. За столы сажались рабочие тележной мастерской Колесова и господа. Господам на этот раз пришлось накрыть отдельный стол. Как-никак графиня барыня и Столль не простой господин. Ну, а остальные, как все, не обессудьте, знали, куда шли, какие тут порядки. Шутемов сунулся было за господский стол, но находчивая Катя Иртегова объяснила ему, что за этим столом могут сидеть только разговаривающие по-французски и что Патрикию Лукичу будет трудно сидеть молча.

Мадам де Столль, подтверждая это, заговорила с графиней на том французском, который заставлял вздрагивать художника мосье Дуарте, приглашенного сюда для зарисовок.

Эльза по праву села за «французский» стол, а ее Витасик на этом же основании был вынужден разъединиться с невестой. Она тоже была в сарафане. Петров день — национальный, народный праздник сенокоса, а вечер на дворе — это гармонь, камаринская, «Барыня», прикамская кадриль, переплясы. В бальное не вырядишься, будешь чужой.

Сарафан очень шел Эльзе, и Дуарте представил, как он изобразит эту русскую красавицу в рост у стога сена. Он непременно напишет ее портрет, и Париж оценит его работу.

Стрехов, будучи в трауре, не остался на веселье. По всей видимости, предположения Марины Столль были сущей выдумкой, чтобы поторопить свадьбу Эльзы и Витасика. Наверно, она не позабыла вспомнить о ней при Стрехове. Не случайно же, уезжая, он многозначительно сказал Эльзе:

— Счастливых вам танцев и еще более счастливого их продолжения...

После первой здравицы за именинника послышался далекий звон колокола. С этого дня на башне завода

товарищества он будет отбивать часы, как при старике Иртегове.

— Далеко теперь будет слышна слава нового завода,— льстиво одобрил звон Патрикий Лукич.— А интересно бы знать, кого и как будет принимать к себе товарищество на паях?

Петр знал, что такой вопрос ему кем-то будет задан, и если б этого не сделал никто, он бы произнес здравицу за процветание трудового товарищества. Затем и был зазван такой пестрый круг гостей, каждый из которых перескажет услышанное другим, другие — третьим, и будет широко известно то, что теперь не скрывалось, а, напротив, требовало гласности. Для этой цели был приглашен и либеральный «врид» Анатолий Петрович Мерцалов, сидящий за столом «аристократов», рядом с графиней.

— Я с удовольствием отвечу вам, Патрикий Лукич, и всем, кого может заинтересовать создаваемое нами трудовое тележное товарищество на паях.

Все притихли, перестали есть. Колесов продолжил:

— Товарищество создается с целью производить хороший, дешевый и самый распространенный народный экипаж нашего времени — телегу. В товарищество может вступить всякий желающий и умеющий с пользой для себя и для других применить свои руки. Вот эти, например,— Колесов поднял одной рукой руку Ефима Силина, а другой руку сидящего рядом с ним мастера Баклушина,— которыми сделаны пробные телеги,— он указал, и все посмотрели в сторону стоящих поодаль новых телег.— И если вы, Патрикий Лукич, или вы, Парамон Антонович, или ты, Виталий, захотите приложить к общему делу свои руки, а не капиталы, то ворота трудового товарищества открыты и для вас.

— А как же без капиталов, Петр Демидович, когда на колесе отлито: «Товарищество на паях»? — спросил мыловар Сорокин.

— Там же, на колесе, есть слово и «трудовое». Это первое слово фирмы. Значит, и паи предполагаются трудовые. Сколько вложил труда, столько и получил, а в конце года распределение прибылей по трудовым паям. Поясню. Если вы, Патрикий Лукич, или ты, Виталий, заработали на заводе за год по тысяче рублей, а чистая прибыль завода составила полтинник на каждый рубль, значит, вам предстоит дополучить еще по пятисот руб-

лей. Поэтому каждый будет стараться больше сделать, чтобы больше заработать. И всякий в этом «Колесе» — спица, заинтересованная в убыстрении оборотов своего «товарищества», в облегчении своего труда. Добросовестность трудового взаимодействия всех будет главной силой товарищества, обман хотя бы на полушку лишит работающего уважения остальных и трудового места на заводе. Так что милости просим, Патрикий Лукич... А теперь,— обратился он ко всем,— прошу выпить за день рождения нового колеса в большой телеге нашего отечества и за его первого трудового пайщика самородного механика Павла Гавриловича Лутонина, такого же, как и я, именинника в этот петров и павлов день.

Отменный бас мыловара Леонтия Сорокина пропел «многая лета», его поддержали все, кто хотел многих лет товариществу и кто проклял его в этот вечер.

Катя Иртегова, оживленно перебегая от стола к столу, заменяла не любившую шума и веселья Лукерью Ивановну Колесову, угощала гостей, не думая, как и кем это будет понято и оценено. И Эльза, обозленная вечером и услышанным на нем, попыталась уколоть Катю, подававшую на стол вместе с другими девушками, нанятыми для помощи, громко похвалила ее:

— Ты так резва и расторопна, Катюша, как будто сегодня не петров день, а екатеринин...

— Ты угадала, мой ангел. Сегодня мой день... И я делаю все, чтобы стать приятной Петру Демидовичу. Сейчас, например, я, как только поставлю на стол это блюдо, приглашу тебя и Петра Демидовича начать пляски.

К Эльзе был подведен именинник.

— Красивее пары не найти во всей нашей Лутоне. Господа,— обратилась ко всем Катя,— посмотрите, как они дополняют один другого.

Танца не получилось. Эльза еще надеялась, что, танцуя с Петей, она сумеет что-то шепнуть ему, завлечь его, добиться встречи, но сам вид Пети, принужденного танцевать с ней, неприязнь в его глазах остановили ее. Оба безжизненно, будто выполняя тяжелое поручение, прошлись два круга под гармонь и вернулись на свои места.

Шутемов, следивший за дочерью, понял, что с Колесовым ей больше не станцеваться, и пересел за стол к Жуланкиным.

— Теперь по справедливости второй именинник,— поклонилась Катя Лутонину.— Павел Гаврилович, вам

бьет челом резвая и расторопная девка Катюшка Иртегова и просит показать добрым людям, как надобно плясать именинникам. «Барыню»! — приказала она гармонистам и запритопывала, априплясывала, как это делают заводские озорницы, зазывая в пляс.

За столом опять перестали есть. Кому было не интересно увидеть, как иртеговская внучка в сарафане, сверкая алмазами, поведет себя в пляске с Лутониным...

Степенно начался знакомый перепляс. Как на коньках по льду, проскользила по каменным плитам двора Катя, опустив ресницы, будто боясь взглянуть на приманиваемого ею добра молодца.

С легким притопом прошелся и Лутонин, подкручивая то левый, то правый отсутствующий ус, веселя этим и простых и знатных.

Катя, показав, как длинны ее ресницы, теперь показывала, как веселы ее большие серые глаза, подняла их на Лутонина и, спохватившись, снова опустила их долу.

Во втором круге она, будто сдерживая прыть ног и движения рук, не давала им воли, а они как бы помимо нее выбалтывали, как много у них в запасе плясового огня, который они вынуждены гасить.

Такой Эльза никогда не видела Катю.

Сюжет «Барыни» нарастал и развивался по мере ускорения темпа несложной мелодии, расцвечиваемой новыми вариациями знающих смак в музыкальных переливах гармонистов.

От ленивого, легкого дуновения теплого ветерка, шевелящего луговые травы, гармонисты постепенно переходили к свежему ветру, порывы которого завихряли Катин сарафан, побуждали Павла Лутонина не поддаться в плясе зачаровывающей его жар-птице, притворившейся до этого маленькой серой уточкой, а теперь ожигающей его разгорающимся пламенем пляса.

Гости повыскакивали из-за столов. Гармонисты из последних сил рвут мехи, еле успевая за пляшущими.

Пляска и музыка оборвались враз. Рев и ор! «Шарман» и «браво»! Сдержанный шелест рукоплесканий ручек и громкое хлопанье сильных рабочих ладоней. Катя и Павел, взявшись за руки, как это делают артисты, раскланялись публике.

Вечер кончился поздно. Кто-то заснул за столом и опохмелялся там же утром. Кого-то увезли. Иные пошли восвояси, держась друг за друга. А кто-то и уполз.



XIII

Красный петров день кончился, и начался день обычный. В Лутоне запахло сеном. Торопливые хозяева, боясь дождей, начали косить до сенокосного праздника. Почти в каждом дворе корова. Держали ее и Колесовы. Свое молоко надежнее, хотя и дороже. Лукерья Ивановна была не в тех годах, не такой комплекции, чтобы садиться под корову. Ходила за коровой детная вдова из обездоленных. Каждая третья кринка — ее. И ей хорошо, и богу радостно, и Лукерье Ивановне без забот. А их было много и прибывало день ото дня. Ломалось привычное. С приездом Петруши все стало по-другому. Жили тихо. Никому не мешали. Получали с почты положенное. Делали бескорыстные любительские телеги, для Демидовой души, а теперь завертелась жизнь. «Па-

ратьнюю» дверь хоть не запирай. Сегодня с утра приехал какой-то чиновник из губернской управы насчет конюшен.

Конюшни, относительно которых зашел чиновник из губернии, были возведены при Екатерине Второй, вскоре после пугачевских волнений. По многим заводам строились тогда казармы. Стоял и в Тихой Лутоне кавалерийский эскадрон, после которого остались пустующие конюшни, прозванные Екатерининскими, как и плац перед ними. Плац превратился в базарную площадь, а конюшни превратить было не во что. Пробовали — не получалось. Продать? Кому? Подо что? Да и кто знает, может быть, придет время — в Лутоне снова появится воинская часть.

Так и стояли конюшни, пока Колесов дошлому начальнику почты Красавину не посоветовал подсказать губернскому начальству сдать конюшни под склад для телег. Если бы сам Колесов обратился с просьбой, то в губернии сумели бы заломить цену. А теперь основатель трудового товарищества, угощая чиновника, неопределенно отвечает на его предложение.

— Обойтись можно и без них, тесовым складом, а если аренда будет недорогой, отчего бы и не взять...— повторял Колесов-сын неторопливую манеру отца вести деловые разговоры.

Губернский чиновник скоро договорился с Колесовым, потому что подошел к завтраку приятный увещеватель Алексей Алексеевич Красавин и «убедил» Петра Демидовича взять конюшни на десять лет в аренду, оплатой за кою будет обновление крыши, оштукатуривание и окраска фасада, а также приведение здания в надлежащий вид внутри.

Петру Демидовичу не пришлось благодарить чиновника, это сделал Красавин. Оставалось пригласить подрядчика Токмакова и показать ему, что и как должно быть сделано, да послать телеграмму в Векшу, меднолитейному заводу,— повторить по той же модели отливку эмблемы товарищества.

Токмаков скоро перетер стены и покрасил их золотистой охрой, выделив белым колонны и наличники окон. Крыша не была еще докрыта полностью, когда на фронтоне появилось бронзовое колесо трудового товарищества на паях, а ниже его, в цвет ему, крупными буквами: ТЕЛЕЖНАЯ ВЫСТАВКА.

В ильин день, начало недельной ярмарки в Тихой Лутоне, куда съезжалось много простого и торгового люда, был открыт доступ на выставку. Там на помостах стояло десять телег, установленных так, что каждое колесо можно было «крутануть» для проверки хода, рассмотреть оси втулки снятых левых колес. Телеги были окрашены наполовину, только с одной, правой стороны, чтобы посетитель мог видеть дерево, крепления в отделке перед покраской. И все было представлено так, что разглядывающий телегу мог оценить ее достоинства и недостатки.

Телеги показывали сделавшие их Ефим Силини и Яков Баклушин. При входе посетителям давались марки, такие же, как на масленичном маскараде у Шутемовых. Смотревший выставку, должен был опустить свою марку в щель одного из десяти ящиков, установленных на телегах. За это опустивший марку получал книжечку с описаниями и рисунками телег, которые поступят в продажу с зимы этого года. Цена не называлась, но предупреждалось, что качество телег не будет ниже выставочных, а цены не будут выше рыночных.

На особом листке сообщалось, что желающий приобрести или заказать телегу может внести три рубля задатку и получить его обратно в том случае, если предложенная ему телега не понравится или покажется дорогой по цене.

Покупать заглазно телегу, без цены, да еще ждать, веря на слово,— выглядело глупостью, рассчитанной на дураков. Шутемов от души потешался и хохотал на ярмарке, зная главного потребителя телег — мужика, выторговывавшего каждую копейку, покупая на ярмарке готовые телеги Шутемова. Но магическая сила колесовского тавра, теперь сверкающего в лучах солнца над выставкой, обязательство с фирменной печатью возвратить деньги по квитанции, если того пожелает покупатель, боязнь, что весной таких телег может не оказаться в продаже, и, наконец, живой пример заказа телег загодя справными хозяевами привлекали и осторожных тугодумов.

Придирчиво рассматривая каждую из телег, мужики заинтересованно обсуждали, какой из них отдать предпочтение, долго раздумывая, прежде чем опустить в щель ящика свою марку.

Дочка начальника почты Настенька Красавина ста-

рательно выводила фамилию заказчика на фирменной квитанции с тем же колесом, проставляла порядковый номер, поздравляла с покупкой и, получив три рубля, ставила жирную фиолетовую печать, просила на случай потери квитанции запомнить номер и называла его. Затем на черной доске прибавляла мелом единицу против слова «заказано» и убавляла ее после слова «осталось в продаже».

На третий день ярмарки цифры заказанных и оставшихся в продаже телег сравнялись. Пятьсот и пятьсот. На четвертый день к полудню Настенька торжественно вручила тысячную квитанцию старику в лаптях и объявила:

— Вам не придется ни копейки доплачивать к вашей тысячной телеге.— Затем крупно написала наискось квитанции: «Тысячная бесплатная».

Счастливый старик бегал по ярмарке и показывал квитанцию на даровую телегу.

А Настенька крупными буквами вывела на доске: ЗАКАЗЫ ПРЕКРАЩЕНЫ. Довольная своим положением представителя и пайщика трудового товарищества, она с сожалением отказывала толпящимся заказчикам:

— Наше трудовое товарищество выдает только те обязательства, которые оно может гарантировать.

Шутемов из пятисот телег, предназначенных к продаже на ярмарке, продал немногим больше половины. Надеясь на сбыт оптовикам, постоянным перекупщикам, он заключил немногим более четверти намеченных сделок, да и те под расписки.

Зима обещала быть плохой. А он поназаказал своим поставщикам ободьев, спиц, ступиц и колес в сборе чуть ли не в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. И всем им нужно будет платить чистоганом. Положим, у него найдутся деньги, а что потом?

Кто мог подумать, что так взлетит Петька Колесов, дававшийся в руки Эльзе. Влюбленный тогда по уши в нее, он мог бы приписать к его капиталу вожделенный нолик, а теперь он затягивает его, Патрикия Шутемова, как собаку, в свое «Колесо».

Лазутчики доносят, что Петр Колесов занят пуском станков и не изволит принимать оптовиков, предлагающих ему не векселя, а живые деньги. Ведет торг Демид Колесов и как одолжение, как милость именитым куп-

цам, обещает продать сотню-другую телег, как только товарищество выяснит цену.

— А так что же, милостивые государи, хватать задатки, а потом краснеючи отдавать их обратно? Конечно, из уважения, в прогляд на предбудущее, можно взять десяток-другой тысяч под беспроцентные векселя, памятуя, что телеги дадут больше.

И деньги переводились на счет товарищества.

С разбором принимались и люди в товарищество. Добросовестность — первое условие. С повинной пришел Корней Дятлов, мастер-чудодей, переманенный некогда Шутемовым у Демида Колесова.

— В ногах валяться всякий может, Корней,— примирительно сказал ему Демид Петрович.— Ты уволься наперед у своего хозяина, а потом видно будет.

XIV

Корней с большой радостью уйдет от неблагодарного Шутемова, которому он, Дятлов, поставил дело. Хозяин не ценил его ум и труд, десяткой благодарил за то, за что и сто рублей было малой платой. Дятлов пойдет теперь в товарищество самым простым тележником, лишь бы расстаться с тяжелой и ненавистной должностью подгонялы, обязанного заставлять надрываться шутемовских рабочих.

Сам Шутемов, проходя по мастерским своего заведения, и слова плохого не скажет рабочему, ободрит смешком да улыбочкой, отблагодарит поясным поклоном старательного труженика, а потом вечером час-другой пропесочивает Дятлова, ставя ему в вину каждый изъян, каждую замеченную промашку. Много курят. Мало работают. Большой отход. А Дятлов стоит, как нашкодивший малец,— и: «Будет сделано, Патрикий Лукич», «Как изволите, воля ваша».

После ярмарки злой и пьяный Шутемов требовал подобрать ключи, найти ходы-выходы, чтобы телега подешевела в работе и похорошела видом. А как она может подешеветь и похорошеть, когда руки, одни руки — и ни одного станка?

От Колесова Дятлов пришел к Шутемову и сказал:

— Был в «Колесе», просился на работу — не взяли. Теперь дроги тесать наймусь в захудалую артель. Ящики сколачивать пойду к Сорокину на салотопенный завод, к Столлю модельщиком наймусь, а тебе, Патрикий

Лукич, служить далее не могу. До конца месяца отбарабаню, а там как знаешь. Можешь и не платить.

Шутемов терял человека, на котором держалось все, заменить которого было некем. Твердость решения Корнея Дятлова не обещала, что его удержит надбавка четвертного билета в месяц. Если уж вышел он из покорности, если сел неприглашенным на стул, значит, можно его удержать только большим рублем.

— Крут я с тобой был, Корней Евстигнеевич,— назвал он Дятлова по отчеству.— Дело требовало. Винюсь. Не словами винюсь. Двойным жалованием и пятьюстами рублями на приданое дочери.

— Патрикий Лукич, три жалованья не возьму. Шайку золота не надо. Богатей без меня. А я умер для тебя. И ты для меня умер, Патрикий Лукич.

— Тогда не о чем и говорить, если мы друг для друга покойники, возьми за упокой наших душ.

Шутемов открыл несгораемый шкаф и подал Дятлову сто рублей.

— Сдачи не надо, Корней.

— Я не трактирный половой, Патрикий Лукич, к чаевым не привык. Да и тебе теперь деньги надо строже считать. С меня, стало быть...— Он высчитал до дня заработанное и оставил на столе десятирублевку и полтинник серебром.

В этот же день в контору товарищества прибегал Парамон Жуланкин. Он тоже начал с просьбы не помнить старые обиды.

— Я и не помню их, Парамон,— усадил Демид Петрович Жуланкина.— Коли ты гостюешь у меня и Виталик твой у нас как свой, так что же нам старое помнить? Ну, отказал ты мне в оковке телег, посадил меня на мель,— разве в этом твоя вина? Не мы жизнью правим, она крутит нами. И если ты пришел предложить товариществу железную обужу-одежу для телег, то я тебе опять то же на то же скажу: не мы жизнью правим, она крутит нами. Графинин завод будет обувать и одевать телеги товарищества.

— А если я дешевше возьмусь, Демид Петрович?

— Не берись. Руками дешевле машины не сделаешь. Машина хрясь — и шайба. Пока ты одну гайку куешь, завод дюжину выработает. И с железом тебе, Парамон, туже будет. Особенно с шинным. Успеет ли Столль накатать его по договору для товарищества?

Жуланкин ушел ни с чем.

Отобрав после выставки призовые телеги, получившие большее число марок, Петр Колесов, мастера, зная все замечания, пожелания и требования, сконструировали телегу-образец и запустили на «передачу» пробные образцы.

Не все ладилось на «передаче». Этот прообраз конвейера требовал точности, слаженности, изготовления приспособлений, мерительных шаблонов, чтобы одна в одну были каждая ступица, спица, дрожина, подушка и все части, составляющие телегу, позволяющие собирать ее без пригонки, подтески, что называется «раз-два».

Такой же точности требовали и металлические детали телеги, поставляемые заводом графини. У Столля никогда еще не было более привередливого заказчика. Точность, ничтожные допуски, проверка по образцам сделанного затрудняли выполнение заказов рабочими, привыкшими делать на глазок и кое-как, лишь бы сбыть. Но, требуя с завода, Колесов многое и давал ему, усовершенствуя технологию, широко внедряя штампование, вводя литье там, где можно обойтись без кузнеца, изобретая новые формы для точных отливок, не требующих дополнительной обработки деталей.

Все это, удешевляя стоимость изделий, было выгодно товариществу, платившему по уговору двадцать процентов наценки. Но чем дешевле становились заказанные изделия, тем труднее приходилось заводу-поставщику. Падала весовая стоимость переработанного железа. Тот же пуд, превращенный в тележные гайки не ручным, а механизированным колесовским способом, теперь давал меньший доход заводу. Высвобождались рабочие руки, которые нечем было занять. Производительность подымалась, а оплата уменьшалась.

Столль понимал, что Колесов, обогащая завод технически, наносит ему экономический ущерб. И он шел на это. Он хотел убедить графиню в неизбежности продажи завода, который и при усовершенствованиях инженера, в гений которого поверила графиня, не обещает процветания.

Так же считал и Петр Демидович, только видел он иного покупателя, нежели Стрехов, но пока не делился этим ни с кем, боясь «сглазить» задуманное.

— Борьба с капитализмом внутри страны может вестись только капиталистическими методами,— продолжал

свой спор с Павлом Лутониным Колесов.— К весне перестанут существовать Шутемов, Жуланкин и его вассалы.

— Это все так, Петя... Перестанут существовать Шутемов, Жуланкин и кто-то еще. Пусть десять, пусть двадцать капиталистов и капиталистиков. Но перестанет ли существовать капитализм? Станут ли лучше жить миллионы обездоленных и порабощенных России?

Колесов ответил уклончиво:

— Кто знает... Все начинается с малого. С «прялки Дженни» начался промышленный переворот в Англии. Крышка, подпрыгивающая на кипящем чайнике, породила паровую машину, а за нею и век пара. Стрелка компаса открыла Америку. Почему же не может оказаться наша тележная фабрика пионером низвержения капитализма изнутри?

С увлеченным Колесовым было бесполезно спорить. Павел понимал, что его друг находится под влиянием идей глашатаев русского утопического социализма. Лутонину очевидным было и то, что доведенный до крайней нищеты, полуграмотный рабочий люд пребывает в плену надежд на экономические улучшения.

— Время рассудит нас, Петя. Я верю, что рано или поздно ты найдешь и увидишь настоящие, короткие и прямые пути в социализм.

Колесов раздраженно заметил:

— Если ты знаешь их, так и веди по ним. А я поведу по своим. И мы разойдемся добрыми друзьями.

— Нет, зачем же нам расходиться, Петя. Мы не враги. Ты помогаешь и поможешь развеять призрачные идеи людей, борющихся за маленькое благополучие и неспособных пока видеть огромного мира, всеобщей борьбы...

XV

Живущая на отшибе Лутоня все же не была совсем отрезана от большого мира, хотя окном в него оказывалась почти одна почта. Лутонинцы редко бывали в больших городах. Немногочисленные газеты и журналы свидетельствовали о том, что жизнь не очерчена сферой действия шутемовских интриг, притеснений Столля и первыми успешными шагами товарищества.

Нет. Где-то закончилась англо-бурская война и туманно замышлялась другая — русско-японская, где-то

шли переселения малоземельных крестьян в многоземельные губернии Сибири, проповедовалось рациональное ведение хозяйства, рассказывалось о короновании каких-то незнаемых их величеств. Еженедельная «Нива» показывала на своих страницах, что и где происходит. «Биржевые ведомости» каждодневно извещали о больших и малых событиях, о превратностях колебания репутации фунта стерлингов, о прибыли в августейшем семействе еще одной дочери и об интересном кооперативно-промышленном начинании инженера Колесова в заштатном городке с ласкающим великоросское ухо названием Тихая Лутоня.

Нет, нет... То, что Лутоня живет сама по себе, казалось только тем, кто, пренебрегая увещеваниями Алексея Алексеевича Красавина, не подписывался на газеты и журналы. Колесов их выписывал достаточно, а Катя — бездну. Выписывал Петя и книги. Сегодня он получил 72-й том энциклопедического словаря «Брокгауз и Ефрон», от «Франконской династии» до слова «Хаки». Почти три четверти тома были отданы словам, начинающимся с «фран», и том вполне можно назвать французским. Значительную часть в нем занимали «Фридрихи». Фридрихи самые разные — I, II, III, IV, V, VI... Фридрихи «великие», «малые», «прекрасные», «укушенные», «благочестивые» «строгие», «воинственные», «победоносные», «кроткие», «мудрые»... Фридрих «одноглазый», Фридрих «сереброногий», Фридрих — «железный зуб». Фридрих — «пустой карман» и даже Фридрих — женщина, императрица, принявшая во вдовстве имя своего покойного мужа — императора германского Фридриха III.

Шестьдесят шесть Фридрихов, занимающих сорок страниц словаря, насчитал Колесов.

Боже мой! Шестьдесят шесть тезоименитых Фридрихов! Как перенаселен ими том словаря, и в нем одно лишь нужное для Колесова слово — «Фреза», полезное для тележного завода, как и рисунки фрез и фрезерных станков... Значит, не зря плачены деньги за том... А Эльза, между прочим, тоже на «Фэ». Фальшивка... Фикция... Флюгарка... Фурия... Фуфырка... Фитюлька... Фи!

Больше у Пети не нашлось оскорбительных слов для нее и для Шутемова. Шутемов вместе с Жуланкиным шел на все подлости, подвохи, клевету, глумление, провокации, подметные письма против товарищества. И в

отместку было справедливо и нравственно оправдано любое наказание. И оно родилось в Пете, родилось как самооборона, как противоядие.

В начале зимы началась выдача телег из заказной тысячи. Выкупившие их очень хвалили обновки, но жаловались на цену. Жаловались, но внесенных трех рублей не требовали. Из этого можно было заключить, что телеги стоят назначенной цены.

Доподлинную цену телеге знал только сам Петр Колесов. И однажды он «под хмельком» поделился с Алексеем Алексеевичем Красавиным:

— Кажется, мы зря продали нашу «почту».

Любопытный и пронырливый Красавин поинтересовался:

— У вас так пошло дело, Петр Демидович. Из рук рвут ваши телеги.

— Но если б вы знали, дорогой Алексей Алексеевич, сколько докладывает наше товарищество к каждой телеге. И чем больше мы делаем их, тем больше растет убыток. Это я вам доверительно,— предупредил Колесов,— не дай бог узнать эту тайну нашим озлобленным конкурентам.

Вечером Алексей Алексеевич продал «тайну» Шутемову за бутылку романеи и ужин. Он попросил Шутемова поклясться не выдавать приятного для него известия.

Шутемов плакал от радости, молился на образ Николая-чудотворца и подарил начальнику почты бобровую шапку.

Нужно было не зевать, лазутчики донесли, что товарищество думает приостановить выработку телег и уже уменьшило дневной выпуск. Через два дня Алексей Алексеевич принес новые сведения, и лазутчики подтвердили их.

— Склады товарищества забиты телегами. Ждать весны, ждать цены у товарищества нет возможностей,— тут же осторожненько подсказал он.— Колесов готов их сбыть с убытком, лишь бы выпутаться из долгов.

Шутемов пообещал Красавину к шапке шубу с бобровым воротником, если он выведает крайнюю цену при закупке всех телег, что имеются на складах.

Красавин это сделал легко. Шутемов, прикинув, подсчитал, что хорошая телега товарищества обойдется не дороже его телеги. И если им будет скуплено все, он хозяин рынка. Товарищество не будет лезть в новый

убыток и производить дорогие телеги. Но едва ли Колесов захочет продать Шутемову свои запасы. Это можно сделать только через третье лицо.

Ночной совет с Жуланкиным. Подсчитаны наличные. На векселя погрязшее в векселях товарищество не пойдет. К утру нашлось подставное лицо — купец первой гильдии Адриан Кузьмич Кокованин. И в долг даст, и в пай войдет. Утром пара, запряженная гусем, умчала Шутемова в село Бишуево — столицу саней, кошевок, сох и борон, где безраздельно княжил владетельный богатей Адриан Кокованин. Это было его село, и вся округа работала на него.

Пузатый вельможа в атласном стеганом, отороченном собольим мехом халате думал тихо, но решал твердо.

— Скупить до последней телеги!

И по скрипучей декабрьской дороге помчался в Лутоню крытый возок с обогревом. Не у Шутемова остановился осторожный князь саней и сох, а у давней, хотя и далекой родни — у Екатерины Иртеговой.

— Принимай гостя, Катенька, принимай гостевые пушные дары. Семь куниц! Дюжина лисиц! Пусти на ночлег.

Через Катю был зазван Колесов. Не к нему же в чертово «Колесо» пойдет на поклон сам-семь пуд Адриан Кузьмич Кокованин.

Колесов пришел в скромной бекеше, робко вошел в знакомую гостиную, почтительно поздоровался с Кокованиным и совсем по-приказчичьи спросил:

— Чего изволите, Адриан Кузьмич? Чем могу быть полезен?

— Господин Колесов, мы, будучи наслышаны о вашей тележной переизбыточности, намерены ослобонить вас от тяжкого бремени в ожидании дальних-предальних вешних вод.

— Да,— так же почтительно признался Петр Демидович,— у товарищества негде хранить телеги. И к тому же, досточтимейший Адриан Кузьмич, товарищество ищет путей удешевления и улучшения производимого им, а на это, признаюсь, нужны капиталы.

— Как водится. Без капиталов по нашим временам и...— не стал договаривать он.— А почем вы хотели бы без запроса и наличными? Беру до последней.

Колесов назвал цену.

— Дорого.
— Столько дают.
— Кто?
Колесов назвал фамилии.
— Что ж ты не продашь им?
— Не хочу векселей!
— Вексель не деньги, господин Колесов. А если они нам взаправду нужны, то вот моя цена.— Кокованин полез в карман, достал пухлый бумажник с золотой монограммой «А. К. К.» и медленно, трешницу за трешницей, стал выкладывать веером на столе предложенную цену, потом, махнув рукой, положил серебром рубль и сказал: — Ни гроша больше.

Это была та цена на телегу, которую назвал Колесов Красавину.

— И ни рубля больше?
— Нет.
— И ни полтинника? — жалостливо торговался Колесов.
— Нет.
Колесов отошел к окну, подышал на замерзшее стекло и, обернувшись, спросил:
— И ни четвертака?
— Нет.
— Если бы знали, сколько стоит телега товариществу, Адриан Кузьмич.— При этих словах Петр переглянулся с Катей.
Катя улыбнулась.
— Я согласен.
Кокованин подал зеленый веер и вручил рубль.
— Задаток. Екатерина Алексеевна, святая душа, разними руки да дай чем обмыть покупку.
На другой же день появился в конторе товарищества Шутемов.
— Пришел понятым и браковщиком.
— Лучшего знатока и не найти,— встретил Шутемова Демид Петрович.— Только браковать нечего, Патрикий Лукич. Работа машинная. Все как одна.
— Стоит? — спросил о заводе Шутемов.
— Переустраиваемся. Дешевле хотим, а как оно выйдет, сказать не могу.
— Дело не легкое, но я верю в Петину звезду,— открыто солгал Шутемов, радуясь прогару завода.

Обоз за обозом въезжал в широкие ворота тележного завода.

Новенькие, блестящие тележные комплекты, перевязанные лыком, считались и записывались счастливым Шутемовым. Ненавистное тавро, которым мечена телега и каждое ее колесо, теперь смеялось недостающим нолем, и Шутемов думал-гадал-прикидывал, сколько сумеет он взять за каждую из красавиц, как только март пустит свои первые ручьи. Он и до Нового года еще успеет сбыть мелким перекупщикам малую толику телег на текущие траты.

Ушел последний обоз. Осталась последняя телега.

— Дарю на разживу, Патрикий Лукич,— подвел его Демид к неуложившейся телеге.— Не продавай ее. Оставь на погляд. Спицы, как у царевой колесницы. Эхма!.. Кабы денег тьма, посветлее бы было на улице.

— Что ж теперь будет с товариществом? — не без ехидцы спросил Шутемов.

— Что теперь? То же, что и раньше. Искать, пробовать, удешевлять. Не забудь после вешних прибылей рюмку поднести,— протянул руку Демид Колесов и проводил Шутемова до ворот.

XVI

С вечера, с первой сочельнической звезды, начали справлять рождество Шутемовы. В новой шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке пришел Красавин поздравить с удачей.

Веселая получка была в этот же рождественский сочельник у пайщиков трудового товарищества. По шестьдесят одной копейке на заработанный рубль выдавалась прибыль. У кассы творилось невесть что. И слезы и хохот. Непонятная продажа телег, молчаливость Петра Демидовича, скрытность старика Колесова действовали на рабочих угнетающе. Шутемовские подпевалы смеялись: «Скорым катом колесо покатилось, да набок свалилось», «Веселым-весело было у сказки начало, да по усам текло, а в рот не попало». И остановка завода, установка новых станков тоже говорили о том, что допущены какие-то промахи. А теперь выяснилось, что все это не так, что не мог Петр Демидович открыть свою задумку, когда столько чужих ушей.

Радость во всех домах рабочих товарищества. Таких

получек за всю жизнь не видывали их жены, матери, отцы, бабки. Гусь в печи, пироги на столе, белая мука в кладовке, две даровых четвертных бутыли иртеговской водки — разве это прогар? И каждому поздравительная карточка, лично врученная Петром Демидовичем, с получением первых прибылей, с наступающим многообещающим Новым годом.

Что же это? Тоже сказка? А шестьдесят одна копейка на рубль, шестьдесят один рубль на сотню — это не по усам текло, а в дом пришло. Кто не верит, может пересчитать.

Корней Дятлов всю дорогу от завода до дому держался за карман, а придя домой, положил на стол кучу денег.

Шестьдесят одна копейка прибавки на заработанный рубль!

Эти семь слов в Тихой Лутони повторялись тысячи раз в каждом доме, кроме шутемовского. Там слушают теперь только себя. Там теперь поклялись соединиться и образовать новую фирму «Шутемов, Жуланкин и К⁰», которая купит завод товарищества, когда он догорит. А «шестьдесят одна копейка на рубль» — это пыль в глаза, это последняя уловка Петьки сохранить себя в глазах кредиторов.

Радостными, обнадеживающими были первые три дня рождества, а на четвертый день святки помрачнели. Мимо шутемовского дома потянулись обозы с ободьями, спицами, связанными по сотне в пачку, с заготовками для ступиц. Лазутчики-счетчики Шутемова насчитали тысячу прибылых возов за пять дней. И завод не стоит ни часу. Пакуются новые тележные комплекты. Введена смазка осей без снятия колеса, через дыру в ступице, специальной медной выжимной масленкой.

— Как это понимать, Алексей Алексеевич, господин Красавин?

— Плохо надо понимать, Патрикий Лукич,— недоумевает главный лазутчик.

— С какой стороны плохо-то?

— И не пойму. То ли с той, то ли с этой. Либо с отчаяния Петр Демидович на убытки идет, либо удешевил. Вернее всего, что так. Он, говорят, на рубль сбавил цену на каждую телегу, а на простую без окраски,— на два рубля.

— Да какое же он имел право? — взъелся Шутемов.

— На это право нет управы. Кто может запретить товариществу за полцены продавать телегу? Коммерция — темный лес, Патрикий Лукич. Коммерция не почта, где все неукоснительно и по статьям.— Красавин говорил так, что его трудно было понять, сочувствует он или радуется. А если сочувствует, то кому?

На бывших Екатерининских конюшнях появилась большая вывеска, объявляющая зимнюю цену телегам. Зимняя цена устанавливалась с января до конца марта. В январе телега стоила на два рубля дешевле летней цены. В феврале — на полтора рубля. В марте — на рубль. И по всему фасаду на полотнище надпись: «ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ!»

К торговле приставлены два инвалида. Продажа простая. Сдай деньги на счет товарищества. Почта рядом. Принеси ярлык — и грузи тележный комплект на сани. Надо десять тележных комплектов — иди на завод. Там оптовая скидка.

Никогда телеги не шли зимой, а теперь и в простые, небазарные дни торговля. Не нахваливай, не торгуйся, не проверяй приказчика, не прикарманил ли он от выручки. Отчет тоже простой — почтовые ярлыки.

— Как же так, Петр Демидович? — спросил, встретив его на улице, Шутемов.— Унизил цену, а мы теперь как с телегами?

— Я не насылал их вам, Патрикий Лукич, и никому не обещал останавливаться на прежней цене. Не ездил и в Бишуево предлагать телеги Кокованину. Товарищество будет и впредь снижать стоимость новых телег, улучшая их. Мы следуем вашим советам. Товарищество не мешает вам торговать по вашей цене, как и вы не можете помешать ему довольствоваться малой прибылью или даже терпеть ущерб в надежде наверстать сегодняшние убытки завтрашними прибылями. Так что вина перед вами товарищества только в том, что его телеги лучше. Совершенствуйте и вы свое производство. Вводите станки, пригласите опытного инженера и конкурируйте. Это же главный закон капитализма. К весне мы, может быть, не успеем изготовить достаточное количество телег и снова удешевить их,— тогда продадите и вы свои.

Колесов издевался вежливо. Он знал: Шутемов будет вынужден продать свои телеги с большим убытком. К весне трудовое товарищество заполнит рынок улуч-

шенными, универсальными телегами. Об этом нужно будет сказать теперь же Шутемову. Ему уже не опередить товарищества, телега которого стоит почти вдвое дешевле продажной цены. Колесов, пригласив Шутемова подышать свежим воздухом и пройтись до уголка, пожаловался ему:

— Как трудно, Патрикий Лукич, создать крестьянскую универсальную телегу.

— Какую?

— Уни-вер-саль-ную. То есть такую, которая была бы пригодна для всех надобностей. Нужно возить навоз — пристегни к ней полок. В сенокос она превратится в а-ля фургон. К теще в гости или на праздник — поставь коробок с крыльями, так же на один винт-мотылек — и ты как в карете. И так пять, а то шесть видоизменений одной и той же телеги. Этого мы не сумеем сделать к весне. Разве что к годовщине товарищества выпустим пробные образцы для выставки и для широкого обсуждения тех, кому ездить на этих универсальных телегах... Я думаю, что они будут покупаться.

На углу они расстались. Одному вправо, другому влево.

XVII

Введя штауферные выжимные масленки, изготовляемые на заводе Коробцовой-Лапшиной, товарищество избавляло владельцев от маеты смазывания осей телеги. До этого ее нужно было поднять рычагом. Рычаг подпереть дугой, свернуть гайку, снять колесо, смазать тележной мазью ось, снова надеть колесо, навинтить гайку. И так четыре раза да еще пятое смазывание поворотных дисков передка. При смазке выжимной масленкой достаточно было отвернуть в ступице колеса болт-заглушку и вогнать туда нужное количество мази. Минутное дело. Но для этого нужна была мазь определенной густоты, не расползающаяся при нагревании от трения. И состав такой мази был определен, а затем опробован мыловаром сорокинского салотопенного завода Симоном Иоганновичем Шварцем.

Обязательный исполнительный немец, приглашенный Колесовым, досконально рассказал о составе мази, которая «есть дешевая и рациональная экономично».

Он не очень хорошо говорил по-русски, но в совершенстве знал свое дело и так же, как в свое время Кор-

ней Дятлов Шутемову, помогал богатеть Леонтию Сорокину.

— Это есть осенний и весенний состав мази, когда еще холодно и колесо не дает тепло. Летом, когда жарко,— с упоением разъяснял Шварц,— мазь должен быть выдерживать другой градус.

Выслушав Симона Иоганновича, уплатив ему больше, чем следовало, на что тоже был свой расчет, Колесов отправился к Сорокину.

— Я к вам, Леонтий Прохорович, не в гости, а по делам.

Не теряя времени, Петр Демидович предложил заводу Сорокина изготовлять фирменную колесную мазь для товарищества. Обещая ему монопольный сбыт, при условии точности состава обоих сортов мази, добросовестности расфасовки в десяти-двадцатифунтовые и пудовые ящики, постоянность цены, обозначенной на фирменной этикетке трудового товарищества. Товарищество гарантировало брать ежегодно не менее тысячи пудов мази. Остальное имел право продавать сам Сорокин с теми же фирменными этикетками товарищества, не выше цены, указанной на них. При этом оговаривалось, что товарищество, создавая спрос на фирменную мазь, будет взимать за каждую этикетку по десяти копеек.

— За что же?

— За то, что вашу тележную мазь, Леонтий Прохорович, покупать не будут, а нашу, рекомендованную в руководствах по уходу за телегой, будут покупать в количествах, превышающих производственные способности вашего, простите, заводика. Мазь должна стоить не дороже, а дешевле общепринятой цены.— Колесов назвал стоимость пудового, полупудового и десятифунтового ящика с мазью.

— Простите, почтеннейший Петр Демидович, произвожу мазь я, а вы определяете мне цену,— попытался Сорокин поставить Колесова на свое место.

— Дорогой Леонтий Прохорович, вместо того чтобы поблагодарить меня, вы изволите делать упреки. Товарищество хочет вам процветания, а вы не оцениваете этого. Вам уже известна судьба фирмы Шутемова и Жуланкина. Я не хочу вам этой судьбы. Но если вас принижает честь, оказываемая вашей мыловарне, товариществу не трудно сбить дощатый сарай и поставить пять, десять, пятнадцать мыловаренных котлов, и вам

тогда уже не придется варить колесную мазь. Вы будете освобождены от этого убыточного дела.

Колесов встал. Приготовился протянуть руку. Сорокин усадил его.

— Я к вашим услугам, Петр Демидович.

— Очень рад, Леонтий Прохорович. Только прошу простить меня: пока вы колебались, мне показалось, что десять копеек с пуда за фирменную этикетку я назначил в убыток для товарищества. Она будет стоить пятнадцать, и, если цена покажется вам дорогой, товарищество подымет ее еще на пятачок. Жду с контрактом. Лучше в конце работы. Днем я в цехах.

Они простились. В дверях Колесов задержался:

— Но покорнейше прошу не забыть, если почему-либо качество мази понизится или повысится против объявленной цена, товарищество будет вынуждено производить свою мазь. Нижайшее Марии Петровне.

Тем же ходом Колесов завернул в типографию Глобарева. Это маленькое предприятие, живя мелкими заказами, плохо кормило владельца двух бостонок, одной американки и старой машины для большеформатных афишных листов.

Христиан Аркадьевич Глобарев вызывал сочувствие у Колесова. У него была дочь на выданье, два мальчика учились в уездной гимназии. Колесову было приятно давать заказы на печатанье рекламных листков и восьмистраничных брошюрок. А теперь предвиделся новый большой заказ на этикетки для колесовской мази.

— Они должны быть красочными, запоминающимися, отпечатанными четким шрифтом и, конечно, с эмблемой колеса товарищества.

Высказав пожелания, Петр Демидович пообещал дать большие заказы и согласился ссудить Глобарева под долгосрочный, беспроцентный вексель деньгами, необходимыми для приобретения новых шрифтов, новых, более совершенных скоропечатных машин.

Не отказавшись распить с Глобаревым сороковку под колбасу, Колесов заметил:

— Ни одна этикетка не должна потеряться из типографии. Она представляет собою деньги.— Он тут же оговорился: — Христиан Аркадьевич, я это говорю для того, чтобы кто-то из рабочих не соблазнился этикетками.

Христиан Аркадьевич заверил, поблагодарил и завтра же обещал заказать граверу эскизы этикеток.

С колесной мазью было покончено в один вечер, и Колесов снова остался один. Сам с собой, как сама с собой живет Лутоня — и временами кажется, что нет вовсе большой России, Петербурга, Москвы, Харькова, Нижнего, Сормова... Правильно ли поступил он, уйдя из большой жизни в маленький мирок телег, и замкнулся в замкнутой Лутоне?

XVIII

Размышляя о служении людям, Колесов очутился подле ворот своего дома, надеясь там встретить Катю Иртегову и продолжить разговор о задуманной ею воскресной школе для рабочих товарищества, а затем и о другой, о четырехклассной, где, кроме грамоты и счета, будут прививаться детям трудовые навыки. И эта новая школа трудового товарищества будет отличаться от всех существующих школ в Лутоне. Бесплатные школьные принадлежности. Бесплатный обед в школьной столовой и даровая обувь. Валенки — зимой, башмаки — летом, а потом, может быть, и одежда.

Вместо Кати его ждала Эльза. В темном платье, с исхудавшим лицом и синевой под глазами, украшавшей их. Она выглядела траурно скорбно, и весь ее облик выражал собою неутешное горе. И в этом облике скрывающей свои страдания молодой женщины она просилась в дорогую раму. Колесов невольно вспомнил о художнике графини Дуарте,— как бы он мог обогатить искусство и себя ее портретом не у стога сена, в сарафане, купленном Стреховым, а где-то у свежего могильного холма или на фоне чего-то такого тоже кладбищенского, может быть, мраморной урны.

Колесов любил живопись, и он, может быть, купил бы ее такую, во весь рост, в ореховой раме, и подарил бы картину, еще не зная кому, но людям. Люди должны любить прекрасное и любоваться им.

Эти размышления сменились другими. Зачем пришла она и для чего понадобился ей такой скорбный вид.

— Петя, сегодня прекратилась работа в мастерских моего отца. Отец не может больше делать убыточные телеги.

Радость одержанной победы невозможно было утаить от Эльзы, но приличие требовало сдержать свое

ликование, а правдивость мешала ему выражать сочувствие.

— Патрикия Лукича я всегда считал рассудительным и дальновидным человеком. Жаль только, что это не произошло осенью прошлого года. Тогда бы убытки были меньше.

— Петя, вы говорите так, будто к вам это не имеет никакого отношения. Будто вы не причастны к тому, что случилось.

Колесов ответил:

— Эльза, не я устроил такую жизнь и учредил капитализм, обогащающий одних и разоряющий других. Не я мешал вашему отцу призвать на помощь рукам рабочих станки, машины, инструменты, позволяющие легче работать и больше производить. Я не внушал Патрикию Лукичу заботу только о своем благополучии и забывчивость о тех, кто его создает, на ком оно держится, кому оно обязано всем — от этого вашего платья до колец, украшающих ваши и без того красивые руки. Рабочие Патрикия Лукича встретили Новый год без надежд, что он станет новым, а не старым, голодным, изнуряющим и кабальным. Как жил Корней Дятлов, главный мастер и творец шутемовских телег? Вы знаете, как! И вам, Эльза, не трудно проверить изменения в его жизни, в его самочувствии, в его стремлении быть полезным людям.

— Вы бессердечны, Петя. Мы на краю гибели.— Эльза постаралась незаметно, чтобы эта незаметность была замеченной, смахнуть тонким, длинным, розовым мизинцем маленькую слезинку.— Мы накануне нищеты.

— Нищим не может быть человек, у которого руки, образование, здоровье, молодость.

— Свекор скоро начнет считать, сколько кусков сахару я кладу в чай. Это ужасно!

— Это нормально. Парамон Антонович всегда в погоне за копейкой терял рубли. Он и теперь теряет их, продолжая оскорблять хороший металл, превращая его в убогие поковки, которые станут пищей ржавчины или, в лучшем случае, шихтой для плавильной печи графини Коробцовой.

— А что будет со мной, с Виталием?

— Виталий должен трудиться шесть дней в неделю и только в седьмой день позволять отдаваться вину.

— Кем же он может стать, Петя? Вы же знаете, какой Виталий инженер. Как я доверчиво...

— Не договаривайте, Эльза. Я не сумею посочувствовать вам по многим причинам. У вас было время узнать и определить, кто и какой инженер. Я не упрекаю вас, Эльза, во мне не осталось обиды. Нельзя обвинять иглу, которой сшили не то и не так.

Эльза снова увидела того же Петю, прямого, искреннего, чистого. Ей захотелось сказать — чистоплотного. «Иглой сшили не то и не так». И теперь ей, «шитой» игле, невозможно ушком вспять вернуться в ушедшую навсегда масленицу, в солнечные дни первых недель великого поста. «Ею сшили не то и не так».

— Я не виню вас, Эльза, но не вините и вы меня, что не сумел и никогда не сумею стать ниткой, которой вам хотелось вышивать узоры, унижающие меня. И об этом не стоит вспоминать. Вернемся к сахару. Если хотите, чтоб он у вас был своим, я могу предложить Виталию Парамоновичу место директора павильона-выставки товарищества. Там нужен представительный инженер в форме, который толково сумеет объяснить посетителям достоинства новых телег, их особенности устройства и надежность.

— А унизительнее должности вы не можете предложить?

— Унизительнее? — Спокойствие сменилось раздражительностью.— Для меня, мечтавшего создавать машины, не унизительно быть тележным инженером товарищества.

— Вы там бог и царь. Вы хозяин завода, Петя. Вам не к лицу притворство.

— Притворство? Я мог бы не продолжать. Но мне хочется почему-то объяснить вам, что я в товариществе получаю меньше, чем Столль у графини, чем наш общий знакомый, мой однокурсник Юлиан Донатов получает у заводчика Стрехова. И я не хочу большего. Деньги, вложенные моим отцом в оборудование завода, не мои деньги. Я ем заработанный мною хлеб. Я рабочий интеллигентного труда, и даже не интеллигентного. Посмотрите на мои руки. Они в ссадинах.

Эльза не хотела касаться имени Кати Иртеговой, но язык не послушался ее:

— Зачем вам, Петя, отцовские гроши при тысячах, которые просятся в вашу спальню...

Колесов побледнел:

— Я ударил бы вас, будь вы мужчиной. Я никогда

не женюсь на деньгах, не продам своей свободы и своих убеждений. Не судите обо мне по... по нашим знакомым.

— Хорошо, не буду. Успокойтесь. Я не знала, что деньги могут быть помехой счастью. Лучше скажите: может быть, у вас найдется место и для меня? Я неразборчива и готова на любые услуги.

Она приблизилась к нему, пересев на диван рядом, Колесов сделал вид, что не заметил этого.

— Катя открывает четырехклассную школу. Хорошая оплата. Участие в прибылях товарищества. Разве плохо, Эльза, отдать себя детям?

— Пусть Катя отдается им.

— Она и без того вся в горении школой, в заботах о детях.

— А что ей остается еще? Когда кошке делать нечего, она лапки лижет,— переиначила Эльза мужичью поговорку.

Колесов пристально посмотрел на ухоженные руки Эльзы и обратил свое внимание на отполированные до блеска подрозовленные ногти:

— Праздные кошки не только лижут лапки, но и подкрашивают свои острые и хищные коготки.

Эльза на это горделиво заметила:

— Так поступали аристократические женщины еще в Древнем Египте и вавилонянки. Почему же не перенять и мне заботу о себе от блеска ногтей до белизны зубов.— Она улыбнулась и показала, как сверкающе белы ее зубы.

— У древних, между прочим, Эльза, была забота не об одной лишь внешней красоте. Они учились и учили постигать науки. Не повредило бы вам и это заимствование от вавилонян. Возвращать народу знания, полученные за его счет, святая и высокая обязанность каждого из нас. Павел, например, будет преподавать основы обработки материалов. Ваша сестра станет учить письму. Я — черчению. А вы... Вы могли бы заняться арифметикой.

— Почему же арифметикой?

— Вы так хорошо умеете считать, подсчитывать и решать сложные коммерческие задачи...

— Не спорю. Но счету я обучена начиная с тысячи. С четырехзначных чисел. Боюсь, что этот счет не пригодится тем, кто имеет дело только с копейками и грошами...

— Жаль, очень жаль, Эльза, что жизнь выучила вас только тысячному счету. Но, может быть, она же переучит вас, и вы начнете уважать цифры без нулей... Особенно когда копеечные люди разительно удешевят телеги.

— Вы не великодушный человек, Петя! Вы и друзей способны превратить во врагов. Прощайте. Витасик, наверно, уже дожидается у ворот. Я обрадую его предложенным вами местом в Екатерининских конюшнях...

XIX

Оставшись один, взбудораженный Эльзой, Колесов не хотел думать ни о ней, ни о Кате и ни о самом себе, ни о своей неустроенной личной жизни. Нельзя заниматься ею теперь, в разгар осуществления планов. И если уже говорить положа руку на сердце, то изо всех ближе его душе маленькая Кармен — Таля Шутемова. Чужая отцу, она далека от расчетов, выгод и всего, омрачающего ее любовь к Пете. Она первозданно чиста, непосредственна, как и ее голос, чарующий всякого, для кого ни звени он.

Тале еще очень мало лет, и обратить внимание на нее теперь — значит обидеть Катю, потерять ее расположение, а с ним потерять и то, что помогает ему так успешно служить людям.

Да, не нужно поддаваться никаким соблазнам года два-три, до тех пор пока не сбудется задуманное. Телеги — всего лишь начало постепенного вытеснения шутемовых и внедрения новых предприятий, которые станут тоже выставками-школами для других. Тележный завод не самоцель, а наглядный пример, образец, который можно повторить и которым можно доказать, что любое предприятие способно стать народным, преуспевающим и побеждающим капитализм без бунтов, забастовок и следуемой за ними кары тюрьмами, каторгой, виселицами. И Павел Лутонин поймет то, чего нельзя не понять. Не сразу, но поймет, а пока нужно думать об уязвимом в телеге, об изнашиваемости осей и втулок колес. Трение — первый их враг. Поэтому нужно, чтобы изнашивалась не ось, которая стоит дорого, и не втулка колеса, которую не легко и не дешево сменить, а промежуточный вкладыш из металла более мягкого, стоящий копейки и заменяющийся другим в течение нескольких минут.

И этим вкладышем может стать тонкая латунная полоска, согнутая в трубку, как лист бумаги. Через промежуток ее зазора, ее стычных краев, смазка будет проникать внутрь, где она соприкасается с осью, и на ее поверхность, трущуюся о втулку колеса. Чугунная втулка и стальная ось будут изнашиваться медленнее, а теоретически совсем не будут изнашиваться. Износ станет уделом сменного вкладыша.

Изнашиваются и боковины ступицы колеса, и упорная шейка оси. Набор шайб заставит колесо не скользить по оси вправо и влево и будет предохранять от пыли и песка оси и втулки колес.

На это не жаль Пете длинной зимней ночи. Его копеечное нововведение будет оценено благодарными владельцами долговечных телег.

Неустанно совершенствовал Колесов телегу. Дешево обходилась она товариществу. Самой дорогой из ее частей остался обод колеса. Поставщики из дальних деревень гнули его медленно, с большими усилиями, а до этого выискивали прямослойное дерево. Не легок был обод и в дальнейшей обработке. Большой отход древесины. Сложность разметки гнезд для спиц. Трудность в сборке. Неизбежность брака. Дешевле и скорее было сделать его из металла, но телега станет от этого тяжелей. Лишний пуд в ее весе на столько же убавит груз, который способна увезти лошадь.

Есть простой способ избавиться от дорогого обода, заменив его стычным из трех или четырех частей. И гнуть легче, и отход меньше, проще работа и совсем легкая сборка.

Не все единолично решал Петр Колесов, обращался он и к мастерам. А на этот раз он собрал целый совет мастеров. Боязно было нарушить веками привычное колесо с цельным ободом, с одним стыком. Не покажется ли составной обод ненадежным, не отвернутся ли от телеги ее главные покупатели?

С вниманием слушали мастера своего инженера, основателя товарищества.

Заманчивым было его желание вдвое удешевить самое дорогое в телеге — привычное колесо.

До ночи заседали мастера. Жарко спорили они, выискивая способы крепления четырех стыков вместо одного. Не чье-то дело решалось на совете, а ихнее, общее. Молчавший Корней Дятлов сказал:

— Лично я верю в стычное колесо и знаю, что не будет оно хуже теперешнего, а лучше при второй, внутренней стяжной подшинке в канавке обода. Этого не покажешь и не докажешь покупателю. Но если ему дать фирменную печатную трехлетнюю гарантию на обмен колеса в случае поломки, то какой дурак откажется купить телегу на два целковых дешевле с гарантированными колесами! А тот, кому милее терять по полтине на колесе с цельным ободом без гарантии,— пусть платит.

Дятлова в этот вечер, по предложению стариков, назначили старшим мастером отделения цеха стычных колес и пообещали увеличить плату, а пока прибавили десятку за повышение в должности.

Ночами отрабатывал свою десятку самолюбивый мастер и через неделю дал пять конструкций стычных колес с опробованием их на излом.

Дятловские колеса пошли в работу. Телега снова понизилась в цене. Ускорилось ее рождение на главной и боковых передачах — притоках. Как бублики из печи, вылетают из ворот завода телеги. Легко рукам при машине, весело на душе...

XX

Отпировалась масленица. Кончалась зимняя льготная продажа телег. Оптовики-скупщики торопились внести деньги на счет товарищества и не упустить дешевый санный путь в далекие волости.

Опасливо покупались телеги с новыми, стычными колесами, но даровые гарантийные колеса про запас склоняли барышников в пользу дешевой телеги. Коли дается гарантия, на колесе должен стоять год его выпуска и номер телеги, которой оно принадлежало. Год и номер набить — секундное дело, зато не может быть споров при обмене сломанного колеса на новое.

Дела идут как нельзя лучше. Кажется, не в чем упрекнуть теперь Павлу Лутонину своего друга. Ан — нет!

Не Павел Лутонин вступал с ним в спор, а сама жизнь. Телега, став легкой в работе и дешевой в цене, лишила работы тех, кто кормился, вырабатывая дома, у себя в деревнях, ступицы, спицы, гнул ободья и поставлял их таким, как Шутемов. А теперь мелких поставщиков заменила машина. Ручные колеса стали не нужны. Раньше они хотя и плохо, но прирабатывали к

своей горькой крестьянской нищете, а теперь их руки пусты.

— Так что же получается, Павел,— спрашивал его и себя Колесов,— выходит, дорогая, плохая шутемовская телега приносила народу больше пользы, чем наша хорошая, дешевая?

Павел отмалчивался. Он и не мог сказать «да» или «нет». Не по его, и не по Петиной, и не по чьей-то злой воле действовал и вступал в силу страшный закон капитализма. Улучшающие производство — ухудшали жизнь тружеников. Машина — друг человека — становилась его врагом.

— Павел, если бы в моих возможностях было дать работу всем, я бы дал ее.— И снова: — Не я придумал капитализм.

— И тем более не я, мы должны бороться против него.— И снова старое повторение: — Только освобождение всей страны... Только передача земли и фабрик...

— Да, но ведь это пока слова, а я дело делаю...

И опять жаркий и долгий спор, которому суждено будет продолжаться не одно десятилетие, между другими «Петрами» и «Павлами». Не только в России.

— Но хотя бы что-то еще можем мы сделать? — переводит разговор Лутонин.— Хотя бы избавиться от перекупщика-оптовика, присваивающего прибыли нашего завода? Неизвестно, какую накидку делают они на далеких ярмарках и базарах, приобретая у нас дешевые телеги.

— В этом ты прав, Павлик, но не открывать же склады в губернии! Нас не хватит на это.

— Хватит, Петя. В каждой деревне есть бедняк, который рад получить счастливый рубль за проданную телегу. Разве не в каждой волости есть почта, где можно открыть счет товарищества? Не надо быть купцом для того, чтобы получить квитанцию и отдать телегу. А это тысячи рублей в кармане товарищества и благополучие многих крестьянских семей.

Нашлась артель во главе с Алексеем Саночкиным, изгнанным с завода Столлем за смутьянство. Лутонин ручался за добросовестность Саночкина и его артели по доставке телег и созданию в больших селах пунктов по продаже телег.

Чего же лучше? Саночкина знали как человека непьющего, хорошо грамотного и добросовестного. Далее

следовал контракт оплаты с версты и телеги. Нашелся новый артельный посредник, которому не жаль было переплатить.

Наш старый знакомый Алексей Алексеевич Красавин помог открыть счета в почтовых отделениях, и телеги пошли в большие села. Там они будут продаваться с надбавкой за доставку, зато без хлопот, без потери времени и прогона коня в Лутоню.

Петр Колесов догадывался, что Павел, заботясь об артели Саночкина, заботится не только о сбыте телег. Телеги могут стать удобным прикрытием революционной пропаганды в деревне. Это их дело. Оно не может коснуться его, действующего легально, открыто и законно. Дружба с Павлом не улика. Они связаны заводом, а не убеждениями. Так и Катю Иртегову можно заподозрить в сообщничестве с Лутониным. Нужно меньше думать об этом и проводить свое.

На заводе Колесову делать нечего. Там все на ходу. Ему нужно избавиться и от выставки, там мог бы отлично работать Витасик Жуланкин и быть при деле, а не при птичках и не при Эльзе.

Для выставки нашелся говорун из неудачливых техников с звучной фамилией Истомин и располагающей внешностью. Он, до этого не удержавшись ни на одном заводе, тяготимый неизвестностью, теперь мог оказаться на виду. Охотно приняв пост начальника над самим собой и таким же болтуном, как и он сам, служившим чертежником и названным теперь ассистентом, потребовал для обоих за счет товарищества форму с блестящими пуговицами и возместил затраты в первую же неделю.

Нашедший себя техник Истомин упоенно показывал, как легко телега меняет свое название, становясь то полком, то лесовозкой для длинных бревен и, совсем как фокус, демонстрировал превращение телеги в «карету» с плетеным коробом, а затем в грабарку для доставки руды, песка, глины.

Продуманная выставка, рассчитанная на неграмотного посетителя, показывала телегу во всех ее возможных применениях. Телега-водовозка, пожарные красные телеги с бочкой и ручным насосом, телега с раздвижной красной лестницей, телега с крытым кузовом-ящиком для перевозки продуктов, боящихся сырости и воров. Телега-линейка с пристяжными крыльями и сиденьем, почтовая

телега, телега для зерна... Более двадцати видов одной и той же универсальной телеги, на все случаи жизни.

Особое место отведено для колеса. Оно представлено во всех разрезах. Наглядный показ на рисунках и в натуре пользования выжимной штауферной масленкой. Тут же рисунки и наборы латунных вкладышей и шайб различной толщины и опять же зримый показ пользования ими.

— Ничто на земле не вечно,— слышится приятный баритон техника Истомина.— Но всему можно продлить жизнь. Патентованные латунные вкладыши товарищества принимают на себя износ оси и втулки колеса нашей телеги,— декламировал он.— Фирменная колесная мазь, изготовленная по рецептам известного химика господина Шварца, позволяет колесу вращаться с наибольшей легкостью и наименьшим трением... Не верьте моим словам, господа, пусть будут свидетелями сказанного ваши собственные глаза.

Ассистент подходит к тележному колесу, установленному на возвышении, раскручивает его и просит посмотреть на стенные часы с красной секундной стрелкой.

— Считайте секунды, господа. Тончайшая фирменная мазь по рецепту господина Шварца помогает его вращению.

Когда же колесо останавливается, техник указывает на маленькие чашеобразные лопасти, припаянные к его шине, просит ассистента дать воду, и тонкая струйка воды, направленная на лопасти замершего колеса, заставляет его тронуться, затем вращаться бесшумно и плавно, вызывая восхищение посетителей и предоставляя передышку умолкшему соловью. Ассистент усиливает струю, и колесо тотчас же увеличивает скорость.

— Мне нечего добавить, господа, остается только назвать цену тележной мази.

Закончив демонстрацию легкости вращения колеса, он перешел к его смазке при помощи также патентованной и прилагаемой бесплатно к телеге выжимной масленки, вместе с комплектом шайб, вкладышей, гаек и других запасных частей.

Выставка не пустовала. Сюда приезжали и далеко живущие от Лутони предприниматели, купцы, инженеры, побывал здесь и сам губернатор. Его принимал Петр Демидович. Скромно рассказывал, чего можно достичь при добросовестности заводчиков.

Губернатор остался доволен и выставкой, и обедом в его честь. Он отблагодарил товарищество лестной записью в книге отзывов знатных посетителей выставки. И обещал свое покровительство товариществу. Так он говорил, про себя же думал: «Поживем — увидим». Пока же товарищество не внушает никаких опасений «пагубного примера, угрожающего подражанием другим заводам, где рабочие захотят преобразовать их в трудовые товарищества и тем самым будут подстрекать на революционные действия», как писалось в одном из донесений. Встревоженный донесением, губернатор не через кого-то, а лично хотел увидеть «сие опасное новшество».

Обворожительная наследница богача Иртегова, образованный и скромный Колесов, придумавший новый способ эксплуатации, заинтересовывающий рабочих в прибылях, оправдывающий «проверку служением» Анатоль Мерцалов ничем не насторожили губернатора.

Колесов торжествовал.

XXI

С наступлением весны Петру Демидовичу уже окончательно нечего было делать на заводе товарищества. Цехи и отделения не нуждались в его усовершенствованиях и надзоре. Павел Лутонин, Корней Дятлов и отец вполне справлялись с налаженным производством. Торговля через почту на главном складе, открытых и открываемых складах не нуждалась в опеке. Бывший казначейский чиновник Немешаев исправно вел бухгалтерию. Завод вполне можно было отдать на самоуправление рабочим, в их собственность.

Одержимый деятельностью Петр Демидович оказался не у дел. Весенняя охота не долго занимала его. Отдохнув после напряженной зимы, он почувствовал тяжесть одиночества.

Катя Иртегова и он по-прежнему в добрых, дружеских отношениях. Петя убежден, что такими они и останутся до тех пор, пока не разбудит ее настоящий «принц», который представлялся ему человеком добрым и бескорыстным, для которого станет она радостью его жизни, а он — ее. Тогда Петр Колесов, может быть, подумает и о своем неизбежном, от которого не уходит никто.

Об этом же иногда думала Катя, не торопя чувств и желаний. Для нее все было предрешено давным-давно.

В четырнадцать лет она верила предначертаниям судьбы и провидению, пославшему ей Петю. Теперь она верила в себя, в свои силы, верила, что Петя будет ее мужем и ничто, кроме смерти, не изменит и не перерешит предначертанного не судьбой, а ею, потому что она знает, что никто не может быть ближе ему, чем она. И он поймет это и полюбит ее.

Всему своя пора, и, если она для Кати наступит поздно, нужно ждать. Должное свершиться — свершится.

Весна возбудила в Пете с новой силой желание разрушать и создавать. Ему вспомнился разговор с рыжим мужиком, расхваливавшим телеги трудового товарищества. Он сказал, что если б такими же хорошими и дешевыми стали сани, сохи, бороны и прочая деревенская снасть, как бы молился мужик на Петра Демидовича Колесова.

Невольно возник в памяти надменный санный царек Адриан Кокованин, строивший из себя боярина и подражавший какому-то вотчиннику грозненских времен во всем, начиная с шубы и разговора на «ты» со всяким, кто беднее его. Вспомнилась и встреча в доме Кати, когда Колесов был вынужден казаться покорным, зависимым, чтобы продать «себе в убыток» прибыльные телеги. Неплохо было бы теперь встретиться с Кокованиным и любезненько сказать ему, что трудовому товариществу захотелось посадить мужика на дешевые сани, как уже посадило оное оного на дешевую телегу, и так далее в том же духе и тем же древнерусским стилем.

«Интересно было бы,— размышлял Петя, лежа на диване,— полюбоваться при Кате, как завертелся бы бишуевский «Шуйский», как заюлил бы он, зная, что сани не телега и поставить их на станок можно за несколько недель. Наверняка у него есть санный «Дятлов», которого можно назначить санным управляющим и создать трудовое товарищество, объединив семьи кустарей кокованинской «вотчины».

Мать прервала Петю на самом интересном месте, а именно когда Кокованин молил его, Колесова, взять отступные тысячи и сохранить ему его дело.

— Петрушенька,— сказала Лукерья Ивановна,— тебя беспременно хочет видеть сорокинский немец мыловар.

Колесов вскочил и пошел встретить Шварца.

— Что же вы, дорогой Симон Иоганнович, не прихо-

дите за своими копейками? Их набежало, наверно, за добрые две сотни.

— О, господин Колесов Петр Демидович, я не могу получайт за прохвостовый мазь деньги. Я есть человек со словом, и я не могу быть шульником.

Шварц уже лучше говорил по-русски, но ему стоило больших трудов находить слова, чтобы объяснить причину его ссоры с Леонтием Сорокиным. Ссора началась с тележной мази. Педантичный Шварц сказал сначала по-немецки, потом перевел на русский язык:

— У обмана есть много масок, но лицо у него есть одно — шульническое лицо.

Кофе, который уже научилась варить Лукерья Ивановна, и шустовский коньяк с колоколом на этикетке, обожаемый Шварцем, как великий кофейный ингредиент, помогли ему рассказать, а Колесову понять, что «шульник» Сорокин нарушает контракт с товариществом. Сохраняя размеры ящиков, он заставил поставляющего их «лесопильника» Хохрякова «давайт толщее» доски, тем самым «уменьшайт» внутренний объем ящика, выгадывая на каждом пуде более трех фунтов мази.

— Это есть первый шульническая маска.

От первой Шварц перешел ко второй. Сорокин ставил на этикетки товарищества «рот штемпель», или красный штемпель, «высший сорт», и на этом основании он ту же мазь продавал дороже против указанной на этикетке цены.

Колесову было достаточно, чтобы тотчас же поехать к Сорокину и припасенное для Кокованина выплеснуть на «шульника».

Но педантичный немец попросил еще чашечку кофе и перешел к третьей «маске»:

— Сорокин требует варить мазь, который есть не весенний и не летний рецепт, а есть то, во что корова перерабатывает траву, но не молоко.

Колесов бросился запрягать лошадь, не дав досказать Шварцу о четвертой «маске». Она убивала и второго «шульника» — Глобарева, который на деньги товарищества и благодаря заказам товарищества преобразил свою убогую скоропечатню в настоящую типографию. И этот самый Глобарев продает Сорокину по половинной цене фирменные этикетки! Это было не просто подлостью, а плевком вместо благодарности.

Шварцу пришлось открывать плутни Глобарева уже на дворе, помогая Колесову запрягать Красотку.

На очереди была пятая «маска», но для Колесова хватило чётырех. Наскоро простившись со Шварцем и попросив его побывать у него вечером, Колесов сказал:

— У меня для вас есть интересное предложение.

XXII

Дома Сорокина не было. Колесов помчался к нему на завод. Две версты показались ему длинными. Взмыленная иноходь Красотки выражала состояние привезенного ею Колесова.

— Что случилось? — спросил, выбегая из конторы завода, Сорокин.

— То, чего следовало ожидать,— ответил Колесов, не поздоровавшись с Леонтием Прохоровичем, не назвав его по имени.— Я приехал по жалобе покупателей нашей фирменной мази, которую мы доверили изготовлять вам, и вы не оправдали оказанной чести.

— Я прошу, Петр Демидович,— пригласил его Сорокин в конторку,— тут посторонние...

— То, что будет известно всем, стоит ли скрывать от двух-трех человек? Но я пощажу вас. Поговорим с глазу на глаз. Приготовьтесь к откровенному разговору.

В маленькой бревенчатой конторке Колесов задал четыре вопроса:

— Зачем вы изменили оговоренную рецептуру мази? Кто дал вам право продавать ухудшенную мазь высшим сортом и увеличить цену против указанной на этикетке товарищества? Сколько недодаете вы мази на каждом ящике с утолщенными стенками? По какой цене и в каком количестве вы покупаете украденные у товарищества этикетки?

Сорокин опустил голову. Не ответы на вопросы обдумывал он, а что будет с ним, беспокоило его. Отрицать — невозможно, признаться — не поворачивался язык. И он спросил:

— Судом или миром, Петр Демидович?

— Это зависит от вас.

— Условия?

— Записывайте,— начал диктовать Колесов.— «Вернуть покупателям через товарищество деньги за недоданную мазь. Высчитать до копейки, до золотника. До-

платить товариществу деньги за незаконно купленные в типографии этикетки. Остальное заплатит владелец типографии. Прекратить сегодня же оклеивание ящиков с мазью нашими фирменными этикетками, а те, что уже оклеены, содрать». И последнее. Это можно не записывать. Как вам будет удобнее — передать в аренду, или продать в рассрочку ваш завод товариществу, или вы предпочтете дождаться осени, когда рядом с вашим задымит лучший завод товарищества, которому уже будет не нужна ваша каторжная салотопня? Ответ завтра. Я буду ждать вас в десять утра в конторе товарищества. Честь имею...

От Сорокина Петр Демидович уже не спеша поехал в типографию к Глобареву. С ним он будет мягче. Глобарев не капиталист, а мелкий предприниматель. Его можно и пощадить, но нельзя оставлять типографию в его руках. Он в лучшем случае может остаться ее управляющим.

Дорога в Лутоню шла мимо лесопилки Хохрякова. Нужно заехать и к нему. У него рыльце тоже в пуху.

Хохрякова Колесов увидел около ворот лесопилки. Подъехал, поздоровался и, не вылезая из коробка, обратился к нему:

— Как вы думаете, Елисей Федорович, не сподручнее ли будет нашему товариществу поставить свою лесопилку и где лучше?

— Да ведь хлопотное это дело, Петр Демидович.

— А что не хлопотно? Тележную мазь варить тоже не масло пахтать, зато без переплаты Сорокину. Какую цену спросили бы вы за ваше лесопильное заведение?

— А я не собираюсь его продавать,— дрогнувшим голосом ответил Хохряков.

Колесов успокоил его:

— Я и не принуждаю вас к этому. Мне хотелось узнать, во что может обойтись товариществу лесопильный завод рам на пять, на шесть... Я думаю, что товарищество при деньгах да при скорой хватке подрядчика Токмакова к осени сумеет пилить свои доски... Благополучия вам, Елисей Федорович. Извините, что задержал.— Колесов тронул вожжами и покатил в типографию.

Хохряков долго стоял у ворот. Не хотелось верить, что ему придется расстаться с лесопилкой, которую он мечтал превратить в большой лесопильный завод. Но

Колесов не бросает слов на ветер, за ним сила, люди, деньги.

Денег не было у Колесова. Товарищество не могло построить ни лесопилки, ни купить мыловаренного завода. Предстояли иные первоочередные расходы. Но Катя... Почему бы ей не сделать два добрых дела?.. Это — вечером. На очереди глобаревская типография.

С Христианом Аркадьевичем разговор был еще короче и мягче. Колесову жаль уличать его в продаже фирменных этикеток товарищества. Поэтому, ничего не объясняя, ни в чем не упрекая Глобарева, было сказано:

— Товарищество хочет видеть вас, Христиан Аркадьевич, управляющим типографией, а не ее владельцем.— Петр Демидович назначил месячное жалованье, упомянул об участии в общих прибылях товарищества, попросил представить опись оборудования и его стоимость.

— Слушаюсь,— ответил Глобарев.

Уходя, Колесов, не утерпев, сказал:

— Кто-то из ваших «гуттенбергов» торгует нашими фирменными этикетками. Узнайте, сколько их продано, и взыщите с виновника следуемое.

Теперь к Кате. У нее, наверно, уже кончились уроки.

— Тсс! — предупредила Колесова Марфа Максимовна.— Занимаются еще. Пишут. Милости прошу.— И Ряженкова провела Колесова в столовую.

Было слышно, как диктует Катя по слогам:

— Тер-пе-ни-е и труд... и труд,— повторяла она, выделяя букву «д»,— все пе-ре-трут,— выделяла она теперь букву «т».

Петя закрыл глаза, слушал ее мелодичный голос. Как любит она детей... Какой матерью будет она... Но, что об этом? Об этом ты не должен думать Петр Колесов. У нее своя жизнь, у тебя своя.

Голос Кати не переставал звенеть в большой гостиной, превращенной в класс. С настоящими партами, с черной доской. Может быть, она играет в учительницу и набрала для игры тех, кого миновала школа. Может быть, Эльза в чем-то права? А?

Нет! Сто тысяч раз нет. Она, обучая, учится сама педагогическому искусству. Вместе с Талей Шутемовой они готовятся стать преподавателями в новой политехнической школе.

А голос не перестает звенеть:

— Теперь, дети, положите тетради на мой стол и все

к роялю. Манечка будет запевать «Завтра — завтра...»

В гостиной послышался шум, а затем песенка: «Завтра — завтра, не сегодня, так ленивцы говорят...»

Песенкой или игрой на рояле всегда кончался последний урок.

Сейчас Катя проводит детей через кухню. Поможет одеться тем, кто еще не научился этому. Теперь уже не долго. Пете так хочется не торопясь рассказать всю предысторию событий этого дня, начиная с визита Шварца, а после этого попросить ее еще о двух добрых делах.

Катя слушала и делала вид, что ей интересны подробности, но, не выдержав, она сказала:

— Зачем так длинно и опасливо, Петя? Купить — так купить, на мое имя — так на мое.

— Неужели, Катя, все так просто в этот день? Я не верю тому, в чем не сомневался. Катя, могу ли я расцеловать тебя?

— Если тебя не затруднит, Петя, если тебе не покажется, что я слишком дешево покупаю твое внимание, то целуй, хотя правильнее было бы это сделать после более крупной покупки. Поцеловавшись с тобой, я могу не разжать рук на твоей шее, и ты окажешься в плену у хитрой купеческой внучки Катьки Иртеговой.

— Ну зачем ты так говоришь?

— Затем, что ты так думаешь. И думай. Думай, как тебе хочется. Я не осуждаю тебя, потому что люблю и ни от кого не скрываю этого, кроме тебя. Ты не должен знать, как я любуюсь тобой, как хочу нравиться тебе, как ревную к каждой мошке, севшей на твое лицо. Ты не должен этого знать, чтобы не потерять уважения ко мне, поэтому считай меня поцелованной, лесопилку и салотопню купленными.

XXIII

Несложной была передача купленного Иртеговой мыловаренного завода. С ее стороны Шварц и бухгалтер товарищества Немешаев оценили здания, оборудование, сырье и готовые изделия. Сорокин не спорил в оценках. Колесов предупредил его «не испытывать терпение товарищества». Он мог из-за какого-нибудь котла или двух бочек соды, завышенных в цене, начать судебное дело и развенчать Сорокина. На фасаде выставки уже висело объявление о возвращении переплаченных денег за недо-

вес мази по причинам, не зависящим от товарищества. Деньги возвращались всякому предъявившему тару с утолщенными стенками.

Желающих получить переплаченные копейки обратно нашлось немного, зато добросовестность, даже в таких мелочах, утвердила еще больше репутацию товарищества.

Шварц помог бухгалтеру вычислить подлинную стоимость ухудшенной мази до гроша. Сорокину оставалось только краснеть и соглашаться.

Мелочи оценили чохом. Оставалось подбить черту и определить разницу между тем, что причитается с Иртеговой и что повинен возместить Сорокин, а затем составить нотариальную купчую и на воротах завода установить вывеску:

ТРУДОВОЕ МЫЛОВАРЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ

На типографии Глобарева уже значилась ее новая принадлежность. Лесопилка ждала своей очереди. Хохряков выплакал слезы прощания с нею и утешался, что в верховьях Лутони он возведет другую.

Когда нотариальные дела и расчеты были закончены, на мыловаренный завод пришел Павел Лутонин. Ему было поручено Катей объявить рабочим о новом их положении, об укорочении на час рабочего дня.

— Тебе и карты в руки,— напутствовал Петр Павла.— Получше представь нового управляющего и скажи, что варить мыло и мазь они будут не на него, не на кого-то, а на себя.

На открытие завода пошла и Катя. Как-никак она владелица, и завод числится ее собственностью. Ее право, отдать ли его на выкуп трудовому товариществу мыловаров или даже подарить им, но пока она хозяйка, а Павел Лутонин ее доверенное лицо.

Собрались на дворе. Вынесли скамьи, ящики, расселись на пустых бочках. Принесенный из конторы стол покрыли зеленой суконной скатертью. За стол сели Шварц, Катя, Павел и трое из мастеров завода. Катя открыла собрание.

— Господа рабочие, мастера, труженики завода, предоставляю слово такому же труженику, как и вы, Павлу Гавриловичу Лутонину.

— Мне поручено Екатериной Алексеевной Иртего-

вой,— начал он,— рассказать вам, каким будет завод. Этот завод хотя и не принадлежит вам, но хозяйничать на нем будете вы. И то, что заработано вашими руками, будет принадлежать вам. Вы сами установите, сколько и кому нужно платить, как распределять прибыли, как сделать, чтобы мыло и мазь становились дешевле, как облегчить свой труд. Вы изберете из своей среды в помощь управляющему заводом доверенных лиц, вместе с которыми он будет решать все дела. Рабочий день с понедельника той недели будет короче на один час.

Шумный отклик получили эти слова. И еще шумнее отозвалось собрание, когда Лутонин назвал управляющим Шварца. Было видно, как любим и уважаем этот чужеземец. Трогательны были его слова:

— Я очень благодарю вас, я очень благодарю. Мы будем иметь хороший завод. Мы будем варить лучший продукт! Наше товарищество есть наше товарищество! Штраф — нет! Крик — нет! Благодарю! Очень благодарю!

Лутонин продолжил свою речь:

— Штрафов не будет, не будет и криков, но порядок должен быть. Вас никто не будет обыскивать в проходной. Добросовестность станет вашим сторожем. А если кто-то соблазнится хотя бы на один кусок мыла, принадлежащий товариществу, тот потеряет доверие, право работать на заводе. У Сорокина можно украсть. У него только два глаза. Теперь же столько глаз, сколько вас. Это я к слову. А сейчас я поздравляю вас с открытием и прошу назвать доверенных, из коих составится совет по самоуправлению заводом при его управляющем. В этот совет должны войти не просто честные люди, но и знающие дело, умеющие купить и продать с выгодой для товарищества и с пользой для народа.

Доверенные были названы. Колесов пришел к концу собрания и сел рядом с потеснившимся стариком. Катя видела торжествующее лицо Пети. По нему читала она: «Вот еще одна победа, пала еще одна крепость».

Закрывая собрание, Катя рассказала о воскресной школе для взрослых, о новой четырехклассной школе для детей.

— А теперь,— заключила она,— останьтесь сами с собой, со своими доверенными и своим управляющим и поговорите, как вам жить и как вам работать. А это от меня.

Буланый битюг, запряженный в ломовую телегу, ввез дубовую, потемневшую от времени бочку из подвала Евлампия Иртегова. Верхом на ней сидел Корней Дятлов. Приехал поздравлять.

Покидая завод, Катя увидела в толпе Мерцалова.

— Анатолий Петрович,— окликнула его Катя,— кажется, мне теперь грозит тюремное заключение.

— Помилуйте, Екатерина Алексеевна, за что же?

— Я угощаю рабочих безакцизной дедушкиной водкой.

— Угощаете, но не торгуете,— целуя ей руку, отшутился галантный Анатоль.— Надеюсь, угостят и меня этим долголетним напитком?

— Сделайте одолжение. Я прикажу презентовать вам полную бочку. С начальством нужно быть в добрых отношениях, Анатолий Петрович.

— И особенно с таким воинственным блюстителем, как я.

Они оказались за воротами и разговаривали теперь свободнее.

— Как понравилось вам, Анатолий Петрович, наше собрание?

— Очень. Я разделяю все до последнего слова из сказанного вами и от вашего имени Павлом Гавриловичем. Беспрецедентно, смело и неуязвимо. И все же...

— Что?

— Я бы посоветовал не выносить на вывеску то, что целесообразно прикрывать ею.

— Извините, Анатолий Петрович, я не понимаю...

— Завод принадлежит вам. И на нем должно стоять ваше имя. Оно никому не будет резать глаза. Так мне кажется, как постороннему наблюдателю. Я не могу желать вам зла, тем более что вы подкупили меня обещанной водкой...

И Мерцалов принялся рассказывать о приезде в Лутоню его отца, о новом платье жены, о новых модах в Париже, о покупке чистокровной арабской лошади... обо всем, что мешало вернуться Кате к их прежнему разговору. И наконец, пожелав успехов, он поцеловал ей руку и направился к коновязи, где, пугливо озираючись, ждала его белая лошадь.

Кате показалось, что Анатоль хотел еще что-то сказать. Но, как всегда, чего-то недоговорил.

XXIV

Шварцу не нужно было создавать завод заново. Он существовал. Его следовало улучшать. Этим и занимался он с утра до ночи. На выставке вскоре появились новые сорта мыла: «Банное», «Стиральное», «Детское» — с фирменным знаком товарищества. В новых ящиках с выдвижными крышками была выставлена и колесная мазь. Неумолчный техник Истомин обращал внимание посетителей и на это новшество:

— Купивший нашу мазь убивает двух зайцев!..

Вторым зайцем был сам ящик с выдвижной крышкой, который может найти тысячу и одно применение в хозяйстве. И применения эти перечислялись.

Мыло не нуждалось в рекламе. Его качество проверялось с первой стирки, а цена говорила сама за себя. Копейка на куске мыла не могла не приниматься в расчет, а две убивали конкурентов.

Колесов не был мыловаром, но им не надо и быть, чтобы старые прессы завода Коробцовой-Лапшиной перешли на мыловаренный завод и занялись штамповкой фигурных кусков мыла: «Семейного», «Душистого», «Земляничного», «Лутонинского», «Дамского», «Дорожного», «Нежного», «Яичного»... Дорого ли стоит штамп, который может служить годы? Какие затейливые формы он позволяет придавать мылу, а главное — на нем название и цена. И тут товарищество оградило покупателя от своевольства наценок лавочников. Наживи свое и будь доволен. Кажется малой нажива — покупай у других мыловаров.

Шварц открыл фирменный магазин. В магазине продавались и те сорта, которые не шли в общую продажу: «Праздничное», «Королевское», «С добрым утром!», «Лебедь», «Незабудка»... Он горазд был на выдумки. Не дорого стоят красители. Мало ли на свете ароматических веществ. Цвет и запах мыла помогают его успеху. А успех мыловаренного товарищества не подлежал сомнению.

И зачем понадобилось Леонтию Сорокину пускаться на мошенничество? Что мешало ему прислушаться к голосу Шварца? Теперь бы имя Леонтия Сорокина стояло на каждом куске, и он мог бы стать богатым и знатным. А сейчас? Открывать новое дело? Какое? Он ничего не умеет делать. Он не умеет даже варить колесную мазь. За него это делали другие. Открыть магазин? Какой?

Чем торговать? Войти в пай? К кому? Начать служить? Кем? Проживать полученные за продажу завода тысячи, ничего не делая? Но надолго ли хватит их?

Наступили томительные дни тупого безделья. Куда деться в глухой Лутоне? Единственное место, где может Сорокин отвести душу,— это шутемовский дом. Но и там устали от него, да и ему надоело играть в подкидного дурака, проклинать Петьку Колесова, сулить ему сто бед, семь смертей, а он — хоть бы что. Ходит в своей косоворотке, не успевает отвечать на поклоны. И Леонтию Прохоровичу Сорокину приходится говорить: «Здравствуйте, Петр Демидович». А как же по-другому?

Шутемову легче, он ни в чем не провинился перед товариществом. Дело потерял, а остался при деньгах. Головастый купец Кокованин помог сплавить на баржах в низовья Камы и на Волгу свои купленные у товарищества телеги. Там не спрашивали, что почем. Далека Лутоня. Никто не знает, что стоят там такие же телеги. Руки коротки у Колесова торговать телегами на всю Россию-матушку. Хорошую цену взял Патрикий Шутемов за телеги. Нажить не нажил, но и прогадать не прогадал. Вернулся с деньгами. Положил в рост. Хлеба не просят, а процент копят. Кто знает, каким будет земли вращенье, куда повернет жизнь «Колесо»... От безделья можно заняться экипажами. Прибылей не будет, а вывеску и фонарь под ней можно не снимать с ворот. Пусть горит по ночам и освещает имя Шутемова, которое должны знать и помнить люди. Не снял вывеску и Парамон Жуланкин. Подковы, скобы, топоры, лопаты, сечки многого к капиталу не прибавят, но кормить кормят и «фирму» блюдут.

— Ну вот, Павлик, теперь ты видишь, кто прав,— дружески говорил Петр Колесов, когда они возвращались берегом реки Лутони после покупки лесопилки на Катины деньги и передачи ее на арендных началах рабочим.— Мыловаренный завод уже начал окупаться. Не пройдет и пяти лет, как арендный завод станет собственностью его тружеников. Энергичный организатор химик Шварц собирается поставить еще пять варочных котлов и стать монополистом в губернии. Придумав новый способ торговли «мыло — почтой», он избавляется от посредников. Ну что же ты молчишь, Павлик? Зачем упорствуешь? Разве наглядные примеры не подтверждают возможности экономического разгрома капитализма?

— Петя,— предложил сесть на зеленый пригорок Лу-

тонин,— настоящие революционеры говорят об уничтожении капитализма, а не о мыловарне. О миллионах людей, а не о сотне рабочих, которых ты и Катя сделали на время счастливыми. Это хорошо. Сто человек стали жить безбедно. А сто миллионов? Найдется для них столько Кать и Петь, которые прибегнут к такой же благотворительности?

— Важно начать...

— Важнее кончить, Петя. А кто знает, каким будет конец? Наше «Колесо» по-прежнему остается колесиком, зависимым от тысяч колес страшного, безжалостного капиталистического механизма. Будь бы у Шутемова в десять раз больше денег, он бы развалил по спице наш тележный завод. Будь бы образованнее и богаче Леонтий Сорокин, не удалось бы купить за бесценок его завод. Один ли Шварц химик на земле? И ты ли один такой сверхинженер? Представь, что такой, как ты, стал бы зятем Шутемова? И оборудовал бы для него машинное производство телег? Сейчас нет такого. А если найдется?

— Поздно находиться такому. Нашу телегу не обгонит никакая другая. На будущий год она будет стоить вдвое дешевле. Мы можем торговать в кредит. Ты слышишь — в кредит!

— Ты увлекаешься, Петя. Ты снова забываешь, что нашу телегу удешевляют рабочие завода Коробцовой. Ты заставил Столля давать больше и лучше. Ты продиктовал ему новую технологию, удешевил производство осей, шин, поковок. Пуд гаек и шайб стоит немногим дороже пуда металла.

— И отлично.

— Отлично для трудового товарищества. Но каково для рабочих завода Коробцовой? Мы переполучаем за то, что недополучают они.

— Это очень жаль, Павел... Пусть добиваются лучшего.

— А как?

— Тебе виднее, Павел. Я слышал о забастовке и о требованиях увеличить оплату за труд на коробцовском заводе.

— От кого, Петя?

— Узнал из листовки...

— Из какой, Петя, листовки?

— А ты не знаешь о ней?

— Слышал краем уха что-то такое...

— Всего лишь слышал? Ну, что ж, будем считать, что ты только слышал, и притом краем уха. А я читал, и не краем — в оба глаза, и притом внимательно. С перечитыванием.

— А зачем тебе, Петя, потребовалось такое внимание?

— Побаиваюсь, Павел, за авторов этой гектографической листовки.

— А что за них бояться? Разве они подписались?

— Не подписались, но пальцы оставили.

— Да? Каким образом? Это очень интересно.

— Если интересно, тогда слушай. Слово «социализм» пишется без мягкого знака после буквы «з». Слово «пролетарии» пишется не через «ять», а через «е» простое. И если человека, подозреваемого в написании оригинала листовки для гектографа, попросят написать эти два слова и он или она повторит эти грамматические ошибки — появится первая улика. А затем, когда займутся изучением почерка, то ему или, скажем, ей уже некуда будет деться.

— А почему ты, Петя, говоришь: или «ей»?

— Вот видишь, Павел,— усмехнулся Колесов,— ты уже пробалтываешься, беспокоясь о местоимении «ей». А если я скажу, что писавшая листовку плохо изменяет почерк, сохраняя характерные закорючки у букв «щ» и «ц» — окажется вторая улика.

— Тебе бы в жандармы, Петя,— так же смеясь, заметил Павел.— Из тебя бы получился сыщик или следователь, не худший, чем инженер. А что еще не так в почерке листовки?

— Все не так, начиная с самого почерка. В таких случаях пишут печатными буквами на листке из тетради по арифметике. На листке, разграфленном в клеточки. Не уличишь.

— Да ты еще и опытный конспиратор.

— Я просто не дурак и не сую голову туда, где ее могут оторвать. Это к слову. На тот случай, если ты и Настя или кто-то из твоих новых векшенских друзей, отбывающих ссылку, снова вздумают настойчиво рисковать свободой.

Павел понял намек. Не желая раскрывать тайны, принадлежащей не только ему и Насте, он спросил в упор:

— Ты против забастовки?

— Я против способов ее организации. Мне далеко не

безразлична участь людей, которых я люблю. Зачем так сложно и рискованно, когда есть путь проще, короче и неуязвимее.

— Какой, Петя?

— Стоит нашему тележному товариществу перейти на восьмичасовой рабочий день, и через неделю на коробцовском заводе вспыхнет забастовка. И ни тебя, ни меня никто не сумеет обвинить, что забастовка порождена нами.

— Но, милый мой Петр Демидович,— горячо заспорил Павел,— нужно не только породить, но и направить порожденное тобой. И если ты в самом деле, читая листовку, следил только за грамматикой, ты, значит, ничего не понял или не хотел понять, думая, что только ты ось и все вертится теперь вокруг тебя.

— Я так не думаю, хотя и не считаю себя пятым колесом.

— Тогда ты должен был заметить и политическую суть листовки. Рабочие должны просить не барской милости, а требовать положенное им. Не только материальные соображения должны руководить бастующим, но и сознание своего рабочего достоинства, понимание, что он, рабочий, на заводе главная фигура и что забастовка является предупреждением о более решительных мерах. О наведении новых порядков и ломке старых. Не протягивать руку требует листовка, а подымать ее. Так что, Петр Демидович, забастовка забастовке рознь. Столль тоже жаждет забастовки и по-своему организует ее. Штрафами. Увольнениями. Снижением заработка. Он убежден, что перепуганная забастовкой графиня продаст за бесценок завод Стрехову и Столль войдет к нему в пай. Болван! Он забывает, что забастовка предрешит его конец на заводе. В листовке определенно говорится о наемных грабителях и тиранах. Листовка скомпрометирует его.

— Это слова, Павлик!

— Все начинается со слов. Недаром наш школьный попик поучал: «в начале было слово и слово было бог...» Когда революционное искрометное слово зажигает сердца, оно становится силой противоборства. Не умаляй значение пламенных слов.

— Так что же, выходит, проектируемый мною восьмичасовой рабочий день на тележном заводе никак не скажется на забастовке?

— Я, Петя, этого не говорю. Теперь все ручьи текут в один пруд народного гнева. И мутные и чистые ручьи полнят его. Одни сознательно, другие преднамеренно, третьи вынужденно текут и сливаются, не желая того, с революционным потоком. Недалек день, год, преграда будет прорвана, и людское терпение, обратясь в гнев, хлынет и смоет все мешающее ему, все противящееся его силе...

— Толковые, я смотрю, ссыльные поселились в Векше. Я знавал таких и едва не сгорел... Ну, да что об этом. Большим потокам — большие и русла, а малые ручьи текут и без них. Останусь верен себе. Буду течь ручьем-одиночкой, памятуя, что и малые, но настойчивые ключики иногда незримо, неслышимо подмывают и рушат капитальные, веками возводимые строения. На этом, Павлуша, и порешим. Закроемся. Уйдем в себя и останемся такими же друзьями. Этого разговора между нами не было. Ни ты, ни я не вспомним о нем, ни на следствии, ни на дыбе. Все бывает в жизни. Так, что ли?

— Да, Петя!

— Руку!

— Вот моя рука!

XXV

Забастовка на коробцовском заводе сулила Колесову то, что казалось ему возможным только через два, через три года. Он мог, оставив тележный завод, с легкостью убрать Столля, для чего было достаточно дать знать графине, что завод выгоднее продать на выкуп рабочим, как это сделала Екатерина Иртегова, нежели получать с него мизерные прибыли.

Столлю также нужна была забастовка. Он уже дважды встречался с Глебом Трифоновичем Стреховым, влиял на него через Магдалину Григорьевну Шутемову, предпринимал все, чтобы завод был воссоединен с Векшей и он стал его совладельцем. Столль помогал вспыхнуть забастовке штрафами, сокращением заработков, увольнениями.

Колесов вольно или невольно помогал вспыхнуть забастовке, преследуя иные цели.

На его недавней памяти шумные восторги мыловаров после объявления о сокращении на час рабочего дня. Этот час радостно отозвался в каждой рабочей семье. В день годовщины тележного завода и там будут введены вось-

мичасовой рабочий день и двухсменная работа. Спрос на телеги намного превосходит производственные возможности завода. На стоимости телеги почти не скажется сокращение рабочего времени, напротив, возрастет выпуск телег при двухсменной работе завода. Зачем же ожидать годовщины, если сегодня же, в ближайшие дни, можно сократить рабочее время и ускорить этим забастовку на заводе графини? И он сегодня же, как всегда осторожно, не раскрывая истинных замыслов, соберет мастеров.

По пути на завод Колесов встретил Симона Иоганновича. Подготовленную речь для тележников он прорепетировал на Шварце:

— Симон Иоганнович, наблюдая за работой на вашем жарком заводе, я заметил, что рабочие очень устают и во вторую половину, после обеда, делают меньше.

— О да, о да... Трудный работ, горячий огонь, большой заказ...

— Кто же мешает вам, дорогой Симон Иоганнович, увеличить работу завода до шестнадцати часов и ввести две смены по восьми часов?

Шварц на крыльях примчался на свой завод, чтобы подсчитать, «что есть минус и что есть плюс».

На совете мастеров тележного завода Петр Демидович изложил положение дел:

— Мы даем чуть ли не вполовину меньше, чем нужно и можно дать. Удлинять время работы не к лицу нашему товариществу. Убыстрять скорость передачи — несомненно, скажется на качестве, а следовательно, и на сбыте.— И далее навел слушающих на то, чтобы ввести вторую смену, затем выразил опасения, что вторая смена, кончающаяся поздно, повлечет недовольство рабочих, лишившихся нормального сна. Незаметно сам подсказал то, что желал.

Корней Дятлов рассудил так:

— Выход один — убавить рабочее время. И если первая смена будет начинать в шесть утра и заканчиваться, с перерывом на обед, в три часа, то вторая смена с трех дня успеет отстоять у станков и до полуночи быть дома.

Петр Демидович поколебался для видимости минут пять, посоветовался при мастерах с бухгалтером и подтвердил:

— Вы правы, Корней Евстигнеевич, у нас выход

один — согласиться с восьмичасовым рабочим днем и начать набор второй смены. Мы, я думаю, не прогадаем от этого.

О переходе на восьмичасовой рабочий день двух заводов стало известно в городе на другой же день. Желающих поступить на мыловаренный и тем более на тележный заводы было более чем достаточно.

И, несмотря на это, в типографии были отпечатаны две сотни афиш, в которых канцелярски бесстрастно извещалось, что в связи с переходом на двухсменную работу, по восемь часов каждая, тележный завод нуждается в мастерах и рабочих. Затем назывались и цифры гарантированного заработка «от» и «до», участие в прибылях товарищества, право пользования удешевленными обедами в столовой, бесплатным обучением детей в двух школах, учрежденных госпожой Е. А. Иртеговой, а также ссудами заводской кассы взаимного кредита, и опять же «от» и «до» рублей, на срок тоже «от» и «до» месяцев, а при возведении своих домов, при покупке скота и на более продолжительные сроки, при условии поручительства двух лиц...

Такие же, чуть меньшие по размеру, афишки зазывали рабочих и на мыловаренный завод, как будто оба эти завода опасались, что не найдутся рабочие руки, которых теперь в Лутоне было больше, чем когда-либо.

Не кто иной, как Павел Лутонин, придумал и подготовил черновички афишек и попросил Колесова отредактировать их набело. Тот, сделав вид, что ему непонятна подоплека этой затеи, сказал:

— Ты молодец, Павел. Эти объявления привлекут к нам новых рабочих, и мы сумеем отобрать из них лучших мастеров. Очень разумно. Очень, очень!

Бывавший запросто у Кати Иртеговой вместе со своей жизнерадостной женой, тоже Катей, Анатоль Мерцалов заметил об афишках:

— Трудно представить себе более умные и безгрешные прокламации, призывающие к забастовке рабочих завода Коробцовой-Лапшиной.

Катя весело заспорила:

— Анатолий Петрович, так можно и в крестном ходе увидеть демонстрацию. Можно заподозрить и Христа в распространении демократических идей, а вас — в попустительстве.

— Нет, Екатерина Алексеевна, я далек от того, к

чему, как вам кажется, должен быть близок. Но разве мне запрещено думать, оценивать и делиться своими суждениями? Кроме всего, я хотя и вынужденный, но житель Тихой Лутони. И мне, как жителю, не безразлично было узнать, что рабочие завода графини потребовали у Столля восьмичасовой рабочий день. До этого они просили снизить его на час. Как на вашем мыловаренном. Они хотят надбавки по двадцать копеек на рубль.

— Этого нет в афишках товарищества.

— Но там названы цифры заработка, и самая меньшая из них превышает большую, получаемую рабочим на заводе графини.

Катя по-прежнему весело полемизировала:

— Наверно, и я поступаю опрометчиво, платя кучеру и кухарке намного больше, чем все. В Лутоне могут забастовать все кучера и кухарки. Я подаю плохой пример...

В этот вечер шутливой болтовни Мерцалов почему-то нашел нужным сообщить Кате, где-то между фраз, о том, что уездное начальство, побаиваясь, что готовящаяся забастовка может перейти в бунт, расквартировало в окрестных деревнях кавалерийскую сотню.

— Для этого есть некоторые основания. Дело в том, что появилась вторая прокламация, призывающая действовать решительнее. Но я думаю, что уездному начальству не следовало подливать масла в огонь и не мешать коробцовским рабочим выяснять свои материальные отношения с графиней. Появление сотни кавалеристов может стать провокационным, о чем я имел честь предупредить ротмистра этой сотни. Но я полагаю, что все обойдется мирно. Графиня продаст свой завод Стрехову, а тот пойдет на уступки рабочим, пообещает им кучу благ, а затем обманет и вызовет этим новую забастовку, которая неизбежно перейдет в бунт обоих заводов: Лутонинского и Векшенского. Но сейчас этого не случится... Поэтому поговорим о процветании вашей изумительной школы, Екатерина Алексеевна.

Слушая Анатоля, Катя опять не могла понять, сочувствует ли он забастовке, стоя на стороне рабочих, или только притворяется и хочет что-то узнать. Его снова можно было принять и за искусного ловца, и за человека, сочувствующего революции, но боящегося признаться в этом. Но кем бы он ни был, его нужно принимать, разговаривать с ним, прислушиваться к сказанному им ме-

жду слов. А между слов он не сочувствовал Столлю и считал его главным виновником упадка завода.

Странным казался Мерцалов и Колесову, особенно после неожиданного приезда в Лутоню Олимпия Ягилева, который в Петербурге в числе четырех избежал ареста членов тайного кружка «Освобождение». Олимпий Ягилев объяснил свой приезд тем, что, прочитав в газетах об успехах нового кооперативного тележного товарищества, ринулся повидаться с его создателем, старым другом Петечкой, и попробовать предложить свои инженерные услуги. Ягилев привез пачку разрозненных номеров газеты «Искра», связку нелегальных брошюр.

— Здесь есть отличные сочинения!

Насторожившийся Колесов ответил резко:

— Спасибо, Олик. Я этих книг не чтец. Отсек очарованье чар ниспроверженья. Выжег в себе заблуждения революционного переустройства жизни. Верю только в эволюцию разумности реформ царя. И тебе советую меньше «искрить» и рисковать собой. То, что ты сказал, я, Олик, не слыхал. А что касается работы на тележном, ее скоро не будет и для меня. Извини, к себе не приглашаю. У меня отец слуга царя и бога.

Через несколько дней Колесова спросил Анатоль о приходившем к нему Ягилеве:

— Что это за личность? Он исповедовал меня, спрашивал о вас, и спрашивал искусно. Кто он?

Колесов ответил прямо:

— Наверно, провокатор, Анатолий Петрович. Но мне-то что?

— И мне так показалось,— согласился Мерцалов,— хотя и слишком просто скомпонован для этой тонкой и серьезной роли.

Вот и пойми, кто и как скомпонован и в какой роли выступает.

Не все безоблачно и безмятежно на душе и в жизни Пети Колесова.

XXVI

Не из тучи гром — забастовали рабочие жуланкинских мастерских. Они не вышли на работу — и все. На воротах мастерских Парамон Антонович прочел написанное мелом: «Восемь часов при том же заработке».

Велев сыну стереть мокрой тряпкой требования рабочих, Жуланкин побежал к «вриду». Мерцалов очень внимательно выслушал его и посочувствовал:

— Ай-ай, господин Жуланкин, как вы удручили меня, я не знаю, что предпринять.

— Вернуть иродов,— потребовал он.

— Вернуть? Но, простите, Парамон... кажется, не ошибаюсь?.. Антонович. Они же не ваши крепостные... После реформы тысяча восемьсот шестьдесят первого года...

— Знаю я эту реформу. А совесть? Они же нанятые! Я их кормлю.

— Не кормите. Проголодаются и придут.

— А если не проголодаются? Их, говорят, немец на мыловаренный берет! Это же почти что в харю плюнуть... Кузнеца к мылу приставить? За рупь-целковый свои мастеровые руки перепродать?

— Это невероятно,— вторил Мерцалов.— Кузнец — и вдруг... Я понимаю, если бы кузнец стал тачать сапоги, это хотя и смешно, но ближе... Нельзя позволить перепродать им свои руки. Их нужно немедленно перекупить за два рубля и оставить немчуру с носом. Да-да, и сказать ему: «Немец-перец-колбаса съел теленка без хвоста»,— или что-нибудь еще остроумнее...

— Господин «безмундирный врид», мне не до смеха.

— И мне, признаться, не до него, но вежливость прежде всего. Я обязан быть внимательным и участливым. Давайте разберем, Парамон... Парамон...

— Антонович,— зло подсказал Жуланкин.

— Совершенно верно. Благодарю вас. Так много имен, которые нужно помнить. Например, Колесов... Так и не могу заучить, Денисович он, или Демидович, или Столль Юрий Викторович, или Виктор Юрьевич... Просто какая-то чехарда. Да-а. Мы остановились на руках. Кому принадлежат руки, которые перепродали ваши кузнецы?

— У каждого свои.

— Вот в этом и дело, Парамон Антонович. И если эти руки мои, я вправе распорядиться ими. Если кузнецы что-то украли своими руками, я ваш покорный слуга,— поклонился Анатоль.— Если они оскорбили кого-то действием, я ударю по ним. Если они, наконец, написали на заборе непристойное, в моей власти наказать их. А заставить ковать или что-то там такое... я не имею права. Это может сделать только один господин. Господин, как

вы изволили выразиться, «рупь-целковый». С ним и прошу покорнейше иметь дело.

— А ежели ж,— Жуланкин вынул заранее приготовленную сторублевую ассигнацию,— предложу вам сие?

Мерцалов едва сдержал себя.

— Сколько вам сдачи? И по какому месту, господин купец?

Жуланкин опешил. Перед ним стоял человек, чем-то похожий на Колесова. На его гладком, хорошо выбритом лице проступили розовые пятна. В его синих глазах была решимость. Он мог ударить. Поспешно схватив со стола свою сотенную, Жуланкин рысцой выбежал из кабинета Мерцалова.

«Мало дал,— подумал Жуланкин в сенях мрачного дома.— Его перекупило товарищество»,— решил он на улице и направился к Столлю — как быть?

Столль не дослушал Парамона Антоновича.

— Уже поздно идти на уступки, ваши кузнецы работают в тележном товариществе. Но вы не огорчайтесь,— предупредил Столль,— скоро появится много свободных рабочих.

— Как понимать вас, Виктор Юрьевич? — полюбопытствовал Жуланкин.

— Так, как я сказал. Графиня не согласится владеть убыточным заводом. Рабочие требуют прибавки. Двадцать копеек на рубль. И укорочения рабочих часов. А этого сделать невозможно. Я доложил об этом графине и жду ее со дня на день.

Лицо Столля тоже чем-то походило сегодня на лицо Петьки Колесова. «Неужели ж куплен и он?»

Обессиленным, раздавленным вернулся домой Парамон Жуланкин. Потухшие горны. Молчащие мастерские. Убийственная тишина. Цепная собака и та не тявкнула, не вышла из конуры, будто тоже забастовала.

Через открытое окно дальней комнаты слышалось, как дармоедка сноха бренчит на своей рояльке. Ей что? У нее своя жизнь, свои утехи. Что-то часто стала она бывать у отца, и каждый раз в те дни, когда приезжает к Шутемовым векшенский заводчик Глебко Стрехов. Спроста ли?

Плохого в этом видеть, может быть, и не следует, но и хорошего мало в том, когда человек, которому под пятьдесят, с одышкой и при животе, танцует с чужой

молодой женой и наряжается не по годам пестро и затейно.

Однако в этом Парамон хочет видеть и коммерцию. Шутемов не зря привечает Стрехова, который может завладеть графининым заводом, и тогда для Петьки Колесова не будет вольготных оковок телег.

А так ли это?

Тяжко на душе Парамона Антоновича, душно на дворе, сумеречно в ясный день. И не с кем поговорить. С сыном? А что может сказать Витасик, когда у него за сеткой в саду и в голове поют и порхают птички? В них да в Эльзе вся его жизнь.

Один ты одинешенек со своим горем, Парамон Антонович. Не сходить ли тебе пожаловаться могильному холму, под которым покоится умная, утешливая, заботливая, поторопившаяся на тот свет жена? А может быть, лучше крикнуть смешливую, раскормленную Милку и велеть подать в спальню графин для заглушения болей и мук? И он кричит:

— Где ты там?

— Тут я, тут, Парамон Антонович,— невесть откуда появляется переотягощенная здоровьем и бездельем деваха.— Сижу и жду, может, на что снадоблюсь...

В ее глазах зеленая весна, во рту белым-бело, и вся она грешным-грешна открыто и зовуще, хмельнее водки, жарче домны.

— Невыспанные нынче вы и плохо кушанные, Парамон Антонович... Каво-чего-куда прикажете?.. Я вмиг.

— Иртеговской графинчик и грибков в спальный летник. Кто тебя так разрумянил, распалил?..

XXVII

Оставаясь как бы в стороне от забастовки, Павел Лутонин через верных людей настоял — не гасить плавильных печей, не сажать в них «козлов», не причинять никакого материального ущерба заводу, чтобы власти не могли расценить забастовку как бунт и начать расправу за причиненные убытки.

В день приезда Коробцовой-Лапшиной, на этот раз только с камеристкой, Петр Демидович отдал визит вежливости, поздравил графиню с благополучным приездом, поднес очередной букет оранжерейных пионов и

памятный золотой жетон товарищества с крупным изумрудом в центре и мелкими по ободу колеса.

— В цвет ваших глаз, графиня Варвара Федоровна.

Графиня тотчас приколола эмблему, как брошь, и начала разговор о положении дел на ее заводе.

Колесов всячески уклонялся от прямых ответов, начинал рассказывать о Катиной школе, вспомнил об оставленном в своем коробке́ двухдюжинном мыльном наборе. Попросил разрешения принести горничной эту мыльную коллекцию, а затем, когда горничная доставила в именной, роскошно инкрустированной шкатулке двадцать четыре разноцветных куска мыла, уложенных в гнезда, принялся рассказывать о свойствах каждого из них.

Графиня благодарила, подносила к носу то один, то другой кусок, повторяла свое «шарман» и «се тре бьен» и снова возвращалась к своему заводу.

— Мне, Варвара Федоровна, не хотелось бы огорчать вас в первый день вашего приезда, но вы так упорно настаиваете на этом. Извольте.— Колесов ослабил галстук, показывая этим, что ему не легко говорить; он прибег к старому приему: — Товариществу трудно платить рубль за то, что стоит несколько копеек. Товариществу невозможно просить господина Столля снизить цены на поставку металлических изделий, потому что это будет означать дефицит. Он и без того работает на красной черте возможностей состарившегося завода. И товариществу, не мне, а товариществу кажется, что дешевле построить маленький заводик, оборудовав его новейшими станками, которые при небольшом числе рабочих покроют наши потребности.

— Милый друг, Петр Демидович, я поняла вас. Женщины очень часто, а может быть, всегда, обладают вторым слухом. И если он не изменяет мне, то, пожалуйста, скажите, за сколько вы хотели бы купить завод? За сколько?!

— Варвара Федоровна, у товарищества едва ли найдутся деньги, чтобы купить хотя бы только одну трубу вашего завода. Это не хохряковская лесопилка и не сорокинская мыловарня.

Графиня задала вопрос, который не могла не задать:

— А на что же вы собираетесь строить свой новый маленький завод?

— На векселя. Фирмы дают большую рассрочку.

— А почему же не могу дать ее я, если векселя подпишет Екатерина Алексеевна Иртегова? Она, как наслышана я, весьма платежеспособна.

— Я не думаю этого, Варвара Федоровна. И зачем ей быть фабриканткой, владелицей завода, который... Впрочем, ей лучше знать, как распорядиться своими деньгами, если они у нее еще есть.

— И вы не знаете этого, мой друг? — Графиня игриво пощекотала за ухом Колесова.— Ах, мой милый, наивный простачок... Я понимаю, Кэтрин очень скрытна, как все умные люди. Во что вы оцениваете мой завод, Петр Демидович? Или вам удобнее ответить на этот вопрос в зависимости от исхода забастовки.

Разговор походил на допрос. Напрасно он пришел сегодня. Но коли сглупил, нужно быть последовательным.

— У меня, Варвара Федоровна, нет второго, женского слуха, но то, что я слушал первым, мужским, не может иметь никаких последствий. И если то, что говорят, не преувеличено, не является способом напугать Столля, вам-то что до забастовки? Рабочие привязаны к Лутоне своими домами, коровами, огородами, могилами отцов и дедов, наконец. В Лутоне поблизости нет завода, который бы мог взять на работу тысячу человек.

— Тысячу двести,— поправила графиня.

— Тем более. Ваш завод не мастерские Жуланкина. Пять-шесть десятков его мастеров нашли прибежище в нашем товариществе, но и они взяты из сожаления к их семьям. Закройте на неделю завод. Погасите печи и займитесь его продажей, если он в самом деле вам не нужен. Есть отличный покупатель.

— Кто?

— Глеб Трифонович Стрехов. Для Стрехова будет выгодно присоединить ваш завод к своим и превратить свой металл в изделия. Я могу подсказать, если вы захотите, его управляющему, моему однокурснику Юлиану Донатову. Это умный и дальновидный инженер с большим будущим. Он каждую субботу приезжает к Шутемову. Он, кажется, хочет стать его зятем. Младшая дочь Шутемова Таля так дивно расцвела.

— Я буду вам благодарна, Петр Демидович. Простите мне мои подозрения. Я сегодня же смою их вот этим... нет, лучше этим куском... прозрачного мыла.

Видя, что разговор закончен, Колесов поцеловал руку графини и спросил:

— Могу ли я рассчитывать видеть вас в доме моего отца?

— Непременно, непременно... и вместе с божественной Кэтрин Иртеговой. Может быть, она вспомнит, поищет, не завалялась ли у нее какая-то мелочь для покупки еще одного завода...

Колесов пожал плечами, улыбнулся и раскланялся. Он сделал все необходимое, чтобы графиня встретилась с Глебом Трифоновичем Стреховым, и тот предложит ей за завод оскорбительно мало, после чего можно будет приступить к осуществлению намеченного и теперь почти предрешенного...

XXVIII

Забастовочное движение в России становилось самой яркой краской в картине ее истории первых лет двадцатого столетия. Мировой экономический кризис не мог обойти Тихую Лутоню, как бы она ни пряталась в глухомани Прикамья и каким «натуральным хозяйством», какой бы «самопотребляемой» не выглядела ее промышленность, производящая товары для внутреннего рынка нескольких волостей уезда, промышленность, питающаяся своими внутренними сырьевыми источниками. Источниками рудными, древесными, топливными и всеми другими, включая сюда зерно, мясо, масло и все «самопроизводимые и самопотребляемые» изделия, продукты и материалы.

Но капитализм не изолирует ничто. Не сам по себе дымил и коробцовский завод. И если Колесову, с одной стороны, Столлю — с другой, казалось, что они являются авторами забастовки на заводе графини, то это справедливо не более чем утверждение спички, что возникший лесной пожар зависел только от нее, забывшей, что лес был сух, что жаркая погода и сильный ветер были немаловажными обстоятельствами и условиями лесного пожара.

На другой день после начала забастовки, предупрежденный Столлем, на завод прискакал задолго до первого гудка ротмистр с кавалеристами. Но делать им было нечего в пустом заводе. Там появилось двадцать или немногим более рабочих, не желающих бастовать, и

пришла смена плавильщиков. Старший из них объявил Столлю:

— Гасить и снова задувать печи обойдется дорого. Но если вы прикажете, мы произведем выпуск металла и дадим остыть печам.

— Нет, зачем же наносить заведомый урон? Я обещаю вам полуторную оплату за все дни забастовки.

— Спасибо и на этом,— поблагодарил мастер.— Не худо бы и вдвойне.

— Пусть будет вдвойне,— согласился перепуганный листовками Столль, в которых его называли «продажной шкурой» и «погубителем завода». Теперь он, желавший забастовки, боялся ее. Ему виделись страшные картины беспорядков. Они уже случались на других уральских заводах, где управляющих под улюлюканье вывозили на тачке из завода, а иногда и в печь. Опасаясь этого и прося о предупреждении возможных событий, он и насторожил уездное начальство.

У проходной остался кавалерийский патруль, а Столль отправился к владелице завода Коробцовой-Лапшиной. Она рано проснулась в это утро. И выборным от цехов депутатам не пришлось дожидаться у ее роскошных дверей с витражом, изображающим неведомых ярко оперенных птиц в причудливых тропических зарослях.

Горничная пригласила:

— Милости прошу к графине, господа...

«Господа» в сапогах, в чистой, но поношенной одежде остановились молчаливо в передней.

— Проходите, проходите, голубчики,— вышла графиня навстречу к дверям гостиной и пригласила к столу с закусками и бутылками.

— Мы не чай пить, барыня. Благодарствуем,— поклонился самый старый из депутатов, в плисовых повытертых шароварах, в сапогах, когда-то бывших лаковыми, и пиджаке с чужого плеча.— Мы насчет восьми часов и двадцати копеек надбавки на каждый рупь нашей платы...

— Да что вы, голубчики... Садитесь, пожалуйста,— настоятельно приглашала графиня.— Вы же не крепостные, а я не помещица. Садитесь,— приказала она.

И они сели на стулья поодаль от стола.

— Завод убыточен, господа. Прибыли, которые я получала от заказов товарищества, далее не предвидят-

ся. Товарищество намерено строить свой маленький заводик. И вы очень разумно поступили, господа, отказавшись работать на моем старом, изношенном заводе и получать за длинный рабочий день жалкие гроши. Я вполне понимаю вас, голубчики мои...

Графиня расчувствовалась. Попросила воды. Приложила платок к глазам.

— Я благодарна вам, голубчики, за то, что вы освободили меня от тяжкой миссии... Миссия — это,— пояснила графиня,— обязанность, необходимость... От тяжкой необходимости уволить вас с работы. Это так жестоко. Вы поняли, как обстоят дела, и сами покинули завод, с которым я хочу расстаться навсегда. Я прикажу Виктору Юрьевичу произвести расчет с вами и закрыть завод. Ах, если б вы знали, сколько крови испортил он мне и как я счастлива, что мы расстаемся друзьями! Ни я вам ничего не буду должна, ни вы мне... Не правда ли, мы ничем не обязаны друг другу?.. Виктор Юрьевич, прошу вас за мой счет каждому рабочему выплатить сверх положенного на штоф водки, и тем, кто проработал более десяти лет, на два штофа. Прошу вас к столу, голубчики.

Никто не тронулся. Старик в плисовых шароварах, Матвей Ельников, переглянувшись со своими, спросил:

— А коли мы согласимся на прибавку по пятнадцати копеек с рубля?

— Голубчики, если вы предложите мне убавить по пятнадцати копеек с рубля, то и в этом случае я не в состоянии буду платить вам. Ну зачем же нам торговаться? Я не хочу никаких выгод, господа. Вы по доброй воле ушли, я, не сердясь на вас, закрыла завод, буду искать покупателя. Придет новый, богатый фабрикант, улучшит завод, облегчит ваш труд, и вы ему назначите свою цену. Прошу вас к столу распить на прощание.

— Благодарствуем! За все благодарствуем,— поклонился графине старик Ельников и, надев тут же, в гостиной, фуражку с лаковым потрескавшимся козырьком, крикнул пришедшим вместе с ним депутатам: — С забастовочкой вас, голубчики! С закрытием!

Столль громко вздыхал, прикидывая, какой может стать цена завода после того, как графиня поймет, что ее положение безвыходно...

Стрехов сегодня же будет знать обо всем. День-два он помедлит, поманежит графиню, а затем явится и

завершит так долго подготавливаемую и ожидаемую покупку.

Для Глеба Трифоновича Стрехова, гостящего у Шутемовых, коробцовский завод был битой картой, и его в этот вечер занимало иное приобретение. Он взвешивал, кто лучше может сварганить улики, дающие повод Эльзе потребовать развода с Витасиком. Эльзе он простил ее непонятливость, когда он около года тому назад так недвусмысленно делал ей подарки и жаловался на свое одиночество... Но что было — прошло, теперь надо брать то, что есть. Она не любит Витасика; может быть, не будет любить и его, как и тех, что были, что есть и будут. Но люби не люби, а почаще взглядывай. На большее он пока не рассчитывает. Время покажет свое. Станет матерью, и материнство привяжет ее.

Подложить бы скорее к пьяненькому Витасику кудрявую улику. Такая есть на примете и недорого берет. Будущий свекор поможет найти уличителей.

Это главное. А коробцовский завод никуда не денется. Тянуть он не будет, но и не станет торопиться. Никто не перебежит ему дорогу. Никто! Кому нужна Лутоня на отшибе, без Векшенских, питающих ее железом заводов? Никому.

Хорошо думалось Глебу Трифоновичу. Все складно складывалось. Осталось прийти и взять пустующий завод. И он на следующий день с утра отправился к графине.

XXIX

Самодовольный, игриво настроенный пришел Стрехов к Коробцовой вместе с Колесовым и Донатовым.

— Честь имею, имею честь, графинюшка Варвара Федоровна, засвидетельствовать свое наипочтеннейшее,— весело произносил свое приветствие Стрехов, целуя протянутые, начавшие морщиниться руки графини.

— Молодеете и молодеете, Глеб Трифонович,— оглядела графиня раздушенного, молодцевато постриженного, в светло-серой паре и слепящей сорочке с небрежно повязанным бантом галстуком Стрехова.

— А что же остается делать в мои годы, Варвара Федоровна, чтобы не опоздать использовать положенное скоротечной жизнью? Притащили меня, как быка на привязи, как козла на веревочке, ваши поклонники,—

показал он на Колесова и представил Донатова: — Имею честь, мой управляющий Юлиан Германович, друг вашего любимца и обожателя Петечки... теперь уже Петра свет Демидовича.

Подоспел и Столль. С его приходом можно было покончить с предварительным и приступить к основному. Так и поступил Стрехов.

— Варвара Федоровна,— сказал он,— я не могу воспользоваться бедственным положением вашего завода и предложить справедливую цену, которая обидит вас, испортит наши старые добрососедские отношения. Да и, по правде говоря, зачем надевать мне старый хомут, когда на моей шее и без того два не новых. Перекладка моих печей в Векше у меня вот где сидит.— Он показал на сутулую спину с трудом дотянувшейся до нее рукой с массивным обручальным кольцом на «вдовьем» пальце.

— А вы, Глеб Трифонович, не бойтесь обидеть меня,— попросила Варвара Федоровна.— Назовите обидную цену.

— Увольте! — взмолился Стрехов.— Объясните, Юлиан Германович, за меня Варваре Федоровне.

Донатов встал со своего креслица и с покорным достоинством, начав с «имею честь доложить», немногословно и доказательно ронял в глазах графини цех за цехом ее завода. Он восхищался умением Столля, его способностями удерживать в своих руках убыточный завод и давать хотя и мизерно малые, но все же доходы, что можно назвать только чудом и удивляться, как мог Виктор Юрьевич так долго предотвращать неизбежную забастовку.

Коробцова-Лапшина не поверила бы Донатову, а до этого Столлю, если б она была уверена, что Стрехов хочет купить завод и они помогают ему в этом.

Стрехов, видя, что графиня не находится в том плачевном состоянии, о котором говорил Столль, передумал решать сегодня то, что через неделю или две дозреет в голове графини, и он больше выжмет и дешевле купит завод, жалеючи и сострадая.

Отсидев положенное, Стрехов снова приложился к ручке графини, посоветовал ей дать объявление о продаже завода в «Губернских ведомостях» и уехал на семейный пикник Шутемовых.

Оставшись с графиней, Колесов тоже порекомендо-

вал ей дать объявление в «Губернские ведомости» и тут же усомнился в полезности предприятия:

— Стремящийся продать всегда находится в худшем положении, чем желающий купить. Не верю я своему однокурснику Донатову, что ваш завод мертв. Он болен. И даже не болен, а обессилен. И будь бы я на месте Юлиана, алчный Стрехов купил бы ваш завод и, не останавливая его полностью, принялся бы за лечение его по частям. Столль отличный человек, но не в его силах сделать больше, чем он способен. Завод, Варвара Федоровна, не канцелярия, где можно восседать и повелевать. Завод, даже такой маленький, как наш тележный или мыловаренный, живой и капризный механизм, нуждающийся в неустанном внимании, вникании в каждую мелочь. Организм, требующий каждодневного обновления... Впрочем, это скучный разговор для светской женщины, но все же как не знать, вам, Варвара Федоровна, что у работающих на заводе есть семьи, дети, потребности быть сытыми, сносно обутыми и одетыми. Они должны жить.

— Так помогите им в этом, Петр Демидович. Я тоже не хочу им зла, но у меня нет денег... Свободных денег,— поправилась графиня.— Имения заложены. За лутонинские леса предлагают унизительную цену. Столль не оправдал надежд. Возьмитесь вы, найдите способы, придумайте условия...

— Ко мне уже приходили депутации ваших рабочих и умоляли найти способы... И я бы нашел их, Варвара Федоровна, но у меня одна жизнь и одна молодость, которая, увы, на исходе. И я тоже хотел бы побывать в Париже, подучиться в Англии, пожить в Германии, поверьте, Варвара Федоровна, я не менее способен и энергичен, чем Донатов. Я бы мог удвоить выплавку металла Стрехову, но я занимаюсь телегами, мылом, лесопилкой, получая за это меньше, чем Столль, и рискуя к тому же сбережениями своего отца.

— Кто же мешает вам получать больше и не рисковать деньгами Демида Петровича?.. Неужели вы думаете, что в империи может что-то измениться, если вы облагодетельствуете дешевыми телегами мужиков одного-двух уездов?

Колесов не хотел говорить на эти темы. Ему нужно было подсказать графине, что у нее остается последняя

возможность избавиться от завода, продав его в рассрочку на выкуп рабочим. Но всему своя пора. Ему не следует делать того, что сделают за него другие.

XXX

В особняк графини снова пришел глава депутации, кузнец Матвей Ельников.

— Ваше сиятельство, госпожа графиня Варвара Федоровна, не угодно ли тебе будет выслушать старого дурака, который хочет развязать все узлы, все петли, что затягиваются и на твоей хозяйской шее, и на нашей.

Варвара Федоровна узнала Ельникова. Начатый так разговор заинтересовал ее.

— Вы от рабочих? Садитесь, пожалуйста. Как ваше имя?

— Нет, матушка барыня, пока я от самого себя и от чистой совести, а звать меня Матвеем. Кузнец я, как и отец мой Кондратий, как и дед мой Маркел, кои работали на вашем заводе еще при крепости.

— Не подать ли водочки, Матвей Кондратьевич?

— После подашь. Будет за что подать,— заинтриговывал Ельников.— Нет ли чужих ушей? Столль мастер в этих делах.

— Я одна.

— Рассказ мой не долгий. Да я не буду тянуть кота за хвост, потому как забастовщики добастовались до прошлогодней редьки с квасом и клянут мутил-заводил. А клятьбой да матьбой завода не пустишь. А я хочу, чтобы дымил он, батюшка, и хоть впроголодь, да надымливал нам кусок хлеба.

— Как же это ты хочешь сделать, Матвей Кондратьевич? — с нескрываемым любопытством спросила графиня.

Ельников высморкался в большой платок, расправил сивые усы, чесанул пятерней бороду и ответил:

— Уж коли решился, так сделаю. Ты одна, барыня. Мужика у тебя нет. Вдова. Оплести-обвести тебя — дело плевое. А я им не дам. Мне жить мало осталось. В тюрьму сяду, а расплету-развяжу все до последней петельки. Только, Варвара Федоровна, не булькни кому-нибудь, что я скажу...

— Да уж постараюсь, Матвей Кондратьевич.

— То-то же... Женский волос да женский язык у

всех баб долог, хоть бы они не то что графинями, а даже царицами были. А тут надо с умом, чтобы не спугнуть, не дать спорхнуть верному делу. Сможешь ли?

— Смогу!

— Тогда слушай. Глебко Стрехов и сукин сын Витька Столль, туды его в гроб... прости на слове, матушка...

— А ты не бойся слов, я и сама теперь думаю, что тот и другой в два гроба их и в три кола...— выругалась графиня по-мужичьи.

Светская речь, народные русские слова и площадная брань сожительствовали в лексиконе графини дружно и взаимополезно, применяясь в зависимости от обстоятельств.

Услышанное родное, завязанное со знанием дела ругательство подняло в глазах Матвея барыню и приблизило ее к сердцу, умеющему ценить широту души.

— Они, зажранные хари с бесстыжими шарами, будут ждать, когда ты приползешь к ним на карачках и отдашь им на проглот наш старый завод задарма... Не быть этому, как бог свят, не быть! Не будет Столль в этом доме хозяином в третьей доле.

Не дождутся они, пока мы протренькаемся до последней нитки, а протренькавшись, тоже приползем к нему овечками и начнем скулить: «Сделай милость, батюшка Столль, стриги нашу шерсть, плати нам, сколь можешь, пей нашу кровушку, господин Стрехов, деться нам некуда, мы лутонинские, здесь у нас и кров и хлев, не на Алтай же нам ехать от своих домков». Вот в чем первая петля, барыня, и мы в ней! Только надеть петлю — это еще полдела. Надо ее затянуть. А у них руки жидки, мошна тоща, ум короток. Во что ты ценишь завод, ваше сиятельство?

Графиня не ожидала этого вопроса.

— Во сколько? Уж не купить ли ты хочешь его, Матвей Кондратьевич?

— А хоть бы и так!

— А деньги есть?

— При мне пока мало. Только на шкалик. Но для первого раза могу поклониться подарочным задатком тысяч на двести с гачком.

— Ты, Матвей Кондратьевич, наверно, с утра уже для храбрости...

— Не обижай, ваша светлость. Для такого разговора питыми не приходят. И коли тебе затруднительно на-

звать цену завода, скажу я. Столль его на гулянке в трезвом виде ценил в мильён. Стрехов и половины не хочет дать. Дескать, профинтится она в Парижах, то есть ты, ваше сиятельство, и за четыре сотни отдаст. Двести тысяч в зубы и двести по долговым распискам на пять лет. Разве это деньги?

— Откуда ты так разбираешься в тысячах, Матвей Кондратьевич?

— Счет не грамота. Я до ста мильёнов могу. Далее не пробовал. Да и ни к чему такой счет даже царю. И у него столько денег нет. А мильён — цифра простая. Что мильён, что десятка, только в ём каждая копейка тысячей считается. Ума тут не надо, матушка барыня. И коли желательно, мильён за завод можем дать.

— Да где же ты возьмешь его, Матвей Кондратьевич?

— В рабочих руках много капиталов. Ты прикинь своим умом. Если тысяча рук выкует тебе только по рублю прибытка, то в месяц тысяча целковых. А если по десятке — десять. За год — сто двадцать. За семь лет — без двадцати тысяч полностью завод.

— Ах, вот ты о чем, Матвей Кондратьевич,— догадалась графиня.— Давно ты виделся с Петром Демидовичем Колесовым?

— Редкий день не вижусь.

— Он так же думает?

— Его не поймешь. Наглухо запертый человек. Волосяной даже щели нету, чтобы увидеть, что в нем. Отцу родному не открывается полностью. Подсказку дает, а сказки не сказывает. Мыловары, дескать, нашли ход. Взяли завод на выкуп. «Мы,— говорим ему,— тоже можем взять». А он: «Если можете, так берите, пойду к вам служить, коли наймете». Мы ему говорим, что он может считать себя нанятым управителем, и шлем к тебе, ваше сиятельство, разговоры разговаривать. А он опять в ил. В нору. «Вам, говорит, надо, вы и идите к ее сиятельству». А мы свое: «Ты, говорим, ученый человек и слова все знаешь». А он: «Слов говорить тут никаких не надо. Деньги заговорят». В сторонке хочет быть, как на мыловаренном. Катя Иртегова покупала, а он в кустах. К хохряковской лесопилке он тоже как бы касательства не имел. И теперь не хочет. А сам спит и видит твой завод трудовым товариществом. Тоже ма-



лую цену выжидает. Над ним не каплет. А нам, матушка барыня, цену ждать силы нет. Скоро в нужник ходить будет незачем. Мильён так мильён. Двести тысяч с гаком в задаток подарочно. Потому как эти деньги не наши, а твои. У тебя ворованные.

Выглядевшее нелепым, вздорным, несостоятельным теперь показалось Коробцовой-Лапшиной осуществимым, реальным, выгодным. Не зная, что следует сказать, как ответить Ельникову, она прибегла к уловке:

— Такое дело без штофа водки не решишь. Велю подать беленькой.

— Благодарствую, матушка барынька. Только беленькой-то у меня твои два штофа невыпитых. Берегу их на столлевские поминки. Ты уж вели подать пятирублевого, которое цветом в густой чай отдает. Стоит того наш разговор...

XXXI

Горничная разлила по рюмкам коньяк и ушла.

— Хорош клопомор,— похвалил Ельников.— Теперь о погубителе-управителе. Кому только Столль не сплавлял твое железо. И Шутемову, и Жуланкину, и бишуевскому киту Кокованину, и по мелким кузницам. Он разорил тебя и погубил нас, матушка Варвара Федоровна. У начальника почты Красавина язык на малой привязи. Он знает, сколько и где твоих капиталов прикарманено Столлем. И за сто лет он бы не выслужил у тебя таких денег. Не верь мне, матушка Варвара Федоровна. Найди ход, позови на чашку чая Алешку Красавина — за первой бутылкой он тебе все выложит. А сунь ты ему самую малость — он вывернет всю требуху. Веришь ты мне?

— Верю, Матвей Кондратьевич.

— Он в паю с Глебкой Стреховым. В третьей доле. В третьей! А теперь на вторую метит.

— Откуда вам известно об этом, Матвей Кондратьевич?

— Матушка барыня, в простом народе есть такое сословие — кучера, пригорничные девахи, спальные кральки и прочая услуга. С ушами они все, барыня-матушка. Слышат, знают и нашему брату рассказывают, а наш брат, хоть бы и меня взять, боится обсказать все как есть. Сживут со свету. Работы лишат. Подведут за навет и в Сибирь. У них все куплены, окромя Мерцалова. Этот из противоборных господ. Веришь ли ты мне?

— Больше, чем себе верю. Вижу, что ты печешься обо мне.

— Не то ты сказала, если начистоту. Не о тебе пекусь, о своем брате пекусь. Ты тоже для нас, ваше сиятельство, не сахаром была, но на этот раз наши дорожки сбежались. Столль и тебе и нам вырыл яму. Он закрыл завод. Пущай же теперь ответит, вор. До копеечки принесет. Во прах ляжет, если с умом, через нашего «врида» Анатолия Петровича дело повести. Опальный он тоже человек. Как и Петька Колесов, вашего сословия, дворянский сын, а нашего брата чувствует.

Ельников налил себе рюмку, затем другую и третью.

— Такими чирьями долго пить надо эту бутылку. А ты, ваше сиятельство, зря выпивать начала. Тебе теперь ой как тверезой надо быть. Я в стакан, пожалуй, налью.— Ельников налил и выпил.— Не булькни толь-

ко, ваше сиятельство. Не вздумай Столлю наветки давать. Награду пообещай, ласковенько с ним, а сама тем часом к Анатолию Петровичу.

Отсталого, малограмотного Ельникова сама жизнь, обстоятельства выводили на путь борьбы. Его внутреннее чутье, природная сметливость подсказывали правильное решение, умелые дипломатические ходы. Ельников понял, прикинувшись пьяненьким, что «игра сыграна», и он уже без «ваших сиятельств» и прочих льстивых величаний фамильярно сказал ей:

— Так по рукам, значит, Федоровна?

— По рукам, Кондратьич.

Они простились.

Кому бы пришло в голову, что источником необыкновенной осведомленности Ельникова был Павел Лутонин. Ему точно было известно о суммах, награбленных Столлем у графини. Сначала от Настеньки Красавиной, потом и от всезнающего ее отца Павел узнал о мошенничестве управляющего графини.

Тщательно был проинструктирован Павлом отправлявшийся к графине Матвей Кондратьевич Ельников. Лутонин подсказал, как нужно вести себя, в каких словах раскрыть подлости пригретого графиней Столля. И Ельников выполнил это с большим искусством. Участь Столля была предрешена.

Лутонин знал, что осторожный Колесов, которому тоже хотелось избавиться от Столля, не отважится рассказать графине «щепетильную правду». Но Павел не сомневался, что графиня не преминет свидеться с Петром Демидовичем и тот если не подтвердит сказанное Ельниковым, то во всех случаях не разубедит Коробцову.

Расчет был точен, прицел безошибочен.

Проводив Ельникова, графиня поехала с ответным визитом к Колесовым. Там она без обиняков спросила, как следует ей отнестись к приходу Матвея Ельникова. Колесов ответил непринужденно и откровенно:

— Я верю, Варвара Федоровна, в народные предприятия. И на опыте тележного завода, успехов мыловаренного завода и, наконец, лесопилки думаю, что расчет Ельникова правилен. Он приходил ко мне, и я подтвердил ему это. Но вмешиваться, зондировать, подстрекать ту или иную сторону я не буду. Если вы хотите знать справедливую цену вашего завода, то я думаю,

что завод стоит около полутора миллионов рублей. Но этих денег вам не уплатят. Старик Ельников говорит правду. Стрехов хочет ваш завод купить за четыреста тысяч. Столль поможет ему в этом.

Сейчас графине удобно было спросить о Столле.

— Как вы думаете о нем, Петр Демидович? Он вор?

— Я бы не задавал на вашем месте, Варвара Федоровна, такого вопроса.

— Спасибо, вы уже ответили на него.

Варвара Федоровна, выяснив необходимое, хотела уйти, но послышался голос Красавина. Он всегда и всюду появлялся вовремя. Сообщив новейшие известия, польщенный обществом графини, он сожалел о легкомыслии Стрехова, медлящего с покупкой завода.

Графиня и тем более Колесов поняли, что приход Красавина не случаен.

— Да бог с ней, с покупкой,— ответила графиня и с грустью сказала: — Жаль только бедняжек Столлей. Как-то теперь отзовется закрытие завода на них? Я оставила их без средств к существованию... Что будет теперь с этими бедняжечками?..

Красавин, как режиссер любительской труппы, знал, где, как и при ком положено смеяться. У него был богатый набор реплик из пьес, знаемых наизусть. На этот раз он не прибег ни к одной из них. Столля он ненавидел за то, что тот держался высокомерно с ним и не приглашал на свои вечера, в круг избранных. И он позаимствовал слышанное от кого-то:

— Скромность украшает женщину, а наивность губит ее.

— Какое мудрое изречение, господин Красавин. Вы полагаете, что Столль найдет место?

— Вам, ваше сиятельство, следовало бы справиться в губернском купеческом банке о состоянии Виктора Юрьевича, а потом уже сожалеть об его участи.

— Тогда я рада, что у него все хорошо и на моей душе меньше одним грехом.— Говоря так, графиня внимательно следила за выражением лица Колесова. Он был доволен, что Красавин ответил за него, вор ли Столль.

Графине оставалось показать, что она пропустила мимо ушей сказанное Красавиным,— вдруг заговорила о горничной Нюре, которая так энергична и деловита, сообщила вскользь о своем желании побывать в Бело-

горском монастыре, где необыкновенно красивый и умный архимандрит, наставляющий на путь правильный вдов, может быть, подскажет ей, как разумнее поступить с заводом, который она решила бесповоротно продать за миллион рублей в рассрочку.

XXXII

Деловые качества в людях пробуждаются тем сильнее, чем сложнее становятся обстоятельства их жизни. С Анатолием Мерцаловым повидаться Варваре Федоровне не составило затруднений. О нем она знала больше Ельникова.

Мерцалов, блестяще начиная юридическую карьеру, был заподозрен в причастии к побегу группы революционеров, подлежащих аресту. Сановный отец, обожая своего внебрачного сына Анатолия, вымолил у государя смягчения наказания своему единственному потомку. Он предложил выслать юридически образованного сына в глухую губернию и проверить преданность его царю и отечеству на низшей должности. Влиятельный отец надеялся, что губернатор назначит Анатолия чиновником по поручениям при его особе, каким-нибудь акцизным в уезд или, на худой конец, прокуроришкой, а может быть, в самом худшем случае, мировым судьей. Но губернатор предпочел проверку строже и оскорбительнее. Он предложил Анатолию временно заместить должность пристава в Тихой Лутоне. Назвав это «высоким доверием», он не обязал, однако, Мерцалова носить форменную одежду.

Проницательный и умный Анатоль, которому отец постоянно внушал, что порядочный человек во всех перипетиях жизни остается порядочным, поняв, чем ему грозит отказ и как может отразиться на отце,— поблагодарил за честь назначения и тем самым поколебал губернатора в его подозрениях.

С таким человеком Коробцовой-Лапшиной было легко разговаривать, не боясь «спугнуть верное дело», как предупреждал Матвей Ельников.

Мерцалов, считая, что хищение Столля нетрудно установить, порекомендовал довериться некоему Палицыну.

— Это артист от юриспруденции, мастер следствия и сыска, не пренебрегающий провокациями, пристраст-

ный к легким вознаграждениям, разнюхает и выскребет все, не доводя дело до суда.

— И очень хорошо,— обрадовалась графиня.— Упечь Столля было бы жестоко с моей стороны. У него такая прелестная дочурка. Но все же он у меня... А я нуждаюсь теперь в деньгах...

Довольная обещанием мосье Анатоля пригласить телеграммой Палицына под предлогом ведения дел по продаже завода, графиня на другой день вернулась к главному.

— Завод не должен стоять, Матвей Кондратьевич,— объявила она ему.— Продать его моим рабочим за два-три дня невозможно. Потребуется, как сказал Петр Демидович, около месяца. Поэтому, если вы согласны это время работать на прежних условиях, я прикажу завтра же открыть завод.

— И толковать больше не о чем. Верю.

— Если надо подтвердить мое согласие, пусть придут те, кто тогда приходил с вами. Я повторю письменно обещанное.

На другой день гудок объявил о начале работ. Столлю было сказано, что завод она решила продать на выкуп рабочим за миллион рублей.

Молниеносно примчался из Векши Стрехов.

— Да что вы, да как это можно? Бог с вами, драгоценнейшая Варвара Федоровна! В рассрочку? Кому?

— Платите наличными, Глеб Трифонович. Я еще не подписала договора.

— Миллион?

— Не четыреста же тысяч, как вы хотели... Да еще я буду должна для этого приползти на... этих самых, профинтившись в Парижах.

Стрехов покраснел и отвернулся.

— Я был пьян.

— Очень сожалею, что вы злоупотребляете спиртными напитками и моим знакомством с вами. До свидания, господин Стрехов.

Стрехов попытался продолжить разговор, но Коробцова остановила его.

— Ее сиятельство простилось с вами... Милочка,— крикнула она,— проводите барина!

На очереди был Столль. Ему скажет она выразительнее, а пока его нужно приголубить и пообещать увели-

чить оклад, чтобы Столлю и на секунду не показалось, что она чем-то недовольна, назначив Колесова его помощником по инженерной части. Она обещала верному Виктору Юрьевичу оговорить в договоре продажи завода на выкуп, что управляющим она оставляет его, до выплаты рабочими всех денег.

Столль перестал нервничать и не обратил никакого внимания на приезд Палицына, представившегося ему одним из составителей статистического сборника по промышленности.

Не был обойден анонимным доброжелателем и пронырливый Палицын. Он получил от неизвестной дамы, подписавшейся «Ваша покорная слуга», письмо, в котором бисерным почерком перечислялись имена «клиентуры Столля» и назывались примерные суммы вознаграждений за хищение.

Палицын не взял на себя труд задумываться, кто стоял за подписью «Ваша покорная слуга». Тем более, что, по предварительно наведенным справкам, он уже кое-что знал о соучастниках Столля. Теперь же письмо от неизвестной дамы точно наводило его на необходимые ему следы.

Простовато одетый, похожий на земского деятеля, вкрадчивый и предупредительный Геннадий Наумович Палицын предъявил бумагу, по которой его надлежало допускать к архивным и текущим делам заводов и промыслов губернии. Он с первой встречи расположил к себе бухгалтера завода Ивана Адамовича Шаламова. Изможденный, согбенный работой, он жаловался Палицыну за рюмкой водки в гостинице на своего притеснителя Столля и просил не верить цифрам конторских книг, если он, Геннадий Наумович, желает «научной статистичности» по коробцовскому заводу.

Терпеливо исследуя записи, Палицын накапливал улики, подтверждающие хищения Столля. Дороги вели к Жуланкину, к Шутемову, Кокованину, к оптовикам, покупавшим лемехи, молотилки, веялки, листовое железо.

Виктор Юрьевич Столль не удостоил Палицына и приглашением к завтраку, не предполагая, что через несколько дней Палицын пригласит его к себе на страшный завтрак. А пока статистик отправился в Векшу с той же целью. Там, восхищаясь процветанием стреховских заводов, записал цифры проданного металла Ко-

робцовой-Лапшиной за последние девять лет, с года поступления Столля на завод графини.

Справку, чтобы таковая получила «научную ценность», подписал сам Глеб Трифонович Стрехов, размашисто и красиво. Мелким, угодливым бисером заверил ее бухгалтер — доверенный стреховских заводов и удостоверил фирменной печатью. Завернуть в Бишуево не потребовало и дня.

— Губернскую статистику интересует, ваше степенство Адриан Кузьмич,— восхищенно и подобострастно выспрашивал Палицын чванливого Кокованина,— как много пудов железа требует в год ваша прославленная фирма.

Позван был Филька. Филькой оказался почтенный письмоводитель лет сорока. Он был рад блеснуть тщательностью записей в его книгах, куда заносилось все, вплоть до чаевых ямщикам, «подсласток» урядникам и марьяжных оплат. Кокованин требовал, чтобы ни одна копейка не прошла мимо книги. Записывались и милостыня нищим, и взятки властям. И каждая трата называлась Филькой своим именем: «На пропой мировому судье Зосимову 15 рублей», «Глафире Окаемовой за две ночи 12 рублей. Ей же на дилижанс 6 рублей 50 копеек», «Столлю додача за полосовое железо 2000 рублей», «За панихиду попу по усопшей Степаниде Лавровне Кокованиной 3 рубля и за свечи 78 копеек, итого 3 рубля 78 копеек»...

Палицын наслаждался, читая конторские записи, раскрывающие жизнь Адриана Кокованина во всех ее циничных подробностях и отвратительной наготе.

Каждый новый визит «по уточнению статистических данных» приносил Палицыну бесспорные доказательства наглого обворовывания завода. Оставалось представиться графине, знавшей о его приезде, и спросить ее, как поступать дальше.

XXXIII

Варвара Федоровна удивилась, что молодой человек, похожий на оперного Ленского, и есть Палицын.

— Я приняла бы вас, Геннадий Наумович, за певца или поэта,— обрадованно встретила Коробцова своего тайного поверенного.

— Такова профессия, ваше сиятельство. Волка кормят ноги, а меня искусство перевоплощения,— перевоп-

лощался он теперь на глазах графини в сухого судебного чиновника.— Позволю доложить. Управляющим заводом господином Столлем Виктором Юрьевичем похищено за годы его пребывания в этой должности материальных ценностей на сумму, приближающуюся к миллиону рублей в заводских ценах. Номинально, как я предполагаю, им получено значительно меньше, что может установить только судебное следствие. В наличии у Столля в купеческом и других банках деньгами и ценными бумагами имеется двести тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей и сорок две копейки без очередного следуемого на них процентного начисления.

Графиня дважды прибегала к сердечным каплям. Упоенный своей ролью обличителя и предвкушая поживу, Палицын вынужден был делать досадные паузы, успокаивая Коробцову. И наконец, доложив об уликах, возможных свидетельских показаниях, соучастниках хищения, он, перевоплотившись в предупредительного адвоката, спросил:

— Как вам будет угодно, ваше сиятельство, получить ли то, что есть в наличии, без суда или начать тяжбу, которая может затянуться и не дать большего, чем есть у преступника? Дело беспроигрышно, но хлопотно. Я предпочел бы первое.

— И я предпочитаю первое. Но как это можно сделать, мой друг Геннадий Наумович?

— Это делается посредством двух доверенностей. В первой вы доверяете получить с господина Столля следуемые мне двадцать тысяч... Большего я не возьму. И вторую — разрешающую открыть на ваше имя в купеческом банке счет, на который господин Столль переведет украденное им.

Доверенности были продиктованы и подписаны.

— Мне стыдно, ваше сиятельство, получать такой гонорар,— признался Палицын,— но я из него должен поблагодарить некоторых лиц в губернии...

— Да полноте, полноте вам, Геннадий Наумович... Вы достойнейший преемник Фемиды...

Через два дня в маленький кабинет Анатоля Мерцалова, который он предоставил Палицыну, как «чиновнику по особым поручениям губернатора», о чем свидетельствовала особая бумага, был приглашен Столль.

Палицын в черной, безукоризненно сшитой паре, с

орденом Станислава. Перед ним на столе лежала темно-зеленая папка с крупной надписью «Дело». На папке можно было прочесть: «О хищениях на заводе графини Коробцовой-Лапшиной В. Ф.».

— Садитесь, господин Столль. Я вынужден был пригласить вас сюда потому, что в Лутоне нет другого, более удобного места для предварительного разговора по делу хищения на заводе графини Коробцовой-Лапшиной Варвары Федоровны, доверенному мне. Угодно ли вам познакомиться с документом, удостоверяющим мою личность?

— Зачем? Что вы?.. Только я не понимаю, что все это значит.

— По бледности вашего лица, по выражению ваших глаз вы, господин Столль, понимаете все отлично. И чем отличнее вы будете понимать и впредь, тем скорее мы выясним наши отношения. Здесь, в деле, заведенном на вас, имеются все необходимые документы, уличающие вас, господин Столль, в присвоении вами принадлежащего графине Варваре Федоровне на сумму около миллиона рублей... Я не вдавался в подробности, меня интересовало то, что есть у вас в наличности...

— У меня ничего нет.

— Вам угодно, чтобы я назвал сумму ваших капиталов в банках? Я могу назвать их. Скажите, как вам будет удобнее вернуть их госпоже Коробцовой-Лапшиной — по судебной ли конфискации, за которой следуют каторжные работы, или вы предпочтете воспользоваться милостью графини, согласной простить вас после того, как вы подпишете вот это обязательство? Нотариус в соседней комнате. Видите, я облегчаю вашу участь. На размышления у вас три минуты...

— Извольте...

— Сейчас я попрошу нотариуса. Подпишете в его присутствии. К сожалению, формальности очень усложняют нашу жизнь.

Палицын пригласил нотариуса.

— Василий Захарович, вам надлежит засвидетельствовать подлинность подписи господина Столля Виктора Юрьевича. Он возвращает свой долг госпоже Коробцовой-Лапшиной.

После завершения нотариальной процедуры Палицын и Столль остались снова вдвоем.

— Перед тем как поздравить вас, Виктор Юрьевич,

с благополучным избавлением от кандалов и печальной огласки, я покорнейше прошу вас облегчить мне разговор с вашими клиентами Шутемовым, Жуланкиным, Кокованиным, купцами, торгующими железными и скобяными изделиями, чтобы вернуть недополученное с вас. У них тоже семьи, им тоже предпочтительнее спать в своей постели. В тюрьмах так жестки койки... Графиня согласна получить векселями... Помогите им вспомнить, чего и на сколько ими куплено было у вас... Купеческая память забывчива. Только пусть они не вздумают беспокоить графиню. И вы не напоминайте ей о вашем просчете. Жду вас завтра со списком ваших покупателей. До свидания. Виктор Юрьевич... С вас дюжина шампанского. Я это заслужил.

Столль не помнил, как он дошел до своего фаэтона и как добрался до дому.

XXXIV

Получив свое с графини, Геннадий Наумович Палицын мог покинуть Тихую Лутоню: Коробцова не поручала ему взыскивать деньги с Жуланкина, Кокованина и всех, кого назвал перепуганный Столль. Каждого из них можно было преследовать по суду, как соучастников хищения, покупавших заведомо ворованное, без счетов завода. Но зачем же упускать идущее в руки? Была и еще одна надобность задержаться в Лутоне.

— Голубчик Геннадий Наумович,— попросила Варвара Федоровна,— помогите составить условия продажи завода и посмотрите предложенное Колесовым, нет ли в нем каких-либо подвохов и неясностей.

Прочитанное Палицыным было им одобрено, за исключением одного недостающего параграфа, по которому владелица завода могла расторгнуть договор в случае задержки товариществом выплаты очередной суммы. В этом случае за владелицей оставалось право вернуть товариществу полученное, удержав из него неустойку, и снова стать полноправной хозяйкой завода.

Пока в типографии товарищества печатался договор для ознакомления с ним рабочих, выкупающих завод, Палицын наносил новые визиты соучастникам воровства и брал с каждого из них в зависимости от степени испуга, трусости виновного.

Жуланкину, например, было сказано:

— Глубокоуважаемый Парамон Антонович, ваши

мастерские наиболее наглядно будет сравнить с грибом-паразитом на дереве, питающимся его соками. Деревом в данном случае был завод графини. Вы, глубокоуважаемый Парамон Антонович, составили состояние на ограблении Варвары Федоровны, и для того, чтобы посадить вас на скамью подсудимых, а затем за решетку, мне потребуется не более месяца. На суде выступит тысяча человек, знающих, что вы вор.

Палицын нарочно выбирал резкие слова, думая взять с Жуланкина не менее пяти тысяч за прекращение дела по взысканию. Видя, что Жуланкин при слове «вор» не попытался обидеться или хотя бы попросить Палицына быть мягче в выражениях, он удвоил сумму и получил десять тысяч рублей.

Кокованин не пожелал вознаградить Палицына, но тот показал ему оттиск зубоскальной статейки, набранной лично Глобаревым за малую мзду. Статейка была озаглавлена «Позор купца первой гильдии», в ней не было и одной лживой строчки. Геннадий Наумович прочитал статью Кокованину с выражением, выделяя наиболее бесспорные обвинения, спросил:

— Сколько бы вы предложили, Адриан Кузьмич, за то, чтобы это сочинение не появилось в «Губернских ведомостях»?

Сторговались на двенадцати тысячах, с выдачей обязательства Палицыным «не поносить имя купца первой гильдии Адриана Кузьмича Кокованина в «Губернских ведомостях» и ни в каких других газетах».

Довольный малым откупом, Кокованин оставил Палицына под присмотром Фильки, а сам отправился в «потаенную кладовуху». Так называлась небольшая стальная комната-сейф в нижнем этаже дома. Там Кокованин хранил золото, ценные бумаги, наличные деньги.

XXXV

В каждом доме были прочитаны условия выкупа завода в рассрочку. Готовилось небывалое. Против одной подписи продающей завод будет более тысячи имен покупающих завод.

Петя ликовал! Катя, счастливая его счастьем, почувствовала, что ее любовь к нему сублимируется в большую радость всех, и ее нравственность не позволяла от-

влекать Петю от самого теперь дорогого для него и уводить в мир личного счастья.

Сначала было намечено от каждых десяти рабочих избрать по одному и выборным собраться в доме общества трезвости, но Колесов находил, что каждый не через посредников, а лично должен узнать, каким должно быть предприятие, принадлежащее работающим на нем.

Трижды в эти дни Лутонин и Саночкин собирали свою небольшую организацию. Выкуп завода одних настораживал, другие находили его во всех случаях делом беспроигрышным. Чувствовалась близость революционных событий. Тогда завод без выкупа перейдет лутонинским рабочим.

— На худой конец,— говорил Павел Лутонин,— есть надежда на Иртегову. У нее найдутся деньги на первый взнос, и она не откажет в помощи. Конечно,— рассуждал он,— на каком-то повороте жизни она может изменить своим добродетелям, но и в этом случае наши рабочие останутся, что называется, «при своих».

— И в самом деле,— поддержал его Саночкин,— мы не должны отказываться от того, что само идет в руки. Колесовская «утопь» хотя и болотная топь, но в данном случае он льет воду на нашу мельницу. Завод будет работать, а потом увидим, что и к чему.

Матвея Ельникова было решено выдвинуть в правление завода.

— Этот пройдет большинством голосов,— утверждал Лутонин.— Через него уже делались дела. Через него можно действовать и теперь.

Колесову при встрече Лутонин посоветовал:

— Не надевай, Петя, управительский хомут. Тебе лучше инженерить.

Колесов вполне оценил совет друга.

Как ни мала была подпольная партийная организация Лутони, но ее влияние становилось заметным.

Был назначен общий сход в заводе.

Рабочие собрались празднично. Через мастеров было сделано строгое предупреждение, чтобы не было и одного подвыпившего, и если таковой окажется, то его удалят, без вмешательства полиции, сами рабочие.

Близилась торжественная минута начала учредитель-

ного схода. Веером разложены бревна, на них вершковые доски для сидения.

Сход открыл Матвей Ельников. Он в солдатском мундире и при крестах. За тесовым, наскоро сколоченным столом депутаты, приходившие к Коробцовой, и мастера. Там же Мерцалов и волостное правление.

День обещал быть ясным. Безветренная погода позволяла слышать каждое слово Матвея Кондратьевича.

— По желанию рабочих нашего завода и по своему разумению я призвал Петра Демидовича Колесова быть над нами главным, ему и слово.

Рабочие, поднявшись с мест, громко хлопали, пока Колесов шел из заднего ряда к помосту, с которого ему надлежало держать речь. Он был в легких сапогах, в синей куртке, какую носил теперь повседневно. И только форменная фуражка показывала, что Колесов инженер. Дав утихнуть и усесться собравшимся, он, не прибегая к торжественной велеречивости, хотя все в нем клокотало, радовалось и требовало громких слов и красноречивых призывов, сказал:

— Я согласился быть вашим приказчиком и слугой,— поклонился он рабочим.— Я отказался от высокого содержания, которое получал господин Столль. С меня хватит и половины предложенного мне.

Шумное оживление повторилось.

— Рано радоваться и шуметь, господа рабочие, пайщики будущего трудового товарищества. Мы покупаем старый завод за немалую цену, но цену приемлемую потому, что ее сиятельство графиня Коробцова-Лапшина предоставляет нам льготную рассрочку на десять лет. Теперь от вас и только от вас зависит, будет ли завод прибыльным. Ваше право, господа, решать, кого принять на завод из уволенных рабочих, кому, за что и сколько платить, какую продолжительность рабочего дня установить.

— Восемь! — послышался звонкий голос.

— Может быть, и семь,— ответил Колесов.— Может быть, и шесть, а то и четыре. Решаете вы. Если вам угодно знать мое мнение, то в этот первый, трудный год мы едва ли сможем убавить рабочий день и на полчаса. Это мое мнение. Поэтому подумайте до того, как подписывать договор на выкуп завода.

Оживление сменилось тишиной.

— Я, ваш слуга и приказчик, отказываюсь прини-

мать и увольнять рабочих. Вы сами сегодня изберете комитет по найму и увольнению рабочих. А комитет поименно решит, кого принять на завод. Я сделаю все, чтобы не оказалось в Лутоне ни одного рабочего за оградой завода. Но я не могу сделать больше моих сил. В этот первый месяц возобновления работы из тысячи двухсот сорока трех рабочих можно занять не более семисот человек.

Стало еще тише.

— Завод нужно лечить. Завод нужно привести хотя бы в пригодный для работы вид. И первый месяц будет ремонтным, убыточным месяцем. Подумайте, господа, перед тем, как подписывать договор на выкуп.

— А как, Петр Демидович,— спросил громко Матвей Ельников,— жить тем, которые не попадут на завод?

— Это дело комитета завода. Может быть, комитет захочет принять всех, чтобы каждый работал через день. Или, может быть, комитет решит работать полный день за половинную плату. Мое дело — доложить, ваше — решать, Матвей Кондратьевич. Жертвы неизбежны.

Закончив свою речь, Колесов застраховал себя от возможных прорух, устранился от самого страшного — найма рабочих. Он знал, что комитет будет вынужден либо отбирать лучших, либо предоставить работу всем и вдвое снизить оплату. В том и в другом случае предприятие в первый же месяц даст прибыль, и он сумеет прикупить станки, отремонтировать старое оборудование и заставить завод работать в полную силу.

На помосте один за другим выступали будущие хозяева завода, и большинство приходило к заключению, что работу должны получить все. Матвей Ельников рассудил так:

— С голоду не умрем, а завод выпестуем. Деться нам некуда.— Он повторил давно известное о домах, огородах, коровах, с которыми невозможно расстаться коренным лутонинским жителям, и попросил выкликать фамилии комитетчиков.

Двенадцать человек с тринадцатым Матвеем Ельниковым должны будут стать правлением завода, в которое вошел и Колесов, отказавшийся назваться его председателем, предложив на этот пост, при своем заместительстве, Ельникова.

Началось последнее — подписание договора выкупа. Подписывались по цехам. За неграмотных рабочих на

особых листах расписывались их товарищи, сыновья, родня. Некоторые осеняли себя крестным знамением перед тем, как поставить подпись.

Правление и Колесов, по требованию нотариуса, подписали самый договор, остальные листы с подписями будут подшиты к нему, пронумерованы и прошнурованы.

И на этот раз, с разрешения Мерцалова, Катя Иртегова поздравила товарищество и прибывших гостей дедовской водкой. Во избежание перепития разлив и угощение были переданы в руки урядников.

Петр Демидович предусмотрел и эту мелочь.

— Вот видишь, Павлик, без листовок, без агитаторов, при участии властей и нотариуса в Тихой Лутоне произошла мирная революция на самом главном коробцовском заводе.

Павлу нечего было возразить.

Утром длинный, радостный гудок провозгласил начало новой жизни. Задолго до гудка проснулись рабочие бывшего коробцовского завода, над проходной которого висела временная вывеска: «Рабочее трудовое товарищество на паях».

XXXVI

Столль не миновал огласки в столичных либеральных газетах. Алексей Алексеевич Красавин делал из них выписки, чтобы прочитать их в кругах и сферах, в которые он вхож, а кроме этого, пользуясь доступом дочери Настеньки к единственной пока в Лутоне пишущей машинке «Ремингтон», принадлежащей Кате Иртеговой, размножил выписки для хождения по рукам. В газетах, доставляемых почтой Столлю, Красавин с удовольствием обводил черной рамкой печатные строки, касавшиеся побежденного заносчивого недруга.

У каждого свои интриги. У русского царя и японского микадо — одни, у Стрехова и Эльзы — другие, у Алексея Алексеевича и Столля — третьи. Красавин доканывал и выживал «бесстольного Столля» из Лутони, сочиняя по его же способу каламбуры:

Жил-был столльник — столь столлицый,
Что остался без лица,
Без столла и без столлицы,—
Выстоллили столлеца.

Говорят, что эти строки, переходящие с языка на язык, сочинены не без участия Настеньки Красавиной, исполняющей теперь должность казначея-доверенного тележного товарищества, без подписи которого не производится ни одна денежная операция. Радивая, расчетливая и строгая хозяйка трудовой казны,— Павлик молится на нее, а она по-прежнему поет в соборном хоре и руководит маленьким оркестром народных инструментов, который совершенно легально собирается на «сыгровки», когда «музыкантам» нужно провести нелегальное собрание или очередное чтение политической литературы. Павлик играет там на мандолине, новые «оркестранты» принимаются с большим отбором, после тщательной проверки и согласия всех остальных. Это же не какой-нибудь оркестр для всех, а домашний, для души. Тугоухий Матвей Ельников начинает там, тоже для души, овладевать мелодическим подзвякиванием на колокольцах, а мастер игры на деревянных ложках старший обозный по доставке телег в большие села Алексей Саночкин тоже очень хорошо звучит в плясовых мелодиях. Не было отказано в приеме в оркестр рожечником полицейского урядника Попова, осуществляющего тайный надзор, помимо «врида» и попутно — за ним. Урядник Попов очень скоро убедился, что оркестр — это оркестр, и предпочел ему общество любителей драматического искусства, в котором состояли трое высланных в Лутоню и где перестал состоять трагикомик Столль, на афишах подписывавшийся Африканом Райским.

В скобках скажем — «оркестр» и Павел Лутонин несколько преувеличенно называли себя «подпольщиками». Такими они в доподлинном, профессиональном смысле этого слова не были. Кружок и даже несколько таких кружков в Лутоне и Векше существовали пока автономно. Читали запретную политическую литературу, учились революции, но мало еще действовали, слабо влияли на ход событий. И при этом в таких кружках формировались и закаливались борцы грядущей революции.

Теперь о Столле. Покинувший Лутоню Столль нашел пристанище у Стрехова. Он дал ему место управляющего небольшого медеплавильного завода. Столль лелеял надежду, что Эльза, став женой его хозяина, заставит назначить своего двоюродного дядю главным управляющим заводов и рудников Стрехова. И все шло к этому.

В Тихой Лутоне знали все об ухаживании Стрехова за Эльзой, о поездках Эльзы с семьей в Векшу без Витасика. Он первое время старался не замечать флирта жены и даже прощал его, объясняя себе, что дом Жуланкиных скучен и ей, молодой женщине, нужно бывать на людях. Иногда он скрывал ревность, уходил к птицам и выплакивал там свои обиды, приходил к Кате Иртеговой за утешением. Она, как могла, успокаивала и обеляла неверную Эльзу, хотя и знала, что рано или поздно Витасику придется узнать правду. Но как сказать ему, что Эльза добивается, чтобы развод был начат им, и она, согласясь на него, потребует половину жуланкинских капиталов?

В последний раз Витасик, не выдержав, запретил Эльзе поездку в Векшу на именины Стрехова, который оскорбительно пригласил ее без мужа.

— Я не виновата, что ты так зарекомендовал себя и тебя не приглашают в гости.

— Но ты же моя жена, Эльза, и как ты можешь не обижаться вместе со мной? — убеждал ее Витасик.— Надо мной будут смеяться, если ты поедешь одна. Я не перенесу такого позора.

— Не перенесешь? И что же сделаешь?

— Я покончу с собой...

— Да-а? И у тебя хватит на это мужества?

— Хватит! — плача, выкрикнул Витасик.

Разговор происходил в спальне. Эльза эффектно переодевалась перед зеркалом, примеряя одно платье за другим.

— И как же ты думаешь покончить с собой? Утопишься или отравишься? — игриво спросила Эльза.— Некоторые, наиболее трусливые, предпочитают бросаться с церковной колокольни. Прыг — и наступает мгновенная смерть.

— Не шути, Эльза... Тебе трудно будет жить после моей смерти.

— Ты думаешь? Впрочем, да. Я должна буду целый год носить траур и не появляться на людях. Ходить на твою могилу, а до этого хоронить тебя... Это ужасно! Помоги, пожалуйста, застегнуть мне платье. Как я выгляжу в нем? Не слишком ли оно ярко для избранного общества? Я не хочу выделяться...

— Ты не поедешь, Эльза!

— У тебя, оказывается, есть характер и громкий го-

лос? Крикни, пожалуйста, еще, может быть, я испугаюсь...

— Эльза, я повешусь на воротах твоего отца, и все узнают, кто разбил мое счастье...

Послышался громкий смех Эльзы.

— Но нужна же для этого надежная веревка... Идея! Смотри, какой крепкий пояс! Его можно завязать в настоящую петлю.— Эльза подала Витасику шелковый голубой, свитый жгутом пояс от своего халата.

Витасик закрыл глаза.

— Ах, Эльза, ты так наивна в своей жестокости ко мне...

— Ты думаешь, он тонок или недостаточно скользок? Шелк же! Смотри, как легко затягивается петля.

— Может быть, ты еще предложишь мне и мыло?

Взбешенная Эльза взяла с доски мраморного умывальника голубой кусок мыла с надписью «Незабудка».

— Какое дивное название, и в цвет поясу. Изволь.

— Как дорого ты заплатишь за это, Эльза...

Она была уже вне себя и, совсем как гулящая девка, подошла к нему и остановилась лицом к лицу.

— Пугай пугливых, слезливый жуланчик.— Затем, вернувшись к зеркалу, сказала:— Не позабудь оставить духовное завещание, если у тебя есть что мне завещать...

Так смеялась Эльза вечером перед отъездом в Векшу, на именины Глеба Трифоновича Стрехова, а утром, когда Шутемовы вернулись, дом их был окружен полицией и толпой. Витасик висел на кронштейне ворот, под фонарем, в петле из голубого жгута, в его окоченевшей руке был зажат кусок голубого мыла «Незабудка».

Эльзе ничего не оставалось, как упасть в глубокий обморок, не выходя из кареты, а Шутемов, воспользовавшись этим, громогласно послал за доктором и, опасаясь за жизнь дочери, отвез ее к соседям, потому что в свои ворота мешал въехать Витасик. Его не снимали в ожидании следователя.

XXXVII

Опустим тяжелые главы мрачных похорон Виталия Жуланкина. Там, на кладбище, Парамон дважды бросался с ножом на Шутемова, пытаясь прикончить погубителя сына вместе с подкинутой ему в дом змеей. По этой причине Шутемовы не могли быть и на похоронном

обеде. Озверевший Жуланкин клялся за поминальным столом обезглавить Патрикия и удавить на том же поясе стреховскую сучонку.

Катя Иртегова, слушая проклятья Парамона Жуланкина, верила, что угрозы ополоумевшего отца могут быть приведены в исполнение. В Лутоне были отъявленные поселенцы из уголовных, которые за деньги могли и отрубить голову Шутемову, и сжечь ее, чтобы он, как говорил Парамон, предстал перед всевышним безликим, безглавым туловом. Могли они за жуланкинские две-три сотни повесить и Эльзу, а до этого устроить ей «свадьбу».

Жестокость Жуланкина способна придумать и не такую казнь. Что ему теперь тюрьма или каторга — без жены, без сына, при потухших горнах мастерских...

После похорон Витасика для Шутемовых жизнь в Тихой Лутоне стала невозможной. Эльзе нельзя было показаться на улице. В глазах каждого встречного она выглядела убийцей.

Магдалина Григорьевна уговорила мужа перебраться на время в Петербург. Этого же хотел и Глеб Трифонович Стрехов. Видеться с Эльзой в Векше он уже не мог. Там знали, что произошло после его именин. А в Петербурге никому нет дела до приехавших из Лутони, кто знает их в огромном городе...

В доме Шутемова осталась только его младшая дочь Таля да кое-кто из челяди.

В Лутоне скоро забылась трагическая история, и только любители ужасов пересказывали ее во всех подробностях, сдабривая добавлениями по своему вкусу и применительно к слушателям.

Рабочие Лутонинского завода металлических изделий жили трудно, но счастливой жизнью хозяев. Не всем верилось, что все это на самом деле так произошло. И словом «сказка», которым злоупотребляют русские люди, называли лутонинцы рабочие успехи своего завода. Многих новорожденных сыновей крестили теперь Петрами, а девочек Екатеринами. Что ни говори, а Екатерина Иртегова первой купила и отдала на выкуп рабочим мыловаренный завод. Тележный не в счет.

Тележный завод не нуждался больше в его создателе Колесове. Там шли дела лучше некуда. Выборное правление товарищества, его мастера, понаторевшие в машинном изготовлении телег, заботились теперь о рас-

ширении сбыта. Нашелся новейший способ продажи в кредит. Каждый крестьянин, желающий купить телегу, мог получить ее, уплатив за нее только рубль. Для этого достаточно было двух поручителей-односельчан, подписи которых заверялись сельским старостой или даже писарем. Купивший за рубль телегу получал долговую книжку с наклеенной по всей форме рублевой маркой товарищества.

Вместо скупщика, торговца появилась новая фигура агента по сбыту. Агентом мог стать всякий. Почтальон, мелкий лавочник, тот же сельский писарь, учитель, земский служащий... Мало ли в волостях лиц, кому гривенник с рубля не лишний. Для этого только нужно заявить о своем желании товариществу, а там снабдят долговыми книжками, бланками обязательств — и торгуй телегами. Приобрети с десятипроцентной скидкой долговых марок и ходи по своим должникам, купившим телеги, наклеивай в их книжки марки, взимай очередной взнос. Наклеил за день марок на десять рублей — рубль твой. Куда проще.

Когда долговая книжка оклеивалась марками на положенную долговую сумму, покупатель получал обратно свое долговое обязательство.

Рабочее товарищество укреплялось, его учредители гордились своими успехами. Больше всех ликовал Петр Демидович Колесов. Убежденный в победе над капитализмом мирным путем, он уже видел, каким станет в ближайшие годы коробцовский завод. Дешевые молотилки, веялки, конные приводы будут раскупаться так же, как телеги, как мыло, как мазь.

Завод уже избегает торговать лемехами. Зачем, когда свой лесопильный, свой деревообрабатывающий цех, трудно ли самим изготовить соху? Крепкую, надежную в работе, красивую по внешнему виду. А бороны? Не очень-то премудрое сооружение борона — рама да зубья. Пошли в ход и бороны. Торговый опыт есть. Техник Истомин рассказывает на выставке в бывших конюшнях о новых изделиях нового товарищества. Зимняя, удешевленная цена помогает «летнему товару» сбываться зимой. Не бездействуют склады в больших селах. Всем находится дело.

Заводу рабочего товарищества труднее становиться на ноги, но что не сделают руки, когда они свои и для себя. У завода пока еще мало возможностей подновлять

оборудование, но все же кое-что удается. Гвоздильный станок не дорогое сооружение, а гвоздь доходный товар. Столль сбывал листовое железо жестянщикам. Не выгоднее ли из него делать самым дешевым заводским способом те же ведра, тазы, лейки, а из обрезков мелочь— кружки, терки, поварешки?

Завод рабочего трудового товарищества стал безубыточным. Он мог бы давать большие прибыли, если бы главный его материал — металл — не был дорогим. Стрехов драл большие деньги за чугун и сталь. Он знал, что ему не могут быть конкурентами далекие заводы, выплавляющие дешевый и лучший металл. Дешевый и лучший, но далекий. Доставка его по железной дороге, с перегрузкой на Каму, затем семьдесят верст конем... Три погрузки, три выгрузки требуют больших расходов и сил. Один уральский слиток будет стоить двух стреховских. Река Тихая Лутоня — даровая дорога. Двадцать пять верст по большой вешней воде — четыре-пять часов хода. Векшенские слитки грузятся чуть ли не из печи прямо в барки. Причалил к лутонинской заводской плотине — и выгружай через нее слитки по желобу и в завод. Грошевая переброска. И если б не река, не нужда Лутони в металле, давно бы кончился Стрехов, съели бы поставщики дешевого металла. Он и теперь побаивается возможной постройки железной дороги через Лутоню. Тогда гаси печи, запевай «надгробное рыдание», Глеб Трифонович,— кто захочет переплачивать тебе? А пока...

Пока снимай с Лутонинского завода семь шкур. Деться ему некуда. Плати!

XXXVIII

Осенью, перед ледоставом, Стрехов надбавил цену. Из Петербурга пришла его телеграмма, требующая перезаключения контракта. Приехавший из Векши управляющий Донатов сказал своему другу:

— Я думаю, Петя, что это не последняя надбавка. Видимо, Стрехов отыгрывается за приобретенный завод.

Было уже поздно ехать за далеким железом. Останавливалось судоходство. Товарищество вынуждено подписать кабальный контракт с двадцатипроцентной надбавкой. Невеселые предчувствия посетили Колесова. Но ничего, перебиться бы год. Весной будет куплен металл в

Нижнем Тагиле. За лето его доставят и выгрузят на камский берег, и по первому снегу, когда замерзнут болота и топи, санным путем он придет в Лутоню.

Посмотрим, кто кого. Лутоня сумеет тогда жить без Векши, проживет ли Векша без Лутони? Куда продаст Стрехов свое железо? Кто, кроме маленьких кузниц, мелких мастерских, купит его тысячи пудов? Не пройдет и года, как Векшинские заводы повторят судьбу завода Коробцовой. Шелковым явится Стрехов на поклон товариществу и не только предложит меньшую цену, но и согласится вернуть подлую наценку по новому контракту. А ему скажут: «Не надо, у нас есть поставщик». Матвей Ельников найдет, что сказать, что предложить, когда Стрехов будет вынужден погасить свои печи, когда забастовку в Векше не нужно будет подсказывать, она вспыхнет сама собой.

Не делясь, как всегда, ни с кем своими мыслями, Колесову хотелось скорее прожить этот год, свести концы с концами без прибылей и убытков, а затем... Трудно даже представить, что будет затем. Едва ли на земле найдется кто-то счастливее его. Продержаться бы только год. Один год. Только не догадался бы Стрехов, что его ждет...

Не догадается. Ему теперь не до заводов. Он занят Эльзой. Развозит ее по столичным театрам, сорит деньгами, приближая свой конец.

Стрехов в Петербурге переживает вторую молодость. Он считает дни до конца траура Эльзы. Венчаться они будут в далекой церкви, а свадебный пир произойдет в его доме. А потом они отправятся в свадебное... Франция, Германия, Италия...

Так могло быть и, наверное, было бы так, если бы не Шутемов, завязывающий новый узел руками дочери. Ею и была подсказана надбавка на стреховское железо. Она еще подскажет большее Стрехову, и он все сделает для Эльзы. Не вмешалась бы только Катька Иртегова со своими капиталами, которых у нее может оказаться ой-ой сколько.

Шутемовы знали об отъезде Иртеговой к умирающей тетке в Сибирь. Об этом сообщила матери оставшаяся в Лутоне младшая дочь Таля, не огорчившаяся отъездом Кати. У всякого свои планы и виды. Без Кати ей легче встречаться с Петечкой Колесовым, отец волен ненавидеть его, как и он отца, это их дело. Если будет нужно, Таля может порвать с отцом, не взявшим ее в Петербург.

В ней ничего шутемовского. После смерти Витасика Тале многое открылось.

Чтобы как можно меньше находиться дома, где Тале иногда слышится плачущий голос Витасика, она поступила в школу. Там она не одна, и дети любят ее. Хорошо к ней относится и Катя. Она старается устроить ее жизнь и восторгается при ней Юлианом Донатовым, наверно, для того, чтобы отвлечь ее от Пети Колесова. И чем настойчивее это делает Катя, тем больше понимает Таля, какой редкий, удивительно цельный и благородный человек Петя Колесов. Ей все нравится в Иртеговой, кроме того, что она скрывает то, что нельзя скрыть. Таля, может быть, и погасила бы в себе желание стать Колесовой и отомстить Эльзе за Витасика и за Петю, если бы он любил Катю. Однажды Таля, мучимая желанием узнать, как относится к Иртеговой Петя, спросила его, и он ответил:

— Я никогда и ничем не огорчу Катю и, если случится так, что я не в силах буду не огорчить ее, уеду из Лутони.

А теперь уехала Катя, зачем же Таля должна помогать Пете не огорчать Катю и огорчаться сама? Во имя какой справедливости, какого нравственного долга ей следует предпочесть Юлиана Донатова, который, как говорят все, «ее судьба»,— так же кажется и ей, но ведь только кажется... Неужели сделанное Катей для счастья Пети, для создания товарищества, обязывает приносить жертвы? Значит, снова властвуют деньги. Будь бы они у Тали, разве бы она не поступила так же?

Как жаль, что Петя не может быть откровенным с ней, а она с ним. Но не обязательно же все и всегда выяснять и называть. Молчание тоже не молчит. Неизвестно еще, как повернется и куда потечет жизнь Пети Колесова. Судя по болтливым строкам писем ее матери, затевается что-то недоброе против товарищества. Мать прямо пишет: «Будь умницей, моя Натали, не обольщайся успехами, ты знаешь, кого,— они, как я думаю, недолговечны».

Слышала Таля и от Юлиана Донатова, побывавшего у Стрехова в Петербурге, что весной он ждет большую драку, которая, во-первых, принесет всем много бед, во-вторых, неизвестно, чем кончится.

Таля всячески выведывала у Юлиана, какая и с кем будет драка, а Юлиан, обязавшись молчать, ограничи-

вался туманными намеками, но после того, как Таля разрешила поцеловать себя, Юлиан выдал тайну.

Чего не сделает она для Петечки Колесова и против отца, Эльзы и Стрехова.

— Петечка,— сразу же выдала она секрет, хранить который поклялась Донатову,— вас хотят погубить...

И за второй поцелуй маленькая Кармен рассказала, что Лутонинский завод товарищества Стрехов и ее отец хотят оставить без железа.

— Они все в сговоре, и, кажется, графиня тоже побаивается, что ваш завод не сумеет внести первые сто тысяч выкупа.

Колесов был растроган верностью товариществу Тали и потрясен известием о подлом ударе в спину. Стрехов шел на уплату по контракту большой неустойки, лишь бы остановить завод.

XXXIX

Как ни был велик Петербург, старые знакомые не затерялись в большом городе. Первым встретился там Шутемову прогоревший мыловар Леонтий Прохорович Сорокин. Он, тоскуя по своему делу, нашел его. Потолкавшись в коммерческих кругах, побывав на новейших мыловаренных заводах, Сорокин увидел, что немец Шварц, погубивший его, хотя и сделал большие успехи в производстве дешевого мыла, но по сравнению с увиденным в Петербурге мыловаренное товарищество в Лутоне жалконький заводик. При встрече с Шутемовым Сорокин мечтал вслух:

— Я, Патрикий Лукич, не из тех дурачков, кто прощает обиды. Мне одна фирма — позвольте-с, пока дело не сделано, не называть ее — предложила открыть в Лутоне магазин и оптовый склад. Неограниченный кредит. Огромная скидка. Первосортное мыло. И никакого риска...

Сорокин восхищенно и торжествующе рисовал картину краха мыловаренного завода и, не желая того, разбудил в Шутемове стремление действовать теперь же, не откладывая до лучших времен, когда Стрехов поубавит долги, выпутается из векселей и сумеет продержаться без Лутони, отказав ей в поставке металла. Но для этого почти год Векшенские заводы должны работать на склад, платить деньги рабочим, неся бремя текущих расходов без притока средств.

Для этого необходимы большие деньги. И будь бы они у Стрехова, он бы давно обескровил Лутонинский завод, чтобы овладеть им, а овладев, пустить в дело запасы своего металла и выйти победителем, хозяином с лихими прибылями.

Столль, мечтавший вернуться в Лутоню, помог Шутемову подсчитать, во что может обойтись «игра», кто может участвовать в ней, у кого можно взять деньги под срочные векселя. Далекое становилось близким. Шутемов вкладывал все, что у него было. Кокованин, чувствуя близкий конец своей санной вотчины, рвался разорить товарищество и обещал большую подмогу. Хохряков и тот предлагал в кредит свои малые, но небесполезные в святом возмездии тысячи.

Стрехову Эльза представила полный расчет, доказывающий состоятельность плана разгромного наступления.

— Или сейчас, Глеб Трифонович,— сказала она,— или никогда! Графиня вынуждена будет порвать договор с обанкротившимся товариществом! Я хочу стать королевой всей Тихой Лутони, всех ее заводов и стану ею.

Поцелуи снова взяли перевес, а умение вовремя выскользнуть из объятий роднусика Глебобусика завершило нагрев воображения, и Шутемов мог ковать из своего будущего зятя меч расплаты.

Радости бескрайни. Сила и влияние Эльзы возросли непомерно после полученного из Лутони письма о смерти Парамона Антоновича Жуланкина. Он, пьяный, уснул в мороз и окоченел на могиле сына. Эльза становилась по закону единственной наследницей жуланкинских денег, движимого и недвижимого имущества. Стрехову нетрудно было понять, что не он один может осчастливить богатую невесту. Магдалина Григорьевна делала все, чтобы Стрехов попризадумался. В квартире Шутемовых на Малой Охте стали появляться, кроме Глеба Трифоновича, люди различных возрастов, состояний, чинов и достоинств. Пусть среди них нет таких же богатых, как он, все же красавица с деньгами может предпочесть ему другого.

Магдалина Григорьевна умело подчиняла Стрехова. Дочь помогала матери. Плелись и небылицы о возможностях поселиться в Петербурге. Влюбленный Глеб Трифонович постепенно начал походить на Витасика. Куда

делись его барство, самоуверенность, его «все могу»! Он уже бегал за пирожным Эльзе, и чем дальше, тем больше она чувствовала свою власть над ним и наслаждалась ею.

В Тихую Лутоню отправили доверенного по делам наследства. Отправился туда и сам Шутемов. Теперь его уже никто не зарубит топором. Можно не бояться и отслужить ханжескую панихиду на жуланкинских могилах.

В Лутоне Патрикия Шутемова ждала приятная новость. Открытые Сорокиным магазины и оптовый склад в первую же неделю показали, как легко удушить сильному слабого. Мыло, поставляемое Сорокиным, было дешевле и лучше. Оно шло. Мыло товарищества лежало.

Симон Иоганнович Шварц первым понял, что заводу товарищества угрожает несчастье. Он прибежал к Петру Демидовичу:

— Что делать? Нужно спасайт!

— А как?

Действовал страшный, волчий закон удушения, закон конкуренции.

Правление трудового товарищества мыловаренного завода, ища способов удешевить свое мыло, предложило удлинить рабочий день. Рабочие были вынуждены отказаться от своего завоевания, которым так гордились. Но и это не принесло сколько-нибудь заметных успехов. Начались увольнения.

Кого уволить? Кого оставить? По какому признаку? По малосемейности или по давности работы? По степени мастерства? И какие бы из этих принципов ни избирало правление, товарищ должен увольнять товарища. Это невыносимо. Решили увольнять по жребию. Кто что вытянет, тому и быть.

Сто сорок два билета положены в шапку. Сто сорок две участи. Четный номер — остаешься, нечетный — уволен.

Действовал еще один закон капитализма — безработица, а вслед за ней покупка дешевых рук.

Оставшиеся на заводе понимали, что нельзя варить мыло для надежды на лучшие дни... А чем платить за работу? Да и будут ли лучшие дни? А поставка сырья идет своим чередом, поставщик требует причитающееся. Отказался — плати неустойку. Векселя? Кто же их возь-

мет у прогорающей фабрики, да еще без хозяина? С кого взыщешь? С голытьбы? Что можно у нее описать?

Завод угасал, и никто не мог помочь ему. Предметом его изделий оставались колесная мазь да самые дешевые сорта мыла, которые невыгодно было ввозить издалека.

XL

Уволенных мыловаров рассовали туда-сюда на поденные работы, пристроили в «марочные агенты» по сбыту телег, но что делать тем, кто скоро лишится работы на бывшем коробцовском заводе?

С осени Стрехов уменьшил поставки железа, а с Нового года отказал в них. Пришел последний обоз со слитками. Старший обозный объявил:

— Велено сказать, что на этом конец.

Зимних запасов не хватит и до весны. А что весной? Весной можно доставить на камский берег тагильское железо, но ему придется там лежать до санного пути. До конца октября. А чем платить все это время рабочим простаивающего завода? Где взять деньги на уплату ста тысяч выкупного взноса Коробцовой-Лапшиной?

Конец!

Золотой сон Петра Колесова сменился жестоким пробуждением.

Рушилось все. Хоть пулю в лоб.

Вечером в тяжелых раздумьях, в поисках способов заставить Стрехова выполнить контракт с товариществом Петр Колесов не услышал, как подъехала к их дому карета Шутемовых. Из нее вышла очень нарядно и богато одетая женщина в шляпе с опущенной черной вуалью. Она прошла через кухню и поздоровалась с Лукерьей Ивановной. Та не сразу узнала Эльзу.

Ссоры между ними не было, но встретились холодно. Что ни говори, а Жуланкины на ее совести. И этой совести хватило выхлопотать наследство.

Лукерья Ивановна пригласила Эльзу в комнаты, позвала сына и оставила их вдвоем.

— Мы, кажется, не ссорились с вами, Петр Демидович. Здравствуйте. И я пришла не затем, чтобы испортить наши отношения. Нам еще жить да жить и встречаться.

— Да, конечно,— пришлось ответить Колесову.— Какими судьбами?

— Все теми же. Я не так скоро теряю свои привязанности к людям, которые когда-то дарили меня вниманием.

— Ну зачем об этом после всего, что произошло...

— А что произошло? Меня выдали насильно замуж за человека, которого я не любила... Так требовало дело отца. И я в угоду его телегам позволила переехать меня... Теперь снова хотят, чтобы я стала женой человека старого и не уважаемого мною...

— Не выходите.

— Как я могу, когда отцом расписано все до колеса... И я опять не должна противиться ему. И мне так жаль, что мой отец злопамятен. Он вам не может простить краха своего заведения.

— Ну и пусть не прощает. Я боролся с ним его же методом.

— Ах, как это печально! — притворно воскликнула Эльза.— И мне очень горько, что так устроено общество, в котором мы живем. Я так уговаривала его не мешать вам и вашему новому рабочему товариществу.

— Благодарю за сочувствие, любезнейшая Елизавета Патрикеевна.

— Патрикиевна,— поправила она и снова стала лисой: — Я восхищена вашими подвигами. Вы спасли стольких людей, вернув их на работу, и я плакала, когда узнала, что Глеб Трифонович не будет больше продавать вам свой металл.

— Спасибо еще раз за слезы. Но плачет, как и смеется, тот, кто это делает последним.

— Я рада, что вы еще надеетесь, Петр Демидович. И я надеюсь. Я не устаю говорить Стрехову: куда же он сбудет железо, если одна-единственная Лутоня покупает у него почти все? — а он даже и не захотел слушать меня. Конечно, я мало смыслю в железе, но все же, дорогой мой Петр Демидович, я отлично понимаю, что без векшенского металла ваш завод понесет большой урон. Лутоня отрезана от мира. Возить за тридевять земель — это значит непомерно удорожить металл. Как безжалостны мужчины! Не правда ли?

Эльза испытующе посмотрела на Колесова. Ей хотелось узнать, не придумал ли Колесов что-то и не нашел ли спасительный маневр. Он способен на чудеса. А ему показалось, что Эльза пришла парламентером от Стрехова и хочет предложить новую надбавку. Колесов пой-

дет на любые уступки, лишь бы прожить до начала зимы.

— Может быть, Глебу Трифоновичу нужно надбавить цену?

— Не думаю. Он хочет купить коробцовский завод.

— Но мы же в договоре с графиней.

— Ах, Петр Демидович, женщины так вероломны! Их глаза снова встретились. Глумящиеся глаза Эльзы и его испуганные глаза.

— Вы за этим пришли?

— Не только за этим, Петр Демидович. Я хотела узнать, кто будет продавать тележный завод — Катя или вы? Ведь в него вложена ваша «почта».

— А почему вы думаете, что он будет продаваться?

— Даже не знаю, почему... Наверное, потому, что мне так показалось. Когда завод графини будет принадлежать Глебу Трифоновичу, он может не захотеть оковывать ваши телеги, а вы не захотите, чтобы рабочие тележного завода остались без гроша, и, жалея их, продадите его отцу.

Колесов побагровел. Расчет Эльзы был верным. Патрикий Шутемов будет владеть всем, что создали, открыли Павел Лутонин, Корней Дятлов, мастера и он, Петр Колесов, отдавший столько технических усовершенствований. И это найденное, изобретенное пожнет Шутемов.

— Теперь вам остается спросить цену мне.

— Вы бесценны.— В глазах Эльзы глумление сменилось доброй, почти материнской, умиротворяющей назидательностью.— Я повторю сказанное мне вами в этой же комнате. Не мною придуман и создан этот мир с его законами. Все покупаемо и продаваемо. Заводы, леса, земли, люди... Не можете же вы стать исключением. Пройдет время —смягчатся, а потом забудутся наши ссоры, умолкнут взаимные обиды, Глеб исполнит желание своей жены и пригласит самого умного, самого лучшего инженера управлять заводами, которые принадлежат ему, а потом будут принадлежать оставшейся после, увы, его неизбежного ухода из жизни еще молодой и, конечно, бездетной вдове. Это цинично? Это оскорбляет вас? И вам хочется ударить меня? Ударьте. Вам будет легче. А я хочу облегчить ваши страдания...

XLI

Наступила тягостная, унизительная весна надвигающегося краха рабочего товарищества. В Лутоню зачастил Столль. Зайти на завод он, видимо, не рисковал. Смотрел на него, не вылезая из фаэтона, с плотины. И отсюда было видно, как затихали его цехи.

Шутемов вел себя наглее. Придя на тележный завод, он ходил по нему хозяином.

— Не рано ли радуешься, Патрикий Лукич? — спросил его в упор Корней Дятлов.

— Горюю, Корней Евсеевич, глядючи на горы неокованных телег.

— Окуем. Дай срок. На своем горбу натаскаем железо, а завода не остановим. Выдюжим. Выдюжит ли Стрехов?

— Не петушился бы ты, Дятлов. Поберег бы себя на будущее. Я ведь умею казнить и миловать могу.

Повеселел и Елисей Федорович Хохряков. Ему за вложенные под векселя деньги на борьбу Стрехов обещал возврат лесопилки. Ждать недолго.

Вслед за прошедшим по Тихой Лутоне льдом прибыли первые два каравана барок с металлом из Векши. Многие из рабочих воспрянули духом. Им показалось, что Стрехов снял запрет и завод не остановится.

Напрасные надежды! Чугун и сталь выгружались на плотину под охрану стреховских сторожей. Они, не скрывая, говорили, что ихний хозяин большой водой доставит весь железный запас и пустит его в дело, как только будет перекуплена у графини «Лутоня».

Каждый день подводили барки знакомые стреховские буксиры «Глеб» и бывшая «Ольга», получившая новое имя, накрашенное на бортах, ведрах, спасательных кругах вызывающе ярко,— «Эльза». Петр Колесов почти не выходил из дому. Лукерья Ивановна плакала втихомолку на кухне. Демид Петрович подбадривал сына:

— Наши тележники будут стоять насмерть. Камой пригоним шинное железо. Не горюй, Петруша. По малым кузницам рассуем поковки. Пробедствуем лето, а там опять на своих на двоих.

— Я и не сомневаюсь отец. Но разве дело в тележном заводе? Разве для него я отдавал силы, годы и от-

дал бы жизнь?.. Тележный завод, отец, был моей первой ступенькой...

Ему не хотелось и теперь открывать отцу рухнувшие замыслы, да отец и не понял бы его. Жизнь и ее радости ограничивались для Демида Петровича каменными стенами бывшего винокуренного завода, и он всегда был противником впутывания сына в чужие дела. А чужим для него было все, начиная с сорокинской мыловарни. Лесопилка еще так-сяк, она как бы цех тележного завода, а на кой ляд графинин завод, от которого столько бед? Для тележного завода хватило бы и жуланкинских мастерских, которые можно было арендовать или купить при жизни Парамона.

Был один и остался один Колесов. Теперь ему нужно чистосердечно раскаяться и признаться, что планы, лелеемые им, не могли и не могут стать явью в зверином окружении подлого, жестокого мира стреховых, шутемовых, сорокиных, кокованиных, хохряковых... и бороться нужно не с ними, а с миром, который они составляют, свергать строй, уклад, ломать всю жизнь, олицетворяемую Эльзой... Павлик прав. У рабочего класса один путь борьбы, один способ победы — революция.

Нужно дождаться возвращения Кати Иртеговой, покаяться ей во всем — и в Сормово. Там сильные люди, хорошая подпольная организация, и он вернется из сказки о трудовом царстве Тихой Лутони к большевикам.

Колесов не знал, что Катя Иртегова, похоронившая на Витиме свою тетку, вчера вечером приехала в Лутоню и узнала от Павлика о происходящем.

Утром Марфа Максимовна пришла за Петей, и трое друзей встретились.

Разговор начался с утешений Кати:

— Все исправится, все наладится, никогда не следует терять головы. Нужно все взвесить, выяснить, попробовать припугнуть Стрехова, принять меры и заставить его продать железо.

Молчавший до этого Колесов спросил:

— А долг графине? Сто тысяч рублей при бездействующем заводе? Сто тысяч, Катя!

— Всего только сто? Их можно внести завтра же.

— Так просто? Катя, у тебя все легко.

— Это на самом деле не трудно. Берут двести пятисотрублевых бумажек, кладут их в ридикюль и говорят:



«Пожалуйста, Варвара Федоровна, вношу раньше срока, чтобы вам не думалось».

— А простой рабочих? Из какого ридикюля будут получать они, Катя?

— Из того же.

— Катя, мне безумно трудно видеть тебя такой беспечной...

— Петя, мне еще труднее видеть тебя подавленным и отчаявшимся. Остановка завода — общее горе. И все должны разделить его. Одним придумать работу, другим платить половинную плату. И если тысяча человек будет получать по полтиннику в день, ничего не делая, то это только пятьсот рублей в день. Пятнадцать тысяч в месяц. Девяносто тысяч до осени. До нового железа из Тагила. То есть нужно еще только девяносто тысяч. Ну, сто. Всего двести. Но нужны ли будут они? Не лопнет

ли Стрехов через месяц или через два, вложив все в свое железо и задолжав всем?

— Откуда ты знаешь это, Катя?

— Спроси Юлиана Донатова. Он точно знает, кому и сколько должен Стрехов и когда наступают сроки выплаты по векселям.

— Он был с тобой откровенен? Когда?

— Я останавливалась в Векше. Он прибежал ко мне. Я ему, оказывается, нужнее всех других. Он так боится потерять Талю. А она все еще колеблется, кому отдать пальму первенства — Юлиану или тебе. Я пообещала повлиять на Талю. Это, надеюсь, будет в моих силах. У Стрехова нет беспечных и наивных друзей, которые ему предложат свой ридикюль. Ему уже нечем будет платить своим рабочим. Все вбито в омертвленный на нашей плотине металл.

Все Кате по силам. Она может заставить Стрехова отступить. Но что это изменит? Долгой ли будет ее победа? Настало время открыться и рассказать все.

— Послушай, Катя, и ты, Павлик, о том, как я ушел от себя,— начал свои признания взволнованный Петр Колесов.

XLII

— Катя, я не был откровенен с тобой не потому, что я скрытен. Какие же могут быть тайны у меня от Павла, от тебя, от моего отца? Но я боялся, что сказанное одному может стать известно третьему, четвертому, пятому... И меня опередят, подрежут на корню, перебегут мне дорогу или просто уничтожат. А теперь, когда все, что я делал, чему хотел отдать себя, оказалось волшебными сказками, которые я рассказывал себе и другим, я хотел... Нет, нужно чтобы вы знали все, с самого начала... Мне уже нечего и не для чего прятать.

Я сожалею, что так поздно проснулся. Все это мне внушалось товарищами по кружку в Петербурге. А я выдумывал свое. И оно стремительно рухнуло. Ожило то, что было во мне, но не принималось, отрицалось мною. Я хотел мирных путей, а их нет и не может быть.

Когда в Петербурге предали нашу группу, а я и четверо моих товарищей не оказались в ее списках и нас не арестовали, мне стало понятно, что тайн нет на земле, если они известны хотя бы двум. И я стал партией в са-

мом себе. Такую партию не подслушаешь, не предашь, не уличишь.

Что же я хотел? Я хотел построить небольшое царство Тихой Лутони и показать и доказать, что способом экономического наступления рабочего класса на капитализм можно уничтожить его. Я никогда, ни при ком не употреблял слов «социализм», «социалистический», заменяя их непреследуемыми словами «трудовое, рабочее товарищество на паях», «трудовая артель», «промышленная компания» и другими вполне приемлемыми названиями. Я начал с тележного завода. Не все ли равно, с чего начинать? Так случилось после разрыва с Эльзой. А хотел я начать с Бишуева, объединив там семьи, делающие сани, и обанкротить Кокованина, а потом подбираться к Лутоне. У меня был безошибочный, точно рассчитанный план разгрома наших заводчиков. С Шутемовым, как вы знаете, расправиться было не трудно. Для этого нужно было заставить вместо рук делать машиной телегу. И я сделал это. То же и с мылом. Я не ставлю себе в заслугу капитуляцию Сорокина. То же и лесопилку. Но это все были подступы к главному. К заводу графини. И это не составило большого труда. И мы бы выкупили его, если бы Шутемов не разгадал мои замыслы. На очереди у меня были Векшенские заводы Стрехова. Это очень отсталые заводы. Юлиан Донатов отличный инженер. Он многое сделал для Стрехова. Но далеко не все, чтобы Векшенские заводы могли выплавлять металл дешевле по сравнению с другими. Стрехов живет потому, что его металл почти полностью покупает Лутоня. Без Лутони нет Векши, как, впрочем, нет и Лутони без Векши. Вы это знаете без меня. И я думал, что как только немного окрепнут товарищества, отказаться от векшенского железа. Отказаться на один год. Переплатить за кушвинский, за тагильский, за какой-то еще металл. Пойти на дорогую доставку чугуна и стали по железной дороге, с перегрузкой в баржи на Каме и с новой перегрузкой на сани. И тогда бы Стрехов, живущий Лутоней, оказался с металлом, который некому да и невозможно продать в отрезанной от железных дорог Векше. И стреховские заводы повторили бы судьбу коробцовского. Не мог бы он плавить руду и варить сталь в убыток. И завод бы стал нашим. И все стало бы наше. Все эти санные, бондарные, гончарные и другие мелкокапиталистиче-

ские предприятия превратились бы в товарищества, которые образовали бы в бассейне Лутони союз трудовых товариществ. Это было бы ни в чем не нуждающееся царство. Своя руда, свое железо, свой завод металлических изделий. И тогда бы можно было заняться деревней.

Если мы дали дешевую телегу, разве мы не могли бы дать дешевые молотилки, бороны, плуги?.. А они могут быть очень дешевыми. Кто бы нам мог помешать создать без шуму, без флагов и демонстраций сельскохозяйственные товарищества, артели по совместной обработке земли? Кто? Царь остается царем, губернатор — губернатором, урядник — урядником, империя — империей, и в ней трудовое царство Тихой Лутони. Тихое царство, платящее подати и налоги. Ни тебе забастовок, ни тайных сборищ. Исправно вывешиваются флаги в царские дни, поется «Боже, царя храни». В Лутоню приезжали бы люди из других губерний, из-за границы. Их никто бы не агитировал, не звал, как не звали мыловары и тележники коробцовских рабочих провозглашать восьмичасовой рабочий день. Они бы сами поняли, что это возможно. Пропаганда социализма была бы безмолвной. Глазам не нужны в помощники язык и уши. Все на виду. Смотри, учись и повторяй. А повторять было бы что. Векша стала бы первоклассным металлургическим заводом. Стрехов не знает, что у него под боком каменный уголь. А каменный уголь, Катя,— это кокс. А кокс — это переворот в металлургии. Стрехову бог знает что стоит древесный уголь. Сотни углежогов изводят драгоценный лес, который мог стать... Что говорить, вы сами знаете, во что превращается дерево... Я случайно узнал о месторождении каменного угля. Почти на поверхности. Приходи и бери. Ставь коксовальную печь. Протяни к Векше самую примитивную узкоколейку. Можно даже конную, это же в пяти верстах от Векши, и металл сказочно удешевится, ускорится выплавка. Я едва не лишился сознания, наткнувшись на выход угля. Если бы знала графиня, какое сокровище таится в недрах ее лесных привекшенских угодий! А купить у графини лес было бы легче и проще, нежели ее завод.

А теперь все кончено.

Шутемов открыл глаза Стрехову, и то, что хотел сделать я для счастья тысяч людей, они сделают для себя.

А я искренне верил, что главное и единственное в переустройстве жизни — экономический подрыв капитализма изнутри, экономические реформы, а Марксово учение считал философией не для России. Мне нужно многому учиться и переучиваться... И прежде всего — реалистическим взглядам на жизнь во всех ее проявлениях...

Завеса стремительно и молниеносно спала с моих глаз. Мне ничего не нужно находить. Я возвращаюсь к тому, от чего ушел. Возвращаюсь, чтобы двигаться дальше.

Вот и все. Сказочник уходит из своей сказки. Я сказал об этом рабочим, и меня никто не обвинил. Не вините и вы. Я уезжаю в Сормово. В жизнь, в борьбу, в рабочее движение...

XLIII

— Не торопишься ли ты, Петя? — спросила его Катя, когда он закончил свою длинную исповедь.

— Нет, Катя. Во мне все оборвалось. Я ушел из своей сказки. Меня в ней больше нет и завтра не будет в Лутоне.

— Петя,— обнял его Павел Лутонин,— ты должен поверить — мне горестно и радостно, что я оказался прав, предвидя то, что случилось и чего не могло не случиться.

— Значит, вы оба покидаете меня? — спросила Катя.— И я одна остаюсь в сказке, из которой не хочу и не буду никуда уходить. И попробую без вас досказать ее, как могу, сколько хватит у меня сил и голоса.

Произнеся эти слова, Катя вдруг перестала быть мягкой, предупредительной, доброй, стала другой. Серьезная, строгая, властная, она, словно подтверждая, что теперь будет действовать одна, не удерживала их.

— Позавтракаем в другое, более радостное утро,— простилась она.— Сегодня оно хмуро, но погода изменчива.

Катя не предполагала в себе тех качеств, которые она обнаружила в это утро по уходе Колесова и Лутонина.

План действий родился тут же. Он уместился на одной страничке ее маленькой памятной книжки под номерами очередности намеченного:

«1. Пригласить Палицына. Узнать через Анатоля его имя и отчество.

2. Начать строить дорогу на Каму.

3. Купить у В. Ф. привекшенские леса.

4. Предупредить В. Ф. о несостоятельности Стрехова.

5. Запретить Денежкину пускать Шутемова на тележный завод.

6. Вернуть купчую Демиду Петровичу.

7. А дальше действовать смотря по обстоятельствам и советам Палицына».

Выполнение намеченного началось сразу же. Анатолю было сказано:

— Дорогой Анатолий Петрович, мне нужно вводиться в право тетушкиного наследства на Витиме. Лучшего поверенного, чем Палицын, забыла его имя, не найти. Помогите мне разыскать его.

Геннадий Наумович Палицын был снова вызван в Лутоню.

Разговор о дороге был начат с Матвеем Кондратьевичем Ельниковым. Он пришел в справном виде, в хороших сапогах и суконной паре. Председатель правления завода, выбранный хотя и для видимости, а все же выбранный. Ему она сказала так:

— Матвей Кондратьевич, хочу строить дорогу от Лутони до Камы. Она замышлялась еще покойным дедом и графом Коробцовым-Лапшиным, но не замыслилась. Когда до Камы можно будет приехать сухим колесом, заводу не потребуется стреховский металл.

— Так ведь это ж, голубка моя Катенька, тыщи да тыщи...

— Да уж такие ли тыщи, Матвей Кондратьевич? Наскребу.

Подошел старый скородел подрядчик Токмаков. С пожелтевшими картами начатой и оставленной дороги.

— Торговаться не будем,— предупредила его Катя,— время не ждет. Вам я даю жалованье триста рублей в месяц, дорожным десятникам — по сто рублей.

— А рабочие?

— Заводские рабочие. Рубль поденщина. Семьсот человек. Прикиньте.

— Куда же с такой оравой? Углядишь за всеми? — усомнился Токмаков.

— Глядеть за ними не надо будет,— вмешался Ельников.— У них свои глаза есть и свое понятие. Себе строят дорогу, к своему заводу.

Токмаков не принадлежал к тугодумам. Семьсот человек — неслыханная сила. Где насыпь, где гать, а где и мостишко на скорую руку, до лучших времен.

— Берусь, Екатерина Алексеевна. Сперва проеду проверю по старым столбам через топи, а от Лутони можно начинать хоть завтра.

Снова сход на остановившемся заводе рабочего товарищества и разговор без утайки. Говорил с рабочими Ельников.

— Будет дорога, будет и железо. Рупь в день — немалые деньги. Желающие строить дорогу — на запись к десятникам по артелям.

И началось строительство дороги на Каму. Артели провожали с духовым оркестром, с веселыми напутствиями. Узнав об этом, Стрехов впервые поколебался в затеянном Шутемовым запрете на железо. А вдруг да в самом деле пройдет на Каму дорога?

— Пугают,— успокаивал Шутемов дрогнувшего Глеба Трифоновича.— Это же тысячи и тысячи,— повторил он из слова в слово опасения, высказанные Ельниковым.— Где столько возьмет она?

Возьмет она столько или не возьмет, а наведаться к ней казалось необходимым Стрехову. Поздравить с приездом, выразить соболезнования по поводу кончины витимской тетушки.

XLIV

Стрехов, одевшись потемнее, потраурнее, изобразив скорбь на своем лице, пришел в дом Иртеговой.

Катя поблагодарила за честь, оказанную ей, и ждала, с чего начнет и как поведет себя дальше Стрехов. Наверно, уже узнал о купленном у графини лесе.

— Удивляюсь, Екатерина Алексеевна, зачем вам понадобилась дорога на Каму?

— Надоело ездить через Векшу, за сто верст киселя хлебать, колеса ломать, в избах ночевать. А тут прямешенько. Меньше шестидесяти верст. Токмаков нашел, как спрямить путь. Да и дедушкина память мне дорога. Он так уговаривал графа достроить дорогу.

Стрехов изобразил добренькую улыбочку и заботливо принялся внушать:

— Дорога возьмет очень много денег, подумали ли вы об этом, Екатерина Алексеевна?

— Токмаков пусть думает. У меня своих забот достаточно.

— Но ведь деньги же! — вернулся к начатому разговору Стрехов.— Ваши деньги!

— Ну, конечно, мои, Глеб Трифонович. Но куда мне их столько? За десять жизней не прожить. А тут еще, кроме дедушкиных, тетушкины прииски... Не дворцы же мне строить. Не в монастыри же их отдавать. Дорога людям нужнее.

— Но и о себе, Екатерина Алексеевна, не следует забывать.

— А я и не забываю. Купила лес у графини,— сказала она совсем небрежно.

— Какой лес? — настороженно спросил Стрехов.

— Пока верхний. Привекшенский.

— Привекшенский? А зачем он вам, осмелюсь спросить?

— Люблю собирать грибы. С детства это у меня. А когда свой лес, то и грибы свои. Никто до нас с Марфой Максимовной их не оберет. Там столько белых...

— Вы правы, Екатерина Алексеевна. Грибы и углежжение — доходнейшие статьи.

Катя испуганно посмотрела на Стрехова.

— Углежжение? Бог с вами, это же перевод леса и гибель грибам! Ради них он и куплен мной.

Стрехов заерзал на стуле.

— Да, но на чем будет производится плавка чугуна, если не будет древесного угля? Лес для этого и существует, чтобы сгорать.

Катя махнула рукой и с той же непосредственностью сказала:

— Пусть чей-то лес рубится для угля, но не мой.

Стрехов почувствовал легкое удушье.

— Но я же в договоре с графиней на прорубку и выжигание угля.

— Она мне этого не говорила. Правда, Варвара Федоровна жаловалась, что вы ей должны за порубки сколько-то тысяч и предлагаете вместо денег вексель. Как плохо, когда приходится прибегать к векселям. Это всегда портит отношения должников и кредиторов. Слава богу, что ни я вам, ни вы мне ничем не обязаны. Хотите чаю? Или, может быть, дедовской?

— Благодарю, я при таком известии не откажусь от нее. Но как же, где я теперь буду производить порубки?

— Глеб Трифонович, ну право же, такие вопросы скучны мне. Что я, лесничий? Углежог? Рассказали бы лучше о Петербурге, где вы провели почти всю зиму.

— Петербург никуда не денется, расскажу после того, как мы покончим с лесом.— Стрехов далее не мог сдерживать себя.— Если вы, Екатерина Алексеевна, в некотором роде ударом за удар... Я готов поговорить о запрете на железо и смягчить свои некоторые...

Катя устало вздохнула и нехотя спросила:

— О каком железе вы, Глеб Трифонович?..

— О моем. На который я наложил запрет.

— А мне-то что до него? Наложили так наложили. Железо-то ведь ваше. Ваше право и распорядиться им.

— Екатерина Алексеевна, позволю себе подвергнуть сомнению сказанное вами. Мне кажется, вы не хотите, чтобы я стал владельцем завода графини Коробцовой-Лапшиной.

— Так вы и не будете им. Варвара Федоровна нуждается в наличных, а у вас их, кажется, нет. При чем же здесь я, мое желание или нежелание? И если бы я хотела помешать вам стать владельцем завода графини, то я купила бы его.

— На какие деньги, Екатерина Алексеевна?

— Ну, знаете, Глеб Трифонович, извините меня, но вы слишком любопытны. Мне пока не надо брать под векселя и не пришлось бы, если б, допустим, вы захотели предложить мне ваши Векшенские заводы. Они, в сущности, стоят тоже не так много... Я, кажется, расстроила вас, Глеб Трифонович?

— В некотором роде, Екатерина Алексеевна, приятного мало, когда о приобретении заводов говорится с такой же легкостью, как о покупке шляпки в гостином дворе.

— Ну что за сравнение! Чтобы купить шляпку, нужны дни, а то и недели, а завод — можно даже заочно. Его же не надо примерять и вертеться перед зеркалом.

Стрехов слушал, мотал на ус и побаивался за сердце, дававшее усиленные перебои.

— Екатерина Алексеевна, если Петру Демидовичу угодно, то покорнейше прошу передать ему — я снимаю запрет на железо.

— Глеб Трифонович! — всплеснула руками Катя.— Петербург испортил вас! Вмешивать меня в ваши размолвки, просить стать посредницей — это по меньшей

мере невежливо. А кроме этого, если вы снимете запрет, завод начнет работать и нанятые мною рабочие бросят мою дорогу... Нет, уж не делайте, пожалуйста, этого. Зачем ни с того ни с сего менять свое решение? Я не ожидала от вас этого. Да и куда им теперь ваше железо? Они, хитрецы, воспользуются моей дорогой и, не дожидаясь зимы, купят где-то там, за хребтом, и сталь, и чугун, и медь... Вы тоже, если захотите, можете воспользоваться моей дорогой и продать ваши железные запасы. Дорога же общая, для всех.

Боясь за сердце, Глеб Трифонович не стал продолжать разговор. Он понял, как складываются или как кто-то складывает обстоятельства, посмотрел на часы, сослался на званый обед, ушел.

XLV

Вторично приехавший к Иртеговой Геннадий Наумович Палицын пунктуально доложил ей о фамилиях и адресах векселедержателей и предварительно выявленной сумме долга Стрехова. Она почти вдвое превышала оптимальную стоимость его заводов и рудников, включая сюда же стреховский дом на берегу Тихой Лутони.

— Что же теперь посоветуете вы, Геннадий Наумович?

— Теперь, во-первых, нужно, чтобы все знали, что господин Стрехов несостоятельный должник, нахватавший по векселям вдвое больше своей платежеспособности. Для этого в «Губернских ведомостях» нужна статья о недопустимой для порядочного капиталиста измене своим обязательствам по поставкам металла заводу, принадлежавшему графине Коробцовой-Лапшиной, повлекшей за собой возмущение умов и брожение среди рабочих. Угодно ли вам прослушать эту сочиненную мною статью?

— Нет,— ответила Катя,— я не должна знать о ней.

— Как вам будет угодно, Екатерина Алексеевна. В статье нет ни одной строки неправды. После появления статьи векселедержатели опротестуют свои векселя, выяснят, что они в лучшем случае получат после продажи завода, и я могу приступить к скупке векселей, по цене, нами предложенной. Я думаю, что за каждый рубль нужно будет уплатить не более сорока пяти копеек. И остается третье и последнее: передача заводов

Стрехова векселедержательнице госпоже Иртеговой Екатерине Алексеевне. Прикажете действовать?

— Да, Геннадий Наумович. Зачем же медлить?

Палицын отправился на телеграф.

За годы службы в почтово-телеграфной конторе Алексей Алексеевич Красавин не передавал такой длинной телеграммы от частного лица. Телеграмма-статья в пятьсот двадцать шесть слов, озаглавленная «Сеющие бурю», рассказывала, как заводчик Стрехов, задумавший купить Лутонинский механический завод, отказал ему в договорной поставке железа и, доведя его до бедственного состояния, обанкротился сам.

Подписавший телеграмму «Очевидец» не исключал «возможности справедливых на этот раз волнений рабочих Векшенских заводов, не получающих второй месяц заработанных денег. Игрок, сеющий ветер, господин Стрехов пожинает первые горести угрожающей ему бури». Далее беглое перо Палицына сожалело, что у заводчика мало надежд на кредит под новые векселя, когда неоплаченные старые вдвое превышают по сумме долга оптимальную стоимость Векшинских заводов.

Ради этой фразы и писалась статья в «Губернские ведомости», и если ее по каким-то причинам не поместят там, все равно она будет известна всем причастным к векселям Стрехова.

Пройдоха Палицын не ошибся. Начальник почты Красавин дважды собственноручно переписал телеграмму, в надежде на вознаграждение и угощение за предупредительные известия со стороны тех, кому должен Стрехов, и самого Стрехова. У Тихой Лутони нет прямого провода в губернский город. Статью дважды перестучат любознательные телеграфисты и не сохранят ее в тайне. Предупредить, предостеречь, а иногда и спасти — единственный приработок телеграфиста.

Алексей Алексеевич Красавин выгодно продал «пренеприятнейшее известие», во-первых, Патрикию Лукичу Шутемову, главному соучастнику Стрехова, во-вторых, Леонтию Прохоровичу Сорокину, заложившему свой магазин во имя «священной борьбы» с ненавистными товариществами, и лишившемуся своей лесопилки Хохрякову. Он тоже жаждал мести и отдал под краткосрочный вексель свои тысячи Стрехову на скорейшее растерзание своих погубителей. В Бишуево, к могучему кредитору Стрехова, к Адриану Кузьмичу Кокованину, вместе с

утренней почтой Красавин помчался рано утром. Князь саней и властитель Бишуева принял Алексея Алексеевича в исподних и сидючи в своей кровати под алым шелковым балдахином с кистями. Он дважды выслушал выразительное чтение телеграммы.

Снова треклятый Патришка Шутемов, тартар ему и преисподняя, втягивает его в своей тележный омут! Как выбить теперь с Глебки Стрехова свои тысячи по просроченным векселям?

— Убью! Зашибу на один мах! — угрожающе поднял он могучий волосатый кулак.— Запрягать! — распорядился Кокованин и торопко начал одеваться, чтобы первым прискакать в Векшу и первым заявить протест на векселя.

Телеграмма, еще не дойдя до «Губернских ведомостей», передавалась полностью и вкратце. От телеграфиста телеграфисту. Они знают один другого по стуку ключа, по «почерку» точек и тире. Векшенский, пообещав лутонинскому телеграфисту поделиться полученным от Стрехова, известил Глеба Трифоновича до завтрака.

Стрехову не потребовалось второго чтения телеграммы. С первых слов ему стало понятно, что пожар может начаться с неминуемой забастовки, которая будет признана «справедливым волнением рабочих».

Вручив телеграфисту красненькую и поблагодарив его, скрывая страх, Глеб Трифонович тоже велел запрягать и вызвал Донатова.

— Завтра начнется выплата рабочим за прошлый месяц. Объявите, мой друг, об этом немедленно, а на пути прочитайте этот телеграфный донос. Сделайте все, чтобы успокоить рабочих. Мигом на завод!

По лицу Стрехова Юлиан Германович понял, что заводы больше не принадлежат его хозяину. Глебу Трифоновичу этого в голову пока не приходило. Он в лучшем случае мог лишиться надежды на покупку Лутонинского завода, отложив ее до лучших времен. Проданное железо вернет все вложенное в него, он уладит с кредиторами, отсрочит векселя и останется без выигрыша, но при своих.

На половине пути в Лутоню он встретил будущего тестя, мчащегося в Векшу с той же целью предотвратить «справедливые волнения». Шутемов, вбивший все свое состояние в «верное дело», опьяненный борьбой,

вез в Векшу новый вклад на расчет с рабочими — деньги Эльзы.

— Выдержим, Глеб Трифонович! Не вешай голову! Когда рабочие получат сполна, можно судить этого «Очевидца» за подлог, за навет.

О продаже товариществу железа Шутемов и слышать не хотел. Зачем же тогда было огород городить? Зачем же тогда ему было входить в сговор, если Лутонинский завод не станет стреховским, а тележный завод не будет шутемовским?

Шутемов не знал о действительном положении дел, он еще верил, что графиня будет вынуждена расторгнуть договор с товариществом, и погнал вместе со своими тысячами в Векшу, а Стрехов, скрывая свои намерения, отправился в Лутоню, чтобы найти способы и условия замирения с товариществом Лутонинского завода.

Глеб Трифонович не предполагал, что через три версты, при выезде из леса, он встретит разъяренного бишуевского властелина.

— Убью! — повторил он.— Зашибу на один мах, если не получу полняком своих денег!

— Получите! Адриан Кузьмич, за этим и еду. Как можно придавать значение какой-то зубоскальской телеграмме...

Обещание охладило пыл Кокованина. Зная, что Стрехову нечем заплатить, он рассчитывал на слитки. Железо не деньги, но всегда товар. Расчеты Адриана Кузьмича были бы безошибочны в том случае, если б он был одним заимодавцем Стрехова, если б только он хотел получить металл за свои векселя. Телеграфисты, а потом и сам Палицын сумели оповестить всех, кому был должен Стрехов. Выгруженное в Лутоне железо не могло оплатить и четверти опротестованных векселей. Шум угрожающе нарастал.

XLVI

— Теперь, пожалуйста, Екатерина Алексеевна,— попросил Палицын,— не давайте никому никаких обещаний, а если есть возможность, предпримите вояж на несколько на дней.

Палицына известили о публикации в «Губернских ведомостях» его статьи. Еще день-два — и она будет прочитана всеми. Эти дни Геннадий Наумович использует для предварительных встреч с кредиторами, их

представителями, кроме Шутемова, векселя которого не будут приобретены даже за четверть цены. У Палицына заготовлено, заучено одинаковое для всех оповещение: «Мне известно лицо, желающее приобрести векселя господина Стрехова по добросовестной, отвечающей их действительной стоимости цене». Вместе с этими словами вручалась с золотым обрезом и тиснениями визитная карточка с указанием местопребывания Палицына.

Кокованин первым пожаловал к нему.

— Имею честь предложить...— Им была названа сумма долга и показаны векселя.

— Как я могу, любезнейший Адриан Кузьмич, предложить вам что-то, не зная, во сколько будут оценены Векшенские заводы и рудники, а равным образом не представляя, скольким людям и сколько задолжал Глеб Трифонович? Предложить мало — значит обидеть вас; дать больше, чем реально могут быть возмещены векселя,— поставить меня в крайне затруднительное положение перед лицом, доверившим ведение дел.

— Так что же, господин Палицын, вы думаете купить векселя с понижением? Но кто захочет нести урон? — спросил Кокованин.

— Никто не захочет нести урона, но никто не пожелает вступать в длительную тяжбу с господином Страховым и ожидать, пока будет продано принадлежащее ему, а затем установлено, какими копейками оценится вексельный рубль,— проникновенно и напевно разъяснил Палицын.— И всякому будет выгодно получить наличными сразу же после передаточной надписи на обороте векселя, нежели ожидать долгое время, пока продадут заводы, и получить, может быть, меньше, чем будет предложено лицом, поручившим мне стать посредником. Но я могу заверить вас, уважаемый Адриан Кузьмич, что ваши векселя будут оплачены в первую очередь, в самую первую очередь, и, надеюсь, вы, как и прежде, не забудете мне этой услуги.

Настойчивый Кокованин не уходил и добивался, во что будет оценен вексельный рубль.

— Да уж, я думаю, во всяком случае, не менее сорока копеек.

— Сорока? — взревел Кокованин.— Это ж грабеж, господин Палицын!

— Это хуже, чем грабеж,— присоединился Палицын.— Это убийство среди бела дня, и притом не наказу-

емое законом убийство. Навыдавать векселей вдвое больше своей платежеспособности, ввести в заблуждение добропорядочных, доверчивых людей — не имеет названия. Я негодую вместе с вами. Но что стоит наше негодование? Какая польза вам или мне, если даже господин Стрехов будет заточен? От этого вексельный рубль не станет дороже... Но у вас есть еще время, Адриан Кузьмич, сбыть кому-нибудь, может быть, тому же Шутемову, свои векселя копеек по семьдесят за рубль... Хотя у него едва ли есть деньги.

Кокованину оставалось ждать. Никто не купит его векселя. «Губернские ведомости» читают все, а кто не читает, тому прочтут.

Побывали у Палицына Леонтий Сорокин и Хохряков. Ответ был тот же.

— Могу записать на очередь. Буду иметь в виду.— Вежливый поклон и выражение сочувствия.

Наконец стоимость заводов и рудников определилась. Выяснилась сумма долгов Стрехова.

Палицын объявил покупную цену векселям — сорок три копейки за рубль, без уплаты процентов. Нотариусу Василию Захаровичу Козинцеву снова предстояла хлопотливая и выгодная работа. Передаточные надписи и оплата векселей производились в казначействе. Счет шел на многие тысячи. Тихая Лутоня хотя и тиха, но с большими деньгами в кармане появляться было рискованно.

Кредиторы и доверенные лица пришли в казначейство, но никто из них не хотел первым продать свои векселя за такую низкую цену. Брешь пробил Патрикий Лукич Шутемов. Этот ворон лучше других знал, что большего ему не получить.

— Вот мои векселя,— сказал он,— пользуйтесь. Кому, господин Палицын, прикажете сделать передаточные надписи?

Геннадий Наумович взял векселя, прочел суммы и фамилию векселедержателя, негромко и чрезвычайно предупредительно сказал:

— Ваши векселя, господин Шутемов, не могут быть куплены благодаря некоторым тонкостям. Лицо, покупающее их, не желает поссорить вас и господина Стрехова. Поэтому справедливее и человечнее, если с Глебом Трифоновичем вы сами выясните ваши денежные отношения.

— Как звать это лицо, которое заботится о тонкостях наших отношений?

— Теперь его можно назвать,— снова почтительно склонил голову Палицын.— Это Екатерина Алексеевна Иртегова.

Провалившийся пол, обрушившийся потолок, взорвавшаяся бомба произвели бы меньшее впечатление на Шутемова и остальных.

— Кто следующий, господа? — обратился Палицын к сидящим за столом, покрытым темным сукном, кредиторам.— Не знаю, хватит ли сегодня денег всем. Первым у меня на очереди почтеннейший господин Кокованин Адриан Кузьмич.

Все посмотрели на него. Он медлил. Ждал чего-то еще. Разглядывал сидящих. Они молчали. Но их молчание говорило: «Что же ты? Если Шутемов продает свои векселя, он-то лучше знает, каковы дела на Векшенских заводах». Но стреляный богатей знал, что с векселями бывает немало уловок. А вдруг да Стрехов сговорился с Катериной Иртеговой и она выкупает для него векселя, чтобы сократить сумму долгов и выпутать его из петли?

— Тогда я,— предложил Леонтий Сорокин и положил векселя.

«И этот может быть подставным продавателем»,— подумал Кокованин, решив посмотреть, как будут вести себя остальные. Один за другим кредиторы предъявляли векселя, и, когда их было сдано более чем на шестьсот тысяч рублей, Кокованин уже не мог подозревать всех приехавших сюда в сговоре с Глебом Стреховым. Кокованину ничего не оставалось, как получить за свои сто тысяч — сорок три, да еще уплатить нотариусу за передаточную надпись.

О боже! За что наказуеши?

Бог, как всегда, молчал. За него пришлось ответить самому себе. Пришлось признаться, что так тебе и надо, старый дурак, снова связавшийся с прохвостом Шутемовым. Кокованин хотел заехать к нему и вылить на него кипящую злобу, но Шутемов, как видно, сам пострадал горше Кокованина. Что взыщет он с Глеба Стрехова? Что? Тросточку с позолоченным набалдашником да горсть волос.

XLVII

В течение недели были скуплены все векселя и закладные, кроме шутемовских. Палицыну оставалось спросить Глеба Трифоновича: желает ли он передать заводы, рудники, дом на Лутоне и все принадлежащее ему Екатерине Алексеевне, или он изберет какой-то иной путь?

— Но во всех случаях, Глеб Трифонович, сумма, взыскиваемая с вас по нарицательным цифрам векселей и добавлением процентов, составит вдвое больше принадлежащего вам. Мне трудно повторить,— опять «терзался» Палицын,— такие слова, как «тюрьма», «позор», «скамья подсудимых»,— эпитеты, произнесенные вашими кредиторами, которые, несомненно, могут появиться в «Губернских ведомостях»,— но моя горькая обязанность не скрывать, что может ожидать вас.

А Глеба Трифоновича ожидало худшее. Гораздо худшее.

Екатерина Иртегова делала свое, а Лутонин и Саночкин тем временем связались с векшинскими рабочими. Там тоже были свои люди. На этот раз гектографическая листовка оказала немалое влияние на судьбу Векшенских заводов, листовки передавали из рук в руки, читали вслух. Листовки рассказывали о злодеяниях Стрехова, об ущербе, нанесенном им лутонинским и векшенским рабочим.

Сама собой возникла демонстрация. У дома Стрехова, появилась густая толпа доменщиков, сталеваров, прокатчиков.

Спрятавшийся Стрехов слышал грозные выкрики демонстрантов.

Они требовали снять запрет на векшенский металл. Грозили разделаться самосудом.

— В пруд его!

— На тачку злодея и в мартеновскую печь!

Всего можно было теперь ожидать от разъяренных демонстрантов. На Урале и в Прикамье все чаще и чаще возникали волнения на заводах. До Стрехова давно доходили слухи о неминуемом перевороте в империи. Осведомленные люди еще в Петербурге предупреждали Стрехова о непрочности престола его величества, о недовольстве произволом царских сановников.

Лутонинцы, приехавшие в Векшу, опасались, что де-

монстрация может закончиться кровавой расправой с векшенскими рабочими. Предусмотрительные вожаки постарались не доводить дело до самосуда над Стреховым.

Перетрусивший Стрехов сумел улизнуть из дома. Демонстранты, узнав об этом, разошлись. Глебу Трифоновичу стало яснее ясного, что проиграно все и ничего не спасет его, поверившего в злую игру, затеянную Шутемовым.

Оставалось последнее — явиться на поклон к Иртековой.

Исхудавшим, жалким, постаревшим пришел он к ней. Она выслушала его мольбы и вопли. Позволила ему постоять на коленях, выплакать слезы, а затем спросила:

— За что и как я должна пожалеть вас? За то, что вы не пожалели детей и жен лутонинских рабочих? За то, что вы изменили своему слову и придумали запрет на железо? Но я кое-что сумею сделать для вас, если вы не будете мешать передаче всего принадлежащего вам, за исключением одежды, дорогих вам сувениров, наследственных памяток и портрета Эльзы Шутемовой, который вам будет дорог как воспоминание. Первое, что вы должны сделать сегодня же,— написать под диктовку Геннадия Наумовича нотариально заверенное распоряжение о передаче мне всего железа, а затем приступить к передаче ваших заводов. Большего я вам не скажу.— Пригласив из соседней комнаты Палицына, Иртегова распорядилась: — Вы слышали, Геннадий Наумович, что предстоит сделать вам. Пожалуйста. Не допустите урона. Бухгалтер завода и Юлиан Германович Донатов помогут вам не ошибиться.

Стрехов покорно поклонился уходя.

— Да-а...— будто бы вспомнила Катя.— Из вашего дома на берегу Лутони вы можете взять все ваши вещи. И мебель... Но как можно скорее. Токмакову я поручаю переоборудование дома. В нем будет первое в наших местах среднее учебное заведение...

— Ги-гимназия? — заикнулся Стрехов.

— Нет. Реально-техническое училище... Лутонинско-Векшенское реально-техническое училище... А вы, пока до подыскивания квартиры, Глеб Трифонович, можете занять домик садовника...

Стрехов еще раз поклонился и ушел.

Следом за Стреховым в дом Кати пришла Эльза.

— Я пришла продать векселя.

— Да? А я думала — попросить на текущие расходы.

— Мне, Катя, не нужна милостыня.

— Ты хочешь, чтобы она выглядела и называлась продажей бумаг, которые невозможно применить даже как бумагу для записок Марфы Максимовны, что надо не забыть назавтра.

— Но чего-то стоят векселя?

— Стоят того, чтобы Стрехов оплатил их полностью. Поэтому я ваши векселя не покупала за бесценок. Он их обязан оплатить, как джентльмен, пока у вас разные карманы.

— Это жестоко... Я не ожидала!

— Эльза, тебе ли упрекать меня в жестокости? Ты убила своего мужа, а за ним и его отца. Мало этого — ты еще обобрала мертвых, добившись наследства. В чем же моя жестокость? В том, что я не отдала в кабалу тебе и Стрехову Лутонинский завод? В том, что я помешала бесчестной игре с железом?

— Мы разорены, Катя,— заливалась слезами Эльза.— Отец просит купить векселя по той же цене, как у всех...

— Я думала, ты скажешь что-то другое. Я думала, у тебя найдутся хотя бы какие-то слова раскаяния, а ты о деньгах... Как только терпит тебя земля?

— Я пришла продать векселя.— Эльза выпрямилась и приняла свой независимый вид.

— Ты ничего не поняла, Эльза, и у меня нет желания помочь тебе.

— А если я помогу Тале выйти замуж за Донатова, купишь ли тогда...

Катя резко ответила:

— Ты не гнушаешься ничем. Таля и без тебя станет женой Донатова. Теперь я варю кашу, и только я. Если Петя узнает, что и вторую дочь Патрикия Лукича, тоже в его интересах; можно уговорить стать женой Донатова, едва ли самолюбивый Колесов захочет соединить с ней свою жизнь. Во всех случаях я не посоветую ему этого делать.

— Хочешь его сберечь для себя?

— Эльза! Сейчас ты переступила порог в недозволенное, в самое дорогое для меня. Я больше не знаю тебя. Но если ты попытаешься вмешаться в мою жизнь, гос-

подин Палицын очень быстро распутает дело о самоубийстве Витасика и тебе придется многое вспомнить на следствии.

XLVIII

Палицын, мастер коротких путей и убедительных слов, покончил с передачей Векшенских заводов. Стрехов остался во флигельке, где жил его кучер, до приискания пристанища. Его дом был заперт, опечатан и сдан под охрану садовника.

Лутонинский завод возобновил работу под прежней вывеской. Телеги получили оковку, оси втулки, колокол на башне не заунывно, а громко и призывно отбивал часы.

Шутемов запродал дом и переселился с семьей в Бишуево. Кокованин взял его в приказчики по торговой части. Не бескорыстно, но — пожалел и поселил в пустующем нижнем этаже дома, как своих. Пусть Шутемовы не родня, но чем черт не шутит, деньги могут и породнить их. Пятьдесят годов, судя по Стрехову, не старость. И если Глебка мог припеть молодую лисичку, чем хуже он? Бороду можно укоротить и велеть портному омолодить одежу. А пока посочувствовать Эльзе с матерью и отправить их в променад, хоть на те же воды.

Змей и тех приручают. Люди податливее, особливо если они жадны. Надо только не торопясь, благословясь... Топор до своего дорубится...

Все как будто находило свое логическое развитие. Катя не погрешила против основ своей нравственности и своих убеждений. Она могла произвести в капиталистической Лутоне единственно возможную в данное время, при данных обстоятельствах «революцию» капиталистическими средствами. И она ее произвела при помощи своих миллионов.

Теперь оставалось назначить над скупленными заводами лучшую власть и ее главу. Ею может быть только Петя, справедливый и единственный. И будут ли эти заводы выглядеть для него «свадебным подарком» или выражением ее беспредельной любви к людям и, конечно, к Пете, во всех случаях она сделала для родной Лутони все возможное из всего возможного, как формулировала она для себя — при данной экономической и политической конъюнктуре.

Заводы должны стать безубыточными, а если они

окажутся прибыльными, то для самих себя, так как ей они принадлежат только нотариально. Она самим фактом покупки вернула заводы тем, кто их создал, кому они принадлежат по самой высшей справедливости.

Так же бы, конечно, поступил Петя, стремившийся легально вырвать у капитализма все возможное для порабощенных. Самолюбие ли Кати, обида ли за крах колесовских предприятий, желание ли досадить своре шутемовых руководили теперь ею, наперекор тому, что она знала от «коммерцгера». Большие деньги и запальчивые годы юности, любовь к Пете тоже вплетались в этот узор ее противоречивых поступков.

Они и не могли быть иными при ее воззрениях. «Коммерцгер» заложил «основы» ее политических знаний и был выслан. В Лутоне Катя, «досамообразовываясь», была подвержена всем «ветрам». Близкий к ней Павел не мог рисковать организацией, не мог ввести в нее Иртегову. С этим не согласились бы другие, знающие Катю с филантропической стороны. В результате Катя оставалась одна. Сама по себе. Ей казалось, что Петя, стремившийся легально вырвать у капитализма все возможное для порабощенных, поступал так же.

Иное развитие претерпевал Петя. Он поступил на Сормовский завод, где у него было много студенческих друзей, спустя год он был принят в подпольную организацию РСДРП. Товарищи по организации единодушно поддерживали ленинскую позицию, отвергающую мирный экономический реформизм и настаивающую на решительных революционных действиях.

Колесов, испытавший иллюзорность экономических утопий на собственном крахе, стал на бескомпромиссную ленинскую точку зрения.

Теперь он приехал в Лутоню, чтобы спросить Катю о деньгах его отца, вложенных в тележный завод, после продажи дома, занимаемого почтой, и тем самым закончить свои последние «капиталистические отношения» с отцом и Катей. По приезде Петя узнал от матери, что Марфа Максимовна вернула его отцу купчую на почту с нотариальной дарственной надписью. Предположения оправдались. Не Ряженкова, а Катя от ее имени купила в тот год почту, и она же вернула ее. Теперь он со всеми в расчете. Нужно проститься с Катей, сказать то, что давно хочет услышать Таля, и увезти ее в Сормово. Она тоже одинока и неприкаянна, как и он.

XLIX

Собираясь пойти в иртеговский дом, Колесов услышал на кухне знакомый голос Кати. Она спрашивала у матери, дома ли он.

— Ну вот, Петечка,— сказала Катя, входя в его комнату, нарядная, сияющая,— я и досказала сказку о царстве Тихой Лутони.

— Зачем ты сделала это, Катя? И откуда у тебя столько денег?

— Я и сама не знала, что их столько. Я думала, что придется отдать все, что у меня есть, а не понадобились и теткины прииски. А зачем я купила заводы, спрашиваешь ты... Затем, что не могла не купить их. Видимо, я тщеславна. Наверно, мне хочется оставить после себя след в родной Лутоне. Все будут знать, что я их купила не для прибылей. Мне не нужно от них и тех процентов, которые я получила до того, как заводы были деньгами. Я разуверилась, Петя, в мелкой помощи одиночкам. Селиван Бадьин из Малиновки, который возил нам хорошие сосновые дрова, получил от меня наградную тысячу рублей. Мне хотелось, чтобы его дети были обуты, чтобы он купил коров, лошадей, построил новую, большую избу и был счастлив. Бадьин на мою тысячу открыл бакалейную лавку. Стал пауком. Его жена и дети по-прежнему ходят босиком. Он из тысячи хочет сделать две, а из двух три. Больше он не возит нам сосновые дрова, а предлагает доставлять с малой прибылью «провиянт». Я выгнала его, как и Эльзу. Скотина не может стать человеком, а только шутемовым. Другое дело — рабочие. Никто не бросит в меня камень. Я не потребую с них выкупа заводов, которые построены их отцами. Они, принадлежа мне, принадлежат им. Разве плохо поступила я?

— Я этого не говорю, Катя. Но что руководило тобой? Неужели тебе кажется, что ты влияешь на ход истории, революции...

— Нет, я ничего не преувеличиваю. Революция придет и без моих денег, и без твоих телег. Но когда она придет? А рабочие должны существовать, хоть как-то.

— Ты, Катя, играешь с огнем.

— Да, наверное, Петя, но я неопалима. Кто поверит, что сумасбродная богачка, по сути дела капиталистка, скупающая заводы, причастна к революции? Кто?

И если я даю деньги Павлу, другу детства, меня в худшем случае могут заподозрить в чем-то неблаговидном, принять за бесящуюся с жира молодую купчиху... Но я об этом не беспокоюсь, Петя, мне не перед кем оправдываться. Я не бегаю с одного свидания на другое, как...

— Как кто?

— Как одна наша общая знакомая. Она все еще не может сделать выбор.

— Катя, ты хочешь унизить в моих глазах Талю? Это тебе не к лицу.

— Не к лицу? Не к лицу мне предостерегать людей и самого дорогого из них?

Далее Колесов не мог оставаться спокойным.

— Что ты можешь знать?

— Я не виновата, Петя, что Донатов делится со мной, жалуется мне. Он видел вас в уединении перед твоим отъездом в Сормово и просил меня повлиять на тебя. А как я могу это сделать, когда мне временами... не каждый день, но иногда так хочется, чтобы ты попробовал быть счастливым с нею и оценил бы и ее красоту, и ее пустоту. Я за падения, которые способствуют подъему не только в политике, а и в любви и даже в пересоле щей.

Колесов сжался.

— Катя, как ты ужасно выражаешься... Как Эльза!

— Я выражаюсь, как если б я была твоя жена, а ты бы был моим всегда, во всем свободным мужем. Маленькая Кармен не виновата в своем наследственном любвеобилии и бескорыстной добродетели в любви.

L

Катя ушла на кухню, выпила там из общего жбана квасу, как было принято в колесовском доме, и вернулась к Пете.

— Так я говорю затем, что я хочу помочь твоему благоразумию. Ты знаешь, я тоже флиртовала без тебя, — сказала Катя, как никогда еще до этого кокетливо.— На время палицынских операций мы с графиней уезжали в Белогорский монастырь. Светское прибежище для вдов и старых дев. Там все, кроме цыганского хора. Зато полон клирос смазливых иноков. Басов и теноров, вышколенных под тирольских вокалистов, солирующих для возбуждения религиозных чувств у маловер-

ных.— Катя сняла со стены Петину гитару, едва касаясь тонкими розовыми пальцами струн, придала своему голосу звучание скрипки: — «Слава в вышних богу! На земле мир, и в человецех благоволение!»

Лукерья Ивановна, слушая слова молитвы на кухне, перекрестилась на солнышко над сараем. Сидевший там же Демид Петрович выпил из жбана бражки-медовушки.

— Ты знаешь, Петя, там и я произвела впечатление. Холеный красавец, молодой архимандрит готов был обменять свои черные одежды и клобук на шляпу и сюртук. Но приехал граф. Граф — конкурент, соперник многогрешного архимандрита. Граф Лев — в смысле салонном и в смысле Левушка. Так называла его Варвара Федоровна. Он ее племянник. Тоже Коробцов, но не Лапшин, а Дашкин. Через тире. Он камергер с каким-то добавлением. Не «коммерцгер», как тетушкин душеприказчик, а ка... камергер с приставкой. Тридцати трех лет. На шее орден какого-то святого. Демократ, как и его тетка. Чужд сословной нетерпимости, особенно когда в другом сословии слышится сословие слов: золото, заводы и выкарабкивание из долгов. И он, как сказал бы Павлик, «с ходу, не вылезая из телеги», предложил мне назваться графиней Коробцовой-Дашкиной.

— И что же ты? — спросил Петя, раздраженный игривостью развеселившейся Кати.

— Я возмутилась... «Как вы смели в святой обители, в год траура по тете Хине...»

— И чем же кончилось?

— Кончилось тем, что вместо одной Кати он получил три. По сто рублей каждая. Граф проигрался по дороге в Белогорский монастырь и попросил в кредит двести «серебряных камей с барельефом государя». Я попросила Марфу Максимовну дать триста. За элегантное стояние на одном колене подле часовенки... такой знаешь, в стиле псевдорусского ампира, с завитками на капительках из орлеца, под вид рожек годовалого барана.— Глаза Кати при этих ненужных подробностях затягиваемого ответа лучезарно смеялись.— За искусство опять же элегантного,— иронически оттачивала она каждое слово,— слезоточения. За шарм бомондного признания, с витиеватым вкраплением строк из шекспировских советов в доподлинном звучании... За это можно было дать пятисотрублевого Петра... Но это имя свято

для меня. Петр — первый и последний из всех царей на свете, единственно любимый царь. Мой царь!

Лукерья Ивановна плакала от счастья на кухне. Демид Петрович допил жбан и налил в рюмку водки.

Петр с возмущением спросил:

— Для чего ты сообщаешь мне об этом, Катя?

— Для того, чтоб ты не жалел меня и не подумал, что я безнадежная и обреченная старая дева.— Произнеся эти слова, Катя неожиданно спросила: — Хочешь, Петя, я для тебя станцую «Карманьолу»?

Не дожидаясь ответа, она сбросила легкий жакет и оказалась в кружевной кофте с короткими рукавами. Талия Кати была затянута высоким корсажем, как будто она так нарядилась нарочно, чтобы выглядеть француженкой времен Парижской коммуны. Прищелкивая пальцами рук над белокурой головкой, она, слегка пританцовывая, воинственно-призывно запела известную французскую революционную песню:

Станцуем «Карманьолу»!
Пусть гремит гром борьбы!
Тра-ля! Тра-ля! Тра-ля-ля...ля!
На гильотину короля!

Петя крикнул:

— Никто еще так не издевался надо мной!

Катя перестала танцевать, опустила руки.

— Спасибо, Петя! Никто еще не был так неблагодарен мне! Как у тебя хватило бессердечия оборвать мой танец... Спасибо, Петр Демидович...

В кухне впервые в жизни при жене, при сыне и теперь при Кате солоно и сложно-бранно выругался Демид Петрович.

Гневно в большую горницу, где надевала Катя жакет, влетела Лукерья Ивановна. Она хотела задержать Катю. Но Катя крикнула уже на ходу Пете:

— Не провожай меня! На этот раз я сама взнуздаю Афродиту.

LI

Без сна прошла ночь перед отъездом Колесова. А под утро, заснув, он видел Талю целующейся с Донатовым. Он бросил в них подвернувшийся под руку горшок с геранью и очутился на какой-то очень высокой горе. С горы были видны заводы, леса, рудники и все царство

Тихой Лутони, огороженное высокой кирпичной стеной, такой же, как стена винокуренного завода. Маленьким, карликовым привиделось ему это огороженное царство в огромной, теряющейся за горизонтом земле.

Хотелось проснуться, но сон не уходил. Снилась Катя в белом платье принцессы, в котором она была на шутемовском маскараде, сбросив Золушкины лохмотья. Она восседала на белом троне. Матвей Ельников и Корней Дятлов в поповских ризах короновали ее. Корона сверкала множеством каменьев. Все ликовали. Бросали в воздух шапки. Он узнавал знакомых мыловаров, тележников, рабочих коробцовского завода. Старики молились на нее. Потом толпа расступилась. Внесли большой круглый стол. На стол кошкой вспрыгнула нагая Таля с кастаньетами. Она, танцуя, стала превращаться в Эльзу. Катя поднялась с трона, подошла к Эльзе и подала ей кусок мыла. Над головой Эльзы появился кованый кронштейн с петлей... Послышался визг, перешедший в ржание жеребенка.

Жеребенок продолжал ржать за окном колесовского дома, когда Петя открыл глаза. Его клонило ко сну, но снова вернуться в нелепый калейдоскоп кошмаров было страшно.

Он встал, обтерся холодной водой, выпил стакан крепкого чая, закрыл на засов ворота и попросил мать говорить всем, кто бы к нему ни пришел, что его нет дома.

— Если же явится Таля,— предупредил он,— то скажи ей... Ничего не надо ей говорить. Я напишу.

И он написал ей:

«Наталия Патрикиевна! Мне по причинам, от меня не зависящим, трудно видеть Вас. Да и Вам бы встреча со мной на этот раз не могла стать приятной. Будьте счастливы! *П. К.*»

Не перечитывая первого письма, он положил перед собой новый лист. На нем еле заметно проступило лицо Кати. Петя смахнул его рукой. Лицо Кати улыбнулось, но не исчезло.

Петя взял другой лист. Повторилось то же самое, и он стал писать по ее лицу:

«Милая Катя! Люди не всегда знают, что происходит с ними и в них. В тебе проснулась купчиха и заговорило не только наследство предков, но и наследственность. Ты, думаю я, хочешь скрыть это от других и, может

быть, от самой себя, придумывая не по злой воле, а по голосу твоей совести и по лучшему, что есть в тебе, оправдания своим поступкам, своему желанию владеть и властвовать. И в этом, я думаю, отчасти виноват я, разбудив тогда, в день нашей встречи на заросшем винокуренном заводе, спящее царство,— другого слова не подберу, да и не хочу подбирать,— твоего деда.

Я допускаю, что могут быть добродетельные капиталисты, но таким не может быть капитализм. Он развивается своим путем, и твои заводы не могут стать исключением. Я, взявшись управлять или владеть ими, что одно и то же, должен буду стать при них, как бы я ни убеждал себя, что нахожусь над ними. И хочешь ты или нет, сам строй, сам образ жизни заставит тебя действовать теми же капиталистическими способами, которых не минует ни один самый доброжелательный, идеально-благородный капиталист, называющий себя и даже чувствующий себя бескорыстным организатором производства, отказывающий себе в излишествах, не пользующийся во зло прибылями, ведущий аскетический образ жизни, сердобольно пекущийся о благе своих рабочих. Все равно такой сверхидеальный капиталист остается самим собой, вынужденным оставаться частью, сопряженной и связанной со своим капиталистическим механизмом, и подчиняться его законам вращения, движения, прибоям, кризисам, конкуренции, жестокости козней бирж и банков, или капитулировать, сложить оружие, превратиться в ничто. У капитализма нет компромиссов... В самой его природе противоречия и конфликты, порабощение и нажива и борьба насмерть. В России капитализм пока еще в чем-то прогрессивен. Однобоко, но прогрессивен. Он свергает пережитки варварских мануфактур, подобных шутемовскому заведению и, конечно, кокованинской вотчине саней. Стрехов бит потому, что он тоже капиталист-варвар. Донатов сделает скачок, применив кокс, ускорит плавки, удешевит металл. Но как только пройдет через Векшу и Лутоню железная дорога,— а ее строительство предрешено,— Векша и Лутоня будут убыточными. И перед Векшей и перед Лутоней снова встанет вопрос — капитулировать или бороться. Бороться ценой, качеством, местом на рынке, а это потребует усиления эксплуатации, снижения оплаты рабочим, стремления тѐми же руками сделать больше, уменьшать число рабочих, увеличить число безработных, порождать

нищету и бедствия народа... И я, или ты, или сам Христос в облике капиталиста не совершат чуда, не остановят стихии развития капитализма. И только революция во всей стране или в нескольких странах приведет к трудовому царству равных и свободных.

Эти истины не являются плодом моих домыслов и моего опыта. Мне в Сормове подарили «для моего дальнейшего разэкономистивания» (так и сказали) перепечатанную на таком же, как у тебя, ремингтоне статью из четвертого номера «Искры». Я готовился тебе и Пашке прочитать ее как обоснование моего ухода из «царства Тихой Лутони», но я не хочу, я не могу встречаться больше с тобой, потому что я не устою далее перед «Карманьолой» и «великое тяготение» к тебе опошлю «тягой». Все мы, увы, немножечко «вальдшнепы и вальдшнепки».

Так вот я выписываю из статьи:

«Наше движение и в идейном и в практическом, организационном отношении всего более страдает от своей раздробленности, оттого что громадное большинство социал-демократов почти всецело поглощено чисто местной... (читай, Катя: лутонинской) работой, суживающей и их (читай, Катя: мой) кругозор, и размах их деятельности...» (Читай, Катенция: тележный размах.)

Выписываю еще несколько строк:

«И *первым* шагом вперед по пути избавления от этого недостатка, по пути превращения нескольких местных движений должна быть постановка общерусской газеты».

Эти строчки для тебя, Катя, для твоих тоскующих денег. И, наконец, опять для меня и таких, как я:

«Мы сделали первый шаг, мы пробудили в рабочем классе страсть «экономических» фабричных обличений. Мы должны сделать следующий шаг: пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть *политических* обличений».

Ты ведь и сама читала Ленина. Но ты, моя милая и бесценная Катюша, читала через те избирательные очки, которые надели на тебя обстоятельства (окружающие, время, особенности конструкции твоей доброй души). Ты избирала из его учения о революции то, что больше импонировало тебе и твоим благодетелям, которые все же либерально-буржуазны в самом неплохом смысле этого слова. Также выборочно-деформированно

решил я претворить в жизнь учение о социализме легально-избирательными способами, опустив из поля зрения самое главное — диктатуру пролетариата, то есть такой государственный, государственный, а не «артельный», не «внутризаводской, лутонинский» строй, который охраняет тружеников от произвола буржуазии (пример — запрет на железо Стреховым), от ее разрушительных, бесчеловечных происков (пример — подрывной план Шутемовых по отношению к товариществам), от ее бесстыдства во имя обогащения (пример — Эльза и ее гнусные похождения), от узаконенного мошенничества и ограбления (пример — Сорокин и его надувательства) и, наконец, от всех образующих их класс поработителей и его капиталистическое государство. Без свержения этого государства и замены его во всех звеньях и проявлениях государством народа, с рабочим классом во главе, невозможны никакие социалистические преобразования, хотя бы в самых малых масштабах.

Извини, Катя, за повторения, но в данном случае лучше «пересказать», чем недосказать. Ты, Катя, это слишком «пересказанное» письмо сожжешь при Матвее Ельникове, который тебе и вручит его.

Катя! Ты солнышко! Ты редкостная «невозможность», появившаяся на свет в твоей среде. Сегодня, Катя, я окончательно понял, что люблю тебя и люблю давно, внушая себе гибельность этой любви для меня. Теперь я этого не внушаю себе, а внушаю тебе. Она будет гибельной для тебя и для твоих денег. А ими, Катюша, как я понял, пренебрегать нельзя.

Ступив на путь революционной борьбы, я скоро могу оказаться в тюрьме и на каторге. Ты, конечно, как самая разнекрасовская женщина отправишься разделять со мной кандальные горести. Это ужасно будет для тебя, ангел мой, потому что теперь каторга не так «либеральна», как при декабристах. Сосланным хотя бы и на твой наследственный Витим не дадут строить дома и заниматься богоугодными делами. Ты окажешься для меня такими тяжелыми кандалами, что я не сумею даже бежать, зная, что ты в этом случае останешься заложницей. (Сожги письмо при Ельникове до последнего клочка.) С тобой не будут современные жандармы миндальничать, как с Волконской. И тогда свобода будет для меня худшей каторгой, а побег — предательством по отношению к тебе.

Я все продумал, моя Золушка, и даже нахожу силы, чтобы не проститься с тобой, не поцеловать тебя. Ты «не разожмешь рук на моей шее», да и я не дам разжаться им. Таля была не моей изменой тебе, а моими «колебаниями», моим «способом» необходимого ухода от тебя. Так мне казалось еще вчера и не кажется сегодня. Теперь я твой, твой навсегда. Твой живой и мертвый.

Катя, если ты еще «не разлутонила» все деньги, не бросай их на революционную работу вообще. Деньги нужно давать на печать большевиков. Печать — теперь самое главное в нашей борьбе (умоляю — сожги письмо при Ельникове). Их не обязательно давать из рук в руки. Можно перевести в заграничные банки (Лондон, Париж, Женева, Прага) на предъявителя десяти- или сторублевой ассигнации номер такой-то. Тогда их может получить любой человек, которому партия доверит получить. Целую тебя, мое солнце, моя несостоявшаяся жена.

Не вздумай искать меня в Сормове и тем самым навести на мой след лиц, прекраснодушно «мерцающих», но еще неизвестно для кого.

Если хочешь, перечитай это письмо. Матвей Ельников подождет и дождется, пока оно сгорит в твоем камине.

Целую тысячи раз.
Принц из кроличье-заячьего
королевства П. К.»

LII

Такого счастливого письма не ожидала Катя. Оно венчало ее лучше, чем это виделось и ожидалось ею. Сердце Пети, он сам стал принадлежать ей по велению его души, его разума и его любви.

Конечно, напрасно Петя оставил ее одну, без маленького. Кате при ее независимости вовсе не обязательно объяснять, кто является отцом рожденного ею ребенка, да ни у кого не повернется язык спросить, венчана она или нет. В этом отношении неплохо быть купчихой-миллионершей. Она еще покажет ему, какая в ней «проснулась купчиха». И если она проснулась в самом деле, то для кого, во имя каких идей и целей? Не бесчестнее ли было бы, если б она позволила бездействовать своим деньгам? Они же у нее тоже не беспартийны, как и она сама, не входящая в партию,

В этот же день Таля Шутемова плакала, прибежав с письмом к разлучнице.

Она угрожала Кате поездкой в Сормово, и если Петя там отвергнет ее, тогда она, как Витасик, уйдет из этой злосчастной жизни.

А через два дня на третий маленькая Кармен ушла из «этой злосчастной жизни» в другую, счастливую жизнь вместе с Юлианом Донатовым.

— Юлик,— признавалась она ему, проснувшись утром в доме, принадлежащем еще недавно Стрехову,— как хорошо, что ты такой решительный и беспощадный... Спасибо тебе, блаженство мое!

Ожидалась еще одна свадьба. Соединяла свою жизнь дочь начальника почты Настенька Красавина с Павлом Лутониным. Они пришли просить «благословения» у Кати. Катя радовалась и проливала слезы. Обещала устроить пир на весь мир. И, конечно, на торжество своего друга приедет Петя... Приедет, наскучавшись, счастливый счастьем других, обязательно задумается и о своем, которое давно бережется и копится для него, чтобы пролиться через край, утопить его в неге радостей, в омуте неизведанного. И если он все еще думает, что подполье помеха ему, то на этот раз Катя не даст разуму властвовать над собой...

Судя по всему, Катя не ошиблась. Из Сормова уже пришла первая весточка, из которой можно было понять, что Петя, «погорячившись, был не во всем прав». Это хороший признак.

Она верила, что все сбудется. И все бы сбылось, если бы по желаниям Кати строилась жизнь и на нее не влияло все, из чего она состоит, от досадных мелочей до больших событий, потрясающих общественные устои.

LIII

К Иртеговой пришел Анатолий Петрович Мерцалов. В этом не было ничего неожиданного. Он и раньше бывал у нее. Но сегодня Анатоль появился очень нарядным.

— Как я нравлюсь вам в этой экипировке, Екатерина Алексеевна?

— Очень! Вы совсем другой.

— Поздравьте меня, я отбыл проверку. С меня сняты подозрения. При моем тишайшем безмундирном

вридствовании у нас в Тихой и благословенной Лутоне жизнь протекала мирно, беспротокольно, безарестно, безмятежно... Вор и грабитель Виктор Юрьевич Столль без вмешательств юстиции, как истинный христианин, раскаялся в своих подлостях и домашним способом восстановил репутацию порядочного человека. Его соучастники тоже оказались людьми рассудительными и предпочли откуп скандальной огласке. Елизавета Патрикиевна Шутемова не обременила дознаниями в своем неутешном горе, заставившем ее снятый шелковый пояс с одной шеи накинуть на другую. Петр Демидович Колесов, наш общий любимец, ничем не насторожил власти, производя свои экономические крахи, не нарушая и запятой в священных уложениях империи о частной собственности, не давая и малейшего повода властям заподозрить его в чем-либо противоречащем хранимой самим богом монархии. Вы, Екатерина Алексеевна, со всей присущей вам непогрешимостью подвергли справедливому наказанию околдованного любовными чарами векшенского ихтиозавра господина Стрехова и его стаю, предотвратив назревавшие волнения и стяжав славу избавительницы. И все это было блистательно до неуязвимости, но...

— Что «но», Анатолий Петрович? — спросила Катя.

— Но, дорогая Екатерина Алексеевна, в Лутоне появился не «врид», а постоянный ревностный, деятельный и одаренный всеми достоинствами настоящего слуги пристав.

— Как вы сложно сегодня строите фразы, Анатолий Петрович,— сказала Катя.— Зачем так вы разговариваете? Разве нельзя проще?

— Милая Екатерина Алексеевна, моя простота мне же стоила трех лет хождения по лезвию бритвы. Я безгранично верю вам, но, к сожалению, вынужден прибегать к иносказаниям неуличимым и недоказуемым. Позвольте уж в том же регистре посоветовать вам кое-что на прощание.

— Я к вашим услугам, Анатолий Петрович.

— Екатерина Алексеевна, я могу быть откровенен не больше, чем нужно. Если вы на самом деле хотите лучшей участи своим заводам и тем, кто работает на них, то лишите ваших врагов поводов для обвинения вас в продолжении начатого Петром Демидовичем. Это был опасный и счастливо кончившийся эксперимент...

Петр Демидович вовремя разочаровался в нем. Теперь все ждут, как поведете себя вы, вступая во владение заводами.

— Как я должна повести себя, на ваш взгляд?

— Правильно. Опровержительно.

— То есть?

— Ваши заводы должны быть названы вашими: «Завод металлических изделий Екатерины Иртеговой», «Завод универсальных телег Екатерины Иртеговой». То же и Векшенские, и мыловаренный, и все до выставки в бывших Екатерининских конюшнях.

— Это измена.

— Это спасение. Удар по доно... по вашим недругам. Вы можете увеличить оплату рабочим. Построить им сто школ. Подавать обед к станку. Награждать. И даже сократить рабочий день после вами же организованной забастовки. Это ваше право хозяйки, фабрикантки, владычицы. Либо вы будете жить по законам этой стаи, либо она растерзает вас. «Не я придумал капитализм», как любил повторять Петр Демидович. Это первое.

— Что же второе?

— Вор и мошенник Столль, главный организатор подвохов против вас, должен быть назначен управляющим Лутонинскими заводами. Ход конем. Удар в челюсть.

— Что скажут в Лутоне?

— Что бы ни сказали в Лутоне. Важнее обезоружить тех, кто может не только говорить, но и действовать. У вас не будет вернее слуги и прославителя, нежели прирожденный и потомственный дон мерзавец де Столль. Вы обласкаете его и прогоните при первой провинке. Недостаточно дает прибылей. Притесняет рабочих. И даже потому, что не очень низко поклонился при встрече с вами. Обидел вашу болонку. Не вовремя чихнул. Вы хозяйка! Владычица!

— Что же третье?

— Управлять Векшенскими заводами я бы назначил Донатова. Честен, одарен, ненавидит Столля и Стрехова. Устроить ему торжественное венчание с Наталией Шутемовой и подчинить внутренне.

— Как вы все знаете о нас всех, а мы так мало знаем о вас.

— И хорошо, что мало... Новый веник должен быть вами принят. На кухне. Угощен. Вознагражден в честь

приезда на устройство его в Лутоне и за надежное охранение от политических и всяких других бед на принадлежащих вам заводах. Деньги вручит и займется угощением пристава Марфа Максимовна, а не вы, хозяйка, миллионерша Екатерина Иртегова. Таких уважают и боятся, Екатерина Алексеевна.

— Как имя приехавшему?

— «Любезнейший», «почтеннейший», «господин Качков», а в случае надобности можно проще: «Эй, вы!» Если собаку не держат в строгости, она может укусить.

— Однако?..

— Это афоризм. И последнее. Павел Лутонин должен испортить с вами отношения. Нелогично же ему называть Катей и на «ты» своего «классового врага». И будет совсем хорошо и для него, и для вас, если он исчезнет из губернии. Дело в том, Екатерина Алексеевна, что почерк первой размноженной на гектографе прокламации предательски совпадает с почерком Настеньки Красавиной, ныне Лутониной, и будет разумным, если они оба предпримут свадебное путешествие без возвращения в Лутоню. Больше я не добавлю ни одного слова. Через несколько минут придет проститься с вами моя драгоценнейшая. Она вся в Петербурге. Завтра мы будем в пути.

Пришла Катя, жена Мерцалова, и начался прощальный завтрак. А после него начнется все то, что и она, Екатерина Иртегова, теперь находила обязательным для себя, для заводов, для рабочих и для своих противников.

LIV

Катя, став для всех Екатериной Алексеевной, малодоступной и замкнутой, осталась одна. Сама с собой. У нее по-прежнему бывали отец и мать Колесовы, по-прежнему домом правила Марфа Максимовна. Бывала Таля Донатова вместе с мужем, когда он приезжал на доклады о делах Векшенских заводов. Проникала и мадам де Столль, находя поводы и причину услужить, выполнить поручение. Появлялся и мыловар-химик Шварц, управляющий мыловаренным заводом Екатерины Иртеговой и парфюмерным магазином, принадлежавшим Сорокину и купленным за долги по векселям той же госпожой Иртеговой. Шварц успешно торговал привозными товарами вперемежку с продукцией своего завода.

Корней Дятлов, став управляющим заводом универсальных телег, не узнавая прежнюю Катю, прославлял заводчицу, не веря про себя в ее разительную перемену.

Карета графини Коробцовой-Лапшиной перешла к Кате вместе с ее домом, на фронтоне которого было золотыми буквами написано: «Управление Лутонинскими и Векшенскими заводами Екатерины Иртеговой». Управляла сама.

Так было до зимы. Зимой, в екатеринин день, утром пришел поздравить хозяйку и «благодетельницу» Матвей Ельников. Он принес письмо от исчезнувшего и разыскиваемого полицией Павла Лутонина.

— При мне, Катенька, прочтешь и при мне сожжешь,— попросил Ельников.— Как тогда.

Письмо было кратким:

«Катя, уезжай из Лутони. Начинаются события, которые могут не пощадить тебя. Не все же знают, какова ты на самом деле. Твой *Павел*».

Матвей Кондратьевич прибавил:

— Будем кончать с ними. Не вноси пока Коробцовой ничего. Завод выкупится сам. А ты езжай в Питеры, в Парижи, в Москву. Когда дерутся, не разбирают, по ком бьют. Храни тебя бог, Катенька.

Нелегально, заросший бородой, в дорогой оленьей дохе, в бобровой шапке-ушанке, приехал купец купцом Катин «коммерцгер» Евдоким Иванович. Он завершил по доверенности Кати продажу Витимских приисков, перевел деньги в петербургские банки, туда же, в дом покойной Хионии Евлампиевны, особым вагоном отправил ее имущество.

Рассказав Кате, как обстоят в империи дела — полнейшая неудача в войне с Японией, начавшиеся волнения по всей стране,— он тоже советовал Кате немедленно оставить Лутоню во избежание различных непредвиденностей.

Узнав о покупке Катей заводов, Евдоким Иванович сказал:

— Это, Катенька, промах с вашей стороны. Как же это вы не посоветовались со своим «коммерцгером». Революция и без вас отняла бы заводы. Но, снявши голову — по волосам не плачут.

То же говорил Кате и Павел Лутонин. Но, как она, живущая и действующая сама по себе, могла предвидеть надвигающиеся события. Да и кто может сказать, какой

будет эта революция? Перейдут ли заводы в достояние рабочих? Разговор идет пока о царе, о самодержавии, а не о господах капиталистах.

Смутно было в голове Екатерины Иртеговой. Смутно было и в России перед надвигающейся бурей.

Ничто так не удерживало Катю в Лутоне, как ее новая, светлая, просторная школа. Только теперь она поняла, что учительствование — это ее призвание, ее жизнь. До этого ей казалось, что она руководима только высокими целями просветительства, а сейчас она почувствовала, что, кроме этой благородной миссии, ее влечет и сама профессия, сам процесс преподавания, само волшебство передачи умений и знаний. Ведь она не просто сеет всхожие семена, но и формирует нового, не похожего на своих родителей человека, продолжающего их в новой жизни, которая еще не наступила, но обязательно наступит.

Перед отъездом она долго беседовала с Талей, назначив ее начальницей четырехклассной школы, и обещала щедро наградить, если в школе будет все так же, как при ней, как во время ее отъезда на Витим.

Таля поклялась и расцеловалась с Катей.

Катя и Марфа Маскимовна уехали в Петербург. Донатов остался главным управляющим всех заводов. Молодой инженер был польщен доверием и обрадован правом самостоятельных действий. Он покажет себя. И все увидят, что при хорошем ведении дел можно смягчить начинающееся брожение и добиться благоденствия.

Так верил и надеялся Юлиан Донатов до тех пор, пока в Векше не началось восстание. Вспыхнули пожары. Прискакали усмирители. Полилась кровь. Кончилось победой. И власть перешла в руки Совета рабочих депутатов.

В Тихой Лутоне стихийно расправились с ненавистным Столлем и приставом Качковым — их утопили в пруду.

На дорогах повалили лес, образовали оборонительные засеки, поставили сторожевые вооруженные отряды. Вышедшего из подполья Павла Лутонина избрали председателем Совета рабочих депутатов. Заводы назвали революционными товариществами, из которых должен был составиться революционный союз трудовых товариществ.

Екатерина Иртегова приняла революцию 1905 года

как предрешенный конец самодержавия, а вместе с ним и капитализма.

Из писем от лутонинских друзей она знала обо всем и обо всех и в том числе о Пете. Ему теперь не до нее. Он в огне революции, на Волге, в счастье борьбы, в радостях победы.

Время, переполненное событиями, мчалось неудержимо. Шумно в столице. Клокочет империя. Подымается деревня. Либералы и другие одержимые мелкобуржуазными идейками, как, например, тот же Мерцалов, верили в Думу, большевики использовали ее, как трибуну, как возможность легально бороться против капитализма.

Но самодержавие было еще сильно. Рабочий класс России закалялся в борьбе и готовился к новым решительным схваткам не только с царем, но и с капиталистами.

LV

В Петербурге Катю разыскал Геннадий Наумович Палицын.

Он появился у нее в новой личине.

— Ах-ах...— начал рассыпаться он, жалуясь на свой горький хлеб и тягостную миссию его профессии.— Как вы могли, Екатерина Алексеевна, пропустить срок очередного платежа выкупа завода по переписанному на ваше имя договору?

Иртегова, рассматривая потолстевшего, выглядевшего преуспевающим буржуа Палицына, ответила:

— Лутонинский завод взяли его настоящие хозяева.

— Но, к сожалению или к счастью,— следил Палицын за выражением лица Иртеговой,— «Фемида» не признала их таковыми. Варвара Федоровна продала мятежный завод смешанному акционерному обществу. Находясь в Париже, она доверила мне юридическое завершение продажи завода французам.

— Каким французам, Геннадий Наумович?

Палицын ответил со знанием дела:

— Две трети капиталов смешанного акционерного общества французские. Это очень могучее общество.

— За этим вы и приехали ко мне, господин Палицын? Разве в Лутоне перестала существовать почта? Зачем вам понадобилось быть конвертом?

— Вы остроумны и лаконичны, как всегда, Екатерина Алексеевна,— заюлил Палицын, меняя облик предста-

вительного буржуа на коммивояжерский.— Я и в самом деле не более чем конверт, куда вложено устное письмо, которое нельзя было доверить любознательной почте. Личное письмо.

— Тогда пусть оно присядет на это кресло и заговорит,— попросила Иртегова.

Палицын попросил разрешения курить, начал с давно известного. Сначала он напомнил, что Лутоня без Векши, как и Векша без Лутони, обречены на затухание. Затем он сказал, что в ближайшее время пройдет через Тихую Лутоню железная дорога и смешанному акционерному обществу не нужен будет дорогой векшенский металл.

Катя поняла, куда клонит Палицын, и опередила его:

— Какую сумму предлагает акционерное общество за Векшенские заводы в своем «устном письме»?

— Не меньшую, чем уплатили вы за выкупленные векселя господина Стрехова и по купчим за лес. Зачем теперь это все вам, когда в Тихой Лутоне почти нет ваших друзей? Одни на каторге, другие в ее преддверии... Для вас и тележный завод будет тяжелым напоминанием.

— Кто же хочет купить его?

— Эльза Патрикиевна, госпожа Кокованина. Она снова осталась вдовой. Ее мужу, Адриану Кузьмичу, не дали проснуться в постели...— глубоко вздохнул Палицын и сделал паузу, чтобы проверить, какое впечатление это произведет на Иртегову.— Положим, Кокованин сам виноват в своей смерти. Жестокая эксплуатация санников привела их в спальню Адриана Кузьмича... Суд народа в данном случае был судом божьим... Хотя и неизвестно, кто вершил суд.

— А Шутемовы избежали этого суда, Геннадий Наумович?

— Видимо, бог, не знаю, в каком он был в этот день мундире,— открыто иронизировал Палицын,— предупредил их, и они, кроме Эльзы Патрикиевны, не оказались дома...

— Оставив в нем его хозяина?— спросила Катя.— Не так ли?

— Пути господни неисповедимы, Екатерина Алексеевна, как и пути людские. Старику Матвею Ельникову достался счастливый путь. Он удачно скрылся после разгона съезда революционных товариществ, происходившего в Лутоне... А вот милейший и светлейший Петр Де-



мидович...— Тут Палицыну снова было необходимо сделать глубокий вздох и паузу, чтобы решить, как действовать дальше.

Иртегова близка была к обмороку. Палицын, испугавшись, что его перенажим может привести к разрыву сердца и тогда так удачно начавшееся дело оборвется с ее жизнью, торопливо предупредил:

— Он жив, за это я ручаюсь. Но за дальнейшее ручаться не могу.

— Его арестовали?

Палицын помедлил. Пожал плечами. Развел руками.

— Все так таинственно, темно, опасно, что я, признаться, не мог быть чрезмерно любопытен. Я только слышал и не расспрашивал, боясь, что моя заинтересованность насторожит, и я из самых добрых побуждений мог бы повредить...

— Вы, Геннадий Наумович, всегда были моим мудрым советником,— стала признаваться Катя в расположении к Палицыну.— Зачем теперь мне Векша без Лутони? Я вызову Донатова, поручу ему и вам избавить меня от завода.

На его лбу от радостного волнения проступили капельки пота. Утирая их надушенным платком, он, стараясь выглядеть объективным посредником, сказал устало и одобрительно:

— Логика всегда берет над вами верх. Наверное, подчиняясь ей, вы захотите избавиться и от тележного завода...

— Нет. Никогда. Пусть он приносит мне убытки. Пусть требует каких угодно доплат. В нем очень много для меня заключено.

— Мне ли не знать этого, Екатерина Алексеевна. В нем теперь заключено еще больше, чем вы думаете и чем я мог предполагать. Коварнейшая из женщин, каких не доводилось мне видеть и в преступных кругах, узнав о моей поездке к вам в Петербург относительно Векшенских заводов, заставила меня содрогнуться и превратиться в невинного комарика по сравнению с нею, смертельно жалящей змеей, как справедливо называл ее Парамон Антонович Жуланкин, не успевший отомстить за сына.

Предпосылая такой сложно вышиваемый узор, Палицын искусно выматывал Иртегову, чтобы стать в ее глазах не соучастником, а спасителем.

— Я это знаю, Геннадий Наумович. Только, пожалуйста, без золочения пилюли. Что хочет Эльза?

— Она хочет уплатить вам за тележный завод векселями упокоенного ныне Стрехова.

— Как поворачивается у вас язык, Геннадий Наумович, повторять ее слова?

На это Палицын дрожащим голосом признался:

— Я и сам не знаю, как она заставила мой язык стать жалом. Но на моем месте так поступил бы всякий честный человек. К векселям, не имеющим теперь никакой цены, она дает придачу... придачу, которая подчинила меня ей и подчинит вас, Екатерина Алексеевна.

— Какую?

— Мужайтесь. Имя этой придаче — Петр Демидович Колесов.

— Как?!

— Если б я знал, «как»! Думаю, что у нее Петр Де-

мидович нашел убежище, которое стало для него западней. Ловушкой.

— Да правда ли это?

— И я не поверил бы ей, но вот письмо.

Палицын вручил Иртеговой конверт без надписи. В конверте на небольшом листке Петиной рукой было написано:

«Катя, Шутемовы требуют твоего согласия ценой моей свободы. Остальное расскажет Палицын. *П. К.*»

— Откуда у вас это письмо, Геннадий Наумович?

— От нее же. Она передала мне его в открытом виде. Я положил письмо в конверт.

— Почему же вы не обратились к властям, чтобы арестовать Эльзу и добиться у нее, где находится Петр Демидович?

— Добиться? Добиться, вы говорите, Екатерина Алексеевна, и предать Петра Демидовича полиции, которая жаждет отправить его на каторгу?

— Я поняла. Я все поняла, Геннадий Наумович,— сказала Катя.— Шутемовы будут владеть тележным заводом. Будут. Но кто поручится, что Петр Демидович не будет схвачен ими же предупрежденными жандармами?

— Я! Да, я,— сказал Палицын.— Об этом я думал всю дорогу. Напряг весь свой ум. Завод вы продадите за векселя после того, как Петр Демидович будет в безопасности, где-то за пределами досягаемости... В Берлине, в Риме... Лучше в Лондоне. Туда есть ход через нашего старого знакомого — Анатолия Петровича Мерцалова.

— Кто он сейчас?

— Он был при Думе кем-то... Теперь — не знаю. К кому-то примыкает, от кого-то открещивается, а в общем сам с собой. Свободный литератор-публицист...

Катя уставилась в одну точку. Она взвешивала и проверяла. Ей не верилось, что Эльза может пойти на риск и переправить Петю в Лондон до передачи ей завода, и она сказала Палицыну:

— Что-то в этой подлой сделке есть непродуманное, легкомысленное со стороны Эльзы. Змеи недоверчивы. А вдруг я раздумаю подписывать купчую после того, как Петр Демидович окажется в Лондоне? Она не способна верить честному слову... И тем более — врага.

Палицын одобрительно склонил голову.

— Вы абсолютны в своих догадках, Екатерина Алексеевна. Она и отцу без нотариальной расписки не дает денег. Ее жестокая игра рассчитана до последнего хода. Я, ненавидя это спрессованное олицетворение капитализма в ее коварстве, не могу отказать ей в умении вести бой. Я тоже спросил Эльзу Патрикиевну: «А вдруг Екатерина Алексеевна не вознаградит за свободу Петра Демидовича заводом?..»

— И что же она?

— Она рассмеялась на это и сказала: «Пусть попробует... Тогда ее друг детства милый Павлик Лутонин будет мною отправлен на каторгу в Сибирь».

Трудно было Кате скрывать свое волнение.

— И он у нее в руках?

— Очевидно, если верить записке Павла Гавриловича к невесте. Он просит ее обменять на его свободу адресные карточки должников по марочной продаже телег в рассрочку. Их тысяч на сто. Настенька Красавина в свое время, по требованию Павла Гавриловича, спрятала их в надежное место.

— Ах, щука!

— Ну, что вы, Екатерина Алексеевна,— хуже. В мать. Адресные карточки в сохранности у Настеньки. Я говорил с нею в Казани. Она вручит их Павлу Гавриловичу в безопасном месте, а Павел Гаврилович мне в обмен на заграничный паспорт. Так что все продумано ею до миллиметра.

Глаза Палицына были мутны, наглы и бессовестны. Он, конечно, был в этой афере не третьим лицом. Но как его уличить в этом? Нужно благодарить и соглашаться...

LVI

Палицын знал все. Он войдет пайщиком тележного завода. Ему предложена треть доходов. Палицын лично переоденет, переотправит в Лондон Колесова, сидящего теперь в западне у Эльзы вместе с Павлом Лутониным. Ему дорога жизнь Колесова, и он сохранит ее и не доверит родному отцу сокровище, которое другие могут перепрятать и перепродать. Для Колесова куплены дорогие «подлинные» виды на жительство за границей и на право переезда туда. Он поселит его в любой из стран, прибыв с ним его личным секретарем. Разве можно при беспроигрышной лотерее жалеть деньги на биле-

ты? Лутонин и тот верный купон на сто тысяч рублей.

Все подготовлено Геннадием Наумовичем. Он не боится Иртеговой. У него есть за пазухой нож и против нее. Она помогала большевикам. И ее можно прижать, если она вздумает уличить Палицына.

— Теперь только ваше согласие, Екатерина Алексеевна,— заключил Палицын.— Я верю вам больше, чем себе. Формальности потом, когда я, рискуя жизнью и свободой, спасу дорогого моему сердцу Петра Демидовича.

— Нужны вам какие-нибудь письменные обязательства?

— Нет. Я даже не возьму вперед и тех немногих тысяч, которые необходимы для переезда...

Пока Палицын спасает Колесова, нам нужно узнать, как он очутился в руках Эльзы.

В день открытия учредительного съезда революционных рабочих товариществ бассейна реки Тихая Лутоня из Сормова приехал Петр Демидович Колесов.

Карательные роты, тайно засевшие в лесах, готовились разгромить революционные заводы.

Обреченная Лутоня сопротивлялась недолго. Последним сдался тележный завод. Его высокие стены позволяли обороняться и надеяться на подмогу. Неравные силы осажденных и штурмующих «иртеговский кремль» привели к поражению запершихся в нем рабочих.

Старуха Анна Дмитриевна Денежкина «поклонилась» победителям ключами от подвала с иртеговской водкой. Солдаты ринулись в подвал. Арестованные рабочие прорвали цепь поредевшего конвоя. Бежали с ними Колесов и Лутонин. Перейдя бродом через обмелевшую Лутоню, они выбрались на лесную бишуевскую дорогу.

В лесу скрывающиеся рассыпались маленькими группами. Колесов и Лутонин бежали вместе. Под Бишуевом они, чувствуя себя уже в безопасности, наткнулись на засаду. Было темно. Очутившись на окраине села, они узнали знакомые штабеля саней. Здесь в детстве они играли в «воров и сыщиков», с бишуевскими однокашниками по школе, к которым они вместе с Витасиком приходили для игр в коkованинских санных штабелях. Лучшего места не представишь и не придумаешь. Как их найти в тысячах саней, образующих огромные кварталы с узенькими улочками и переулками.

Санный «город» и теперь накапливался с весны, что-

бы к зиме «разъехаться» по сотням деревень санями, дровнями, розвальнями, кошевками.

— Лезь, Павел, тут не найдут,— позвал Колесов шепотом Лутонина. И вскоре оба затерялись в санных катакомбах.

— Здесь и переспим, Петя, а там увидим,— сказал Павел, растянувшись вместе с Колесовым в одной из кошевок в верхних рядах глубинного штабеля.

Усталые, измученные, они под утро уснули. А утром их разбудил знакомый голос:

— Теперь скажите, Петр Демидович и Павел Гаврилович, что нет судьбы, нет веления господня...

Это был голос Патрикия Шутемова.

Отозваться или нет? Что лучше? Отмолчаться и в крайнем случае отстреляться и — в лес? Предаст или спрячет?

Если бы хотел предать, то навел бы на след карателей, а он пришел безбоязненно, безоружно, один.

«Может быть, хочет откупа?» — подумали они, тот и другой.

— Если угодно молчать,— снова заговорил Шутемов,— молчите. Я человек терпеливый, покладистый. Бояться меня вам нет резона. Мне скорее надо бояться, если я открою вас. За это спалят меня дотла или прикончат тихо и чинно ваши социалисты и тележники. А если спасу, не таюсь — в накладе не останусь.

Колесов, потрясенный не столько встречей, сколько тем, как она могла произойти, откликнулся первым:

— Не знаю, как и поступить, Патрикий Лукич...

— Тогда мне знать, Петя,— совсем обнадеживающе мягко сказал Патрикий Лукич.— Найдем надежнее нору. Денек-два отсидитесь у меня, а потом... Перемаскирую и спасу. Шутемов зла не помнит, хотя и не забывает денежных операций.

— Спасибо, Патрикий Лукич.

В кокованинском доме, где жили теперь Шутемовы, Петр и Павел были обласканы и укрыты. По улице мимо окон еще проскакивали конные патрули, но в этом доме им нечего делать. Однако же к вечеру Патрикий Лукич, одержимый сомнениями, сказал:

— Береженого бог бережет, а с чертом шутки плохи... Обыскивают всех.

И Эльза подтвердила опасения отца. Они, думая порознь, думали вместе. Выдать Колесова никогда не позд-

но. Но есть ли в этом смысл? Заботясь всегда только о смысле и пользе для себя, дочь и отец поняли, что «Петя-петушок, красный гребешок» может быть выкуплен богатой «курицей», как и Пашка Лутонин. А чтобы они ночью не вздумали исчезнуть, их нужно уберечь и от тюрьмы, и от свободы.

— Петр Демидович,— испуганно сказал ему Шутемов,— ищут вас по всем окрестным селам. Обещана за поимку награда,— врал он.— А санный сторож, который подглядел и узнал вас ночью, хотя и молчун, но вдруг позарится на деньги и продаст обоих. За тебя-то тысячу дают, а за Павла — две. Не знаю, почему такая несправедливость в цене? — издевательски сокрушался он.— Ты-то ведь дороже и громче, Петя. Тебя они хотят сразу в кандалы, а Пашу-то еще думают пропустить через окружной суд. Переселю-ка я вас в такое место, что и вы будете как у Христа за пазухой, и я буду спокойно спать, а после найдем ходы-выходы...

Их перевели в «потаенную кладовуху», ставшую для них ловушкой. Теперь отец и дочь могли заняться тем, как повыгоднее и безопаснее продать Иртеговой ее сокровище.

Вот тут-то и пришла отчаянная мысль «купить» на стреховские векселя иртеговский завод. Палицын встретился нежданно-негаданно. Он-то и додумал за Шутемовых все остальное. Додумал и осуществил...

LVII

Из Лондона Екатерине Иртеговой пришла счастливая телеграмма: «Спасибо, Солнце мое»,— а затем Палицын привез письмо, подтверждающее телеграмму.

Катя подписала купчие на Векшенские заводы. Особо, дарственно и нотариально, передала она Шутемову дедовский завод. Так было правдивее во всех отношениях. Зачем ставить себя в ложное положение и получать потерявшие свою силу векселя? В дарственной надписи было оговорено, что она вступает в силу 22 октября. Это был день именин Шутемова, и Катя сказала, что передача завода должна выглядеть подарочно. С этим не спорил Палицын. Он понимал, что Иртегова хочет быть уверенной, что Павел вместе с Настей к этому дню окажутся за границей, а она успеет отбыть в Лондон. Он также

понимал, что Катя резервировала за собой право попридержать, а то и отменить дарственную передачу тележного завода, если Павел Лутонин не окажется на свободе или его свобода будет подвергнута опасностям. Как ни хитер Палицын, но Иртеговой тоже пальца в рот класть не следует, и он знал, что лучше не спорить и не выторговывать большего. И без того взят драконовский выкуп.

Через неделю она получила иносказательную телеграмму от Настеньки Красавиной:

«Отправку двух образцов фирменных телег заграничную выставку отменили будем по ним производить в южных губерниях так нужнее для фирмы и для дальнейшей борьбы на внутреннем рынке сбыта. Спасибо за щедрый кредит счастливого пути Анастасия Екатерининская-Конюшникова».

Телеграмма пришла из Харькова, и вскоре, перед отъездом Кати в Лондон, пришла вторая, из Ростова-на-Дону:

«Разыскали родных, находимся полнейшем благополучии целуем Винокуренские».

Все понятно. Павлик и Настенька перешли в подполье, избавившись от Палицына, уверенного, что они за границей. Палицын дал тоже иносказательную телеграмму из Москвы:

«Заграничные долги по купчей уплачены мною лично процентами не беспокойтесь ваш покорный слуга Геннадий Наумов».

Пришло Кате и «коммерческое письмо», написанное очень знакомым почерком. В нем сообщалось о биржевых делах, предупреждалось о валютных колебаниях и о возникновении нового акционерного общества. Екатерина Алексеевна любезно приглашалась приобрести акции. Называлась фамилия купца первой гильдии, назывался банковский счет в Киеве.

Это писал милый Евдоким Иванович, «коммерцгер», бежавший из Питера. Он разыскал Павла и Настеньку. Письмо заканчивалось: «Надеюсь наладить связи с Лондоном и завязать торговые отношения».

Много раз перечитывалось Катей радостное известие. Хорошие надежды вселяло оно в ее душу. Не падать духом, верить, надеяться.

Не навсегда же она уезжает в Лондон. Непорываемы нити с дорогой Родиной. Не гаснет и не погаснет огонь Революции.

Павлик!.. Настенька!.. Милый Евдоким Иванович, вы не одиноки в глубоком подполье!

Думая так, Катя снова почувствовала неловкость за свой отъезд. Но возможно ли что иное? Не беспечным ли было бы для нее остаться в России? Не нашла ли бы ее Эльза и тот же Палицын, после того как тележный завод станет шутемовским? Нет, нет... Она не должна казнить себя. Отъезд за границу — единственный способ реальной помощи грядущей революции, единственный выход сохранить себя и все принадлежащее ей, которое будет отдано для свержения ненавистного строя. У каждого свой путь борьбы и свое место в этой борьбе.

Мглистым было финляндское утро, когда Катя Иртегова отбывала в далекий путь. Впереди неизвестный Лондон, позади родная Тихая Лутоня. Марфа Максимовна Ряженкова, проводив до Гельсингфорса свою Катеньку, навстречу супружеству-замужеству, мысленно записала в синодик своей памяти еще одно доброе дело по устройству счастья других и вернулась блюстительницей старого иртеговского дома.

Провожал Катю ее верный паж Витя Пажевитин вместе со своей женой-красоткой Асенькой, преподавательницей женской гимназии. Верный себе поэт прочитал и отдал Кате прощальные стихи:

«Заря пленительного счастья»
Уже горит за тучей черной.
Трещат опоры самовластья!
Его надежды иллюзорны —
Неотвратим конец позорный!
Заря горит за тучей черной!
Заря горит! Горит заря!
«На гильотину короля!»

Катя поцеловала Пажевитина. Ася поцеловала Катю и сказала:

— Спасибо, Китти, за то, что вы оградили его от себя и сохранили для одной бесприданницы...

Катя, как всегда, быстра и находчива.

— Тогда, Асенька, передайте ей в приданое вот это.— Она сняла и закрепила на тоненькой шейке Аси «алмазный ошейник» тети Хины, купленный в Индии.— Он, кажется, велик. Его можно тысяч на семь укоротить. У тети, Виктор знает, была полная шея.

Но это теперь за кормой. Это было 21 октября, а сегодня Катя в пути. Сегодня, 22 октября, она представля-

ла, каким счастливым победителем придет Патрикий Шутемов на тележный завод, дождавшись в конце концов приписки вожделенного «нолика» к своим капиталам. И он пришел...

Нет, он прибежал, он примчался вместе с полицией и пожарниками. Рабочие утром 22 октября разрушили завод. Взорвали перенагревом котлы. Сломали станки. Выбили стекла.

У Шутемова стало темно в глазах. Подломились ноги. Помутился разум.

На причале горят склады. Колокол на башне бьет набат. Вся Лутоня бежит на пожар... Винный подвал открыт. Выбиваются донья из уцелевших бочек. Пьют ковшами, ладонями, картузами, шапками. В ведрах, в горшках, в сапогах утаскивают даровую стоялую иртеговскую водку.

Пустой сейф не заперт. Исчезли чертежи станков, приспособлений и технологические схемы передач. Нет и заверенных поручительских «марочных» обязательств мужиков, купивших в рассрочку телеги. У Шутемова на руках только адресные карточки должников. Пойди по ним получи. Собери сто тысяч рублей с гаком...

На воротах главного корпуса еще не высохла дегтярная надпись с подтеками. Ее, между прочим, сочинил внук Матвея Ельникова, молодой сборщик колес Лаврушка Рябинкин, впоследствии Лаврентий Матвеевич Рябинкин, «живой архив Лутони», подсказавший этот роман и его название. Тогда на воротах он делал первые шаги в области рифмованной словесности:

«Царствуй и владей, душитель Патрикей».

А как вальяжно все сварганивалось у душителя. Завод выглядел подарком Екатерины Иртеговой, искупающей свою вину за разорение Шутемова, что смягчило бы неприязнь рабочих к новому хозяину. Этот день стал бы днем возвращения заводу прежнего названия «товарищества на паях», опять в тех же целях смягчения отношений между хозяином и рабочими. Конечно, паи стали бы начисляться другим бухгалтером и не в том размере, раз в двадцать — тридцать меньше. Но об этом узнали бы потом. Так настоял умница Палицын и убедил, как важно для сбыта и роста капитала сохранить прославленную фабричную марку телег, известную теперь за пределами губернии.

Так назывался бы завод до тех пор, пока на нем не

появилась бы новая вывеска: «Палицын и компания», а до этого Шутемов должен будет сесть в тюрьму и лишиться прав состояния вместе с дочерью за удушение Кокованина в постели, хотя они этого и не делали, но кто этому поверит, когда всплывет дело о повешении Витасика и злонамеренное замужество Эльзы, принудившей Адриана Кузьмича в день свадьбы подписать духовное завещание на движимое и недвижимое, а до этого разорение тем же любовным обманом векшенского заводчика Стрехова и последовавшее за ним самоубийство... И, наконец, спасение, укрытие двух отъявленных бунтовщиков, освобождение их за денежный выкуп, бежавших неизвестно куда, что подтвердят, во-первых, сторож, охранявший штабеля саней, а во-вторых, фотографические снимки сидящих в «потаенной кладовухе», сделанные Палицыным для показа их Иртеговой, чтобы та поверила, что Колесов и Лутонин живы и находятся в безопасности. Теперь же снимки, как и свидетельство перепуганной насмерть Магдалины, подтвердят другое. И этим делом займется не он, не Палицын, а такой же искусник, его ассистент, уже проверенный им иллюзионист и психолог. Но...

Но если Шутемов добровольно откажется от прав на владение заводом, безвозмездно «продаст» его компаньону Палицыну, то ему ничего не будет угрожать при условии выезда из губернии и обязательства никогда не появляться в Лутоне. Этот последний, бессудный вариант менее рискован для Палицына. А Екатерина Алексеевна Иртегова и не подумает выводить на чистую воду Геннадия Наумовича. Иначе затрещит все, и у живущих под чужими фамилиями политических эмигрантов возникнет много хлопот и неприятностей.

Так что Геннадию Наумовичу не миновать назваться фабрикантом. Сначала тележным... А потом жизнь покажет. Санное дело ему тоже не следует упускать из поля зрения. Но не следует и торопиться. Сначала одно, потом другое. Нужно дать Шутемову войти «счастливым хозяином» на завод, предоставить ему возможность принять на себя первые косые взгляды и недовольство рабочих, а может быть, и оскорбления. А потом, когда люди попривыкнут, смирятся со своей участью, можно начать действовать. Начать действовать с «пряника», пообещать увеличить паи, полиберальничать, озлобить тележников против Шутемова, а затем заняться подкопом и под него.

Нужно дать и Эльзе поверить, что она станет его женой, и развеять ее ночные сомнения, когда она под «боярским» кокованинским балдахином выплакивает на груди Палицына неотвязные подозрения, что «Генюсик-сластусик» покинет свою «вороную лошадку» и оседлает белокурую Стаську Столль, у которой, кроме золотистой гривы, оказались отцовские триста тысяч рублей, не положенные им в купеческий банк и потому не найденные тогда Палицыным при розыске краденых денег графини Коробцовой-Лапшиной.

Дальновидная Эльза не ошибалась в своих подозрениях. Именно так и задумано Геннадием Наумовичем. После того, когда подставное «правосудие» возьмется за ее отца, он назовет заслуженным именем Эльзу и, «рыдая», лишится возможности назвать преступную подсудную любовницу своей женой. Он «вынужден» будет жениться на Стасе, на что ей дано согласие словесно и поцелуйно в Санкт-Петербурге. Туда она бежала с матерью после печального исхода отца, не пожелав похоронить утопленного. Лишние волнения. Да и отпевание не воскресит и не оправдает осужденного и проклятого всеми, а тень может бросить на оставшихся в живых, потому что Столль презренен как вор, о чем теперь стало известно и в кругах, ненавидящих революцию. Поэтому Стасе нужно как можно скорее расстаться с одиозной отцовской фамилией. Дочь не отвечает за своего отца, а что касается оставшихся денег, то не она же присвоила их. И может быть, это не присвоенные деньги, а справедливо взятые, как недоплаченные графиней за его длительное служение на ее заводе, награда за смерть, которую он принял тоже благодаря службе у графини.

Следовательно, Стася чиста, безвинна, девственно благоуханна, и Геннадий Наумович, так похожий на Ленского, девятью годами старше ее, явится, как говорит ее мем, гармонической парой, бесспорной гарантией идеальной и крепкой семьи, особенно после того, как он станет фабрикантом. Не каким-то управляющим, как отец, а настоящим, многообещающим, образованным капиталистом.

Это же и есть ее счастье, которое ей давно было необходимо.

LVIII

Но все случилось иначе. Павел Лутонин сумел написать и бросить письмо Марфе Максимовне, чтобы она рассказала все «старому Дятлу». С этого и началось. Яков Дятлов и уцелевшие члены правления товарищества были организаторами «святого возмездия».

Когда пожар был погашен, водочные подвалы опустошены и остались закопченные дымом стены «иртеговского кремля» да коробки цехов, когда связали и увезли помешавшегося на пожаре Шутемова, а кокованинская отапливаемая кибитка уносила Эльзу и Палицына в Пермь, новейший английский пассажирский пароход совершал первый обратный рейс из Гельсингфорса в Лондон.

На палубе парохода, всматриваясь вдаль, стояла Катя Иртегова в легкой, просторной теткиной горностаевой шубке, спрятав сверкающие крупными голубыми бриллиантами руки в большую муфту, сшитую, как и шапочка, из того же особо ценимого на королевских церемониях Англии дворцового, снежно-белого меха с темными хвостиками.

Дул теплый для октября зюйд-вест, пытающийся вовлечь море хотя бы в трехбалльный шторм, а оно, ограничившись мелкими барашками, всего лишь посерело, как и небо.

Впереди на горизонте виднелась чужая земля, которая пока оказывается надежнее и тверже родной. Сюда переведены главные Катины деньги. Они будут возвращаться в Россию политическими книгами, брошюрами во имя торжества большого царства труда и маленького внутри его — царства Тихой Лутони.

Наконец-то ее деньги найдут благородное и святое применение.

Едущие в сверхдорогих каютах этой привилегированной палубы и даже чопорные дамы, принадлежащие к английской знати, выясняли, кто эта прекрасная леди из России, едущая инкогнито и ни с кем не выразившая желания завязать знакомство. Одни узнавали в ней по какой-то литографии великую княжну, другие видели в ней примадонну императорского балета и не сомневались, что Лондон будет потрясен, увидя ее на сцене. Эти догадки ценители хореографии полушепотом подтверждали: «Она поразительно сложена...», «В ней узнается русская шко-



ла величественной пластики...», «Ее движения даже во время обеда незнаемо грациозны». И никому, конечно, в голову не приходило, что эта живописная пери, способная украсить и достойно продолжить любой из аристократических родов Великобритании, может иметь хотя бы отдаленное отношение к русской революции, эхо которой не умолкало в Европе и за океаном.

Кто бы поверил, что эта «прима» на каменных плитах колесовского двора отплясывала в сарафане под озорную гармонь вместе с большевиком Павлом Лутониным в козловых сапогах огневую-плясовую «Барыню», а потом помогала мыть посуду и убирать со столов? Кто бы? Никто. Но все пришли к заключению, что Россия — оч-ч-чень таинственная страна, которая еще себя покажет миру.

А Катя, ничего не зная и не замечая, думала о своем.

И мы думаем о своем.

Петя, милый наивненький Петя Колесов, как ты тогда, на балу-маскараде, не разглядел Золушку и завертелся с этой, для коей недостаточно выразительны и режущие слух эпитеты русского народного просторечья, ставшей мимолетной забавой низкого, продажного Палицына, тоскующего по дну лутонинского пруда, встречу с которым ему через год устроит озверевший Яков Дятлов. Ему нечего больше терять, потеряв самое дорогое в его жизни — радость труда... Он не простит Палицыну арестов тележников, расправ и порок по его доносам. Дорого будут стоить ему рубцы от розог на спине Якова Дятлова.

Пройдут годы и годы... Одни поколения сменят другие... И печальная повесть о неведомом царстве Тихой Лутони будет выглядеть старым сказом, древним преданием минувшего давным-давно.

Сказом, развенчанным и умершим, который кое-где и кое-кто пытается воскресить, во имя спасения собственной шкуры, рассказывая небылицы о «народном капитализме», о благостном перерождении царств звериных законов в царство труда и свободы. И как тут не вспомнишь присказку старика Лаврентия Матвеевича Рябинкина о «старой кошке в заморской одежке», но с теми же когтями...



ОЧАРОВАНИЕ ТЕМНОТЫ

ЦИКЛ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Милостивые государи и милостивые государыни, господа рабочие и госпожи работницы! Досточтимые мастера, мастерицы, наставники и пусковики! Прославленные искусники почтенных и преклонных лет! Неутомимые и верные наращиванию нашего общего процветания зауряд-техники и техники, зауряд-инженеры и инженеры, начальники цехов и управляющие Шало-Шальвинских заводов, мастерских и рудников! Любезнейшие господа гости, ваши благородия и ваши высокоблагородия, олицетворяющие власть и закон! Уважаемые коллеги заводчики, фабриканты, владельцы рудников, приисков, лесных угодий и всего, чем знатна и неисповедимо богата наша кровная уральская земля! Мы собрались здесь, чтобы откровенно поговорить и постараться выяснить, как нам жить и работать дальше. Поводов для разговора и размышлений в этом беспокойном году как никогда много... Главный из них состоит в том, что на Шало-Шальвинских заводах нет волнений, нет стрельбы и не льется кровь... Словом, изумляюще нет ничего похожего, что происходит на некоторых других фабриках, рудниках и приисках Урала... Главным виновником нашей тишины и нашего ошеломительного

процветания в оскорбительных выражениях называют меня. Называют и угрожают мне в письмах без подписей и с подписями. Если бы я обвинялся в умении перехитрить, прикормить, отуманить рабочих, то это было бы понятно. Когда же меня называют их лакеем,— называют фабриканты, лесопромышленники, пароходчики, владельцы золотых приисков, то есть буржуазия, к которой я принадлежу, мне следует ответить на это во всеуслышание. Что и будет сделано сегодня в этом самом большом здании Шальвы, куда я пригласил всех желающих задать мне любые вопросы или упрекнуть в чем-то меня... Мне, да и вам, нечего скрывать. Откровенность и спор — лучшие из способов в наши бурные дни для выяснения истины...

Так начал свою речь Платон Лукич, глава фирмы «Акинфин и сыновья».

Он, стоя в центре арены цирка, как всегда, был в легких козловых сапогах, в темно-синей рабочей куртке, сшитой из плотной бумажной английской ткани. Его русоватые волосы слегка вились. В иссиня-серых глазах читалась уверенность. Звонкий голос легко доносил все оттенки каждого сказанного им слова вплоть до галерки, где густо толпился рабочий молодняк.

На скамьях верхних ярусов сидели «Платоновы однокашники». Так называли рабочих — сверстников молодого хозяина, которым не было тридцати.

Передние ряды и кресла у самого барьера арены были заняты рабочей знатью — мастерами цехов, наставниками производственных переделов — и стариками, вышедшими на «пензион», но продолжающими работать по мере сил в свои полусмены, чтобы не давать состариться душе и рукам.

Все они были в очень справной одежде, какую не часто носили рабочие других заводов, смежных с шалошальвинской горнопромышленной вотчиной Акинфиных.

Пока Платон Лукич Акинфин отпивает из хрустального стакана маленькие глотки сельтерской воды, посмотрим, что представляла из себя цирковая арена в тот вечер необычной сходки, имевшей быть 30 декабря 1905 года.

Не уместившиеся на положенных для публики местах цирка перевалили за барьер арены и устроились кто на чем. На гимнастических коврах. На принесенных домо-

тканых лоскутных полосатых половиках. Иные присели «на кукорки», а то и запросто возлежали на свежих кремовых сосновых опилках арены.

За круглым позолоченным столиком, которым обычно пользовались иллюзионисты и фокусники, сидели двое: бессменный председатель и создатель «Кассы взаимного трудового кредита», сухопарый, хорошо и просто одетый вдовец Александр Филимонович Овчаров и второй — из «Платоновых однокашников» — главный управляющий Шало-Шальвинскими заводами Родион Скуратов.

Отпив сельтерской воды и взвесив тем временем, что нужно сказать дальше, Платон Лукич Акинфин снова ступил на круглый «орленый» коврик и дал волю своему молодому голосу:

— Я был и буду тем, кем я есть, пока меня физически не лишат возможности быть самим собой. Я останусь верен унаследованному мною месту в жизни и своим убеждениям. Мне уже много раз приходилось говорить, что люди испокон веков состоят в трудовых отношениях: одни предоставляют и организуют работу, другие выполняют ее. Предоставляющие и организующие работу пусть не всегда, но чаще всего находились и находятся в лучшем положении, чем те, кто выполняет ее. Поэтому находящиеся в лучшем положении нередко нарушают обязательный закон, который я называю для себя «равновесием взаимностей», и чем больше нарушается это равновесие, тем серьезнее возникают конфликты и распри. Они с особой силой сказались вооруженными восстаниями в Харькове, Сормове, Новороссийске... В нашем сибирском соседе — городе Красноярске — и на близком к нам пушечном Мотовилихинском заводе. Восстания наиболее беспощадны там, где заводчики, где управляющие казенными заводами заботились больше о себе и меньше о тех, кто создает и производит все богатства нашей земли — от дюймового гвоздя до паровых котлов и машин...

Сначала на галерке, потом в средних рядах зашелестели рукоплескания. Когда же они уверенно были поддержаны первыми рядами и двойным кольцом кресел, где восседали старики, оживились все ряды, от красноплюшевых до полосатой тесовой галерки, круто взбежавшей под купол цирка.

Отозвалась сдержанными аплодисментами и гостевая ложа. Ее в этот декабрьский вечер заполнили при-

ехавшие дальние и ближние заводчики. Там же находились чиновник особых поручений при губернаторе и жандармские чины в форме и без нее.

Озираючись на ложу, похлопали для всякого случая полицейские, сидевшие ноги калачиком, образуя внутреннее охранительное кольцо арены.

Теперь всем нужно было думать с оглядкой на прошлое и с проглядом в будущее. Так поговаривали в Шалой-Шальве многие, и в том числе нижние чины полиции. Уж коли сам государь-император понужден с Государственной думой править, то при таком положении всего можно ждать. Никто не знает, куда повернется жизнь. Кто мог подумать, что Платона Акинфина выкликнут в Думу. Кто поручится, что такие, как он, из молодых, да ранние, не перевернут престол и, севши на золотой фокусный столик, не объявят себя кандидатами в президенты новой республики. Чем он не президент на круглом коврике с двуглавым орлом? Чем? Послушайте, посмотрите, сколько силы в нем и еще больше за ним и вокруг него.

— Мы в Шальве еще не сумели добиться желаемых успехов в гармоническом равновесии взаимностей. Но то немногое, что сделано, избавило наши заводы от печальных столкновений сторон, от выяснения отношений, которые нельзя назвать мирными. Но это не значит, что нам нечего выяснять...

— Да, конечно, Платон Лукич,— подтвердил председательствующий Овчаров.— Для этого мы и собрались.— И тут же спросил: — А какой будет длина рабочего дня? На всех заводах, Платон Лукич, требуют восьмичасовой рабочий день.

Платон Акинфин ответил на этот, видимо, подготовленный вопрос:

— Я всегда говорил и говорю, что продолжительность рабочего дня будет такой, какую назовете вы или любой из вас потребует для себя. Шесть. Четыре и даже два часа. Продолжительность рабочего дня при сдельной работе безразлична.

— А плата? — спросил Овчаров.

— Плата? Если вы пожелаете, также может быть определена вами. И эта возможность вам будет предоставлена. И вы убедитесь, что гвоздь, или гайка, или любое изделие не может обходиться дороже, чем способны они быть купленными. Если производимое нами будет

продаваться с убытком, то наши заводы неизбежно съедят самих себя и лишат вас возможности порабощаться, а меня — порабощать. Будем все называемое называть называемым...

— Зачем же ты так, Платон Лукич? — остановил его кузнец с первого в Шальве большого парового молота.— Мы, рабочие, хотим знать, останутся ли наши заработки теми же.

Акинфин едва заметно улыбнулся, потом нахмурился.

— Не вам бы, Максим Иванович, задавать этот вопрос. Вам больше чем кому-либо известно, что с первого месяца моей эксплуататорской деятельности оплата за труд на заводах росла. Не круто, но безостановочно. Все, от продающих фирме свои женские и детские рабочие руки до отдающих свой ум и знания инженеров, начальников цехов, получали прибавки в соответствии с прибылями без требований, забастовок и манифестаций. Или я лгу? Отвечайте!

Ответил гул одобрения собравшихся.

— Нами,— Акинфин перевел глаза на управляющего заводами Родиона Скуратова,— повторяю, еще мало сделано, и все же никто из вас не назовет фабрики, завода, рудника в окружности ста или двухсот верст, где бы рабочий, мастер, техник, инженер получал больше, чем такой же по специальности на заводах хищных акул Акинфиных...

— Ну зачем же опять? — остановил тот же старик Скуратов.

— Так напечатано в листовке...

В ответ крикнули:

— Ее писали не мы, Платон Лукич!

— Но кто-то же писал ее. Не я же, ваш угнетатель. Не мой же отец, «старый кровосос». Не моя же благоверная, урожденная княжна Лучинина, по матери наследница графов Строгановых... Кто-то же напечатал ее в нашей фирменной хромолитографии и приляпал на ржаной клейстер к моим воротам!

— За всех мы не в ответе,— возразил чей-то голос.

— И я тем более, господа рабочие, мастера, техники, инженеры и начальники Шало-Шальвинских заводов. Но... Но мои глаза не залепить никаким клейстером, никаким листком, будь он оттиснут на коже буйвола. Я остаюсь верен себе и в эти опасные месяцы ожесточенной борьбы... Кого и с кем — вы знаете лучше меня... Следуя

закону взаимного уважения порабощенных и поработителей, я поступлю в этом месяце наперекор трусливой тактике иных заводчиков и фабрикантов. Они, спасая свое благополучие, повышают заработки рабочим. Это разумная, но коротконогая игра. А я не игрок и тем более не разумник. У меня все на виду. Прямоту называют опасной, а я никого не боюсь, кроме истины. В этом месяце впервые за все эти годы вам будет понижен заработок...

— За что? — послышался громкий выкрик, за ним свист и снова выкрик:

— За что?

И вновь свист, другой и третий...

Не обращая на это внимания, Платон Лукич, так же владея собой, не возвышая голоса, ответил:

— За злостный убыток, причиненный не только Шальвинскому заводу. Не только ему, но и всем нам. Я не хочу знать, кто вывел из строя пять самых нужных винторезных станков. Это очень большой убыток... Дело не в стоимости самих станков. За них возьмут умеющие брать англичане не так много фунтов стерлингов. Но скоро ли доставит их транспортная улита?.. Дело в потере огромного количества болтов, которые не произведут эти насмерть искалеченные быстроходные станки. А болты нужны вот так,— Акинфин «отрезал» концами пальцев правой руки свое горло.— Нужны почти всем цехам наших заводов, рабочие которых, ваши братья по классу, будут недополучать все эти месяцы, потому что без болтов и винтов они не могут выполнить порученные им заказы. Кому, скажите, нанес ножевой удар умертвивший станки? Только ли фирме? Он ударил по престижу рабочего класса. Он преступник по всем статьям и разрезам. Так не борются добросовестные революционеры, социал-демократы, считающие себя наследниками всех заводов и предприятий. Наследники не портят, не уничтожают своего наследства, если оно, по их словам, в самом деле будет им преподнесено самой историей...

Тут Акинфин снова прибегнул к своим глоткам, предоставляя паузу для размышлений слушающим его. Минута молчания, медленно минуя, готовила развязку:

— Управляющему заводами не так трудно разыскать террористов, чинящих расправу с безвинными машинами. Еще легче администрации отчислить с завода нарушителей, отобрать у них, согласно уставу и договору с

Кассой, купленные в рассрочку жилые дома. Это легко! Легче ли от этого будет тем, кто не выполнит заказы и не получит за них? Вот и решите сами, как поступить, чтобы возместить рабочим и фирме недополученное. Это не один десяток тысяч рублей.

— Это далеко за двести тысяч,— подсказал управляющий заводами.

— Ну вот, видите,— с сожалением и вздохом продолжил свою речь Акинфин.— Ваше право — опротестовать иск фирмы. Право фирмы — уволить всех отвечающих за доверенные им материальные ценности. Что горше, что больнее, что бессердечнее, решите сами, если для вас не безразлична...

Речь прервал пропитой голос с галерки:

— Хватит балаганного представления!!!

Тут же раздался выстрел.

Акинфин вздрогнул и умолк...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стрелявшему молниеносно скрутили руки. Обыскали его и отобрали три пистолета.

У стрелявшего не надо было спрашивать фамилии, узнавать о его партийной принадлежности. Стрелял член тайного черносотенного «Союза Михаила-архангела» Василий Зюзиков, личный приказчик обанкротившегося заводчика Кузьмы Гранилина.

Не одни политические озлобления руководили Гранилиным и его верным слугой Зюзиковым, но и месть «перевертышу» Платошке Акинфину за конкуренцию.

Все было как на ладошке. Полиция не могла отбить пьяного, плачущего Зюзикова. Он рвался к приставу, умоляя арестовать его и высвободить из рук шало-шальвинских лиходеев.

— Отпустите его,— приказал пристав,— он теперь так и так не жилец в вашей округе.

— Этот выживет...

— И пусть его,— миролюбиво махнула рукой зареченская старуха Миpониха на уводимого полицейским Зюзикова и прошамкала: — Виновата ли плеть да и руки виновны ли, секущие ею...

— А если бы он убил Акинфина? Как бы мы тогда? — спросила штамповщица Марфа Логинова с недавно пущенной Платоном фабрики «Женский труд».— Гра-

нилин все равно прикончит нашего благодетеля. Если не зюзинскими руками, так другими... У банкрота еще есть для подкупов золотишко в подпечье... Сжечь тирана!

— В своем ты?

— В своем! Волнений у нас нет! Смертей нет... Так будут! Сжечь Гранилина за старое, за новое, за три года вперед... Что рты-то, бабы, поразинули? За мной, парни! За мной, сударики!

Парни и работницы с «Женского труда», перегретые событиями последних месяцев, пошли за Марфой...

До того как Марфа сожжет Гранилина, мы не должны упускать происходящего в цирке. Там шумно радовался счастливый толстячок полицейский, сидевший в первом кольце охранения:

— Жив я, жив, братушки-ребятушки! Он только в руку меня, в руку! В левую...

Полицейского положили на цирковые носилки.

Платон сочувственно проводил глазами уносимого раненого, ничем не выдавая своего волнения. Гувернер ему еще в детстве преподал основы английского спокойствия, умения выглядеть в критические минуты человеком, не разлучающимся с юмором. Он снова отпил немножечко сельтерской и, перейдя на круглый коврик, обратился к замершим рядам:

— Могу ли я, господа, продолжить балаганное представление и надеяться, что меня не будут прерывать на полуслове выстрелами?

Снова засвистели. Засвистели громче и дружнее. И тут же из-под купола посыпались листовки, послышались негодующие крики.

Перешагнув барьер арены цирка, старый кузнец Максим Иванович Скуратов громко предупредил:

— Не рискуй, Платон! Неужели ты не видишь, что творится? Требую от имени всех, кто за тебя, уйти. Теперь мы не можем поручиться... Не ручаемся, Платон!

— Не ручаемся! — многоголосо подтвердили «галерка», «Платоновы сверстники» и «рабочая знать».— Не ручаемся!

Перезакаливший свое хладнокровие за три студенческих года, проведенных в Лондоне, Платон Лукич помнил и наставление старого профессора: «Не испытывайте судьбу там, где она предупреждает вас опасностью». И он с достоинством согласился:

— Что ж, если вы не уверены в себе, то как же я

могу надеяться на вас... Сожалею, что нам в этот день не удалось выяснить наши дальнейшие взаимоотношения. Мы это сделаем при более благоприятной обстановке. Без свиста, выкриков и террористических представителей.

Сказав так, Акинфин раскланялся и ушел.

У выхода из цирка жандармы и полиция обыскивали каждого. Они воспользовались выстрелом Зюзикова как поводом для разоружения.

Теперь разоружали всех и всюду.

Дворец заводчиков Акинфиных был оцеплен двойной охраной. Полиция охраняла семью миллионера от его собратьев, ненавидевших Платона за конкуренцию, за быстрое и первоклассное оснащение своих заводов. Рабочие же охраняли Акинфина от полиции. Среди нее мог найтись не один такой же «зюзиков», которому стоило рискнуть и получить пятьдесят тысяч складчинных рублей за голову опасного искусителя новой иноземной модой, ублажения рабочих коротким днем, длинным рублем и всяческими идеями «равновесия взаимностей». Зачем они заводчикам, коли плеть на Урале достигала скорых прибылей, а нужда и безработица богаче кормила фабрикантов самым дешевым в Российской империи уральским каторжным трудом...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Резной, расписной, узорчато обшитый фигурным тесом, отороченный деревянным кружевом дом злополучного Кузьмы Гранилина нельзя уже было уберечь ни от огня, ни от людей, ни от буйного приступа хмельника ополоумевшего хозяина.

— До крайней крайности он дошел,— объявил толпе ночной сторож.— До разгона дошел всей домовой челяди...

После того как опрометью последней выбежала Мохнатка и, осатанело воя, поджав хвост, исчезла в ночи, Марфа Логинова рассудительно сказала:

— Кажись, самое время поджигать...

Дом запылал, как говорили потом, сам собой. Случилось так, что и пожелавший назвать поджигателей не сумел бы этого сделать.

Неистово яркий, солнечный огонь осветил разрумя-

ненные рождественским морозом женские лица. Потеплело так, что хоть сбрасывай шубейки, платки, треухи.

Кошки одна за другой вынырнули откуда-то из-под пламени. И не две, а три. Рядом с ними удирали жирные крысы. Штук пять. Видимо, вся семья. Несчастье заставило их не страшиться своих самых лютых врагов. И врагам с опаленными мордами было не до охоты.

— Горе что каторга — роднит князей опальных и холопов кандальных,— изрекла начитавшаяся того-сего старая греховодница, чертознаева племянница Мирониха.

Но теперь дважды разгоряченной толпе было не до суесловий Миронихи. Взволнованные голоса спрашивали самих себя и всех:

— Где же он сам? Неужели ускользнул через наши четыре кольца?..

— Может, сбёг кровавый подсылатель через подземный лаз?

— Да нет, бабоньки! Откуль, какой лаз? — неуверенно разубеждал изработавшийся до костылей обезбородевший сторож.— Не иначе — в голбце отсиживается... Ежели он дымом на небо не взлетел.

Голос старика заглушил грохот рухнувшего потолка и просевшего внутрь дома мезонина. Громада искр и черного дыма взметнулась в порозовевшую небесную высь. Окруживших дом обдало жаром. Зашипел, превращаясь в пар, просевший вместе с крышей снег.

В это время невесть откуда с всклокоченной бородой, в розоватых исподниках заметался между толпой, окружающей дом, и вновь разгорающимся пламенем очумевший пьяный Кузьма Гранилин.

— Ах ты мать-prematушка, святая, пречистая богородица, Неопалимая Купина! Сжалься, смилостивься...

Мирониха входила в роль. Ее морщинистое, красивое и в эти годы лицо, испаханное вдоль и поперек острыми лемехами старости, было озарено зловеще-торжествующей ухмылкой и, подсвеченное играющим на нем пламенем, пугало и молодых.

Все смолкли, перестал шипеть и огонь. Мирониха вершила суд.

— Пресвятая! Владичица! — подняла она к небесам свои руки, ставшие еще длиннее.— Призри своим очистительным пламенем окаянного раба твоего Кузьму и

водвори его, самосожженного, во славу твою, в кущи райские...

Подоспевший становой урядник с двумя стражниками нашел благоразумным отдать Гранилина на самосуд. Его, буйного, озверелого, и впятером не свяжешь и не доставишь на следствие по показаниям Зюзикова.

Суд вершила Мирониха:

— Не мечись, издеватель! Опомнись! Не угоднее ли твоей душе предстать пред господом в целости, нежли помятой, растоптанной в гневе людском...

Одержимый приступом белой горячки, Гранилин с разбегу бросился в прогал стены, выжженной пламенем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Догорал огонь и в камине будуара Цецилии Львовны, жены Платона Акинфина. И этому красновато-золотистому прирученному пламени также не было дела до людей. Что ему до другого, внутреннего огня молодой женщины, кутающейся в большой горностаевый палантин?

Она уже пришла в себя после выстрела в цирке и теперь, собравшись с мыслями и чувствами, объяснялась с мужем, сидевшим поодаль на резной прикаминной скамеечке:

— Тонни, мы давно говорим, не открывая рта, но далее так стало нельзя. Я вышла замуж за идеал, нарисованный мною, которым был ты. Мы верили, что нас венчает любовь, и все остальное слило нас в одно... Я знала, что ты принадлежишь не только мне, и не придавала этому значения, надеясь, что время и здравый смысл образумят тебя. Так не случилось. Ты, Тонни, увлекся другой. Ты весь в ее власти... Ты пожизненно будешь принадлежать ей. И если бы какая-то сила, какой, я думаю, нет, разлучила вас, ты бы оказался человеком куда более несчастным, чем могу предположить я, знающая тебя больше всех других и лучше, чем ты сам.

Она остановилась. Ее большие дымчато-серые глаза предупредительно спросили: «Следует ли продолжать?»

— Говори, говори, Лия,— попросил Платон,— мне это так необходимо...

Высокий, чистый, хорошо поставленный голос Цеци-

лии Акинфиной снова зазвучал в освещенной луной тишине комнаты:

— Я долго искала имя твоей госпоже и не нашла. Одержимость? Страсть? Мания? Болезнь?.. Неточные и чем-то унижающие тебя слова. Хотя все они и производные от них назывались теми, кто искал ключи к тайникам твоей души.

— Глупо это, Лия!

— А умно ли уравновешивать свет и тьму, огонь и воду?

— Опять банально. Зачем ты оглупляешь меня, Лия?

— Напротив, Тонни. Твоя душа сложна и нераскрываема, как завалишинский замóк, который ты чуть ли не боготворишь.

— Это же миллион чистой прибыли...

— Зачем он тебе или мне?

— А фирме?

— Фирме? — Цецилия насмешливо обрадовалась: — Наконец-то нашлось лежавшее на поверхности слово! Фирма! Как, оказывается, просто открывается патентованный замок! Не утомляю ли я тебя, Тонни?

— Пока нет. Если ты не затянешь свои замочные аллегории до полуночи.

— Нет, нет, не затяну. Но я скажу все, чтобы потом снова молчать. Молчать до нового покушения на самое дорогое, что у меня есть. Я жена и мать... И что-то, надеюсь, еще...

— Фехтуй, фехтуй! Я не буду обороняться. Кажется, выстрел Зюзикова отлично наточил твою рапиру.

— Мы не в театре, Тонни, и тем более не в цирке. Мы в нашей, и только в нашей, с тобой жизни, единственной и конечной. Ни у кого не найдется таких миллионов, чтобы прикупить к ней хотя бы одну минуту... Зачем нам все это?

— Что, Лия, «все» и что «это»?

— Это — сорок два градуса за окном... Это — побледневшая луна и съежившаяся от лютой стужи... Это — воющие волки за дальним краем ограды нашего парка. Воющие от повальной шало-шальвинской тоски.

Будто по сговору, послышался глухой, заунывный вой.

Платон подошел к окну, а за ним в звездной рождественской синеве, услужливо иллюстрируя сказанное Лией, далекий, маленький лик луны выражал отчаяние и безысходность.

— Какая-то дурацкая мистификация!

Платон вернулся на прикаминную скамеечку, и негодующий голос жены опять зазвучал тонкой скрипичной струной:

— Я вовсе не утверждаю, что за первой пулей последует вторая, хотя можно предположить не только выстрелы, но и взрывы. Что стоит поднять на воздух наш дом, двери которого так неразборчиво гостеприимны! Мы обречены!

Волчий вой снова отозвался глухим далеким отзвуком сказанного Лией.

— Так что же, бежать отсюда?

— Зачем же, Тонни, бежать? Вернуться!

— Куда?

— В цивилизацию. В свою стихию.

— Лия, мы русские!

— Демидовы тоже не иностранцы, но предпочитают жить не в Тагиле, а в благодатных местах...

Платон перебил:

— Это не Демидовы, а демидыши!

— Кем бы они ни были, Тонни, им ничто не мешает владеть и повелевать из своих далеких резиденций заводами.

— Им только кажется, что они владеют и повелевают. Царю тоже кажется, что он царь, а не коронованный какаду. Заводам, как и государствам, нужны не повелители, а дирижеры, любящие свою музыку и влюбляющие в нее свой оркестр, умеющие слышать его в созвучии всех играющих и каждого порознь, будь им подпискивающий пикколист или подзвякивающий на одной ноте неизвестно кто. Допустим, молотобоец. Он тоже музыкант. Первые скрипки украшают оркестр и делают музыку, а барабан может испортить ее.

— Твой Скуратов отличный дирижер. Он вдумчив, честен и одарен. В этом смысле он музыкален не менее тебя, Тонни.

— Может быть, и более, чем я... Но Родик не пишет партитур.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Цецилию не убеждали, да и не могли убедить доводы Платона. Она не понимала, да и не могла понять мужа. Ее природе было чуждо все заводское, шумное, дымное, отравляющее, калечащее. И странным, надуманным и

чем-то оскорбительным показалось ей сравнение несравнимого. Как мог Тонни, тонко чувствующий музыку, обожающий Чайковского, употреблять высокие слова применительно к чаду кузниц, к грохоту молотов и заводской обыденщине?.. Но до способов ли выражений мыслей ей теперь. Партитура так партитура. Пусть! Подумав так, она сказала:

— Партитуру, Тонни, можно писать и в Неаполе, и во Флоренции, а музицировать по ней в Шалой-Шальве.

— Черта с два! — вскочил Платон и бросил прикаминную скамеечку в огонь.— Музыканты этого рода превращались в жалких шарманщиков и тому подобных гранилиных...

Цецилия, видя, что разговор перешел с «пиано» на «фортиссимо», не захотела далее продолжать его в том же ключе, обрадованно воскликнула:

— Как мило с твоей стороны, Тонни, твоя маленькая скамеечка дала такой большой свет! В полумраке все видится темнее. Завтра наступит последний день этого страшного года. А потом будет видно, кому и в кого стрелять...

— Ты, да и вы все будете стрелять только в меня. А я непробиваем, Лия. Непробиваем! На мне панцирь моих идей, и за мной люди, верящие мне и убедившиеся в силе моего равновесия взаимностей...

— И прелестно...

Она приникла к нему, а затем кивнула маленькой головкой на дверь спальни:

— Уложи меня. Я боюсь волков...

Платон исполнил прихоть своей неуступчивой противоположности. При всех различиях с ним она для него была опорой и в размолвках. Споря с женой, Платон проверял задумываемое. И всегда либо начисто разубеждался в нем, либо вдохновлялся им.

...Скамейка ярко и быстро сгорела в мраморном камине, а дом Гранилина догорел только к утру. Мастеровые и сезонно работавшие кустари «замочно-скобяного механического заведения» забросали снегом головни, чтобы не дать сгореть дотла окорокам и полопаться бутылям в при домовом погребе, решили артельно воспользоваться питьем и едой.

— Наш пот и труд в его погребке,— сказал старик сторож.— Грех чужое брать, а свое вернуть сам бог велит.

— Пускай он же велит и простить нам гулевые поминки по надругателю нашему и тирану,— поддержал сторожа истощавший молотобоец.— Кто как умеет, тот так и воздает свою хулу за долгое истязание. Кому как надо, тот так пусть и судит о нас. Разбирайте забор, стелите помост. Всю вину беру на себя, если найдется такой судья, который опорочит нас за это святое отмщение!

— Святое!— повторил сторож.— Ибо есть непростимые прегрешения, за которые не сыскать возмездия, и всякая кара за них будет мала...

Сказанное нашло неожиданный отклик. Вдруг вспомнилось и то, что забылось. Битье. Увечия. Надбавки рабочих часов. Убавки заработанных рублей. Девичья повинность перед венчанием. Дармовой ребячий труд. Высидка в заводской тюрьме ни за что ни про что. Глянул не так и в сырой каземат. Пытки жаждой и голодом. Порки с присыпкой соли. Обязательные подношения к праздникам. Травля собаками...

Вспомнилось столько всего, рассказывалось про такие глумления, что и не пожелавшие участвовать в непотребном пиршестве не расходились по домам.

Теперь уже говорилось не о выстреле в цирке, не о подкупленом Зюзикове, а о зверствах Гранилина. Не все и не всё знали. Иным легче было носить в себе свою боль и молчать. Боялись хозяина до последнего дня. На отшибе, в глухом лесу, прятался рабочий поселок гранилинского замочного заведения. Грамотных на десятерых один. Люди привыкли жить в ярме. Застращивания Гранилина каторгой, виселицей держали в страхе мастеровых. А теперь...

Теперь больше нет страшного пугала. Нет и распроклятого дома, куда приводили на расправу к хозяину. Нет и главного живодера Зюзикова. Нет! И...

И сами собой развязались языки. Сама собой хлынула горечь злых обид за укороченные жизни, за искалеченные судьбы. И как удержать теперь в себе проклятия, как не предать им ставшее пеплом и золой?..

До погребка дорылись легко. Еще легче забор превратили в настил. Оставалось дождаться Кузьму Завалишина. Он у Гранилина выстрадал больше всех. А теперь Кузьма главный замочник Акинфиных. Туз бубен. Не иначе, тысячник. Свой дом о четырех горницах. Две лошади. Одна просто так, другая для выезда. Приедет ли? Что-то долго за ним посыльные бегают.

— Приедет! Как не приехать! Он же насквозь наш, тутошний, родной! — убеждал сторож.

Приехал! Прикатил гусевой на обеих-двух! В жеребковой дохе, в каракульчатом треухе, а сам все такой же...

— Здорово, браты-брательники-братки! Как ночевалось, как спалось? Видать, жаркие были сны?

Ответили приветливо. Повели на помост.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Позднее предновогоднее солнце, перевалившп в лето на воробьиный скок, осветило на помосте до крайности забитый, темный люд. Не верится, что все это происходило в год великих потрясений, в год первой народной революции в России.

Пройдет немного лет, и эти люди спросят у самих себя: было ли такое?

Было!

Вот же они, вот гранилинские доведенные до нищеты мастеровые. Всмотритесь в их испитые лица. Потерявшие надежды люди молчат и ждут, что скажет, как повернет их жизни разбогатевший удачник Завалишин. А он, куражась, уже забыл, что так недавно был таким же, как и остальные, сидящие вокруг него.

— На морозе водка хуже берет,— делится с дружками Завалишин.— Пью-пью — и ни синь-пороха! Неужели она жижнет от холода? Ну, да шут с ней! О деле поговорим...

А дело заключалось в том, переходить ли гранилинским рабочим в Шальву или перестраивать свое заведение и остаться при своих домах.

— К нам-то бы лучше вам, браты,— сказал Завалишин.— Сразу плата большим рублем... А этот заводишко, пока еще в нашенский вид приведут, на хрене да редьке вас повытомит.

— Зато здесь мы дома,— сказал свое слово старик на костылях.— И речка, и пруд, и огороды свои. А как пустят его в новом обличии, и коровенки будут свои, а то и лошади. У нас же раздолье, не то что в шало-шальвинской густоте.

Свой завод был сподручнее для всех, но до того, как старые мастерские перелопатят на Платонов лад, их нужно было купить. А купит ли его строптивый Платон Акинфин?

— Он не купит — я куплю,— топнул о помост Завалишин.— Подумаешь, деньги! Во что можно оценить две завозни да пять развалюх?

— А кто продаст? Наследница-то в монастыре. Вдруг да монастырь и заберет монахинево наследство? Опять закавыка.

Но закавык в этот пьяный день не было. Опять встрял старик сторож на костылях. Он про Гранилиных знал и то, что они не знали про себя.

— Оно так! Гранилин заставил битьем свою Зинаиду Сидоровну доброй волей пойти в монастырь. А как постриг ее подоспел, бунты начались, сходки, гам и равноправие. Тут-то раба божия Зинаида, которой прочили быть сестрой Зиновией в монашестве, восхотела повременить. А вдруг да воля для всех выйдет? Как она тогда размонашится? И настоятельница монастыря тоже поприжала свою старую плоть к зашатавшейся под ней скамье. Так что купить-продать теперь — раз-два-три. Она же полновластная наследница.

Как на сцене, появилась на помосте в черном одеянии Зинаида Сидоровна. И, как в театре, кто-то подкинул ходовую реплику:

— Легка на помине, наследница... Как нам теперь — вон?

— Зачем же вон? Разве кто слышал такое от меня?

— Так неловко, поди, Зинаида Сидоровна, этак-то разгульно поминать?

Гранилина сразу нашлась и сказала готовые слова:

— По покойнику и поминки, по поминкам и обряд. Налейте и мне, мужики, заупокойную. Трезвой-то я постесняюсь сказать ядреные поминальные слова моему суженому-ряженому, самым-самим безрогим пьяным чертом даденному.

Сказала так она и села рядышком с Завалишиным на откинутую полу его жеребковой дохи на кенгуровом меху. Выпила стаканчик и, не закусывая, другой. А он ей, как ровня:

— Да как же ты, Зинушка-голубушка, в такие ярые годы — и в монастырь?

— А как же ты, мастер, с такой золотой головой столько лет у него в шавках был?

Слово за слово, рюмка за рюмкой, стакан за стаканом и белое, и красное, ветчину топором нарубают, откуда-то и колбасная снедь выискалась. Ее тоже топором

да в рот. И дальше все так же, как по писаным ролям на представлении.

— Я все слышала про покупку завода,— первой начала Зинаида Гранилина.— На ловца и зверь бежит. Я с превеликим. Только не на скорбном пепелище такие дела делаются. А позвать мне тебя, господин богатей, теперь некуда,— сказала она, подмигнув Завалишину.— Я полностью погорелая вдова. Ни обуть, ни одеть, ни голову приклонить...

— Так дуй ко мне, Зинаида Сидоровна! — пригласил Завалишин.— В моем дому и хороводу не тесно будет.

Языки начали, глаза договорили. Пересела повеселевшая Гранилина с завалишинской полы в его ковровую кошевку — и хлысть по обеим-двум да махом-бегом в Шалую-Шальву.

«Так начался и не кончился этот долгий сказ»,— говаривал в старые годы «Бабай-Краснобай», и мы тем же складом этот пересказ прервем и доскажем в свой срок, когда этой нитке надо будет воткаться в наш пестрый холст. Теперь же нам необходимо не воткать, а ввернуть тонкий и острый шуруп о винтовых станках.

Платон Акинфин знал, зачем и что нужно было сказать о пяти искалеченных станках. Сказанное отозвалось громче, нежели можно было предположить. Оно коснулось сотен рабочих, и не только тех, кто производил изделия, так или иначе зависящие от винторезных станков.

Овчаров Александр Филимонович подозревал, что слесарь-механик Сергей Миронов, принятый пусковиком в механический цех, подослан заводчиком Потаковым, чтобы выведывать новинки главного шальвинского завода. Для этого были основания. У Потакова на небольшом его заводе, сопернике по роду изделий с Шальвой, сразу появлялось многое из того нового, что придумывалось, изобреталось ценой немалых усилий и затрат фирмы Акинфиных.

Прежде не было до этого дела, теперь же, когда заработок рабочих стал зависеть от сбыта предприятия, стало многое небезразлично. Овчаров не мог уличить Сергея Миронова в порче винторезных станков, а намеки давал. Не сомневалась в этом и старуха Мирониха, которой Сергей Миронов доводился внучатым племянником, и старухе хотелось его спасти. Она отлично понимала, что Платон и пальцем не пошевельнет, если будет доказано, что станки порушил Сергей. Рабочие сами его пус-

кай не прикончат, но житья не дадут. Изведут. Затравят. Выживут. Такое бывало уже в Шальве.

Время не ждало. Запас болтов и винтов малых диаметров на исходе. Припереть Сергея Миронова легко. Но какая польза? Накажут, но этим станки не вернешь.

Нашелся выход, при котором, не уличая Миронова, Овчаров вернет станки. Он пришел к Миронову утром в предновогодний день и сказал:

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Я к тебе, Сергей Прохорович.

А тот:

— Не угодно ли, Александр Филимонович, с наступающим рюмочку шустовского пятирублевого? Мигом раскупорю.

— Это успеется, Сергей Прохорович. До шустовского пятирублевого хочу попросить тебя раскупорить дорогую двухсоттысячную потаковскую бутыль с зело ядовитым питием.

Миронов переменился в лице, и это было замечено Овчаровым.

— Как понимать ваши слова, Александр Филимонович?

— Прямо. И только так, как я говорю, напрямки и один на один. Я знаю, кого подкупил Антип Сократович Потаков. Знаю, кто и зачем погубил пять станков. Мне жаль погубителя. И я прошу тебя помочь мне спасти его. Спасешь — и этого разговора не было. От Кассы награда, от фирмы — другая.

— А как и что я сделать могу?

— Ты же не ссорился с Потаковым, уходя от него. Полюбовно разошлись. Он мало платил, ты же хотел больше получать. На что ему сердиться на тебя...

— Так-то оно так, но как я ему скажу? Не пойманный не вор.

— А ты его и не лови, а просто любезнехонько попроси дать нам на два месяца, пока идет заказ, три своих таких же станка, которые он купил, точь-в-точь как наши и вслед за нашими...

— Александр Филимонович,— едва не плача сказал Миронов,— да разве он даст свои станки...

— Попросишь по-свойски — даст. Неужели он не пощадит человека, подосланного им совершить это злое

преступление?.. Не отвечай,— предупредил Овчаров.— Взвесь свои возможности. Разве тебе не хочется обелить жестоко обманутого?

Овчаров как пришел, так и ушел, ввернув тонкий и острый шуруп в душу Миронова.

Переживать ему было некогда. Лошадь долго искать не пришлось. Двадцать верст не сто. К полудню Сергей был у Потакова. Он встретил своего лазутчика в беличьем халате.

Выслушав Миронова, Антип Сократович побледнел куда более, чем Сергей, слушая Овчарова несколько часов тому назад.

Скоро думающий и решающий Потаков понял, что у него есть один-единственный ход: прогнать провалившегося шпиона, отказаться от всего и, «сочувствуя» Акинфину, выполнить его заказ на винты и болты.

Однако же не из тех пугливых рябчиков был Сергей Прохорович Миронов. Он потребовал недоданную тысячу и предупредил:

— Я ничем не угрожаю вам, Антип Сократович, но за шальвинских слесарьков не ручаюсь. Вы сами понимаете. Меня засудят. Пусть. Но если вас... Подумайте... Есть время по-хорошему...

— Прочь! — закричал, затопал, трясясь и потея, возмущенный Потаков.

Изгнанный, разъяренный Миронов не помнил, как он оказался в Шальве. Дома он разрыдался. Хотел наложить на себя руки. Зачем ждать, когда наложат их на него другие! В пруд головой — и прости-прощай, удачливая жизнь.

— Никто меня теперь не спасет,— жаловался он бабке Анне, той самой Миронихе, которая теперь ходила в опознанных ведьмах.

— Вот что, птенец... Я тихо думаю, да круто решаю. Ныне отдание Рождества Христова и день праведного Иосифа-обручника и царя Давида. Завтра день святого Василия Великого... Помолю-кось я им всем троим, может, какой из них и введет в разум Антипку Потакова. А ты с этого часа будь на людях. На людях... Не то прокляну! И боле со мной ни словечушка!

Засветло вечером пришел в механический полупустой цех Сергей Миронов и сказал:

— Из пяти изувеченных станков хоть два, да соберу. Кто будет помощничать?

Набралось много желающих. Сергей отобрал шестерых.

— Новый год, ребята, встретим, когда пустим...

Это в цехе. Теперь посмотрим, что было дома. Дома Мирониха укладывала в плотный мочальный зимбель пороховой студень. Так она называла динамит, которого на рудниках можно было достать легче легкого. Никому он был не нужен, разве что для глушения рыбы. У запасливой старухи в амбарушках-погребушках берегся на случай и змеиный яд, и вяленая печенка ястреба-стервятника, и флаконное, припечатанное масло из лампады у раки с мощами Симеона праведного. Кому что. Мало ли... И в сухих муравьиных яйцах бывает нужда. И медвежье мясо требуется...

Уложив динамит в новый зимбель, с которым она ходила только на большой ярмарочный базар, Мирониха отправилась по той же дороге, по которой ее внук сегодня сгонял в два конца.

Двадцать верст не сто верст, но для старухи в семьдесят два года это пять часов ходу, а то и шесть, если мороз будет мешать дыханию.

Дойдет! Ноги не доведут — месть доставит. Он сбил внука, он охмурил его подачками — ему и отвечать.

— Ответишь, проклятый, за все ответишь,— истово перекрестилась Мирониха.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Балы! Во всех богатых домах балы! Кто победней, устраивают дома новогодние вечера или идут к своей ровне. А где есть места для сборищ, празднуют встречу там.

«Касса взаимного трудового кредита» дает ночное представление. Настоящих артистов мало, зато много доморощенных. Своих. И борцы, и фокусники. Дрессированные коты, и белые мыши. «Заграманичные кловуны» и «скоморохи с-из позапрошлого века для радости простого человека». Чего только, чего не придумает народ, если он сыт. И в смоле вымажется, и в перьях валяется, лишь бы посмешить и самому посмеяться. А перед двенадцатью часами всем по сороковке вина и сайка с икрой, хочешь — с копченой колбасой на тот же билет... Мало — буфет рядом. Если и этого недостанет, иди допивать домой.

В этом году Платон не поздравит в цирке. Хватит с него одной стрельбы. А сорокаведерную платоновскую выкатят Скуратов и Овчаров. Без этого нельзя. Солнце может не взойти первого января, в домне может оказаться козел. Пруд обмелеет допрежь марта...

Словом, нельзя!

В белокаменном дворце Акинфиных в ночь под Новый год задолго до рождения Платона бывали «торжища ряженых». Позднее их стали называть балами-маскарадами. В этом году намечался такой же, но тридцатого декабря Цецилия Львовна сказала Акинфину-отцу:

— Не правда ли, па, к нам весь этот год никто не приходил без маски, и хотя бы один день нужно побыть без них.

— Резон! — ответил свекор.— И даже два. При маске легче быть и при пистолете.

— Этот второй резон меня и беспокоит. Прикажите мажордому маскарад отменить.

Так и было. Собрался узкий круг. Управляющие заводами. Инженеры. Три доктора. Семья Скуратовых. Отец Никодим в расцвете сил и лет вместе с рыхловатой попадьей в атласах и каменьях. Из коллег-заводчиков пожаловал хмурый властитель руд и доменных печей Молохов с молчальницей женой и щебетуньей дочерью Агнией. Осмелился явиться гробовщик-монополист по фамилии Лихарев, по имени Урван, которому не кто-то, а сам бог дал это имя, метя шельму. Ему мог мягко дать отворот величественный мажордом, но дочь его Олимпиада так хорошо была костюмирована под королеву и к тому же отличалась женской добродетельностью после лафитника ликера, что пришлось сказать «милости просим» и помочь снять шубу. С Урвана — бобровую, с Липочки — соболью.

На тройке вороных примчался Антип Сократович Потаков с жирными подбородками и с тощей женой. По дороге Потаковы едва не сбили старую Мирониху, несущую им динамит. Следовало бы назвать еще и еще прибывших на бал, если б не боязнь, что имена приехавших не будут запомнены и станут утомительны в перечислении.

В главном зале во сто цветных лампочек горела елка. Это стало первой пробой. Электричество пока было еще

редким, а электрическая елка первой. Это для маленького, первого внука Вадимика Акинфина.

Дороже и проще всех была одета Цецилия. Ее темное платье и она сама при бриллианте незнаемо скольких каратов, именовавшемся «строгановским», были очаровательны. Такой камень украсил бы и рубище. Однако и в рубище не скрылось бы все то, что всеми называлось «божественным сложением». Известно, что сколько богов, столько же и божественных сложений. Сложением Лии, по всей вероятности, занимался Аполлон в соавторстве с богом змей. Отсюда ее гибкость, маленькая головка и удивительная пластичность рук.

Мужчины были одеты фрачно и сюртучно, только Молохов остался верен помеси купеческой поддевки с полукафтаньем грозненских времен. Он мог. У него таково состояние, что ему позволительно явиться и в подряснике, и в римской тоге. И не только не осудили бы, а принялись подражать.

Платон Лукич тоже мог бы сесть за парадный стол в своей рабочей куртке. А он в отличном фраке, как и его родитель Лука Фомич. Они оба умеют носить фрак. Ну, Платон Платоном, он бывал и в Букингемском дворце, а вот у Луки в эти годы откуда такая стать? Только под мышками малость сыро да в брюки с тужиной влезают ноги. А так может сойти за графа, если, разумеется, не откроет рот.

Антип Сократович Потаков нарядился в зеленый фрак из бильярдного сукна. Он не знал об отмене маскарада и сожалел, что ему не удалось изобразить короля кия и пятнадцати шаров. А теперь ему пришлось оставить в гостиной на столике маску и корону с пятнадцатью зубцами, ювелирно вырезанную и составленную из пластин слоновой кости, инкрустированных инициалами имен тех знаменитых бильярдистов, которых он «положил», и цифрами значительных сумм, выигранных у них.

Разглядывая корону, желчный Молохов, также проигравший кое-что Потакову, сказал:

— Ты бы, Антип свет Сократович, шарами-то больше накатал, чем задельным деланьем бубенчиков-колокольчиков. Хлопотны они и зело не круглы. В лузу целишь, а они от борта и в прогар.

Слышавшие это сдержанно улыбнулись, сводя на шутку сказанное всерьез. Все знали, о какой «лузе» говорит Молохов. На бильярде конкурентной борьбы не-

возможно было скрыть хитроумную наивность потаковской игры.

Он, подучившись в технологическом, вывез из Петербурга кроме совершенной технологии игры на бильярде столичные манеры и познания в заводском деле. Познания ограниченные и непередовые. Получив в наследство после смерти отца, Сократа Потакова, прибыльный завод, изготовлявший разносортные ходовые изделия на потребу деревни и рабочего быта, в том числе колокольцы, он захотел бóльших доходов. Чем, в самом деле, он плоше Акинфиных? Желание походить на них вызвало подражание. И, как бывает, подражающий не превзошел того, кому он подражал. Копия и на этот раз оказалась хуже оригинала.

Прибыли сменились убытками. Убытки породили недозволенное и привели к преступному, уголовно наказуемому.

Рыбак рыбака чует издалека, а рядом-то уж тем более. Те, кто хотел знать, знали, что поломка станков была нужна только Потакову, стремившемуся сбыть залежавшееся у него, повторяющее производимое Шальвинскими заводами. Самоуверенность и глупость вынудили Потакова продолжить игру краплеными картами и тем самым выболтать то, что еще можно было скрыть. Он любезнейше и заботливейше предложил Акинфину:

— Драгоценнейший Платон Лукич, сокрушаясь вашим горем, я по-соседски, по-дружески могу поставить вам винты и болты в нужных количествах. Заставлю работать моих нарезчиков ночью и в воскресенья...

— Ваше внимание, Антип Сократович, меня трогает до слез. Я всегда видел в вас достойного единомышленника в процветании промышленности и хотел ради исключения неизбежной конкуренции подарить вам некоторые из тех патентованных изделий, от производства которых я откажусь, во имя вашей монополии на них.

Потакова поразила эта щедрость. Он знал, что Акинфин мог это сделать. И тогда можно бы жить рядом с ним и не враждовать. И он даже хотел сказать, что заказ на винты и болты будет выполнен бесприбыльно, по заводской стоимости, но сказал:

— Разумеется, ночная и воскресная работа удорожит...

— Да, да, да... Несомненно, удорожит... Но не сего-

дня о делах. Нас уже просят к новогоднему столу. Вы мой гость, и я хочу быть галантным хозяином...

Они прошли в большой обеденный зал, называвшийся при деде Фоме пиршественной палатой.

Палата, получившая новое название, была обновлена полностью. Вместо тяжелых, с высокими спинками, обитых кожей стульев пришли легкие, удобные полукреслица красного дерева. И вместо большого стола, изображающего букву «П», появились небольшие квадратные столы, которые можно было расставлять порознь и соединять вместе.

Лакеи были переназваны официантами. Их было в этот вечер до двенадцати. Большая часть из них набиралась из молодых рабочих, наученных носить белый пикейный пиджак, крахмальную сорочку с черным бантиком и тупоносые модные башмаки. Пять рублей за вечер. По окончании вечера доедай недоеденное и допивай недопитое. Охотников поофициантить за синенький билет, а потом еще принести домой «остатки сладки» находилось в каждом цехе больше, чем требовалось. Мажордом выбирал тех, что посмазливее, попонятливее, что умели перенять гибкость в движениях, учтивость в словах и заучить пяток-десяток французских ресторанных фраз.

По-французски приглашали официанты гостей и умело рассаживали их за столы, кому-то сдвигали по два, по три стола в один, кому-то сервируя отдельный семейный стол,— например, отцу Никодиму. И вино ему отдельное. Церковное. Красное. Разбавленное, по подсказке Платона, душистым коньяком. Как-никак Никодимка его заединщик счастливых детских лет. Он, долговолосый, тоже был стриженым мальчиком, играл в сыщиков и воров, бил лаптой по мячу, ловко кидал шаровки по городкам. Друг!

Здесь все в этот вечер друзья. Одни бывшие, другие настоящие, третьи будущие.

Весело начавшись, ужин шел нарастающе весело к своим двенадцати порубежным часам года старого и года нового.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тихо шла к своим роковым двенадцати часам Мирониха. И чем ближе были они и ее цель, тем замедленнее шагали ее старые костлявые ноги. Не от устали. Нет. Озлобление им придало много былой резвости. Не опоз-

дать боялась она, а опередить бой колокола на каланче потаковского завода. Прийти раньше времени не гоже. Хотелось все сделать в срок. С последним ударом двенадцатого часа. А на ее мужниных серебряных точных часах, которые она сунула за пазуху, всего ничего — одиннадцать с минутами. Куда она денется от светлых, от новогодних окон рабочих домов. Все встречают Новый год. Не только те, у кого есть чем встречать его, но и те, у кого только капустные пельмени или дряблый холодец. Он тоже придет к ним и ничего не принесет. Сегодня будет как вчера, только число новое, а похмелье такое же.

Не зайти ли, подумала про себя Мирониха, в заброшенную лесную караулку? Здесь ей все знакомо, до последнего кусточка и уголочка. Сто раз хаживала она и летом, и зимой по этой лесной глушине, когда внук Сергей работал у Антипки Потакова. И завернула в избушку. Там теплее, чем в лесу.

Зашла. Села на лавку. Проверила, ладно ли воткнут капсюль с негасимым ни на ветру, ни в снегу, ни в воде фитилем. И оказалось все как положено. Как у рудничных вскрышников, как сама она со стариком-покойничком, светлая ему память, закладывала, когда доводилось в заливных лесных озерцах оглоушивать матерых щук.

Спички и трутовое кресало тоже проверила. Хорошая искра, и трут сух. Тлеет во всю головушку. Теперь только дождаться до без четверти. Сделает свое дело и пойдет к своей товарке по целительным корням и травам. Придет и умнехонько наврет ей, что в последний час каждого пятого года, раз в пять лет, в каждую пятую молодую лиственку входит отгонная сила от потери памяти. И даст ей с десяток верхушечек на пробу, и пожалобится, что лиственницы не растут в шало-шальвинских лесах.

Уложив все, как было, в зимбель, засыпав мерзлой окуньковой мелочью свою взрывную смесь, Мирониха закурила маленькую трубочку и принялась ждать.

Ждали и гости во дворце, глядя на большие стрелки старинных акинфинских часов. Они сверены по телефону, появившемуся в Шальве два года тому назад. Затея была дорогой. Но Платон Лукич подсчитал, что дороже стоят беганье людей и потеря времени. И в течение года были связаны все цехи заводов и квартиры нужных людей, в том числе и мастеров, через центральную стан-

цию на сто номеров. Теперь увеличивали ее до двухсот.

Шальвинская почта сверила по телеграфу часы, так что все было из тютельки в тютельку до десяти секунд, на которые никто еще в те годы не мерил время, кроме докторов, считавших пульс.

В цирке уже закончено представление и розданы сороковки и сайки с икрой. Сорокаведерная бочка с золотыми обручами готова к выкату. Родион Скуратов перешел из дворца в цирк и набело зубрил поздравительную здравицу, написанную Платоном.

В центре арены установлена «царь-пушка», которая выстрелит разноцветными огоньками и также разноцветными листочками с надписью: «1 января 1906 года».

Председатель Кассы Александр Филимонович Овчаров был затейливым и дошлым выдумщиком. Листок и полушки не стоит, да дорого будет оценено на его обороте поздравительное обещание:

«С Новым годом, шальвинцы! С новыми заводскими радостями! С новой прибавкой платы! С новыми обновками в семье!»

Вышли уже на арену два шута. Один гороховый (техник из литейного цеха), другой бобовый (табельщик из завода кос). Оба они истошно спорят, кому палить из пушки. Овчаров, пропустивший до этого три маленьких, миря их, говорит:

— Послушайте меня, шуты гороховый и бобовый. Тому палить, у кого часы не забегают и не отстают. Проверьте их.

Шуты вытащили часы по тарелке величиной, стрелки которых и на галерке видны. У одного девять, у другого три часа.

В цирке заливистый хохот молодых и смех до кашля стариков.

Шуты принялись заводить часы. Один — амбарным ключом, другой — тележным. Одни часы, заведясь, застучали по-кузнечному, из вторых повалил сизыми клубами дым.

В цирке восторженный рев, оглушительный хохот. И вдруг... Вдруг все смолкает. Где-то под куполом цирка послышался первый удар невидимого колокола громкого боя! За ним второй!

Везде, на всех колокольнях, башнях и каланчах Шалой-Шальвы, минутой позже, минутой раньше, колоко-

ла отбивали двенадцать часов. Отбивались они и на каланче завода Антипа Потакова.

Перед двенадцатым ударом прислужник цирка вручил шутам пылающие стебли-факелы: одному — гороховый, другому — бобовый. При двенадцатом ударе факелы поднесли к пушке.

Замер цирк! Мгновение — и пушка глухо выстрелила в зенит. Сноп разноцветных огней! Туча сверкающих в огнях листочков!

На арене в праздничной одежде, торжественный Родион Скуратов, главный управляющий всех шало-шальвинских заводов, сын кузнеца и внук кузнеца. Он подымается на трибуну в виде четырехскатной лестницы, на каждой ступени которой обозначены цифры лет, начиная с 1902 года, памятного в Шальве появлением молодого хозяина и переменами в заводской жизни. Лестница кончалась площадкой с надписью: «1906 год».

— Господа рабочие, мастера, техники, инженеры и все присутствующие...— начал заученно и громко Родион.

Такую же здравицу, с некоторыми изменениями, провозглашал во дворце Платон Лукич. И всем было весело и во дворце, и в цирке. Хлопание пробок, выстрел новогодней золотой «царь-пушки» не заглушили бы, если б и могли, протяжный, глухой рев взорвавшегося динамита, будь этот взрыв в пяти — семи верстах. Он же произошел за двадцать.

Потаков, упиваясь звоном бокалов и шампанским, и в сотую долю не мог представить того, что произошло. Он не узнает об этом и час спустя. Шальвинский телеграфист, приняв все поздравительные телеграммы и отправив их с доставщиками, решил самопоздравиться одной из присланных бутылок благодарными за телеграммы шальвинскими господами.

Напрасно аппарат Морзе настойчиво выстукивал условные позывные Шальвы: «ШЛВ». Телеграфист спал. Наконец аппарат разбудил его. Встрепанный, он с трудом переводил в слова тире и точки.

Телеграмма извещала: «НЕМЕДЛЕННО РАЗЫЩИТЕ ПОТАКОВА У НЕГО ДОМА ВЗРЫВ». Подписи, как и адреса, не было. Телеграфист знал, где Потаков встречает Новый год.

Посыльных уже нет. Бежать самому и оставить де-

журство нельзя. Трезвея от волнения, он вспомнил о телефоне и бросился к нему.

— Центральная станция, экстренно, первый номер, громкий звонок к самому.

Телефонистка, бодрствовавшая в эту ночь, разъединила Платона Лукича с поздравлявшим его дежурившим по заводу инженером. Платон, сделав ей замечание, услышал голос:

— Платон Лукич... Беда... Пришла телеграмма о взрыве дома Потакова...

Акинфин попросил несколько раз перечитать телеграмму и приказал телеграфисту немедленно выяснить, какой взрыв, что взорвано, есть ли пострадавшие, и просил незамедлительно позвонить ему по телефону.

Долго раздумывал, сказать или нет об этом Потакову и как сказать... Может быть, это злая ложная весть под Новый год? У Потакова было кому это сделать. Он умел прижать и любил недодать, пообещать и не выполнить обещанного.

Ко всему этому во дворец пришли ряженые. Человек двадцать. Во главе с Овчаровым в облике Кащея Бессмертного, с казной в кошеле — с шоколадными рублями, обернутыми в тонкую золотую фольгу. Таких рублей «начеканили» тысяч с пять и завтра будут продавать по пятачку в пользу Кассы, а здесь господам рубль за рубль или кто сколько может «в кружку».

Нигде Овчаров не упускал возможности добыть лишнюю копейку для своей Кассы. В ней была вся его жизнь, весь он и все, что составляло смысл и цель его существования. О нем особо и подробно еще будет сказано. Теперь же послушаем, как деликатно и мягко предупредил Платон Потакова:

— У вас, Антип Сократович, что-то дома неладно... Поговорите, пожалуйста, с дежурным телеграфистом.

Долго добивался подробностей Потаков. Одних нет дома, другие легли спать. Его беспокоило, что с домом, что с сыном. Наконец удалось выяснить, что дом цел, сын спит, а завод уже невозможно спасти. Взорвана плотина, вода и лед смывают, срезают все на своем пути.

О жертвах Потаков не спросил. До людей, как заметил Платон, ему не было дела, и Акинфин попросил «состучаться» по телеграфу и спросить о людских потерях. Выяснилось, что пострадал только караульщик-старик, да и тот, благополучно отрезвев, выплыл на льдине в

луга и теперь сушится у псаломщика, отпаивается от простуды белоголовочной и закусывает солеными груздями и рыжиками.

Платон не мог сдержать улыбки, а не сдержав ее, устыдил себя за радость, которую он испытывает. Так нельзя!

Можно радоваться краху врага, честно выбитому из седла на турнире конкуренции. Можно выпустить соседа-заводчика в трубу и «растянуть» его, но все же «не как-нибудь, но в строгих правилах искусства».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Это же подтвердил Платон за утренним завтраком, сказав Скуратову:

— Можно, Родик, в борьбе применять все приемы. Снижать в убыток себе цены. Нарушать сделку и уплатить неустойку. Опередить рекламой. Но ломать станки, мстить за это взрывом и гибелью завода — это безнравственно и подло.

— А думал ли, Платик, о нравственности он, подкупая Сережку Миронова?..

— Во-первых, Родик, это не установлено, а во-вторых... Во-вторых, не следует устанавливать.

— Почему, Плат?

— Далеко пойдет. И тень неизбежно падет на кого-то из наших рабочих. А это сделали они или кто-то из них... И когда это докажется, виноватым будешь ты или я. Или оба вместе. Где Сергей Миронов?

— Он в механическом встречал Новый год. И, часок соснув, снова бьется, чтобы как-то собрать из пяти станков два.

— И он не отлучался?

— Ты что-то, Плат, совсем не то...

— Я спрашиваю: отлучался или нет?

— Нет! Все шестеро не отлучались!

— Слава богу, Родька! Налей в таком случае и мне...

Наливал и пил в своем доме Потаков. Ему нечем, кроме вина, было утишить боль. Завода больше нет! Не будет средств восстановить его и промытый зев плотины сажен на двадцать или больше. Все нужно заново. С основания. Это не сто тысяч и не двести и, может быть, не миллион. А у него на счету нули, а впереди неоплаченные векселя да безвексельные долги.

«Заманил проклятый Платошка иностранщиной. Зачем было улучшать хорошее? Зачем было гнаться за лишней прибылью? Жил бы и жил в припряжке у Акинфиных. Коренником захотелось быть в своих оглоблях. Вот и выходит, что лучше быть живой кобылкой-пристяжкой, нежели дохлым жеребцом. А я заживо мертв? Что я теперь? Куда я? В маркеры разве что...»

Чем больше пил, тем глупее городил Антип Сократович. Жена умоляла его не растравлять себя и утверждала, что живым маркером быть куда лучше, нежели умопомраченным заводчиком.

И он внял ей. Внял тем более, что пришла и потребовала разговора Мирониха.

Понял теперь Потаков окончательно, где надо искать конец этой нитке. Теперь он был твердо уверен, что это Сережкиных рук дело. И, не ответив на «здравствуй» Миронихе, он спросил:

— Где злодей?

— Где? Он насупротив меня в кресле сидит,— ответила Мирониха.

Потаков рассвирепел, да тут же погасил в себе свою горячность. Теперь тише надо держать себя. Если он за Сережку возьмется, Сережка за него примется и выложит полторы тысячи подкупных. Тогда не только банкротство, но и острог. А проверить все же хотелось.

— Где Сергей Прохорович? Садись, Анна Петровна...

— Так-то лучше, Антип Сократыч,— сказала Мирониха, садясь в кресло напротив Потакова.— Где же Сергушку быть, как не в цехе... Что же делать ему, как не искупать грех?

— А в чем он грешен?

— В том же, что и ты. Только он сразу перед богом раскаялся, и бог надоумил его клин клином вышибить. А ты — нет. И бог покарал тебя во сто крат горше. На то он бог... Еще не поздно. Отдай нам свои винтовые станки...

Потаков опять занялся огнем гнева и опять угасил его, затем спросил:

— А где их взять? Смыло же все водой...

— А они не смытые. Как стояли, прианкеренные, так и стоят.

— А ты откуда знаешь?

— Была на измывине. Видела. Я ведь знаю то место, где их Сергушок устанавливал. Зачем они тебе теперь?

Ржа их съест — кому польза? Продай! Деньги-то ой как нужны тебе, обездоленному.— Тут Мирониха перекрестилась. Это она умела делать истовее старой скитницы-начетчицы. Умела креститься по старому и новому обряду, смотря где и как истиннее.

— Велю отдать. Не позабудь у своего божка добиться выплаты. Он знает, что стоят станки.

Сказал так Потаков, плюнул и вышел из гостевого зальца, а потом, вернувшись, спросил:

— А тебя-то, старая, каким ветром задуло к нам?

— Тем же! Винтовым вихорьком. Внук ведь... Жалко мне его, если он в острог сядет, хоть бы и с твоей светлостью в один каземат.

Теперь Потаков плюнул смачнее и зашалялся. Не то красное вино, не то кровь пошла горлом. Мирониха пушинкой вылетела. И как не бывало ее.

Ведьма! Другим словом ее и не верящий в нечистую силу не назовет.

Не прошло и часа, как Сережкин дружок, тоже из пусковиков, отвинчивал у станков те части, которых недоставало шальвинским винтонарезным станкам. Он до гаечки знал, что было поломано. А было поломано одно и то же у всех — резьбовый механизм. И все это можно было сложить в один ящик и свезти на санках, какие пользуют рабочие при малой покупке муки, бараньей тушки или чего-то там, что несподручно тащить на горбу и легко доставить на самодельных полозьях.

Старухе не под силу было тянуть за собой санки за двадцать верст, а Сережкин дружок это сделал запросто. На одни лыжи ящик, на другие сам. Обходной дорогой в сумерках привез два-три пуда стальных частей, которые были дороже золотых. Ему теперь что. Завода нет, а работать надо. Вот и получит хорошее место на законном основании. По всей Платоновой нравственности. Он же не переманенный, не сбежавший, не позарившийся на большой рубль, а потерпевший бедствие, впавший в безработицу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Следствие не установило виновника прорана плотины. Даже сомневались: взрыв ли это? Все были пьяны. А протяжный взрывной звук — это не доказательство. Без взрывного гула никакая плотина не рвется. Это же

не ивовый плетень ломается. А перемычка со всеми ее сооружениями из крупных бревен и с тяжелыми запорами. Теперь в размытом прогале даже нельзя было установить, в каком месте была прорвана или сама прорвалась старая, давно не подновляемая плотина.

Из пришлых в эту ночь также никого не могли назвать, кроме двух молодаек из Нижних Серьгов, да старухи Мироновой. Ни одна из них не могла учинить взрыв, который взбрел на хмельной ум. А уж про старуху Мирониху и думать нечего. Ей же семьдесят два годика. Да и как ей суметь это сделать? Сила же нужна, смелость, а главное — умение. В таком разе нельзя было не взлететь самой, а она цела. Зачем предполагать ерунду?

И никому не пришло в голову то, что известно нам, и то, что было тогда.

А тогда было так.

Посмотрев на свои часы, Мирониха за десять, может быть, за восемь минут побрела к плотине. Во всех домах, как и думала она, свет. На иных занавесках окон тени сидящих за столом, пляшущих, поющих... Все сидят дома в этот час. На улице и собак не слыхать. Мороз загнал и пустолаек туда, где потеплей.

На плотине Мирониху взяло сомнение: обрублен ли лед у плотинных запоров? Если нет или понапристыл новый, тогда не управиться ей. Самой не прорубить наледь, а поверх льда «пороховой студенек» не взорвется. Сгорит — и все. Ему нужно стеснение — земля, шурф в камне или вода...

Дошла. Лед обрублен. Слава тебе, господи! Теперь окуньков долой. Спичку ширк. На плотине тишь. И малый ветерок запрятался в снег. Не дожидаться же, в самом деле, колокола на каланче.

Вытянула из зимбеля конец шнура. Закрыла полой шубейки послушный огонек, подожгла шнуровой фитилек — и в воду зимбель, под самый запор, а сама... Нет, нет, не давай бог ноги, а тем же мелким шажком поплелась через плотину. Фитилю в воде гореть добрых пять минут...

Прошло меньше. Ахнул студень. А она и не оглянулась, будто до того глуха, что не слышала этот адовый вздох. Мало ли, подсмотрит кто-то и подумает не то, что желательно.

Добралась до товарки, а та девятый сон видела...

Вода хлынула сразу же. С шумом. Те, что были на заводе в карауле да при плавильной печи, поняли, что произошло. Так и думала Мирониха. Знала она, что если есть кто-то на заводе, то не оплошает. Не из берданки выстрел.

Покинувшие завод бросились полошить народ. Но и до их вести набежало множество людей с обоих берегов. Трезвеет народ на глазах. И те, что шагу не могли ступить не пошатнувшись, вкопанно стояли на земле.

А вода все пуще и пуще, шумней и шумней. Просевший лед у края промоины начал ломаться и тоже стремительно пошел в прогал плотины.

А завод, как и всякий старый уральский завод, в яме. Ниже плотины. Будь бы это в вешнюю, безледную пору, может быть, и устояли многие стены цехов. Теперь же не только деревянные строения, но и кирпичные — льдины слизывали, состругивали за миг.

Такая скорость. Такое падение воды. Более десяти сажен плотинная высота. Водопад!

Чем шире проем, тем крупнее лед. Из трех кирпичных труб устояла одна, да и та, качнувшись, как пьяная гулящая баба, рухнула. Железные трубы держатся. Плавильная горячая печь с шумным кипом взорвалась. Так, наверно, извергаются только вулканы.

Проседает лед и на середине пруда. Глазастые охотники заметили ошалевших волков. Тройка на одной льдине, четыре на другой. И обе льдины тянет к плотине. Кинулись за ружьями. Да только зачем? Если и убьешь, то как добычу выволочь?

Волки ближе и ближе. Скачут с одной льдины на другую, чтобы подальше от людей. Какое там!.. И дальние льдины к плотине тянет.

Бросились на гибнущий завод глядеть, а волками занялись. Волк хоть и разбойник, лютый враг, а все же живой зверь. Их уж совсем близко притянуло к промоине. Теперь перескакивай не перескакивай, все равно каюк.

Совсем близехонько звери. Рядом. Был бы сак, так им бы можно изловчиться и поймать, когда их совсем рядом по промоине понесет. А их не понесло. Как только учуяли они обмелевший у плотины берег, прыг на него — да вдоль берега во всю волчью прыть.

Одного только, видать, самого старого, затянуло вместе с льдиной в поток, но и тот волчьей сноровке не из-

менил. Сумел на откос промоины скакнуть — и вверх по нему на людей. Люди в визге и страхе расступились, а ему только того и надо. Метнул между расступившихся людей — и дёру по плотине, потом по большой улице — и в лес.

Вскоре надоело стоять и мерзнуть. Стой не стой — завода не вернешь. Воду тоже не остановишь. А ждать, когда весь пруд вытечет, и двух суток мало. А дома не допито, не доедено. На морозе хорошо отрезвели, теперь опять можно опьянеть. Нет худа без добра.

Так и пропьянствовали до первых петухов. Потом соснули до третьих. А когда посветлело, людей опять на пруд потянуло.

Рыбу-то, пожалуй, не всю через плотину унесло. Поживиться кое-чем можно.

Так и было.

Дно у пруда не как у блюдца. Есть впадинки, выемки. И, пока они не застыли, рыбешку надо выловить, кто чем может.

Больше всего рыбы оказалось на лугах. Разлетевшаяся вода заставила осесть снег, а местами смыла его. Рыба осела и осталась в углублениях, а то и померзла на обледеневших луговых просторах. Дети и те набирали полные грибные корзинки мерзлой рыбы.

На луга вынесло не только рыбу, но и другую поживу. Ниже плотины стоял не один только завод, были там и склады с товарами, и подсобные заводские строения. Сюда весной, а иной раз и осенью по большой воде заходили мелко сидящие суда. Так что было что найти и кроме рыбы.

Никто не выяснял, не считал и не преследовал этих малых потерь и находок. Это так же было второстепенно, как и волки на льдине. Они привлекли внимание жителей и заставили на какие-то минуты отвернуться от завода и следить, что произойдет с этими лесными хищниками.

Помогал и хмель не задумываться о завтрашнем дне. А он наступит, и придется встретиться с ним, увидеть его трезвыми глазами. Что станется тогда? Что?

Гудок не позовет на работу. И люди поймут, что они лишились и того малого заработка, который был. И начнется самое страшное для коренного, оседлого рабочего, привязанного к родному заводу домом, хозяйством, домашней живностью. Начнется злое, голодное безделье.

Этого не представляла, да и не могла представить темная старуха Мирониха. Не представляют этого пока и другие светлые головы, опохмеляя свой затуманенный разум...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Через два дня Потаков помчался на поклон к Платону Акинфину.

Выревевшись, Антип Сократович предложил купить винтонарезные станки.

— Я знаю... они очень нужны вам, Платон Лукич.

Платону Лукичу станки были уже не нужны. Каким-то чудом пусковик Миронов привел в полный порядок четыре станка, и они работают полным ходом. Платон не знал, а может быть, и не хотел знать, как произошло это чудо.

Видя, что Потаков вынужден крохоборничать, Акинфин, не спрашивая цены, купил станки, приказав по телефону бухгалтеру заплатить ту сумму, которую назначит Антип Сократович.

Платон не предполагал, что он приобрел станки без их «внутренностей». Не знал и Потаков, что он продал неработающие станки. Но если об этом и знал Платон, он все равно бы сделал это бессмысленное приобретение. Коли люди радовались спасению от неминуемой гибели волков, то Потаков был всего лишь «про-волк», и притом очень наивный, недалекий, а может быть, глупый, даже не «про-волк», а «про-осел». Ему хотелось дом в Петербурге, виллу в Крыму. Это было естественно для человека, который стремится выглядеть богаче, чем он есть, чем он может быть...

У него ли одного такое неравнодушие к величию? Так поступают почти все промышленники его ранга.

Потаков же думал, что Акинфин законченный волк или еще более страшный хищник, но все же благородный или играющий в благородство. Убежденный в этом, он предложил ему купить руины завода.

— Там, оказывается, не все разрушено водой и льдом. Сохранилось три четверти станков,— утверждал он,— а те, что смыты, не могли уплыть далеко. Они вмерзли в обледенелый снег. Сохранилась добрая половина стен, особенно старых, толстых...

На это Платон ответил прямо:

— Мне трудно дать то, что сто́ят останки вашего за-

вода. Сколько бы я ни уплатил, все скажут, что я воспользовался бедой и уплатил гроши. Но если бы я пренебрег мнением других, то зачем, Антип Сократович, мне старые станки, старые стены, старое все? Разве вы не видите, что я сношу прадедовские строения?.. И, признаться, был бы благодарен воде, если бы она помогла мне снести некоторые наши заводы, на которые не подымается у меня рука во имя дурацкого уважения к праху предков, и я вынужден производить невозможное оживление прахов многих цехов, подымать их стены, расширять оконные проемы, терпеть разбросанность заводов по воле рек и водных ресурсов, вкладывать средства в эти цехи, не нужные в век пара, на заре электрической энергии... Зачем это мне, Антип Сократович? Зачем?

— Я уступлю, Платон Лукич. Я продам очень дешево.

— Значит, вы ничего не поняли, Антип Сократович.

— Мне нужно рассчитаться по векселям и уехать. Это меня наказал бог за мои грехи... Я готов уступить завод совсем за гроши... Такой пруд... Правда, его уже нет, но будет на следующий год... А лес есть. Он цел... Превосходный строевой лес и такой населенный... Одних глухарей...

Платон прервал громко и властно:

— Значит, вы никогда не поймете меня... Вы в этом смысле, извините, тоже глухарь, способный слышать только свое — еще раз извините — бормотанье. На этом и завершим переговоры о купле и продаже... Если хотите отобедать с нами, то приглашаю вас.

— Благодарю, благодарю, я лучше пройду к вашему бухгалтеру...

Платон, очень редко прибегавший к вину, попросил водки. Сегодня ему предлагали купить уже второй завод. Приходила вдова Кузьмы Гранилина. Платон устыдил ее:

— Повременили бы вы, Зинаида Сидоровна, хотя бы сорок траурных дней и дали бы его душе предстать перед престолом всевышнего.

Гранилина, игриво хихикнув, ответила:

— Он уже предстал перед котлом с кипящей смолой дьявола. Это для меня всеравнешенько, Платон Лукич... Только поимейте в виду: ежели вам не желателен мой завод, найдутся и другие желатели. Я-то хотела вам. Вы-то надежнее — в смысле без надува... Я же одинокая.

Притом еще свежая. Меня и вокруг да около легошенько можно обмишурить...

— Все! — так же решительно оборвал разговор с Гранилиной, как тремя часами спустя он это сделал с Потаковым.— Если вам, Зинаида Сидоровна, нужен кров или деньги, Овчаров не оставит вас.

— Спасибочко за неоставление! Я тоже не оставлю вас... Мой хоть и был, прямо скажу, иродом, все-таки он осатанел не без вашего замочного угнетения. Женщине и раньше рот заткнуть было трудновато, а теперь, при дарованной царем свободе, и подавно...

Гранилина, охально сверкнув юбками, ушла, хлопнув дверью.

Платон, оставшись один, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Я бы ее принудил не только постричься в монастырь, но и заточил бы в пещеру...

Здесь нам придется остановиться и вернуться к истоку повествования, а до этого признаться, что наиболее насыщенные событиями главы опередили вступительно-экспозиционные описания, без которых нам не обойтись.

Мы не минуем истории возникновения Шалой-Шальвы, а вместе с нею династии промышленников Акинфиных. Нам не будет понятным, почему характеры и поступки главных действующих лиц такие, а не другие, если мы не познакомимся, хотя бы бегло, с их биографиями и условиями, в которых возвышались или падали их души.

Рассказывать истории, биографии, давать архивные справки всегда утомительно для пишущего и читающего. Но иногда можно пойти друг другу навстречу, на взаимные компромиссы. То, что принято писать строго и педантично, можно окрасить юмором, как и то, что читается с напряжением, можно прочесть с доброжелательной снисходительностью.

Пусть сказово-иронический роман не водевиль, но характерное для него настойчиво будет вторгаться в жизнь Шалой-Шальвы, при всей драматичности событий едва ли можно будет не отдать дань сатирическому высмеиванию и откровенному памфлету.

Итак, возвращаемся в прожитое, с которого и следовало бы начать наше повествование.

ЦИКЛ ВТОРОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Зазывно-приветливо улыбается Луке Фомичу Акинфину синее январское небо. Весна еще далеко, а позолотевшее солнышко старательно озаряет Шало-Шальвинские заводы счастливого отца и благополучного хозяина фирмы «Акинфин и сыновья». И он в это утро радостен и благостен, как небо и как земля и как все сущее на ней.

Светлым-светло-светлешенько в родовом дедовском дворце. Два света, два солнца в помолодевшей душе Луки Фомича. И как им не быть...

Исправно дымят все двадцать семь его заводских труб. Скоро прибавятся еще две. Для круглого счета недостанет одной. Задымится и она. Самая превысокая из всех ее кровных сестер, на зависть окрестным приземистым дымилкам с большими хайлами, да малыми тягами. Ну, так ведь по барину и говядина, по фабриканту и труба.

Боязливо, скаредно ставили свои заводы прижимистые уральские тузы. Держались за полушки — упускали тысячи. Норовили меньше вложить — больше нажить,

Ы-ых вы! Самоубийственные хапальщики, торфяные мозги! Положим, и ты, Лука Фомич, тоже смолоду не был падок на большую новину, а лишь по малости перенимал ее у башковитых заграниц. Тоже чурался скородельных станков, страшился и своего первого паровика. Стыдно вспомнить, как ты для безопасности выписал из Англии не одного машиниста, но и кочегара за веские золотые фунты. А оказалось, что и свой самый захудалый углежог может топить паровой котел за медные гроши. Знай только подкидывай да шуруй и не перегревай. А перегреешь — тоже на небо не вознесешься. Пружинчатый клапан сам, без тебя, лишний пар выпустит, и вся недолга.

Не ослом ли ты был, Лука, не простофилей ли?

Был и тем, и другим, да не полностью. Не у кого-то, а у тебя, чуть не у первого по всей округе, задымила паровая фабрика. И ты, а потом через тебя заводчики поняли, сколь проворнее и прибыточнее пар, нежели его

родимая матушка вода, выпарившая из себя в железном дому, в котельном терему могучего горячего богатыря.

Поняли, да не все переняли. А отчего?

Оттого, что не на одном Урале ведется: своими глазами глядеть, а дедовским затылком видеть. И ты, Лука, тоже попервоначалу был недужен таким же устройством своего маловидения. И кто знает, как бы долго ты оставался таким, если бы не Платон.

«Все началось с тебя, Платон. И я, породивший тебя, сызнова появился на свет тобой, мой Тоник-Платоник. Не счастье ли это, не радость ли — повторно жизнь начинать в сыне своем?»

В таких мыслях благодушествовал Лука Акинфин, возлежа на сафьяновом полудиванчике с откидной спинкой. Любил Лука Фомич лакомиться кондовыми словесами. Обожал, словолюбец, размышлять и говорить складно, премудро, узорчато. Знал старик цену и место златокованым речениям и в разговорной строке, и в строке, писанной новомодным стальным пером. Не сторонился он и салонных «лексий», как гундосых, а равно лающих. Без них нельзя, как и без белой жилетки при визитной нарядности. Миллионщик от тысячника не одними деньгами высится, но и всем прочим — от модных обуток до нашейных удавок.

Снадобилось Луке при его заводской коммерции постигать и сухопарое, без единой кровиночки, торговопромышленное краткословие. Оно хоть и мертво, как телеграммные точки с черточками, зато укладисто. Для конторы иного и не надобно. Там больше цифирь требуется. Она разговор ведет, и слова при ней как лакеи при барине — прислужная «лексия».

Какая она там ни будь, а без нее и пуда чугуна не продашь, самой последней машинёшки не выпишешь.

Всякие слова нужны. И румяные. И багряные. И медовые. И дубовые. А дома, для разговора с самим собой, все они хороши. Какие хочешь, те и нижи на потаенную нить. А коли весело, плети из них забубенные, только тебе ведомые кружева. А чтобы лучше низать и вязать сокровенное, прелестно налить вторую утреннюю бирюзовую рюмашоночку. Вчерашнему хмелю, видать, одной-то мало. Да и тебе, господин Акинфин, вторая не помешает воспарить в мечтаниях выше облака и подивиться с высоты на свои владения.

Благодать!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Лука Фомич потянул рычажок с белым костяным набалдашничком, и спинка полудивана выпрямилась. Такое устройство. Как тут не похвалишь город Берлин, который любит брать большие деньги, но не заставляет раскаиваться уплатившего их.

Возлежавший Лука Фомич, оказавшись восседающим, наполнил свою золотую, бирюзово-эмалевую, выпил, закусил малосольной кетовой икрой и принялся думать о прожитом.

Прожитые годы были тревожны заботами, суетны хлопотами заводской круговерти своих норовистых, разномастных, грохочущих и многолюдных извергов. Малая мельница и та может перемолоть своего мельника, если его душа охладеет к ней, если он перестанет вникать в каждую ее пустяковину.

А завод?

Не чертее ли он дюжины чертовых мельниц? Это один завод. А у него их не два и не три...

Разумей бы бог самую малость в заводском деле, он бы прижизненно уготовил место в раю многострадальному заводчику. Загодя простил бы все его вольные и невольные прегрешения за то, что на этом свете он мученически кипмя кипел от безбородой юнины до торопливой седины в адовой купели. Терпеливо кипел и не обуглился. Мало того — без единого ожога, живешеньким-здоровешеньким вышел из этого пекла. За это и стопудовую свечу мало поставить.

Только кому?

Кому, в самом деле, положа руку на сердце: богу или Платону?

Тут Лука торопливо перекрестил рот, затем нарядную бирюзовую рюмашоночку и, погрозив ей пальцем, сказал:

— Теперь ты поможешь мне воздать богу богово, Платону Платоново, а мне мое.— Он выпил налитое из второй бутылки с большим колоколом на этикетке.— Так звончее будет разговор.

В его голове в самом деле зазвенело веселее и раздольнее. Один колокол перезванивал, другой. За ними третий, четвертый, пятый... Вся колокольня и шустовский коньячный колокол на этикетке славят не господа, а его первенца Платона Лукича Акинфина.

Сто́ит того Платон! Подумать только... Все восемь заводов без передыха, но и без былой натуги умножают и улучшают свои новые и свои старые изделия.

Как только может Платон, не останавливая работ, на ходу, преображать устарелое? Не сбавляя доходов, не влезая в долги, выписывает самолучшую цеховую оснастку. Не боясь прогаров, широко платит своей и привозной инженерии. И не только при этом покрывает аховые траты, но вертает их скорешенько, прибыльно. Другой раз Платон и сам диву дается, когда ожидаемый поздним успех приходит рано и выгодно.

Не этого ли хотелось и тебе, Лука?

Х-мы! Хотелось гагаре сыграть на гитаре, да лапки коротки... А у тебя, Платон, до всего и руки достают и ум доходит.

До всего!

Не слышно и ропота мастеровых. Бывает, конечно, всякое... Но минутно! Раз-два — и гасится! Когда надбавленным рублем, а когда и таким советом, что ни в какие талеры его не переведешь.

Лучшего и не придумаешь, а он придумывает. Проповедует и добивается равновесия.

Лука Фомич задумывается и начинает вспоминать: откуда взялось и как заползло в умную голову это неостановимо влекущее Платона равновесие?..

Лука Фомич вспомнил давний вечер в честь приезда из Лондона обучавшегося там Платона. Не раскрывая своих дальних задумок, он сказал тогда:

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Господа! Успехом, от которого зависят все успехи промышленного предприятия, является справедливое, добропорядочное взаимное отношение работающих и предоставляющих работу. Нанимаемых и нанимателей...

Его программная речь прозвучала тогда тостом. Он тогда еще выглядел юношей, кто-то не понял, кто-то принял за «умствование» развиваемую им идею «гармонического равновесия взаимностей». Ему же хотелось, и он отбирал самые точные выражения, чтобы его поняли глубоко и серьезно, как много будет значить для Шало-Шальвинских заводов забота о работающих на них и как скажется внимание к ним.

Лука Фомич в тот памятный вечер, где им был пред-

ставлен Платон главным лицом фирмы «Акинфин и сыновья», по-своему уловил смысл речи сына — как верность истине, его любимой пословице: «Не гони коня кнутом, а гони его овсом».

Так по силе возможности и старался поступать Лука, стремясь дать рабочему человеку лишний рубль, помочь построиться, купить коровенку. Случалось, и ссужал надежных мастеров, а тех, что заслуживали, награждал. Не ужимал, как другие заводчики.

Поэтому и бунтов у него почти что не было. Требовали, конечно. Предъявляли. Что мог, то давал. А чего нельзя, объяснял по-хорошему. Сам. Не через управителей. Не хоронился от рабочих, не прятался, как тот же Молохов или Потаков. И он понимал, и его понимали. Особо большой взаимности не получалось, да и получиться не могло. И откуда ей быть? У всякого руки к себе гнутся. Но как они ни гнись, всегда для них можно нужный выгиб найти. И Лука его находил. Платон тоже находит. Но ему мало найденного. Благодарить бы ему судьбу за тишь и гладь. Молчат, терпят, не требуют — и чего же хотеть большего? Какое же может быть равновесие, когда его и у самого бога нет?

Выпитое позволяло Акинфину излишне вольные сопоставления неба и земли.

У господа, как оказалось, ничуть не краше, чем в любом другом царстве-государстве. Одни угодничают перед престолом всевышнего и правят от его имени. Преславно живут в райских кущах и чтутся по чинам: архистратиги, серафимы, херувимы, архангелы... Эти уже помельче и как бы на посыльной работе при нем состоят. Но тоже не бедствуют... А простые-то, не об осьми, не о шести, а о двух крылах, слуги господни каково живут? Им поторжным поденщикам позавидовать впору. День-деньской на грешной земле, без свистка на обед, трождаются. И ночью не всегда спят. И как спать, когда круглосуточно людские души надо стеречь. В темноте-то еще горше приходится. Бесы выходят на свой злой промысел. И такое вытворяживают, что до рукопашной дело доходит. А всегда ли посильно кроткому белому ангелу единоборствовать с черным мохнатым рогатиком? Не одна чертова шерсть, а, надо думать, и ангельские пухперья летят. При этом не всегда, это уж точно известно, ангелы берут верх. Не чаще ли бесы их под себя подминают?..

Не-ет! Не может быть на земле равновесия, если его нет на небе. Кощунственно же, в самом деле, думать: бог не мог содеять его, а Платошка Акинфин может. Ему это не внушишь, ибо он своему богу молится, а предостеречь надо...

Предостеречь надо не изустно, а писанно. Памятно. Назидательно и для него, и для внука Вадимика.

Лука Фомич принялся крутить маховички у подлокотников, и сафьяновая берлинская диковина покатилась через зал туда, где хранилась самая главная из всех книг, именуемая «Поминальный численник».

В «Поминальный численник» имел право записывать о деяниях заводчиков Акинфиных старший из продолжателей рода. Теперь им был Лука. За ним будет Платон. О нем-то и ему-то хотелось Луке Фомичу написать предупредительные страницы.

«Поминальный численник», начатый дедом Луки Фомича, Мелентием Диомидовичем Акинфиным, замышлялся на долгие годы. Пятьсот пронумерованных листов, переплетенных в толстую кожу с окантовкой серебром, превратились в большую, тяжелую книгу. На ее лицевой обложке вычеканенные из мягкого червонного золота буквы, приклепанные к ней, составили название книги: «Поминальный численник славного заводского рода господ Акинфиных».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Книга хранилась в окованном фигурном ларце с двумя замками — потайным, в его днище, и висячем, изображающим двух сцепившихся соболей.

После титульного листа, повторяющее пространное заглавие яркой киноварью, шло предпослание, озаглавленное: «Размыслительная проспекция о древних и новых знатных родах российских, об их затухании и нарождении».

С первых, вступительных строк видно, что пишущий Мелентий Диомидович Акинфин принадлежал к людям бывалым, знающим и, несомненно, «размыслительным». Нескрываемо желая прославить свой род, он считал справедливым и обязательным провозглашение нового высшего сословия, приравненного к дворянству.

«Что есть дворянство? — вопрошает он.— Дворянство



есть высшая знать, порожденная крестьянством и поставленная над ним».

Утверждая так, Мелентий Акинфин пространно рассказывает, как это произошло «в стародавние и плохо памятные времена», как дворянство, сиречь придворные советчики царя, стало вершить и править государевы дела.

О царе и царском доме у Мелентия Диомидовича особо почтительные строки и всеподданнейшие выражения. Но при этом говорится, что «и царь не с неба сошел, а на пашне порожден».

Изложив это на пяти листах, Мелентий начинает новую страницу, ради которой и писалось все предшествующее ей.

Продолжение озаглавливается «Откуда заводчики пошли». А пошли они, оказывается, от кузнецов. Потому

что кузнец всему начало и от него все. И топор, и пила, и всякий станок, и все заводское обзаведение, а вместе с этим и сам завод начинался кузницей.

Не ходя далеко за примерами, первым уральским кузнецом им называется Никита Демидов, а за ним Акинфий.

«Не у наковальни ли началась его сила, не в кузнечном ли горне, а потом в доменной печи зародился его род, его новое сословие?»

После этих страниц перо Мелентия бежит веселее и непринужденнее, строка за строкой наращивает оно восхваление самородным чудодеям из работного люда, порождающим заводы.

Повторяя ту же версию о происхождении дворян из лучших пахарей, он смело и размашисто пишет:

«С кузнецов и начались, а начавшись, продолжались заводские роды и на Урале, и во всех краях и землях».

Оправдывая «самородность чудодеев», Мелентий Диомидович изрекает: «Не рождает орел галчонка, не вырастает из дубового желудя полынь, равно чудодей множится чудодеями в потомстве своем».

Видимо, не вполне уверенный в изреченном им, Мелентий Диомидович новую начатую строку: «Так великий род Акинфиных, не оскудевая в потомстве своем...» — зачеркивает тройной чертой и заменяет ее другой: «На сие указывает нам преуспевание преславных уральских родов, простого зачатия и неустанного восхождения в лучезарном сиянии».

Пред тем как перейти к «неустанному восхождению и лучезарному сиянию своего рода», Мелентий Акинфин предсказывает:

«Не допускает сановная знать признания заводских и промышленных родов и уравнения их с дворянскими званиями, а годы не токмо что уравняют их, но превозвысят в грядущем своим всесильным могуществом. Ибо не на одной земле, не на ржаном колосе будет стоять держава, а на заводах, на шахтах, на промыслах. И от них все богатства, вся сила и власть!»

Читая и перечитывая эти строки, Лука Фомич неизменно твердил:

— Кто бы и что ни говорил о малой письменной знаемости моего деда, а в уме никто ему отказать не может.

Суждения Луки Фомича оставим при нем, а свои при себе.

Взявшись за перо, Мелентий Диомидович на страницах «Поминального численника рода Акинфиных» оставил строки, в которых вымысел и правда слиты так искусно, что читающему едва ли захочется доискиваться, где быль, где небыль.

Начинает свою родословную Мелентий как сказитель. Напевно и красочно, с новой страницы. И на ней его же рукой написанные строки кажутся только написанными его рукой. Они отличны по своему строю и самим словам от всего предыдущего и последующего, написанного им. То, что Мелентий выделил и назвал «Быль про Акинфину Писанку».

Переписывая эти строки, будет справедливым опустить слово «быль», так как, по признанию самого Мелентия Диомидовича, говорится, что «в летописных и других бумагах не нашлось точных строк об Акинфиной Писанке, но найдутся они потомками нашими, ибо не может быть в вековой молве, как не может быть талым незамерзаемый родник без скрытого в глубине земли огня».

Словом, дыма без огня не бывает. Поэтому обратимся к «дыму», допуская, что какой-то «огонь» был причиной его появления.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Славен и знатен был род уральских первозаводчиков Демидовых, да измельчал. Зачах в чужих землях. Зачах, да не сгиб. Оставил на родной земле росточек-веточку от своих корней.

Из несчетного множества демидовских кузнецов один его туляк-земляк в первом десятке ходил. И до того звонко ковал, что и царю Петру о его работе слышно было. А самолучшей из всех его поковок была дочь. Маковее мака цвела. Чеканной статности первенка. Незнаемой гордости: всем от ворот поворот. Только один был ей мил. Так мил, что и жизнь не в жизнь без него, при солнце темно и в жаркий день холодно.

А он был деревом не по ней. Во всем не по ней. И по немалым годам, по глубоким корням и по своей высокой высокости. Выше его в эти годы никого не было в демидовском лесу, а она рядом с ним малая ягодка.

Не заметил бы он ее в зеленой траве-мураве, да она сама выглянула. Выглянула и ослепила его...

А было это в Троицын хороводный день. Все на луга высыпали. Прикатили туда в самый плясовой разгар семь троек. И на первой — он. Сам! Все в пояс ему. Хозяин ведь. И царь, и бог. Другого-то уж владыки, которого Никитой звали, не было в живых. Второй — Демидов Акинфий единовластным повелителем остался.

Хотел было и он, по обычаю, поклониться в ответ, да увидел, что одна из всех не поклонилась ему.

Он к ней:

— Как звать тебя, писанка?

А она:

— Коли назвал, значит, знаешь, как звать. Зачем спрашиваешь?

Ахнул народ. Стихли луга. Птицы и те смолкли. Быть грозе. Приспешники, что с ним прискакали, плетьми по голенищам похлестывают. Миг, только один миг хозяина — и тут же, на лугу, сарафан на голову своевольнице и айда, пошел крест-накрест по всем местам нахаживать березовыми хлесткими розгами.

Зря такого веселья ждали приспешники. Другое в хозяйских глазах ими увиделось. Свет!

Шагнул он раз, шагнул другой, а на третьем шагу в пояс кузнецовой дочери поклонился.

— Не прогневайся, Писанка, на мою неочестливость. Не угодно ли тебе будет, белая утушка, с матерым серым гусаком в хороводе проплыть, как с молоденьким селезнем?

А она ему напрямки и чуть не криком, чтобы все слышали:

— Давно угодно, давным-давнешенько, да заманить тебя в пляс мне не довелось. А теперь дождалась своего. Закружу, запляшу я тебя и себя жарче доменного огня...

Тут она схлопала, стопала... Хоровод плясовую запел и будто окрылил ее. То голубкой порхнет, то касаткой мелькнет, а то вспыхнет, как у сарафана рукава, и жар-птицей вокруг него... А он сам не свой. Будто ни единого седого волоса в бороде, а как ретивый конь о третьей весне. Аж земля гудит от его топота да в ушах звенит от его посвиста.

А хоровод все пуще да громче... А он да она — ни тот, ни другой спуску в переплясе не дают. Насмерть пля-

шут. И доплясались бы до нее, ежели б не любовь. Она-то и шепнула ей на ухо: «В уме ты? Он того гляди...» — и всякое такое прочее. Тогда она вскрикнула: «Охтимнеченьки, переплясал ты меня, сокол мой...»

И пала чуть ли не от бесчувствия, да не на луг, не на землю, а на руки ему...

...Допоздна плясала и пела Троица. До утренней росы молился Акинфий Демидов на свою Писанку. Много узнала в эту ночь молодая зеленая трава, а узнавши, смолчала, как и все до единого, кто был на лугу. Боязно было не смолчать.

Все молчали и после переезда отца-кузнеца и его дочери в новый дом. Промолчала об этом и летопись.

Какому писцу могло снадобиться, чтобы руку ему отрубили или язык собакам скормили!

Царь ведь! Для которого и в Москве не нашлось бы суда.

Однако ж не все, что молчится, не сказывается. Лицо сына Акинфиной Писанки бессловесно заговорило. Весь в отца уродился. От голоса до волоса. От глаз до последней приметинки. Не держать же парня за тыном, взаперти. А на люди как показать? Не в монастырь же заточать сына с матерью. А мог бы! И в Тулу выслать мог. Все мог, да отцовство не все дозволяло ему. Себя в нем любил. Даже имя свое передать хотел. Видеть хотел его. Хоть раз в году, да прижать к своей груди.

Долго терзался Акинфий. Кузнец его надоумил и указал глухие шало-шальвинские рудные места.

Все понял Акинфий. И помог срубить кузнецу дом, поставить кузницу и для первости небольшую доменку для сына заложить.

Не легко, но безбедно зажила Акинфина Писанка и ее сын Харитон Акинфин.

С него-то и начался род Акинфиных, боковой отток рода Демидовых.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Не поблагодарить Луке Фомичу за такой сказ своего деда Мелентия грех. Не поверить ему — еще грешней... А усомниться можно. Уж больно складна «Акинфина Писанка». Из всех листов, что были написаны дедовой рукой, эти три листа как бы с другого языка на бумагу перешли. И улика есть...

Знавал дед Мелентий речистого старика по прозвищу

Бабай-Краснобай. Сам он об этом говаривал. И в старушечьей молве про него тоже память осталась. Горазд был этот Бабай-Краснобай из ничего плести такие узорчатые побывальщины, что и большие господа ими заслушивались. А одна старуха будто бы знавала Бабаева отпрыска, и тот пересказывал, откуда Акинфины пошли. И слышанное смахивало на запись в «численнике». Смахивало, да не тем припахивало. Совсем не тем. Даже нос воротило.

Вот и гадай. Может, дедушка Мелентий приукрасил, может быть, и Бабаев отпрыск правду про Акинфину Писанку дегтем измазал. Так это или не так, а уж коли написано, пусть будет читаемо, чтимо и любимо.

Дальше листать сто раз листанную книгу не захотелось. Одна скукота. Кто кого породил, чем славен был порожденный и братия его, когда почил, кого оставил хозяином и что оставшийся сотворил, какой пруд запрудил, какой завод поставил. И опять снова здорово: родился, воздвиг, почил, чем, почивши, свое имя прославил.

Перелистнув прапрадедов, прабабок, их братьев и сестер, Лука Фомич задержался на листах, где дед Мелентий пишет о себе. Сто́ящие и правильные строки. Много Мелентий оставил памяти по себе. Много лил, ковал и плющил. Жалован был самим царем. Не обижен прибылями.

Первый в роду умножил родовую казну до миллиона рублей, а потом и далеко перевалил через него.

По кораблю и плавание, по плаванию и корабль. Построенный им дом назвал дворцом, который не обесславил бы и Питер, стой он там на самой разлучшей улице.

Честь и слава деду Мелентию, а памятника перед его дворцом так и не возвел ты, неблагодарный внук. Нехорошо, Лука Фомич, нехорошо обещать и откладывать с года на год! Теперь...

Не закончив мысль, Лука Фомич перелистнул еще несколько страниц и остановился, не желая того, на отце. На Фоме Мелентьевиче. Как живой, смотрит он на Луку со своих страниц, писанных им неопрятно, срыву с маху, сразу набело. Пропускает и буквы, и слова. Не всегда поймешь, что и к чему. Такова и вся его жизнь — без царя в голове, без тревог и забот о своих заводах. Всегда навеселе, и умер на веселом пиру от перепития до разрыва сердца.

Но и он, родимый его батюшка, тоже, можно ска-

зать, оставил по себе память в строениях. Одно из них не сразу и назовешь своим именем. Оно до того выпирало из заводской стройки, что Лука Фомич подумывал, не вырезать ли из «численника» отцовские самовосхваляющие строки об этом его строении.

Им был цирк.

Спервоначала, как пишет Фома Мелентьевич, цирк был тесовый, а потом на фундаменте и столбах, с настоящим куполом, как в больших городах.

Луку Фомича сердило, что его отец цирк описывал в таких доскональностях, которые уважающие себя и других люди оставляют при себе. Зачем знать, хотя бы ему, его сыну, не говоря уж о внуках, какие «фартовенькие, забубенненькие» были у него наездницы, канатоходки и акробатки, как они веселили его и дорогих гостей после представления на цирковой арене, приглашаемые на поздние ужины в господский дом...

Запомнились Луке Фомичу цирковые представления, даваемые для отца. Он один или с двумя-тремя заезжими промышленниками сидел в господской ложе, при пылающем камине, и наслаждался «позорищем». Просил повторять любимые номера, а кое-когда, если был не в себе, пробовал выходить на цирковую арену и... Нет, нет... об этом даже не хочется помнить Луке Фомичу.

Но помни не помни, а это все было, и кто-то, какой-то, неизвестно кто и какой, может быть, тоже молчком да тишком ведет свои записи, не упуская и не прощая в них ничего и, конечно, того, что не может простить отцу и сам он, его сын Лука Фомич. А с другой стороны...

С другой стороны, у всякого времени своя масть. В Екатеринбурге такое ли выкуролесивали золотопромышленники, рядом с которыми цирковые отцовские забавы безвинная пустяковинка. А если уж говорить по самой большой совести, то по какому праву не мог он позволить себе цирковое удовольствие? Не на чужое, а на свое сгальничал его отец. Строили же другие церкви, богадельни, больницы, памятники царям, а то и самим себе,— почему же запретен цирк? Чем он не церковь для увеселительного отдохновения человеческих душ? И по сей день он им служит, да еще как хорошо служит!

Хотелось хотя бы как-то оправдать сыну отца, а оправдания, неподатливо супротивничая, оборачивались в обвинения. Что значит «сгальничал не на чужое, а на свое»? Свое — это не только его, но и рода Акинфиных.

Всех Акинфиных. И тех, коих нет, кои есть и кои будут. Об этом должен был знать его отец и не мог не знать, что ни один в их роду не убавлял наследственное, а хоть самыми малыми тысячами, да наращивал золотую казну.

А отец?

Укатывая надолго в столицы, живя там шире масленицы и веселее пасхи, он поубавил нажитое дедом Мелентием, поутишил заводские дела, поистощил наличные-неприкосновенные и оставил долги.

Единственное, чем украсил свою жизнь отец, так только пристройкой крыльев к дворцу, возведенному дедом Мелентием. Крылья с двусветными галереями, по правде говоря, не надобны были дому для пользы живущих в нем. Один форс да прибавка двух десятков печей. Зимой-то под сорок, попробуй протопи его продувные крылья, чтобы пройтись налегке, а если надобно, то и в исподнем. Зато хорошо возвеличил дом — дворец!

Да и как можно иначе назвать такую ширококрылую хоромину?

Дворец! И никто никогда теперь его в дом не переназовет!

Чтя память родителя, Лука разобрал печи и заменил их паровыми трубами. Стало теплым-теплешенько во всем доме, до самых крайних его «циммеров», холодавших в студеные месяцы.

Об этом есть много строк в «Поминальном численнике». Нельзя поминать родного отца одними его проруxами, надо чем-то прославить и его.

Себя в «численнике» Лука Фомич не выставлял напоказ, не перехваливал в рассказываниях о себе. И без слов будет памятно и похвально самое скупое поименование свершенного им. Первый пар. Ковкий чугун. Лучшие веялки, молотилки, конные приводы. Самые дешевые серпы и косы. Литые и тянутые трубы. Омедненная проволока. Выкуп заложенного его отцом лесопильного завода и прилежащих к нему цехов древесных изделий и модельной мастерской. Полное освобождение от вексельных заимодавцев. Удвоение производства гвоздей. Укрепление сваями трех старых плотин. Запуск в пруды для рабочих дорогой скороспелой рыбы. Первые прибыли от убыточного цирка. Скорые английские, немецкие болтонарезные станки. А с ними и гаечные. Ходовые фасонные утюги. Мелкое фигурное литье. Дорогой наем иноземных технологов. Наградные рубли рабочим к пас-

хе и рождеству. Прибавка покосов коровным рабочим. Им же удешевление дров. Упрочение поставки Молоховым чугуна и меди. Удвоение запасной казны на случай застоя спроса товаров оптовиками.

Двух листов не хватило Луке Фомичу, чтобы поименовать самое заметное. Для незаметного же, но достойного упоминания не достанет и десяти. Не канет в забытье и оно — допишет Платон. Кому, как не ему, досказывать сделанное совместно с отцом. А о самом Платоше от дня его младости до юности и возмужания уже написано им. И он должен перечесть эти листы. А перечтя, воздать поклонение самой высокой скале во всем горном кряже, тянущемся от Харитона, сына Акинфиной Писанки, праматери всех пошедших от нее.

Незнаемо как желается Луке Фомичу в этот воскресный весенний день воздать хвалу Платону золотыми чернилами, присланными из Милана Жюли Суазье... Как хорошо памятна Луке Фомичу распрекрасненькая жившая у них гувернанточка. Приедет, покажется и осветит дом!.. Однако не о ней теперь разговор. Слова для Платона повыискать надобно. Лучшие из лучших, жемчуговые слова. Только вот руки после четвертенькой бирюзовенькой выходят из повиновения голове. А нужно выложить на бумагу предупреждающие поучения, доказуемо, звено к звену, якорной цепью большого держания всех восьми шало-шальвинских кораблей.

Такое сочинение долженствует быть писомым на свежую голову и в глухой тишине укромной дальней горенки правого крыла. В ней все еще чуется кружительный запашок воздушных платьев Жюли!

Тут Лука Фомич останавливает резвость своих мечтаний и открывает «численник» на Платоновых листах, чтобы перечитать их, а потом прикинуть дальнейшее изложение чернилами незабвенной Жюли... И он принимается перечитывать озаглавленное им: «О сыне моем Платоне Акинфине». И далее тихо, шевеля губами, читает Лука Фомич свое чистописание:

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Родился мой первенец в ясный Платонов день, апреля дня 5-го, и с первого часа всеми видевшими его был признан похожим на своего отца.

Мать его, Калерия Зоиловна, урожденная Устюжани-

нова, по причине боязни отощания наняла в кормилицы женщину благонравную, молодую, чистую телом и душой Марфу Скуратову, жену отменного кузнеца Максима Скуратова. Здоровье кормилицы и моя забота об ее сытости и ухоженности дали не оскудеть ее молоку, которого в достатке хватало и на ее сынка Родика, ныне Родиона Максимовича, прозванного и оставшегося молочным братиком Платоши.

Платоша пошел десяти месяцев от роду и говорить начал рано и внятно. Первым словом его было слово «Дик», что значило Родик, который с ним рос и редкий день не кормился у нас, а живал, бывало, неделями. Нянек к ним было приставлено четверо. Нянчились в очередь, по шесть часов в сутки.

Читать тот и другой начали с шести годов. Не на все склады, а только на легкие. К семи годам Платику наняли учительшу из опальных курсисток. Не высланную, но в столицу не допускаемую. А до нее был нанят гувернер мистер Макфильд, инженерского звания и с хорошими замашками. Желалось ему скопить небольшую суммочку для возведения своей фабрики по выработке самых мелких гвоздей, секрет изготовления коих держал при себе и для себя. Ради этого он приехал на Урал. Знал, где тысячи можно зашибить. Платили ему хорошо, но я, увидя, каков он, дал ему чуть не вдвое и взял к себе на завод по гвоздильной надобе и по гувернантской части. Он по-русски хоть и плохо знал, но понять было можно, а теперь так говорит, что другой речистый говорун ему не годен и набойками под каблуки.

Учить он должен был не «гудбаям» и не шарканью ножками, а тому, как твердо стоять хозяину и наследнику на своих ногах. А учил он, сорок ему спасиб, старательно и умеючи. Родион подле него тоже поднатаскался — не пожалуешься. Вон каким стал теперь.

Уехал Макфильд с такими деньгами, о которых думать не мог, и увез с собой Платонову учительшу Анну Гавриловну вместе с ее двойняшками, узаконенными сынами Макфильдовыми.

Церковноприходские три класса Платон и Родик прошли дома за два года. Дальнейшее обучение тоже было при своем доме. Нельзя было, да и не надобно получать Платону гимназическую грамоту. Чему он там мог выучиться? Географиям да историям и не суметь после гимназии гвоздя вбить, не знать, из чего чугун пла-

вится, как что из чего делается и как сбывается. Видывал я на своем веку обелорученных гимназиями сынков крепких заводчиков. До такого барства изуродованных, что могли только пропивать-проедать нажитое отцами, а потом через отцовскую же заводскую трубу вылетать банкротами.

Свою школу я надумал создать, хозяйскую. С заводскими науками. С пониманием, что к чему на заводах и как ими хозяйствовать.

Учителей для этого выписывать было не надо. На моих заводах любого бери. Три инженера, семь техников. Знай плати, и как учить, их не надо учить. Только поглядывай да не жалей платить. Преподадут что надобно. Только одна закавыка. Боялся, что одиночное или даже вдвоем с Родькой обучение мозги им скособочить могло. Заплесневеть и устать от науки они могли. Класс нужен как класс. С доской, с учительской кафедрой и с партами. И не дома, а как следует быть. И чтобы за партами было кому сидеть. Совет стал держать с знающими это дело. И хорошо сделал. Толково. Старый наш дом, что пустовал, в училищный дом переделать велел. А чтобы класс не пустовал, пришлось учеников подобрать и взять их на полный кошт, Платоновых ровесников. Из инженерских семей нашлись и подобрались из простых мастеровых Платоновы однокашники.

Перемеблировали старый дом. Переназвали технологическим училищем при заводах Акинфина — и вся недолга. Кому дело, как я своего сына хочу учить. Комнат лишковато оказалось. Тоже способ нашли. Одна классная, другая чертежная, третья игральная, четвертая столярная и слесарная. Без них нельзя. Если хозяин фабрики безрук, как он рукастым людом может повелевать? С первого года час в день строгали, пилили, пришабривали, а потом и за настоящие изделия брались.

В Англии мне было преподано, что одними глазами инженерского дела понять нельзя.

И так вот из года в год один и тот же класс из первого становился вторым, второй — третьим — и до восьмого последнего. К последнему классу все, кто дотянул полный курс, на заводе как дома были. За техников стать не могли, а через годок-другой в хорошие мастера годились. Не по дедовским навычкам, а по полному пониманию заводских работ. Стальная закалка, ковка, прокат,

литье, обточка и прочее добавочное зналось и книжно, и руками опробовано.

Кончился курс, и училище кончилось. В гостевой дом теперь перемеблировали его. Надо было дальше Платона учить. Опять закавыка. Аттестат требуется. Его можно легко добыть. За деньги и золотую медаль добавят. Только зачем это и для чего? И Платон так же сказал. Ему уж семнадцать было. Зачем фабриканту аттестат? Золотые умения нужны, а не бумага с золотыми буквами.

И опять все гладко пошло. Да и как не пойти, когда он в эти годы на своих ногах. Сам знает, что надобно ему знать, чему учиться, что мимо пропускать. В трех местах Платон вольным слушателем стал. А что не дослушает, на дом к профессору стал ходить. Дома он ему дочитывал недочитанное. Деньги всем надобны.

Питер Питером, но кроме него есть где и чему поучиться. Из Лондона сколько инженерских голов вышло. Почему бы туда не наезжать, когда ихний язык стал как свой, еще сорок спасиб за это мистеру Макфильду. Старая хлеб-соль никогда не забывается. В Лондон Платон как домой приехал. Я свез — и прямехонько к Анне Гавриловне, миссис Макфильд. Почет и место. Две комнаты. Полный пансион и полная картина, где и чему выучиться можно. Опять вольнослушательно дело пошло. Расчет там простой. На все своя такса. На любой завод тем же чековым ключом двери открываются. К вашим услугам и с великим предпочтением. Хочешь — мастера, хочешь — инженера приставят. И все на совесть, лишь бы стерлинги.

Диплом даже навязывали и совсем за малые фунты хотели для диплома Платона поднатаскать. А я с улыбочкой и наотрез. Зачем он ему? Не на казенном заводе служить, где за диплом деньги платят, а на своем заводе головой надо до всего доходить.

Так, дети мои, внуки и правнуки, вам и надобно знать, как начался мой сын Платон и каким он стал. А каким он будет, про то любящий его отец не один лист для вас напишет».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прочитав написанное о Платоне, умилившись написанным, Лука Фомич почувствовал себя усталым, отло-

жил продолжение описания дальнейшей жизни Платона, после возвращения его в Шальву. Хотелось это сделать на свежую голову и прежде написать черновые листы, перечитать их, а потом уже переносить в «Поминальный численник» «на века» и в наилучшем виде.

Лука Фомич, желая как можно больше рассказать о Платоне, почти не знал о годах, проведенных им в Лондоне. О них он знал только по немногословным рассказам Платона и письмам Макфильдов. Они писали о Платоне, как о великом подвижнике, поражаясь его терпению, энергии, жажде к знаниям.

Макфильд предрекал: «Ваш сын, Лука Фомич, удивляя своих сверстников юности, в зрелые годы влюбит в себя и тех, кто способен только завидовать и ненавидеть».

Анна Гавриловна писала: «Как я счастлива, что мне пришлось Тонни отдать лучшее, что я могла, и как я несчастна, что отдала ему меньше, чем надо. И все же я сумела привить любовь и уважение к тем, кто трудится, я смею верить, что не зря потратила время и там, в Шальве, и здесь, в Лондоне, беседуя с ним. Он понял главное для всякого фабриканта, которое состоит в заботе о своих рабочих и служащих у него. Многое изменится, почтеннейший Лука Фомич, в старой Шальве, когда Ваш сын, Платон Лукич, придет туда Вашим помощником, если не сказать большего...»

Все восхвалявшие Платона касались только его деловой стороны, его «технологического гения», нигде не упоминая о его любви к музыке, к театру, к Шекспиру, и никто не знал о его романтической встрече в Лондоне, на берегу Темзы.

Поклонник Шекспира показал себя одним из его героев, имя которого вы тотчас назовете, как только узнаете, что рассказал Платон отцу по приезде из Англии. Правда выглядела театральным правдоподобием по вине самого Платона, рассказывавшего и разыгрывавшего то, что произошло.

— Я, па, мечтал о необыкновенной встрече с необыкновенной женщиной и необыкновенной любви...

— Кто в нашем роду не мечтал об этом, а женился на обыкновенных домнах или заводах. Говори, Тонечка, дальше и не тяни кота за хвост... У меня сердце выскочить готово. Я ждал тебя холостым и наворожил тебе доменное приданое...

— Па, если твое сердце выскочит, оно вскочит обратно, когда ты узнаешь, как я счастлив...

— Молчу. Слушаю.

— Ты знаешь, па, я всегда любил реки... Конечно, па, Темза не Шалая и не Шальва, но тоже река, и я любил прогуливаться вечерами по ее набережной. Темза очень хороша вечером.

— Ты не о Темзе, а о ней... Как хоть звать-то ее?

— Лия. По святцам Цецилия.

— Русская?

— Коренная.

— Ой ли?

— Если графов Строгановых считать коренными, то их праправнучек, наверно, тоже не следует считать иностранками. Значит, она почти графиня.

— Кто сватал?

— Никто.

— А венчал?

— Темная ночь.

— В Питере?

— В Лондоне. Я уже сказал...

— А она там зачем была?

— У ее отца там дом.

— А кто он?

— Почти князь.

— Да что ты, Платон! Все «почти» да «почти»... Хороший ли этот «почти князь» или тоже почти?

— Я еще не видел его.

— Так что же, сбегом, сходим, что ли, вы...

— Почти.

— Тогда рассказывай со всеми завитушками. Молчу!

Платон теперь мог рассказать, как хотелось ему:

— Я шел по набережной Темзы, и она шла. Навстречу. Я остановился, увидев ее, и обомлел. И она остановилась, увидев меня. А стоять было нельзя. У англичан не принято... И она уронила ридикюль, я поднял и подал. Она по-русски сказала: «Спасибо». Я еле устоял. И тоже по-русски сказал: «Уроните, пожалуйста, что-нибудь еще». Она уронила кружевной зонтик. Я подал ей и сказал: «Клянусь, никогда не забуду вам этого счастья». И... И мы обнялись и расцеловались.

— С чего же вдруг?

— А черт его знает, с чего. Если б мне кто-то ответил на этот вопрос...

— Спросил бы ее.

— Спрашивал. Она тоже не могла понять, почему это произошло. А теперь мы оба не хотим знать об этом.

— Ну, хорошо. Обнялись. Расцеловались... А потом?

— А потом она сказала: «Возьмите меня под руку». Я сказал, что это уже сделано. И мы засмеялись так громко, что на нас оглядывались. Шокинг же...

— Да и такой, что, по лондонским порядкам, вас в полицию могли «зашокинговать»... А дальше что?

— Пошли.

— Куда?

— Вдоль Темзы.

— Зачем?

— Видимо, так было надо и ей и мне.

— Долго шли?

— Не измерял.

— Молча шли?

— Нет, разговаривали.

— О чем?

— Обо всем, и о себе. Я назвался инженером. Я уже был инженером. Она тогда назвалась учительницей гимназии. Потом узнали имена.

— Когда потом?

— На другой день утром.

— Поздновато.

— Да, это нужно было сделать раньше. Но было не до имен. Другое занимало нас: как мы могли найтись, найтись и понять, что мы давно, очень давно искали друг друга... Тут, черт возьми, и в судьбу поверишь. Наутро мы решили обвенчаться в русской церкви. Нас встретил отец Лука. Заметь — Лука! Он недолго расспрашивал о нас. Мы рассказали ему больше, чем он хотел. Мы к этому времени вспомнили о первой, забытой нашей встрече на строгановском балу. Поп Лука знал тебя. Или слыхал о тебе и не сомневался, что венчание без согласия родителей поможет ему купить небольшой коттедж в предместьях Лондона. А ее отца он знал хорошо. Мы должны были исповедаться и причаститься. Это он сделал очень быстро. У меня оказалось не так много грехов. Кроме одного. У нее тоже их было мало. И только тоже один, хотя и большой. Недавний. Ночной. Отец Лука от имени бога простил нас и обвенчал. Она не знала, как сказать об этом отцу, для которого она была всем. И я не знал, как сказать тебе. Потому что для тебя

я, кажется, тоже все. И вообще у нас все было чертовски похоже. И это страшило. Через неделю она уехала в Петербург. Через две недели и я простился с Лондоном. Без нее он стал пуст для меня. И снова, дьявол, конечно, кто же мог еще продать мне билет на тот же пароход, на котором уехала Лия.

— Ну, а потом?

— А потом оказалось, что я женился на немереных, на несчитанных лесах, которые были приданым ее матери и от которых отказался ее муж князь... то есть почти князь Лев Алексеевич Лучинин, находя безнравственным переводить на свое имя не принадлежащее ему. И прикамские лесные зеленые миллионы стали приданым Цецилии. От них также отказался и я.

— Как?! — взревел Лука Фомич.

— Я так же нахожу безнравственным наследовать чужое.

— Дурак ты, Платька... Дурак, Тонька... Ну, да ничего, ничего,— радовался Лука,— отец у тебя еще не выжил из ума... А река Темза отличная река. До Шалой ей далеконько, если брать по красоте, а по всем остальным данностям, можно сказать, почтенная портовая река...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Повторяясь, скажем, что всякий и читающий знает, как трудно бывает одолеть вводные главы, а между тем без них, как без фундамента, невозможно сооружение, будь оно даже самым легким. И все же...

И все же следовать далее «численнику», соблюдая хронологическое описание второстепенного, утомило бы не только перо, но и бумагу. Поэтому, перешагивая через многие события, оставим преддверие романа и окажемся в нем самом. Но и в этом случае мы снова не избежим описания мест действия, фона и атмосферы Шало-Шальвинских заводов, на которых появился молодой хозяин и вместе с этим начались стремительные перемены в судьбах заводов и людей, каких не случалось на памяти старожилов и в молве, и в записях о прошлом.

В первые же недели «возвращения» Платона Акинфина в различных слоях его заводов, заводов ближних и дальних, его называли такими несхожими словами, что и сокращенное перечисление их привлекало к нему вни-

мание и тех, кто давно перестал интересоваться чем-либо.

Кто и как только не называл... Чокнутым недоучкой. Завиральным краснобрехом. Околдованным «самоубивцем». Безбоязненным реформатором. Скрытым царененавистником. Улыбающейся гадюкой. Неуличным бунтовщиком. Опорой закабаленных. Тихой бомбой. Христом безверных. Пророком черни. Фокусником умиротворения. Жонглером процветания. Чародеем ограбления. Медовой отравой. Отрезвевшим фабрикантом. Юродивым миллионером. Самим про себя. Самородком. Взрывным самородком...

Мало будет и двух страниц, чтобы выписать самые краткие характеристики Платона, но и приведенное дает представление об отношении к молодому Акинфину, хотя и не определяющее суждение большинства. А большинство было молчащим, придерживающимся пословицы, в которой слово имеет опасное различие с воробьем в том, что, выпустив его и не поймав, можешь сам оказаться пойманным.

Теперь о заводах...

Акинфинские заводы были построены вразброс. Ставились они порознь не по человечьему хотенью, а по речному велению, как и большинство старых уральских заводов.

Там, где река богата водой, где можно скорее и легче запрудить ее, возникала плотина, а ниже ее — завод. Вода не так давно была единственной силой, определяющей мощность завода. Об этом уже писалось сто раз.

Притоки рек Шалой и Шальвы невелики, но по весне щедро полнили пруды и позволяли заводам не останавливаться до середины зимы. Если же осень бывала дождлива, то воды хватало еще на месяц-другой.

По справедливости следует благодарить и малые реки за даровую силу, но зависеть от их причуд куда как не легко. Заводчику еще так-сяк, можно перетерпеть, повесил замок — и вся недолга, но каково рабочему? Три-четыре месяца сидеть без дела, ожидая вешней воды,— тяжкая доля.

Увесистым словом «завод» не всегда справедливо назывались небольшие акинфинские промышленные заведения, которым следовало бы значиться мастерскими. Такими мастерскими был косный завод на речке Люляевке. Здесь косы, серпы, ножи, пилы производились поч-

ти теми способами, что и кустарями, промышлявшими этим товаром.

Пильной мельницей называли в обиходе лесопилку, на вывеске которой теперь значилось: «Паровая фабрика древесных изделий Луки Акинфина и сыновей».

«Чугункой», так же по старой привычке, звался «Завод чугунного и медного литья», с тем же обязательным добавлением, что и на всех заводских вывесках: «Луки Акинфина и сыновей». В разные годы здесь лили то, что спрашивалось и заказывалось.

Больше был «Механический завод» на реке Шалой. Четыре цеховых здания. Девять труб. Паровые двигатели. Новые станки помогали рукам, но всего лишь помогали. Заводом управлял «выписной» инженер.

Заводом было можно назвать и старую «Доменку» с новой вывеской. Лука Фомич, любя вывески, устанавливал их и там, где было бы лучше обойтись без них. Например, совсем не нужны они были на конном дворе, на водонапорной башне и на воротах дворца Акинфиных. «Доменка» завышенно именовалась «железоделательной фабрикой».

Самым большим из акинфинских заводов был Шало-Шальвинский. По его имени назван и населенный пункт Шалая-Шальва. Она долгие годы жила под властью воды. В каждой рабочей семье знали до вершка ее зимнюю убыль. И когда она подходила к последней убыльной черте, мрачнело и солнце. Боязнь «короткой недели» и «уполовиненного дня» сказывалась на всем. Рабочие урезывали себя в еде. У лавочников затихала торговля. Начинались поиски, где что и как добыть. Шли на рудники. За пятак готовы были сделать то, за что в рабочие месяцы и полтина была малой платой.

Теперь это все в прошлом. Начал появляться пар. Не везде, но начал. Воды требовалось меньше. Лука, соболезнуя людям, задолго до пара припрягал к воде лошадь.

Лошадь и конный привод дорогая сила, но не убыточная. Пар — совсем другое дело. Он тоже по первости был дороже воды, а потом подешевел. Можно было не опасаться безводной зимы. Работа круглый год. Круглый год хлеб. Не через край, но не впроголодь. Подкармливали и свой огород, своя коровка, а если держалась и мелкая живность, можно было варить и мясные щи.

Такой была шало-шальвинская вотчина, к хозяйствованию которой готовил себя Платон чуть ли не с отроческих лет. Он еще на школьной скамье говорил своим сверстникам, кто и кем будет, кого и куда назначит он. Самым первым и самым главным над всеми заводами назывался Родик Скуратов, не потому, что он его молочный братик, а потому, что он верит ему во всем и доверяет ему все тайны, и даже такие, которые он не имел права знать сам, а узнавши, обязан был их тут же забывать.

Родик честен, смел, откровенен. И что самое главное — Родион не даст в обиду работающих на заводах, чего не могут сделать назначенные отцом управлять и начальствовать. Не могут, потому что они «из другого теста». Так говорит отец Родика, его мать и почти все рабочие люди.

Платон с детства знал свои заводы, любовался ими. Любовался до тех пор, пока не увидел в Англии, Германии, Франции, Бельгии несравнимое с тем, чем гордился его отец. Он мог называть большими успехами достигнутое им по отношению к заводам своих соседей, едва поднявшихся над варварством мануфактур. В остальном же отцовские преуспевания значили так мало, что невозможно было сказать вслух.

Ему очень жаль отца и стыдно за него, называющего преуспеванием мизерные новшества. Что из того, что его отец сумел подняться над изнуряющей человека кустарщиной. Как сказать отцу, что невелика заслуга ползущего, перегнавшего стоящего и лежащего. Нелегко заявить об этом и человеку, который был обязан совершенствовать заводы, получавшему от Акинфиных огромное вознаграждение за его очевидное безделие.

Человек этот звался Феофаном Григорьевичем Шульжиным. Он был кумиром отца, доверившего ему свои заводы, называл его достойнейшим из всех управителей, каких он знавал на своем веку. Лука Фомич был не прочь женить своего младшего сына Клавдия на дочери Шульжина Кэт. И этим самым заполучить радение за акинфинские заводы управителя, ставшего родней.

Отец наказывал Платону, и он помнит дословно напутственное наставление:

«Не гнушайся, Платоша, и малыми советами Феофана Григорьевича, в них всегда скрыта большая мудрость умения повелевать и править. И он по первости подна-

таскает тебя, сын мой, в этой трудной науке хозяйствования».

Милое охотничье, собачье словцо «поднатаскает»! В чем? В том, что не известно ему самому? Что чуждо ему со дня рождения? Чуждо всей его природе. Чуждо образу его мышления, его боязни встретиться с теми, кому обязаны все на этих заводах, и теми благами, которые он получает.

Платон откладывал встречу с управляющим заводами. Не хотелось видеться с ним для проформы, выслушивать поучения, о которых был наслышан Платон в первые дни своего приезда. Он встретился с другим «натаскивателем», которого любил с детства и до сих пор считал своим наставником. Он первый научил держать его молоток и зубило, потом подвел его к наковальне и помог отковать первый большой, настоящий гвоздь, который до сих пор хранится дорогой памятью. Он и сейчас работает на самом большом паровом молоте и учит этому мастерству молодых «паровых кузнецов».

Его имя Максим Иванович Скуратов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Скуратовы уважаемая кузнечная фамилия. Сам Скуратов Максим Иванович и его жена вхожи в дом Акинфиных запросто. Как мы помним, Марфа Ефимовна была кормилицей Платона, а ее сын Родион, тогда Родик, был любим в семье Акинфиных.

Платон сразу же по приезде пришел в старый дом Скуратовых. Ему хотелось узнать, правда ли, что Родион собирается побывать в Шальве. Их пути разошлись после окончания технического училища. Об этом еще будет рассказано. Сейчас же, чтобы не потерять основную нить этой главы, мы послушаем суждения Максима Ивановича Скуратова о рыбе, которая всегда тухнет с головы.

Этой широкоизвестной поговоркой он начал разговор об управляющем заводами Шульжине:

— Ежели, Платоша, на прямоту, как бывало на шальвинском берегу, во времена нашего давнего ужения, то надо сказать, что головы на наших заводах нет. Есть его высокоблагородный мундир с золотыми пуговками, при мундире пухлявые бакенбардины, а над ними розовая плешь и больше ничего.

— Дурак? — так же прямо спросил Платон.

— Будь бы он им, тогда бы все проще было. Он сидетель.

— Кто?

— Как бы тебе понятнее... Это хорошо вышколенный статуй, обученный сидеть. Понимаешь, сидеть. Сидеть сановито, величаво, приказательно и всезнаемо и скрывать, что нет ничего ни в нем, ни при нем. Уметь сидеть — это тоже наука, которую годами старательно постигают с малой чиновной ступеньки до их превосходительской высоты. Лучше мне, Платоша, не объяснить...

— И не надо, Максим Иванович. Вы очень хорошо объяснили. В чем же его сила? За что так чтит его отец?

— Об этом, Платоша, спрашивай не у меня. Спроси у тех, у кого никто и никогда не спрашивает, которым только велят, с которых только спрашивают и... Да что там, не буду досказывать. Само дело доскажет... Если ты, конечно, с дела начинать будешь, которое не в конторе сидит, а у наковальни стоит, руду плавит, листы катает, льет и формует. Среди них тоже всякие есть головы, но и самая пустая из них правды про нашего управителя не утаит. А если утаит, глаза выболтают...

Начавшийся разговор в доме Скуратовых продолжился на заводских покосах, куда пошли они, потому что туда пошлось.

Максиму Скуратову не хотелось говорить о сыне, уволенном Шульжиным с завода, чтобы не выглядеть ненавидящим его за оскорбленного им Родиона. А все же пришлось сказать:

— Сын сыном, и я не хочу в одном горшке разные каши варить, но если подумать вглубь, то каши-то эти из одной и той же крупы. Родион был ненавистен этому борову не потому, что был неуступчив, а потому, что сын не служил при заводе, а как бы жил в нем. И завод тоже... Как бы тебе это понятнее... Завод тоже жил в нем полностью, от проходных ворот до колпаков на трубах... На этом он и проштрафился... Да и сейчас проштрафливается... Не может мой Родион, моя кровь, «на месте шагом марш», вперед рвется. Жизнь-то ведь не стоит, Платошенька. Ему хотелось, чтобы и завод не стоял...

— Где он теперь, Максим Иванович?

— В Мотовилихе, накануне выгона. И не накануне, а, можно сказать, дела сдает. Жду. Со сношкой приедет.

— Когда?

— Кто его знает. Может быть, к Любимову на судовой завод поступит. Говорят, зовут, а так это или нет, не скажу.

Платон остановился, положил руки на плечи Скуратову и сказал:

— Он никуда не поступит, Максим Иванович. Никуда.

— Я понял тебя, Платон Лукич. Захочет ли только тебя понять Родион? Не тот он теперь... Не тот. И не в том дело, что Шульжин и его вышульжил, а в том, что Лука Фомич промолчал.

— Промолчал? Родик был у отца?

— Лука Фомич сам приходил к нам. Хорошие слова говорил. И денег сколько-то много навяливал... Родион, само собой, не из тех, кто берет, молчит да кланяется. Ничего не сказал Родька Луке Фомичу, только в глаза ему посмотрел и, не попрощавшись, повернулся к нему спиной и знать его больше не захотел.

— Молодец! Ей-богу, молодец!

— С той поры перед Шульжиным и я шапки не снимывал. Увижу на улице — не узнаю. Не стало его для меня. А я для него был. Не без его указки мне наградные выписывали. Не без его ведома и на паровой молот перевели. Чует кошка, чье мясо съела, да не знает, как с этого мяса будет она блевать.

— Я думаю — плохо...

— Думать и заяц думает, а лиса его жрет...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ничего тогда на это не ответил Платон Максиму Ивановичу. Он усвоил давнее наставление гувернера Макфильда: «Отвечай за отвеченное». Необходимо было какое-то время выждать, пока первое беглое впечатление о заводах будет проверено им и взвешены намечаемые планы. Он ходил по заводам. Разговаривал с теми, кто знал его. Знакомился с новыми, неизвестными ему мастерами, техниками, служащими завода. Заводил беседы и с теми, от кого, казалось, нечего ждать, а потом выяснилось, что нет человека, который бы не обронил золотой крупицы истины. Так, один из работающих на шихте сказал:

— Говорят, молодой хозяин приехал и будто беда ка-

кой не дурак. Увидь бы я его, так, без награды, дело бы не обошлось.

— За что?

— За выдумку!

— За какую?

— Не перепродашь?

— Зачем же? Я разве похож на мазурика?

— Тогда при свидетелях скажу. Слушай. Знаешь ли ты, на чем у нас тысячи рублев убытков растут, на чем они зимой в снег, а летом в землю втаптываются?

— Не знаю.

— Так знай! На дороге! Вон таратайка-грабарка. Много ли везет она? С кошкину селезенку везет она. А подложи под таратайку самые захудаленькие рельсишки, даже из прокатной угловой полосы, сколько может тянуть эта же самая лошаденка? Вдесятеро! В двадцать раз... А если чин чинарем рельсы дать, конный поезд можно пустить.

— Ты прав, как тебя звать...

— Зовут меня зовуткой, величают уткой, а по фамилии я Микитов.

— Так вот, ты прав, Микитов. Ты дьявольски прав. И считай награду в своем кармане. Давай познакомимся.— Он протянул руку: — Я Акинфин Платон.

Парень не оробел. Протянул свою руку и соврал:

— А я так и думал, это ты это ты, а не новый техник.

— Положим, ты это врешь...

— Вру?.. Вру! И не потому, что врун, а потому, что показать не хочу, что я дурак дураком.

— Чаще будь им.

— Да могу хоть каждый день. У меня всегда ветер в голове, и он мне в нее такое надувает, что пот прошибает.

— Очень хорошо, что прошибает... Награда за мной! Сам не придешь за ней, она за тобой придет...

Неожиданная встреча и еще более неожиданный разговор оживили в Акинфине давно дремлющее и казавшееся далеким желанием связать разобщенные заводы узкоколейной железной дорогой. Это было дорогой и трудно осуществимой затеей, которую он, считая фантазией, гнал от себя. А сегодня, возвращаясь на велосипеде с «доменки», он поверил в свое «узкоколейное кольцо». Парень убедил его тем, что он так ясно и так наглядно представляет себе конную железную дорогу из «уголка»

и брусков вместо рельсов. Почему же он, инженер, умеющий представить ее практически, боялся своей затеи?

Платону не захотелось возвращаться домой. Он боялся растерять мысли. Он свернул по тропинке в лес, поставил велосипед возле пня и, сев на другой пень, принялся рисовать, какой может быть эта узкоколейная дорога. Где пройдет она, кто будет строить ее и что понадобится для этого. Рельсы он накатает сам. Шпалы растут в своих лесах. Небольшие паровозы в этом кризисном году ищут покупателей. Их нужно два. Вагонетки не обязательно покупать, их легко сделают свои мастера в Шальве.

Кружится голова... Только подумать, что все заводы станут как бы одним заводом! Дорога потребует больших денег, но вернутся они тут же. Пусть не за год, за три года дорога оправдает себя и будет давать прибыль. Огромную прибыль.

В ушах звучат слова Микитова: «Вдесятеро... В двадцать раз!» И тут же наплывает сказанное Максимом Скуратовым: «Сидетель!»

Почему же этот сидетель не высидел такого очевидного? Хотя бы от домны к руднику самую простую, полудеревянную вагонеточную дорогу, какие есть на многих кирпичных сараях.

Платон нагнетал улики и негодование. Он чувствовал себя готовым к встрече с управляющим, но сдерживал гнев. Все тот же Макфильд предупреждал его: «Хорошо, когда есть неопровержимая улика, но лучше, когда их две, кроме еще одной — третьей, про запас».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Скоро сказка говорится, да не скоро дело делается. На этот раз оно делалось не столь медленно, как предполагал Платон, решив побывать во всех цехах всех заводов. Как бы ни разнились они по производимому, но были схожи общими чертами, общим духом. Следовало бы сказать, что их объединяло какое-то не то безразличие, не то неуважение, где-то переходившее в ненависть к работе.

Платону, бывая в Иркутске, у двоюродной сестры Анны, дважды приходилось видеть работу каторжников. И почему-то они вспомнились ему. Общего как будто ничего, а какой-то бес нашептывал ему: «Пусть не то же, но

похоже». И как ни отмахивался от этого Платон, а «бес» не лгал, как и «Зовут зовутка» Микитов.

Почти не было цеха, где бы негодование и усмешки не заставляли Платона напрягать все свои силы, чтобы сдерживать кипящий в нем гнев и сжигающий его стыд. А стыдило все. И загрязненные до черноты, не пропускавшие хотя бы намека на свет стекла цеховых окон. И слой в ладонь толщиной мусора, втаптываемого годами, ставшего бугристым напластованием, мешающим ходьбе. И беспорядочность в расстановке станков, и небрежение к материалам, отходам, к готовым изделиям. Ко всему, что составляет цех и дает право называться ему страшным словом «каторга».

При появлении Платона не все и не всегда опознавали в нем нового молодого хозяина. Не таким представлялся он. Главный хозяин, изредка появлявшийся на заводах, был с «чилиндром» на голове, в долгополом «спинджаке», с золотой цепочкой по животу и с хвостом свиты до дюжины. А этот...

А этот без ничего на русоватой голове, в синей тужурчишке за рубль за двадцать и в сапогах. Не простых, а сто́ящих, каких, может, и нет во всей Шальве, а все же в сапогах.

Не рядится ли?

Похоже, что нет. Да и зачем ему рядиться? Перед кем? Ради чего?

Платон на самом деле, одеваясь так, не преследовал никаких «демократических целей», как с чьих-то слов повторяли многие голоса. В этой одежде он появлялся и «там», на чужих заводах, опробуя своими руками станки тех фирм, которые производят их.

Сапоги удобны для езды верхом и на велосипеде. Сапоги носил он вплоть до отъезда в Петербург. Об этом роде обуви, может быть, не следовало говорить так много, если бы она не была общепринятой на Урале, особенно в те годы. Сын миллионера рос в среде рабочих ребят. Иной почти не было, если не считать пяти-шести сверстников из инженерских семей. Но не все они подходили в ватагу Платошки Акинфина, остающегося при его имущественном превосходстве сыном необразованного человека, набравшегося барских ухваток и оставшимся верным своему сословию «купца». Так что Платоновы сапоги в том числе и некоторое внешнее выражение, особенно теперь, окрашивались идеей «равновесия».

Заканчивая о сапогах, так навязчиво прилипших к перу, заметим, что средний начальствующий состав заводов и управляющие заводами нашли сапоги так же «удобными», как и куртку из плотной синей ткани.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Все в Шальве ждали перемен. Одни чуяли, другие знали, что не зря молодой Акинфин днюет и чуть ли не ночует на заводах. Не из любопытства же вникает и в то, что никогда никем не замечалось. Видит и разглядывает пустячное из пустячного и спрашивает о нем, как о немаловажном и сто́ящем внимания к нему.

Приказов и распоряжений никаких не отдает, но как-то получается само собой, без замечаний, примечательное шевеление начальства. В цехах замельтешили редко бывавшие в них их благородия, и дважды снизошел до посещения заводов его превосходительство сам управляющий, семипудовый господин Шульжин. Он будто бы желал нечаянно встретиться с Платоном Лукичом, а тот не пожелал такой нечаянной встречи.

Наслышанные люди открыто говорили, как молодой Акинфин велел передать управляющему заводами, что встреча с ним произойдет, когда она будет полезной и необходимой.

Как хочешь, так и понимай. В цехах это понимали точно и определенно, а поняв, решили не бояться власти над ними Шульжина и его услужливых ему «ушей».

Заслуживающие уважения и доверия люди про Платона говорили:

— Рая он не принесет, но кандалы с нас будут сняты. Значит, нужно ему в этом помогать.

— Как?

— Кто как может. И, во-первых, не молчать.

А что значило не молчать? Не говорить же во все рты всем гамузом. Нужно назвать сто́ящих людей. Не говорунов, а твердых говорителей, умеющих коротко и ясно выложить суть.

Какую суть? Сутей много.

Сначала главную, а остальные смотря по разговору.

Цеховые сходки были затруднены, но находились возможности встречаться, обмениваться мнениями, наказывать нужное избранному «ходоку». Дорогу ходокам, как

и предполагалось, проторил Максим Скуратов. Он посоветовал:

— Платоша, ходить по цехам тебе надобно. Глаза — хорошие подсказчики, но уши им вприпряг помогут лучше понять увиденное и тем паче скрытое от глаз. Прими поодиночке назначенных рабочими поговорить с тобой...

Платон был рад таким встречам и оценил их как первую ласточку взаимного понимания всегда враждующих сторон. Не в этом ли залог пусть ничтожно малого, но все же начала осуществления «гармонического равновесия взаимностей»?

Ходоков оказалось много. Больше сорока. По часу на каждого — сорок часов. С некоторыми беседа затягивалась на весь вечер. Так требовало дело. Платон хотел знать больше. Пришедший боялся, что его рассказы отнимают время, а Платон свое:

— Они мне сберегают время. То, на что мне понадобилась бы неделя, я узнаю за несколько часов.

Он не преувеличивал. Картина состояния Акинфинских заводов ими дорисовывалась тщательно, правдиво и детально. «Ходоки» толково и с таким знанием дела, о котором говорилось, выкладывали ту суть, что Платон находил среди них будущих начальников цехов.

Чрезвычайно интересно изгнанный конторщик Флегонт Потоскуев анализировал баланс фирмы.

— Не доверяйте мне полностью, Платон Лукич,— предупреждал он,— потому что я говорю, во-первых, по злобе, а во-вторых, у меня еще нет опыта... Но всегда ли нужен большой опыт, чтобы понимать, что и прибыль может быть убыточной, если она вдесятеро, скажем, меньше, чем могла бы, чем должна бы быть... Вы, извините, Платон Лукич, далеки от бухгалтерии, и вам затруднительно понять, что ваши прибыльные заводы несут громадные убытки от, простите за словечко... от «недоприбылей»...

— Прекрасное словечко! Что вы закончили?

— Почти коммерческое. Частное училище. Не хватило денег за последнее полугодие. Папочка был болен бахусовой одержимостью, и я был вынужден содержать семью. Теперь я и этого лишился...

— И давно?

— Второй месяц.

— Скажите вашему главному бухгалтеру, что я при-

казываю уплатить вам за эти два месяца и назначить вас его помощником. По анализу прибылей.

— Возможно ли это? Он с этим никогда не согласится...

— Тогда скажите — я приду и буду умолять его смилостивиться и уважить мою просьбу.

Флегонт Потоскуев, видя, что разговор закончен, раскланялся, в нерешительности постоял и, уходя, сказал:

— Спасибо, добрейший Платон Лукич, только я не могу быть помощником у жулика и вора, у поддельщика документов и у сообщника главного вора.

— С этого надо и было начинать. Тогда я предложу вам другую должность при мне. Должность... сейчас назову ее... должность доверенного-ревизора. Оклад... Оклад определим совместно, а пока скажите вашему... Впрочем, зачем вам обращаться к нему за получением денег? Утром, в девять, я вручу вам... При мне всего лишь пять или шесть рублей.

— С меня достаточно будет рубля. Я голоден...

— И я, представьте, тоже. Сейчас нам накроют стол, и мы... Велим подать баранью ногу целиком и что-то к ней достойное ее, затем начнем знакомиться поближе...

Так состоялось весьма нужное знакомство с талантливым молодым экономистом, который станет во главе финансов фирмы. Он выплеснул вчера недопитое ненавистное ему вино вместе с ужасающей бедностью, а сегодня положил на стол своей матери пять сторублевых бумаг и сказал:

— Мамочка, две папе на мраморный памятник, остальные на текущие расходы. Не экономь! У меня теперь очень большое жалованье. Очень большое,— едва договорил Флегонт, не желая далее останавливать счастливые рыдания...

С утра по-прежнему Платон, методично переходя из цеха в цех, от станка к станку, продолжал свое знакомство с заводами. После обеда принимал и выслушивал приходящих к нему. Стали появляться знакомые и незнакомые лица рангом повыше. Техники. Исполняющие обязанности инженеров. И дипломированные инженеры.

Одних приводило сюда желание рассказать о положении дел. Другие «считали своим долгом нанести визит». Третьи боялись потерять место и на ходу изменяли курс, суждения, приверженность и даже то, что именовалось еще вчера святыми принципами.

ЦИКЛ ТРЕТИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Ба-а! Наконец-то! Платонций-свет... Прошу садиться...

Платон не ожидал такой развязности Шульжина. Не ожидал он и от себя того, что он сказал:

— Прежде чем я сяду, встаньте вы. Выйдите навстречу мне из-за стола. Таков этикет перед началом всякого делового разговора. Не беспокойтесь,— предупредил Платон, когда Шульжин готов был подняться,— вас не приучили к вежливости с крепостнических лет вашего детства. А позднее она была вам противопоказана табелью о рангах. Вам переучиваться поздно и, думаю, не нужно.

— Извините, Платон Лукич, я не предполагал такого неуважения хотя бы к моему мундиру...

Шульжин встал и прошелся по ту сторону его огромного письменного стола, будто желая показаться во всем блеске формы — от тихо звякающих шпор, ярких лампасов до наград, теснящихся на груди, и покрывающих излишне щедро его плечи эполет.

Покрасовавшись так, Шульжин вкрадчиво попросил:

— Не лучше ли начать с «как вы поживаете»? Не лучше ли спросить, какое впечатление произвели на вас, Платон Лукич, наши заводы?

— Мне понравилась ваша парадная бутафория.

— Это вы так называете, Платон Лукич, форму, утвержденную его величеством для их превосходительств, каким являюсь я?

— В частной фирме нет чинов, мундиров и эполет. Их для фабрикантов не нашел нужным утвердить его императорское величество.

— Однако же даже мажордом вашего батюшки пребывает на званых обедах Луки Фомича в форме полковника императорского полка.

— Это тем более чистой воды бутафория.

— Вы, надеюсь, запомните сказанное вами... А теперь прошу ответить на мой вопрос о заводах.

— Вопросы буду задавать я. Потому что я пришел к вам, а не вы ко мне. Это право дает мне все тот же этикет. Есть и другое право. Оно в контракте найма вашего превосходительства нашей фирмой.

Шульжин сел на свое место.

— Спрашивайте. Я готов.

— Прошу вас, ваше превосходительство, пересесть на диван. Стол слишком широк, он затрудняет разговор расстоянием. И опять же этикет не позволяет вам сидеть по ту сторону стола, а мне по эту.

— Я для вас готов сесть у порога или отвечать стоя, руки по швам. Ведь я же в ваших глазах нанятый, а не соблаговоливший уважить просьбу вашего отца.

Пока Шульжин переходил из своего кресла на диван, Платон предупредил его:

— Прежде всего, Феофан Григорьевич, не утрируйте. Не в ваших интересах ожесточать меня. Поверьте мне.

— Верю и чувствую себя как на скамье...

— Не договаривайте, на какой. Зачем испытывать судьбу и насмехаться над... диваном? Теперь дадим затейливым часам, которым уместнее стоять в спальне куртизанки, пробить двенадцать и начнем разговор.

Настольные бронзовые часы, зажатые меж ног фавна, держащего в руках колокольцы, принялись мелодично отзванивать двенадцать.

— Одиннадцать,— заметил Платон.— Лгут и они.

— Как кто, Платон Лукич?

— Как годовой отчет. Мы до него дойдем. Начнем с малого. Скажите, Феофан Григорьевич, зачем понадобилось вам превращать этот зал деловых встреч инженерно-технических совещаний в свой кабинет? Зачем?

— Для солидности. Для представительности. Не моей, а заводов.

— Неужели, Феофан Григорьевич, эти часы, эти мраморные обнаженные фигуры женщин, эти эротические картины, третьесортные олеографии, эти фарфоровые пастушки, рога оленей, чучела птиц, воины в средневековых латах, пестрые до ослепления ковры, тюль на окнах, люстры, похожие на соборные паникадила, мебель совсем из другого фарса и, наконец, вы... ваша слишком театральная внешность на контрастирующем ей фоне тоже солидность фирмы, а не сатирическое издевательское представление?

Шульжин ответил, глядя в пол:

— У всякого свой вкус.

— Вот и обставляйте, ваше превосходительство, по своему вкусу свое жилище. Играйте дома в генерал-губернатора, в начальника горного округа, хоть в самого Скобелева,— кивнул Акинфин на бакенбарды.— Здесь небольшое управление небольшой заводской вотчины Акинфиных и сыновей. Завтра к двенадцати дня, не к часу, а к двенадцати, зал деловых встреч должен остаться тем же, чем он был.

— Куда же мне?

— Об этом мы решим не позднее двух часов, а теперь пока еще двадцать одна минута первого. А сейчас поговорим об убытках фирмы.

— Увы! Их нет и не было, Платон Лукич.

— А недоданные прибыли разве не убытки? Их уже не вернуть. У вас не хватит на это скопленного, хотя это скопленное и многозначно, если некоторые уволенные конторщики не ошибаются в арифметике.

— Это чрезвычайно оскорбительный намек.

— Это всего лишь тоненькая дамская шпилечка. Почему гвозди не стали дешевле, а не став, они не дают нарастающих прибылей, упав в спросе и уменьшившись в изготовлении? А грязь и смрад в цехах?

— Голубчик, Платон Лукич, цехи не бальные залы!

— Но и не помойки! Они кормят вас! Они, как нива мужика, рождают все наше и ваше, ваше превосходительство, благополучие, начиная от звякающих колесиков шпор вашего превосходительства и ваших высокопревосходительных подштанников до краски, омоложающей ваши брови...

Шульжин вздрогнул.

— Вы социаль-демократ, досточтимый Платон Лукич.

— Хуже! Я социальный мститель. И вы сегодня получите все сполна за нарушение социального равновесия.

— Не пугайте! За мной, смею вам доложить, империя...

— Но не нравственность, которую она вынуждена блюсти. Скажите, ваше вашество, правда ли, что подчиненные дарили вам дорогие подарки к дню ваших именин, к рождеству, к пасхе и даже к дню рождения ея превосходительства Алисы Фридриховны?

— Это частное дело! Ихнее дело...

— Ихнее? Ихнее ли? Частное ли, когда повально со всех рабочих собирали деньги? Когда заставляли их вно-

сить по пятаку с носа... Разве эта гадость не может касаться фирмы «Акинфин и сыновья»? — спрашиваю я, старший сын этой фирмы. Кто поверит, что этой данью облагали без ведома хозяев?

— Как я мог знать?

— Теперь вы будете знать, после того, как с вас будет взыскан каждый пятачок. Сожалею, что это будет слишком громкое возвращение. Не дожидайтесь его. Верните им деньги.

— Сколько?

— Девять тысяч восемьсот семьдесят...— тут Платон посмотрел в записную книжку и уточнил,— семьдесят семь рублей и двадцать три копейки... Это кроме неучтенных инженерских подношений.

— Не безнравственно ли это, Платон Лукич?

— Вы о нравственности? Сейчас перейдем к ней. Затруднительный это будет переход. Скажите, заставляли вы девственниц мыть у вас полы? Мне известно, что у одной из них, по имени Груша Токарева, эта половая повинность завершилась рождением мальчика, похожего на вас. Как вы думаете обеспечить насильственно-внебрачного сына?..

— Позвольте,— перебил мгновенно вспотевший Шульжин.— Если вы считаете...

— Нет, ваше превосходительство, я еще не начал считать. Сейчас прикину в уме.— Платон принялся вычислять.— Если мальчик, которого Груша Токарева назвала вашим сыном, начнет зарабатывать с четырнадцати лет, а до этого на его содержание понадобится пусть по десяти рублей в месяц, то посчитайте, сколько понадобится за четырнадцать лет. Я что-то плохо соображаю... Да столько же на приданое... Кто без него возьмет обесчещенную? Словом, округленно двадцать, ну, пусть пятнадцать тысяч рублей. Найдется и умеющий прощать чужую подлость жених. Деньги вы завтра же внесете в «Кассу взаимного трудового кредита», лично Овчарову, и квитанцию покажете мне.

— Как вы смеете не щадить мой возраст!

— Я прошу! Покорнейше вас прошу, ваше превосходительство. И если моя просьба не будет снисходительно уважена, то я постараюсь вас убедить через печать.

— Кто посмеет?

— Правда и приложенные к ней сто рублей. В столице есть газеты, пекущиеся, как и вы, о нравственности, а



попутно и о сенсациях. Судя по вашему лицу, вы согласны, ваше превосходительство, вручить Груше Токаревой двадцать тысяч рублей...

— Пятнадцать...

— Извините, я же миллионер и ошибаюсь, как и мой отец, в тысячах. Это мой атавизм. В Англии меня научили считать пенсы. И я теперь проникся уважением к копейкам и, уж конечно, к рублям. Вам по контракту с нами положена квартира, отопление, освещение, выезд и штат прислуги в шесть человек. Он оговорен. Вы заставляли служить вам сверх этих шести еще десятерых. Иногда меньше. Иногда больше, смотря по обстоятельствам. Оплачивались эти десятеро за счет наших заводов, числясь слесарями, подручными, кузнецами, работая на вас лакеями, егерями или что-то делая в оранжереях,

на псарне... Вам лучше знать, где и что они делали. Я не берусь возмещение этих расходов переводить в рубли. Это сделает Штильмейстер, которого вы, как и Родиона Максимовича Скуратова, изволили уволить за нежелание потворствовать вашим, назовем их, нарушениям. Штильмейстер уже вернулся. И он добросовестнейше подсчитает все, вплоть до неиносказательных борзых, полученных за удешевленную продажу якобы бракованных семисот пятидесяти семи пудов гвоздей.

— Мне трудно далее выслушивать вас, и я продолжу разговор с хозяином фирмы.

— Отец отбыл в длительный вояж.

— Я подожду его.

— Я не сумею ждать даже до завтра.

— Вам известна сумма неустойки в случае нарушения контракта нанимателем? Знаете ли вы, во что вам обойдется увольнение?

— Да, но знаете ли вы, во что оно вам может обойтись? Государь император милостив, давая верноподданным чины, награды, привилегии, однако же его величество не все прощает. И если великий князь узнает... Вы понимаете, о ком я говорю. Он так благоволит к внучке князя Лучинина Цецилии Львовне Акинфиной... Так вот, если великий князь за утренним кофе или за вечерним чаем узнает о ваших похождениях и шалостях в Шалой-Шальве и вспомнит о вашем весьма неблаговидном и корыстном оставлении казенного завода, начальствование коим вам было доверено с высочайшего соизволения, то...— сделал паузу Платон,— вряд ли мне стоит рисовать дальнейшее вашей судьбы, ваше превосходительство... Теперь велите горничной, которая числится конторщицей главной бухгалтерии и так же незаконно прислуживает вам, подать бутылку сельтерской, а затем вы вручите лично мне всепокорнейшее прошение о вашем увольнении без взыскания с вас предусмотренной в этом же контракте неустойки. Имею честь вас видеть предпоследний раз. Все дальнейшее будет происходить с господином Штильмейстером и при его посредстве.— Платон раскланялся.— Извините, ваше превосходительство, руки вам на прощанье я не подам. Это было бы ханжеством, изменой фирме и тем, кто так безжалостно обижен вами...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Через несколько строк произойдет все то, что ждал не один Платон Акинфин. Для этого потребуется немало дней. Но не потребовалось трех часов, когда Груша Токарева получила пятнадцать тысяч рублей.

— Это тебе от... знаешь кого... на воспитание сына.— Платон отдал ей свои деньги, зная, что Шульжин вернет их через Штильмейстера.

Груша плакала. Отец и мать радовались. Они знали, что с таким приданым их дочь не пропадет. Об этом стало известно всей Шальве.

Георгий Генрихович Штильмейстер и Флегонт Потоскуев занялись проверкой деятельности Шульжина. Вернувшийся из поездки на пароходе от Перми до Астрахани и обратно Лука Фомич был очень раздосадован увольнением Шульжина и возвысил голос на Платона. А он представил отцу подробное письменное изложение в словах и цифрах содеянного Шульжиным и предупредил:

— Или он, или я.

Лука Фомич прочел и поверил каждой строке. Он воскликнул... Его восклицания невозможно перенести на бумагу. По многим соображениям, и главное из них то, что Лука Фомич слишком длинно выражал свое негодование.

Когда же к нему явился Шульжин в его полной регально-медальной экипировке, Лука Фомич немножечко оробел:

— А что я могу поделать, милостивый государь Феофан Григорьевич?

А тот и не думал о своем возвращении в управительское кресло. Он уже получил другое такое же и лучше вознаграждаемое у всемогущего властителя руды, чугуна и стали Василия Митрофановича Молохова. Ему нужен был именно такой. Пугающий. Могущий повелевать и наказывать. Шульжину нужно было знать совсем другое:

— А как же теперь, драгоценнейший Лука Фомич, в развитие вашего тайного соблаговоления относительно счастья Клавдия Лукича и моей единственной наследницы Кэт?

Лука уже поднаторел отвечать:

— Кэт не по моей руке крокет. Клавдий приедет — ему и шары в руки. Полагаю, однако, что он предпочтет

верные воротца заманчивой мышеловке. Отцы нынче не игроки, а не более нежли крокетные колышки. Ништо!

— Тэк-с,— звякнул шпорами Шульжин и, не простившись, ушел.

В этот же день была подписана нотариальная доверенность на полновластное распоряжение всем движимым и недвижимым, принадлежащим фирме «Акинфий и сыновья», старшему сыну, Платону Лукичу Акинфину.

Платон был воцарен во единовластие. По этому поводу в освобожденном приемном зале управления заводами были устроены и прием всем начальствующим лицам и представление главного юридического и физического лица фирмы.

Везде есть свои термины, формулы и процедуры.

В этот же вечер был дан ужин. Двенадцать официантов были при полном пикейном параде, а мажордом в летней полковничьей форме.

Рабочему люду выкатили сорокаведерные. Кто не пил, тому по рублю.

Цецилия на ужине была в белом старинном платье с небольшим кринолином, увенчанная платиновой диадемой с бриллиантовой осыпью и с такими же пряжками на туфлях из белой лайки. Платон был в синей тужурке и в сапогах. Так было нужно ему... Но неожиданно приехали из Петербурга отец и мать Лии — Лучинины. И ужин превратился в свадебное торжество. Должно же оно когда-то быть и должны когда-то и познакомиться родители новобрачных. И они познакомились.

Это были разные и далекие друг от друга люди. Породнившись, они не были родней и не могли ею стать.

Лучинины хотя и ничем не оригинальны для своего круга и для нас, все же они заслуживают особых, «лучининских» глав, и они будут, но не теперь, когда впереди столько событий и одно из них, несколько заслоняющее все остальное,— это приезд Клавдия Акинфина и его бывшей гувернантки Жюли Суазье. Об этом уже пришло пространное телеграфное извещение из Парижа.

В том 1902 году Париж был не так близок, как в наши дни, и у нас еще найдется достаточно времени и страниц, чтобы рассказать о Клавдии, его гувернантке и, конечно, о матери, Калерии Зоиловне, любящей младшего сына куда больше, нежели старшего, Платона. А отец, Лука Фомич, всего лишь был вынужден любить Клавдия. В подтверждение этого возьмем наиболее вы-

разительную справку из «Поминального численника», написанную Лукой Фомичом. Очень недвусмысленная характеристика. Пусть она не перешла еще на бесценные страницы «численника», а находится в сафьяновом бюваре предположительных записей, все же им вполне можно довериться и даже более. Потому что писомое начерно чаще всего искреннее и правдивее переписанного не кровью сердца, а чернилами.

Перенесем откровения Луки Фомича на эти страницы, не беря их в кавычки:

Что есть Клавдий?

Он есть кукла заморская. Шансонет с итальянской брякалкой. Будуварный живой статуэт.

Что в него перешло из рода Акинфиных хотя бы не с просяное, а с маковое зерно? Что у него под медной стружкой волос?

Вата. И та не наша. Не белая, а с какой-то, не поймешь, с какой, подмазной розовиной. Думать ей, конечно, тоже можно, но не о делах, а о безделии. Не легкий это удел людей праздной судьбы. Больших денег этот удел просит. Больших!

А что можно поделать? Сын ведь! Так и на вывесках значится: «Лука Акинфин и сыновья». А он Акинфин, притом Лукич. Везде доверие и кредит. Наследник и продолжатель рода. В какую только сторону? Вот в чем позор.

Каждый из Акинфиных славу своих заводов стяжал. И нет такого Акинфина, кто бы не остался жить прудом, плавильной печью, рудником, прокатным станом, новыми заводскими трубами, не говоря уж о дворце, который красуется дедом Мелентием. Покойный отец Фома Мелентьевич — и тот цирком поминается. Положим, цирк не заводская монументация, а отца в народе славит.

Про Платона нечего и говорить. А этот чем свое имя для внуков сбережет? Карточкой разве в золоченом багете останется, пока глаза не намозолит своей видимостью. Видимость только и есть в нем. Зубила от собачьего хвоста не отличает. Молотка в руках не держивал, гвоздя за свою жизнь не вбил. Боялась родительница, кабы пальчик свой тониной с мышиный хвост не повредил. К доменной печи ближе ста сажен не подхаживал... Отцовского в нем только фамилия да кудри, но и те не русые, а медные. Мелкие, как стружка при обточке малым токарным резцом. До плеч вьются. Любуются иные.

По правде говоря, есть чем. Блестят и пьянят старых дев и молодых вдов. Им что? Лишь бы забава да щекот. Он для них принц принцем, а они для него лежалый, сопревший товар.

Далее Лука Фомич, видимо недостаточно хорошо закусив, завязал своим спотыкающимся пером не переносимое на печатные страницы. Поэтому перескажем коечто в своих словах, сохраняя манеру суждений о нем и его матери, Калерии Зоиловны. Она и он пройдут через все наши страницы.

Нам по возможности следует узнать все, что необходимо для понимания того трудно объяснимого, что и при самых старательных описаниях останется невероятным для многих, а может быть, и для всех.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Шальвинская повивальная бабка, рекомендовавшаяся акушеркой, Лукерья Ивановна Чевыкина, известная по прозвищу «Болотная вещерица», называлась так не без основания. Она знахарствовала, гадала, присушивала, целила от змеиных укусов, от золотухи, сводила веснушки с лиц и приводила на них румянец. Женила и разженяла. Делала и то, что при ее малой грамоте казалось непостижимым для всякого.

С бесами она личных знакомств не заводила, нося золотой нательный крест и ладанку с пером райской птицы, но не чуралась нечисти через ворожбу на Лешачином болоте. С богом у нее отношения были туманные, но вполне терпимые. В снах она даже разговаривала со святыми угодниками — и каждый раз с тем, кто мог ей оказать милость по своим присущим возможностям.

У Лукерьи, Болотной вещерицы, по слухам была мошна с золотом. Бумажных денег она не брала.

Жена Луки Фомича Акинфина Калерия Зоиловна, готовясь стать матерью, хотела узнать у Лукерьи, кого ей даст бог, мальчика или девочку.

— А кого вам желаемо, Калерия Зоиловна, тот и появится на свет. Для этого только надо не лениться, а молиться ровно в полночь и класть по семи земных поклонов.

Лукерья показывала, как их нужно класть и какие слова говорить.

Калерия желала девочку. Похожую на себя и на свою мать. Ей тоже хотелось продолжить свое племя в акинфинском роду. И назвать дочь именем бабушки. О имени она не сказала Лукерье. Зачем ей знать больше, чем следует? А в этом, как оказалось, заключалась главная оплошность Калерии Зоиловны.

Настало время, когда Лукерья должна была сказать Калерии точно и определенно. Лукерья подготовила желаемый ответ и объяснение, если предсказание не сбудется.

— Как пить дать, родишь дочь,— сказала она, протянув руку за «золотиночкой».

Калерии за это было не жаль и пяти золотых. Теперь-то уж вернее верного, что имя Клавдии Кононовны Устюжаниновой будет жить в ее внучке.

Родился мальчик. Калерия, еще не оправившись после родов, взялась за Лукерью — и чуть ли не за волосы:

— Как же ты смела, проклятая вещерица, обмануть свою госпожу! Да я тебя велю живьем в болоте втоптать... Я свою доченьку третий месяц Клавдией звала и за нее, нерожденную, как за Клавдию молилась...

Изворотливая Лукерья всплеснула руками и набросилась на Калерию Зоилову:

— Разве можно некрещеному, не маканному в купель имя давать, бога гневить?

Она рассказывала как знающая все тонкости. Оказывается, за погрешение Калерии долженствующая родиться девочка родилась мальчиком. Бог все может. В последний час перед рождением по-своему повернет.

И все же не кто-то, а она, Болотная вещерица, сумела снять наказание за присвоение нерожденным детям имен. Она, зная, как это сделать, попросила три дня срока. Один — для моления, другой — для свидания на болоте с кем надо, а третий день — для хождения на могилу старого знахаря и вещуна.

Снова была протянута рука, и в руке оказалась горсть золотых.

Через три, ровно через три дня Лукерья объявила:

— И ангел во сне, и нетленный березовый пень на болоте, и знахарь-вещун присоветовали, не гневя бога, а послушествуя ему, отслужить молебен благодарения за богоданного сына и дать ему бабушкино имя в мужеском оперении — Клавдий!

Калерия, обливаясь слезами радости, обняла Лу-

керью, твердо веря, что только бог мог подсказать такое имя. Насчет березового пня и знахаря-вещуна Калерия Зоиловна подсомнёвывалась, не допускала, что и они имели к наречению сына бабушкиным именем некоторое касательство.

Перескочив на минуту через несколько лет, скажем, что Лукерья подтвердила свои вещания относительно Клавдия, зарожденного женским полом и рожденного мужским, заглазно говоря о внешности Клавдия:

— Он ни дать ни взять весь в бабку Клавдию, от головы до пяток, какой знавала я ее. Гибок и хлипок. Снежен телесами и зелен глазами. Шея лебяжья, плечи покаты. Взором блудлив и омутлив. Жемчуговатые зубки, румяные губки. И волосы такой тонины и долины, что хоть в две косы их заплетай.

Это точный портрет Клавдия, едущего в Шальву из Парижа.

А пока он едет на тихоходных курьерских поездах, узнаем о дальнейшем Клавдия и удивительной материнской любви Калерии Зоиловны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Продолжая о странностях Калерии Зоиловны, расскажем об еще более трудно представимом, даже в средние века.

Младенец, крещенный Клавдием, пребывал в холе семи нянек. Семи не фигурально, а дословно. Для ребенка нужна была восьмая женщина-кормилица. Таких в Шальве можно было насчитать десятками. Клавдию же нужна была кормилица не из простых, а родовитых. Этого хотела мать не по блажи, не по прихоти от больших денег, а по науке.

По магической науке, молоко, которым вскармливается ребенок, переходит в его кровь. И если кормилица женщина простых кровей, то через ее молоко таким же будет вскормленный ею младенец. Живой пример этому Платон. Его кормилицей была кузнечиха Марфа Скуратова, и через нее в мальчика вошло все то «мастеровщинное», что не исправили в нем ни годы, ни гувернер мистер Макфильд.

Скуратовская кровь через ее молоко сказалась в Платоне во всем.

Клавдий должен быть сначала барчуком, потом ба-

рином. Для этого ему надо заменить полностью акинфинскую кровь, которая при всей ее знатности простая, как и у всех заводчиков. А обновить кровь можно только через дворянское молоко. Об этом и в книгах писал, и лично Калерии говорил не какой-то там профессоришка из разночинного звания, а великий магистр индийской магии и тибетской учености. Он все мог. Перепилит, скажем, поперечной дровяной пилой молодую эфиопку надвое, потом дунет, сплюнет своими магическими слюнями и голым-голехонькая черная красотка опять целым-целехонька, без шва и царапинки после его склейки.

Великий магистр! Вся Шальва дивилась им в цирке.

Он и Калерию усыплял и такие ей сны показывал, что знай бы о них Лука, быть ей им перепиленной не магически, а на полную смерть. И как мужчина он тоже магистерен во всем. Во вгзляде, в голосе и в электрических руках.

Дорого стоит попасть к нему, но что значат какие-то две тысячи по сравнению с советами, которые он преподает!

Младенец до шести-семи месяцев обновляется полностью только одним-единственным молоком, потому как ничего другого он не вкушает и не пьет. И если, допустим, кормить девочку лисьим молоком, а мальчика медвежьим, то шерстью они хотя и не обрастут, а повадки лесные переймут. Такое же переимствование происходит и с сословным молоком. Одна египетская царевна вскормила пастушкиного подкидыша, и он, переродившись на ее молоке, стал знаменитым и мудрым египетским царем по имени фараон.

О царском молоке для Клавдика нечего и помышлять, а о графском, скажем, баронском или русском столбовом она позаботится изо всех сил. Деньги всё купят, хоть и самую кровь для перелива в Клавдика. Можно бы и так, да рисковать боязно. Магистр тоже предупреждал насчет этого. Остается только «молочный», долгий путь. Долгий, но верный.

Найти кормилицу из дворян в окрестных заводах напрасное дело. Есть, конечно, из сосланных, да у них порченая кровь, коли они сосланные. Деньги заплатишь и выкормишь цареубийственного бомбометателя. Надо махнуть в Пермь. Можно и в Екатеринбург. Там все сословия прикармливаются. И княжеского рода матери есть из потерявших свои родовые имения.

Сначала-то надо не самой, какую-то лазутчицу с хорошим нюхом туда послать. Неделю-другую Клавдик потерпит, и она не ополукровит его своим кормлением. Кого только послать?

Посыльная лазутчица нашлась сама собой. Верная юла. Чертей банными девками приманивала и в бане под большой залог взаперти держала.

Все та же Лукерья, Болотная вещерица, наряженная в шелка-бархаты, изукрашенная каменьями, в шубе на черно-буром лисьем меху, катнула в Екатеринбург мажордомшей женского крыла дворца Акинфиных. Она не только разнюхала, но и привезла на погляд чистопородную, из самых таких, что и в метрики глядеть не надобно.

Пани рассказала о себе и о своих самых знатных в Польше предках, а потом, гордо рыдая, выплакала все доскональности об ее таком же первородном грехе, который свершила великая прародительница всех живущих на земле, носившая то же имя, что и она.

Змеем-искусителем на этот раз был златочешуйчатый вельможа, пообещав на ней жениться, вместо этого услал ее от позора в далекий Екатеринбург, где она нашла пристанище у корыстной мещанки на окраине города.

Все как на блюдечке. О цене торговаться не стали. Это проще простого. Беспокоило Калерию Зоиловну только одно — тощевата была кормилица, хватит ли ее на двоих?

Об этом позаботилась еще в Екатеринбурге всепонимающая Лукерья. Она нашла в Шальве кормилицу для младенца пани Евы, чтобы она не оставляла голодным Клавдика.

К пани Еве скоро привыкли в доме Акинфиных. Она привыкла к Акинфиным. На вторую же неделю заметно похорошела, а на третью избавилась от своей худобы, так что пришлось ей шить новые платья, а к ним и горностаевую шубеечку с черными хвостиками. Не куныю же шить Радзивилловой потомице, попавшей в беду и скрывавшейся теперь, боясь проклятия опозоренного отца. А тут она поживет годок, Акинфины удостоверят усыновление ею мальчика-подкидыша или придумают что-то еще позагвоздистее и поправдоподобнее. А теперь пока не надо унывать. Старые клавикорды устали молчать и пылиться. И Евочка, не мужняя жена и не девочка, тоже боялась потерять свой голос, не давая ему звучать, начала петь, а потом давать разминку точеным ножкам, соз-

данным самим господом для резвых танцев, какие бывают только на королевских балах.

Исправно Евочка получала от пани Калерии богатую мзду, а вскоре стала получать и вторую, увесистее первой, о которой не знал и не догадался бы ни один человек в мире. Не будем догадываться и мы, щадя фамилию Акинфиных и особенно счастливую и любящую мать прехорошенького Клавдика.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Калерия Зоиловна не так давно была и душечкой, и розанчиком, потом стала пышечкой, а теперь просто сдобной женушкой, матерью двоих сыновей.

Недурна собой, круглолицая, зеленоглазая, темноволосенькая, тонкогубенькая Калерочка. Она и теперь могла бы освещать дом, не будь с нею рядом польская пани-паночка, зацветшая во все лепестки на своей двадцатой весне.

Калерочка тоже была знатна по вдове-матери, матерой заводчице, но не было в ней того самого, что превесьма желательно для «шеи» главы дома Акинфиных. Она пестровата, как говорили, по своему фасаду и чересчур прихотливо и разномастно узорчата по устройству души. Души, похожей на ее, ею обставленные покои, на свой вкус и свое ублажение. В них рядом с лосиными рогами уживались настенные украшения, не далекие от монастырских вышивок по парче, и портреты неизвестных боярынь, обнаженные лесные дивы, написанные на шелках и вставленные в дорогие и тяжелые рамы. Все они порознь не знают цены, а вместе мешают друг другу, а порой сердят глаза видящего их. Они не украшают, а как бы посмеиваются над собравшей их не для любования ими, а для похвальбы собой.

К слову, драгоценный персидский ковер тоже не может быть благодарным Калерии Зоиловне, застлавшей его шкурой черно-бурого медведя. Также и мебель из опочивальни жены князя Шуйского оскорблена тонконогими козетками из других стран и времен.

Чучело тетерева на суке с бриллиантовой подвеской на шее и золотыми перстнями на его лапах, хотя и заставило губернаторшу сказать: «Какая оригиналка Калерия Зоиловна!..» Но она же сказала, что от этой оригинальности болят глаза гостей и они стараются не бы-

вать в апартаментах Калерии Зоиловны и не стремятся оставаться наедине с властной мадам Акинфиной.

Ее называют и «мадам», но ей приятнее другие приставные слова: «барыня», «госпожа», «ваша милость»... И если уж не по-русски, то лучше «сеньора», нежели «мадам». Мадам и мадамы не тот сорт и не та цена. Ее мать, Клавдию Устюжанинову, величали ее превосиятельством. Высоко. Знатно. Родовито! И родовитым придраться не к чему. Ни у кого такого нет величания. То мать. Вдова — сама себе голова. А она при муже, с норовистым характером.

Лука Фомич тоже чем-то схож с Калерией Зоиловной — может быть, помесью несмесимого, но меньше. При дубленой романовской шубе цилиндр теперь он не надевает. При сюртуке в валенках тоже в гости не ездит. Он больше видел, больше бывал в знатных домах и в столицах многих держав. А Калерия Зоиловна везде и всегда только проездом. Проездом и училась она. Где что схватит, узнает, выучит, то и сберегает в себе и при случае выдает напоказ.

От пани Евы она переняла менуэт и мазурку дворцовую. Скоро переняла, танцевала их по-своему. С кадрильной примесью. Всем нравилось. Ева тоже находила галантным и милым это новое шальвинское добавление к старинным танцам, нуждающимся в омоложении. Она уже почти хорошо говорила по-русски. Умела восхищаться меховыми унтами Калерии Зоиловны с вделанными в них изумрудами, топазами и рубинами. Она даже научилась подсказывать, что можно сделать Калерии Зоиловне еще. Например, можно ее научить разбираться в музыке. Но никогда она сама не научится прощать оскорбительную блажь богачихи.

Терпи, Ева. Молчи, Ева. Остается совсем немного времени. Твои обе мзды надежно лежат в казначействе, и когда узнают, сколько у тебя тысяч, ты сумеешь найти себе и доброго мужа, который поймет и перечеркнет все, что было до него, что заставило тебя поступать только так. Только так, как заставила тебя твоя безжалостная судьба. И ты возместишь все свои обиды, хохоча вспоминая о том, как ты около году принадлежала к древнейшему роду Радзивиллов...

Пока же нужно танцевать краковяк с Лукой Фомичом и воздавать ему похвалы за легкость его ног, плавность рук и многое другое, чем не обошла его природа...

Не обманывая себя, да и его, она могла бы составить с ним пару, каких много на земле. Он был бы счастлив с ней, а она... Она тоже бы постаралась убедить себя в том, что Лука Фомич ее судьба, а Калерия — злополучная Халерия, от которой он должен излечиться и, выздоровев, начать новую жизнь.

Ева верила, что при ней стали бы иными и Шальвинские заводы. Она омолодила бы и фабрики, как это было сделано ею с большим дворцом Акинфина. В нем уже нет ночных запахов спален, стекла окон прозрачны, полы натерты, няни не сморкаются больше в подолы юбок, и — чему были поражены все — исчезли клопы.

Заводы выиграли бы... В этом ни капли не сомневалась Ева и даже видела сны, в которых она благотворно влияла на всю уральскую промышленность.

Несомненно, Ева преувеличивала свои возможности, все же в истории немало примеров, когда такие, как она, изменяли в лучшую сторону судьбы не только фирм, но и королевств.

А сейчас дадим угаснуть стыдливому румянцу бумаги, которым она обязана не только Калерии, но всему возникшему вокруг нее и самому словесному строю глав. Может быть, для них были нужны другие слова и другие словосочетания. Однако же скажем в свое оправдание давнее утверждение, что акварелью и колонковой кистью нельзя писать то, чему наиболее подходят простые краски и обычная кисть.

Оговорившись так, мы вполне можем посмотреть, что происходит на оставленных нами заводах, тем более что Клавдию и Жюли Суазье еще предстоят пять пересадок и остановка в Петербурге.

Все же заметим в этой главе, что, сгорая от нетерпения, Клавдий стремится увидеть не только мать, но и очаровательное существо по имени Агния Молохова. После зимнего приезда Клавдия в Шальву у него с Агнией начались не только почтовые отношения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

При всех организаторских талантах Платона Лукича Акинфина без больших денег нельзя было начинать капитальное переустройство заводов. Деньги были, и денег не было.

Отец не разрешал прикасаться к своей круглой сумме и скрывал ее диаметр.

Мать откровенно темнила, что у нее денег нет, а если есть какие грошовые тысячи, то для Клавдика, который еще не на ногах.

Полюбивший и высоко ставящий Платона с первой встречи с ним его тесть Лев Алексеевич Лучинин предлагал деньги. Он сказал:

— Если окажется мало двух миллионов, то я согласен, сын мой, продать имения, которые мне нужны не более, чем тебе говорящий попугай Калерии Зоиловны.

Щепетильность оказалась выше необходимости. Платон мягко и бесповоротно не захотел этого беспроцентного кредита, идущего от неисповедимых щедрот Льва Алексеевича, который с первого дня стал называть зятя Платошей.

Отказался он и от верхнекамского лесного приданого Лии:

— Мне достаточно и того, что в газетенках промелькнул между строк намек, что я выгодно женился.

Никакие уговоры не помогли. Он не хотел потерять к себе уважение. Его и не нужно было терять. От мужа кузины Анны, из Иркутска, он получил согласие на неограниченную помощь. У золотопромышленника деньги, по его выражению, «лежали в банке впусте и леност». Разумеется, Платон выплатит положенные проценты, так как милостыня ему не нужна и от двоюродной сестры. Зато никто ни в чем не сумеет упрекнуть его. А он упрекнет и отца, и мать.

Началось изыскание и частичное строительство круговой узкоколейки, соединяющей заводы. «Зовут зовутка» Микитов получил назначение. Он стал десятником земляных работ и вербовщиком землекопов. Счастлив был так, что поклялся к весне выучиться за все три класса церковноприходской школы и начать понимать чертежи. И... и, кроме главных праздников, не брать в рот и капли водки.

Лично сам с тем же «Зовуткой» Платон застолбил и выкопал ровики завода, очерчивающие рубленые стены цеха машинной обработки дерева. Техники немало удивились строительству без чертежей. Платон на это сказал:

— Чертить можно и по дерновине. Виднее строителю и понятнее рабочим.

Станки, заменяющие топор, рубанок, долото и все, что делали инструменты, были просмотрены, проверены в работе, известны по размерам до того, как Платон выписал их. И до того, как они придут, началась и расстановка и кладка под них фундаментов.

Станки придут и сразу из ящиков станут на место.

Вставал Платон в пять утра. На работе появлялся до заводских гудков. С первых же дней он понял, что его не хватит на все. Появившиеся верные, преданные помощники могли заниматься только административными и денежными делами. Это Георгий Штильмейстер и Флегонт Потоскуев. Они многое сделали, и каждый преуспел в своем. Заметно переменились и те, кто только начальствовал, приказывал и подписывал, не вникая очень часто в приказываемое и подписываемое. Мало надеть синюю тужурку и сапоги. Они не делают шире шаги, а тужурка не прикрывает пустоты души. Платон все еще не знает даже по именам начальствующих лиц. Не может их запомнить. Не знает, как и с кем нужно себя вести. Особенно трудно с теми, кому за сорок и за пятьдесят. Они «захрящевели», а некоторые и окостенели в привычном ритме давно принятых соотношений. Не инженер, а иногда и не техник оказывается главной организующей силой, а мастер, которому при большом опыте не хватает знаний.

Кто-то из начальствующих лиц уже перебрался за Шульжиным. Им все равно, что обработка металла, что металлургия. И гладкого им пути. Даже хорошо. Увольнять всегда труднее, чем нанимать. Они сами поняли, что их крылья не по новому ветру. Муки не получится. А те, что хотели работать, еще боялись проявить инициативу. Они при Шульжине отвыкли от нее. И когда Платон давал самостоятельно поручения и произносил страшные слова: «Сделайте, как лучше, по своему усмотрению», человек терялся. Он ничего не решал. Он только исполнял, слегка варьируя чужие приказания. А теперь он должен был делать сам. Один такой пугливый инженер застенчиво спросил:

— А угожу ли я вам, Платон Лукич?

— Этого я не знаю и не могу знать всех тонкостей в вашем деле. Угождайте не мне, а своей совести, своей инженерской чести, тогда угодите всем. Следовательно, и мне...

Приезд Родиона Скуратова не выходил из головы у

Платона. Но каждый день бегать к Максиму Ивановичу было неудобно. Получалось, что без Родиона Платон не может обойтись. Пусть друзья. Пусть он не истолкует это вкривь. И все же необходимо какое-то самолюбие. А кроме — они так долго не виделись. Каким теперь стал Родион? Все меняется. Даже родная мать. Она откровенно недолюбливает Платона. Он не барин. У него даже нет права на ношение фуражки с молоточками и тужурки с золотыми пуговицами...

Ну что же, пусть. В конце концов, он не привязан к Шальве. Он любит ее, но она не дороже ему идеи построения идеального предприятия на основе гармонии, взаимного равновесия тружеников и организаторов труда. Он может создать новый завод на голом месте. Так даже лучше — ничего не надо ломать. Старое перешивать, пороть, чистить, утюжить всегда труднее, чем кроить из нового куска.

Если ему ничего не положено от отца... У него есть имя. Есть репутация. Есть кузина, ее умный, ясновидящий и понимающий муж. Чем Сибирь не арена деятельности?

Разговорившись таким образом с самим собой на пригорке, где будет возведен единый для всех электрический цех, Платон оказался в объятиях.

— Родька?

— Тонька!

Они расцеловались и принялись хохотать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Женился я, Тонни...

— На ком, Родик?

— На учительнице. На Сонечке. Наша, шальвинская. Ты должен знать...

— И я женат.

— Знаю, Платон. На княжне!

— На полукняжне, на полуграфине, а дети будут разночинного сословия.

— И скоро?

— Умолчу...

— А нам Сонюша подарила Максима Родионовича.

— Сто тысяч раз ура! Земной поклон! Целую, Родиоша... Целую, поздравляю и дарю.

— Часы?

— Нет, это амулет. Отсчитывает годы, месяцы, дни, фазы Луны и даже, при нажиме кнопки, отбивают время с точностью до получаса... Устал таскать их при себе. Такие же вторые у меня. Носи и помни!

— Спасибо, Тоник! Ты меня опередил. Я отковал тебе, отшлифовал и отзолотил тоже амулет.

Родион подал Платону сверкающую золотую подкову.

— Какой блеск, Родик, какая чистота работы! Это символ счастья?

— Не только счастья, но и надежды.

— На что и чьей надежды, Родион?

— Тех, в ком ты пробудил ее. Тех, кто, отчаявшись, надеется, что за твоими первыми манящими шагами последуют вторые, третьи. И будут еще смелей и шире...

— Не продолжай... Все это будет! Будет больше, чем ты можешь, чем я могу предположить. Равновесие взаимностей — единственное средство, которое искоренит нужду, нехватки. Которое преодолеет убожество жизни трудового люда, а вместе с этим устранит озлобленность, вражду, бунты, подспудное смутьянство и все, что порождается не кем-то, а только теми, кто, владея всем, постыдно обделяет создающих это все. А я... а мы с тобой приложим все наши силы, чтобы наперекор всему и всем наглядно показать, как можно благоденствовать не ограбляя... Как следует вознаграждать за труд и доказать, насколько предпочтительней реальная хорошая изба воздушным замкам, которые успешно и легко, в два-три присеста, возводят на бумаге. Я их не осуждаю, Родион. Не осуждаю и жалею. Как хорошо, что мы с тобой опять сошлись...

Родион изменил голос. Изменился и сам.

— Мы, Платон, не сошлись, а только встретились. Точность ни в чем не мешает, и в словах в том числе. И сойдемся ли?

— А почему нет? Мы же всегда были вместе, Родион.

— Да, в детстве нас ничто не рознило. И даже молоко было общее. А теперь?

— Общее дело... Общие взгляды... Равновесие!

— Равновесие ли, Тонька? Ты хозяин, а я и Соня зависимые люди. И когда зависишь от чужого, незнакомого, это как норма. Так уж устроена жизнь. А к тебе служить, у тебя служить... Давай лучше останемся друг для друга «братиками», друзьями детства, школьными товарищами, молочными братьями. Жаль мне, Платоша, та-

кое хорошее наше прошлое могут омрачить новые, деловые взаимоотношения. А мне хочется сберечь в памяти твою и мою детскую дружбу, исключающую неравноправие.

— А какова твоя жизнь теперь?

— В отношении оплаты не обижен... Мне хорошо платили. Я ведь не перечерчиваю что-то, а конструирую. И кто умеет это ценить, ценят так, что и стыдно иногда бывает брать. Я так набрался этих самых, что хочу купить отцу дом. И куплю без большого ущерба для себя.

— Зачем тебе новый дом отцу? Разве мало у меня домов? Выбирай любой из инженерских. Английский коттедж теперь пустует...

— Спасибо, Тонни. Ты всегда был таким... Помнишь, тебе купили трехколесный велосипед, и ты заметил, что я...

— Помню, Родик, все помню. Это в самом деле было несправедливо — подарить одному, а второму... Ну их к черту! Отец и теперь не тонкокованым остается... Иди ко мне.

— Кем?

— Никем. И тем, кем был. Будем ездить на одном велосипеде.

— Это несерьезно, Тонни. В такие велосипедисты я уже не подойду. Я неуживчив. Из Мотовилихинского завода меня уволили... Нет, выгнали. Я не могу повторять пройденного. Мы, Платоша, так боимся всякой новины. Я предложил им самое, что называется... Об этом долго рассказывать, и мне не хочется якать... Но я знаю, что меня возненавидит Лука Фомич. У меня уже была года два тому назад встреча с ним. Я неосторожно сказал, что в век пара... Не буду вспоминать. Получится, что я роняю отца в глазах сына... Меня даже конторщиком принимать нельзя. Потому что я все равно буду все замечать и обо всем говорить. И даже высмеивать. Я очень неприятный человек...

Платон обнял Родиона.

— Родька, только ты, поверь мне и проверь по моим глазам, как раньше, проверь по глазам, говорю ли правду... Смотри мне в глаза, а я буду тебе...

— Мы в самом деле вернулись, Тонни, куда невозможно вернуться. Давай!..

И они принялись, как некогда на этом же пригорке, смотреть друг другу в глаза.

— Слушай же и проверяй по глазам. Лучшей рекомендации, которую ты дал себе, неприятный человек, невозможно дать никому... Смотри теперь еще пристальней в мои глаза... Я хотел, я искал встретить такого же, как я, и я встретил его и не разлучусь с ним никогда...

Платон обнял Родиона Скуратова и повторил:

— Не разлучусь никогда. И если ты не согласишься, я буду тебя умолять, добиваться твоего расположения...

Родион тоже растрогался.

— Кем же я тебе нужен? — спросил он, освободившись от объятий.

— Мной. Вторым мной. Вторым потому, что первыми двое не бывают. Вторым, но не «во-вторых»... Будем честны до цинизма. Ты всегда был вторым, но никогда не был «во-вторых». Вспомни!

— Тонни, ты так околдовываешь меня, что мне хочется поверить в невозможное.

— Кто-то сказал или даже написал: если очень и очень верить в невозможное, оно может стать возможным.

— Может быть.

— А у нас не может, а будет... И в крайнем случае, если без романтики и сантиментов, то кто тебе может помешать встать и уйти? Я же не беру с тебя клятв. Не обещаю и тебе, что ты будешь равным, но повторяю — ты будешь вторым мной.

— Да, ты прав... Я всегда могу встать и уйти. Так, наверно, и произойдет. Но до того, как произойдет, я попытаюсь остаться с тобой. Не вторым, не третьим, не четвертым... А «никем», и тем, кем я был в детстве... А потом мы увидим, кто — кто.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И Родион начал «никем». Он «никто». «Никто» и после Платона «всё» на Шало-Шальвинских заводах. Сказанное им не может быть отменено. Не отменено, может быть, потому, что он не говорил, не приказывал, не предпринимал того, что может быть отменено.

Добрый, располагающий Родион и в мальчишеские годы пользовался у сверстников да у старших репутацией сильного и решительного человека.

Его карие, чуть насмешливые глаза, излучавшие тепло и нежность, помнили в Шальве. И лишь немногие

знали, каковы эти же глаза, когда Скуратов оскорблен. Они пронзали, сжигали или замораживали так беспощадно, что оскорбивший Родиона либо признавался тут же в своей неправоте, либо бежал опрометью от него. Это в детстве и в юности.

И теперь Родион останется верен себе, делу, которому внутренне присягнул. И для него не жаль будет отдать всего себя, если начатое так же счастливо продолжится. Счастливо для всех, кто ему дорог, близок или даже далек и, может быть, в чем-то враждебен благодаря своей отсталости, неумению понять всей глубины новых отношений между извечными антагонистами, которые найдут пусть не гармоническое, а хотя бы близкое к нему упорядочение равновесия взаимообязанностей. Ему придется труднее, нежели Овчарову, у которого одна задача — всеми способами улучшать жизнь работающих на заводе. У Родиона сложнее. Он будет между Платоном и Александром Филимоновичем. Иногда ближе к одному, а иногда к другому, но все же он чаще и с тем, и с другим. Может быть, ему следует себя сравнить с трубкой двух сообщающихся сосудов. Но это слишком механическое сравнение. И если он в самом деле трубка, то с многими и очень сложно устроенными клапанами. Он обязан быть объективной трубкой, координирующей не просто два характера, два разных электрических провода, которые в одном случае дадут короткое замыкание, в другом — свет.

Александр Филимонович Овчаров очень предприимчив. Предприимчив до невероятия, умея находить пользу для Кассы и там, где ее невозможно предположить. Но при всей одаренности, умении из ничего делать что-то, он не везде последователен, как, впрочем, и Платон.

Увлекаться, гореть, дерзать — лучшие из черт человека. Но всякое вдохновение, как и горячее сердце, нуждается в содружестве разума. Разума очень трезвого, а в данном случае скрупулезно расчетливого и безбоязненно отважного, когда это необходимо. Потому что в замышляемом благополучии — судьбы и жизни тысяч людей.

А тысяч ли? Кто знает, как начатое в Шальве скажется во всей России и в странах далеких, близких, передовые они или отсталые, в ближайшее время или спустя много лет.

Жизненно необходимо предупреждать катастрофы.

Давно известно, что у палки два конца, а у вола, кроме шеи, есть и рога.

Платон это понял. Овчарову не нужно было понимать — он знал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Хватит, однако, внутренних монологов. Время перейти к внешним диалогам. Паровоз объявляет веселым свистком о своем приближении. И уже слышно, как он выговаривает: «Я еду, мама, еду... сейчас к тебе приеду...» Так выговаривает паровоз, шипя стучащим голосом для Калерии Зоиловны.

Для Луки Фомича он выстукивает его же стишок. Кумекающий по-французски молодящийся лирик написал его по-русски:

Се тре бьен е тре жоли,
До-ро-гулечка Жюли!
Ты бесценное бижу,
Я те в глазки погляжу!

И вовсе уж не так плохо для Луки Фомича. Отличная французско-русская рифма. Жюли, наверно, и теперь еще «жоли», а уж бесценным-то «бижу» она будет всегда. Это не жидкая девчонка Евчонка, а огневая карусель.

Тормоз! Стоп! Вот он, сверхпервоклассный вагон! А вот и он, и она.

— Мадам... мосье, бонжур! Здорово живем, шальвинцы!

— Мамулечка! Папахен! Вот и я... Виват!

Она — дыхание весны! Кто даст ей сорок шесть! Шляпа в два зонта. Перчатки до плеч. На чем только удерживается ее платье — ни лямочек, ни тесемочек... Париж!

А он! И Ленский... и знатный шляхтич. Дворянин! Держись, Агния! Трепещите, молоховские домны!

— Эй, тройки сюда! На платформу! Ведите под уздцы!

— Мама, а где же Плат? Хороша ли его пермская белка? Почему их здесь нет?

— Платон, Клавик, где и надо ему быть! В дыму! А та, что белкой ты назвал, обернулась куницей... Дома. Музыкантит... Ты лучше о себе...

— Ах, маман, каких певиц я видел... Античны, как... Сейчас... Куда-то делась записная книжка...

— Ничего, потом найдешь. Получил ли аттестат?

— Два! Один — через Жюли, другой — из Сорбонны, за франки... Я, мама, пуст, как... Торричелли...

— Неужели же ты все убухал за аттестат?

— Это же Париж, маман. Еще пришлось взять у Жюли...

— Договорим дома...

Дома накрыт стол. А на столе все и для всех, на всякий вкус. От редьки в миндальном масле с гребешками кур до ананасных шанег. Все! И даже любимые Клавдиком рябчиковые пельмени, сваренные в мадере. Вкус юности так привередлив и неисповедим, что пришлось вернуть воровку Любку. Она как никто умеет стлать Клавдику постель, взбивать подушки и не забывает закрыть окно, когда он, склонный к насморкам, заснет.

Гости съехались не все. Молоховых нет. Наверно, болен сам или Шульжин выпустил черных кошек между старыми друзьями. Ничего, пусть его. Агния и Клавдий помирят их всех.

Лия пристально и незаметно изучает Клавдия. То, что он фат, она определила по фотографическим снимкам, где он снят в кругу танцовщиц кабаре. Теперь она определяла ум и отбирала наиболее точное из двух слов: русского — болван и французского — парвеню.

Лучинины нашли Клавдия очаровательным весельчаком и непосредственным птенцом потомственной уральской знати.

Они, как мягкие люди, умели мягко говорить, а как аристократы — тонко жалить.

Нежданно-незванно вплыла баржой, раскрыв обе половинки двери, «ея превосходительство» Алиса Фридриховна Шульжина и за нею ее тоже достаточно атлетичная Кэт в белом, усиленно прозрачном платье. Выражение ее розового лица было так же прозрачновато. Оно переизбыточно цвело. Синие факелы ее глаз искали среди сидящих за столом Клавдия. Он побежал навстречу и поцеловал руку Кэт. Затем другую. А так как для полноты выражения его чувств ему этого показалось мало, он пропел известную оперную строку: «Как счастлив я, как счастлив я...»

— С прелестной погодой, господа! Здравствуйте,— приветствовала мужским голосом и широким жестом густо напудренная Шульжина.— Мужчины ссорятся, но зачем же подражать им женщинам и детям.— При этих

словах она поцеловала в голову Клавдия.— С приездом, прелестный певец!

Пришлось делать вид, что все рады приходу Шульжиной, и обменяться любезностями.

Обед продолжался «вокзально», где незнакомые люди вынуждены сидеть за одним столом и время от времени должны выражать взаимное внимание, обмениваясь какими-то фразами. Болтал за всех Клавдий. Не умолкала и Жюли. Она здесь дома, и предводительствование столом перешло к ней.

Платон молчал. Когда же Жюли попросила его произнести тост, он сказал:

— Господа! Во всяком механизме есть главный вал. Теперь в нашей семье их два. Неутомимая Жюли и полный жизнерадостной энергии Клавдий. Поэтому я надеюсь, что все придет в убыстренное движение и оживит все сопряженное с нами, все способное вращаться во имя взаимных радостей и процветания! За неугасаемую Жюли Суазье! За твое разумное и целеустремленное горение, Клавдий!

Затем неизбежные:

— Шарман!

— Великолепно!

— Восхитительно!

— Разумственно! — И конечно: — Ура!

Чокания. Новые капли вина на скатерти. Затем пригубления или опрокидывания рюмок, рюмочек, лафитничков и бокалов. Кэт выпила маленькую золотенькую, но четвертую. Она очень счастлива.

После обеда — кто куда. Дамы — к Калерии Зоиловне. Лучинины — курить. Платон и Родион — на завод. Суазье — в кабинет Луки Фомича. А Кэт...

А Кэт прежде отправилась пройтись по парку под руку с Клавдиком, а затем случилось как-то так, что они оказались в апартаментах Клавдия и заперлись.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В общениях с Жюли Лука Фомич прям и откровенен более, чем с женой. Ах, если бы ею была она, возвращающая стремительно уходящее! Что из того, коли б ее пришлось делить, но ведь не всю? Душа Жюли неделимо принадлежит ему. Она преданна и не скрытна. Про

Клавку Жюли рассказала все. Как, и чему, и в каком возрасте обучила она его, оберегая от опасных связей, оградив от них Клавдика собой.

Она и теперь хотела оградить его Агнией Молоховой от переспевшей Кэт, но торопливая, распаляемая матерью Кэт забежала вперед.

— Она вчера уединилась с ним под двумя ключами,— сообщала Луке Жюли.— И я теперь думаю, так же они ворковали в прошлый приезд, зимой.

— Не доворковались бы они, милая Жулечка, до перекрытия пути-дороженьки Клавика к Агнечке Молоховой. Три домны, четыре мартеновских печи... Ты только подумай, какая будет это потеря для всех нас и для тебя, моя богородичка. Думай... Раскидывай быстрым умом, шерамишечка.

— У меня есть проспект, мой бог. Только есть очень плохая примета опережать словами еще не случившееся. Клавдий сегодня же будет наносить им визит. Он, кажется, уже у Молоховых.

Клавдий был уже там. Его сухо принял Василий Митрофанович Молохов. Зато его жена, любезная маленькая Феоктиста Матвеевна, приняла Клавдия хорошо, видя, как рдеют щечки и светятся глазки ее единственной Агочки...

Молохов заглазно называл Клавдия тонконогим хлюстом, профукивателем отцовского добра. Василий Митрофанович нескрываемо любил Платона и прочил Агнию за него. И было бы так, если б не подвернулась ему эта долгошеяя «строгановка» в Лондоне. Тогда бы слитно работали акинфинские заводы и его печи. Платон бы заставил их жарче греть, а плавки скорее кипеть и больше давать стали.

Молохова думала так же, но не считала обязательным родниться с Акинфиными только через Платона. Клавдий лепетливее, приветливее. А у Платона его княжна уже с первых месяцев остается одна, если не считать музыки. А велика ли в ней утеха для молодешенькой женушки? Феоктиста Матвеевна знает, каково одиночничать. Поэтому она делала вид для отвода мужниных глаз, что надзирает за дочерью и Клавдием. На самом же деле она помогала им сблизиться, то и дело оставляя парочку, барашка да ярочку, вдвоем. Но мешала Кэт:

— Когда же Клавдий к нам?

— Он мой гость, Кэт,— смущенно сказала ей Агния.— Мы вместе росли.

Невоздержанная на язык Кэт кольнула:

— Липка с тополем тоже вместе растут, да порознь цветут.

Робкая, учтивая Агния вспыхнула. Слышавшая этот разговор ее мать вошла и сказала:

— Как же это ты, Катенька, осмелела поучать мою доченьку в ее же дому да еще придючи неприглашенною! Акулечка! — крикнула она за дверь.

Вбежала опрятная девушка в сатинетовом сарафане.

— Тут я, здесь...

— Проводи, Акуленька, барышню до ворот и расскажи ей по пути, как и при каких случаях открываются молоховские ворота...

У Кэт проступила на лбу испарина. Она еще раз убедилась, что хозяева остаются хозяевами, а управляющий, будь трижды генерал,— слугой.

Дорога в молоховский дом теперь для Кэт была закрыта навсегда. Вскоре она закрылась и в акинфинский дворец.

Кэт на другой же день прикатила на белой лошади, запряженной в одноместный шарабан. Клавдий знал, что она приедет. Быстро воспламеняясь, он быстро и остывал. И, остынув, он знал, как следует извещать об этом воспламенившую его. Такие объяснения у него бывали уже много раз, и все они послужили хорошими репетициями для предстоящего разговора с Кэт.

— Чем я обязан приезду моего маленького вулкана?

— Чем?! — воскликнула Кэт.— И ты еще спрашиваешь — чем?!

Они уже были в парке, а послушная лошадь осталась у подъезда. Разговор сразу же перешел на крик и визг Кэт. Теперь настало время для появления Жюли.

— В самом деле,— утешая Кэт, сказала Жюли,— чем вам обязан Клавдий? Разве не вы, Кэт, своей рукой закрыли тогда обе двери? Разве не оба вы взаимно дарили друг другу и брали также взаимно друг у друга дары весны? Из вас никто не должник и не кредитор.

Кэт кусала ногти. Клавдий курил и чертил узким носком башмака круги на песке дорожки.

— Я надеюсь, Кэт, ваше благоразумие, как старшей по возрасту, не позволило сделать мальчишку своим легкомысленным должником. И если бы это даже произош-

ло, то нашлось бы много способов для равновесия взаимностей... Для этого кроме Платона Лукича можно найти хорошего и сердечного консультанта. Отвечайте же, Кэт, чем мсье Акинфин обязан вам?

Жюли, не давая произнести Кэт и половины слова, затопляя стремительным потоком доводов, утешений, убеждений, разоружила ее.

Почувствовав себя тонущей, Кэт предпочла выйти сухой из воды:

— Но... он же меня пытался поцеловать...

— Только-то и всего?.. И вы уклонились, Кэт?

— Я угрожала поцарапать ему лицо!

— Какая вы умная кисонька, Кэтхен...— Жюли поцеловала Кэт, обняла ее и проводила за величественные ворота кружевного каслинского литья, которые, как уже было сказано, закрылись для Кэт.

Белая лошадь была довольна, что не перегружают ее старое сердце, не заставляя переходить в рысь.

На шестой версте, перед узеньким мостиком, умное животное остановилось, потому что навстречу мчался другой шарабан и в его упряжке был Ветерок, младший сын старой лошади. Ему она уступила дорогу, ласково и глухо проржав. А он ответил громким ржанием, далеко выбрасывая вперед свои резвые, длинные ноги.

Только сейчас заметила ушедшая в себя Кэт управлявшую резвым конем девушку в развевающейся светлой накидке, завязанной у ворота таким же белым бантом, каким была завязана ее льняная коса.

Кэт сделала вид, что не заметила встреченной, а та на самом деле не заметила ее, потому что она была поглощена бегом коня и свиданием с Клавдием. Она знала, что тот ждет ее.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Такие сочинения, как это, иногда относят к пропагандистско-публицистическим, к технико-производственным произведениям, в то же время они остаются и повествованиями о любви. Да и не только о ней, а обо всем, что не чуждо тому кругу лиц, какие в нем действуют. Потому, что не бывает или почти не бывает человека, живущего вне своего человеческого, личного, если даже он поглощен практической деятельностью. И если взять Платона и Родиона, то для них заводское дело не со-

существует рядом с какой-то особой личной жизнью, особыми личными чувствами, которые для того же Клавдия стали его основным занятием. Для них это и есть то главное, личное, без которого нет и второстепенного. И, может быть, ничего нет.

Влюбленность в это главное не всегда понятна тем, для кого трудовая деятельность является в большей мере необходимостью и в меньшей — счастливой внутренней потребностью. Таким людям понятнее любовные коллизии Клавдия, Агнии, Кэт, Жюли, Луки Акинфина. Им понятнее поступки таких, как Зюзиков, старухи Миронихи, мелькнувшего на страницах и сгоревшего Гранилина, самодурши Калерии. И главы о них читаются предпочтительнее.

Отсюда и трудность пишущего привлечь внимание к тому, что в литературных произведениях не является частым. Ну чем, в самом деле, может увлечь читающего разговор о болтах, о винтах, о замках, а именно о них-то и будет рассказано теперь.

Вы, разумеется, помните имя Кузьмы Завалишина, который пировал на пепелище дома Гранилина в одной из глав первого цикла. Так вот, этот самый Кузьма Завалишин пришел в приемную конторку, стоявшую вне ограды Шальвинского завода, и сказал:

— А я ведь, Платон Лукич, учил тебя делать ловушки для белок. Забыл?

— Нет, почему же, Кузьма! Как можно забыть, что было в детстве! Ты где теперь?

— Нигде, Лукич. Погоду пинаю. Видишь, носки-то уж пропинал до портянок. Штаны еле держатся.

— Деньги нужны?

— Зачем они, когда я сам золото!

— Так почему же гол?

— Не хотел разменивать себя на серебро. Большего-то не давал Гранилин.

— А за что он тебе должен дать крупнее деньги?

— За неоткрываемые замки.

— За какие?

— За те, что без тайного слова не открыть...

— Ишь ты! А какое же слово надо знать?

— Для каждого замка свое. Вот, к примеру... Открой!

Завалишин подал висячий замок и ключ. Привлекательный, блестящий замок. Платон тут же попробовал его открыть.

— Заедает ключ.
— У меня не заест. Дай я.
Взяв замок, Кузьма сунул его в мешок и тут же вынул открытым.
— Ты открыл его другим ключом, который был в мешке.
— Тогда давай я его открою и закрою за спиной.
При этих словах Завалишин за своей спиной открывал и закрывал замок несколько раз.
— Что за фокус, Кузьма?
— А фокус простой, Платон Лукич. Только для дураков. Ты не по солнышку поворачивай ключ, а против него.
Так и сделал Платон и расхохотался.
— Вот уж впрямь говорят, что на всякого мудреца...
— А уж про глупого-то и говорить нечего... Все по привычке по солнышку крутят ключ, даже воры... Сколько дашь?
— Сколько спросишь.
— У таких, как ты, не спрашивают, они сами дают. Знают, как легок такой замок в штамповальной работе и сколько может он дать выручки...
— Подсчитай сам, Кузьма.
— Что там считать по рознице! Я тебе гуртом «пакенты» продам. Вот еще замочек,— положил Кузьма на стол большой амбарный замок.
— Не хочу больше в дураках быть, Кузьма. Открой сам.
— Нет, ты сам, Лукич. Это очень смешной замок. Крути ключ два раза по солнышку, два — супротив, потом толкни ключ вглыбь, и вся недолга.
Платон легко открыл замок.
— Замечательный замок. Пока вор догадывается, пробует, его собаки загрызут...
— Это уж как есть, Лукич. Хорошо, что ты про собак вспомнил. Есть специальный замок для побуда собак. Только ты его не пробуй. Напугает он тебя выстрелом... Не смертельная стрельба, а громкая. Все сторожа прибегут. Вот, глянь. В это тайное место ребячья пугачовая пробка вставляется. Только ключ или отмычку вставил — и хлоп, как из ружья.
— А где лавочнику столько пробок набрать?
— Да они в каждой игрушечной лавке. И надо-то их

две, три. Один раз выстрелит, в другой к амбару ни один вор не подойдет...

— Покупаю, Кузьма. Все?

— Какое все? Еще пять есть...

Кузьма принялся показывать замки с двусторонними скважинами. Угадай, в какую ключ совать и в какую сторону его крутить. Показал замок с одной скважиной, замок, отпирающийся тремя ключами. Показал с винтовым ключом. Показал без ключа с закрышечкой скважины, которую тоже нужно было знать, сколько раз и в какую сторону отодвигать.

— Устал я, Кузьма, от твоих замков. Иди к Родиону Максимовичу и скажи, что я просил купить и прикинуть, когда ты можешь запустить их в изготовление.

— А как я запущу? Я же никто.

— Родион тоже был никем, а стал главным управляющим. Он тебя назначит главным замочником. А пока суд да дело, пусть он выпишет тебе сотню-другую в счет покупки «пакентов».

Завалишин где стоял, там и сел.

— Прости, Платон Лукич. Обезножел я от радости.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Бедствовавший у Гранилина самородный мастер Кузьма Завалишин просил у хозяина по десятке за каждый придуманный им замок. Гранилин рявкнул:

— По трояку сверх головы будет...

— Есть ли крест на тебе, живоглот? — не стерпел Кузьма.

Не стерпел и другой Кузьма, Кузьма Гранилин: размахнулся — и замком по виску. Фельдшер спас. Две недели пролежал Завалишин, пока разбинтовали голову. Новой коровой хотел задобрить мастера Гранилин. А мастер на это:

— Сгореть бы тебе дотла, проклятому.

Теперь говорят, что проклятье ожило. Гранилин, как мы помним, сгорел. Слыть бы Завалишину вещуном, а он не верил никаким словам. Получив задаток от Скуратова, попросил его засвидетельствовать покупку «пакентов» долговой распиской.

С патентами Платон придумал простое домашнее оформление. Вычерчивалось изобретенное, описывалась его суть на этом же листе, затем шли к нотариусу, нота-

риус заверял, что настоящее изложенное и начерченное продается таким-то, за столько-то. И никаких хлопот о затруднительном в те годы патентовании.

Замки были вычерчены, прикинуты в изготовлении, а равно и сбыте. Предположили минимальную цену и прибыли. Получалось куда больше, чем доход от веялок и молотилок. Успевай паковать да отправлять замки. Если уплатить Кузьме по самой малой совести, то быть Завалишину тысячником. От двухста рублей он едва продышался, севши на пол приемной конторки. А от этих сумм и рехнуться недолго. Искренне пожалел Родион Кузьму и предложил ему выплату с рассрочкой на три года. Замки-то ведь еще в горе рудой лежат.

Кузьма и не торговался. Куда столько! Ему и первого платежа не прожить. А первый платеж был немалым. Три тысячи рублей. Кузьма же и в чужих руках не видывал столько денег.

Подписали бумаги. Заверили. Деньги Овчарову перевели в рост. Завалишина тут же приняли в Кассу со всеми ее привилегиями для состоящих в ней рабочих и служащих фирмы.

Пуглив был Кузьма Завалишин, не сребролюбив, а счет деньгам знал. Знал он и то, что нужда запас любит. Знал и правила карточной игры о придержании козырей. И он попридержал самый хитрый и самый главный замок без ключа до получения денег, до вексельных обязательств. Когда же он получил все, то объявил:

— А теперь я всех удивлю козырным замком-болтом о двух головках. Одна живая, другая мертвая. Кто отвернет живую головку, тому привсенародно вручаю сторублевую катерину-катеньку.

Похваляясь в таких словах, Кузьма подошел к столбу коновязи, где было кольцо, и сказал:

— Вот, глядите, честной народ, это и есть болт-замок с шестиколесной головкой, головка отдельно и болт отдельно. Теперь на кольцо глаза...

Кузьма, как фокусник, продел болт в кольцо на столбе, затем навернул на него головку, состоящую из шести дисков на одной оси.

— Теперь кому надо, пусть свернет головку. Сто рублей... Вот они.

Желающих нашлось много.

— А как свертывать ее,— пояснил Кузьма,— гляньте на колесики с буковками. Из этих буковок нужно подо-

брать тайное словцо из шести букв. Гляньте, вон они как легохонько крутятся. И как слово подберешь, головка сама собой сымется.

Кто-то усомнился:

— Темнишь ты, Кузьма... Головку ты намертво на защелку замкнул.

— Так я и знал, что такой сумневатель найдется. Отойдите в стороночку аршинчика на три... Я при вас ее мигом сверну.

Отошли люди. Подошел Кузьма к замку, прикрыл войлочной шляпкой замок. Повертел диски с буквами и снял головку.

— Вот и все! Теперь я ее опять наверну, а сам домой пойду. Кто принесет мне замок, тому денежки да штоф водки за ходьбу.

С этого почти балаганного представления и начался пересмотр изделий Шало-Шальвинских заводов.

Замок, разумеется, никто не открыл, хотя желающие сменяли один другого. Механика замка угадывалась теми, кто не знал ее. А знавшие ее говорили, что Кузьма изобрел забытое. Так же сказал и Платон. Он видел в Англии «наборные» замки с буквами. И все же предложенное Кузьмой увлекло его и Скуратова. Тем более что кроме правильно подобранного соотношения букв у замка был еще какой-то секрет, о котором умалчивал Кузьма.

— Это верные полмиллиона рублей чистой прибыли, Тонни,— сказал Скуратов.

— Почему же не миллион? Эта цифра круглее...

— Может быть, и два. Они тоже круглые, только где набрать столько металла и станков?

Замки могли занять еще пять или десять страниц, но ими нельзя закрыть общую картину перемен на заводах. Поэтому ограничимся тем, что скажем о договоре с Кузьмой. Он не захотел продать «пакент» на этот замок без ключа. Он попросил гривенник с каждого изготовленного замка. Сошлись на пятаке и разобрали замок. А до этого Кузьма попросил Платона Лукича высвободить замок из кольца.

— Составь из буковок,— сказал Кузьма,— имя, которым нарек поп старшего сына Луки Фомича.

Платон рассмеялся.

— А я-то думал, что ты на свое имя изготовил замок, Кузьма?

— Дурак я? Всякий бы догадался и открыл...

Платон открыл замок, потом вскрыл. Его устройство до чрезвычайности оказалось простым. Менее десяти деталей. Болт как болт. Головка — это обойма, и в ней шесть дисков — шестерен с внутренними зубцами.

— Слишком просто, Родион, необходимо доконструировать и усложнить.

Пока это делается, посмотрим, как самые неожиданные люди влияют на перемены заводов фирмы и на изменение сортамента ее изделий. Приведем на наши страницы из множества советчиков и подсказчиков еще такого же, как Кузьма, и тоже с присказюльками. Но до этого несколько строк о Юджине Фолстере.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Юджин Фолстер, перу которого принадлежала книга «Открытия и открыватели», изданная им и даримая его ученикам, поучала, что большинство изобретений принадлежит людям «нижних слоев» населения, вне их специальности, но во всех случаях тех, кто что-то делает своими руками. Инженер, как и наука, по статистическим данным, всего лишь корректирует и усовершенствует найденное, изобретенное, открытое.

Фолстер наставлял Платона, бравшего у него уроки, опираться на тысячи искр в головках рабочих и полагаться на них более, чем на свет одной головы. Надеющийся разбогатеть на большом самородке золота, учил Фолстер, всегда менее удачлив, чем не пренебрегающий золотыми песчинками.

Портрет Фолстера, как живое напоминание о первой заповеди Платона, висит в кабинете Платона. Без Фолстера не было бы и замков Завалишина. Без Фолстера он бы не принял того, о ком только что доложили ему:

— К вам в лаптях какой-то. Судя по всему, интересный человек.

Он вошел. Перекрестился на угол без иконы и начал весело:

— Господин Платон Лукич Акинфин! Допрежь, как выгнать меня, как дураком обозвать, дозволь, я тебе присказюлечку одну расскажу, а потом суть. Писать-читать я плохо умею, а лаптем все-таки щи не хлебаю. Вы меня, конечно, видом не видали и слыхом не слыха-

ли, а про вас я так много знаю, что, может, больше, чем вы про себя.

— Так бывает,— согласился Платон.

— За всяко просто и почти что кажинный раз. Человек себя, окромя зеркала, где может увидеть? А зеркало холодное стекло. А человек человека, как, скажем, вы меня, лучше видит.

— В этом я лишний раз убеждаюсь, разговаривая с тобой. Возчик?

— Он.

— Дочь замуж выдаешь?

— Сына женю.

— Нужны деньги?

— Об этом спрашивать не надо. Лапти об этом сами говорят.

— Сколько?

— Пока ничего. Присказюлька сама цену скажет. Сказывать?

— Сказывай!

— Жил да был Иван, не дурак, а умный. Ума у него, можно сказать, палата была, да маленькая, с куриный клюв. Сеном промышлял Иван. Хорошо промышлял. Луга были укосистые. Даровые. Известно — Сибирь. Она, почитай, вся некошеная. И он накашивал столько, что и сам сыт, одет-обут и семья тоже вся в сапогах ходит. Сено, стало быть, его одевало и обувало. И такое сено, что и продавать не надо. Сами к нему ездили. Шелк, а не сено. И если б Иван был дурак, он бы жил себе да жил, в ус не дул и в бороду не кашлял. А он умный был. А коли ум есть, он же думает.

И у него ум думал. Думал-думал, да и надумал не продавать свое сено ближним покупщикам. Узнал, что они ему в три дешева дают супротив того, что в бестравных местах сено стоит. И задумал Иван сам в бестравные места сено возить. Лошадей купил. Раз свез. Два свез. Большие деньги привез, а жить плоше стал.

На еде, на одежде ужиматься начал. Жену попрекать, что плохо хозяйствует. А она чуть не на каждом куске скаредничала. Сама недоедала.

Совсем до ручки добиваться он начал. У добрых людей спрашивать стал.

«Кошелями деньги из бессенных мест вожу, а сам чуть не голодом сижу».

А люди что. Люди как люди. Вздыхают да охают. А один сказал:

«Не иначе — тебе, преумный Иван, Ивана-дурака надо спросить».

Тот чуть не на дыбы. И когда совсем худо стало, пошел к Ивану-дураку. Так и так. А тот ему:

«Без тебя, Иван умный, знаю, что худо тебе. Я ведь дурак. А коли я дурак, то мне всякая дурость, как родная сестра, сродни. И твоя дурость, Иван умный, не чужачкой мне доводится».

Иван умный опять было... Да дурак ему не дал:

«Знаю, кто твой злодей, кто твои деньги съедает».

«Кто?»

«Лошади!»

Не понял попервоначалу Иван умный. И вы, Платон Лукич, господин Акинфин, попервоначалу не поймете, коли у вас ума полна голова и малым, простым думам в ней и закутка не находится.

Вот и вся присказюлечка... Далее сами ее, Платон Лукич, заканчивайте...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Начал, так заканчивай,— попросил Платон Лукич.

— Без того не уйду. Не то же ли сено ваши веялки?

— Не знаю.

— Тогда у дурака спроси. Меня тоже Иваном звать...

— Скажи.

— Который год я ваши веялки вожу и думаю: во что вскакивает их перевоз? Не съедают ли их лошади? Будь они и железные кони. Много ли веялок можно в вагон впихнуть?

— Мало...

— Да еще дорогой крытый вагон берешь, чтобы дождем не мочило их, цена им не сбивалась...

— Так что же, не делать, что ли, их?

— Делать, но только так, чтобы в один вагон их в тридцать раз больше грузить.

— А как?

— Руку позолоти.

— Не только руку, а оба лаптя...

— Тогда слушай. По всем местам, и нашим, и даль-

ним, веялки мужики делали. Кустарьки. И ладно делали. Не хуже. Одна беда.

— Какая?

— Веялка-то ведь не сплошь деревянная. К ней кузнечная снасть надобится. Ручка, скажем. Ось, и не одна. Шестеренчатые колесики. И эта снасть была самой дорогой для кустарька. А отчего? Нелегко кузнецу было делать ее. А заводчику — чик-чик, и вся недолга.

— Что же ты советуешь, Иван умный, Платону-дураку?

— Ужли не поняли? Тогда вместе разжуем... Торгуйте доброй железной снастью для веялки. А к этой снасти, как к хорошему воротнику, легким-легко деревянную шубу пришить. Хоть в вятских местах, хоть в уфимских, да где хошь деревянных шубников пруд пруди.

Их глаза встретились.

— Сколько тебе, Иван умный?

— Красненькую-то надо бы.

— Не продешевил?

— Воля ваша, Платон Лукич. Можно и синенькую. Зеленую-то трешенку совсем будет не по-акинфински, Платон Лукич.

— Может быть, ты в самом деле дурак? И у тебя на себя поглядеть и зеркала в избе нет. Десять рублей за то, что меня... Да нет, ты при всей твоей крепкой, умной голове не поймешь, что ты для меня сегодня сделал! А молотилки разве не то же «сено», не те же веялки? А конные приводы с дурацкими, стоеросовыми вагами?.. Нет, ты этого не поймешь...

— И стараться не буду понимать, Платон Лукич. Мне, Платон Лукич, не очестливо при тебе умным быть. Только и конные приводы тоже наполовину сено.

— Кто ты такой, Иван, как тебя по батюшке?

— Как и вас.

— Кто ты такой, Иван Лукич?

— Веяльщик я. Веялки делал. Не в простых сапогах хаживал, а теперь видишь, что у меня на ногах. Не сам в них переобулся.

Акинфин понял, о чем идет речь.

— Давай уж договаривай. Мы, что ли, Акинфины, разули тебя?

— Этого я не скажу. Жизнь такая пошла. Вот ложечников взять... Горшечников... Тоже чуть не пó миру... И как винить заводчика, что его чугунный горшок не

родня глиняному, как и ваши ложки? Хрясь и ложка. Мужики-то еще едят деревянными, а в городах нет... Хотел разве ваш отец уморить ложечников? Нет. Жизнь через него обескровила их. Таких, как я, Иван Балакирев.

Платон опустил глаза.

— Да, отец этого не хотел. Этого потребовала хитрая жизнь.

— Не только... Ну, да это долгий разговор. И не мой. А мой разговор про то, как хитрую жизнь перехитрить, чтобы людям дать жить и самому хорошие деньги нажить.

— А как?

— Про Зингера, который машинки для шитья делает, вам все известно?

— Знаю, что американец, торгует во всех странах машинами.

— Это все знают. А вот как ухитряется привозить дешево из-за моря свое сено? Об этом вы не слыхивали?

— Нет.

— Тогда послушайте, Платон Лукич. Зингер не возит своих машин полняком. Он везет только то, что ему сподручно и дешево, а все остатнее, простое и легкое, в той державе делается и собирается, где продается его машинное «сено».

— Я, кажется, слышал об этом.

— Значит, не в полное ухо и мимо головы.

— Наверно.

— Да уж так. На кой вам ляд громоздить этакую махину веялку, когда сподручнее вам, как и Зингеру, самое дорогое и самое нужное делать для веялки. Литое, точеное, кованое. А веялку где хочешь доделают.

— Кто?

— Да кто хочешь. Мы, Балакиревы, в каждой губернии есть.

— Понял я вас, Иван Лукич. Будете делать веялки, а я — только хорошую железную снасть к ним.

— Ни в жизнь. Охота пропала. Да и поднадоело на копейки считать. Я и на верхних проволоках счет костяшками щелкать не оробею. Было бы что на счетах считать. Думаю, что будет, если вы свои веялки в самом деле на зингерский манер переведете. Когда переведете, меня кликните. Я опять кое-что подскажу.

— Спасибо. Вы уже подсказали больше, чем хотели. Я ваш должник...

— Не будем про это... Еще пару слов хочу. Опять про Зингера! На чем зингерство держится? Не только на собирательстве да доделке машин, но и еще опора есть. Агентом она зовется. Слыхали, поди, что такая должность есть? Мой зять в магазине у Зингера в этой должности состоит. Машинами в долг и наличными торгуют. От зятя-то я и узнал, как у них все ловко скроено и вымерено. Вам тоже, Платон Лукич, агент будет нужон. Такой, что все не все, а порядочно знает тех, кто за вашу железную снасть для веялки больше заплатит, чем вам теперь веялка прибыль дает. Без вывоза, само собой. Вывозные деньги тому пойдут, кто к вашим частям все деревянное приладит и веялками будет торговать. Дальше сказывать или все как на блюдечке?

— Все как на блюдечке, Иван Лукич.

— Тогда до скорого свиданьица. Вечереет, однако... Спокойной вам ночи, Платон Лукич.

— Я едва ли сегодня усну.

— Да и завтра, наверно, тоже плохо спать будете.

— Погодите, Иван Лукич... А как же вы, неграмотный, в нашей фирме агентом будете?

— Ежели буду, подучусь грамоте. Псалтырь-то я могу читать. А когда припирает, то и писание у меня получается. Ну, уж если вовсе невмоготу случается, так я не только «Бову» могу без запинки честь, а и от мелкой печати в газетках не слепну...

После этой, казалось бы, малозначащей встречи миллионера Акинфина с возчиком Балакиревым начался переход от изготовления крупных изделий к мелким. Флегонт Потоскуев подсчитал, сколько из прибылей фирмы сжирает дорога. Цифры говорили не менее убедительно, чем присказюлька Ивана Балакирева.

Нашелся ключ к главному замку, о котором не думали, на который не обращали внимания, привыкнув к нему. Предстояла крупная ломка привычного. А пока она начнется, посмотрим, что происходит рядом, с заводами Акинфиных, и так далеко от них, что будто это не шалошальвинские края, а другой мир, другая жизнь, где все другое — и краски, и слова...

ЦИКЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После неудачного хода двумя шарами по имени Кэт и Алиса ожесточившийся Шульжин, разуверившись в этой дамской игре, обратился к мужской. Большой крокетный деревянный шар уступает меньшему костяному бильярдному шару не только в весе, но и в точности ударов.

Если продолжить начало главы в том же словесном регистре, то следует заметить, что на зеленом поле игр Шульжин преуспевал несравнимо больше, нежели на ниве промышленного производства. Между тем оба эти поприща имели больше внутренних сходств, чем внешних различий. Те же цели — кто кого. Та же хитроумность ходов. Такой же азарт. То же стремление обмануть друг друга. И то же, хотя и не всегда, жульничество и даже шулерство.

Подглядывать в чужие карты Шульжина учили с первых ступеней его карьеры. Сначала в полиции, потом в ее усложненных разновидностях, именуемых начальственными постами.

Феофан Григорьевич не был привержен к созиданию и способен к разрушениям. Мня себя цезареподобным, он не мог воскликнуть, обратясь лицом к Шальве: «Карфаген должен погибнуть!» Для этого и при самопревозвеличивании и вере в свой гений интригана он знал, что силы не равны, что полководец и при отличном стратегическом замысле баталий — полководец без армии не более чем кукиш в кармане. И если у него нет армии, но есть резервы, то есть и надежда на победу.

Потенциальными резервами следовало предположить всех, кто еще не знает о готовящемся нападении. Их следовало предупредить. Тактичненько, тоненько, деликатно. И он начал с замков. С мелкого заводчика Гранилина. Он пригласил его в свой новый, не столь ослепительный кабинет, как прежний, но все же достаточно притупляющий зрение тех, кто и без того подслеповат.

— Батенька мой Кузьма Тарасович,— обратился

Шульжин к тогда еще не сгоревшему Гранилину,— нам надобны добротные, массивные замки. Они есть у Акинфина, да не хочу из третьих рук покупать то, что можно получить из первых.

Тупоумный и не освободившийся еще от вчерашнего кутежа Гранилин не понял направления иглы, которая через минуту болезненно уколет его в самое больное.

— Вот, драгоценнейший наш соседушка, какие удалось добыть пробные замки, рассылаемые Акинфиным оптовикам, переторговывающим этим товаром.

К певуче сказанному он изящно делал следующие ходы, как карту за картой, замок за замком выкладывал рекламные образцы завалишинских изделий.

— Вот, изволите ли видеть, этот никелированный красавчик неожиданно можно открыть при левом повороте ключа... А этот, двухскважинный, не разгадать и вам, королю замочных совершенств.

Продолжая показывать нарядные диковины, Шульжин видел, как ожесточается Гранилин с каждым появлением из ящика письменного стола на его зеленом сукне нового замка, превосходящего по внешности и выдумке устройства своего предшественника.

Упиваясь игрой, Шульжин показал последний, «стреляющий» замок. Гранилин ударил по письменному столу рыже-мохнатым кулачищем так, что подскочил графин с водой.

— Убью!

— Кого, Кузьма Тарасович?

— Обоих... И Кузьму... И Платошку... Это же мои замки! Мой Кузьма скандиберил их на моем заводе...

— Ай-ай-ай! — зажав голову руками, сокрушался, возмущаясь, Феофан Григорьевич Шульжин.— Какой бесстыдный акт соседского злодейства!

— Убью! — снова возопил Кузьма Гранилин, вцепившись пятернями в свои огненно-красные волосы, готовые воспламениться.

— Зачем же убивать их, да еще самому? — подбросил Шульжин далеко пошедшую, как мы знаем, мысль.— Пока попробуйте сделать это же бескровно. Вот вам замки, Кузьма Тарасович. Дарю! Делайте их сами. Кузьма же «скандибоберил» их на вашем заводе, а вы, дружок, перескандибоберьте их в лучшем и более дешевом виде.

Гранилин понимал, что такой заворожительной «то-

варности» ему не добиться, но все же сгреб рекламные замки и, разложив их по карманам, помчался в Шальву возвращать к себе на завод Кузьму Завалишина.

— Я его под конвоем за волосы приволоку,— убеждал он не столько Шульжина, сколько себя.— Пристав у меня не вылезает из-за стола, и я его не толичко деньгами, но и прихохотками своими оделяю. Нравствуете это, Феофан Григорьевич, или нет?

— Нравствую, Кузьма Тарасович, вполне... Удачи вам, о моем заказе вам поговорим потом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Хорошо начав Гранилиным, Шульжин решил продолжить осуществление своей программы мести Платону Акинфину его конкурентом Потаковым. Там он получит большую фору и, натурально волнуясь, проиграет все бильярдные партии Антипу Сократовичу, осчастливив его блистательной победой.

К разным людям следует по-разному прислуживаться. У кого-то восхититься отличным слогом речи и классическим построением фраз. Чью-то жену, еще во чреве матери обретшую страшноватенькое лицо, назвать пикантной до пределов тончайшего аристократизма. Был бы язык, его можно применить во множестве возможностей. Льстить. Клеветать. Лизать. Затуманивать. Низвергать. Возвышать. Ранить и даже убивать... Этому также был обучен Шульжин сызмала.

Очаровательная дорога от Шальвы до Старопотаковского завода удивляет спутника прелестями Среднего увального Урала. Здесь изредка встречаются и скальные образования, чаще же величавое волнение еловых, сосновых, смешанно-лиственных покровов гор, которое влюбляет и чужеземца. Каждая из них обязательно прячет в себе какое-нибудь из богатств миллионолетней давности, когда еще не соткнулись в единый материк два плавающих гиганта, получившие впоследствии названия Европа и Азия. Не напрасно же этот двухтысячекилометровый каменный шов двух частей света называют страной чудес и несметных сокровищ.

По сокровищам на тройке мчится в летнем кителе без эполет и других знаков отличия и различия Шульжин. Он и не предполагает, что рядом, вокруг да около, в полуверсте-версте от дороги, в двух-трех саженях ни-

же ее, притаились то самоцветы, то уголь, то руда, то каменный лен или что-то еще, чему не знает названия жаждущий разбогатеть Феофан Григорьевич, как разбогател тот же Молохов на худородном серебре, оказавшемся драгоценной платиной. Зато знают об этих дарах иноземные тайные разведчики-геологи, притворившиеся любителями путешествий и шныряющие по Шало-Шальвинскому бассейну, нанося на карту его скрытые миллиарды.

Купи Шульжин один из таких клочков земли с счастливой начинкой, зачем бы ему понадобилось служить, унижаться, интриговать и мчаться за двадцать верст сбивать с пути простака Потакова? Выкопал бы драгоценный клад, превратил его в капиталец, на проценты с которого можно жить да поживать, мед-бражку попивать, тульскими пряниками закусывать. И Кэточку, мармеладную конфеточку, выдал бы замуж за блестящего жандармского ротмистра, и родила бы она ему внука, зеленоглазого Феофаника.

Кабы знать, где что достать, так и в зловонную бы яму слазил... Э-эх, мечты-мечты-мечтюлечки...

Тройка скачет уже по широкой плотине, которую через три года взорвет старуха Мирониха. А теперь плотина целым-цела-целехонька, как и потаковский завод.

Лениво курятся короткие кряжистые трубы его цехов, в цехах льют колокольцы, вытачивают разные разности по местной и недальней потребе. Чугуны, сковороды, утюги... Загибают ухваты, сковородники, кочерги, лопаты, совки. Куют топоры, подковы, тележную снасть... Много что делают. Миллионов на этом не выжмешь, а дорогие пирамидки шаров из слоновой кости можно покупать и безоглядно бить тринадцатым по двенадцатому и не бояться проиграть годовой доход завода.

Вот так и катают пятнадцать шаров, целят их в одну из шести луз Потаков и Шульжин. А в промежутки партий антракт для ног и одышки. Рукам отдых, а языкам работа.

— Стало мне известно, Антип свет Сократович, что ваш смежник по роду товаров переходит с крупных изделий на мелкие.

— Это зачем же, интересно бы знать, Феофан Григорьевич?

— Верные доглядатаи докладывают мне, что по разумению неоперившегося всеядного пожирателя малове-

ный товар дает большой навар, поэтому штампуются ножи, вилки, ножницы, иглы, бляшки-пряжки и прочая галантерея, вплоть до крестиков...

— Каких крестиков, Феофан Григорьевич?

— Нательных. Позолоченных, из американского желтого сплава. Для епархий. Через молодого попа Никодима заказ. На паях. Чистая прибыль одиннадцать копеек и восемьдесят семь сотых на крестик. Вот он каков, точный счет. Миллион крестиков — почти что двести тысяч в лузе, без кия.

— Но позвольте,— задумался Потаков,— миллион крестиков — это тысяча тысяч... Их не так просто изготовить. Если взять оптимально по тысяче крестиков в день, для этого понадобится без праздников более трех лет.

— Это на ваш счет, драгоценнейший Антип Сократович. А у него свой. Он изготовил маленькие, переносные штамповальные станочки для женских рук и раздал их через овчаровскую Кассу старикам, женам рабочих, и те не по одной тысяче их в день наштамповывают. Весом сдают. Считать нет возможности. В арифметике цифр не хватает, а до астрономии не дошли, вот и взвешивают крестики фунтовыми гирями.

— Завидный заказ, Феофан Григорьевич!

— По справедливости говоря, у него много интересного, а еще более — скрытного. Темнит! Но до всего можно добраться. Говорят, что скоро появятся удивительные пять скороходных самонарезающих винтонарезных станков различных диаметров. И якобы они позволят многое собирать на болтах.

— Удорожит это...

— Не скажите, драгоценнейший Антип Сократович, не скажите. Пророк глаголет — гвоздем прибыли фирмы Акинфиных является новый, дешевый гвоздь, болт будет королем.

— М-да...— почесал за ухом, затем под мышками Потаков и сказал, откровенно завидуя: — Чемпион-шампиньон в темноте растет, а выйдя на свет, все грибы затмевает... Проникнуть бы в его темноту.

— Это уж не так сложно, душа моя. Революционеров и тех разнюхивают. А этот гриб хотя и в тени, но на поверхности. К нему и к Родиошке любой слесарь вхож. А у вас есть такой!

— Кто?

— Тот, что мною был уступлен вам, сокровище мое,

и за коего я недополучил обещанной благодарности. Теперь я уже не считаю на тысячи, перейдя на более мелкую купюру, довольствуясь и трехзначными ассигнациями. Старею. Скоро выйду за штат...

— Сегодня же будет полный ажур. Даже сейчас.— Потаков вынул из кармана бумажник, а из бумажника деньги.— Кажется, точно. Говорите же, как можно применить для этих целей Сережку Миронова.

— Очень просто. Вы поссоритесь с ним, выгоните его, пообещав ему выплачивать ежемесячно то, что он получал. И вы будете знать до последней насечки на гвозде, что делается у этого англомана.

— А примут его?

— Настежь ворота раскроют. Он же в одной навозной куче вызревал с этим шампиньоном. Учился в том же домашнем училище...

После сказанного Шульжин мог из одной игры пригласить в другую. И он, уложив в пирамиду шары, сказал:

— Как всегда, вам разбивать...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Дог лает, а локомотив мчится». В такой перелицованной и осовремененной редакции слышал в Англии старую пословицу Платон Акинфин. С нее он и начал свою речь на инженерно-техническом совете, в зале приемов, куда были приглашены и некоторые мастера, а также и пусковики, именуемые в наши дни наладчиками.

Сидел тут же и «уволенный» Потаковым механик-пусковик Сергей Миронов.

Председательствовал, как всегда, Родион Максимович Скуратов. Речь Платона была короткой и густой.

— Фирменный знак, или фабричная марка, не просто нарисованная фигурка, отличающая одну фирму от другой. Это ее визитная карточка, это сфокусированное выражение лица фирмы. Фирменный знак должен быть нарисован очень просто и выразительно, чтобы его можно было ставить на любое изделие, вплоть до головки гвоздя. Сейчас я вам покажу предварительный рисунок нашей фабричной марки. Вот он,— Платон развернул лист чертежной бумаги.— Как видите, господа, здесь изображены весы с уравновешенными чашами и в пространстве меж ними буква «А». Мне кажется, господа, лаконич-

нее и выразительнее едва ли можно изобразить смысл, цель и главную идею наших общих дерзаний.

Почему были взяты уравновешенные весы, не понадобилось объяснять. Буква «А» также легко разгадывалась. И все было ясно. Однако всегда находятся подхалимы, и один недовырванный корешок Шульжина, попросив разрешения у председателя, сказал:

— А почему же нет широкоизвестной и зарекомендовавшей себя фамилии владельцев фирмы полностью? Что значит «А»? Могло быть «Б», а то и какая другая буква. Почему полностью не назвать зарекомендовавшую себя фамилию Акинфиных?

— Я знал, что такой вопрос зададут,— ответил Платон Лукич,— и готов объяснить. Во-первых, Акинфины ничем особенным еще не зарекомендовали себя. Не конными же приводами. Не кустарными же молотилками и тем более веялками... О весах, кажется, сомнений нет, есть только о букве «А». Это первая буква нашего алфавита, как и «альфа» у греков, как и у многих народов, ею начинаются все алфавиты. Буква «А» легко запоминается и хорошо смотрится. В ней тоже есть равновесие сторон, как во всяком равнобедренном треугольнике. За буквой «А» может подразумеваться и слово «акционерное»... А что касается Луки Фомича Акинфина и его сыновей, то кому до этого дело, кроме нас с вами, господа? А одному из сыновей нет дела и до нас с вами, господа.

Далее предстояло обсудить совету также, казалось бы, никчемный вопрос. А он важен, как и фирменный знак, для каждого, потому что, по утверждению председателя Кассы, всякий из работающих в фирме сам по себе фирма. И тысячи таких фирм, не называясь акционерами, являются таковыми по сути дела.

О заводском номере докладывал Овчаров.

— Господа! В нашей обстановке заводской номер рабочего все еще остается самым простым и удобным заводским паспортом. Жестянки, которые выдавались у нас со времен царя Косаря и царицы Курицы, имеют неприглядный вид. Они легко теряются и не уважаются. Бирка-кругляшка с цифрой — и все. Ее легко подделать, легко изготовить кому не лень. Новый, общий для всех членов нашей Кассы номер тоже не вычеканен на монетном дворе, но все же его жаль потерять и стоит он рубль. Себе пятак. Но вы же знаете, господа, моего конька. Я со всего хочу иметь выгоду, и не для себя, и не для фирмы,

будь она «А» или «Б», а для всех, на чьем труде она держится.

Речь прервалась одобрительным хохотком и хлопками. Овчаров умел овладевать вниманием слушающих его и знал, на какой фразе его прервут аплодисментами. Он поднаторел на выступлениях перед самыми разными людьми. Ободренный Александр Филимонович принялся говорить увереннее:

— Так вот он этот номер. Полтора на полтора вершка ровно. Квадрат. Чеканен из латуни. Отбелен в никелевой ванне, посреди него та же фабричная марка — весы. Под маркой набивной порядковый номер для всех, кроме меня. Я в фирме не состою.

Опять смешки, хохот и хлопки.

— Так вот... В правом нижнем углу буква «М» или «Ж». Мужской это номер или же женский. У нас работают и будут еще прибавляться женщины. И не только ремингтонистки или конторщицы, но и коренные цеховые работницы.

Снова хлопки.

— Так вот... В нижнем левом углу год. Год начала работы. Фирма обещает платить за выслугу за каждый год, и не когда-то после Петрова дня зимой и после дождичка в четверг, а после второго года работы. Всем. Всем без исключения.

Члены совета и остальные поднялись и принялись громко аплодировать Платону.

— Не мне, не мне,— принялся отмахиваться он,— а этому выжиге,— и указал на Овчарова.

— Так вот,— повторил Овчаров,— стало быть, с вас причитается по шкалику с каждого, только не мне, а Кассе. За ее выжигательство.

Снова шум и снова хлопки.

— Так вот... А вверху, вдоль кромки номера, выпуклая полоса для фамилии владельца номера. Кто хочет — гравируй, а нет — и без фамилии номер действителен. Теперь с правого и левого боку по одному слову. Это как бы девиз и обязательство фирмы и Кассы: «Улучшающий вознаграждается». Слева видите слово «Улучшающий», справа — «вознаграждается». Я это нахожу умными словами, предложенными Платоном Лукичом. Короче не скажешь и точнее тоже.

Поднялся Платон и, подняв руку, попросил этим внимания.

— Господа! Мой учитель Юджин Фолстер, выбившись из низов до кафедры магистра, внушил мне, и очень крепко внушил, что самая большая голова не может вместить в себя больше, чем сто голов. Может быть, в каждой из этих ста голов всего лишь гран-полграна новизны, но разве не из этого состоит все то, что мы называем просперити, прогресс, продвижение, процветание и все, что не начинается на «про», но адекватно этому «про» в нашем производстве, промышленности, производительности, проверке давления и напряжения этой новизны...

Слушающие его инженеры почтенных лет, привыкшие к устоявшимся нормам заводских взаимоотношений, да и молодые, невольные продолжатели общепринятого, полностью разделяя сказанное Акинфиным, сомневались в его практической пользе. Сомневался в этом и еще один человек, по имени Вениамин Викторович Строганов. Он сидел в сторонке и записывал происходящее. Его любознательности обязаны многие главы нашего повествования, поэтому расскажем о нем и тем самым перемежим информационно-справочные главы о Кассе знакомством с этим приятным молодым человеком.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Молодой литератор поселился в «Платоновом крыле» дворца Акинфиных. Его в домашнем кругу называли Венечка или «Веничек». Так прозвали его Лучинины. Он не просто однофамилец прославленных Строгановых, но и какая-то родня из обедневшей ветви рода. Про Строгановых говорят, что их в некоторых прикамских деревнях больше, чем белок в тех же лесах. Этот Строганов жил в доме Лучининых. Он тайно и безнадежно был влюблен в Цецилию, оставаясь ее «хвостом» и верным другом.

Вениамин закончил университет, прирабатывал еще в студенческие годы несколько необычными переводами. Он переводил с русского языка на русский же скверно написанные богатыми людьми различного рода сочинения и получал за это не так мало, тем паче что он не претендовал на соавторство.

Один молодой либеральный купец, заболевший сочинительством, показал Вениамину Строганову рукопись солидной толщины. Это была повесть под названием «Как я разбогател». Написана была она разнобойно, читалась же неотрывно. Вениамин увидел в ней ходовую

книгу широкого, увлекательного и поучительного чтения. Строганов согласился подготовить ее к печати и привести в должный вид. Купец был счастлив и широко раскошелился.

Повесть была переписана, издана, ее автор прославился, а Вениамин Викторович разбогател. Три издания, одно за другим.

Разумеется, у Строганова было денег значительно меньше, чем у того же Гранилина, но он мог начать издание небольшого литературного журнальчика под названием «Подснежник».

Узнав об этом, Платон сказал:

— Зачем вам, Вениамин, «Подснежник» под снегом, когда на поверхности лежит еженедельная газета.

— Какая, Тонни? Где?

— У нас. И назвать ее можно звонко, весело, привлекательно и загадочно, с большим подспудным, иносказательным смыслом.

— Как?

— «Шалая-Шальва». Чем не название?

Вениамин воспламенился:

— Вы правы, Тонни! Интригующе и оригинально! Но все же я не склонен к щелкоперству, я хочу пусть небольшого, но изящного...

Платон сказал:

— Художник Сверчков также стремится к этому и пишет очень интересные пейзажные и бытовые полотна, но кроме того нужно было есть и кормить семью. И я помог ему быть сытым, одетым, обутым при условии, если он часть своего дарования отдаст рекламным рисункам фирмы... Счастлив и благодарен. Такие замки́ нарисовал, что так и просятся в руки. Не хочешь, да закажешь их «Акинфину и сыновьям». И с полотнами тоже у него дело лучше пошло. Нужда не висит над ним, рубль не стал для него бичом. Сидит и выписывает цветочки до лепесточка. Женские образы — до последнего волоска ресниц.

При этих словах Платон показал Строганову незаконченный портрет Агнии Молоховой. Увидев ее лицо, Венечка-«Веничек» признался ей заглазно в любви. А увидев ее очно, повторил признание.

— Поздно,— с непринужденной сердечностью и скромностью сказала Агния,— я уже предрешила свою судьбу.

И это не было кокетством или не присущей ей хваст-

ливостью. Агнию Вениамин Строганов располагал к откровенности. Тонкие черты его лица, кроткое выражение вызывали доверие.

Неожиданное для него признание Агнии в любви, и еще более нежданный ее ответ, и совсем невероятное, оглушившее Вениамина открытие, что сердце Агнии отдано опереточному «куплетчику», певцу шансонеточных «а-ля романсиков», потрясли его. Он хотел тут же уехать в Пермь, где губернатор, знавший Льва Алексеевича Лучинина, предлагал ему «бездолжностное» место «облагораживателя бумаг на высочайшее», не обязывая Строганова постоянно находиться в губернском городе.

Вениамин хотел видеть Агнию, пусть редко, пусть издали, но видеть. И он согласился приступить к созданию газеты «Шалая-Шальва», уйдя вскоре в эту работу целиком, открывая в ней возможности, о которых ни он, ни Платон до этого и не предполагали.

Пока шла подготовка издания шальвинской воскресной газеты, с благословения губернатора, Строганов интересовался необычной Кассой, созданной Овчаровым, и записывал ее также не совсем обыкновенную историю. О ней надо знать и нам, так как она в изломах сюжета нашего повествования скажется не один раз.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Касса взаимного трудового кредита» много раз меняла название и направление своей деятельности. Прежде она была малозаметным учреждением, наподобие общества трезвости. Сойдутся, поговорят о вреде алкоголизма и закончат собрание выпивкой.

Этого хотя и нельзя было сказать про Кассу, так как она что-то делала, в чем-то помогала, но не была такой заметной, как теперь. И уже одно то, что Касса переехала из деревянного домишка в большой двухэтажный кирпичный дом с колоннами, внушало к ней уважение. А что она такое, пожалуй, не скажет и сам ее председатель. Касса существует отдельно, не при заводах, но и при них. Она похожа на профессиональный союз, какие уже начали появляться, но не является им.

Как и с чего началась она, теперь попризабылось. Помнят об этом и до мелочей знают только Овчаров да еще десяток рабочих.

История Кассы началась с товарищеской складчины десяти дружков-приятелей. Одним из них был мастер-литейщик Овчаров. Его-то и назвали складчинщики своим казначеем. Дело было поставлено до чрезвычайности просто. Овчаров завел небольшую карманную книжку. На каждого из своих товарищей в ней были особые страницы. Из них левые надписывались словом «Внес», правые — «Получил».

Из десятерых Касса выросла до шестнадцати человек. Пришлось избрать в помощь Овчарову еще двоих казначеев. Он стал старшим, а они — простыми. Решали втроем. Решали просто, между дел в литейке.

По примеру этой Кассы появились такие же в других цехах Шало-Шальвинских заводов. Начальство хвалило. В полиции тоже не видели в этом крамолы, ни явной, ни тайной. И когда все кассы решили собраться, им никто не воспрепятствовал в этом.

Собрались в цирке.

На собрании касс была создана единая Касса. Этого хотели все. Больше будет денег — больше можно будет брать взаймы. Спор зашел о том, как назвать Кассу. Овчаров предложил ее назвать «Шало-Шальвинская касса взаимного кредита». Предлагали добавить пояснительные слова: «рабочая», «общественная», «товарищеская», «заводская».

Овчаров настаивал на своем названии и считал, что она и заводская, и рабочая, и товарищеская, что ясно и без названия. И так известно, чья она.

По-разному поняли это настояние, но все знали, что Александр Филимонович Овчаров человек головастый, предусмотрительный и, прежде чем что-то сказать, хорошо обдумывает.

Да и, в конце концов, зачем лишние слова, от которых все равно останется только одно — Касса?

В задачу Кассы будет входить только материальная забота о труженике. И только материальная. Открытая. Гласная. Касса должна быть такой, чтобы ее никто и ни в чем не мог упрекнуть или, хуже того, уличить.

Объявили прием, определили вступительные взносы и возвратные паи. Пайщиками по решению Кассы могли быть и сторонние лица. Одним из них стал сам хозяин, Лука Фомич Акинфин. Он внес десять тысяч рублей.

Резон простой. Общий процент. Больше платят толь-

ко в ненадежных банках. А здесь надежно. Овчарову и больше можно дать. Не Кассе, а Овчарову.

Опасливее отдавали деньги в рост Кассе заводские начальники, у которых были денежки про запас. Они приехали на Урал «за рублем», и не всем хотелось рассказывать, велик ли у него этот «рубль». У некоторых он был превесьма многотысячен. Например, у его превосходительства господина Шульжина. Ему денежки приходилось скрывать. Но не все же были мздоимцы и воры. Для многих Касса оказалась удобным и близким местом хранения сбережений. Можно было уговорить и прижимистых. Касса общая. И если можно ей помочь, почему же не помочь. Убытка не будет, а выигрыш может быть, Овчаров ввел выигрышный девятый процент.

Два раза в год в цирке выставлялась урна с пронумерованными билетиками. Билетиков было ровно столько, сколько вкладных номерных счетов.

Билетик из урны вытаскивался тем мальчиком или девочкой, кому на этой неделе исполнилось семь лет. Опять игра. По части игр Александр Филимонович Овчаров был большим выдумщиком. Предпочитал он игры честные, исключающие фальшь. В этом смысле лото хотя и азартно, но свято. Так и сказал Овчаров полицейскому приставу, ставя его в известие об открытии игры в лото при кассе.

Общеизвестную игру пришлось расширить и усложнить. Она состояла в том, что всякий желающий играть мог купить карточку лото с номером игры и числом для игры за одну копейку.

Карточки лото на первый случай были отпечатаны в десяти тысячах штук в екатеринбургской маленькой типографии. Отпечатанные под номерами карточки поступали доверенному — кассиру лото, хранителю круглой печати.

Купить карточки можно было всякому.

Кассиру нужно было получить копейку, проставить число дня игры и прописью номер игры. В день случалось до десяти игр.

Играть можно было дома и в цирке. Бочоночки лото с номерами пересчитывались и проверялись лотошниками кассы перед каждой игрой. Затем, пересчитанные, они опускались в черный плюшевый мешок. Девочка или мальчик, знавшие цифры, вытаскивали бочоночки один за одним, как это и делалось во всякой игре в лото. Цифры писались мелом на большой черной доске.

Играющие зачеркивали карандашом выкрикнутые номера. И когда какая-то карта выигрывала,— а выигравших карт было несколько,— лотошник объявлял номер выигравших карт. Количество проданных карт было известно до игры. Кассиру и лотошнику не трудно было при участии выборных от играющих подсчитать по числу проданных карт данного выигравшего номера карты сумму выигрыша. Она вручалась тут же. А те, кто не присутствовал на игре, могли получить выигрыш в течение недели, считая первым днем день игры.

Несложные условия овчаровского лото стали известны всем. Честный выигрыш был особенно приятен для выигравшего и не обиден для проигравшего. И все находили справедливым, что Касса отчисляет себе десять процентов. Десять процентов не кому-то и не куда-то, а Кассе. Общей Кассе.

Первые десять тысяч карточек дали первый доход. Новый заказ в екатеринбургскую типографию был уже на пятьдесят тысяч карточек. А третий заказ исполнился Кассой. Она купила печатную машину бостонку.

Невинная игра в лото становилась популярной. Карточки покупали жители соседних заводов. Играли в лото духовные лица. А иные лавочники покупали по сто карточек. Требовали воскресную игру в лото проводить в будни.

Понадобился особый кассир и доверенный лотошник на оплате. Это уже служба, отнимавшая время. Оплата оправдывала себя. Полмиллиона проданных карточек лото стали суммой, замеченной губернскими властями.

Спокойный, улыбающийся, ясноглазый, русобородый, степенный Овчаров объяснил чиновнику, приглашенному отужинать, что, несмотря на многочисленность играющих, лото остается домашней игрой. Заводские жители играют промеж себя, не причиняя урона, а принося даже пользу отвлечением их от горячительных напитков и пустого времяпрепровождения.

Чиновник рассудил по-овчаровски. Игра, если говорить по совести, была в самом деле домашней. Разве где-то в сводах законов империи ограничивалась числом играющих всякая допущенная игра?

И это он говорил вовсе не потому, что литейщики преподнесли ему чугунного лешего на пне, отлитого в честь такого лестного посещения Шальвы высокопоставленным губернским лицом. Игра в самом деле была без-

винна и отвлекала от политики. Так и доложило губернское лицо в губернии, где согласились с ним.

К лото привыкли. Волна азарта схлынула, игра вошла в свое русло. Не менее четырех тысяч чистого дохода в месяц. В год около пятидесяти и даже более тысяч дохода.

Уже можно было давать безвозвратные ссуды по бедности, по увечию, при несчастном случае и при счастливом — на свадьбу малоимущих.

Это было началом расцвета Кассы, до возвращения из Лондона Платона.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Познакомившись ближе с Овчаровым, Платон Акинфин почувствовал, что он встретил человека, который поймет и разделит его идеи «гармонического равновесия взаимностей».

Овчаров не только понял и разделил их, но и расширил их.

— Я так счастлив, Александр Филимонович,— искренне признался Платон.

— А я, Платон Лукич, и поверить не могу, как могли два разных человека, находясь, скажем прямо, в весьма разных условиях, с первых же встреч взаимно уравновеситься. Это чудо! — тоже совершенно искренне ответил тогда Овчаров.

В подтверждение этих взаимностей, по настоянию Платона, Лука Фомич передал Кассе в арендное пользование большой, десятин на тридцать, лес, носивший название «Игрище». Здесь по большим праздникам случались гуляния. А в Троицын день игрища. Отдан был Кассе также в аренду по малой цене и дедовский цирк.

Через Кассу и лично через Александра Филимоновича Овчарова стало известно всем восьми акинфинским заводам, каков новый молодой хозяин Платон Лукич Акинфин.

Снова опережая события, чтобы не разбивать по времени и главам сюжетно-тематическую линию Кассы, нам необходимо рассказать о ее удивительных для Шальвы расширениях.

На лесном берегу Шальвинского пруда пустовало недостроенное здание, завещанное богоугодливым купцом под богадельню.

В первое же лето по приезде Платона началась скорая добротная достройка больницы. Началась потому, что произошло несколько смертей подряд незаменимых мастеров, которых можно было спасти простейшими медицинскими средствами. А их не было под руками.

Платон и Овчаров, научившись понимать и слышать не договоренные друг другу слова, нашли способ сделать больницу, как и цирк, не только безубыточной, но и прибыльной.

Решилось просто, как с лото. В больнице десять палат второго этажа предназначались не для всех, а для тех, кто может платить покоечно.

Как всегда, нашлись крикливые и сомневающиеся. А для сомнений были основания. Койка оценивалась от пяти до пятнадцати рублей в сутки. Это неслыханная цена... Кто может, а если и может, то захочет ли столько платить?

Оказывается, захотели. Платон раздобыл в Москве волшебника хирурга, показавшего чудеса на первых же операциях. Он дорого стоил. Более двадцати тысяч в год давали две средние по цене палаты для привилегированных и богатых. Равновесие так равновесие.

Бесплатная койка для состоящего в Кассе рабочего обходилась в день менее восьмидесяти копеек. Полное лечение. Безупречное питание. И хороший уход. И все за счет Кассы.

С приездом второго врача, средних лет, названного в Шальве «доктором по всем болезням, окромя резательных», палат уже не хватало. Приезжали ходатаи из Тагила, Невьянска, Кушвы, из самого Екатеринбурга.

Хорошая слава бежит не тише плохой. Когда вылечиваются обреченные, когда удлиняется жизнь миллионера, которому уже намекнули, что «медицина бессильна», и он возвращается из чудодейственной шальвинской больницы здоровым-здоровехоньким и вносит за исцеление Шало-Шальвинской кассе не сто, не двести рублей, а десять, пятнадцать тысяч, при таких обстоятельствах можно расход на бесплатные койки увеличить и до рубля с гаком.

«Гармоническое равновесие взаимностей» торжествовало, вдохновляя их носителей одолевать новые ступени.

К двум дорогим, ставшим именитыми докторам добавили еще двух. Дешевых. Из совсем молодых. Дорогие врачи не могли ходить по домам. И делали это в

крайних и неотложных случаях. А молодые для этого и приглашались. В Шальве вводилось неслыханное.

Рабочий, состоящий в Кассе и проработавший на заводе не менее двух лет, имел право на бесплатный вызов доктора, фельдшера или сестры. Это всегда стоило рубль доктору или полтинник фельдшеру. Попробуй полечись, когда семья жила от получки и до получки!

А тут — изволь тебе... Приезжает на лошади, с кучером. Здоровается. Внимательно, подолгу расспрашивает, затем прослушивает, прощупывает и просит запомнить или записать, как и чем лечить, а то и сам пишет на листке. А потом рецепт на лекарство. В свою фирменную аптеку, где только по заводскому номеру выдают и такие снадобья, что в большом городе не всегда найдешь.

«Равновесие взаимностей» сказывалось и здесь во взаимопомощи имущих и малоимущих, о чем не знали ни те и ни другие. И зачем им всем знать? Одни не поймут, другие оклевещут.

А люди понимали. Во всяком случае, догадывались, с кого и как это все началось.

На соборной площади в Шальве приговоренный к смерти старик, позабывший теперь о рябиновой палке, которая помогла ему меньше хромать, увидел молодого Акинфина. Старик побежал навстречу Платону мелкой рысцой, пал перед ним на колени, перекрестясь на него.

Платон оробел. Кругом люди. Кончилась обедня...

— Дедушка, дорогой мой, ну как вы так можете? — испуганно озираясь, подымал его Платон с колен.

Старик снова перекрестился на Платона и громко сказал, не ему, а всем:

— Да святится имя твое, Платон... Я ведь, сызмала зная тебя, говорил, что ты прославишь род свой и бог простит через тебя грехи породившим тебя до седьмого их колена!

Эти слова слышал и Лука Фомич, заходивший в собор послушать певчих. Ему тоже стало не по себе. И он подумал: «Не переслащает ли Платон свои медовые пряники? Когда привыкнут к ним, нелегко будет ему сбавлять сласть...»

Лука Фомич твердо был убежден, что и ласка должна знать меру, а уж что касается ублажения мастеровых, то тут особо нужно понимать, что данное им и назад не вернешь, и убавить не убавишь.

Дед-покойник Мелентий Диомидович каждую масленую неделю мешками грузил бублики в кошевы и выкидывал по улицам угощения. И как-то пропустил он или позабыл про бублики в одну масленую неделю. Весь год об этом помнил народ. То кота дохлого с бубликом на шее к воротам подкинут, то бублик из этого самого... скатают и в расписной коробке на дверную скобку привесят.

— И бублики с умом кидать надо,— поучает Лука,— а уж больницы-то даровых-то докторов... и говорить нечего. Лиши теперь попробуй их этого... Не кота дохлого, а покойничьи кости из могилы выроют и на дом доставят. И не чьи-нибудь косточки, а отцовские или дедовские. Акинфинские. Да еще напишут углем: «Для уравновешивания взаимностей» или еще чище... Найдут, что написать...

С хорошим самочувствием возвращался из собора Лука Фомич — и на́ тебе... Все прахом пошло. И шустовским не запьешь...

«Оно конечно,— рассуждал он,— если по совести... Нужна больница. И школа хорошая с черчением-рисованием тоже нужна. И я бы сам это мог. От души мог... А потом что?.. Коли назвался груздем, лезь в кузов... Так уж лучше в мухоморах числиться, чем в распятых праведниках на кресте висеть».

Имя Платона называлось в каждом доме. По-разному, но называлось. Одни превозносили его до превыше седьмых небес. Другие называли его ловким притворщиком, отравой в позолоченном пузырьке, а то и просто ду́раком, не в отца. А третьи, которых было большинство, чистосердечно не понимали, кем считать, как назвать молодого Акинфина.

Овчаров — тот весь на виду. И целей у него корыстных нет. И рабочая кровь в нем. Жалко только, что против царя и словечка худого не сказал. Усмешки не обронил. А может, и хорошо сделал, что не обронил. Оброни бы ее, так был ли бы он в такой чести и у тех, и у этих? А честь не ему нужна. Нужна только радость за тех, за кого скорбит Александр Овчаров.

А молодой-то Акинфин зачем в ту же упряжь влез? Зачем?

Простой народ не понимает этого — одна статья. На то он и простой народ. А начальники? Инженеры? Свои и привозные... Почему они тоже насчет него шепчутся и

хотят знать, каков он там? В себе? Куда ни отец, ни мать и никто, видать, не вхожи. Видать по всему, и они немногим больше других о нем знают.

И, как всегда, размышляющие, ищущие ответа и не находящие его говорят одно и то же:

Время покажет...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Увлекшись, перо опять опередило события и снова нарушило единство времени. Исправляя это, мы снова побываем во дворце Акинфиных, теперь все чаще и чаще называемом домом, что более соответствует новой фирменной марке с изображением уравновешенных весов.

В доме Акинфиных созерцательный его глава снова предается воспоминаниям и размышлениям:

— Давно ли это было, Калерия... Не вчера ли, не в этом ли зале в такую же пору трубили трубы, пели певчие, засыпали нас цветами, заваливали подношениями и во всю-то моченьку кричали нам: «Горько! Горько!» Пили-били, плясали до одури и на другой, и на третий день... Перемешались в один Содом, засыпали в одной обнимке, а просыпались в другой. Пьяному море по колено, а богатому и того мельче... Давно ли это было, давно ли, Калерия? Будто прошло не двадцать девять лет, а мелькнуло двадцать девять дней и каждый из них как один час...

Увлекшийся воспоминаниями Лука Фомич перебирал и мелочи, называл малознаемые имена вперемежку с громкими фамилиями заводчиков, владельцев приисков, копей, лесов, распронаибогатых вдов, их превосходительных сановных гостей, всемогущих горных начальников и тут же, рядом, циркачку-наездницу, рыжего клоуна, словно проверяя крепость своей памяти, упоминал он и тех, кто пек, варил, жарил, подавал на стол, обносил вином и одарял такими улыбками, что чуялись давно забытые запахи пьянящей черемухи.

— Наша свадьба, Калерия, если прикинуть и вдуматься,— рассуждал Акинфин, возлежа на диване,— обернулась и богатой ярмаркой. Не один миллион, думаю я, прошел через нее — кому-то в приход, а кому-то в уход. Ушел, я думаю, именно в эти дни из козырных доменных королей в черную краховую масть, вечная память ему, Пармен Ключарев, а удачливый Молохов шу-

тя-шутешеньки оттяпал две ключаревские медные печи себе. Доходной была наша свадьба для Васьки Молохова! Подумать — две печи... Обе они могли бы нашими быть, да и все другие, коли б не поторопился Платон...

— Будут нашими,— твердо сказала Калерия.

— Ты что? Молохову сын нужен, а не шарабан! Он так и сказал мне: «Помни, Лука Фомич, одна у меня она дочь, и я не неволю. Пущай ее на людях покрасуется. Но ежели кенарь хоть в чем-то поневолит ее, ты знаешь, Фомич, как я умею стрелять из дуэльной шомполки...»

Калерия сказала мужу:

— Не утруждал бы ты свою голову, Лука, в ней и без того тесно. Вычерчивал ты Платона доменным владетелем, а он лесным властителем вычертился. Так и младший.

— Кто чертит скоро, строит не споро. Не прибаутка это, а первая заповедь для всех и каждого. Боюсь, что Клавка самообольстителен и легкодумен в своем черчении.

Калерия хихикнула.

— Да он ее по рукам и ногам очертил, от головы до щиколоток. Так очертил, что дальше, пожалуй, и некуда. Поздно, я думаю, ей обратно расчерчиваться.

Лука Фомич приподнялся на диване. Качнулся и снова лег.

— Ты что?

— Ништо! Если это правда, Калерия, то хуже и сам сатана не придумает.

— Чем же хуже-то? Окстись!

— Это так плохо, что и слов не найдешь. Молохов не из тех отцов, у которых дочери сами себе женихов выбирают да еще... ставят родителей в безотказное положение. Плохо Клавдиево дело, Калерия. Так плохо, что и слов не найдешь.

Калерия насторожилась:

— Лица на тебе нет. Опомнись!

— Ты опомнись и остановись, если еще не поздно. Их останови. Да так останови, чтобы и концы в воду. А если в самом деле поздно, доктора нынче всякие есть. Головы долбят, черепа штопают, а уж...

Лука Фомич так страшно выругался, что уши Калерии, слышавшие всякое, захолонули от слов.

Испугалась и она. А вдруг Молохов в самом деле, как поруганный отец, вызовет драться Луку на шомполь-

ных ружьях с картечью, как того гусаришку, и прихлопнет, как и его. А то бездуэльно кулачищем пришибет и оправдается, как уже бывало: «Я же до смерти не хотел, а только так...»

Что же делать-то ей, что? Не к Жюли ли бежать? Эта ящерица все ящерные ловкости знает. И побежала к ней!

— Поздно,— сказала Жюли.— Теперь вся надежда на Мадонну.

— Так ты и стань ею, Жюлечка! Ничего не пожалею за это!

Жюли потерла круглый лоб и ответила:

— Попробую... Только я не верю обещаниям!

Калерия мигом сбегала к себе и принесла дорогую алмазную материну брошь.

— Задаточно! Если уладишь, весь этот алмазный гарнир твой, кроме кольца. Память по матери.

— Попробую,— ответила Жюли, не веря в успех и теперь уже раскаиваясь в своих плутнях. Она тоже боялась первобытнодлиннорукого Василия Молохова. Черного, мрачного и жестокого полуживотного-получеловека. Таким она всегда видела его, а теперь он представился ей еще страшней.

Ничего не знал, да и не хотел знать Платон о любовных интригах, происходивших в семье. Для него все это было мышиной возней, не стоящей и крупицы переустройства жизни, происходившего на его заводах.

Он, Скуратов, Овчаров и Флегонт Потоскуев нашли способы компромиссного взаимного соглашения с рабочими об отчислении в Кассу сумм для установления престарелым рабочим пенсии.

Авторитет Кассы возрос вдвое. И как еще вырастет, когда Касса будет продавать в рассрочку своим членам хорошие, о двух, о трех и о сколько пожелаешь комнат дома. Или по желанию сдавать их, как сдают квартиры. Только дешево. Очень дешево.

Возведение новых рабочих домов, новых улиц было давним, еще юношеским желанием Платона. Теперь оно стало и желанием Родиона Скуратова.

Платон, занимаясь только теми науками, которые ему могут пригодиться, по совету Юджина Фолстера, не пренебрег и новейшими экономическими учениями. Пусть он читал Маркса и Энгельса, листаючи через две страницы на третью, а тем не менее к чему-то из главного Платон

приобщился. Ему отчетливо было ясно, что три материальные потребности являются обязательным условием для существования человека. Это потребность в питании. Она более или менее теперь обеспечена в Шальве. И особенно этому способствует свое небольшое домашнее хозяйство. Корова. Мелкий скот. Огород. Надо бы лучше, и будет лучше. Но пока можно терпеть, как и с обеспечением третьей потребности — в одежде и обуви. Не щеголяют, а голыми да босыми не ходят. Лохмотья не так уж часты. Они больше в деревне дают себя знать, но не в заводских населенных пунктах. А вот относительно второй материальной потребности — жилища — дела обстоят плоховато. С этим тоже мирятся шальвинцы, но мирятся потому, что не допускают лучшего. А это лучшее надо показать.

Барские дома и дворцы не схожи. Они все на особицу, а рабочие дома один в один.

В детстве Платон наблюдал, как строился дом рабочего. Это был чаще всего дом-пятистенка. Избой его не называли. Но это была изба. Пятая стена делила дом на две части. Первая была кухней. В ней же стоял столовый стол. Здесь обедали, пили чай, ужинали и спали на полатях, находившихся под потолком, поблизости от русской печи. Вторая половина была чистой. Гостевой комнатой и спальней.

Рабочий дом строился долго и трудно. Строительство растягивалось и на год. Осенью заготовляли бревна. Иногда осенью же рубили сруб. Весной сруб ставился на бутовый фундамент и крылся чаще всего дешевой тесовой крышей. Железная крыша была дорогой и хлопотной. Дорогим были и застекление, и кладка русской печи. Дом разорял рабочего и вводил в долги.

В «равновесии взаимностей» для осуществления широких планов нужно было не ограничиваться обещаниями, не успокаиваться провозглашением их на фирменном знаке и заводских номерах, а наглядно показывать, что это все не посул, а явь.

Пенсия уже стала явью. Ею же должно стать и краеугольное жилищное благополучие рабочей семьи. Тогда рабочий почувствует себя не порабощенным хозяином, а взаимно полезно сотрудничающим с ним.

Предрешенное в мечтаниях должно найти практическое, техническое, инженерное воплощение. Им-то и занялся Платон.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Думая о дешевом доме для рабочего, Платон вспомнил подарок отца. Отец заказал для Тоника столяру «форменный дом» для игры. Это была модель дома, который можно шутя разобрать и снова собрать. Игрушка увлекла Платона и самым процессом разборки-сборки, и своей «всамделишностью». Здесь было все: и половые доски, и накат пола, и стропила, и сенцы с лестницей, и чулан.

Разборный игрушечный домик подсказал идею таких, но настоящих быстро собираемых домов. И он принялся думать, каким должен быть такой дом. Для него было ясно, что для этого прежде всего необходимы такие детали стен, которые бы не нуждались в дополнительной притеске, прилажке, как это делали плотники, по нескольку раз примеряя бревно, прирубая его. Бревно легко мог заменить брус. Точный, прямой, готовый для укладки вплоть до зуба углового замка. И это представлялось ему простым и легким. Он в часы досуга нарисовал, а затем вычертил несколько таких домов. Но какой из них окажется наиболее удобным и пригодным для рабочей семьи, об этом Платон знал лишь умозрительно. И он решил заказать в модельный цех разным мастерам разные сборные дома «по их разумению и как для себя». Он обещал за лучшие дома дорого наградить. А за те дома, которые могут быть пущены в работу, создавший их получит за созданную модель самый дом.

Платон Лукич и Родион Максимович относятся к своей затее вдумчиво и, предвидя большое будущее, заказали сорока рабочим своих заводов рисунки домов, в каких бы они хотели жить. И обещали оплатить хорошей ценой.

Начались новые обсуждения, замечания. Заинтересованность поражала Платона и позволяла ему надеяться, что он теперь может осуществить лелеемое. Оставалось ответить на самый главный вопрос:

— А во сколько влетят эти красавчики?

Названной цене никто не поверил. Она была втрое меньше, чем предполагалась строившими дома и знающими, «что почем от уголка до конька крыши».

И совсем было трудно поверить, что за дом нужно платить не сразу, а в рассрочку. С вычетом из получки в в течение семи, десяти и двенадцати лет.

Когда же сказанное Платоном подтвердили Скуратов

и сам Александр Филимонович Овчаров, сомневаться было уже нельзя. И сомнения отпали окончательно после того, как появились две новые становые лесопильные рамы, изготовляющие мерные брусья. Это были особые рамы, которые справедливее было назвать станами. Выпиленный из бревна брус шел дальше по стану в остругивание, запилку и вырубку угловых замков. Лицевая, фасадная сторона бруса — «заполуваливалась» под вид бревна.

В новом цехе при лесопилке также машинно изготовлялись рамы, двери, доски пола, накат для потолков.

Забегая опять вперед, чтобы во имя уважения к хронологии не нанести ущерб развитию действия, опять расскажем, что вскоре произошло и что еще не случилось пока.

Первые дома получили модельщики. Без рубля, без копейки.

Желающих купить в рассрочку составные домики оказалось больше, чем возможностей произвести их. Поданные заявления разбирались Кассой с привлечением представителей цехов.

Кого предпочесть? Как установить очередность?

Предпочли бездомных и вновь нанятых. За ними — живших в ветхих, догнивающих домах.

В третью очередь шли радивые и отличившиеся на работе.

Остальным было сказано, что ждать долго не придется, что с каждым месяцем будет прибывать число изготовляемых домов и правило Платона Лукича — «легче, лучше, больше» — и на этот раз не окажется пустыми словами.

Касса назвала первые сто фамилий, которым будут построены до осени новые дома. После чего началось обсуждение договоров, взаимных обязательств. На некоторые пункты этого договора не все обратили внимание, а они заслуживали этого.

В числе пунктов были такие, по которым дом не может быть продан или передан другому лицу. Это понятно.

За дом нельзя удерживать из месячного заработка рабочего более двадцати процентов и менее пятнадцати процентов. Тоже хорошо.

А вот почему за дом нельзя выплатить сполна наличными или с более короткой рассрочкой, это вызвало удивление. В самом деле, чем плохо для хозяина, если выпла-

ту не будут растягивать на долгие годы. Овчаров объяснил так:

— Ни Касса, ни фирма не желают, чтобы дом ложился тяжелым бременем на семью, купившую его.

Хотелось знать, что станется с домом, если купивший его уволится с завода или будет уволен. Овчаров сказал:

— Дом продается без прибыли, по самой крайней цене, и только работающему на наших заводах. Может быть, в дальнейшем будет продажа всем, но по другой цене. Пока же домов не хватает своим.

Это же растолковал и Скуратов.

Спрашивалось: а как будет с домом уволенного?

На это в договоре отвечалось точно:

Выплаченные деньги возвращаются полностью с добросовестным удержанием за износ дома по установлению Кассы.

Спорить не о чем, и сомневаться не приходится. Пока что не увольнялся никто, кроме воров и преступников.

Предусматривалась в особом пункте и смерть купившего дом. В котором ясно говорилось, что в этом случае при отсутствии в семье работающих дом переходит в собственность осиротевших. При наличии подрастающих членов семьи, способных стать ее кормильцами, дается добавочная рассрочка, до времени поступления на работу. В этом случае выплачивается половина долга.

За такие слова и в ножки можно поклониться.

Снова имя Платона Лукича у всех на устах.

Во многих поминальниках, как сказал отец Никодим, на листках о здравии вписывалось имя Платона.

Когда же началась установка первых домов на фундаменты, пришлось стройку огораживать жердями от зевак. «Скорое составление» превратилось в зрелище. Первые «составные» дома возводились «под конек» в течение шести дней, потом поднаторевшие мастера, получавшие за сборку сдельно, управлялись в три дня. Самым долгим была кладка печей, но и здесь нашлись смекалистые мастера. Нашлись свои выдумщики. Печь клали по шаблонам трое — печник, подручный и подносчик кирпича.

Жизнь подсказала добавления к дому по желанию заказчика. Добавлялись полати. Терраска. Летняя светелка на чердаке. И с первых же новоселий оказалось, что в новом доме нужна и под стать ему начинка.

Мебель — это новый цех. Новый цех — новые расхо-

ды. Но и тут нашлись «улучшатели». Была предложена мебель, получившая, как и дом, название «составной».

Новый успех венчал новыми лаврами сердечного, пекущегося, понимающего рабочего человека молодого хозяина Платона Лукича.

А теперь, забежав так далеко в успехах старшего сына Акинфина, вернемся к тревогам младшего — Клавдия...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Совсем недавно Луке, Жюли, Агнии, тем более маменькиному сынку Клавдию развязка хотя и казалась бурной, но все думали, как думает большинство людей в таких случаях. Не они первые, не они последние. Покричит, пошумит, может быть, и прибьет дочь, потом невозможное примет за неизбежное и благословит.

Теперь в это никто не верил. Грозовая туча висела над домом Акинфиных и в эти ясные, солнечные дни без единого облачка на тихих небесах.

Только один Платон, которому боялась сказать правду знающая все Лия, как всегда, занимался сонмом своих дел. Типолитографией. Составными домами. Пуском новых станков. Телефонной станцией и ее линиями. Возведением электрического цеха. Подсчетом замочных прибылей.

Ему завидовали все Акинфины и молчали. Он мог вмешаться и сделать еще хуже.

Еще хуже сделал другой, вмешавшись в тайну семьи Акинфиных, мстя за Кэт, за себя. Он очень последовательно и логически доказательно хотел оберечь от позора Молохова, который должен потребовать у Акинфиных женить Клавдия на Кэт. Агнию же отправить в Петербург, где и невозможное сделают возможным.

На Молохове известие Шульжина не сказалось взрывом негодования. Выслушав Феофана Григорьевича, Молохов предупредил:

— Знай край, да не падай! Будет врать. Пошел вон, старый растлитель! Пикни только об этом или Алиса твоя пусть пикнет, тогда знай... Это будет последний ваш писк... Последний... Пшел вон, дочерин поддавальщик! Пшел!

Оставшись один, он выпил стакан успокоительного.

Белого. Красных и всяких других цветных вин он не пил.

Придя в себя, Молохов позвал Агнию.

Бледная, прозрачная, она в длинной ночной рубашке вошла неслышно светлым ангелом в отцовский каземат под мраморными сводами.

Агния, кротко опустившись перед отцом на колени, еле слышно сказала ему:

— Какой бы мерой ни наказал ты меня, я и бог простят тебе.

Зверь дрогнул, съежился и зарыдал.

— Доченька... Неужели ж, неужели он ошарманил нас, обесчестил и покорил?..

Агния бросилась к отцу, и они, обнявшись, зарыдали вместе.

Так прошел тягостный долгий час, а потом Василий Митрофанович, ничего не говоря, встал и ушел в свой «алтарь» за железную дверь. Дочь перешла в объятия матери, и та, крестясь, сказала:

— Агонька, страшен первый гром... Отойдет... Придет в себя... Отец же он... Отец!

А Платон в этот день любовался рекламным образцом замка-болта. Отполированный до алмазного свечения зеркально-никелированный замок мог украсить письменный стол и вельможного банкира. На обеих торцовых плоскостях отчетливо выштампованы весы и буква «А». На дисках съемной головки вместо букв цифры от нуля до десяти. Номерные диски вращаются бесшумно.

Изготовлено по числу замков сто кедровых подарочных коробочек. На них выжжено, что необходимо. И адрес. И оптовая цена. И скидка при оптовом заказе на сто, на двести, на триста и на тысячу замков.

Отпечатано в литографии и уведомительное письмо. Оно извещает:

«Милостивый государь! Фирма презентует Вам образец замка, открывающегося и закрывающегося без ключа...»

Штильмейстер, мастер словесного колдовства, сумел выткать на листе, тисненном под канву, живописно интригующие фразы и математические формулы, исключающие открываемость номерного дискового замка-болта.

На каждом замке свой номер, а в списке, остающемся в сейфе, отгадка цифр каждого замка. Надо же заказчику убедиться, что замок открывается. И он, помучив-

шись день-другой, неделю, спросит об этом. И когда, получив ответ, своими руками откроет свой замок, для него уже не будет сомнений, какой это ходовой товар и как много можно на нем нажить.

Дело верное. Хватит ли только технических возможностей выполнить заказы на полмиллиона прибыли, занесенной Флегонтом Потоскуевым в реестр предположительных доходов? Кузине Анне четвертую часть долга вернули первые завалишинские замки мелкого пользования. А эти болтами вернут за год все, да еще построят «Женский завод», а может быть, и башкирский поселок Султанстан. Башкиры очень честный, исполнительный, работящий народ. Их только окрылить и заставить поверить, что они могут свернуть горы и пустить реки вспять. И они пустят и свернут...

Отрадно на душе у Платона. Широко рисуется ему недалекое осуществление своих замыслов. Он поможет и Антипу Потакову омолодить его старый завод. Потаков поймет предпочтительность зависимого расцвета самостоятельному захирению и согласится стать акционером. Буква «А» очень много заключит в себя.

Можно простить и серость Кузьме Гранилину. Наладить ему производство нескольких видов замков, передать скобяную мелочь и также помочь технологически. Чем тогда он будет не акционер? Да и Молохову поможет открыть глаза титулованное чучело Шульжин, ничего не смыслящий в металлургии, принеся ему первые убытки. Поймет и этот первобытный человек, что прочное содружество спокойнее убыточного одиночества. А может быть, как знать...

Мысли Платона перескакивают на Клавдия. А вдруг?.. Чары любви необъяснимы. Вдруг в самом деле тоненькая ниточка Агния свяжет брачными узами Акинфиных с Моloховыми?.. Ведь любовь в самом деле необъяснима в своей мудрости и глупости...

Нет, решительно отгоняет нелепое, несуразное предположение Платон. Разумное для фирмы Платон считает безнравственным для себя. Как можно желать видеть ниткой близкую к идеалу и совершенству чистую, бескорыстную Агнию... Нет, нет, ее влюбленность пройдет, она отдаст дань девичьей наивности, поймет, как пуст Клавдий, и отвернется от него навсегда. Ей нужен такой же, как она. Вениамин мог бы освободить Агнию от плутовских чар...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Агния не освобождалась от чар, а осмысливала в бессонные ночи, как могла она позволить ему привести ее к этой ранней потере юности и началу новой, зрелой жизни, к которой она не была готова и которая теперь страшит.

Ей очень хотелось оправдать себя и поднять Клавдия в своей душе.

Она знала, что Клавдий рано пристрастился к вину. Быстро хмелел, а охмелев, давал больше воли слабости. Болтовне. Выдумыванию. Прожектерству. Хвастовству. В этих случаях он становился не только недалеким, но и смешным в несусветности своей околесицы. Клавдий мог рассказать, как однажды он танцевал с императрицей. Ему ничего не стоило соврать и поверить совранному. Но лгал он обо всем бескорыстно. О встрече с медведем, которого он прирезал перочинным ножом, вонзив его в сонную артерию зверя. Для него ничего не стоило на пари переплыть Ла-Манш или пробыть под водой около часа, держа во рту резиновую трубку. Меткость стрельбы удивляла и его самого. Оказывается, он без промаха бил из ружья, заряженного маленькой дробинкой, в комара за окном, мог острой саблей отсечь половину крыла летящей пчеле и загипнотизировать волка...

Мало ли что сочинял он! Кто не был одержим мальчишечьим враньем. Можно сожалеть, что это мальчишество не оставило Клавдия до двадцати одного года. Оставит позднее. Не всегда же он будет распевать пошленькие песенки и с увлечением рассказывать, как в парижской оперетте выручил больного премьера и в течение десяти дней пел за него и как антрепренер, не зная, что он сын миллионера Акинфина, предлагал ему уйму франков за каждый выход на сцену.

Нелепо это. Нужно простить ему наивное вранье, не преследующее выгод, наживы и ничего, кроме желания еще больше понравиться ей. Несчастное дитя, испорченное матерью и гувернанткой.

Пройдет это все, и папа поймет, что он будет хорошим мужем и счастливым отцом.

Надеясь на это, Агния засыпала под утро. Отца третий день нет дома. Он куда-то уехал, сказала дочери Феоктиста Матвеевна и пообещала:

— Обойдется, Агонька, все обойдется, потерпи.



Днем к Молохову приезжала Жюли.

— Я хотела бы лично, Феоктиста Матвеевна, рассказать кое о чем Василию Митрофановичу.

— Не теперь бы, милочка. Повременить бы... А может быть, и не надо... Он любит сам доходить до всего и сам решать. И решит. По-отцовски решит. Агочка-то у него, как и у меня, одна.

Жюли вернулась в Шальву с обнадеживающими вестями.

Прошел день. И еще прошло два дня. От Молоховых не было никаких известий. Не давала знать о себе и Агния.

— Опять тебе придется быть послом, Жюленька,— попросила ее Калерия Зоиловна.

Пара самых огневых умчали Жюли. Ее принял Молохов как давно ожидаемую.

— Если свахой изволили прибыть, мадам, то милости прошу...

И все как всегда. Как будто ничего не произошло. Вошли и Агния с матерью. По их лицам можно было прочесть самое благоприятное.

— Сватайтесь же, мадам,— попросил Молохов.— Или вы не умеете, не знаете, как это делается, как сказывается по русскому обычаю?.. Вижу, нет. Тогда я научу.— И он, меняя голос, начал сватовское присловие: — У вас, Василий Митрофанович, белая утица, а у нас белый павлин, в холе дома выпестованный, за морем выученный всем ихним премудростям, и звонким пениям, и другим разумениям... Так, что ли, свашенька?

— Так, Василий Митрофанович, так...

— Тогда время тянуть нечего. Пусть мать и отец вместе со своим богоданным павлинчиком приезжают на обручение. Так водится на Руси, так и будет у нас.

— Я счастлива... Очень хорошо, Василий Митрофанович...

— Да куда уж лучше, если без сватовства все сосваталось. А это вам, мадам, за хлопоты.

Молохов снял с руки Феоктисты Матвеевны массивный браслет с изумрудами, надел его на руку Жюли и повторил:

— За хлопоты,— а затем отчетливо добавил: — И за короткий язык... А ежели он не ровен час подолжеет, тогда... Тогда другим одарю...

— И от меня, Жюли Жаковна, прошу принять подареньице с теми же наказательными словечками.

Феоктиста Матвеевна отцепила свои с такими же изумрудами серьги, завернула их в платочек и сунула подарок за пазуху Жюли.

— Так завтра или когда вздумается жду их втроем. Свашеньку милости прошу не утруждать себя. Уши любят серьги, а любить им чужой семейный разговор негоже...

В Шальву огневые серые лошади примчались в мыле. В поту вбежала в дом и Жюли.

— А вы мне не верили... Да, да, вы мне не верили, а я всегда, ничего не обещая наверняка, сделала больше, чем могла...— В доказательство сказанного Жюли показала знакомые Акинфиным серьги и браслет.

Платон не поверил услышанному, а Клавдий нравоучительно сказал ему за утренним чаем:

— Тонни, я исправил твой промах с молоховскими доменными...— Он не договорил. Красный острый соевый соус не дал ему договорить. Соус залил ему рот и заслепил глаза.

Выплеснувшая все содержимое соусника в лицо Клавдия поднялась и вышла из-за стола. Утершийся салфеткой Клавдий понял свою оплошность и крикнул вслед Цецилии:

— Вы правы, мадам! Пардон! Я горжусь вами, мадам, и преклоняюсь перед вашим выбором! — Затем, доутирая лицо, Клавдий обратился к Платону: — Она обожает тебя, брат. И я верю теперь, что не лес прельщал тебя, когда ты...

Ему снова не удалось завершить комплимент. Платон предупредил:

— На этом остановись, если ты не хочешь, чтобы я к соусу добавил что-то еще.

Платон, резко повернувшись, ушел вслед за Лией.

Выяснять эту размолвку не стали.

— Мало ли чего не бывает в семье,— предупредила Калерия Зоиловна.— У нас теперь есть поважнецкее дела. О них и надо думать.

А Лука Фомич думал свое. Он не верил в искренность Молохова и ждал подвоха.

— Помни, Клавдий, твердо помни, что твое дело теперь только молчать. Упаси тебя бог развязать язык у Молохова! Тогда я не соей тебя оболью, а серной кислотой изуродую... Калерия, я приказываю до свадьбы запереть в погребке все вина. Ни рюмки в доме. И это сейчас же убрать со стола. Убью, если учую от кого-то винный запашок!

— Папа, я всегда был умерен...

— Умерен или укобылен, я не желаю знать, Клавка. Укороти сегодня же свои медностружечные патлы. Не к девкам-шантанкам едешь! К невесте и к ее отцу, к человеку строптивой строгости. Будешь молчать да кланяться, и больше ничего! Никаких пардонов и бонжуров. Безо всякой французжатины... По-русски! И на передний угол не мешает перекреститься, когда войдешь! Завтра судьба фирмы решится! Быть ей со своим железом, со своей медью или не быть!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утром на следующий день Василий Молохов, готовясь к встрече с Акинфиным, был откровенен с женой:

— Что говорить, Клавку я всегда считал пустоцветной придурью и двухвостым прохвостом.— Молохов имел в виду любовь Клавдия к фракам, которые он носил и в не положенные для них часы.

— Нынче все двухвосты, Васенька. Агочка лаской и добротой обесхвостит его полностью.

— Все может быть,— соглашался и не соглашался Молохов.— Для неимущей жены супружество-замужество путы. Для нашей же Агочки всего только проба на верность, на крепость семьи, какой она может быть и должна стать. Не ожегшись не узнаешь огня,— рассуждал он.— А опалившись им, она либо приручит его, либо погасит и задует новый, верный... долгий огонь.

— А когда сын или дочь? — спросила Молохова.

— Богатая вдова и с семью ребятами девственница. Оно конечно,— рассуждал далее Василий Митрофанович,— может, и из Клавки с годами дельный человек выпляшется. Бывает и так...

Вошла горничная. Она была сегодня в атласном кремовом сарафане и при жемчужных бусах. Видимо, было кому дарить такие.

— Прибыли господа Акинфины. Втроем. Пренарядпущие,— сообщила девушка.

— Надо встретить, Васенька...

— Ты встреть. Я посижу...

— А что я за встречалка им?.. Милости проси их, девонька. Любезнехонько проведи их. Ниже кланяйся...

— Да уж знаю... Все знаю...

Нетерпеливая Калерия не стала дожидаться, когда вернется горничная, и столкнулась с нею в двери. Следом вошел Лука, а за ним робко, пришибленно и притворно покорно, на цыпочках, вошел Клавдий. Его волосы были укорочены. К этой новой прическе ему шли вышитая зелеными листьями шелковая косоворотка и сапоги.

Молохов не скрыл улыбки. Он вышел навстречу. Облобызался. Пошутил. Похвалил его русский наряд и ничем не показал своего неуважения к нему. Все это вселяло в недалекого Клавдия самые благоприятные надежды.

Акинфин и Молоховы, оставшись в своем кругу, мо-

гли начать ожидаемый разговор. Они уединились вшестером в небольшой гостиной. По одну сторону стола сидели отец, мать и сын Акинфины, по другую — Молоховы с дочерью.

— Дело не шуточное,— заговорил первый Василий Митрофанович,— и поэтому всё должно быть в полной ясности. Как говорят, в открытую — карты на стол. Так ли?

— Так, Василий Митрофанович,— откликнулась Калерия Зоиловна.

— Это уж как водится,— присоединился к ней Лука Фомич,— не торг ведем, «кто кого обманет», жизнь наших детей решаем,— посмотрел он на сидящую поодаль Агнию.

— Однако же счастье счастьем, а остальное тоже забывать не будем. О приданом и однолошадный мужичок-пахарек не забывает. С него и начну для большей вразумительности и лучшей понятности.

— Да зачем оно нам, Василий Митрофанович? Мы, слава богу, капиталами не обижены и долгами не обременены.

— Это и я, и все знают, Лука Фомич, но все же ж порядок блюсти надо. Не приемное чадо выдаем, не седьмую родню, а кровную и единственную. Так вот, отдаю за ней все, от старой бани до новой домны. Все будет ваше,— обратился он к Акинфиным.— Все. Нет у меня других наследников, опричь разве мелкоты, которым завещано по тысчонке-другой, третьей, пятой...

У Луки Фомича кольнуло в боку, ему труднее стало дышать.

— А ты-то с чем останешься, Василий Митрофанович?

— Обо мне не горюй. Я себя никогда не забывал и теперь не забуду. У меня всему свой срок и всему своя мера. Прошу прощения,— сказал он и расстегнул ворот рубашки, а потом, опять попросив снисхождения к нему, снял чесучовый пиджак.

Феоктиста Матвеевна хотела открыть окно, да Молохов удержал ее.

— Нынче и стены не без ушей, а уж окна вовсе маладежны для такого разговора. Так, стало быть... Отдаю все нотариально завещательно. Однако же ж... Коли карты на столе, прятаться нечего. Клавдий мне мил и дорог, как сын,— солгал он так правдиво, что Калерия

тут же смахнула слезу.— Но я Клавдия знаю плохо и верю ему мало.

— Это как же, Василий Митрофанович? — удивился Акинфин.— Он весь на виду.

— То-то и плохо, что весь на виду и ничего спрятанного в нем нет.

— Чем же плохо-то? — спросила Калерия Зоиловна.

— А тем, что Париж много ему дал и еще больше взял. Нет у него той строгости, что у старшего вашего, Платона. Тот хоть и замчен на семи замках, да знаешь, что под ними заперто. Камень. Кремень. Гранит. И никакой пустой породы в его рудоносном нутре нет. И муж он тоже не из мягкого мрамора, а из самых твердых пород, каких, может, и нет в наших горах. Разве алмазы только... А я хочу своей наследнице мужа мягкого, высокой любви и нерушимой верности.

— Так я и буду им,— чуть ли не умоляюще вымолвил Клавдий.

— Верю, Клавдий. Верю, но проверю. Поэтому половину всего, чем я владею и еще буду владеть, вручаю тебе после третьего ребенка. Малец ли он или девчушечка-внучечка, но после третьего.

Сидящие молча переглянулись. Обменялись разговорами глаз. И, кажется, поняли смысл сказанного Молоховым.

— Воля твоя, Василий Митрофанович. По мне хоть после четвертого.

— А по тебе, Клавдий, как?

— Как папан, так и его енфан.

— Не по-русски, но вразумительно. Значит, первая половина может считаться договоренной.

— О чем разговор, Василий Митрофанович!

— Если не о чем, Лука,— назвал его Молохов уже по-свойски,— тогда руки на крест.

— На какой крест?

— На этот. На медный. На дедовский.

Молохов еще шире расстегнул ворот, снял на золотой тонкой цепочке нательный крест, положил его на стол, затем положил на него свою руку и сказал, как колдун:

— Пущай сказанное будет нерушимо, негоримо, непотопляемо... Кладите руки. Правые!

На крест было положено шесть рук, и последняя из

них розовая, с тонкими, ровными пальцами, с миндальными ноготками Агашина рука.

— Теперь о второй половине приданого. Оно переходит на сороковой день моего преставления перед престолом всевышнего в девяти долях и в одной доле на дожитие благоверной...

— Да что ты, Васенька, разве я без тебя...

— Не спорь, жены живучее мужовей, меньше пьют... Так по рукам?

— По рукам! — крикнул Лука Фомич. И спросил Молохова: — Будем иконами благословлять?

— Будем и иконами.

Не успели пяти перечесть, как Агния и Клавдий стояли на коленях, а два отца и две матери по очереди благословляли и наставляли их.

— Хотя малость и опоздали мы с благословением, ну, да что поделаешь. Не все ли равно, масло в кашу класть или кашу в масло? Смесь та же будет,— пошутил Молохов.

Теперь уже все. Теперь уже, кажется, Акинфиным нечего бояться подвохов, которые они ждали от Молохова. Все, что надо, выговорил. Оберег себя, как мог.

Нет, не все еще кончено. Зря облегчают свою душу Акинфины. Впереди свадьба. О ней-то и спросила Калерия:

— А когда будем гулять, Василий Митрофанович?

— Сегодня,— ответил он.— Сейчас и гульнем, справим свадебку меж собой.

— Без венца? Без таинства бракосочетания? — удивленно спросил Лука Фомич.

А Молохов еще удивленнее:

— Да вы что, господа Акинфины? Неужели вам тоже неведомо, что Агния и Клавдий повенчаны? Зачем же вы незнайками прикидываетесь, господа хорошие?

Лука Фомич едва устоял. Калерия завопила:

— Когда? Где?

— Неужели же,— удивился Молохов,— это не вы им самокрутку подстроили?

— Батенька наш, Василий Митрофанович,— защищалась Калерия,— зачем же чего не надо выдумывать...

— Какие же это выдумки, когда мне причетник самолично привез венчальную выпись, которую Агнюшка с Клавкой на радостях забыли взять в церковной канце-

лярии... Вот она, выпись. Форменная. С церковной печатью... Вот!

Волнуясь, Молохов вытащил из-за икон выпись.

Жених хотел что-то сказать, но глаза встретились с глазами Молохова, и все слова застряли несказанными в горле Клавдия.

— Больше не будем об этом. Тяжко и мне, и тебе, должно быть, тяжко такое своеволие. Забудем о нем. Я усыпил зверя в себе и требую, чтобы никто не полусловом не смел его будить.— Молохов покосился на знаменитую шомполку, почему-то оказавшуюся в этом гостевом зале, и потребовал накрывать стол.

— Коли такое дело, так пусть будет оно таким,— примирительно согласился Лука Фомич.— Значит, большую свадьбу нам не играть...

— Поздно ее играть, Лука. Поздно. Только людей смешить да врагов тешить ранними родами. А ты запиши себе число и месяц ихнего венчания. А я бумагу запру в несгораемый шкаф, чтобы не вздумал муж отпереться, что он не женат. А теперь шампанского... А после него бери, Лука, сношку в свой дом. Береги и люби ее. Она стоит того...

ЦИКЛ ПЯТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О тайном венчании Клавдия Акинфина и Агнии Молоховой на второй-третий день узнали все. И все удивлялись, как мог Молохов простить такое дочери и зятю.

Простой народ, услышав об этом, тут же забыл. А те, кто относились к непростым, живо обсуждали случившееся, строя догадки, как скажется породнение Акинфиных и Молоховых на их заводах.

Оглушенный примирением Молохова, Шульжин решил перейти к Потакову. Там он сумеет быть очень полезным и, получая меньше, вознаградит себя местью всем своим обидчикам. Когда все определилось, Шульжин объявил о своем уходе.

— Не торопись, ваше превосходительство,— сказал Молохов.— Потакова Платон к своему тарантасу пристегнет. Каково тогда будет тебе? Лучше Кэт свою прикэть. Есть один. Лет ему немало, зато тысяч порядочно... Худой-то мир лучше доброй ссоры, равно как и старый законный муж надежнее безусого двоехвостика.

Шульжин понял больше, чем желал. А те, кто не понял, принялись наносить поздравительные визиты Акинфиным. Перечислять, называть всех побывавших нет надобности. Большое перечисление имен затенило бы интересные для нас имена. Потакова, например. Его интересовал не Клавдий, а Платон.

— Теперь, Платон Лукич, мне, вероятно, придется искать поставщика железа. Вам, надо полагать, потребуется все, что производит Василий Митрофанович, да еще недостанет производимого им.

— Если недостанет, Антип Сократович, у меня есть где прикупить. Мне пока не так много нужно сырья на мои мелкие поделки. Берите уж вы. Вам, доброму, снисходительному фабриканту, подойдут и молоховские сорта.

— Чем они плохи, Платон Лукич?

— Тем же, Антип Сократович, что и ваши изделия.

Потаков скрыл обиду:

— Плохое можно улучшить, Платон Лукич...

— Имея что улучшать, Антип Сократович, нужно научиться улучшать.
— Пытаюсь, Платон Лукич, пытаюсь...
— Попытка еще не действие, а намерение. Пока вы пытаетесь и намереваетесь, другие в это время действуют, и действуют не в вашу пользу.
— Вы?
— Я, кажется, уж нет. Нам не имеет смысла производить то, что успешнее и дешевле могло бы делаться у вас и что мы рады бы переуступить вам, Антип Сократович.
— Мне? На каких условиях? Уж не на акционерных ли?
Платон посмотрел в глаза Потакову.
— Вас кто-то очень хорошо осведомляет относительно наших желаний?
У Потакова забегали глаза.
— Слухами земля полнится. Извините, Платон Лукич, скажите: захотели ли бы вы из хозяина превратиться в пайщика?
— А я и есть пайщик фирмы отца. Мне платится жалованье, а доход идет в основной капитал. Я же предлагаю вам не кабалу, а прибыли. Ваш завод будет производить такое, что у вас не будет нужды в поисках покупателей. Вы же ищете их...
— Вас тоже кто-то хорошо осведомляет...
— Да. Телефон. Проведите его и вы.— Платон снял трубку. Позвонил и попросил доставить ему образцы литой посуды.
— Мне хотелось увидеть ее. Вы очень предупредительны, Платон Лукич.
— Я вам подарю принесенное, а вы попытайтесь отлить такое же. Уплаты за подражание фирма не возьмет.
— Я никогда не подражаю.
— Подражаете, Антип Сократович. А подражание никогда не становится лучше того, чему подражают. Мистер Фолстер учил меня: не повторяй увиденного, а совершенствуй его, тогда никто не назовет тебя присвоившим чужое.
Литейщик-чех Карел Младек принес набор сковород, чугунов, жаровен.
— Паровые утюги тоже захватили на всякий случай,— сказал литейщик.— Уходить или рассказывать?

— Рассказывайте, а я пройду в цех.

Потаков нескрываемо залюбовался отличным литьем. Без следов стыков форм, без малейших раковинок и даже шероховатостей.

— Это есть, господин Потаков, литье по моему способу,— начал с легким акцентом Младек.— У меня на родине тоже еще не научились отливать такие гладкие, с тонкими стенками, очень крепкие посудные утвари.

Мастер, стараясь говорить короче и понятнее, показывал сковороды, на которых еле заметно, но четко красовался маленький фабричный знак — весы.

— А это есть угольный утюг внутреннего горения, господин Потаков. Он в два раза легче вашего и нагревается скорее около двух раз. При таком весе мы делаем вдвое больше отливок, и поэтому можем их дешевле продавать и больше получать капиталов.

— Отлично, господин литейщик, отлично... А как это делается?

— Фирма может показать...

— Фирма, а не вы?

— Нет, почему... Показывать буду я, а посылать меня будет фирма.

— Вам много платят здесь?

— Больше, чем дома. И я еще имею здесь пять копеек за пуд. За пуд утюгов — семь копеек. На утюгах узоры и поддувальные дырочки. Это труднее лить.

— Интересно, очень интересно...

— Да, очень. Ваш пусковой техник Миронов тоже сказал, что это очень интересно, и хотел узнать, что мы добавляем в сплав...

— Зачем же это ему знать?

— Он любит много знать. Вы потеряли очень хорошего знатока. Он высоко подымется, если так же будет любить работу и много узнавать. Работа хочет, чтобы рабочий много знал. Я читаю и учусь. Я тоже хочу много знать.

Вернулся Платон. Карел Младек раскланялся и ушел.

— Убедило ли это литье вас, Антип Сократович?

— Как инженера — да, Платон Лукич, но как владельца — нет.

— Сожалею, Антип Сократович. И прошу вас, пожалуйста, не позабудьте, что я протягивал руку и хотел перекинуть акционерный мост от вас к нам.

— Я предпочитаю не ездить по такого рода мостам, Платон Лукич.

— Страшитесь высоты?

— Напротив, низины. Боюсь оказаться под мостом.

— Подаренные изделия вам доставят, Антип Сократович. Повторяйте, лейте и богатейте. Я не сержусь на то, что вы даже не пожелали узнать об условиях соединения. Не сердитесь и вы, Антип Сократович, если обстоятельства и жизнь заставят нашу фирму снова удешевить это добро,— Платон указал глазами на сковороды, чугуны и утюги, лежащие на полу.— Подумайте!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Замки-болты с цифровыми дисками получили скорые отклики. Пришли первые телеграммы, в которых просилось назвать номера для открывания замков. И почти во всех изъявлялось желание приобрести замки и называлось количество в сотнях и тысячах штук заказов по опробовании рекламных образцов. Появились первые представители оптовиков. Один из них предлагал монополию на продажу. Это было очень выгодно. Но в рекламном отношении оказывалось неразумным. Замки в этом случае получили бы узкое распространение в какой-то одной сфере торговли и на одной территории.

Замки не могли дать по их спросу. Родион нервничал, сердился на нерасторопность. Платон радовался ограничению заказов. Оно вызывало ажиотаж. Оплаченные заказы перепродавались по значительно повышенной цене. Это дало основание повысить цену.

— Ты в чем-то изменяешь себе, Тонни,— сказал Скуратов.— Ты же утверждал удешевление?

— Смотря по покупателю. Кто будет покупать эти амбарные и магазинные замки? Твой отец, что ли? Или наши рабочие? Лавочники будут брать их! «Надувалы-аршинники». С кого же взять, как не с них? С кем же уравновешивать наши торгашеские взаимности, как не с ними, и не такими способами?

— А репутация фирмы, Тонни? Наше реноме? Мы же выходим на большой рынок, Тонни! Есть заграничные заказы... В Данию и Францию!

— Тем более. Они с нас дерут, а мы что? Что же, мы должны играть в Алешу Карамазова или в Филарета Милостивого?



— Но как объяснить? Как аргументировать, Тоник, повышение цены?

— Придумаем. Новая марка стали. Еще один диск! Запасные диски.

— Зачем?

— Как зачем? Не нравится фабричный шифр номеров дисков — ставь свой! Откусывай нужный зубец на каждом диске, и только ты будешь знать тайну номеров открывания своего замка!

— Ты гений, Платон!

— Об этом я знал задолго до моего рождения. А ты, Родик, осел.

— В этом я убедился только минуту тому назад! Драть с них! Драть! А как и где об этом объявить?

— Через неделю выходит первый номер газеты «Ша-

лая-Шальва». Штильмейстер напишет, Сверчков нарисует замки «ин корпора» и в разрезе...

Заказы были приторможены, а затем приостановлены. Инженер-англичанин с русской фамилией Левитин занялся способом «удорожающего удешевления» замка. Платон занялся Гранилиным. Он приехал поздравить на две недели позднее других Клавдия и Агнию, а заодно сообщить, что вчера сгорел дом Кузьмы Завалишина по «божьей милости».

— Очень странно, Кузьма Тарасович, что дом сгорел по «божьей милости» от грозы, а вчера грозы не было.

— У вас не было, Платон Лукич, а у нас была. Короткая боковая... Тр-рах и — пых! Как порох... Сушь же, сушь... И попасть в дом нельзя. Заколотил же его беглец...

Гранилин подробно рассказывал о причинах пожара и как-то очень старательно доказывал, что дом сгорел от молнии, вкатившейся «вот таким шаром».

— Вы видели?

— Я?.. Я — нет, народ видел. Люди видели...

— Ну хорошо, Кузьма Тарасович, видели так видели. Больше будет свидетелей на суде, и Завалишину никого не придется подозревать в поджоге. Никого, как я думаю, кроме бога.

— Сущая правда. А с бога какой же спрос, когда он сам спрашивает.

— Он и спросит. А теперь, Кузьма Тарасович, позвольте спросить лично вас. Не через посредников. Надумали ли вы погореть по милости господина рынка и госпожи цены или вы захотите сдать ваш завод в длительную аренду с правом получения половины чистой прибыли? Вам не будет никаких хлопот, кроме потери времени на получение прибылей. А через положенный срок, если вы захотите, получите обратно ваши мастерские современным заводом, со всем, что в нем будет преображено и вновь построено. Подумайте прежде, чем отвечать, Кузьма Тарасович. Подумайте! Завтра я этого не предложу. Не скрою: расположение ваших мастерских для фирмы выгодно близостью к Шальве и тем, что не нужно строить жилищ рабочим.

Гранилин вспылил:

— Ни в жисть!

— Ни в жисть так ни в жисть! А теперь советую вам не сообщать лично Завалишину о пожаре дома. Он го-

ряч. И не очень изощрен в мышлении. И первое, что ему придет в голову...

— Пусть приходит. И даже лучше. Пусть знает, что его бог наказал за меня.

— Вы нетрезвы, Кузьма Тарасович. И он в субботу позволяет себе некоторые излишества. А мне не хочется, чтобы в Шальве кому-то испортили черепную коробку... До свидания... Вон и Клавдий. Идите поздравьте его...

При этих словах за окном дворца послышался голос:

— Пропустите меня! Я зарублю поджигателя отцовского дома! Мне везде есть вход! Пустите... я Завалишин!

Завалишина связали кучера. Гранилин через калитку парка убежал лесом, не успев поздравить Клавдия и Агнию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Молодая чета Акинфиных разместилась в левом крыле дворца. Комнаты заново меблировались под наблюдением Жюли.

Лия близко сошлась с Агнией. Не одно приближающееся материнство обеих молодых женщин сблизило их, но и общность взглядов.

Агния, воспитанная в частном Московском пансионе, кажется, оставила там и то немногое, что она унаследовала от родителей. Только материнские черты лица и ее же добродушие изобличали в ней Молохову. Она, как и Цецилия, принадлежала к тому роду бессребрениц, которые пренебрегали деньгами, зная, что они есть. А как, откуда и почему они есть, до этого они не позволяли себе снисходить.

Василий Митрофанович внес на первый случай в овчаровскую Кассу пятьдесят тысяч рублей и сказал:

— Это тебе, Клавик... Агашин пай до нового года. В счет наследственных прибылей. Трать их по усмотрению или без него — твое дело.

Молохов вручил чековую книжку Кассы. Зять поцеловал руку тестя.

Жилось Клавдию скучновато. Любка, что взбивала теперь вдвое больше подушек, не могла уже скрасить жизнь. Начала жухнуть и толстеть. Отцвела! Меркла для него и Агния. С ее приездом Клавдий лишился привычных жгучих увлечений. А иных занятий не было. Поэтому Клавдий решил заняться заводскими делами.

Побывав в цехах, поговорив с Родионом, он узнал, что металл главный материал, и записал в маленькую карманную книжечку: «Металл — это главный материал наших заводов». Записал и другие слова. Название инструментов, станков, специальностей рабочих. Надо же знать. Он же на вывеске. А вдруг что-нибудь случится с Платоном... Его уже чуть не прихлопнуло прогнившим потолком. И если бы это случилось, то Клавдию пришлось бы на вывеске остаться одному. Поэтому во имя продолжения рода нужно кое-что знать о заводах.

За эти скучные дни ему стало известно, что за железо его второму папан приходится платить дороже только потому, что домны близко и железо дешево доставлять, но это железо хуже демидовского. И он решил поговорить с Молоховым. Решил, зная пословицу «Услужливый дурак опаснее врага», но не допуская, что она может относиться и к нему.

Василий Митрофанович, стиснув челюсти, выслушал Клавдия и сказал:

— Хорошо, зятек, я прикину, и что могу, то и сделаю. Иди. Тещенька тебя тенарифчиком попотчует. Заказные бутылочки у нее еще, пожалуй, не заплесневели...

Предположив, что Платон подослал брата, обронившего где-то между слов об его мечте «акционировать» соседние заводы, Молохов пригласил в свой именинный день Акинфиных, встретился с Платоном и сказал ему:

— Тонька! Я тебя недельным знавал. Ты вырос и вознесся на моих глазах. Ты и мое каким-то боком суженое дитя. И если тебе надо было заполучить меня в свою «англию», так через французей не дипломатничай. Это раз. А ежели же тебе мои плавки кажутся шлаковыми, так ты их не пользуй. С нового года тебе уже не снадобится возить мои дорогие чушки гужом, вози железкой дешевые тагильские. И на этом, как бог свят, аминь...

— Отец,— на другой день спросил Луку Фомича Платон,— когда уедет из Шальвы Клавдий?

— Аль, Платик, тебе с ним тесно в тридцати четырех палатах, не считая прихожую?

— Мне тесно будет с ним и на земном шаре. Молохов нам отказал в железе.

Лука Фомич, не протрезвившись со вчерашнего, снова охмелел.

— Да не горюй ты, не горюй ты, Платон,— спустя два часа успокаивал его Скуратов.— Хорошее дорогое

дешевле плохого дешевого. Вспомни, что говорил Макфильд. Марганец восходит на небосклоне металлургии! Златоустовский булат затмевает хваленые привозные стали! Каслинский чугун так тонок, что из него можно отлить и муху...

— А провоз?

Провоз всегда мешал развитию уральской промышленности. Он и теперь оставался добавочной тяжелой гирей, удорожавшей добываемое в недрах и производимое на заводах. Походя рассказанная байка возчиком Иваном Балакиревым о дешевом сене и его дорогих перевозках, повторяя известную поговорку о телушке и полушке, звучала не только применительно к Шальвинским заводам, но ко всем остальным. И лишь те промышленные предприятия, которые счастливо соединились с железной дорогой, освобождались от «гужевых тягот», да и то не полностью.

«Железка скора, да не спора», «Вагон ходко везет, да шкуру дерет», «Конная пара не чета силе пара и по деньгам неровня». Много прибауток сочинялось досужими языками таких, как Молохов, Потаков, Лука Акинфин, Гранилин, и всеми, чьи надежды обманула поманившая их железная дорога.

Погорячившийся Василий Молохов понял, что он пересамодурничал, отказав в поставках Платону, но он еще не понял, что вхождение в компанию омолодило бы его железоделание и медеплавление. Молохов, как и Потаков, как и беспросветно темный, беспробудно пьяный Гранилин, держась за свою независимость, тем более не могли понять, что все они взаимозависимы один от другого и подчинены произволу рынка. Что их спасение только в соединении заводов, в укрупнении фирм.

Платон, Родион и отчасти Лука понимали это, но не могли воздействовать ни на одного из окружающих их заводчиков силой убеждения, увещевания, доказательств. Такое упорство проявили не только названные, но и те, что не появились на страницах нашего повествования.

Платон, разуверившись в способе своего риторического воздействия, вынужден был наказывать не внявших добрым намерениям жестокими, ими же порождаемыми из их же разобщенности последствиями. Наказывать своим техническим превосходством и его неизбеж-

ной и узаконенной победой, а то и разгромом на рынке. И те, кто могли бы стать сообщниками, оказались врагами.

— Мы не можем, Родион, конкурировать с ними,— говорил Платон,— даже сверхотличными изделиями, потому что не можем произвести хорошее в количестве, превышающем плохое. Поэтому будет действовать старое правило. Когда не хватает в продаже зерна, люди вынуждены покупать и мякину. Что из того, если наше литье, наши поковки берут нарасхват? Их расхватают, прославят и будут покрывать недостающую потребность потаковской стряпней и даже гранилинской замочно-скобяной мякиной. Наш товарный рынок ненасытен, а производство товарной пищи для него скудно и дороговато...

Понимая Платона, Скуратов также хотел не вражды, а единения. Не вдаваясь в то, кто будет называться хозяевами, Родион понимал, что все улучшения, благополучия, накопления будут принадлежать стране, ее народу. В этом и состояло, на этом и держалось его сотрудничество с Платоном.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Родиону так же, как и Платону, хотелось производить не крестики для епархий, не замки для купцов и мещан, не косы, серпы и топоры. Не гвозди, болты и шурупы. А главное, чему обязано процветание всего остального, чем возвеличили себя Англия, Франция, Германия. Это главное называлось коротким словом — машины. Всякие машины. Обрабатывающие металл. Превращающие волокно в ткань. Обрабатывающие землю и снимающие урожай. Тянущие поезда и баржи. Добывающие клады из недр. Машины, делающие машины, станки, создающие станки. И это последнее — самое главное, и его можно осуществить, во-первых, здесь в краю, где в избытке все необходимое для производства машин, а не добиблейских конных приводов, не изнуряющих руки веялок и молотилок.

Расширяя свои владения и внедряя идеи взаимного равновесия, можно на началах акционерного соединения или кооперативного содружества вовлечь под эгиду «А» десятки хиреющих заводов огромной Пермской губернии, можно перешагнуть и в Вятскую губернию и

поставить в необходимость того же пароходчика Любимова присоединить свой судостроительный завод к «весам» с буквой «А». Мало ли казенных и частных заводов по берегам Камы, чающих сводить концы с концами и приносящих убытки. Их можно арендовать, а потом и купить, но...

Но для этого нужны деньги. Деньги, деньги!.. Поэтому нужно производить крестики, гвоздики, иголки, булавки, штампованные ложки, пряжки, брошки и все, что штамп во сто раз делает скорее рук, превращая сталь в золото. Так же можно поступить и с тонким каслинским чугуном и каждый его пуд превратить в полпуда серебра или в фунт золота. Зачем лить тяжелых чертей, громоздких коней и заделистых в формовке рыцарей, когда можно покупателей европейских столиц удивлять чугунными колечками, запястьями, ажурным металлическим черным кружевом, изящными табакерками, не прибегая к одноразовым формам, и найти не сыпучий, а монолитный материал, заменяющий формовочные земли?

— Да, Родион, мы вынуждены производить из хороших металлов прибыльных мух для того, чтобы овладеть слонами. Этого нельзя было объявлять на техническом совете и раскрывать свои замыслы всем. На техническом совете следовало по секрету сообщать только то, что нуждалось в широкой гласности.

Всякое дело тем успешнее, чем лучше знает его и владеет им мастер. Это знали Платон и Родион помимо Макфильда. Этому учили их отцы — Лука и Максим.

От пивовара зависит пиво, его вкус, цвет, спрос и цена. А следовательно, и доход владельца пивоваренного завода. Истина подтвердилась чехом-литейщиком Младеком. Подтвердилась она и Завалишиным. Оба они «варили пиво», превосходя других.

Кузьма Завалишин и литейщик-чех получили и получают неслыханно много для их ранга. Но прибылей фирме они принесли столько, что и одаренный Флегонт Потоскуев не вычислит, во сколько рублей превратится каждая копейка, получаемая Завалишиным и чехом-литейщиком.

— Платон, если штамп главное в современной промышленности, то мастер-лекальщик, гравер, изготовляющий штампы, важнее, чем все остальные.

С этим невозможно было не согласиться.

— Такие мастера есть, Родион, но они работают на Монетном дворе. Их не переманишь, да и дадут ли переманить?

— Такой, а может быть, и лучший мастер есть, Тонни... то есть был.

— Где же?

— В Перми. Иван Лазаревич Уланов.

— Чем же он прославился?

— Многим... И особенно часовым брелоком, поднесенным губернатору в день его пятидесятилетия. Гравер уместил на лицевой стороне брелока величиной с почтовую марку пятьдесят слов. И в поздравлении губернатору заказавшие граверу брелок пожелали жить его превосходительству столько же лет, сколько букв в поздравлении. А букв было триста! Триста букв на прямоугольничке величиной с почтовую марку.

— Так нужно, Родик, немедленно найти и нанять его за любые деньги.

Скуратов, горько улыбнувшись, ответил:

— Найти его нетрудно, а нанять нельзя. И если бы хотя бы какая-то была возможность пригласить его и предоставить ему королевское содержание, он бы уже работал у нас...

— Что же с ним, Родион, где же он?

— В тюрьме... В тюрьме, как и большинство талантливых людей. Он заточен в пермскую тюрьму. Ему угрожает каторга!

— Каторга? Он террорист?

— Хуже. Он посягнул на святая святых империи. Его обвинили в фальшивомонетничестве и уличили в этом.

Здесь нужно сделать оговорку. Скуратов, надеясь на спасение обвиненного в фальшивомонетничестве, рассказал о нем Строганову. Вениамин Викторович, потрясенный необыкновенной историей, приключившейся с гравером, написал рассказ «Пятачок погубил» и опубликовал его в одном из первых номеров газеты «Шалая-Шальва». Рассказ имел такой успех, что владелец писчебумажного магазина в Перми попросил допечатать пять тысяч номеров газеты. Этим сделав известной газету и счастливым ее издателя и автора рассказа.

Более полно история гравера сохранилась в шальвинских описаниях Строганова, которым в значительной мере обязаны своим появлением эти главы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Довыяснять и уточнять дело фальшивомонетчика Ивана Лазаревича поехал в Пермь наместник Фемиды, знаток юстиции и чародей слова, управляющий делами фирмы Георгий Генрихович Штильмейстер. Он и без прикрас выглядел профессором, магистром, вельможей и кем-то еще в ранге того высокого слоя, представители которого обращают на себя внимание и заставляют любоваться собою, начиная с их носового платка.

Очень хорошо найденная бородка роднила Штильмейстера с великим князем Н. Н. Романовым. Большие глаза, как у композитора Мусоргского. Высокий гладкий лоб говорил о блистательном уме, рост и все сложение Штильмейстера могло бы украсить и миллионершу средних лет.

Приехавший сразу же отыскал на Торговой улице мастерскую и хозяина, у которого работал гравер Уланов. Первые выяснения и первые записи полностью подтвердили трогательный воскресный рассказ Вениамина Строганова «Пятачок погубил», в котором во избежание «всяких и прочих» Уланов назывался Усановым. Сто экземпляров этого номера газеты Георгий Генрихович раздаст в зале суда и раскроет настоящую фамилию героя рассказа «Пятачок погубил».

Штильмейстер, разыскав убитую горем жену Уланова, выяснил некоторые обнадеживающие подробности. Сказав ей, что выступит защитником Ивана Лазаревича Уланова на суде, он попросил рассказать все подробно и откровенно. И она показала ему утаенную от обыскивающих ее квартиру монету. И предложила посмотреть на нее через увеличительное стекло и прочесть два слова, вписанные в герб на обратной стороне монеты так мелко, что их невозможно было прочесть невооруженным глазом.

— Это спасет его! Как он предусмотрителен! — радовался Штильмейстер.

Теперь оставалось добиться разрешения встречи с Улановым в тюрьме и побывать у губернатора. К губернатору оказалось попасть легче, нежели в камеру тюрьмы.

Губернаторская дверь открылась ключом в розовом конверте, если так будет позволено назвать письмо Цецилии Лучининой-Акинфиной, для которой губернатор

был папочкиным «сопитейником», «сокартежником», «сопроказником», но называла же она его куда ласковее: «Босая головка».

Эта самая «Босая головка», восседавшая в главном доме губернии на Сибирской улице, приняла Штильмейстера наидемократичнейше. Губернатор покинул свое губернаторское кресло, имевшее быть перед письменным столом и под портретом государя-императора, пригласил Георгия Генриховича на губернаторский диван, присев рядом с ним.

Как оказалось, рассказ он уже читал и ему доложили, о ком рассказывает милейший Венечка-Веничек, господин Строганов.

— Все это написано превосходным слогом, очень сентиментально и очаровательно и заслуживает восхищения, и при всем при этом, господин Шпильмейстер,— переврал губернатор фамилию своего просителя,— он вычеканил поддельную монету, следовательно, он фальшивомонетчик. А коли так, то каторга. Только каторга.

— Но, ваше превосходительство, он же сделал это на пари! На пари, ваше превосходительство...

— Да-а, господин Шипмейстер,— снова переврал губернатор фамилию,— это смягчает и облегчает вид каторги, степень каторжных работ, но не само наказание. Я поговорю с прокурором, он лучше меня знает тонкости статей законов. Мне очень хочется оказать мое покровительство господину Акинфину. Я высоко ценю изготовленный им замок с цифрами... Вся губернская управа открывала эту головоломную... арифметику...

— Кстати, простите, я позволю перебить вас. Цецилия Львовна и ее благоверный просили вручить вам новый замок. Не с арифметикой, а с грамматикой. На его дисках вместо цифр буквы. И если вы, ваше превосходительство, из букв составите имя супруги вашего превосходительства, замок послушно откроется, да еще проиграет пять аккордов из «Славься, славься...».

Губернатор заметно развеселился и тут же открыл замок, и он проиграл объявленные аккорды.

— Это чудо! Только почему он не бел, а желт, как медь?

— Такова прихоть Цецилии Львовны. Металл в самом деле похож на медь, лишь с той разницей, что у него другая проба...

— Так это же фунт другой пробы...

— Не могу знать-с, ваше превосходительство!

— Нечего сказать, презент... Как я могу его принять?

— Клерк, ваше превосходительство, не должен знать и тем более советовать тем, чью волю он исполняет...

Губернатор уложил замок в резной футляр, выстланный золотистым атласом, и спросил:

— На кой черт этот фальшивомонетчик Акинфиным?

— Чтобы делать, ваше превосходительство, штампы и формы для изделий из простых металлов, которые будут цениться дороже, нежели этот замок из этого притворившегося медью металла... Рукам Уланова, ваше превосходительство, нет цены. Их кощунственно назвать даже золотыми. Об этом вы можете судить по своему юбилейному брелоку, преподнесенному вам подчиненными и выгравированному Иваном Лазаревичем Улановым...

— Однако ваш язык, господин Штильмейстер,— произнес он правильно его фамилию,— так же кощунственно назвать золотым... И я начинаю думать, что присяжные найдут исключение. А что касается меня, то пусть мне распрекрасная Цецилия пришлет еще сто таких замков, я не сумею усомниться в букве закона. Ни на волосок. Пусть это сделают другие...

— Благодарю вас, ваше превосходительство, за честь приема и прошу оказать еще одну честь — разрешите мне переснять фотографическим способом ваш брелок, увеличить его отпечаток и этим показать суду, как высоко мастерство Уланова.

— С величайшим.— Губернатор отцепил брелок.— Вернете через моего чиновника...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После исполнения всех процедурных формальностей арестованного подсудимого мещанина города Екатеринбурга Уланова Ивана Лазаревича, тридцати двух лет от роду, попросили рассказать суду, как возникло и что заставило его чеканить фальшивые монеты.

Штильмейстер, видевшийся с Улановым в тюрьме, нашел его посвежевшим. В его глазах уже не было отчаяния затравленного, обреченного на позор изгнанника. Там он выглядел уже отбывающим каторгу, здесь он представал безвинно наказанным и всем своим существом чувствующим свою правоту.

Уланов поверил своему защитнику. Это значило много. Защитника вдохновлял обвиняемый своим видом открытого, честного человека. Это значило еще больше.

Уланов начал рассказывать суду так, как будто пред ним были не решающие его судьбу должностные лица, а свой брат по ремеслу.

— Я,— начал он,— считал себя лучшим гравером в губернии. И это правда. Никто не мог на картошине скорее и красивее меня вырезать печать, или какую-то эмблему, или просто цветок, а потом тиснуть его на лист бумаги. Все ахали да охали, превозносили меня до седьмого неба. Мне это нравилось. А кому не нравится, когда его хвалят и называют первым мастером? Но не все любуются красотой, некоторые завидуют ей. Нашлись такие и у меня и подсидели, как дурака. В пивной это было подле Черного рынка, на нашей же Торговой улице.

«Можешь ли ты, Иван,— подзудили меня дружки,— вычеканить пятак?»

А я им говорю:

«Какая такая хитрость пятак? Орла только канительно выгравировать, а решку можно, закрывши глаза...»

В зале послышался шумок оживления. Звонок призвал к тишине.

Уланов, не обращая внимания ни на звонок, ни на публику, рассказывал свое:

— «Не сможешь, Ванька, не сможешь,— начал подсиживать меня Витька Пустовалов, тоже гравер из первых, но второй.— Давай на спор!»

Тут другой гравер встрял. Не из первых, но с художественным штихельком. Тоже Витька. Тоже почти Пустовалов. Кособродов его фамилия.

«Двадцать пять рублей закладываю...»

«И я двадцать пять»,— разъяряет меня Пустовалов.

А мне деньги эти как овсяное зернышко коню. Мне по четвертному билету плачивали за монограммки на яшмовых купеческих печатях. И по сто плачивали за экслибрисы на пальмовом дереве. Я в трехкопеечном кружке картины целые вгравировывал... Зачем мне ихние полста, господа? Зачем? Когда у меня в казначействе чистоганом двести сорок рублей лежит на свое художественное граверное заведение. У хозяина это что? Факсимильки завитковые, подносительные надписешки да иной редкий раз тонкий вензель... А пиво, господа, не зря двойным столовым прозывается. Задвоило у меня в

глазах. И не столько деньги, сколько мастеровая честь, и я слово дал выиграть... Руки розняли. Я уже докладывал господину следователю, его благородию, кто руки разымал. Ну, а потом за пятак взялся... Думал, что недели с три понадобится, а я этот пятак за десять дней вычеканил. Вычеканил и принес спорщикам два пятака — один мой, другой Монетным двором чеканенный.

«Угадайте»,— говорю.

А они туды...

Послышался звонок. Уланов махнул на него рукой и повторил начатую фразу:

— А они туды-сюды — и говорят:

«Оба пятака не фальшивые, на Монетном дворе чеканенные... В другом месте, Ванька, дураков ищи».

Тогда я им доказательство. Увеличительное стекло. И показал через него мое имя, Иван, и мое отчество, вчеканенное в гербе. А они опять подлым ходом:

«Эка невидаль... В любой монете, даже в маленьком пятирублевике, свою фамилию вгравировать можно. Пусть казначейство проверит, что твой пятак самодельный, тогда получай по четвертному с обоих».

И я, господа прокуроры, господа судьи, господа ваши благородия и ваши степенства присяжные, дурак дураком, дуб дубом, в трезвом виде, охмеленный любовью к творению своих рук, сам полез в петлю, сам принес вместе с обоими витками свой пятак в казначейство, и там удостоверили, что он фальшивый... Тоже промеж себя спорили. Взвешивали, пробовали на кислоту, а потом кусачками в виде ножниц надрезали, вернули его мне и сказали при обоих Витьках:

«Фальшивый!»

И я получил... Получил только не пятьдесят рублей от моих дружков, а пять... И не рублей, а гривен. Тут я их бросил им в лицо и плюнул в их бестыжие хари полными харчками.

«Больше вы мне никто... Знать не знаю вас и помнить не хочу...»

А потом... Через неделю, а может быть, и через шесть дней... Обыск. Арест. Я все отдал, и штамп, и еще два пятака... Четвертый куда-то делся,— может, полицейские куда закатили. И тюрьма. Я фальшивомонетчик... В чем и признаюсь... Только какой?.. Искусственный. Искусство мне мое было дорого. Дорого мне было, что я все могу... Господа прокуроры, и все вы, ваши благородия,

если вы можете допустить, что мне были нужны двадцать копеек по четыре пятака, так судите меня. А если нет, так снимите с меня этот позорный арестантский армяк и присудите мне с Виктора Пустовалова и с другого Кособродова сорок девять рублей пятьдесят копеек по свидетельским доказательствам. Не деньги мне нужны, а справедливость суда. И еще требую им высидку за подсиживание...

Он рухнул на скамью подсудимых. Его отпаивали, дали какие-то капли, а зал не умолкал и требовал оправдать. Требовал так громко, что не было слышно и пронзительного колокольчика.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Судебное заседание было перенесено на следующий день, затем еще на два дня и наконец на следующую неделю. У здания суда с утра собирались толпы. Номера «Шалой-Шальвы» продавались по цене «кто сколько даст, сколько возьмет». Предприимчивые фотографы сумели переснять домашний портрет Уланова. Они торговали его фотографиями. Переснятый и увеличенный брелок губернатора также стал предметом продажи. На снимке был маленький брелочек в натуральную величину и тут же его увеличение, по которому легко читалось выгравированное.

Всех волновало, почему откладывается дело и какой будет приговор. Мелкие судейские чиновники коротко объясняли, что идет доследствие. Всезнающий Штильмейстер так же терялся в догадках. В Шальве у него ворох дел, но Платон Лукич явился сам в Пермь и сказал:

— Уланов нам дороже всех ваших дел, Георгий Генрихович.

— Я предчувствую, Платон Лукич, что замок откроется хорошо. И предполагаю, что приговор суда проветривается где-то очень высоко...

— Не будем гадать. Если приговор будет плохим, я подам на высочайшее. Уланов — это новый завод...

Слушание наконец не перенеслось и началось. Свидетели подтвердили быстро и точно. Но все это было проформой, как и речь прокурора. Он говорил главным образом «с одной стороны» и «с другой стороны»... А что с обеих сторон — сказал защищающий подсудимого Штильмейстер, а за ним суд.

— Господа присяжные,— начал Штильмейстер,— отсутствие преступления так же очевидно, как и отсутствие обвинения. Господин художник Иван Лазаревич Уланов выгравировал с поразительной точностью скульптурный портрет самой крупной медной монеты нашей великой империи и подписал эту скульптуру открыто своим именем и открыто принес свое произведение в государственное казначейство. Вы сами видите, господа присяжные, по слогу речи господина художника, сколь разнится его талант с его образовательным цензом. Мне больше нечего сказать в защиту подсудимого, защищенного самой правдой. Будучи христианином, я бы просил смилостивиться над подстрекателями, оказавшими плохую услугу своему коллеге, оклеветав его, вдвое смягчить им против уложения наказания и приговорить их не к двум годам, а к одному году тюремного заключения. А теперь, господа присяжные и присутствующие на суде, окажите честь принять как сувенир номер новой газеты «Шалая-Шальва», где опубликован рассказ о гравере Уланове под видоизмененной фамилией. И это фотографическое искусное и точное увеличение юбилейного брелока его превосходительства господина губернатора, просветителя и блюстителя нравственности верноподданных его величества, проживающих в Пермской губернии... Да пребудет с нами вечное взаимное равновесие наказания и преступления, безвинности и очищения от клеветы.

Далее глубокий поклон во все стороны для показа новейшего сюртука, сшитого петербургским портным, высланным в Пермь. Затем продолжительные овации.

Заседание присяжных было единодушным. Нечего было им обсуждать и выяснять и не о чем спорить.

В приговоре, как и в речи, также было несколько раз написано «с одной стороны» и «с другой стороны» и также — «принимая во внимание», а смысл состоял в том, что «прощенный за бескорыстное изготовление четырех монет пятикопеечного достоинства отдается на поруки купцу первой гильдии промышленнику Платону Лукичу Акинфину».

Штильмейстер понял теперь, как могут открываться золотые замки без ключа. Он также понял и почувствовал себя слугой, а не вершителем дел.

За злоумышленное подстрекательство Пустовалов и Кособродов приговаривались к тюремному заключению. Первый — на год и шесть месяцев, второй — на год.

О взыскании сорока девяти рублей и пятидесяти копеек не говорилось, так как они были вручены супруге Уланова. Не говорилось также, где будут отбывать заключение два друга, два гравера, но вскоре выяснилось, что они будут заточены с правом работать в шало-шальвинский полицейский острог.

Всем стало ясно, как наказывается зло и торжествует добродетель. Довольные мудрым приговором суда и зрелищем, побывавшие на нем жители города разошлись, прославляя торжество правды.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Тонни, дорогой мой! Случалось, что с одного выстрела убивали двух зайцев, но трех не убивали и в охотничьем вранье. Все три здесь. С одним я уже подписал контракт на пять лет и показал ему личную мастерскую с двумя сотнями английских штихелей и двумя гроссами надфилей, точнейшими сверлами и со всем тем, что Уланов не видел никогда. Он трясся, рассматривая свой инструментарий.

— Спасибо, Родик! Уланов достоин большего. Он все вернет сторицей. Забота о мастере вдохновляет его, но все же нельзя и чрезмерно пере... Ты понял меня?

— Я с полбуквы понимаю тебя.

— И я... А как с остальными?

— Пристав получил больше, чем нужно. Я обоих Викторов расквартировал в другом, в инженерском доме. Дал им по комнате. Они говорят, что Уланов их простил, но хотят выпить на мировую и разрешить встретиться с тобой.

— Зови их вечером в шульжинскую кухмистерскую. Единственное, что мы не будем упразднять.

Вечер наступил днем. Короткий день недолго светил. Платон пришел в кухмистерскую к накрытому столу. Там же был и художник Сверчков и Вениамин Строганов. Ведь он тоже сыграл немалую роль в вызволении Уланова.

Ужин, как всегда в таких случаях, начался с разговора «о том о сем». Нащупывали, знакомились. Разговаривали до третьей робко, а на пятой рюмке разговорились. Платон пришел подготовившись.

— У фирмы есть конкурс. Три премии. Первая — тысяча. Вторая — семьсот пятьдесят. И пятьсот рублей —

третья. Надоело нам на шляпке гвоздя лицезреть никому ни о чем не говорящую насечку сеточкой. Хочется на ней уместить наш фабричный знак. Нашу марку — весы. В конкурсе на штамп марки участвуют два Виктора и один Иван. Очень интересно знать, за кем будет виктория. Срок пять дней.

— Это для нас не дело, хозяин, а полдела,— сказал, смеясь, Пустовалов,— нам бы такое, чем людей удивить...

— Тогда это же самое потом, помимо конкурса. Кто-то пусть сделает марку для булавочной головки. Зачем миллионам булавок беспаспортно по белому свету гулять? Люди должны знать, кем и где рождена эта маленькая человеческая слуга. Теперь главное в нашей жизни — штамп!

Недолго пробыли в кухмистерской Платон и Родион. Они твердо усвоили выражение Макфильда: заслуживающему уважение человеку нужно оказать внимание и честь, но не перечествовать его до такой степени, чтобы он показался себе больше, чем он есть.

Обогатив фирму ювелирными мастерами, Платон не беспокоился теперь за главного своего технологического конька — за штампование. Эти трое сделают все необходимое для самого скорого и самого дешевого изготовления мелких ходовых изделий, не требующих большого завоза материала и облегчающих вывоз сделанного из него компактного, легкого товара. Не уйти им от изготовления комплектов металлической оснастки веялок.

Возчик Иван Лукич Балакирев, превратившись в посредника между фирмой и мелкими производителями, не отягощал хлопотливыми перевозками на станцию и погрузками на железную дорогу. То же происходило с остальным товаром средней громоздкости. Улучшившись по внешнему виду и по всей остальной его добротности, он брался оптовиками упакованным большими партиями в ящики. Без проверки и счета.

С этим было налажено так, что и можно забыть об идущем само собой. И прибыли также были таковы, что любой окрестный заводчик радовался бы и благодарил вседержителя. А неусыпный финансовый дирижер Флегонт Потоскуев, почувствовавший себя осевым валом фирмы, в очередном недельном докладе предупредил Платона и Скуратова:

— В грубом округлении товар средней громоздкости

дает нам на копейку затрат чистую копейку прибыли. Этого я не ожидал. Не ожидал также я, анализируя калькуляцию металлической мелочи, что она дает на каждую копейку затрат от трех копеек до двадцати семи чистой, гарантированной прибыли.

— До двадцати семи копеек на копейку? — переспросил Родион.— Что же это? Иголки?

— Нет, Родион Максимович, крестики. Иголки дают сам-одиннадцать. А вот чертежные кнопки и ученические перья, штампуемые из отходов, дают примерно двадцатипятикратную прибыль... Но вы сами понимаете, господа, что кнопки, перья и крестики ограничены в спросе. У них головокружителен процентаж прибылей, но невелик «пудаж»,— пошутил Потоскуев.— Пудом крестиков можно окрестить младенцев средней губернии. Это же можно сказать и об остальной мелочи, кроме гвоздей...

Гвозди по-прежнему давали самый большой доход. Их спрос не ограничен. Не ограничена и возможность производства их. Изготовляющие гвозди станки требовали только наблюдения да смены мотков проволоки и заправки ее в станок. Это могли делать и подростки, и женщины, хотя их с трудом пускали мужья на завод при всей вы́годе хорошей оплаты.

Удвоились с приходом литейщика-чеха Карела Младека прибыли от «кухонного литья». Спрос на него так же не ограничен, как и на гвозди, но так же, как и на них, ограничены сырьевые возможности. И если на литье можно было пускать молоховский чугун, облагороженный чехом, то на гвозди требовалась проволока точного качества. Она не должна быть чрезмерно сталистой, а также излишне мягкой. Хорошую во всех отношениях проволоку волочили в придоменном цехе. После введения Улановым новых алмазных фильеров она была зеркально блестящая, и от этого гвоздь выглядел привлекательным и дорогим изделием. Но своей проволоки давно уже не хватало. Приходилось возить ее за тридцать семь верст, от мелкокалиберного заводчика Мамаева, присягнувшего на верность Акинфину. У него был превосходный плавильщик железа для проволочного волочения, а само волочение было никуда. С ла̀синами. Без соблюдения точных диаметров. Луке до этого было мало дела. Лука рассуждал так:

— Зачем блеск гвоздю, когда ему сидеть в темноте дерева? И толщина проволоки тоже десятое дело.



Далеко не десятым делом были технические тонкости для Родиона Скуратова, являясь поэзией его инженерного труда. А он одно из главных действующих лиц романа. Повествуя о нем, невозможно раскрыть его душу без ее «металлического» наполнения и производственных исканий.

Технологические обоснования, бухгалтерские выкладки радуют тех, для кого они стали атмосферой их жизни. Без таких описаний нам не обойтись. Однако же все эти коммерческие изощрения, цеховые подробности нередко замедляют действие повествования, а иногда и снижают интерес к нему. Это так же плохо, как и отсутствие показа производственных новшеств. Ведь именно им обязаны все акинфинские преобразования, на которые так много возлагается надежд. И все же техника остается техникой, а люди людьми...

Просим поверить Вениамину Строганову, что появление на заводах Ивана Уланова было событием не только производственным.

«Иван Уланов сразу же стал близок, дорог, понятен сосланному художнику Николаю Андреевичу Сверчкову. Иначе и не могло быть. Оба они не по своей воле оказались жителями Шальвы. У того и у другого было одинаково трудное детство в затравленных нуждой рабочих семьях.

Уланов мечтал стать мастером художественных гравюр, а оказался в хищных лапах оборотистого штемпельщика.

Сверчков хотел посвятить свою кисть обличению потогонного фабричного труда. После первых же гневных полотен он был наказан полицией изгнанием. Теперь Сверчков стал рисовальщиком замков, сковородок, утюгов, пряжек, бляшек и всего рекламируемого фирмой.

Их щедро поощряют, высоко оплачивают, им предоставлены хорошие квартиры, но оба они кабальные без кабалы, кандальные без кандалов...»

Так пишет Вениамин Строганов в своей тетради, озаглавленной «Раскрепощенные крепостные». Отличная тетрадь! И так жаль, что нам она послужила всего лишь одним из множества мазков для фона некоторых шалошальвинских событий — драм, трагедий, фарсов, описаний фабрик, интимных сцен, любовных похождений. Все они, теснясь в пределах нашего романа, нетерпеливо требуют своего выхода на страницы.

Вот и сейчас мы вынуждены из цехов направиться туда, где ветреная, вероломная влюбленность завяжет новые нелепые узлы и размежует казавшееся накрепко соединенным...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Цецилия Львовна уехала с отцом и матерью в Петербург. Родители не могли оставить единственную дочь на попечение притворявшейся акушеркой Лукерьи, Болотной вещерицы.

Проводив нелюбимую сноху, трехжальную змею, Калерия Зоиловна все же была довольна, что эта сухопарая курица снесется пусть и не полняком кровной княжеской, все-таки полукровной внучкой или внуком. И этим улучшит акинфинский род.

Молоховы, как и Лучинины, также нашли благора-

зумным взять Агнию к себе до масленой недели. Начнутся тряски-пляски, тонцы-звонцы, налижется не чающий, когда начнется широкая гульба, Клавдий. И от него нужно поберечь дочь.

Дважды уже капало с крыш. Чувствовалась масленица. К веселому шальвинскому празднику загодя готовился дворец Акинфиных. Здесь она будет шире распростертых, добропожаловательных крыльев дворца. И маскированные, и блины на сто персон с двадцатью официантами в одежде староцарских стольничих и с мажордомом в одеянии боярина Морозова... Конечно же, тройки с разбросом пряников, и в каждом сотом прянике будет запечен либо золотой пятирублевик, либо серебряный рубль. А если кому попадет полтинник или двугривенный, и то хорошо. Дарового коня не спрашивают, какова ему цена.

Готовился к масленице и пока еще не уравновешенный Платоном простой люд. Цирк будет давать ежедневные представления. Утром лото. Днем — для мелкоты, вечером — для всех. Члены Кассы по пятаку тянут из урны билеты. Какой кому на какое место попадет. Коли уж равновесие, так равновесие. А тех, у кого нет заводских номеров, милости просим приобретать билеты по дорогой цене. Для важных господ особые места и особые цены. Дорого — не приходи, не приезжай. Своим будет тесно в эти масленичные цирковые дни, а если хочешь веселья до упаду, плати. Содержать цирк Кассе денежек стоит. Касса должна не только окупать его, но и выручать на нем. Это же не какой-то шапитовый цирк с брезентовым верхом, с продувными тесовыми стенками, а настоящий, капитальный театр, только круглый.

О цирке в Шальве говорилось и писалось так много, что пожелавший собрать половину рассказов о нем написал бы вдвое-втрое объемистее книгу, чем «Поминальный численник».

В Шалой-Шальве и окрестных заводских поселках жили не одни любители цирка, но и поклонники музыки, хорошего пения — всего того, что появлялось на сценах столицы и губернских городов. В Шальве концерты и драматические представления затруднялись тем, что — единственное зрелищное помещение — цирк не был приспособлен для них. Одержимый переустройствами Платон Лукич трансформировал арену в сцену. У входных и выездных ворот арены цирка воздвигались сценические подмостки, огораживались кулисами, позволяя этим да-

вать концерты и спектакли. Правда, при этом пропадала часть мест при круглом зрительном зале цирка. Но те места, с которых ничего не было видно, можно было продавать «галерочной» публике по копеечной цене или пускать по даровым контрамаркам.

Масленичная цирковая неделя началась концертом, гвоздем которого была вокально-музыкально-танцевальная пара, анонсируемая крупно: «Гризель и Гризет».

И далее помельче: «Проездом из Иркутска через Москву и Санкт-Петербург в Париж».

Цветная афиша величиной с дверь, с которой улыбались танцующая донельзя декольтированная Гризель и танцующий Гризет во фраке с хризантемой, в цилиндре, привлекла всех. Овчаров приказал кассиру цирка удвоить цены на билеты и попридержать полсотни мест на случай приезда из Екатеринбурга и Перми знатных любителей таких «музык».

Настал вечер концерта. Цирк залит добавочным электрическим светом. В гостевой ложе страусовые веера и сверкание бриллиантов. Длинные сюртуки и фраки новейших покроев. В одном из них Клавдий Акинфин. Он с лорнетом, мешающим, а не помогающим видеть его глазам. Но это же настоящий черепаховый лорнет, инкрустированный перламутром, и такого нет ни у кого.

Появился конферансье в ослепительно золотом фраке из незнаемой парчи. Он объявил соло на арфе. Знатоки впервые увидели за арфой мужчину. Они еще не знали, что Гризет играет на всех инстументах мира, вплоть до гибкой пилы, которая то глухо страдала виолончелью, то визгливой скрипкой жаловалась и умоляла. Гризет, несомненно, был виртуозом, а Гризель превзошла соловья. Так никто не исполнял Алябьева. Такого диапазона голоса Клавдий не встречал ни в одном из театров Европы.

Гризель исполняла и классические романсы, и серенады на итальянском языке, и легкие песенки шантанного репертуара.

Она и он стремительно и бесконечно переодевались. Смена костюмов была «отработана» до секунд. Конферансье в золотом фраке был мастером циркового жанра трансформации, а попутно жонглером и фокусником. Он, давая передышку Гризель, выпускал голубей из рукава и находил в карманах зрителей белых мышек, исчезнувшие золотые часы Потакова, колье его жены... Невероятные манипуляции, жонглирование серебряными черепа-

ми, превращающимися на глазах почтеннейшей публики в кроликов и вновь становящимися черепами, производили неизгладимое впечатление на тех, кто сидел на боковых дешевых и даровых местах.

Венчаемые овациями, подношением букетов коленкоровых и восковых цветов с вложением в них кредитных билетов и с таким же вложением нарядных коробок, артисты раскланивались, прижимали руки к груди, делая реверансы, а конферансье в том числе кульбиты, были счастливы.

Заключительным сюрпризом вечера было появление Клавдия с букетом белых, как февральский шальвинский снег, роз. Такое мог позволить только он. Только у Акинфиных могли цвести розы зимой.

В букет было вложено пригласительное письмо.

После концерта артисты впервые узнали, какими могут быть ужины во дворце фирмы «Акинфин и сыновья».

Давней мечтой и вожделенным призванием Клавдия была сцена в том виде и жанре, какая представала в этот первый день шальвинской масленицы. И в снах, и яви Клавдий видел себя в испанском плаще, с гавайской гитарой в руках, завораживающим зал своим почти итальянским тенором. И он сегодня, благо не было ни жены, ни ядовитой Цецилии, пел под свою гитару фривольные серенады, и Гризель восхищалась им, а затем вызвалась петь дуэтом. Он и она почувствовали созвучие голосов и душ.

На десятом или пятнадцатом дуэте Гризет и его собрат по гастролям нашли правильным дать возможность Клавдию допеть перспективно начавшиеся дуэты и удалиться в гостевой дом.

И они пели вдвоем и порознь до утра. Именно об этом и сообщали отрывочно доносящиеся и возмущавшие Платона строки романса, исполняемого Гризель:

Я пела до утра, в слезах изнемогая,
Что я твоя любовь
И нет любви иной.

Она переиначивала слова романса. Переиначивал их и он, отвечая ее признанию:

Я угасаю с каждым днем
И не виню тебя ни в чем...

А она, не давая ему «угаснуть», ответила новым многообещающим романсом.

Эта откровенная переделка слов явного приглашения изменить Агнии, ожидающей ребенка, заставила Платона накинуть халат и появиться в музыкальной комнате.

— Клавдий,— не церемонясь сказал Платон,— ты запел мадемуазель Гризель до изнеможения и слез, и мне кажется, нужно пожалеть ожидающего кучера...

— Да-да,— спохватилась Гризель,— мы еще допоем завтра, мосье Акинфин...

— Нет-нет,— сказала, вбежав, Жюли,— как можно! Кучера я уже отпустила спать, а Гризель проведет ночь в моей спальне.

— Да-да! — крикнул возбужденный Клавдий и подтвердил это «да» громким аккордом на рояле.

— Если бы здесь, Клавдий, была Цецилия,— сказал очень внятно Платон,— она бы запечатлела это безнравственное «да» на твоей щеке так громко, что было бы слышно Агнии...

— Надеюсь, этого не сделаете вы, Тонни,— сказала Жюли, став между братьями.— Не будем нарушать платонической музыки шекспировской жестикуляцией. Я, надеюсь, заслуживаю доверия, Тонни...

— О, несомненно, Жюли! Вы же соединили узами святого таинства брака Клавдия и Агнию. Кто, как не вы, тайно обвенчал их в церкви, название которой все еще покрыто тайной неизвестности...

Платон ушел. Пение прекратилось. Утром старая верная горничная шепнула Платону:

— Они у нее заперлись вместе с ней и сейчас почивают там.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Прощальный концерт артисты давали днем в последнее воскресенье масленицы, прозываемое в народе прощеным воскресеньем.

Клавдий, выступавший и до этого концерта с Гризель в соседних заводских поселках, где находились помещения, увлеченно пел под свою гитару и под ксилофон Гризета серенады, шуточные песенки, своим маленьким, очень приятным, камерным голосом. Зрители восторгались неожиданным открытием. Платон старался не поддерживать разговоры о брате с теми, кто на самом деле восхищался его пением и кто делал вид, что ему нравится пение Клавдия.

Родиону сказал Платон прямо:

— Он пропал, Родик. И хорошо, если пропал не в прямом смысле... Мне стыдно за него и жаль его. Он чужд мне как человек, но все же он мой брат и каким-то краем сердца я люблю его, ненавидя другим.

В прощеное воскресенье, в канун Великого пасхального поста, Клавдий, испросив и получив от отца с матерью легкое, шутливое прощение, должен был отправиться по обычаю за этим же к тестю и заодно навестить Агнию.

Смутные предчувствия заставляли его кого-то взять с собой. О Платоне нечего и думать, а Родион мог бы... И он попросил его.

— По пути, Родиоша, уладишь железные дела. Он простит недоразумения, и к тебе потечет железная река.

— Я подожду, Клавдий, когда она выйдет из берегов и затопит нарушившего ее долголетнее плавное течение. Езжай с приставом.

— А с ним зачем?

— Он же лучше оборонит тебя, чем я...

Жюли также отказалась поехать с Клавдием.

— И у меня плохие предчувствия.— А затем добавила по-французски: — Я, как вторая мать моего мальчика, не советую ему рисковать.

— Я не поеду, папа... Напишу Агнии, что простудил горло, и пошлю с кучером.

— Так, пожалуй что, будет надежнее,— поддержала сына Калерия.— Ляжь в постельку, ты всамделе допелся до хрипоты. И головка горячая. Ляжь! А в чистый понедельник какие же прощения! Пост!

Клавдий принялся сочинять письмо, а оно не получалось. Он рвал лист за листом. Он не мог найти даже первых слов. Что-то сопротивлялось в нем и мешало назвать ее «милой», «родной» и даже «дорогой».

— Я потом, Жюли, напишу ей или лучше скажу на словах...

— Лучше на словах, мой мальчик,— одобрила Жюли.— А может быть, не понадобятся и слова.

Жюли как будто что-то знала, что-то было предрешено для нее. Она захлопнула бювар с почтовой бумагой и конвертами. В ее глазах прочитал Клавдий, что все будет хорошо, и успокоился...

И все было хорошо, но не так, как этого хотелось бы Клавдию.

Вечером от Молоховых вернулся Вениамин Викторо-

вич Строганов. Он все эти дни бывал там. Возвращался обычно молчаливым, на этот раз он заговорил первым:

— Агния Васильевна родила мальчика.

Это известие переменило все. Лука Фомич сказал:

— Теперь ты, Клавка, не можешь не поехать туда.

Это же подтвердила Жюли:

— Добреет и лев, когда в пещере появляется львенок.

— Тогда я завтра, Жюли, или через день, когда лев еще больше подобреет... Я так взволнован, господа,— обратился Клавдий ко всем.— Ведь мне же предстоит стать отцом...

— Не предстоит, Клавдий Лукич,— сказал и повторил Строганов: — Не предстоит.

— Что не предстоит?

— Не предстоит стать отцом!

Клавдий вспыхнул и готов был сказать дерзость, оборвать Строганова, но вместо этого он спросил:

— А почему вы думаете, что не предстоит? Почему? Кто вам об этом сказал? Кто?

— Мне об этом сказали и дед, и бабушка, и мать ребенка.

— И Агния?

— И Агния Васильевна Молохова,— отчетливее повторил Вениамин Васильевич.

— Вот тебе и на! — развел руками Лука Фомич.— Вот тебе и прощеное воскресенье!

— Не прощеное, Лука Фомич, а прощальное,— Строганов подал письмо.— Я его ношу при себе несколько дней, а теперь вручу.

Клавдий торопливо разорвал конверт и прочел. В письме было всего только три слова: «Вон, и навсегда!»

Письмо перечитали все, и последним прочел его Лука Фомич.

— Как же это изволите понимать, милостивый государь Вениамин Викторович?

— Писал не я. Но думаю, что нужно понимать, как написано.

— А святое таинство брака? — спросил неуверенно Лука Фомич.

Строганов как никогда держался твердо и строго, будто это говорил не он, а Василий Молохов:

— О святом таинстве брака я бы на вашем месте, Лука Фомич, не вспоминал. И не вспоминал бы об отце

внука Василия Митрофановича. Так просил он передать вам всем и пообещал, что если эта просьба не будет исполнена, то им будут найдены, как сказал Василий Митрофанович, способы вразумления.

— Мы лучше думали о вас, дорогой гостенек Вениамин Викторович,— припряглась к разговору Калерия Зоиловна.

— Думайте хуже... Я обязан передать все, что было сказано. И передам все. Все просьбы Василия Митрофановича.

— И много их, господин посол?

— Еще одна, Лука Фомич. Довольно неприятная, но я полагаю — справедливая и разумная для всех.

— Какая же, господин Строганов?

— Я позволю, Лука Фомич, передать ее в смягченных выражениях.

— Как вам будет удобнее, Вениамин Викторович. Мы не из пугливых...

— Василий Митрофанович Молохов требует, чтобы Клавдий Лукич в течение трех лет не появлялся в Шальве и не находился ближе чем на тысячу верст от нее...

— Да как он...

— Погоди, отец,— попросил Платон,— нужно выслушать до конца. Говорите, Веничек, все.

— Покинуть Шальву требует Василий Митрофанович не позднее первой недели Великого поста.

— Да кто он такой?! — сжал кулаки Лука Фомич.— Кто он такой, чтобы требовать?!

Строганов ответил, так же не шевельнув бровью, тем же ровным голосом:

— Василий Митрофанович, как бы и кто бы к нему ни относился, дважды оскорбленный отец. Я при всех особых отношениях к нему нахожу, что он прав.

— Вот как, господин Строганов? Значит, он прав? А я плюю на его правоту. Плюю... Вот так,— показал Лука Фомич.— Плюю и растираю.

— Напрасно, па,— предупредил Платон.— Ты забыл, как он на дуэли... У него очень твердая рука...

Клавдий принялся разыгрывать истерику:

— Он погубит меня... Он убьет меня... Я не жилец в моей Шальве!

Говоря так, златокудрый комедиант был рад, что все так счастливо развязывается для него.

На другой день утром сложившиеся обстоятельства

были оценены трезвее. Воинственные негодования стариков Акинфиных сменились опасением и трусостью.

Жюли не посоветовала Клавдию дожидаться определенного ему Молоховым срока отъезда. Боязно было задерживаться в Шальве. Страшновато стало отправляться и через ближнюю станцию. Мало ли какие жестокие проводы мог придумать ему этот дьявол...

Так говорила не только Калерия Зоиловна, но и Лука Фомич. Он также торопил отъезд.

Все обошлось хорошо. Выехали тайно после полуночи на далекую станцию. Утром Урал уже был позади. А на третий день Жюли и ее питомец распивали благодарственные бокалы и распевали: «Париж, Париж, ты счастье нам сулишь...»

Платон тоже благодарил судьбу. И не про себя. Не молча. Он отправился к Молоховым. Поздравил с новорожденным. И тут же, трижды поклонившись Молохову, сказал:

— По поклону за каждый год,— а затем, протянув ему руку, добавил: — Я благодарен вам, Василий Митрофанович, за счастливую разлуку с тем, чье имя навсегда презренно и забыто в этом доме.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Лука Фомич Акинфин долго пребывал в раздумьях о том, зачем понадобилось Ваське Молохову называть новорожденного внука Платоном. Это же явный кинжальный подковыр. И все же... Ставя себя на место Василия Митрофановича, можно было понять его старые и новые обиды. А посему Лука решил лично и откровенно повиниться перед Молоховым.

Так он и сделал, сказав, что в этой непростимой марьяжной заварухе и опутывании чарами злодейственной любви виновны бабы.

— Соседи мы,— ответил Молохов,— нам от этого и деться некуда.

— Мудрее и не скажешь, Вася...

Смягчившись, Василий Митрофанович все же не показал младенца и попросил Луку не называться дедом маленького сына Агнии.

— По крови он — да, а по всему другому этого не получается.

— Я понял, Вася, понял,— согласился, смахнув сле-

зу, Лука и решил не объявлять, что у него в Питере родился внук. Законный внук Вадимик.

Пусть об этом Васька узнает от других.

Встреча закончилась не столь сердечно, зато выгодно для молоховских домен и акинфинских заводов.

Вскоре из Петербурга вернулся Платон Лукич.

— Как же ты так скоро, Тонни! — удивился встретивший его Скуратов.— Почему же ты и двух недель не побыл со своим Вадимиком?

— Вадимику теперь нужнее мать. Мне же полезнее быть в Шальве. Да, Родион, полезнее и даже больше...

— Что-то неладное произошло, Платон?

— Произойдет. Мы накануне взрыва, Родион.

— Какого, Тонни?

— Какого — я еще не знаю. Дай бог, если он коснется только одного царя, а не заводчиков и не заводов.

— С чего бы это, Плат?

— Как с чего? Во всем одни провалы. Военные и всякие другие. А гонор, гонор!.. Гневят народ, глумятся, душат, порют, затыкают рты. И это все вместо того, чтобы ослабить напряжение внутри империи, дать какое-то смягчение рабочим... хотя бы посулить поблажки. Так нет! Жмут, нагнетают недовольство, сажают в тюрьмы, шлют в ссылки... Делают черт знает что, не понимая, что этим озлобляют и тех, кто мирился, молча нес свой крест, снося проклятый каторжный режим...

Скуратов слушал и молчал. Таким впервые видел он Платона. Впервые закрались смутные сомнения. Так ли уж все благополучно в Шальве? До конца ли искренен Платон? Так ли благонамерены его заботы о рабочих? Не есть ли они наследственное, предупредительное самоохранение миллионера? Лука Фомич тоже был мастером в таких делах. Умел предупреждать подачками бунты...

Подумав так, Скуратов тут же остановил себя. Таких заводчиков нет нигде, каким является Платон. Он прям в своих намерениях. Не суля молочных рек в кисельных берегах, он дает рабочим больше, чем они могли предположить.

Платон, словно подслушав мысли Родиона, сказал ему не прячась, не таясь:

— Родька! Здесь в конторе мы вдвоем. С глазу на глаз. Между нами нет третьих лиц. Их не должно быть вообще. Штильмейстеру и Потоскуеву я верю, но они

при нас, а мы с тобой единое одно. Я понимаю, у тебя и у меня есть что-то недоговоренное. Всего никто не говорит. И муж с женой, отец и сын тоже не откровенны до предела. Таково устройство душ.

— Допустим, Тонни, таково...

— Так вот, душа моя, нам нужно не когда-то, а теперь, сегодня-завтра, в три-четыре дня, решительно и круто улучшить жизнь работающих на заводах нашей фирмы. Решительно и щедро противопоставить нагайкам, штрафам, изнурительности труда — доброту, внимание, льготы и... И все, что возможно, даже если это не в наших силах...

— На это, Платон, нужны, во-первых, деньги, деньги, во-вторых, и в-третьих, тоже они.

— И в тридцать третьих — деньги. Ну и что? Лучше попуститься прибылями, даже понести убытки. Заложить что-то или продать... Занять... Украсть... Пойти на все, но доказать, что примирение непримиримого возможно! Не будем, Родик, выяснять и спорить. Россия накануне опасных потрясений. Пробудится и наш замордованный край. Так пусть же потрясается тот, кто заслужил этого, а не мы!

Тут же был вызван Флегонт Потоскуев. С ним разговор происходил в ином разрезе.

— Флегонт,— начал Родион,— мы накануне огромных прибылей. Нам нужно эти прибыли не только получить, но и закрепить...

— Не только закрепить, — перебив, продолжил Платон,— но и сделать устойчивым наращиваемое нами. Поэтому...

Далее была изложена программа и затем объявлена приказом по цехам. Это был очень впечатляющий приказ.

В приказе говорилось, что главное управление заводами остается верным провозглашенному фирмой закону равновесия взаимностей. Преследуя заботы о всех и каждом, главное управление находило справедливым поделиться полученными прибылями, половина из коих предназначалась на облегчение условий труда и на приобретение первоклассного оснащения цехов и всего способствующего взаимному благополучию рабочих. В том числе называлось особое внимание к женскому труду. Обеспечение ухода за детьми работающих матерей, расширение лечебного дела. Внедрение первой очереди

электрического освещения в домах. Удешевление оплаты за поставку дров и всего касающегося упрочения жизни, всех имеющих отношение к преуспеванию Шало-Шальвинских заводов.

Вторую половину прибылей минувшего и текущего, 1904 года главное управление приказывало употребить на увеличение оплаты сдельных, поденных и всех других видов заработков.

Далее назывались проценты увеличения прибавок, устанавливалась выдача бесплатной рабочей одежды. Приказывалось пробное введение удешевленных обедов в цехах и также пробное введение заводских лавок, торгующих по сниженным ценам...

Просторный приказ лишает нас возможности привести его полностью. Это сделала газета «Шалая-Шальва», отдав весь номер подробностям, примечаниям и дополнениям.

Нетрудно предположить, как такая щедрость фирмы была встречена в рабочих семьях. Платона чуть ли не причисляли к лику святых. Нашлись и такие, что потребовали у отца Никодима отслужить большой молебен и произнести похвальную проповедь.

Молебен был отслужен и проповедь произнесена, в которой Никодим не преминул заметить, что имя Платон произошло от древнегреческого слова «широкий».

— Таков и есть раб божий, принявший это имя, Платон, сын Лукин.

Для всех шальвинцев и для самого Платона сказанное Никодимом стало неожиданным открытием. Многое было неожиданным в эти дни, в том числе волнения на окрестных заводах, угрожающие письма без подписи и широко распространенная, отлично нарисованная и четко напечатанная открытка.

На открытке был изображен херувим с когтистыми лапами вместо рук и ног. Всякий знающий Платона Акинфина легко узнавал его в светлом лике ангела с когтями.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Открытка больно кольнула Родиона Скуратова. Его снова посетили колебания. Этому настойчиво способствовал задиристый литейщик Савелий Рождественский, друг детства Родиона и Платона.

Савелий, по школьной кличке «Саваоф», сказал, придя домой к Родиону Максимовичу:

— Эта карточка — плохая гиря на Платоновых весах.

— Плохая,— подтвердил Родион,— но хуже ее злое зубоскальство.

— Притом оно облыжное, конечно? Не так ли, Родион?

— Савелий, не глумись. В открытке есть доля правды. Но — доля. Всякий заводчик не без когтей. Но не у всякого заводчика есть крылья.

— Понял, Родик. Понял! И я ценю высокое парение Платона.

— Он не парит, Савелий! — ответил, раздражаясь, Родион.— Твой новый дом, полученный в рассрочку, не парение. Твоя полуторная прибавка к заработку тоже не порхание в небесах. И если все это тебе унизительно получать из рук когтистого Платона, кто тебе мешает плюнуть лживому архангелу в глаза и перейти к другому, праведному заводчику? Только найдется ли такой? Найдется ли такой заводчик?

— Молчу, молчу... И таких не надо нам искать, а лучше потерять... При этом навсегда и безвозвратно. Бывай здоров, главный управляющий!..

После ухода Рождественского, оставшись один, Родион вел разговор и продолжал спор с самим собой.

В самом деле, кто мешает Савке и ему, Родиону Скуратову, встать и уйти, коли он признает, что в открытке есть доля правды? Но доля, только доля. Нелепо же хотеть, чтобы миллионер отказался от своей казны, отдал свои заводы рабочим и потерял над ними власть.

Такое может быть. Об этом уже пишется в листовках и в брошюрах. Но это же пока только листовки и брошюры. То есть стремление. А всякое стремление — только слова и мысли. А «равновесие взаимностей» Платона живет и действует уже сегодня. Действует и облегчает жизнь. Пусть только в Шальве. Но кто знает, может быть, Шальва вынудит и других заводчиков предпочесть малые прибыли большим потерям...

Рассуждая так, Скуратов признается, что ему не по уму решать большое, заглядывая в грядущие годы. Поэтому, не зарясь на далеких журавлей, он должен отдавать себя служению тем, благополучие которых зависит от успехов фирмы и намерений Платона и впредь улучшать жизнь своих рабочих.

Возможно ли уравновесить жизнь или нет? Родион так же прямо признается сам себе: «Я этого не знаю, но буду стремиться верить в лучшее и осуществлять его на деле».

И опять сомнения приходят в голову Скуратова.

А что думает Платон? Каково его суждение об этой злой карикатуре? Прошла неделя, а он ни словом не обмолвился о ней.

Может быть, Платон ее не видел? Может быть! Однако такое маловероятно. Впрочем, почему же? Кто мог осмелиться вручить хозяину эту открытку, коли сам Родион не сделал этого?

Все выяснилось на другой день в конторе. Платон, разговаривая об изыскании прибылей, сказал, как следует держаться после «убыточного приказа»:

— Родик, самое главное для нас теперь, во-первых, не терять чувство юмора. Во-вторых, не замечать нападки, пасквили, наскоки, какими бы оскорбительными они ни оказались. И, в-третьих, мы обязаны оставаться ангелами и только ангелами, платящими за зло добром. Только добром!

— Я понял тебя, Тонни. Скажи мне, должен ли я удвоить или, может быть, утроить, а то и архангельски учетверить жалованье высланному под надзор художнику Сверчкову?

— Родик! Как ты прямолинеен! Николай Андреевич Сверчков обиженный талантливый художник, а мы его замучили этикетками, наклейками и прочей рекламной чепухой. Вспомни его портрет Агаши Молоховой, через который Венечка Строганов влюбился в нее.

— Так что же следует из этого, Платон?

— Ничего особенного. То, что должно следовать. Должны мы увековечить на холсте наши заводы, наших рабочих, наши новые составные дома? Нашу Шальву? Должны! Вот я и заказал ему кое-что из этого и дал задаток десять тысяч...

— И он был благодарен?

— Больше! Он был бледен. У него дрожали руки, даже, кажется, подкашивались ноги... Ну, бог с ним. Он несчастный человек. Вернемся к разговору о том, как возместить убытки после нашего архангельского приказа. Есть один верный, но очень трудный ход — с «бездделушечным литьем» Савки Рождественского.

— Да это же грошовая тысячная прибыль...

— Это верно, Родик, если счет вести по абсолютным цифрам. Есть и другой счет. Счет Флегоши Потоскуева. Он с карандашом в руках мне доказал, что каждый золотник Савкиного литья дает втрое больше, чем фунт отличного литья Карела Младека.

— Положим так, но это тоже крохи.

— Все состоит из крох и капель. Савелий одарен, но не обучен. А если бы ему придать в наставники такого виртуоза, как Уланов, то из крох может вырасти пусть не гора, но золотой пригорочек наверняка. Тут я, как суеверный человек, остановлюсь и утаю, мой милый братик, как я хочу пуститься на поимку «курочки рябы», которая снесет нам... Тьфу-тьфу! Плюнь через левое плечо и пожелай удачи. Я уезжаю и хочу вернуться с «Улановым» по тонкому литью...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Дневники, записи Вениамина Строганова и хроника газеты «Шалая-Шальва», будь бы они опубликованы в их первозданном и разрозненном виде, могли бы стать занимательным чтением. Строганов рассказал о поездке Платона Акинфина в Каслинский завод достойное нашего внимания.

Выбирая из рукописных кип нужное нам и вплетая его в этот цикл, следует предварить о давних намерениях Платона, а до этого — Луки, перехватить секреты каслинского «украсительного литья». Об этом уже говорилось вскользь, а теперь скажем подробнее.

Впервые, еще в юности, с каслинским литьем Платона познакомил утюг, обрамленный тонко отлитым, причудливым орнаментом. Утверждали, что его отлили в Каслях. Лука Фомич хотел повторить отливку. Литейщики не могли добиться и близкой копии. Вместо листьев, бутонов и цветов получалось бугристое нагромождение, «не разбери — поймешь». Затею пришлось оставить.

После утюга произошла другая встреча с каслинскими художественными поделками в Лондоне. Там в ювелирных магазинах рекламировали оригинальные украшения из русского чугуна. Платон зашел в магазин и попросил показать ему эти украшения. И он увидел маленькие чудеса тончайшего литья. Это были кольца, перстни, браслеты, серьги, подобия камей, цепи для часов, кружевные коробочки, зафонированные изнутри смека-

листыми торговцами светлой блестящей подкладкой. Она эффектно подчеркивала черноту чугунного кружева и делала шкатулочку пригодной для хранения драгоценностей состоятельных леди.

Не верилось, что все это отлито из чугуна.

— В этом и шарм,— сказал продающий, не предполагая, что молодой человек может что-то купить.

Ювелирные «шармы» стоили дорого. Чугунная табакерка превышала по цене такую же по весу серебряную. На донышке табакерки значилось знакомое слово: «Касли».

Платон купил кольца, серьги. Вернувшись домой, он прежде проверил, чугун ли это. Оказался чугун.

Он вспомнил, что это литье видел у себя в Шальве, не обращая на него внимания.

Уцелевший утюг поверг Платона в размышления.

После разговора с Потоскуевым возникло неодолимое желание отправиться в Каслинский завод и всеми способами разыскать, озолотить и привезти в Шальву «Уланова волшебного литья».

И вот Платон в Каслях.

Завод и его мастера поразили Платона, и особенно один из них. Он познакомился с ним. Его звали Артамон Моргунов. Ему было лет сорок.

Не зная, как выразить свое восхищение, Платон подарил ему завалишинский замок, открывающийся при наборе дисками слова «касли».

О наборных замках были наслышаны многие, но не многие видели их.

— Мастачная штуковинка,— похвалил Артамон Моргунов, то и дело открывая и закрывая замок.— Прошу ко мне, молодой господин, для отдарка на тетеревиные пельмешечки.

Этого-то и хотел Платон, ища возможности поговорить с мастеровым наедине.

После тетеревиных пельменей с брусничным уксусом Артамон преподнес Платону черную розу в таком же исполнении, что и шкатулочка, виденная в Лондоне. Живые лепестки розы, тончайшие шипы в Лондоне оценились бы десятками фунтов стерлингов. Отдарок показался слишком щедрым. Платон спросил:

— Сколько же может стоить такая роза?

— В том-то и суть, что никто не знает, какова ей цена. Завод не стал пускать ее в отливку. Дескать, не то-

вар, а только погляд. И так не первый раз меня били по рукам за то, что я хотел штучных, а не базарских отливок, которые купит и наш брат. Мне нет на заводе ни входа, ни выхода. Не понимают, что такие диковинки продают царям, королям, кунсткамерам. Это тебе не табакерки, не брошки-сережки, которые из чугуна льешь, а серебром остужаешь. Такой чугунный розан золотым из формы вынается.

Рассказывая о себе, Моргунов не хвалился, а гордился своей работой. И ему горько было, что его не только не ценят, но и называют «ушибленным».

— А я и есть ушибленный, ибо тяпины-ляпины никогда не любил. Из простой рябины непростые тросточки для понимающих людей одушествлял. Ни дней, ни узоров не жалел, и для меня ничего за них не жалели. Мать корову на тросточки купила и Тросточкой ее назвала. Уйду с завода. Домаюсь сколько-то, а весной пойду понимающего хозяина искать.

— А есть ли такие?

— Есть. Найдутся. Кому не фартово чужими руками жар загребать.

— Таких много, но захотят ли они вводить себя в расходы на новое дело?

— Расходы невелики,— сказал Моргунов.— А если надо, я сам в них введусь. Свои руки денег не просят. Был бы угол в цехе. А потом все углы отдадут. Для меня и кузни для первых разов хватит.

Выслушав Моргунова, Платон сказал:

— А не побывать ли вам на наших заводах?

— На ваших? А разве, это самое? А я вас за барича принял из тех, кто по свету ищут то, что они не потеряли.

Платон назвался. Услышав его фамилию, Артамон обрадованно сказал, что целил побывать и в Шальве, где у него родня.

А дальше все сложилось лучше лучшего.

Чтобы не затягивать рассказа, укоротим его страниц на десять и скажем, что в Шальве Моргунова прозвали «Молчуном» за то, что он не раскрывал своих секретов. А Савка «Саваоф» Артамону пришелся по сердцу. Ему в нем было дорого то, что он переимчив и толков. А главным в Савелии для Артамона были его прочные суждения о перемене жизни, с ее основания и до верхушки.

Приглянулся Артамону Моргунову и другой рукастый мастер. Гравер Виктор Кособродов. Он предложил заме-

ну неспорых одноразовых земляных форм постоянными каменными.

Молчун опасался, что каменная форма треснет от раскаленного металла.

Нет, Кособродов опроверг это на деле, принеся большую кусковую форму. Он сказал:

— Стрекозочка мною выгравирована в этой форме. Большой камень и ахнуть не успеет, как остудит эту крохотульку, в которой весу чуть больше, чем в настоящей стрекозе.

Проба подтвердила сказанное.

Так гравер, соединясь с литейщиком, удивил и самого Карела Младека. Стрекоза была так точно отлита, что на крылышках виднелись их тоненькие перепоночки.

Теперь скорость художественного литья почти не отставала от штамповки. «Курочка ряба» неслась едва ли не ежеминутно. Чугунные, тончайшие диковинки можно было изготовлять в незнаемом числе для иноземных городов и для своих столиц.

Как водится, реклама, образцы, преподношения... А вслед за ними перекупщики, заказчики, сделки на поставку и... деньги.

На исходе убыточного года ювелирное волшебное литье молниеносно обернулось сказочными прибылями.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сказочные прибыли позволили Платону встретить грозный 1905 год в надежной обороне улучшений труда и жизни шальвинских рабочих. Снова поднялась оплата. Снова награды и надбавки за хорошую работу. Опять особая забота о женщинах и детях. Вновь газета «Шалая-Шальва» дотютельно перечисляла, кому, и что, и как, и сколько... Мало этого — сам Овчаров в газете заявляет, что будет дано членам его Кассы в ближайшие два года. И все назывательно, подробно, понятно даже для ребенка.

Грамотные неграмотным читают газету по два, три раза. Слушающих прошибает пот. Поверить трудно этому посулу, а не поверить вовсе невмоготу.

Обещанное прежде не только выполнялось, но и с лихвой перекрывало заботы Платона о рабочих. Отрубить бы по локоть руку тому, кто рисовал его с когтями. Черту бы в когти этого мазилу!

Были и другие разговоры, но Вениамин Строганов их или не слышал, или не пожелал запечатлеть в своих записках. У всякого свои уши и своя способность слышать. Он очень мало оставил нам строк о волнениях, забастовках и бунтах. Но мы-то с вами знаем, каким был этот год первой революции в России.

Нам известно, что дело доходило до схваток на площадях, до уличных боев. Бывало, что рабочие своих хозяев выдворяли за ограду заводов, обували в лапти иных начальников и наряжали в рваные зипуны. Бывало всякое, о чем достаточно подробно писалось и широко читалось. Наша задача у́же и локальнее. Мы описываем Шалую-Шальву и связанное с нею, не ставя своей целью нарисовать большое полотно. В чем прямо и откровенно признаемся. Оговорившись так, скажем, что в Шалой-Шальве в этот величественный революционный год было предательски спокойно. Состоялись всего лишь две тихие, немноголюдные демонстрации, требовавшие свержения царя, обуздывания заводчиков, но не Платона Лукича.

Такие, как Молохов, Потаков и мельче, сидели взаперти или скрывались на заимках, прятались в надежные места. Платон же с тросточкой, нарядный, разгуливал по заводам, мягко упрекая в цехах своих рабочих, что в них нет сочувствия к бастующим на соседних заводах. Не без его подсказки появились подписные листы для вспомоществования женам, детям рабочих, лишившихся работы на усмиренных полицией заводах.

И все же Шальва не обошлась без порок и арестов. Ночью был обыскан и взят полицией Савелий Рождественский.

Через неделю арестованный был оправдан за большие подношения тем, кто допрашивает, обвиняет и ссылает. Тем, кто может при желании найти улики необоснованными, доносы ложными, а затем освободить арестованного, да еще, прощаясь с ним, пожимая его руку, принести свои извинения за досадное недоразумение.

— Только заботой и добром наша фирма платит и тем, кто по недомыслию подымает на нее свою бессовестно неблагодарную руку.— Так сказал Георгий Генрихович Штильмейстер, возвращая Рождественского в своем экипаже его семье.

Жена и дети Савелия плакали от счастья. Он же, стиснув зубы, не проронил ни слова.

Задетый этим Штильмейстер заметил вызволенному Рождественскому:

— Если бы я обыскивал вас, почтеннейший революционер, то я бы нашел тягчайшие улики, хранимые под этой половицей. Сожгите их или перепрячьте умнее и надежней. А теперь благодарю вас, сударь, за удовольствие, доставленное мне ходатайством о вашем счастливом освобождении. Мне это приятно...

— И мне приятно,— ответил Рождественский,— что я хоть чем-то оказал услугу вам и фирме.

Штильмейстер не рассказал об этом Платону Лукичу. Видимо, были особые причины. Для себя же он сделал вывод, что Рождественский не одинок. Не исключал этого и Платон Лукич, настаивая все же на своем:

— Только забота, внимание и добро могут умиротворить любого из «савок», будь их даже два или три миллиона. Революции не пресекаются саблями, не усмиряются штыками, тюрьмами, нагайками и всякими другими насильственными мерами. Юджин Фолстер учил разоружать души революционеров. Работающий должен быть сыт, одет, обут и... Если это не будет понятно и после того, что происходит, тогда... Вы, Георгий Генрихович, и без меня знаете, что следует после «тогда».

Убежденный на опыте умиротворенной Шальвы в правоте идеи равновесия взаимностей, Платон решил об этом заявить публично. И, как мы знаем, он это сделал в цирке Шалой-Шальвы. Мы также знаем, чем кончилось это выступление Платона Лукича.

Теперь у нас есть полная возможность, не повторяя случившегося в первых главах нашего романа, продолжить повествование, перейдя в его шестой цикл таких же пестрых и перенаселенных глав...

ЦИКЛ ШЕСТОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1906 год готовился смениться своим преемником. В Петербурге все еще слышались отголоски народных волнений, далеких и близких. Княжеский дом Лучининых ограждал себя от всего нарушающего привычный уклад.

Дом жил маленьким Вадимом Платоновичем Акинфиным, похожим на отца и мать. Глаза и волосы папины, личико мамино, и характер Платона, а изящество Цецилии.

Мальчик так рассудителен и любознателен, что приходится искусственно замедлять его развитие. Раннее повзросление ребенка губительно сказывается на его юности.

Лето Цецилия проводила в Шальве. Зимой почти не бывала там. Платон же часто приезжал в Петербург. Супруги жили и вместе и порознь, в своих сферах. Вадимик скреплял их соединение, не заставив, однако, ни того, ни другого изменить свои взгляды и суждения.

Цецилия по-прежнему утверждала свою невиновность в том, что она рождена и воспитана аристократкой и не может предпочесть «шальвинский черный дым» свету цивилизации.

Платон так же прямо называл аристократическое бесцельное безделие жены худшим дымом, отравляющим тысячи светлых умов, которые могли служить великому делу сословного равновесия.

Отец Лии, Лев Алексеевич Лучинин, полностью разделяя взгляды милейшего и любимейшего Платоши, не мог зачеркнуть суждений дочери и ее образа жизни: это бы значило зачеркнуть себя. Ведь он жил в неизбежном для него безделии и отравлялся тем же дымом, что и Лия, что и все люди из его круга.

Прожитое им тоже было бездельной, бесцельной суетой сует, кроме разве отличных коллекций картин, скульптур, фарфора и уникальных предметов разных веков. Собранное, несомненно, оставит след. Пусть оно будет не таким, как у виднейшего московского собирателя

картин Третьякова, но все же будет. А в остальном его жизнь — это преходящая пестрота, и больше ничего.

Наиболее интересные сведения из биографии Льва Алексеевича Лучинина оставил живший в этом доме все тот же Вениамин Викторович Строганов. Воспользуемся снова написанным им и приведем его в избранном и откорректированном виде, со своими домыслами.

Лев Алексеевич Лучинин, побочный сын князя Алексея Алексеевича Лучинина, был его единственным наследником. Ему перешло все принадлежащее князю, кроме титула, получения которого Лев Алексеевич не желает теперь.

Владея богатейшими наследственными имениями, он мог жить независимым и знатным барином без чинов и и званий. Зимой — в наследственном особняке с княжеским гербом, а летом — в одном из имений.

Так он и жил, богатым наследником, в окружении людей, светских, высокопоставленных, конечно, богатых. Менее богатых, чем он. А отсюда и превосходство Льва Алексеевича. Ему было доступно так много, что и лишенные зависти его именитые друзья чувствовали себя двойственно. Превосходя его «титулярно», в остальном они уступали ему. А уступать не всегда и не всем бывает легко. И кто-то из тех, кому это было делать трудно, сочувственнейше и сердечнейше жалил его в самое больное. А самым больным, как можно догадаться, у Лучинина была его «побочность».

Кто-то из обладающих языком тоньше осиного жала заметил о несоответствии герба на доме князя Лучинина с владеющим ныне этим домом Львом Алексеевичем. А кто-то другой посоветовал устранить это несоответствие одним из двух способов. Либо под видом обновления фасада дома избавиться от герба и тем самым покончить с кривотолками в свете, либо испросить высочайшего дозволения вместе с унаследованной фамилией отца унаследовать и право именоваться князем.

Благоразумие не позволило бы Льву Алексеевичу ценой унижения добиваться милостивого возвышения. Лев Алексеевич хотя и не был цареотступником, но и не мог назвать себя преданным ему.

Всякий знает, как много значит жена. Значит тем более, если она любимая. Жена Лучинина, Любовь Павловна Строганова, находясь в аналогичном положении относительно своей фамилии, хотела быть княгиней. Она

выглядела всего лишь однофамилицей вельможных графов Строгановых.

Не всякий знает, что фамилия Строгановых, ветвясь с давних времен, проникала во все слои населения, от крестьянских и до купеческих. Ответвлений и отпочкований потомков Строгановых насчитывалось около двухсот семей. Не все из них были удачливы. Одни, наиболее предприимчивые, занимались солью, лесом. Другие прасольничали, кустарничали, а третьи деревянной сохой пахали северную пермскую землю.

Судебные архивы, как утверждает Вениамин Викторович, хранят дело о разделе строгановских богатств между истцами-наследниками графов Строгановых, число которых приближалось к двумстам. В этих двух сотнях претендентов значился и Вениамин Викторович Строганов.

Любовь Павловна Лучинина не претендовала на свою долю наследницы. Ей бы едва ли досталось больше, чем она владела. Но она готова была участвовать в переделе земель и что-то потерять, лишь бы судебно узаконить свое графское происхождение. Теперь же это меньше беспокоило ее. Стать княгиней несравнимо звучнее, и она делала все необходимое, чтобы ее муж, называвшийся князем только в своем кругу да мужиками в имениях, стал им утвержденно и обнародованно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Течение жизни Льва Алексеевича Лучинина круто изменилось. Ему не так трудно было и не очень дорого стоило ускоренно набрать чины и подняться на высокую ступень в кандидаты генерал-губернатора.

Трижды побывав вице-губернатором, переходя из одной губернии в другую, он не выработал в себе необходимых губернаторских свойств. Был попустительски добр, а то и жалостлив. Чиновников он не держал в положенной строгости и тем самым порождал среди них нерадивость к службе, разрешал панибратство и прочие недозволенности.

Ходил по городу пешим. Позволял себе выслушивать жалобщиков на улице; выслушав, тут же писал на прошении свои вице-губернаторские повеления.

Простота простотой, но как можно не пропускать ни одного базара и уж конечно ярмарок и покупать там

вместе со своим поваром рыбу, говядину, овощи, живую птицу, свежую дичь, да еще не требовать сдачи!

Верные уши слыхали, как мужики, знавшие своего покровителя в лицо, толковали с ним о земле и советовали в письмах к нему в таких словах: «Господин князь Лев Алексеевич, батюшка, вразуми ты нашему преславному царю, что не возможно...» И в этом роде случались мужицкие просьбы во всеуслышание.

В Петербурге терялись, читая тайные донесения. Не верилось, что написанное соответствует истине, а если оно соответствует, то выходит, что Лучинин дурак. И тут же, рядом с хулой, воздавалась и хвала.

Неустанно Лев Алексеевич разъезжал по уездам. Умножал школы, больницы, радел за искусства, разбирал дела невинно осужденных, благоустраивал улицы, пекся о трезвости. А самое лестное было то, что Лучинина любили и уважали.

В донесениях писалось, что его превосходительство мог сделать и невозможное для всякого другого. Он умел внушить, уговорить и самых прижимистых богатых людей, заставить их по своему желанию что-то построить, чему-то помочь, и не по мелочам, а тысячно.

Лучинин надеялся, что ревностное служение на ниве просвещения будет похвально замечено и он обрадует честолюбивую Любовь Павловну долгожданным утверждением его в наследственном титуле. Вместо этого просветителя вознаградили отставкой и всемилостивейшим порицанием.

Описания превратностей жизни Льва Алексеевича составили три рукописные тетради Вениамина Строганова. Приводить их хотя бы в извлечениях значило бы уклониться от главного. Поэтому нам следует ограничиться несколькими словами: Лучинин не годился ни в губернаторы, ни в князья.

Река его жизни после нелепых извилин обрела прежнее течение, а княжеский герб, высеченный из белого мрамора, остался на его доме. Не портить же, не придумывать новую облицовку фасада ради герба. Дом знатный, наследственный и в некотором роде исторический. Зачем в угоду кому-то затмевать прошлое? А самое главное состояло в том, что теперь ему было не до гербов, не до титулов.

Служения по губерниям, поездки в малые города, встречи с простым людом убеждали Лучинина, что Рос-

сии нужен новый Петр Великий, а не такой плюгавенький, как этот царек или его тяжелозадый отец. Это не цари, а исполняющие обязанность троноблюстителей. И если он, сын князя Алексея, в самом деле дурак, то «мы, Николай Второй...» не может назваться и дураком. Дурак — это человек, сошедший с ума. А для того, чтобы кому-то с него сойти, он должен у него быть.

Вернувшись в самого себя, сын князя Алексея Лучинина, как иногда подписывался он, занялся имениями, пришедшими в упадок, и прикамскими лесами жены. Их нужно было когда-то четко размежевать, не по писаным признакам — от речки такой-то до горы без названия,— а совершенно точно. С приложением карты местности и указанием на ней границ лесов госпожи Лучининой, урожденной Строгановой.

Столько лет собирались произвести размежевание с соседними лесами и не собрались. Теперь же это необходимо, потому что лес назван приданым дочери. Передать же его «в словесных абрисах по ландшафтным приметам» выглядело бы только словесным приданым. Нужны планы, а до этого застолбление, и межи, и все положенное, как в его поместьях. И не будь бы этого проклятого вицегубернаторства, он сам бы побывал с межевыми чиновниками на Каме и попутно увидел бы, так ли хороши эти места, как расписывает их несравненнейшая Любовь.

— А вообще-то говоря,— делился с женой Лев Алексеевич,— твой лес, Любочка, отнял у нас бездну дней.

— Чем же, Левочка?

— Ну как же чем... Приезжают покупщики, выторговывают, советуют, руководствуются благими намерениями, а рубят неизвестно где и незнаемо сколько... А потом еще должают, просят удлинить сроки платежей. Это же все время, утомление слуха, вынуждение обедать с ними да еще благодарить за пошлейшие подношения на манер восковой Венеры с оскорбляющими зрение натуральными подробностями...

— Так ты откажи им всем, имея дело только с тем деликатнейшим купцом, который... Как его?.. Ну, тот, что своей внешностью отдаленно напоминает Ивана Сергеевича Тургенева...

Любовь, как ты можешь прибегать к таким сравнениям! Это же страшнейшее олицетворение ползучего ханжества, прасола в личине просвещенного барина. Он

утомителен до головокружения своей предупредительнейшей вежливостью... На такого бы прохвоста да нашего Платошу, а лучше — Родиона Максимовича. Они бы уравновесили его через Штильмейстера до взыскания и того, что он не украл, но мог и хотел украсть.

Не допуская, что этот «как его» может быть нечистоплотен, Любовь Павловна также хотела избавиться от лесных миллионов.

— Как было бы хорошо уговорить Тонни переложить наши камские тяготы на его плечи без межевых хлопот.

— Я припугну его, Любочка, если он и на этот раз не согласится взять приданое Лии... Припугну тем, что ты отдашь безвозмездно свои леса пермским мужикам. Пусть сводят их, пусть распахивают новые земли и рубят себе большие избы...

— Как же это можно, Лев? У меня же внук!

— Да, конечно, Любовь,— сказал легко соглашающийся Лев Алексеевич.— Но когда еще понадобятся внуку все эти леса, имения? Да понадобятся ли? Лучше бы продать все не нужное нам и отягощающее нас. Продать и уехать в свой домик, связанный с именем Теккерея, обличителя держащихся за кажущиеся блага жизни. Уехать бы и прожить в Лондоне до следующего царя. А если и ему вместе с царизмом свернут голову, то так ли уж это плохо, Любочка?

Любовь Павловна погрозила мужу вязальным крючком и отложила законченный ею полосатый детский колпачок.

— Ты наслушался ереси, Лев.

— Ах, Любочка,— отмахнулся Лучинин,— христианство тоже было когда-то ересью по отношению к римскому язычеству. Есть очень порядочные и благожелательные люди среди социалистов. И если в самом деле Россия будет такой, как мне описывал ее не какой-то фабричный социаль-демократ, а дворянин, то можно вернуться из Лондона и получить полезную должность школьного инспектора... или хранителя музея. Тогда можно будет презентовать республиканскому правительству отцовский дом с условием сохранения герба и устройства в нем общедоступного музея изящных произведений. Наш дом уже почти музей. А в Лондоне я бы на вырученные деньги от имений докупил редкости Индии и некоторых других колониальных стран... Может быть, посчастливилось бы достать что-то из древнеегипетского.

— Мумию, что ли? Ее только не хватало нам...

— Ну зачем ты просмешничаешь, Любочка! Мумия при твоих суевериях будет оживать, ходить по комнатам и мешать твоему сну...

Помолчав, пораздумав, Лев Алексеевич снова заговорил о тяготах своих наследственных богатств:

— Хорошо бы, Любочка, продав воронежские, вместе с ними расстаться и с орловскими латифундиями, а часть вырученных денег положить в Кассу Овчарова.

— Зачем же, Левочка?

— Очень заманчивый эксперимент... Отличная больница с бесплатной аптекой. Нравственно разумное отделение женского фабричного труда от мужского, не всегда пристойного поведения в цехах. А этот «терем-теремок» меня положительно трогает до слез...

— Какой терем-теремок, Левочка?

— Детское дневное убежище в Шальве. Матери на фабрике, а дети в теремке. Тепло. Свет. Вкусные завтраки. Сытный обед. Игры и гувернантки для каждых тридцати мальчиков и тридцати девочек детей шальвинских рабочих. Разве тебе не рассказывал об этом Платоша?

— Что-то припоминаю, но я пропустила мимо ушей. Да и что мне до этого, Левочка, когда пора уже думать о гувернантке для внука.

— Да, несомненно, пора. Платоша хочет, чтобы ею был гувернер. Инженер. Похожий на мистера Макфильда.

— Инженер? В эти годы Вадимика? Может быть, еще пригласить магистра Юджина Фолстера, чтобы окончательно забить железом детскую головку? В нее и без того достаточно перейдет наследственного металла. Свинца от Луки Фомича, мозгового чугуна от Калерии Зоиловны и стальной твердости от одержимого отца Вадимика.

Не противореча жене, Лев Алексеевич не мог и не возразить ей хотя бы косвенно:

— Ты права, мой ангел, но даже Клавдий, состоя из олова без других облагораживающих его примесей, понял, что металл — главный материал нашего времени... Хотя, Любочка, я не перевожу в разряд отживших материалов и дерево.

Упомянув слово «дерево», Лев Алексеевич принялся восхищаться, как это он делал много раз, «составными» домами Платона Акинфина.

— Это же чудо, Любовь! За три дня вырастает дом! За два-три месяца возникают нарядные, живописные деревянные городки, новые улицы с электрическим освещением и водоразборными будками через каждые сто сажен. Вот бы построить такую же фабрику «составных» домов в твоих лесах, Любочка! Зимой строй, а летом сплавляй в барках, изготовленных там же на Камских берегах... Для этого не надо никаких руд, никаких плавильных печей...

— Как тебя легко увлечь, Лева! Ты Манилов, Левочка.

— Ты права. Я в чем-то сходен с ним. Но в данном случае во мне говорит трезвый расчет. Ведь я обучен считать до ста. Флегонт Потоскуев, что ведет в Шальве точный счет всему, сказал мне, что каждое наше бревно, сплавленное в Самару, приплывает двумя бревнами, а в Астрахань — тремя и более. Если же бревна превратить в сборные дома, то каждое бревно, став частью дома, уже в Перми удорожится в более чем двадцать раз. В Елабуге оно возрастет приблизительно в двадцать пять раз, а в низовьях Волги свыше тридцати пяти и сорока раз. Это же потрясающая прогрессия превращения бревна в деньги...

Любовь Павловна, утомленная разговором с мужем, раздраженно спросила:

— Что тебе до этой прогрессии, Лев? Зачем она тебе?

— Как зачем? Ты только представь, сколько доподлинных будд, сколько античных сокровищ можно купить на эти деньги!

— О господи... пресвятая мадонна!

— И мадонн, при этом редчайших, можно приобретать, не спрашивая об их цене. Ведь не все же поняли, что такое мадонны кисти художников средних веков. А когда поймут, эти картины так возвысятся в цене, что ни у кого недостанет средств, чтобы владеть одной, всего только одной из них...

Любовь Павловна, не выдержав, уходя, попросила дочь:

— Лия, сегодня у князя Лучинина необыкновенное извержение мыслей и слов. Будь терпеливой слушательницей, иначе твой отец начнет объяснять камердинеру, как превращается бревно в золотую сороку.

Лия заменила мать.

— Я люблю тебя слушать, папа, и никогда не устаю от твоих мечтаний. Люблю мечтать и я...

— Да я, моя пери, кажется, на сегодня вымечтал все, и мне уже нечего сказать, кроме Платошиных дел... А вдруг да, радость моя, в самом деле можно будет взаимно уравновесить сословия... Только почему их ни с того ни сего стали называть классами?.. И вообще появилась какая-то непривычная, ну, что ли, училищная, как бы сказать, лексика... Классы, программы, основополагающие учения... И все такое...

— Наверное, папочка, старые истины выглядят в иной транскрипции новыми.

— Допускаю, моя умница. Называют же скрытое присвоение чужих вещей клептоманией, хотя и то, и другое точнее определяется словом «воровство». Я допускаю, прелесть моя, что фабричное сословие, которое теперь называют рабочим классом, можно умиротворить, дав ему необходимое по его весьма умеренным запросам. Стол. Одежда. Жилище и обеспеченные праздники. Платоша этого достиг. И у него нет того, что приносит огорчения многим другим владельцам фабрик.

— Достиг ли Тонни этого? И можно ли достичь?.. Не прав ли его Лука Фомич, говоря, что пряниками можно «заморить голодок», но нельзя насытить?

— Лука Фомич, моя звездочка, мыслит ограниченными категориями. Про мужика также говорили, что он ненасытен. А как выяснилось, его можно приручить землей. Мужику не нужно ее больше, чем он может вспахать. Я допускаю, что с фабричными труднее. Труднее и легче, ласточка моя. Мужик не понимает слов. На него можно воздействовать только двумя крайними способами — либо кнутом, либо сытым животом. Фабричного же и на голодное брюхо можно убедить. Он чувствительнее, последовательнее и способен к логическому мышлению. Но почему он стал рабочим классом и почему твердят, что за ним будущее? И почему, моя умница, я, не соглашаясь с этим, не могу опровергнуть этой гипотезы, которую уже громче и громче начинают называть наукой о развитии общества?..

Оборвем на этом диалог, в котором разговаривает один, а второй лишь помогает ему излить свои мысли, сомнения и просто слова, за которыми ничего не стоит. Сделав так, мы вернемся в Шалую-Шальву и посмотрим, что произошло за эти годы и что творится там теперь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кинематограф, обладая многими исключительными, присущими ему свойствами, обладает и тем, что он может в считанные минуты показать то, что перо может описать лишь в общих чертах.

И если бы на экране показать панораму Шало-Шальвинских заводов, то были бы наглядно видны разительные перемены, преобразившие общую картину и составляющее ее. Объектив киноаппарата это сделал бы очень хорошо, но и у пера есть некоторые преимущества. Оно позволяет довообразить, дорисовать не дописанное им и представить названное в том виде, какому наиболее соответствует в представлении читающего желаемое им. Читающий почти всегда соавторствует с пишущим и всегда досказывает, дорисовывает, а иногда и домысливает то, чего недостает. Недостает по небрежности ли автора, по невозможности ли заниматься всеми деталями или по необходимости что-то сказать завуалированно.

Словом, не будем требовать у пера больше его возможностей и условимся довоображать недостающее, а иногда всего лишь названное.

Ну зачем, в самом деле, описывать арку при въезде в город, коли достаточно сказать, что она появилась и представляет собою громадную подкову, сложенную из гранита, а до этого задуманную художником Сверчковым, который видел в ней символику процветания и оригинальность решения, а кроме этого видел и пятьсот рублей наградных.

Не следует также затруднять перо ради нового здания почты. Есть другие, наиболее привлекательные строения. А почта как почта: два этажа, в верхнем — телеграф, денежные переводы и сортировка писем. В нижнем — собственно почта и большое посылочное отделение. Оно, как и сама почта, стало большим, потому что многие изделия фирмой отправлялись посылками, ценными наложенными платежами. Зачем отдавать перекупщику-оптовику то, что может продать сама фирма, имея дело непосредственно с покупателем? Например, мелкое дорогое художественное литье, те же редкостные замки, различные наборы — столовые, хозяйственные, инструментальные,— мало ли предметов, дающих скорый оборот и значительно большую прибыль!

Нет, почту мы пройдем. Мы лучше посмотрим, как

выглядят корпуса фабрики «Женский труд», получившей прозвище «Вдовий улей».

Фабрика сгруппировала около себя на опушке леса все близкое женщинам и необходимое им. Это, во-первых, то, о чем говорил и чем восхищался Лев Алексеевич Лучинин,— «терем-теремок». Расписанный веселыми красками под руководством художника Сверчкова, с множеством декоративных башенок, венчаемых петушками, он смотрелся сказочным, привлекательным, детским. Тут же, почти рядом с ним, примыкая к фабрике, красовался другой теремок, названный «Колыбель». Это дом с двумя отделениями: одно — для грудных младенцев, другое — для детей до двух, двух с половиною лет.

Кормящие матери имели возможность бывать у своих детей столько раз, сколько им это было необходимо. При сдельной работе работница становится хозяйкой своего времени. Овчаров предусмотрел все и даже хлебную лавку. Хлебы обычно в шальвинских домах пеклись в своих печах. Теперь это не всем стало выгодно. Больше того — тут же появился «трапезный цех». Так почему-то назвали заводскую столовую. Может быть, это монастырское приставное слово возвышало неслыханное для Шальвы заведение?

Здесь женщины обедали, предъявляя свой заводский номер. В получку Касса делала всегда точный вычет, позволявший убедиться, что домашний обед стоит не дешевле.

Кроме булочной открыли «общий магазин». В нем было можно купить все необходимое из съестного и мелочей повседневной необходимости.

В эти нововведения не верил и сам Александр Филимонович Овчаров, увидев плоды своих собственных затей, восторгаясь ими, продолжал сомневаться в существующем.

Кинематограф очень бы хорошо показал это в цветном фильме. И особенно обратил бы он внимание на дом с надписью «Новые моды». Французская портниха и русские швеи-девушки. И опять же два, как и в больнице, как и в магазинах, отделения. Одно «номерное», только для работающих в фирме, другое — для всех. В швейной мастерской «Новые моды» могли сшить самое замысловатое, кто его пожелает заказать, но... плати. Отделение для всех мастерской «Новые моды» с лихвой покрывало удешевленную плату для «номерных» заказчиц.

Касса входила во вкус равновесия взаимностей, замахивалась на совсем далекое, невероятное, чем-то неудобное, неприличествующее, а внедрившись, прижившись, оно становилось обычным, нормальным, жизненно необходимым, без которого уже невозможно было представить существование.

Обо всем этом или о части из этого еще будет рассказано. Впереди так много страниц, лиц, встреч, а сейчас мы можем заняться оставленными нами в предыдущих главах.

Опережая всех других, мастер замочных дел Кузьма Завалишин первым просится на перо. Он уже сидит на его кончике и жаждет вписаться в наши строки. У него для этого есть основания.

Завалишин, как мы знаем, предстал пред нами обиженным и несчастным мастером. И все жалели его, а потом радовались вместе с ним успехам, пришедшим к нему. Теперь же и старые дружки-приятели называли Кузьму куражливым индюком, ожадневшим зазнаем болвановичем.

А он глух и нем, сыт и пьян. В голове сквозняк, а в глазах своя фабрика.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никто в Шалой-Шальве не мог представить, что Кузьма Завалишин, став уважаемым Кузьмой Кондратьевичем, главным мастером нового самостоятельного замочного завода фирмы, примерный семьянин, отец двух хороших детей, заживший в большом «составном» доме, получающий хорошие проценты с замков-болтов, скопивший достаточно для того, чтобы внуки воспользовались накоплениями деда, возьмет и сломает все.

Во имя чего и для кого? Где здравый смысл, где логика? Неужели она подчинилась взбалмошной женщине, сбежавшей из монастыря, цинично пировавшей на пепелище дома и сгоревшего в нем мужа? Пусть плохого, отвратительного, но все же зачем ей, Зинаиде Сидоровне Гранилиной, слывшей страдалицей, понадобилась такая унижающая ее попойка на пепелище?

Что нужно было ей? Деньги? Она уже напрятала их в чулки, а потом из них переотправила через тетку в банк. Она будет обладательницей и замурованных Гранилиным в фундамент дома золотых тысяч. Только она

знает, где они. Зачем ей понадобилось совращать сорокалетнего Завалишина? Неужели она может поверить сумасбродной мечте о своем заводе, который сумеет противостоять заводу фирмы Акинфиных?

Пусть так думала она. Пусть! Но как Завалишин, знающий силу Платона, возможности фирмы, ее репутацию на рынке, понявший механику сбыта, как он мог поверить мечте стать миллионером?

Жил бы и жил Завалишин теми нормами и по тем законам, как и другие подобные ему.

Жила бы и жила блудливая Зинаида Гранилина, приблизив к себе тихого младшего приказчика Сеню, которого она совратила в первый год своего замужества. Сеня был бы покорен ей. Он так мало хотел. Быть сытым, одетым и помогать матери и своей младшей сестре. Зинаида могла ввести его в дом. Женить на себе. И была бы та жизнь, которую она никогда не найдет и ей никто ее не создаст.

Все началось с того, что Завалишин пришел к Платону и заявил:

— Желательно, Лукич, покумекать с тобой насчет того, что ты с Родькой Скуратовым обзамочил меня так, что по первости я этого и не уразумел.

— Извольте, Кузьма Кондратьевич, я буду рад выслушать вас, но для этого вам прежде необходимо выйти за дверь, снять там ваш картуз, застегнуть требующее этого, спросить дежурного техника, когда я могу быть к вашим услугам, или спросить об этом меня по телефону и до прихода ко мне постараться освободиться от стойких запахов перегара, войдя же, сказать «здравствуйте» и, дождавшись, когда я вас любезнейше усажу в кресло, начать «кумекать об обзамочивании».

— Х-хо! Видал миндал! С каких днёв ты заегопревосходительствовался, зашульжинел?..

— С детства. Так было всегда, вы просто забыли, Кузьма Кондратьевич, о взаимности уважения. Идите же и всегда закрывайте за собою дверь, если она до этого была закрыта...

Кузьма оробел, ушел и появился на другой день. Появился в светлой нарядной тройке, в брюках «на улицу», с намазанными репейным маслом волосами, при золотых часах и при трости с позолоченным набалдашником, какие штамповали теперь по предложению гравера Уланова. Войдя, он сказал:

— Гутенбайте, Лукич.

Платон не мог не улыбнуться и ответил:

— Айдуюдуйте, Кузьма Кондратьевич. Пожалуйста, садитесь. Мне известно, зачем вы пришли.

— Откуль?

— Об этом знают и шальвинские шавки. Одна из них подробно налаяла о ваших намерениях. Поэтому рекомендую по старой дружбе: прежде чем сделать глупость, еще раз подумайте.

— Глупость, ты говоришь?

— Не «ты», а «вы» говорите,— поправил Платон.— Собирающемуся стать фабрикантом необходимо научиться хотя бы немного умению разговаривать с себе равными.

— Пущай за меня мои новые замки разговаривают. Они и по-заграпишному, как ты знаешь, могут баять. А моя воля твердая. Это что же? Пять копеек с замка? Неужто это сто̀ящая цена?

— Нет, Кузьма Кондратьевич, не сто̀ящая. Замок усовершенствован кнопками. Ему придана беззвучность при наборе дисков. Без нее он бы не мог заслужить такое повсеместное признание и у нас, и за границей. Так что вашего в замке остается только его внешность в виде болта.

— А номерные шайбы чьи?

— Диски с номерами и буквами начали применяться до вашего появления на свет во многих странах. Поэтому за ваше изобретение удобной формы замка в виде болта отчисление по копейке с болта будет более чем высоким...

Завалишин вскочил и замахал руками:

— Я Кузьма, да не Кузьма Гранилин... Отбираю все свои замки. Я буду прызводить их сам. Я сам за три года миллионщиком стану!

— Прызводите, Кузьма Кондратьевич. Я буду рад видеть вас миллионером.

— А вам не дам прызводить...

— Это ваше право, Кузьма Кондратьевич. Мы же воспользуемся своими нотариально закрепленными правами. Гуд бай, Кузьма Кондратьевич. «Гуд бай», говорят англичане не при встрече, а при расставании. Запомните это. Мы с вами расстаемся. Все остальное завершите с Овчаровым. Гуд бай! — повторил Платон.— Меня ждут женщины на новой фабрике. У них сегодня в обеденный

час празднуются именины первой в Шальве женщины-работницы, положившей начало их фабрике, Марфы Ивановны Логиновой. Могли бы поздравить и вы ее с днем ангела и что-то подарить...

— За что?

— Хотя бы за то, что она помогла избавиться Зинаиде Сидоровне от монашества и ее деспота мужа Кузьмы. Какое совпадение... Кузьмы Тарасовича Гранилина... Прощайте... Если вы когда-то будете нуждаться в куске хлеба и работе, я прикажу принять вас на должность слесаря...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Кузьма Завалишин получил положенное по нотариальным договорам и проценты за свои замки. Все расчеты теперь велись через Кассу. По договору Кузьма должен был освободить и передать Кассе свой двухэтажный четырехкомнатный «составной» дом, какие продавались с обязательной рассрочкой на десять — двенадцать лет.

Десятник-обмерщик и оценщик установил степень износа дома. Установил добросовестно и так же добросовестно оценил возведенные Завалишиным надворные постройки и выплату за них. И когда это было сделано, к Овчарову прибежала жена Кузьмы, миловидная русоволосая, умеренно полная женщина, выглядевшая лет под тридцать. Она заголосила:

— Куда ж мы теперь?.. Он кинул меня с двумя ребятами, а сам сбёг к Зинке Гранилиной... Есть ли крест на тебе, Ляксандр Филимонович?

— Есть, Ольга Федоровна, и тяжелый крест — распутывать плутни неблагодарных мужевей и заботиться о вдовах и сиротах при живых отцах... Страховые деньги ему не выдадут. Будут выдавать тебе как «пензион», а ты, когда придешь в себя, поступишь на «Женский труд».

— Да кем же, когда я никем не рабливала...

— Все не рабливали, потом больше мужиков стали зарабатывать. Вступишь в Кассу, получишь в рассрочку новый дом. Поменьше. Куда тебе такая махина о двух этажах...

— Это так, Ляксандр Филимонович. Только то прими во внимание: куды мой Кузька денется, когда его Зинка до ниточки оберет и коленком под стульное место на мороз?.. У нее же постоянный молодой приказчик есть. На

кой ей Кузьма в свои-то сорок два. Для замков только и нужен... А когда он ей раззамочит все замки, она свой бесключный замок напрочно, наглухо замкнет для него.

Ольга Федоровна Завалишина поднаторела в едкой ругани. Ее очень подробно записал Вениамин Викторович Строганов в особой клеенчатой общей тетради, озаглавленной «Шальвинская женская брань». Она также представляет филологический интерес, но не в наших главах.

Приведенные сцены уже поросли двумя покровами весенних трав. Теперь Кузьма Кондратьевич заводчик, значащийся на вывеске:

ПАРОВАЯ ФАБРИКА ПАТЕНТОВАННЫХ ЗАМКОВ
ЗИНАИДЫ ГРАНИЛИНОЙ
И КУЗЬМЫ ЗАВАЛИШИНА

Построил Кузьма на старом фундаменте новый дом лучше прежнего. Подновил старые мастерские, назвал их цехами. Раздобыл станки. Учредил свою Кассу взаимного кредита. Объявил свое равновесие. Раздобыл в Екатеринбурге гравера и мастера штампов. Там же попросил нарисовать фабричный знак: коромысло и два ведра, а на ведрах по букве — «Г» и «З». Знай наших. Мужик сер, да волка съел. Жди «трубы», зазнай, своим замкам, такого, как у Кузьмы Кондратьевича, никто не придумает. И «пакент запакетован» нотариусом с печатью на чертеже. Сами теперь с усами.

У Завалишина появился новый замок — «хитрый болт». Он с виду был очень прост, проще того, что изготовлялся в Шальве многими тысячами штук. Это тот же болт, но вместо запорной головки обычная шестигранная гайка. В каждой грани гайки ввернуты по шесть винтов с плоскими головками. Секрет заключался в том, что владелец замка должен повернуть головки шесть из тридцати шести винтов в нужные стороны и на указанное число полуоборотов в приложении к замку, запечатанном в конверте под сургучной печатью. И каждый замок открывался по-разному. «И опосля того, как вы все это сделаете, согласно сего наставления свинтите запорную гайку по ходу солнышка, и секретный замок откроется»,— так сообщалось покупателю в руководстве. И замок пошел. Кто не падок на новинку, если при этом она стоит дешево.

— Готовь, Зинаида свет Сидоровна, мошну! Огребай бабки! Покупай самоходную карету на резиновых дутиках.

Появился первый автомобиль в Шало-Шальвинской округе. Разговор-у-у-у... Вот тебе и Зинка Гранилина, схимница, пропащая вдова! Не наглядятся люди на самоходную диковину. Говорят, что и сорок верст в час для этого лакового рысака не ах какая курьерскость. Любой поезд обставит, коли б дорога. А дорог нет. Поэтому приходится на нем ездить с парой коней позади да тремя рабочими в коробке. Чуть засел моторный экипаж — кони вытащат, и дальше гони версту или две, до новой спотычки.

Первым делом Гранилина сгоняла в Шальву. По всем шальвинским улицам только пыль столбом. Лошади дыбом, а иные вовсе из оглобель выскакивают. Собаки под колеса норовят. Двух придавили. Кучер лих и молод. Питерский механик. Сто рублей в месяц. И есть за что. Одни брови его этого стоят, под бровями два карих чертеночка, которым нет цены. И тем хороша моторная карета, что при ней кожаная широкая постель. Укачает. Или что... Мало ли чего случается в пути... Скажем, устала, можно и вздремнуть или переночевать на вольном воздухе. Удобный экипаж!

Раз восемь Гранилина проехала подле ворот акинфинского дворца.

Приехав в Шальву, Зинаида Сидоровна также хотела дать понять, как надо ее понимать. И то, что оставила на улице двух мертвых собак, одна из которых до того, как отдать собачьему богу свою душу, истошно визжала и судорожно извивалась, это еще стерпеть можно. Собаки ничьи, господни. За них некому будет заявлять уряднику.

На последний прокат она вздумала с громкой пикалкой проехать мимо бывшего дома Кузьмы, а в это время выбежал маленький Архипчик, сынок Ольги Федоровны Завалишиной, и мальчик едва не попал под колесо. Спасли тормоза и резкий, крутой поворот. Не случись этого, тогда бы самосуд. Тут же, на улице...

Все же без наказания дело не обошлось. Стекла в самоходной карете повыбили. Не все. Только три. И голову кирпичом проломили. Ей. Мотористу фуражку сбили. Тоже кирпичом. После этого кирпича он сказал:

— За тыщу рублей больше сюда я тебя не повезу,—

и какие-то слова добавил еще. Видать, питерские, но тоже подходящие.

Так пересказывалось в молве о первом появлении автомобиля в Шалой-Шальве

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы оставили у разбитого корыта Антипа Сократовича Потакова. У него за это время также произошли семейные изменения.

Он, потеряв завод, смытый водой, потерял и жену, смытую иной, более сильной волной. Мадам Потакова, получив небольшое, но значительное наследство после смерти бездетной купчихи-тетки, не захотела расстаться с ним ради восстановления завода, в прибыльность которого она не верила.

— Ни один завод, мешающий Акинфину, не принесет пользы, если он не войдет в равновесие фирмы Акинфиных и не будет подвластен ей.

Потаков назвал жену ослицей с куриными мозгами, а она давно ждала повода для разрыва. Ждал его и гувернер. И, дождавшись его, они принялись ждать возможности воспользоваться этим поводом практически.

В один из дней Антип Сократович отправился к Молохову умолять дать деньги под векселя. По возвращении он нашел записку, написанную женой:

«Теперь у тебя не осталось никаких мозгов. Твоя голова отныне пуста, как пуст твой дом».

Антип Сократович остался в обществе шаров из слоновой кости. В отчаянии он принялся играть на бильярде, чтобы не сойти с того, что неверной женой не предполагалось в его голове. Играя с самим собой разными киями, он каждый раз загадывал на чет и нечет. Если выигрываемые партии кем-то из двух, которыми был он сам, будут составлять четное число очков, то провидение покарает его жену. И несмотря на то, что бильярдная ворожба не обнадеживала Антипа Сократовича, скоротечная чахотка оборвала жизнь Потаковой.

Наследство Потаковой перешло ее сыну. А сын вместе с наследством перешел к отцу. Потаков снова стал состоятельным человеком. И даже дважды.

Дальнейшее произошло так же быстро и фатально.

Неожиданно талант игры на бильярде обнаружила Кэт Шульжина. Она, вернувшись из Москвы, где освобо-

дилась от своей маленькой дочери Алечки при покровительстве полюбившей крошку старой девы, сестры Алисы Шульжиной, поселилась у отца. После десяти уроков, преподанных Антипом Сократовичем, она шар за шаром отправляла в лузу, и как-то нечаянно в одной из них оказался обучавший ее высокому классу игры.

— Следует ли, Кэтти,— так ему казалось звучнее называть свой огнедействующий белокурый вулкан,— следует ли нам дожидаться конца траура?

Поднаторевшая в игре, Кэт, освоившая и сложнейший из ударов,— в бильярдном просторечии именуемый «от двух бортов среднюю», именно прибегла к нему.

— Анти,— сказала она ему,— если я эту «однашку» загоню в середку, тогда не надо дожидаться конца траура... Загадали, Анти?

— Да! Пусть ответят нам шары!

— Пусть!

Кэт долго мелила кий, еще дольше целилась. Затем сильный удар ее полных и крепких рук, и шар не попал по назначению. Зато, отскочив от противоположного борта, он точно попал в среднюю лузу по ее сторону.

Потаков побледнел и перекрестился.

— Это, Кэтти, знамение божие.

Он вынул из лузы шар и поцеловал его в черную цифру «I».

— Больше не будем испытывать судьбу и терпение всевышнего.

Бильярд мог бы продолжить эту главу, но зачем нам неудобные подробности, без которых глава сама по себе завершилась логически и стилистически.

Остается лишь дополнить ее маленьким постскриптумом.

Шульжины переехали к дочери и составили одну семью. Теперь для Феофана Григорьевича были основания вкладывать свои деньги в семейный завод. Деньги никуда не денутся. Начавший лишаться рассудка неизбежно потеряет его, и завод будет дочерин.

Молохову, изнемогающему под бременем металла, нужно было найти ему применение. Не гасить же печи, не закрывать же рудники. И он вошел в пай по воскрешению завода Потаковых — Шульжиных.

Теперь этот завод начал выпускать первые изделия, а Потаков занялся первыми лечениями переутомленной столькими потрясениями головы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В своих тетрадях Вениамин Викторович чрезмерно скрупулезно рассказывал о заводчиках, об их сторонах жизни, о технике заводов, нововведениях в Шалой-Шальве, о быте рабочих, о потрясении основ старых распорядков, сохраняющихся на Урале не в пример южной промышленности Российской империи. Строганов очень мало, вскользь, касался революционной деятельности тайных кружков, революционных организаций и подполья. Возможно, эта скрытая деятельность была неизвестна ему, но допустимо и другое, о чем он пишет в тоненькой тетрадке «Вне поля зрения» так:

«В самой Шалой-Шальве, в заводах Акинфиных, видимо, не было почвы и условий для возникновения и роста противоборствующих сил. Платон Акинфин и все осуществлявшие его замыслы исключали недовольство нарастающим улучшением благополучий тех, кто работал и служил в фирме Акинфиных. На других же окрестных, ближних и дальних, время от времени давали себя знать уцелевшие после подавления вооруженных вспышек, бунтов и захвата власти в некоторых заводах. Они искусно скрывались, как и маленькая социал-демократическая организация в Шальве. Ее вожаком был Савелий Рождественский, преемник изумительного старика мастера по тонкому и точному литью по прозвищу Молчун».

Платон Акинфин высвободил из-под ареста Рождественского, доказав при помощи Штильмейстера непричастность к революционерам нужнейшего мастера, своего сверстника, учившегося вместе с ним в домашней школе, созданной в свое время Лукой Фомичом Акинфиным.

В Шальве также носились слухи, что и знаменитый гравер, отсидевший за фальшивые пятачки в пермской тюрьме, набрался там революционных идей и потом вошел в контакт с Рождественским. Слышал об этом и Платон Акинфин, не придавая слухам никакого значения и даже, кажется, сочувствуя этому тайному кружку, боровшемуся за свержение ненавистного монархического строя, мешавшего установлению «взаимного сословного и национального равновесия в России».

Строганов, может быть, знал больше, чем написал, боясь, что его тетради могут стать достоянием опасных глаз. По другим, более точным сведениям, в Шальве была нелегальная социал-демократическая группа больше-

вистского направления и ею действительно руководил Савелий Рождественский, прозванный «Саваоф Рождество». В Шальве, как и во многих заводах Урала, давали прозвища, укорачивающие фамилии, а также кратко определяющие тех, кому они давались.

Рождественский и его группа не возникли сами собой. Ее создал видный организатор нелегальных организаций, большевик по партийной кличке «Адриан». Он приехал в Шальву с новым, безупречно изготовленным паспортом на фамилию Молоканова Якова Самсоновича. Он назначил встречу Рождественскому на станции, куда Савелий частенько наведывался к брату, служившему там телеграфистом и выполняющему обязанности связного. Кого с кем — он не интересовался. Его дело было принять, молчать и передать Савелию полученное.

Идя короткой зимней дорогой, Адриан и Савелий могли разговаривать, не опасаясь стать опознанными. Полиция теперь работала тоньше и хитрее. Но что ей могло прийти в голову, если бы кто-то из ее «маскерадчиков» встретил неизвестного человека в пенсне и с хорошей двустволочкой за плечами? В эти места, богатые боровой дичью, наезжали частенько любители до нее из разных мест. И что же в том, что и отсидевший свое Савка Рождественский идет с этим интеллигентом с чеховским пенсне на его барском носу с горбинкой? Ведь на плече Савки висит тоже такая же двуствольная «бельгиечка». Кому может прийти в голову, что эти ружья были опознавательными знаками для того и другого, а их номера — подтверждением этого секретного опознавания.

Полиция тонка, а подпольщики еще тоньше. Все обоснованно. Встретились охотник с охотником, разговорились и пошли искать «счастливое боровое перо» по безлюдной, топкой летом, дровяной зимней дороге, где теперь не счесть оперившейся лакомой снеди.

Все обстоятельно, и все на виду, и никакой конспирации в этом заподозрить нельзя и самому дотошному сыскнику. Пока Адриан и Рождественский шли болотистым редколесьем, разговор не переступал пределов красот природы, богатств уральской земли, необходимости проложить ветку, соединяющую Шальву с большой железнодорожной магистралью.

— Начинают уже,— сообщил Савелий Рождественский.— Платон Лукич скупил пустопородные отвалы и доменный шлак у Молохова. Он чуть левее. Покажу.



Темный человек. Рад-радешенек получить лишний рубль за бросовый рудный пустяк, не понимая того, что продал отличный баласт для насыпей и выручил за это смерть.

— То есть?

— Ну как же, господин Молоканов,— продолжал таиться Рождественский.— Железнодорожная ветка откроет путь дешевому и хорошему тагильскому и гороблагодатскому чугуну и закроет дорогу молоховской аховой чугунине.

— А разве этот самый Молохов не будет пользоваться веткой? — спросил Адриан.

— Вернее, что нет. А если и будет, то по какой цене? Не вскочит ли ему железная дорога вдвое дороже гужевой? Акинфин на десять лет вперед видит. Ветка-то ведь будет его. Такая же собственная, как круговая шальвин-

ская узкоколейка. Увидите, какова наша Шальва стала теперь...

Рождественский умолк, услышав голоса. Это были геодезисты-изыскатели. Их вел самым коротким путем Микитов. Тот самый «Зовут-зовутка», который подсказал Платону первую узкоколейку, и теперь, став любимцем хозяина, Микитов, подучившись, подначитавшись, назначен доверенным лицом по дорожному строительству.

До этого работавший землекопом на железной дороге, Микитов, от природы глазастый и ушастый человек, познал азы прокладки дорог.

— Вот,— указывал он изыскателям,— не виляйте от озера, оно заливное, мелкое. Мы его спустим в речку через трубу и прокоп. Ставьте вешки прямо в воду. Всякое вилянье,— пояснял он,— скажется дорогой потерей на объездах.

Махнув Рождественскому еловой веткой и попутно отмахнувшись ей от комаров, Микитов крикнул:

— Здорово живем... Ни пуха ни пера! — и занялся своим делом.

Дорога пошла сосняком. Голоногие высокие сосны позволяли далеко видеть меж их стволов. Шли уже не по зимнику, а по засечкам, заменившим изыскателям вешки нового укороченного пути будущей ветки.

— Теперь можно говорить о чем угодно, товарищ Адриан.

И разговор начался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Что же вы думаете дальше? — спросил Молоканов.

— А что думать? Думай не думай, товарищ Адриан, а они свое дело делают...

— Нужно разоблачать.

— Кого?

— И Овчарова, и молодого Акинфина.

— А как?

— Неужели вам не ясно, что Акинфин своей «заботой» о рабочих прикрывает усиление эксплуатации и наживы?

— Я так же думаю, а доказать этого не могу.

— Ну как же не можешь? Разве они, давая крохи, умиляя ими доверчивых людей, не выжимают из них под

прикрытием своей «доброты» огромные прибыли? Акинфин вынужден притворяться добрячком.

— Может быть. Но не Овчаров. Он гроша ломаного не получает, кроме маленького жалованья. У него это все от этого, ну, что ли, как говорят, от святости души.

— Допустим,— Адриан поправил сползающее пенсне,— допустим, что это правда. Такие бывают и есть... Но на кого работает их святость? На капитализм. В данном случае — на Акинфина.

— Не спорю. Это так и есть. Но у них козыри, а у нас что? У них — дела, у нас — слова. Скажете, что больница на капитализм работает! Работает в конечном счете, но ведь там лечат рабочих. И хорошо лечат. Тронь больницу — тебя самого в нее упекут в покалеченном виде. Доктора на дом ездят — тоже «блезир», но они ездят и лечат. Лечат, вылечивают. У меня перелом руки был. Два месяца — и как новенькая рука.

— А сколько безвозвратно переломанных рук и ног!

— Тысячи, но не на наших заводах. На наших заводах и сто агитаторов их не пересилят. А нас семеро. И, того гляди, будет шестеро.

— А куда же девается седьмой?

— Куда? В акинфинское «равновесие» уйдет. В «гармонию единства взаимностей». Теперь он ее по-новому как-то называет...

— Как бы он ни называл свою гармонию, она лжива, буржуазна, антинародна. Это самооборонительная капиталистическая сладкая теория приукрашенного порабощения...

— Я думаю так же, товарищ Адриан, в других словах, но так же... Я думаю, а он делает — дома в рассрочку строит.

— Не дома, а приманочные кандалы, которые добровольно надевают ослепленные труженики. Это тонкие, но крепкие цепи, привязывающие рабочего к заводу. И это нужно неторопливо, ненавязчиво разъяснять...

— Пробовал — и сам в рассрочку дом купил.

— Купили? Зачем?

— В перестроенной старой бане жить стало холодно. У меня двое детей, товарищ Адриан. Сколько могу, поживу. Хоть год, да мой. Все же в тепле. И собираться будет где. То на именины, то просто так, в карты поиграть... Мало ли что придумать можно...

— Вы правы, я не осуждаю вас.

— А как мне осудить других? Сказать — кандалы. Цепь! Могут и не поверить! Да и не поверят. Вдвое больший акинфинский «составной» дом стоит вдвое дешевле самодельного! И в рассрочку... Десять — пятнадцать процентов в месяц из заработка. Я, хорошо зарабатывающий, плачу семь-восемь рублей в месяц.

— Но вы привязаны этим на многие годы к его заводам.

— Я-то, скажем нет... А другие не боятся этого. Хотят даже такой привязки. Такого, извините за слово, «равновесия взаимностей». Держатся за работу и рвутся к нему. Касса дает пенсию. Оплачивает гулевые дни по болезни. Дешевый печеный хлеб... Рассрочечная корова... Даровой покос... Удешевленный билет в цирк по заводскому номеру всей семье... Дармовая плата за шитье. И при швейной мастерской «Новые моды» опять же номерной магазин одежи, обужи и всякой женской снасти. Так в Шальве называют это все. А главное — большой сдельный рубль. Открой ворота пришлым рабочим, давно бы на соседних заводах пусто было. А он не берет. Нравственная причина для Платона Акинфина первый нравственный закон.

— Да бог с вами, товарищ Рождественский, какие же могут быть у них нравственные законы?

— А у Акинфина, выходит, они есть. Неуволенного не берет, будь он черта съевшим в своем деле.

— Не увлекайтесь, друг мой... Давайте присядем. У меня сердце и легкие. Вот тут.— Адриан уселся на пень и пригласил Савелия на другой.— Хитрая это все, сахарная и паточная, обманная, показная нравственность.

— Разве я спорю? Только, товарищ Адриан, мы не должны закрывать глаза, он — сила! Сахарная, или паточная, или какая-то еще, но — сила. И мы это должны не просто принять во внимание, а понять. Глубоко понять. Он далеко, товарищ Адриан, заглядывает. Не простой это капиталист, товарищ Адриан, а идейно-политический капиталист. Думаете, он революции боится? Нет!

— А откуда вы знаете?

— Я-то знаю. И знаю не заочно, как, скажем, вы, а лично. И, можно сказать, запросто. Мы же вместе росли. Он ничего не таит. Может, делает вид, а вида-то этого не видно.

— И что же он говорит? О чем?

— Ну, например, он говорит, что революционеров

преследовать не только бессмысленно, а и вредно. «Это их, говорит, ожесточает и вызывает к ним сочувствие других. Пусть себе живут и открыто говорят обо всем. Мне лично,— говорит Акинфин,— они не вредят, а помогают. Дают как бы хорошие советы».

— Каким образом?

— Самым простым. Листовка как-то появилась. Не иначе, что екатеринбургская. О бесправии женщин. Он сам тогда мне показывал ее. И читал. И хвалил.

— Хвалил?!

— Хвалил и говорил, как несправедливо в самом деле лишают женщину и тех немногих прав, которые предоставляются мужчине. «Женщина,— говорит он,— у нас раба. И даже в высших сословиях раба. Особенно она раба в низших кругах. Раба мужа, детей, и даже в оплате тех работ, которые ей разрешены обстоятельствами, тоже получает по-рабьи вдвое и втрое меньше мужчины». Это все он, а не я, товарищ Адриан. «Проходная завода закрыта для нее. Она заперта накрепко дурацким предрассудком, бытующим в рабочей среде. У нас не принято замужней женщине становиться к станку. А она могла бы...» — «А дети с кем?» — спросил я тогда его. «А дети,— отвечает он,— могут день проводить с какой-то из матерей...» — «Где?» — спрашиваю я. А он: «Разве трудно, говорит, построить большой дом, где дети будут в те часы, когда мать на работе?»

— Это те же сахарные слова. Это заигрывание.

— Я так и подумал, товарищ Адриан. Так бы и теперь думал, если бы он не построил «терем-теремок».

— Какой «терем-теремок»?

— Ребячий. И плата грош с полушкой. Вот вам и прокламация о бесправии женщин! Это только лишь один вывод, который он сделал.

— Рассказывайте, рассказывайте...

— Есть и второй. Он спросил меня: отпустил ли бы я свою жену при таком «тереме-теремке» в цех?

— И что же вы?

— Ответил так, как есть. «Пустил бы, говорю, да оскорбительного мужичьего озорства боюсь, начиная с матерщины...» А он мне: «И я бы на твоем месте боялся этого...— И тут же спросил: — А что, если бы кто-то, скажем, я, задумал открыть женский завод легких работ?»

— Интересно! И что же вы?

— Опять тогда я то, что думал, то и сказал: «В таком

случае, говорю, желающих работать за половину цены нашлось бы хоть отбавляй». А он мне: «Этого-то я и боюсь. Поэтому на женский завод нужно будет принимать через нашу Кассу, через Александра Филимоновича. В первую очередь вдов. В первую! — говорит. И палец так же, как я, поднял.— Во вторую — не вышедших замуж...— Два пальца поднял.— То есть, значит, старых дев. И, в-третьих, тех, кто хочет, кто должен разойтись со своим мужем и не может, боится бедности, нищеты. Вот три первых категории женщин, которые должны были приниматься в первую очередь... А что касается оплаты,— сказал он,— почему же работающая сдельно женщина за такую же деталь должна получать меньше мужчины? Почему?» Словом, сходил всеми четырьмя тузами — и все козырные.

— И он, вы полагаете, построит такой завод для женщин?

— Построит? Да разве я вам не докладывал? Завод «Женский труд» давно дымит! И не дымит! Он же без труб, а на электричестве.

Адриан поднялся с пня. Протер пенсне и сказал:

— Это страшный человек!

— Мефистофель рядом с ним, товарищ Адриан, опера оперой. Вам бы лично с ним встретиться и поговорить, тогда понятнее было, как нам дальше свою работу вести.

— Для меня это невозможно.

— Почему?

— Нужна причина и убедительная причина для встречи.

— Причин я вам, товарищ Адриан, не сходя с места, дюжину придумаю. От газеты приехали — первая. Мало ли газет... Хотите попробовать себя агентом по продаже хоть тех же замков... Хотите продать новый способ золочения деталей... У меня он есть. Поймете и, как свой, продадите... Он на всякого человека падок. Лишь бы польза от этого человека была. Школу можете предложить создать ему или в учителя напроситься. Он спит и видит новую школу в духе того же «гармонического примирения непримиримостей». Это тоже те же штаны, только покрой другой.

— А в самом деле, почему бы и не попробовать...— сказал Адриан и задумался.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Золотая подкова, подаренная Родионом Скуратовым Платону после его возвращения из Лондона, пролежав несколько лет на письменном столе, неожиданно выстрелила золотым фейерверком.

Первый ее триумф был, когда она превратилась в гранитную символическую арку при въезде в город.

Вторая, не менее триумфальная метаморфоза была превращением ее в гору золотых рублей. Началось это превращение с визита в Шальву губернатора, пожелавшего посмотреть плоды сказочного равновесия и заодно повидаться с Лучининым. Они гостили в то лето у Акинфиных.

Разглядывая подкову на письменном столе, губернатор, любуясь ею, сказал:

— Хорошо, если бы их было четыре. Я бы подковал свою выездную лошадь золотыми подковами, и пермские богачи посходили бы с ума от зависти.

Платон подумал тогда, что губернатор хочет получить золотые подковы не для коня, а для себя. Для подковывания своего расточительства. Губернатор разгадал подозрения Акинфина.

— Милейший Платон Лукич, напрасно вашу голову посетили недостойные подозрения. Золотые подношения я принимаю только от золотопромышленников. С вас же надо получать стальные подарки...

— Бог мой! Ваше превосходительство,— перебил губернатора Платон,— вы подарили мне золотую идею, за которую и сто подков из чистого золота будут мизерным гонораром изобретателю. И вам, ваше превосходительство, будут презентованы первые десять скатов стальных позолоченных подков. Вы подкуете коней всей губернаторской конюшни, а я не поспею выполнять заказы от пермских и других завистливых богачей.

С этого и началась новая статья шальных доходов.

Подковы давно уже перешли с наковальни на пресс. Их штамповали в горячем виде, в три приема, десяти размеров. И для битюгов. И для рабочих коней. Для рысаков. Для мелких лошадок. Кому что...

На четвертой странице газеты «Шалая-Шальва» подробно описывались и назывались по номерам подковы. Составитель рекламы доказательно утверждал, как невыгодно кузнецам изготовлять самим подковы и как ра-

зумно пользоваться готовыми, красивыми, долго не изнашиваемыми подковами высокой прочности фирмы «Акинфин и сыновья».

Убедительное, доказательное и выгодное просветляет и темные души тысяч кузнецов-одиночек, подковывающих миллионы лошадей империи. И самый заскорузлый и жадный из них понимал, что своя подкова обходится дорого. Не дешевле обходилась и покупная подкова, которую так же делали в больших кузницах, теми же простыми способами, что и в малых. И делали случайных размеров, а тут в прейскуранте фирмы Акинфиных на каждом листке мерные подковы были представлены в их точную величину, каждая под своим номером.

Чудо! Смотри, читай и понимай, если не дурак. Прямой расчет. Прямая выгода! А плата за ковку коня та же. Даже можно брать дороже, так как подковы игрушки игрушками.

Подковы Акинфиных, дав тысячи и тысячи рублей, переходили в новую, золотую фазу. Платон и неразлучный с ним Скуратов призвали граверов и мастеров, изготовляющих штампы, решили посоветоваться, как можно добиться наибольшего блеска подковы без дополнительной обработки ее.

Такой способ нашелся. Мастера вскоре стали пробовать так называемый «зеркальный обжим» видимых, внешних сторон подковы. И это им удалось. После незначительной дошлифовки на станке подкова сверкала. Такую подкову легко было позолотить.

Первые скаты рекламных комплектов отправлены посылками вместе с подробным руководством и пятой подковой, «примерочной».

Золотые подковы руководство запрещало нагревать, что вызвало бы их потемнение. Пятая же, такая же, как первые четыре, прикладываясь к копыту лошади в раскаленном виде, выжигала в нем точное место для прикрепления на гвозди золотых подков.

Ура! Дело в шляпе. Мастерам новые наградные, а фирме... Кто знает, сколько фирма получит золота за позолоченные подковы? Об этом знал только Флегонт Борисович Потоскуев, ставший теперь модником, хлебосольным хозяином, представительным господином, ездящим в своей карете и достраивающим свой дом в верховьях Шалой с видом на реку и с маленькой гаванью для быстроходного мотобота.

В тот час, когда на основе больших чисел статистической теории вероятностей Потоскуев строил предположения прибылей, которые пойдут на строительство железнодорожной ветки и под которые можно смело брать деньги под векселя, Платону Лукичу доложил дежурный техник:

— К вам журналист из Санкт-Петербурга.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В конторку, служившую кабинетом Платона, вошел черноволосый, с маленькой бородкой, хорошо и скромно одетый господин в пенсне.

Он отрекомендовался свободным журналистом столичной печати и назвался Яковом Самсоновичем Молокановым.

— Извините, пожалуйста, Платон Лукич,— сказал вошедший.— Я проездом. Притом инкогнито. Не поймите дурно. Мне хочется оградить себя в моих кругах от возможного обвинения меня в активном либерализме, переходящем в недозволенное...

— Пожалуйста, пожалуйста. Как вам угодно и кем вам угодно, тем я и посчитаю вас. Я всегда и всем рад служить, чем могу.

Платон оживленно поздоровался, предложил стул. Он в самом деле был рад новому человеку, тем более что хорошие перспективы золотых подков вызвали отличное настроение. И что немаловажно — отрекомендовавшийся журналистом, может быть, в самом деле журналист. А всякая новая публикация — новая слава фирмы и новая популярность идеи социального равновесия.

— Заранее благодарю вас. Я намереваюсь выступить еще не знаю где и в каком журнале, может быть, в немецком... Я владею этим языком. Но не владею умением взять быка за рога...

— Это трудно, тем более если он безрогий! — Платон весело расхохотался.— Оказывается, и я пытаюсь острить... Вы проще, а не по-профессорски. Не Оксфорд же, а Шальва.

— Как вы умеете располагать к себе...

— Меня этому обучали с детства и завершили курс умения располагать к себе в Англии.

— Вы там учились, Платон Лукич?

— И учился, и учусь. Есть чему... Так, пожалуйста, пожалуйста! Я перебил вас...

— Это была очень хорошая и приятная перебивка. Я хочу, я смею надеяться написать о социально-экономических и технических преобразованиях на Шало-Шальвинских заводах. Спрашиваю прямо — это возможно?

— А почему же нет? Разве что-то от кого-то скрывается? Все и всё на виду, кроме разве меня.

— Вас? Вы, как я слышал и как я вижу, такой открытый человек.

— Я тоже слыхал об этом, Яков Самсонович, и некоторое время и считал себя таким. Но вскоре убедился, что я иногда сам не понимаю себя и не всегда знаю, каков я. Так что мне трудно поверить, что люди знают меня лучше меня. А себя не знаю не потому, что не хочу этого, а не могу. И как возможно, когда я в беспрестанном поиске?

— Чего, Платон Лукич?

— Да черт его знает чего... Лучшего. Нового. А оно всегда находится с ищущим в состоянии конфликта. Внутри себя. Я, кажется, очень плохо выражаю свои мысли?

— Прекрасно, Платон Лукич.

— Со мной не нужно быть вежливым. Вежливость для меня всегда выглядит обидным этикетом. Спрашивайте, и, пожалуйста, прямее.

— Ваши преобразования не существуют и не могут существовать вне идей и, в частности, лаконичнейше сформулированной теории «гармонического примирения непримиримостей».

— Да, я ее называл так. Потом решил уточнить. Заменил «гармоническим единством взаимностей». То есть гармонией взаимополезности людей. Тоже неточно. Нашел более точное выражение: «единство полярностей». Хотелось назвать «двуединство противоположностей». Но это где-то было... А потом «двуединство» какое-то библейское, старомодное слово.

— Разве в названии дело, Платон Лукич?

— Разумеется, нет, Яков Самсонович. Но я инженер, поэтому всегда хочу точных формулировок. Кратчайших. А их трудно найти. Помогите — я буду благодарен.

— Может быть, и помогу. Скажите, Платон Лукич, эта ваша теория монопольна?

— Какая, к черту, монополия! В нашей стране ее нет и на водку. В тридцати верстах отсюда работает преотличный винокуренный завод на колесах. И, доложу вам, поставляют такую водку, что от казенной не отличит и

сама казна. Всё — и печать, и этикетка. Зарабатывают огромные деньги. Разумеется, по их масштабам. По масштабам этих мазуриков. Я не запечатываю свое «вино» без постоянной этикетки. Пожалуйста, «пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие проливаемая».— Акинфин снова громко захохотал.

— Вы как священник, Платон Лукич.

— Я и есть в какой-то своей части поп. Новейшего завета. Он еще не наступил. Нужна еще одна встряска, после которой непримиримые стороны поймут, что им необходимо искать и переходить к взаимному гармоническому единству непримиримостей. Видите, как плохо, когда нет точной формулы. Но вы, надеюсь, понимаете меня...

— Всецело! Но мне нужно понять: как достичь этой гармонии? Вам не приходило в голову, что лучший способ примирения непримиримостей — это уничтожение того, что порождает эту непримиримость?

Платон Лукич насторожился. А вдруг перед ним тщательно притворившийся провокатор? И он решил попридержать язык и продолжить разговор нейтральнее и неуязвимее. Губернатор уже дважды предупреждал его об этом.

— Видите ли, Яков Самсонович, есть незыблемые законы. Уничтожая одно, мы уничтожаем другое. Все существует в противоположности взаимностей. От насекомых до высших животных и величайшего из них — человека. Люди взаимно нужны друг другу, и особенно в труде. Так было всегда. И особенно стало так, когда дочеловек стал человеком. Точнее — сознательной машиной.

— Машиной? Человек? Это очень смелое и оригинальное суждение, Платон Лукич. Человек породил машину и заставил работать ее на себя.

— Да, да, породил, но по своему образу и подобию. Как бог. Я вижу, разговор у нас затягивается... Прошу вас сюда. Здесь уютнее и тише. У нас может состояться интересный спор. А всякий спор всегда взаимно обогащает или разоружает. В этом тоже своя гармония.

Платон Лукич вызвал звонком дежурного техника и попросил его накрыть в кухмистерской полный завтрак на две персоны.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Обменявшись десятком «фраз для фраз», они перешли в облагороженное наследие Шульжина, где будто сказочная скатерть-самобранка, разостлавшись на столе, расставила на себе и мясное, и рыбное, и овощное, не позабыв умеренно налить в графин необходимое для делового завтрака.

Они прежде немножечко закусили, а потом продолжили диалог.

Две рюмки коньяку, выпитые Платоном, оживили его язык, и он почувствовал себя магистром Юджином Фолстером, читающим лекцию.

— Вы, конечно, знаете, Яков Самсонович... Допейте рюмочку... О классическом триединстве машины...

— Знаю, но не слышал, Платон Лукич, этого термина — триединство.

— Он в данном случае не столько евангеличен, сколько техничен. Так вот... Извините, если я повторю известное вам. Триединство машины делится на три единые, неделимые, условно говоря, составные части. Первая из них сила. Пар. Мускулы. Электричество. Вторая часть, передающая эту силу,— назовите ее передаточным механизмом, трансмиссией, это не имеет значения... И, наконец, третья — исполнительный, исполняющий или производящий нужную работу механизм. Токарный... Фрезерный... Мукомольный,— я имею в виду жернова. Такое триединство и есть машина. Вы согласны с этим?

— Очень интересно!

— Когда я об этом узнал, то был вне себя. Теперь уточним. Триединство человека как машины наиболее гармонично. Мускулы человека разве не есть его сила? То есть первый компонент машины. Рука человека разве не передаточный механизм его силы? Это второй компонент. И, наконец, палка, которой человек производил первые работы. Копал или ударял ею на охоте зверя... Больше этого — человек был машиной, будучи дочеловеком. У него было все, кроме палки. Но были ногти, зубы, пальцы рук. Разве это не исполнительный, пусть инстинктивно-исполнительный, компонент? И теперь, как говорится в учебниках по окончании изложения теоремы, следует сказать: что и требовалось доказать...

— Вы поражаете меня, Платон Лукич, своими знаниями. Однако в науке о машине кто-то,— осторожно заме-

тил Молоканов,— кажется, Маркс, машину определяет иначе.

— Наверное. И очень хорошо. Я далек от полемики с ним. Он думает так, я — по-другому. Надеюсь, это мое право и право каждого.

— Несомненно. Но если велосипед уже изобретен...

— Я понял вас... Но изобретенный велосипед может стать, допустим такое слово, велоси-манус-педом. То есть движимым не только ногами, но и руками. А может быть, еще и шеей... Нет ничего открытого, что нельзя дооткрыть. Совершеннее и лучше. Я дурно знаю учение Маркса. Я вообще дилетант в по-затехнических науках, если таковые есть. Но все же кое-что читал в оригинале и в переводе на английский. И я благодарен Марксу за то, что он помог мне многое понять в противовес ему.

— Что же именно, Платон Лукич? Я тоже знакомился и знакомлюсь с Марксом. И мне хочется вооруженнее понять его...

— Не знаю,— сказал Платон,— хотите ли вы вооружиться сами или разоружить меня, мне все равно. Подтверждением этому «все равно» может служить и то, что я не спросил вас, кто вы, «како вы веруете». Для меня это безразлично не потому, что ставлю себя выше других, а потому, что мне на самом деле все равно. И если бы вы, допустим, пришли по поручению наблюдающих государственных властей за умами или для того, чтобы развенчать меня в социал-демократической печати, для меня это также не имеет никакого значения. Бояться кого-то — это прежде всего значит бояться самого себя. Вернемся к Марксу. Больше всего он уделяет внимание так называемому капитализму.

— «Так называемому», Платон Лукич?

— Вы не ослышались, и я повторяю: так на-зы-ва-е-мо-му. Нет никакого капитализма. Это придуманный, условный термин, как и феодализм.

— А что же есть, Платон Лукич?

— Есть гармоническое, повторяю — гармоническое, последовательное развитие производства, этого позвоночного столба, который, подобно стволу дерева, держит на себе все и определяет без всяких делений остальное. Производство с первых ступеней всегда находилось в состоянии противоречий и непримиримостей двух начал — начала организующего и организуемого. Начала управляющего и управляемого. Начала ведущего и ведомого.

Так началось производство тысячелетия, многие тысячелетия тому назад, так оно продолжалось и продолжится.

Подпольщику очень хотелось возразить Акинфину. Трудно было сдержать себя, но он должен был сдержать. Чего ради ему спорить или задавать наводящие вопросы, коли и без этого личность Акинфина, его сокровенные идеи раскрывались им самим, подсказывая Адриану средства и способы нелегкой борьбы с преуспевающим противником. Платон же, боясь потерять нить, низал на нее новые доводы.

— На первой ступени,— продолжал Акинфин,— появился организующий, управляющий, ведущий... Берите любое из этих слов. Это был самый умелый пастух. Самый умелый охотник. Самый умелый первобытный земледелец... И он, этот организатор, управляющий, ведущий, прошел путь от пещерного человека до Форда и Эдисона. Он прошел тем же по своей природе организатором труда через древний Вавилон. Через Египет. Через периоды возрождения и падения, через все века, когда властвовали фараоны, ханы, цезари, рыцари, через всю историю, какие бы ни были периоды, и кто бы ее ни делил, и как бы ни называли историки... Прошел до наших дней. До современного промышленного Лондона, Петербурга, Орехово-Зуева и Шальвы. До Шальвы. Да! До меня!

Платон налил в бокал холодный черный кофе и выпил его залпом. Выпив, утер губы рукой, расстегнул свой неизменный синий китель-куртку и разгоряченно продолжил, как тогда, в цирке, в самой первой нашей главе первого цикла:

— Капиталист... Предприниматель... Поработитель... Вампир или кто-то еще... Как вы его ни называйте, он был и останется организующим производство, первым началом, ведущим и управляющим, вторым производящим началом. Вот таким я и чувствую себя.

— Я так и понимаю,— вежливо заметил Молоканов.

— И если уж внедрили такой термин, как капитализм, то ведь и он может быть не одинаков.

— Разумеется, Платон Лукич. Он может быть умеренным, хищным, а может быть и ласково-притворным?

— Притворным? Как кто? — спросил Акинфин.

— Ну, мало ли в столицах либеральных меценатов...

— Я не о меценатах,— возразил Акинфин,— а о капитализме. Почему бы ему не быть, скажем, рабочим ка-



питализмом или кооперативным, межсословным, всенародным? Мало ли какие благородные видоизменения можно произвести с капитализмом, если люди хотят искоренить вражду и рознь.

— Несомненно, несомненно,— вынужден был согласиться Молоканов,— может быть, выищется еще какая-то чарующая разновидность капитализма, и такие уже есть.

Платон волнуясь еще более, расхаживая по зальцу, утверждал:

— На протяжении всей истории все взрывы, волнения, перевороты и революции были обязаны нарушению гармонии взаимностей этих двух начал, не существующих порознь. В Шальве нет пока этой гармонии, и, может быть, ее еще долго не будет, но есть реальное, не теоретическое предосуществление ее сверкающего начала. И вы сами можете убедиться, и все скажут, как много это зна-

чит, как хорошо отозвалось... Не началось, но наметилось. Пусть очень слабо, но все же проступают черты равновесия непримиримостей. И это стало замечено, хотя мною для этого не сделано никаких особых пропагандистских шагов... И это будет понято всеми. Два начала — организующее и организуемое — либо гармонируют, либо взаимно уничтожают друг друга. И когда они гармонируют, начинается процветание главной движущей силы — производства, а следовательно, общества в самом широком понимании этого слова. Общество и по крайней мере государство тоже машина в своем триединстве — правящей силы, передающей силы и исполняющей ее. Выражаясь символически, успешное «производство гвоздей» построило нашу больницу, нашу знаменитую Кассу, в которой так много сочеталось. Вам полезно встретиться с ее главой и вдохновителем, с господином Овчаровым... «Производство гвоздей» дает рабочим пенсии, пособия по болезни, поможет и уже помогает воспитанию детей. «Производство гвоздей» решает повышение заработка рабочего, создание дешевых ресторанов, цеховых столовых, а следовательно, решит степень примирения непримиримого. Извините, Яков Самсонович, если вас в самом деле так зовут, за мое многословие. Но вы коснулись самого сокровенного. Моего «како веруеши». Я, кажется, сказал все, исключая моей оценки нашего государственного устройства. Вот вам наш гвоздь с отштампованной на его шляпке эмблемой нашей фирмы и одновременно моей идеей, которую я изложил вам, как умел, как мог. А вот вам еще второй памятный сувенир. Я его также дарю всем моим гостям и посетителям. На нем также эмблема, но более крупно и красиво отштампованная. Попробуйте открыть этот замок без ключа. Это так же трудно, как понять меня... Понять не только вам, но и мне самому...

Далее было явно неудобно задавать новые вопросы. Личность Акинфина определилась, а вместе с этим стало очевидным, что Рождественский нуждается в большой и постоянной помощи. И эта помощь будет...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Шалая-Шальва числилась волостным населенным пунктом, называли же ее за последние годы городом. Так хотелось населению, так необходимо было и в рек-

ламных целях фирме. Называть ее селом или поселком выглядело унизительным и несправедливым. Большое население. Появились пригороды, несколько мощеных улиц, новые кирпичные дома, подновлен стараниями отца Никодима собор, расширены старые меблированные комнаты, купленные Кассой, они теперь названы «Гостиница для всех». Для всех она и была. Очень дешевые номера соседствовали с очень дорогими, о двух и о трех комнатах. При гостинице хорошая кухня. В ней так же все двойное: «для простых» и «для денежных». Для первых при гостинице был трактир, для вторых — ресторан. В трактире подавали на стол половые, в ресторане — официанты. Двойные и цены. Рука Александра Филипповича сказывалась и здесь.

Адриан, приехавший под фамилией Молоканова, занял средний по стоимости номер. С ним уже побеседовала представительница полиции, исполнявшая обязанности горничной и при надобности готовая ко всем другим услугам,— например, снести на почту телеграмму или что-то купить по мелочам. Так она и сказала новенькому с черной бородкой:

— Если что-то снадобится, господин Молоканов, так пожалуйста, можете располагать, я нынче и ночью тут буду, и лишняя копейка меня не обескуражит.

Сквозь смазливое личико назвавшейся Дусей проглядывали знакомые черты тех сотен агентов, каких довелось видеть профессиональному революционеру. Они разнились одеждами, профессиями, манерами разговора, и всем им были присущи любезная услужливость, взволнованная искренность и необыкновенная наивность. И Дуся торопливо роняла все это вместе взятое.

— Вы так внимательны ко мне, Дуся, что я готов отблагодарить вас, если вы скажете мне, как возможно и в какое время встретиться с господином Овчаровым. Говорят, он строг, и нелюдим, и скрытен... А я, Дуся, пишу для газет, и мне хочется знать больше...

— Так и узнаете, господин Молоканов. Александр Филимонович только кажется застегнутым на все пуговки, душа его нараспашку, до последней петельки. А касаемо как и где его встретить, так он же в своей Кассе, как черень в метле, день и ночь. Одиночный человек.

— Не женат?

— Не женат, а полы мыть ходят к нему разные... Надежные, благонравные молодайки. И платит отменно,

если полная прибирка в его дому, с перетряской половиков, постелей, обтиркой от пыли мебелей и книжек.

— У него много книг, Дуся?.. Вот вам рубль за интересный рассказ.

— Мерси-с... Я тогда еще на полтинник дорасскажу. Меня ведь и держат здесь для рассказов, а не для горничества...

— И кому же, Дуся, вы рассказываете?

— Кто больше даст, тому и говорю. Одеваться-то надо. Я хоть и номерная, а даром в «Новых модах» тоже мне не шьют. А когда ты не обшитая, так и расстегивать, снимать с себя нечего.

— Я не понял вас, Дуся...

— Туги, значит, вы на ухо, господин Яков Самсонович, так ведь вас, кажется, кличут...

— Так! — ответил Молоканов, окончательно не сомневаясь, кто такая Дуся.— Вы тоже моете пол у Овчарова?

— Велят!

— Кто же вам может велеть? Вы, надеюсь, самостоятельная и свободная девушка...

— Все мы у себя дома свободные, а стоит выйти на улицу — и ты, как мушка, в тенетах. Они везде! Вы ведь тоже не без них, господин Молоканов...

— Наверно, Дуся. У всех есть обязанности, необходимости зарабатывать...

— На Овчарове не заработаете, он сам обдерет. За то, что я горничаю здесь, он с меня добавочный процент в Кассу скащивает, не как со всех, а втрое.

— За что, Дуся?

— «У тебя, говорит, чаевой доход есть...» Допустим, что есть. Так я не в убыток Кассе этот доход дохожу, а своими горящими изумрудинками,— Дуся сверкнула зеленью глаз,— своей беломраморной молодостью.

— Кто вас довел до этого, несчастная жертва бедности? Неужели все тот же Овчаров?

— Нет, господин Молоканов. Зря не буду клепать на него... Я сама довелась. Люблю показываться! С меня художник Сверчков картину в семь кистей пишет. Платон Лукич для меня мраморного высекателя нанял... И я буду и после того, как одрябну, четырехаршинной стоять на гранитной глыбине в нашем шальвинском гулевом саду в Игрище.

Дуся неожиданно повернулась и направилась к двери. Остановившись у дверей, деловито сообщила:

— Насчет Овчарова... Снимите с крючка трубочку и скажете в нее: «Центральная, присоедините Овчарова...» Его по всем телефонам сыщут. Царь же всего богоугодного царства и всех его топких, омутливых волостей.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Наутро Молоканов пришел обогатиться новыми сведениями о шало-шальвинском острове «равновесия взаимностей». Он должен не через третьи руки, а непосредственно сам узнать и понять механику популярности идей Акинфина в тысячах душ. И ему теперь борьба с умным и сильным врагом казалась трудной, неравной, но не безнадежной, как утверждал Савелий Рождественский. Овчаров неизбежно многое приоткроет. А если он, как и Акинфин, хвастлив, то им будет дорисована картина подслащенного порабощения.

Вот и дом Кассы. Он чем-то похож на сейф и тюрьму. Меж рам окон литые фигурные решетки. У входа полосатая полицейская будка.

Деньги же... Денежные документы.

Молоканова встретила девушка, чем-то напоминающая гостиничную Дусю. Она провела Молоканова в большой кабинет Овчарова, совсем не похожий на маленькую конторку Платона Акинфина. И это, пожалуй, понятно. Платону Акинфину не нужно, чтобы стены помогали ему и украшали его. Овчарову это необходимо.

— Уважаемый Александр Филимонович, мне Платон Лукич рекомендовал для полноты картины преуспевающих Шало-Шальвинских заводов познакомиться с вами. Имею честь... Молоканов, свободный журналист.

— Очень приятно. Я знаю. Мне говорил о вас Платон Лукич. Вы, наверно, как все, начнете с нашей знаменитой больницы?

— Нет, я не как все, Александр Филимонович, начну с вас. Я хотел сказать с Кассы, но ведь Касса — это вы.

— Когда-то был ею я, а теперь ею стали многие.

— Кто состоит в ней, Александр Филимонович?

— Те, кто являются ее душой.

— Как бы мог я кратко определить для других вашу Кассу?

Овчаров махнул рукой:

— Это нелегко сделать. Она влила в себя очень много. И заботу о материальном обеспечении, и посредниче-

ство между заводом, и защиту прав работающих на заводе. Она и маленький банк, где хранятся вклады состоящих в ней. Она отчасти и профессиональный союз...

— Какого направления, Александр Филимонович?

— Направление общее: улучшать жизнь.

— Улучшение жизни очень широкое понятие, Александр Филимонович.

— Так мы и не хотим, чтобы оно было узким, но делать можем по возможностям и стараемся, чтобы этих возможностей было больше. Появилась возможность — строим дом для малолетних заводских ребят. Советую посмотреть. Думаем, что появится возможность позаботиться о безмужних матерях.

— Дать им работу?

— Не только, но и репутацию. Без нее они на совсем другой подкладке. Ну вот взять одну тут... Вы не знаете ее. По имени Кэт. Ее поделом прозвали унизительным словцом «Кэтка». Тоже была безмужней матерью. А на золотой подкладке она вышла в фабрикантши. Мало ли оступившихся в пору ранней жаркой весны... Так что же, за это переходить им без лета, без осени в вековечную стужу зимы?

— Разумеется, разумеется, Александр Филимонович, необходимо какое-то равновесие в этом вопросе,— сказал Молоканов, испытующе посмотрев в глубоко сидящие, острые глаза Овчарова.

— Тоже, конечно, надо соблюдать равновесие с умом. Вот, скажем, взять Марфу Логинову. Вывели ее в начальницы штамповочного отделения фабрики «Женский труд», а она, обзаведшись своим долговым домом, свой ночной доходный женский труд образовала из безмужних, бездетных, безжениховых, засидевшихся в девичестве и теряющих его семь раз на дню. Я не виню за это Марфу Ивановну, но зачем же такой доход помимо Кассы и без отчисления в нее? Всему есть своя цена и свой порядок...

— Несомненно, несомненно, Александр Филимонович...

— Да уж куда несомненнее, господин Молоканов! Не ровен час подпоят, разденут, оберут какого-нибудь из благородного сословия человека,— на кого, спрашивается, падет тень? На фирму. А для чего это нужно нам? Все должно быть в своей строке, в своей линеечке. Не мы

жизнь конструктируем, а сама она конструктируется. Всякому деянию свое воздаяние. Весы!

— Везде ли они, глубокоуважаемый Александр Филимонович, точны?

— Точного ничего нет, господин журналист. Аршин и тот врет. Сколько аршинов, столько и мер. Хоть на бумажную тонину, да врет всякий аршин.

Мимо дома Кассы прошел Савелий Рождественский. Сегодня воскресенье. Он в праздничной паре. Касса работает полдня и в праздники. Они удобнее для членов Кассы. Кому получить, кому внести деньги. Зашел сюда и Савелий. Он беспокоился за Адриана. Смеловато действует. Хотел в тот же день уехать, а задержался на ночь в опасной «Гостинице для всех». Неподалеку в лесу лошадь в упряжке. И если что, то трое самых верных начеку. Они смелы и вооружены. А опасения напрасны. Овчаров охотно беседует с приятным, доброжелательным гостем. Гость правильно говорит:

— Бумажная тонина пустяк, а вот когда в аршине сажени на две происходит обмер, тогда хуже. Вы не задумывались на этим, Александр Филимонович?

— Я над всем задумываюсь, господин Молоканов, да не все подсудно моим весам. Где могу, там урываю. И Марфино ночное заведение думаю в свою кассовую строчку ввести. Коли на это развлечение находится постоянный спрос, так почему бы Кассе не открыть загородный ресторан под названием «Веселый лужок»?

— Так, так...— сказал было осуждающе Молоканов, но, спохватившись, поправился: — В самом деле, почему бы... зачем прибыли отдавать конкурентам?

— Уразумеваете, стало быть? Два входа и две обслуги — номерная и всеобщая. Такой же и женский пристольный штат. Тоже двойной.

— А удобно ли так?

— Кому неудобно, пусть не ходит. А членам Кассы будет удобно в смысле дешево. А дешево можно кормить и все прочее за счет чего-то...

— За счет безномерных посетителей?

— Да.

— А если они не будут приходить?

— Будут. Про больницу тоже говорили, что в дорогие палаты не будут ложиться. Ложатся! Да еще приплачивают в знак благодарности. Так же будет и в «Веселом лужке» для денежных людей. Кушанья выдумают,

каких нет и какие, к слову сказать, не нужны. Кому-то, кто заелся, подадут разные тру-ля-ля, и не поймешь, под каким перефуфырным соусом. Жалко, что ли? Пусть они платят за это перефуфырство и кормят тех, кому еда нужна как еда. Все можно, если с умом, уравновесить.

— А как оценена будет эта некоторая несправедливость? Не осудят ли вас?

— За что осудят? Мы же не осуждаем заводчика, когда он и половины рабочему не платит против других. Пользуется тем, что деться некуда.

— Напрасно не осуждаете...

— А кому от нашего осуждения польза? Ушам — и только. А вот не на словах, а на деле уравновесить иных жирных сазанов совсем другое дело. Когда вас потчует пристольная молодайка из простых, это одно дело, одна цена, а когда выписная «гризель», вся как ликерная рюмочка, это уже другое обоняние. В Питере такие «гризели» с голосами, с тонехоньким горлышком из кулька в рогожку перебиваются, так, что диву даешься. У нас бы такой пятьсот кругленьких можно дать... Шесть тысяч в год! Два инженерских жалованья! А она нам десять раз по стольку в кассу положит.

Молоканов слушал и вздыхал. Боясь, что разговорившийся Овчаров прервет свои откровения, спросил, что пришло в голову:

— А как же вести учет, бухгалтерию?

— Простее простого. Купил талон с номером стола и с именем пристольницы — и ублажайся. Как в больнице. Купил талон — и лечись себе на доброе здоровье... Э-э, да что там... Слова — дым, уши слепы, а глаза — полный баланс. Провезу я вас в наше зеленое Игрище. Нынче два праздника в один день. Теперь там вся Шальва ликует...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Саженый смешанный лес десятин в двадцать, огороженный тыном, приветливо зеленел на увале. Огибавшая его речка Шалька, приток Шальвы, образовала как бы второе ограждение полуострова. Воротами служило бревенчатое, окрашенное золотистой охрой, с башней строение под русскую старину. Над башней развевался трехцветный флаг. Сегодня царский день. Чье-то тезоименитство. То ли царицы-матери, то ли царицы-жены. Здесь под башней живут сторож, он же комендант Игрища,

садовник и конюх «прокатных» маленьких, смирных сибирских лошадок и также «прокатных» двух оленей и двугорбого верблюда.

— Детей прокатывают,— пояснил Овчаров Молоканову.— С номерных ребят две копейки за три круга, с чужих — по пятаку. Вам тоже за вход, господин Молоканов, пришлось бы платить пятак, если бы вы не были гостем. А мне — одну копеечку. Я же нумерованный человек,— Овчаров показал свой нарядный заводский номер.

— Ровно сотый?

— Да. Такая цифра выпала, выдавали не по чинам, а по долголетию работы в фирме. В ней я давно. С тринадцати лет... Надо бы нам, господин Молоканов, прежде в цирк завернуть. Там с утра сыграли тридцать партий в лото, а теперь идут петушиные бои. Гривенник вход и опять же игра. На петухов ставят. Азартные и по четвертному билету ставят. А нам хоть по сотне. Чем больше, тем лучше. Десятый рубль Кассе.

— Нигде не упускаете, Александр Филимонович.

— Нигде! Вот, изволите ли видеть, это вертушка. Выписал было дополнительную рулетку. Не пошло дело. Недоверие. Пришлось переконструкцировать на русский лад.

Овчаров провел гостя под большой круглый навес, похожий на цирковой приплюснутый купол. Под навесом большой вогнутый отполированный круг. В кругу мелкие лунки с тремя металлическими столбиками по их окружности.

— Пли! — слышится голос «конового», или руководителя игры.

После «пли» раздается хлопок, и из жерла деревянной, расписанной цветками и ягодками пушки вылетает красное, с детский кулачок величиной, круглое блестящее ядро. Оно стремительно мчится по краю круга, окаймленному бортами, и, теряя скорость, скатывается к центру, натыкаясь на металлические столбики лунок, иногда падая в них и снова выскакивая, вызывая крики, возгласы обступивших круг игроков.

— Честная, благородная игра,— поясняет Овчаров.— Как и лото, никакого мошенничества. В чей номер закатился шаричек, тот и забирает кон. Просто и хорошо. Вот бы всем страховым кассам и профессиональным союзам завести такие вертушки, можно было бы и не бастовать, не выканючивать у фабрикантов деньги, а брать их с

кона каждым десятым рублем. Не хотите ли поставить, господин Молоканов?

— Спасибо, господин Овчаров, я не член профессионального союза...

— И не вступайте в него, господин журналист. Одна говорня. Надо обштопывать их молчком да тишком... Гляньте, сколько их, ненумерованных, выиграть тщатся, а выигрываю я... то есть Касса. Сегодня они нашей Кассе провертушат не одну и не две рабочие пенсии... Дайте я вам, как гостю, для угощения куплю три лунки на счастье.

Сказав, Овчаров попросил три рублевых билета: третий, девятый и двадцать седьмой.

Послышался громкий голос.

— Кон закрыт. Талоны проданы. Прошу внимания, господа,— объявил коновой, и после его «пли» снова из пушки вылетел, как угорелый, шарик, и снова в него вперились горящие азартом глаза, и снова: «Ах ты!», «Зачем же туда?», «Проскочил, подлец, мимо!», «Ура! Гони деньги, закатился в девятую».

— Поздравляю, господин милостивый государь,— протянул Овчаров руку.— Этих денег вам до Питера не прогулять.

Выигрыш оказался большим. Талонов с девятым номером было куплено только три. Кассирша подсчитала по сорока семи рублей и тридцати одной копейке на талон. Овчаров получил деньги. Молоканов категорически отказался их взять. А тот настаивал:

— Не бросать же мне их в Шальку.

— Хорошо,— согласился он,— бросьте их в другую речку, только прежде удержите из них ваши три рубля, а остальные отдайте гостиничной горничной Дусе.

— Вот тебе и на, господин журналист... Заполонила, видать...

— Нет еще,— послышался игривый голосок,— сегодня заполоню.

Это была Дуся. Она не захотела дослушивать овчаровские слова, незаметно мигнула Молоканову и сказала, громко смеясь:

— Полиция карманника Адриашку ищет, а он тут,— и еще раз глазами и кивком головы показала в глубину леса и, смеясь, крикнула: — Савка Рождество Христово вчера дюжину рябчиков настрелял, нынче опять на зимняк с двумя ружьями подался... Видно, из обоих будет

пулять,— сказала Дуся и приказательно снова кивнула Молоканову.

Овчаров тем временем взял из выигранных денег свои три рубля и остальные подал Дусе.

— Кассе — кассово, Дуньке — Дунькино...

— Спасибо, Александр Филимонович, с этих-то, поди, не вычтешь... Иди-ка, я тебе что-то шепну на ушко.

Она отвела его и снова подала знак Молоканову. Он понял все. Ему легко было затеряться в толпе. В воротах под башней его встретил гравер Уланов.

— Не останавливайтесь,— шепнул он,— идите вдоль речки на перешеек, там Савелий... Я догоню.

Через пятнадцать — двадцать минут Адриан и Рождественский были в лесу, примыкающем к Игрищу. А спустя пять — десять минут Дуся упрекала пристава:

— Что же вы так долгуще не шли? Он тут никуда не денется. Может, по надобностям пошел... Никуда не денется. Овчаров его тоже ищет...

Скрывшимся в лесу возвращаться тем же путем на ту же станцию было невозможно. Там наверняка полиция и ее агенты. Пойти на другую, одну из ближних станций тоже рискованно. Эти уловки уже изучены и проверены. Оставалось единственное — ночью пробраться в поселок потаковского завода. Там три надежных дома и кладбище с привидениями. Туда и днем полиция опасается ходить.

Адриан сказал, что у него есть более надежное место, где его укроют, а затем отправят.

— Вы же, товарищ Савелий, возвращайтесь в Шальву. А до этого я еще раз прошу запомнить: всякий, будь он мужчиной или женщиной, кто назовет вас Саваофом, а затем скажет, какой номер вашего ружья, и попросит папироску, будет нашим связным. Запомните: прежде имя Саваоф, затем номер ружья и просьба дать папироску.

— Запомнил, товарищ Адриан.

— Теперь о вашем удачливом капиталисте-аферисте, поверившем в незыблемость своего «гармонического порабощения». Борьба с Акинфиным должна вестись не только вне его, но и в нем самом.

— А как это возможно, товарищ Адриан?

— Нужно найти неотразимые способы поколебать его надежды на устойчивость приручения ублажаемых и ограбляемых им «людей-машин». Необходимо терпеливо,

эластично и доказательно настораживать его неизбежностью краха заманчивого, но недолговечного одурманивания. И когда он, мнительный и трусливый «смельчак», дрогнет или хотя бы подвергнет сомнению власть завораживающих идей, тогда неизбежно начнется неостановимый распад его талантливо, но беспочвенно выдуманного, неосуществимого примирения классов-врагов, классов-антагонистов.

— Задача нелегкая, товарищ Адриан...

— Но возможная. Об этом полнее и обстоятельнее расскажет наш связной. А теперь о горничной Дусе. Она мне кажется надежной «посредницей» между вами и полицией. Все же не доверяйте ей больше, чем следует.

— Я так и делаю, хотя она нами сто раз проверена и перепроверена.

— И тем не менее таких «двойников» принимать в организацию категорически нельзя. Теперь руку! Я в эту сторону, вы — в ту...

ЦИКЛ СЕДЬМОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Все сбылось, как замышлялось Акинфиным. Титулованный идиотизм, купеческая чванливость восторжествовали и в этом ничтожно малом самовозвеличивании через копыта лошадей, украшаемых золотыми подковами. Прибыли опережали не только здравый смысл, но и фантазию. Сумасшедший спрос на подковы перешел в бешенство.

Железнодорожная ветка на большую магистраль была окуплена прибылями от подков. Работы велись и зимой. Весной осядут насыпи. После осадки потребуется небольшая нивелировка пути.

Зимой, санным путем, дешевле доставить рельсы и распределить их вдоль пути. В эту пору деревенские лошади бездействуют, и крестьяне нанимаются с большой охотой.

Микитов «Зовутка» из своих, понимающих мужиков. Платит без ужима с версты, с воза в двадцать пять пудов. А если у мужика гужи гужие и коняга справная, он может класть на сани тридцать и тридцать пять пудов, а то и сорок с гачком. У кого битюг, получай доплату. За сеном тоже не надо гонять к себе в деревню. Оно загодя накошено и сметано в стога вдоль прокладки дороги. И овса — завались. И все это не по зимней цене, а по летней дешевке.

Как не работать у такого подрядчика! И опять же дешевый постоялый двор в Шальве. Не гоняй домой в деревню ночевать, не нанимай дорогой ночлег в чужой избе. И ко всему жестяные заводские полуномера с весами. Они точнехоньки, как и расчет по пятницам. И по этим номерам скидочный харч. Обед пятак. Каши вдоволь. Хлеба бери сколько хочешь, только в карман не клади. А если положишь, считай, что твои гужи от фирмы будут отрезаны навсегда. И это по-божески праведно. Уж коли на номерах выбиты весы, так надо соответствовать им всем и во всем. И опять же, к слову сказать, доступ мужику-возчику в дешевые заводские лавки.

Шить даже можно. А лучше покупать сшитую одежду и обужу на заводский шальвинский манер...

Не зря, видно, столько мастеровых празднуют по весне пятого апреля — Платонов день. И никто никого не неволит, сами одаряют его, кто чем. Кто затейной безделицей, кто дельным сотворением своих рук. Маленьким, но всамделишным станочком на его стол. Или крохотулечной самокопной лопатой, которая, став большой в шальвинском изготовлении, перекопает на слом то, что сгнило и что только пальцем ткнуть, как рухнет и пойдет в борозду вместо навоза для удобрения русской земли.

Этого и боятся великоцарственные могильные черви. Сколько раз народ слал в Государственную думу Платона Акинфина. Выкликали и его правую, и его левую руку — Родиона Скуратова и сердобольного хранителя рабочей казны Овчарова, а им в губернии тайным топором обрубали постромки. Тяп!.. И с полдороги в думу вертайся в свою Шальву, домой.

Такие разговоры слышал и записывал Вениамин Викторович Строганов, часто наведывавшийся на беговых шведских лыжах в мрачное Молохово логово. Он не просто жил в этих местах, а вживался в них. Его роднила с ними не одна любовь к Агнии, к ее подрастающему Платонику, влюбленному в своего «дя Ве». Так малыш выговаривал два слова — «дядя Веня». Теперь он его называет Дявеком.

Старик Молохов не хочет замечать этого. Пусть ездит Строганов. Не околевать же Агнии в роковом заточении. «Пущай душу отводит с безжадным человеком».

Василий Молохов находил, что за такого можно и замуж выдать Агнию. Домен ему не нужно. Выделить им состояние на питерское прожитье, а остальное будет завещано ненаглядному внуку. А Строганов и малого намека не обронил на замужество. Может быть, себе на уме, а может быть, гордый человек, не желает быть примаком в богатой фамилии, домны, что были завидными свахами, стали поперек пути счастью с Агнией.

Не тот и не таков пошел народ. Взять того же Платона Акинфина. Жить бы да радоваться счастливцу, подковавшему за дурные деньги дурные головы. Так нет. Мало этого. Свои паровозы надо ему изготовлять, клепать пароходы, выбить из седла иноземные станки и посадить в седло свои. С маркой весов. А разве хватит на это золотых подков, скуй их хотя бы и миллион двести

тысяч скатов. Царь первый богач в русском царстве, а хватит ли и у него капиталов на переверт такой державищи, как матушка Русь? Да и для какой такой нужды делать дорогим станком то, что руками привычнее? Зачем паровая лопата на руднике, коли испытанные сотнями лет заступ, лом, кирка, не требуя трат, дают доход?

Нет спору — пар сильнее рук. При дровах в котле тише сгорает рудобой и дольше живет. Ну, да что об этом говорить! Все под богом ходят, есть он или нет. Вседержительница жизнь знает, сколько кому отпустит лет, месяцев, недель и дней до часу, до минуты.

Василию Митрофановичу Молохову не минуло еще и шестидесяти, а он поговаривал о смерти. Понимая более, чем когда-либо, ее неминуемость, он слегка подобрел. Теперь он уже хотел пойти на сговор с Акинфиным, да попала вожжа не под то ухо молодому хозяину заводов. Молохов объявил, что он давно уже снял опалу с Клавдия. Клавдий теперь не страшен ему, при хорошем строгановском заслоне. И Агния открыто попирает этот «Гризелькин золотой кошелек». Она только не желала, чтобы этот карамельный шансонет увидел ее Платоника. Не хотел этого и Вениамин Викторович. Он мог бы двумя-тремя словами развязать все узлы, оборвать все нити сетей, скорее выдуманных, нежели существующих. Но его не манила столица.

Что там он будет делать? Его и Агнию давно зовут Лучинины, отдавая им благоустроенный флигель при княжеском доме. Лучшего не придумаешь, но чем он будет жить? Чем, а не на что? На что — он найдет.

Не разумнее ли, не полезнее ли для всех и для него позволить корням глубже войти в уральскую заводскую почву? Воскресная газета началась как рекламное издание, как баловство, безобидно смешащее читающую публику, а стала теперь и четырехстраничной площадкой, на которой можно выступать, публикуя уральские предания, легенды, самобытные побывальщины со слов «златошвейных» старух, словесных чеканщиков, унаследовавших от полулегендарного «Бабая-Краснобая» жаркую удаль речевого литья.

Вениамин Викторович уже опубликовал в акинфинской хромолитотипографии стостраничную книжицу под озорным названием «Тары-бары-растабары на завалинке». Книгу на корню купили книготорговцы обеих сто-

лиц. Строганову пришлось еще допечатывать на бумаге верже пяток тысяч в холщовом переплете и полтысчонки в сафьяновом. Эти дарственные и сюрпризные книги рассылал он сам по почте, от имени фиктивного издателя, каким за небольшую мзду назвалась всеядная Касса.

Хорошую и притом честную сумму положил Строганов в той же Кассе на свой долговременный счет, с повышенным процентом, как «номерной». Он значился служащим фирмы, как «беловой редактор» всех фирменных наставлений, руководств и реклам. Это давало сто рублей в месяц, и никакого сидения в конторе.

Спрашивается: зачем искать худа от добра? Но это еще малозначительный, привязной мотив. Были еще два. На Урале у Строганова исчезла нехорошая предвестница чахотки — частая сухая кашливость. Но и это пусть веская, но не решающая гиря на чаше весов его внутреннего равновесия.

Строганов вовлекся в омут акинфинских преобразований. Они были заманчивы все более и более с каждым новым наглядным признаком победы осуществляющейся идеи примирения непримиримостей. В полный успех он не верил, но во всем, даже в вертушке на Игрище, есть «а вдруг?». Выиграл же он там за один день сорок с чем-то рублей. Выигрыш в любопытном эксперименте социального равновесия, как его называет Лев Алексеевич Лучинин, куда более вероятен. И если даже этот эксперимент иллюзорно слепящ, то и в этом случае полезно участвовать в нем и записывать о виденном.

А вдруг?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зимний вечер синь и тих. Рояль давно безмолвен. Камин отгорел, и только дедовский свет свечей оживляет пустующий будуар Цецилии. Она у другого камина греется другим, столичным огнем. Сейчас в Петербурге поют итальянцы. Вадимик, наверное, уже спит в своей взрослой кроватке.

Кем вырастет он? Кем?

В нем есть что-то похожее на Клавдия. Та же рафинированная бледность лица, тонкие, девичьи пальцы и овал... Нет, нет! Нельзя клеветать на родного сына. Вадим никогда и ничем не повторит этого жалкого ублюдка! Никогда!.. Хотя...

Хотя как можно поручиться за будущее мальчика,



растущего в холе и неге оранжерейного детства? Кто знает, каким его воспитает Цецилия? Не вырастет ли он квелым и неумелым дворянчиком? И снова...

И снова приходит на ум Клавдий. Он тоже был обережен от всего, что могли сделать за него другие. Его чуть ли не до пятнадцати лет обували, одевали и даже умывали няньки.

Молоховы тоже не чают души в маленьком тезке Платона. У них тоже несчитанные богатства и тьма возможностей. Но таким ли растет их мальчик? Он самостоятелен, пытлив, инициативен. Ему разрешено мастерить самоделки. Он сооружает из глины маленькие печи. У него набор детских инструментов. Его не оберегают от молотка, ножниц, щипцов... Сын Клавдия, не унаследовав ни одной его черты, предательски похож на Платона. В нем дедовская, акинфинская кровь.

В голову приходит ужасная мысль: может быть, Агния была «судьбой» Платона?

Нет? Тысячи раз нет! К черту эти черные мысли! Надо пригласить Строганова. Он уже вернулся из Молоховки и коротает время за сочинительством.

Платон подошел к большому концертному роялю, открыл его тяжелую, зеркально отполированную крышку, чтобы игра заставила прийти Вениамина. Его всегда приглашает рояль. Он говорит ему, что Платон не занят, отдаваясь музыке, и нельзя помешать придумывать свои «взаимности» и мечтать о великих свершениях.

Платон играл плохо. Но в его игре была то вдохновенная экспрессия, то одухотворенная мечтательность.

Открыта крышка клавиатуры. Зажжены канделябры на рояле. Музыка Чайковского требует праздничного, большого света. Она сама такова.

Придвинут стул. Найдена нужная высота винта. Взмах рук и...

И зазвучали первые божественные аккорды «Первого концерта». Есть ли что прекраснее этого гимна Свету... Любви... Бескрайности мира. Величию человека... Очаровываясь музыкой, зная первую треть концерта наизусть, Платон подумал, что хорошо было бы купить большой судостроительный завод.

«Первым концертом» заполнен весь дворец! Слышен он и в дальнем материнском крыле. Калерия Зоиловна знает, что к сыну нельзя приходить, когда он, как молитве, отдан игре на этой немецкой новокупленной музыке. Да и вообще к сыну нельзя приходить, не позвонивши по телефону. Теперь телефонов в доме не перечесть.

Строганов же знает, что к Тонни нужно приходить, когда он играет. Он любит, когда его слушают. Вениамин Викторович вошел в мягких, «бесшумных» валяных туфлях, опушенных мехом, и сел в дальнем уголке нарядной гостиной.

Дождавшись, когда Тонни дошел до конца первой трети концерта и остановился, Строганов спросил:

— О чем мечтали?

— Хорошо бы, Веничек, купить большой судостроительный завод и паровозный. Я бы выручил миллиард рублей...

— А зачем вам, Тонни, миллиард?

— Я бы скупил все заводы Прикамья.

— Почему именно Прикамья?

— Там дешевые рабочие руки. И хорошие универсальные мастера.

— А потом?

— А потом я бы провел короткую, прямую дорогу через хребет.

— Зачем?

— На западном склоне нет своих руд, зато есть Кама. Самая дешевая дорога... Не круглый год, зато можно производить огромные перевозки. И очень дешево. Если из Астрахани, из такой дали, в Пермь доставляют арбузы и еще получают большие барыши, значит, можно доставлять все остальное, не удорожая его перевозкой.

— А что остальное?

— Машины, Веничек, машины. Большие машины! С них начинается все — и сами машины. В мире властвует тот, кто производит самые дешевые, самые прочные, самые скорые машины и станки.

На лице Строганова засияла добрая улыбка.

— Зачем это вам, Тонни?

— Чтобы преобразовать мир.

Строганов снова улыбнулся и задал косвенный, наводящий вопрос:

— Как много людей, стремящихся преобразовать мир...

Платон легко вовлекался в спор:

— Савка Рождественский его не преобразует. Не преобразует и господин Молоканов, назвавшийся журналистом, чтобы побывать в моей душе. Он очень образован и убежден в своих воззрениях. Но что может сделать такой, как он? Колебать речами воздух? Мне жаль его. Мне жаль одаренных людей, за которыми не идут. Которые могут собрать два-три десятка единомышленников и угаснуть, как это произошло в минувшую революцию.

— Революционеры не находят, что их дело угасло.

— Венечка, милый, неужели Савка Рождественский, очаровательный парень, каким я его знал всегда, может что-то породить, что-то воскресить? Таких, как он, нужно беречь, вразумляя их, как нужно и как можно бороться за лучшее. А лучшее — это его драгоценнейшее литье. Его умение производить хорошо, скоро и много.

— Всех нельзя вразумить, Тонни. Вы увлечены своими заводами и не знаете, что делается на других после того, как рабочих вразумили порками, тюрьмами...

— Этими способами нужно вразумлять не револю-

ционеров, а тех, кто их породил. Я никогда не устану повторять, что революции порождают не революционеры, а те, кто вынуждает тружеников становиться революционерами. Революция пятого года обязана таким, как Потаков, Молохов. Их много. И они были всегда. И в Риме, и до Рима. Они бывали, они неизбежно могли быть в первобытных общинах. Старейшины или кто-то там, кого я не представляю, свергались, а то и убивались тотчас, как они нарушали равновесие организующих труд и организуемых в труде. Не понимайте это примитивное примитивно. Но как только не хватало самого основного — пищи — и членам рода приходилось испытывать страшнейшую из бед — голод, происходила очень примитивная революция, которую можно посчитать за драку, состоящую в насильственном отнимании куска мяса от тех, у кого он был куском большего размера. Не потребуется особого напряжения воображения, чтобы представить, как это было и как могли голодные съедать вместе с отобранным наибольшим куском и того, кто его захватил.

Вениамин Викторович, видя, что Платон воспламенился на этот раз с одной спички, решил подбросить в огонь дрова и в прямом смысле. Камин угас, но под золой еще были горячи тлевшие угли.

— Дорогой Тонни, я с удовольствием постараюсь развеять мои раздумия. Вечер долог, и мы скоротаем его при огне.

— Да-да, Веничек... Дрова тут, за дверью, в ящике.

— Я знаю, знаю и принесу...

— Нет уж, позвольте, я это сделаю сам. Вы, как и все обладатели чистых рук, не умеете ставить дрова так, чтобы они дружно горели и не падали. Этому искусству учил меня,— рассказывал Платон, устанавливая в камине принесенные Строгановым дрова,— древний горновой нашей доменки Маркелыч. Вот видите, как это делается... Кажется, просто, а на самом же деле так же хитро, как с первого удара топора расколоть сучковатое полено...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Красиво и ровно наклонно установленные сухие поленья начали дымиться молочно-голубоватыми клубами, затем, нагревшись, вспыхнули мигом, как электрическая люстра в большом зале.

«Вспыхнул» и Платон, по-ребячьи крикнув «ура», и захлопал ладошами.

Строганов и на этот раз подумал, что в Платоне все еще живет мальчишка.

— Теперь,— сказал Платон,— погасим свечи и продолжим о революциях. Рабство было самой длительной из всех исторических и доисторических систем трудовых взаимоотношений. И при всем страшном звучании слова «рабство» читавший более или менее достоверные книги о нем без труда может убедиться, что и в те времена достигалось некоторое равновесие взаимностей рабов и владеющих ими. Для этого так же не нужно совершать экспедицию в прошлое, а достаточно сесть в тележку и побывать на заводе Василия Митрофановича Молохова, где рабство представлено в наихудшем его разночтении. Крепостные рабы до реформы шестьдесят первого года находились в лучших условиях по сравнению с молоховскими рабочими, закрепощенными нуждой и голодом.

— Им трудно и теперь, Тонни. Я это наблюдал сам.

— Им трудно и теперь, Венечка. Я в детстве видел их каторжный труд... Василия Митрофановича, милый друг, взбунтовавшиеся едва не утопили в пруду. Он чудом отсиделся в подвале небезызвестного вам замка, построенного так же небезызвестным вам сумасшедшим апологетом средневекового рыцарства. Замок невозможно было взять приступом. Голодая, Молохов прожил в нем более недели, пока не прискакала карательная кавалерийская сотня, перепоровшая несчастных и усмирившая вооруженный бунт.

— У меня записано об этом, Тонни... Капиталистические гримасы случаются страшнее средневековых.

Платон кивком согласился с Вениамином Викторовичем и тут же поправил его:

— Капитализм, сотый раз повторяю я, новое, выдуманное слово. Но если принять его как образ жизни общества, то для меня не составит труда доказать, что это извечная и единственно возможная система трудовых взаимностей, а не что-то новое... Например, первобытный каменный молоток был первым представителем капитала. Он был ценностью, позволяющей произвести новые ценности. Например, позволить человеку сделать из камня второй такой же молоток. Это уже ценность, дающая стопроцентную новую ценность. Прирученное животное тем более было капиталом — оно производило новые цен-

ности, размножаясь, рождая себе подобных. Если животное еще и работало, то есть создавало или помогало создавать ценности, то кто может не назвать вола, слона, лошадь типичным представителем активного капитала? И если мы,— увлеченно говорил Платон,— проследив всю историю, все периоды, как бы их ни называли различные историки и ни делили по ханам, богдыханам, королям, царям, попам или по государственному устройству, то мы увидим, что все это было историей развития капитализма, от ручной мельницы до самоработающего ткацкого станка. Все это было историей трудовых взаимностей организующего труд и организуемого в труде. Таким и остается капитализм, если вам, Венечка, угодно называть вечное и древнее этим словом и теперь.

— Дело, конечно, не в названии, а в существе,— согласился скорее для приличия Строганов, особенно не вникая в говоримое Платоном не без любования собой. Его речь лилась легко и, кажется, стройно.

— Оттого, что у крепостника мололи муку при помощи ветра, а теперь в Самаре мелют ее братья Малюшкины при помощи пара и, может быть, электричества, отношения мелющих и владеющих мелющими машинами в своей основе остаются в том же единстве взаимностей. И оттого, как Малюшкины или Молоховюшкины воспользуются ими, таков и будет результат. Революционный взрыв или эволюционное тихое или скорое процветание производства. Захотят ли хозяева поделиться своими прибылями с теми, от благополучия и поощрения которых зависит нарастание прибылей, или попридержат эти прибыли у себя и тем самым замедлят их рост. Арифметика общедоступна, легко понимаема, но не всегда принимаема. Всякому предприятию нужна болеющая за него душа, а не бездушие в мундире.

Слушать Платона, строящего длинные фразы, затрудняющего их далекими для Строганова выражениями, было утомительно, и все же он слушал не без интереса. Хотелось знать, чего больше в рассуждениях Платона — поисков истины или позирования, которое нескрываемо проступало в нем. Поэтому Строганов спросил:

— Однако же, Тонни, не все управляют заводами одетые в синюю куртку и обутые в сапоги. Заводы управляются и господами в мундирах.

Платон тут же ответил:

— Судя по казенным заводам, которые я не беспри-

страстно и не поверхностно наблюдал, главы заводов чаще всего не являются их душами, а только главами, которые легко отсекаются и заменяются другими. Что движет ими? Ничто. Только привилегированная оплата и завидное положение. Не будь этого, не было бы и их. Я не представляю такого управляющего, который бы терзался за свой завод, не имея за это ничего взаимного. Может быть, таким мог быть кто-то подобный Родиону Максимовичу Скуратову. Но много ли их таких? Второго я не встречал и, надеюсь, не сумею встретить. Он не при заводах, а в них. Это не просто его поприще, но и смысл его жизни. Таких не бывает. И если есть, то я не могу себе представить их. Ему совершенно чуждо желание разбогатеть. В нем нет вкуса к личной собственности.

— А личная собственность, Тонни... Увы! — подбросил Строганов еще поленце и в камин, и в разговор.— Что вы скажете о ней, Тонни? Или она вам так же чужда, как и Родиону Максимовичу? Мне она не чужда. Грешен!

— Собственность — страшное слово. Собственность губит, испепеляет, укорачивает жизнь, приносит страдания. Я не привожу примеров. Они в театре, и в литературе, и вокруг нас. Василий Митрофанович Молохов медленно самоубивает себя заботами о том, что будет с принадлежащим ему.

— Собственность не чужда и таким добрякам с широкой душой, каким был изобретатель замков Кузьма Завалишин. Она сжигает его, если уже не сожгла. Собственность — страшнейшая из губительных страстей! Не так ли, Тонни?

— Это бесспорно, милый пролаза в мою душу! И если уж вы, Венечка, захотели заглянуть в ее оконце, то пусть поможет приоткрыть его маленький флакончик рижского бальзама с чаем. Моя дульцинея еще не спит, позвоним ей, попросим ее прикатить не отягощающее желудок и способствующее сну.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Столик-коляска бесшумно вкатился вместе с такой же бесшумной горничной, шелестящей накрахмаленными юбками, и такой же молчаливой и такой изящной, как маленький глиняный флакончик рижского бальзама. Она, не открывая рта, спросила глазами, не нужно ли что-то

еще, и, дождавшись знака, означающего «спасибо», грациозно прошелестела за тихо закрывшейся дверью.

Платон сам разлил из чайников с фамильными вензелями чай, затемнил его бальзамом и начал:

— Теперь о собственности. Вы правы. Собственность сильнейшая из страстей. Но она же сильнейшая из сил, движущих прогресс. Потеряв ее, не потеряем ли мы все, что делает нас сильнее, пытливее, совершеннее? На этот вопрос у меня нет определенного ответа. Я верю свершившемуся и всегда подвергаю сомнению имеющее быть свершенным. Имеющее быть свершенным более чем вероятно. И даже замок. Простой, дешевый, тридцатикопеечный замок не убеждал меня в своем успехе, пока я не увидел его. Я не полностью верил в золотые подковы, предложенные губернатором. Я знал, что нужна хорошая подкова, чтобы копыта лошади не скользили, чтобы они твердо упирались в грунт. И ошибся. Нашлись тысячи людей, которым понадобились дорогие подковы, отличающиеся от таких же только гальваническим покрытием. Я верил в гвозди с насечкой «елочки». Они сопротивляемее держатся в дереве. Их в три раза труднее вытащить, чем гладкие гвозди, без насечки. Они не пошли. Их не приняли. Может быть, это консервативность привычки, но они не пошли. Сейчас, Веник, я дойду до сути, только допью этот стакан латышской мудрости и налью ее в другой, погуще. И вы так же сделайте. Бальзам помогает и языку, и ушам...

Здесь можно бы вписать маленький рекламный панегирик прославленному напитку, но ему едва ли полезна дополнительная известность. Бальзам действует и согревающе. Поэтому Платон снял легкий, атласный жакет на гагачьем пуху и, как истинный джентльмен, попросил извинения у Строганова, а тот, запросто сняв пиджак и жилетку, принялся расстегивать ворот сорочки, сшитой и отглаженной Агнией Молоховой.

— Теперь будем копать и вширь и вглубь,— продолжил Платон.— Разве я предполагал, что «составные» дома станут открытием? Их может делать всякий. В старую Москву доставляли не дома, а сборные деревянные церкви. А дома стали предметом ажиотажа. И, став им, я полагал, что конкуренты сумеют обойти мой патент и начнут делать свои. Для этого нужно так не много. Точный распиливающий и фугующий выпиленный брус, выверенный стан. И кто-то уже начал делать такие дома,

но вскоре потерпел крах. Им недоставало малюсенькой подробности, которая называется общеизвестным словом — точность. Точность до доли градуса прямизны бревна-бруса. Лекальная совпадаемость угловых соединений. Точность длины и точность сечений всех изготовляемых брусьев. Какие чувства заставили меня добиваться этой точности? Собственность!

Он умолк на считанные минуты, проверяя себя и отвечая себе:

— Собственность не в том качестве, в каком она представляется большинству. Не в боязни оказаться банкротом. И, оказавшись им, потерять средства к жизни. Их нетрудно добыть всякому имеющему голову и руки. Боязнь стать банкротом иного рода. Банкротом, потерявшим условия, атмосферу и, конечно, средства для созидания. Талантливый созидатель Родион Максимович не нашел такой атмосферы. Ему не дали возможности созидания на казенных заводах, потому что там он «при», а не «над». В этом смысле частная собственность — могущественнейшая из богинь. Да-да! Могущественнейшая из богинь, и я ей молюсь. Не по ее ли милости Шало-Шальвинские заводы стали предметом изучения знатоков промышленности?

Как вскоре оказалось, рижский бальзам воздействует на человека не только теплотворно, но и возвышающе его. Платон, начав с повторения сказанного им, развил свои заветные мечтания страстно и театрально, будто перед ним не Строганов, а тысячи слушателей:

— Дайте мне деньги и власть — я через три года закрою все магазины компании «Зингер», выкачивающие своими швейными машинами тонны русского золота. Дайте мне деньги и свободное право покупать сырье — я дам дешевые автомобили не для разъезда столпов Государственной думы, а для доставки грузов. Я с горечью смотрю на бездельничающие реки. А ведь они могут освещать, сваривать металл, двигать станки. Собственность в руках созидателя сокрушит все препятствия и троны.

Платон допил стакан чаю с бальзамом маленькими глотками, стремясь этим не возбудить, а освежить себя, и принялся говорить ровнее и тише:

— Я могу делать только мелкие вещи. У нас нет металла. У нас очень много металла и нет его. И в тиши зимних ночей я мечтаю о самых маленьких машинах.

О часах. Я разобрал и собрал дюжины швейцарских хваленых часов. Я разглядывал их шестерни под микроскопом. Жалкое зрелище. Самородный божественный мастер штампов Иван Уланов за два года женскими руками может начать выпуск изумительных часов. Дайте ему настоящую сталь — он будет штамповать часы, как штампуются замки. На швейцарские часы молятся. Кто? Образованные, но предельно невежественные люди, поклоняющиеся фирмам, начертанным латинскими литерами. И может быть...

Тут почему-то Платон остановился, оглянулся на дверь, затем подошел к ней, открыл ее и, кажется, проверяя, нет ли кого за ней, вернулся и сказал:

— Однако хватит, милый Веничек. Завтра утром будут утверждаться патентованнейшие из патентованнейших замки с цифровыми дисками для сейфов. Они много положат в сейф нашей фирмы...

— Спокойной ночи, Тонни!

— Спокойной ночи! Сегодня я сразу же усну и не буду думать ни о каких часах, ни о каком миллиарде...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Захлестываемое многосюжетностью, наше повествование уделило шало-шальвинской больнице очень мало страниц. Она же заслуживает большего. Там шла своя и очень интересная жизнь. Молодые врачи, имеющие право называться опытными, были предоставлены самим себе. Над ними не было ни земского, ни всякого другого надзора, чаще мешающего и реже помогающего ищущим, экспериментирующим, утверждающим себя врачам. Они не были бескорыстны, осев на время в далекой Шальве. Но не были и бездеятельны, получая значительные суммы.

Овчаров знал, за что платил, а они, зная, что получают много, боялись, что еще больше можно потерять, избаловавшись. Потерять самое главное — совершенствование своей профессии. Для больницы выписывались специальные журналы. Стали обязательными поездки в столицу дважды в году за счет Кассы — для пополнения знаний и ознакомления с новым в медицине.

Овчаров понимал, как важно, как необходимо, чтобы его врачи были вне конкуренции, как литье Рождественского, как мастерство Уланова. Для него доктора были

«товарными мастерами», дающими нарастающие прибыли.

Больница славилась своим хирургическим залом. Он был миниатюрой столичного. Хирургия всегда оказывалась наиболее заметным и впечатляющим лечением. Здесь, в Шальве, осваивались новые и по тому времени редкие виды операций. Один из них был тем, который привел в больницу осмеявшего ее, Василия Митрофановича Молохова.

Ему предстояла трудная, редкая по тем временам операция по поводу предстательной железы. Молохов тянул, надеялся на излечение травами, облегчался отставным полковым фельдшером. Доверялся двум шарлатанкам — Лукерье Болотной вещерице и страшной старухе Миронихе.

Но, учуя нутром, что «верные коренья» Миронихи могут стать его верным концом, не прикоснулся к ее снадобьям. Не верил он также и главному хирургу хваленой шальвинской больницы. Подозревал, что им ради большой деньги придумывается операция. Когда же земский доктор, приезжавший из Нижнего Тагила, сказал, что лекарств от этой опухоли нет, что успешные операции делают только в Питере да в Шальве, где найдены верные хирургические способы в один прием исцелить больного, если у него хорошее сердце, а оно, по заверению тагильского доктора, у Молохова работало, как сормовский паровик. Молохов склонялся к операции и тем, что в Шальве ее перенесли десятка два стариков и среди них назывались знакомые люди из простых и господ.

Куда уж ехать дальше, если в Шальву привозили откуда-то превесьма именитое лицо, которое лежало в большой отдельной палате, при охранении офицеров жандармского корпуса, и доктор получил за излечение серебряную медаль, а Овчаров — почетный кафтан.

Оставалось послать Агнию к Платону. Платон тут же призвал, при Агнии, Овчарова и сказал, что делом чести фирмы является излечение Василия Митрофановича.

Председатель Кассы назначил за операцию такую сумму, что и Платон, привыкший считать по-крупному, вышел из себя и сказал:

— Не рехнулись ли вы, Александр Филимонович? Все ли дома у вас в голове?

Когда же они остались одни, Овчаров ответил:

— Таких не жалеют. Как он поступал с нами? Вспо-

мните, Платон Лукич, как он запер нам сначала железо, а потом медь. Теперь, когда его самого заперло...

— Александр Филимонович, не вмешивайтесь в дела фирмы, они не касаются Кассы.

Овчаров впервые показал зубы:

— Кассы, Платон Лукич, касается все, что касается рабочих. Молохов их ущемлял. Касса ущемит его... Дорого — пусть гонит в Питер.

— Есть же нравственные основы медицины...

— Отцу Никодиму скажите об этом, Платон Лукич, он поймет. Больницу содержит Касса. Чужих больных через край. И со своими едва управляемся. Ложатся в больницу и с тем, с чем раньше от наковальни не отходили. Шибче стали рожать. Дома не хотят больше баней пользоваться. Придется пристраивать крыло к женскому отделению. Хирург требует не самоучку, а настоящую хирургическую сестру, после того как самоучка зашила брюхо не так и что-то оставила там. Пришлось больного класть и распарывать шов. Хорошо, что он был свой, номерной, а не коммерческий... Больница вот у меня где сидит. На загривке и в печени...

Овчаров умел утомить своими доводами. Платон попросил Строганова повлиять на него. Вениамин Викторович принялся внушать Овчарову высокое и благородное, а он:

— Вы, господин сочинитель, не сочиняйте мне душещипательный дым в глаза. Я рабочая кость, а вы неписаный зять этого ворона. Посему вы не нейтральное, а очень даже тральное лицо. И если уж говорить трально, по всем статьям, то чем вам и фирме будет хуже, если его предстательная железа представит злодея в мир, где нет ни смраду, ни доменной копоти, а одни белые или там черные ангелы, смотря по весам, на коих херувимы выверят земные деяния раба божия Василия?..

Строганову хотелось ударить по лицу Овчарова толстой тетрадью, с которой не расставался Вениамин Викторович. Но такое нельзя позволить себе. Он же парламентер. И кроме этого, возводя самооборону, Овчаров сказал:

— Откажусь вот сегодня же от Кассы. Скажу, что невмоготу. Скажу, что фирма препятствует процветанию рабочего лечения... Тогда Шальва узнает, какие бывают волнения и бунты, когда нарушается священное равновесие...

Увещевать было бесполезно. Овчаров, как бойцовый цирковой петух, не защищался, а наскакивал. Пугал. И тут же, прикидываясь наседкой, защищающей своих цыпляточек, с елейной наглостью «квохтал»:

— Миллион, что ли, я ему назначил, хотя и мог запросить половину его? Жизнь-то ведь дороже. Ее и за все печи не купить. И прошу-то я какие-то там сто тысчонок. По его деньгам это тьфу! Зато новая, дорогая хирургическая сестра. Зашивка патентованными нитками в целлулоидовой таре и гарантия в случае летальности вернуть деньги полностью его наследникам. Это ли не благородственность, это ли не радение Кассы за здравие и благополучие попиравших ее...

Родион Максимович тоже не помог, хотя он и сказал очень решительно:

— Ты, Александр Филимонович, окончательно ставишь нас под удар. Молохов ответит нам худшей препоной. Он не даст пройти нашей ветке на станцию по его земле. А это почти две с лишним версты обходной насыпи, рельсов и шпал.

— Даст, Максимыч, даст. У него камни в обеих почках. В одной три маленьких, в другой один, довольно большой. Об этом ему пока не сказывали, а когда надо будет, я извещу его, через какую землю его дорожка идет и на какую станцию может привести...

Последним разговаривал с Овчаровым Флегонт Борисович Потоскуев.

— Хорошо, Александр Филимонович, пусть будет не по-вашему, не по-нашему. Вношу сегодня же, если вы согласны, пятьдесят тысяч за операцию. Только об этом не должен знать Молохов. Выпишите ему бесплатный талон.

— Пусть будет так, Флегонт Борисович. Остальное доберу не мытьем, так катаньем. Я не о себе думаю, я изболелся за рабочий народ... Думаете, легко моему сердцу дорогих «гризелек» для «Веселого лужка» выписывать и осквернять заводские номера, которые придется им выдать и числить по спискам фабрики «Женский труд»?

Пространно перечислял свои заслуги Овчаров, утомив еще одного слушателя, переводящего на счет Кассы пятьдесят тысяч рублей.

Оставим пока поднадоевшего и нам радетеля «казны не для себя» и зададимся другим вопросом: почему с та-

кой ненавистью все окружающие относятся к Молохову? Почему? Разве он хуже и коварнее других уральских заводчиков, создающих свое благополучие на дешевых рабочих руках, на безысходной участи тружеников, привязанных домом, коровой и другой живностью к своему огороду, который так же привязывает вынужденного мелкого собственника к земле, на которой он родился и вырос и в которой лежат его предки, такие же горемычные, рано загнанные заводской кабалой под могильные плиты?

Все знали, что ни один заводчик не нажил своих капиталов без ограбления рабочих и обмана. О Молоховых говорили хуже, и даже, скажем, очень плохо. Об этом рассказывает запись Вениамина Строганова со слов Флора Лавровича Кучерова. Он грамотный, бывалый человек. Служит при Кассе покупщиком породистого скота для продажи его рабочим в рассрочку. Запись местами пришлось сократить, затем найти связки для вычеркнутых кусков из рассказанного Кучеровым.

Вот как она выглядит в окончательном виде.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Видишь ли, Вениамин Викторович, всяк свой род помнить хочет и другим не дать забыть. Хоть бы я. Мы, Кучеровы, потому и Кучеровы, что искони в кучерах жили. Гордиться нечем, и стыдиться тоже негоже. Кому что! А есть такие, что прятают свое племя, свой род. Значит, таким нежелательно свою стародавность на люди выносить.

А от людей разве можно что спрятать? Они все знают, все помнят и всему свой счет ведут. Был один верный старик, которого мой тятенька своим ухом слыхивал.

Откуда Молоховы взялись? Разнобойно об этом сказывают. Одни говорят, что с Дона сбежали, другие — с Яика. Откелева они ни сбеги, все равно на Урале прибеглые. Три брата их было. Звались они будто бы Молоковыми, а стали для утая Молоховы. Все трое стрелки. Тоже можно поверить. И на Дону, и на Яике у казаков первое дело стрельба.

Зверовать начали. Всякого зверя брали. Осели. Семьями зажили. Спервоначала так себе, а потом прытко забогатели. Стали пушнину и золотишко перекупать. Пушнину — открыто, а золото — скрыто. Скрыто и зеленое зелье гнали. Дружбу с коренными охотничьими ватажни-

ками свели. Из диких людей они были. Пням поклонялись, а русским царям — никак. В лесах таились. Их-то и начали приваживать к себе братья Молоховы. Те шкурки, которым цены нет, несут, а они им что ни попади. А больше всего убийственное питье. Насмерть спаивали.

Широко дело пошло. Фартило незнамо как, а самый большой фарт ближе сыскался. Совсем рядом. И этот фарт худородным серебром прозвали. А прозвали так его потому, что он по виду на серебро смахивал, а блеску в нем не было. Ко всему худо ковался, туго плавился. Не то что медь. А скупщики находились. Мало платили, но брали. И Молоховы тоже стали брать. Про запас.

А вскорости одна бумажная душа шепнула тайно Молоховым, что это худородное серебро зовется платиной и цена ему дороже золота.

Что тут началось! Шептун был скрыто одарен. А Молоховы принялись скупать это «серебро», где только можно, будто бы для отправки на литье колоколов. Для лучшего их звона.

Бумажная, чиновная душа опять предупредила о бумаге, в которой объявлялась на платину цена. Новый подкуп: только попридержи бумагу.

Теперь Молоховым некогда было ямы рыть. В медвежьи берлоги припрятывали драгоценную наживу... Когда же бумагу стало невозможным далее таить, Молоховы и тут не оплошали. Волосы начали рвать на себе и до того ловко горевали о том, что продали для колоколов все скупленное ими серебро.

Легко обман сошел с рук, да трудный был дележ зарытого богатства. Старший брат Никифор потребовал половину, а остальным двум братьям хотел отдать по четверти платинового богатства.

Люто начали спорить братья, да тихо прикончили свой спор. Ножом!

Прирезали они старшего брата Никифора и сожгли убиенного. Всех на ноги подняли. Чего только не напридумывали, а потом все на одном сошлись. На волках.

Никифор смолоду любил лесовать. Далеко захаживал. В самую таежную глушину. По неделе охотничал. Дорогого зверя приносил. И теперь не от нужды, а для души охотничал. Уважал ночевать в лесу. Ну вот и доночевался.

И где теперь его кости искать, когда на мерзлую землю снег лег? Весна разве что покажет, если не все волки

порастащили. Может, хоть что-то найдется, чтобы земле предать.

Так и сгиб без отпевания, без могильного камня старший брат Молохов. Безутешно рыдали младшие братья при всем честном народе. А без народа побаиваться друг друга начали. И не зря побаивались.

Когда грех совершил один человек, он один и мается с ним до смертного часа. А потом с собой уносит. Когда же двое в одном грехе живут, то каждому думается, что, ежели какой-то из двух языков сболтнет по пьяному доверию или жене не то слово обронит, тогда обоим верная каторга.

Так вот они боялись друг дружки года с три. А на четвертый год невмоготу стало в боязни жить. А как боязнь избыть?

Разъехаться разве что? А куда? Как ни велик мир, а в нем не затеряешься. Везде сыщут. Да и каково в чужой державе жить?

Разъезд возможен только один. Только один. Так они и порешили. Не вместе так порешили, а порознь. Средний брат желал на этом свете остаться, а младшего на тот переселить. Младший того же хотел для среднего.

А как?

Ни тому, ни другому нелегко второй грех брать на себя. Рука не подымется. А если и подымется, дрогнуть может. Брат ведь. Вдвоем-то одного легче было. А тут один одного. Страшно.

Опять думать стали. Порознь. Все перебрали. Ничего не нашлось, что бы не с глазу на глаз — и концы в воду. А потом одному из них, младшему, Митрофану, совсем негаданно корень жизни, что женьшенем зовется, смерть подсказал. Средний брат Евсей пользовал его. Сильно ободрял он его. У китайцев корень брал. По сотне плачивал. А на эту зиму большой корень купил. Купил и на сохранность в надежное место спрятал. Про это место только младший, Митрофан, знал. Другой раз для себя малость отламывал. Для пробы. И больше для баловства.

И вдруг, Вениамин Викторович, средний брат Евсей, никогда не знавший хвори, скончался одночасно. Причину смерти сразу же установили, а где причинщика искать, который продал Евсею ядовитый корень, никому не ведомо. Никто этого женьшенщика не видел, не слыхал.

Младший брат, горюя об Евсее, сорок дней молился

и постился, а потом сам занемог. Братья стали по ночам его душить. И сказывают, что Митрофан умер от удушья, а платину все же успел частью продать, часть перепрятать и завещать единственному сыну Василию. Об этом знала Митрофанова жена, и будто бы она перед кончиной на исповеди призналась попу в прегрешениях трех братьев. И надо думать, что через попа стало ведомо, откуда Василий Митрофанович оказался богат. А как он стал еще богаче, если вам желательно об этом, Вениамин Викторович, записать, то поведаю про это после небольшого передыха.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Некий, такой-сякой, безвестный молодой барон Котторжан за какие-то такие заслуги был жалован царицей рудными землями в наших местах и заемными деньгами из царской казны, для постройки медных и доменных печей.

Получив земли, леса, речки, заемную казну, он должен был поставлять железо и медь, для чего ему были дадены люди знающие и умелые. Они-то и занялись заводами, а сам Котторжан порешил строить себе такое каменное чудо, какого и не видывали. Сам указывал, сам показывал, как и что, а до этого место нашел, на озере. Небольшое и тогда было это озерцо. Посреди этого озерца был скалистый островок. Чуть больше полудесятины. Вот на нем-то и порешил барон свой дом-замок поднять.

Тьму-тьмущую народу нагнал. И чужеземцев раздобыл. Деньги не свои. Не хватит — еще попризаймет. Года с три, видно, громоздили ему невесть какую громадину. Церковь не церковь, мечеть не мечеть, на тюрьму тоже не похоже, а она, к слову говоря, тоже там была. Чужеземные мастера ему дело советуют, а он свою прихоть тешит. И рад-радешенек своей каменной уродине. Нутро-то ее, не говоря напраслину, на дворцовый лад было. И парчовые палаты, и расписные. Потолки сводчатые, полы где как. И каменно-мраморные, и узорчатые, из разного дерева. Дорогу от берега к воротам замка насыпал. А ворота не как у всех. Откидные, на цепях.

Заводы тоже приспели в свой срок. И хорошо дело пошло. Руды богатые, лес даровой, работный люд того даровее. Заточенных ему пригнали. Их только кормить надо было, а тюрьма готовая. Без хлопот для казны. По-

селяй знай в нее, сколько нар влезет. А когда заточенным вовсе негде спать стало, над нарами другие нары, как бы полати, понастроили. А случалось и в очередь спали. Тех, что днем на работу гоняют — ночью спят, те, что ночью работают, спят днем. Приноровились круглые сутки кровь пить.

И жил бы так да жил барон, прозванный «Каторжаном», при заводах до старости, если б не ожаднел до бесчувствия. Прибытки лопатами греб, в чужеземные города переплавлял, а казне по заемной повинности и самой малости не исполнял. Отнекивался. Пождать, потерпеть просил. И терпели сколько-то. Ждали. А потом разом и терпение, и жданы кончились. Как ножом отрезались. На престол другая величественница села, а за старое царицыно баловство в ней злость взыграла. Про это в бумагах тоже не сказывалось. Знаемо только то — велено было барона конвойно в Питер пригнать, а заводам указано казенными быть.

Дёру дал барон, и ни слуху ни духу с той поры о нем не было. Осталось только прозвище его — Каторжан. Так и дом Каторжановым замком звался. А потом строго-настрого, под страхом поротым быть, велели забыть это прозвание. Барским домом замок приказано было звать. Так и зовут, а про себя старое клеймо помнят.

Недолго Каторжановы печи казенными подымили. Казенные управители тоже умели деньги считать, не обижая себя. Довели дело до полного конца. До такого конца, что и продать Каторжановы печи было некому. Не находилось таких. Долго не находилось. Совсем отчаялись было, да объявился человек, который искал, как лучше дать ход своим деньгам. И был им не кто иной, как наш Василий Митрофанович Молохов. Ему тогда лет двадцать с чем-то было. Хороший подсказчик к нему прибыл. Амосов Николай Поликарпович. Ученый и золотой человек. В одних годах с Василием был. И рвался этот Амосов к большому делу, а держали его при казенных заводах на малых делах. При печах. Вот он-то и задумал вернуть жизнь баронским печам.

Году не прошло, как одна за другой домны дышать начали. А потом за медь взялись. И опять фарт. Василий даже пальцем не шевельнул для того, чтобы чугун и медь золотой рекой потекли. Был купцом — заводчиком стал. С вывеской: «Заводы Василия Молохова».

И на чушках, на слитках его имя значится. Не скупился Молохов смолоду, хорошо платил Амосову и доверял ему во всем. Это потом Молохов сатанеть начал, а тогда все к нему льнули. Скажем, не к нему, а к Амосову. Амосов был хоть и не из простых, а рабочий люд почитал. Самые отборные у него работали.

Самое дешевое у нас железо было демидовское, а молоховское стало еще дешевле. Заброшенные дома в Каторжановке расколачивать начали, новые дома стали рубить. По заводу и рабочее поселение переназвали — Молоховкой. И сам Молохов вздумал Каторжанский замок раззамочить. Там все как было, так и осталось. Только от пыли да от крыс надо было избавиться. И это Амосов сделал, а потом и сам замок малость очеловечил. Посшибал с него ненадобную башенную несусветицу и всякое такое, что дурак Каторжан для форсу приляпывал. Всего замка он перестроить не мог, тогда бы заново строить пришлось, а что-то мог — сделал.

Дом на дом походить начал, хоть и не весь, а начал. Осталась кое-какая смешнота. Ворота, скажем, цепные. Пики остриями к небу по стенам торчат. И многая другая нездешность.

Ну, да что об этом говорю! Вы же сами все это видите, бывая у Агнии Васильевны. Мне о том нужно говорить, что вам незнаемо и что людям надо знать.

Ну вот... Пожил так сколько-то Василий Митрофанович, а потом вдруг переменился. Другой жизнью зажил. Гостей не зовет. Пиров не пирует. На ночь цепные ворота подымает. Слуг держит самых верных и в малом числе. В самом же доме только трое живут. Старик лакей да две горничные из сирот. Остальных скольких-то там в пристроях держит.

Таким он после первого бунта стал. А первый бунт после ухода Амосова начался. Не поладил он с ним. Ему желательно было дальше дело двигать, хотелось новую сталь варить, которая всем сталям сталь, а Молохов не схотел. Зачем, дескать, она нам, когда без нее дело хорошим-хорошо идет?

На перекате своих лет Молохов вовсе дичать начал... И было от чего. Дядья, убиенные его отцом, являться к нему начали и стали требовать их сыновьям и внукам в должном паю платину раздать. Василий-то от матери знал, что это за паи.

Он, конечно, им наотрез и по башкам их медным тя-

желым крестом лупит. А они же не телесные. Только видимость одна, а сами духи!

Мало этого — и отец его Митрофан из-под своего стопудового памятника с кладбища приходить начал и требовать дать покой его душе и по-божески одарить его двоюродных братьев. Сынам старшего убиенного в лесу дяди — половину, сынам другого дяди, Евсея, отравленного женьшенем,— четвертую долю, а ему, Василию, оставить при себе тоже четверть всего, что есть.

Чувствуете, Вениамин Викторович, куда дело поехало?..

Теперь прикиньте, Вениамин Викторович, как он им домны отдаст при его скаредности... Нажитое им отец тоже требует разделить. На платиновое же богатство он свои богатства приумножил.

В монастыре стал пробовать от покойных дядьев и отца прятаться. Да им что. Хоть каменные стены, хоть озерная преграда. Духи же! А он книжек никаких не читал, про галлюцийность всякую не слыхивал, а к доктору все же кинулся. По этим болезням он был. Умопомраченных пользовал. Помог малость Василию Митрофановичу. Без огня начал спать. Доктор по душевным болезням отвлекательные занятия прописал.

И теперь он почти что в своем уме. Не в своем только одно. Втемяшилось ему в голову, что души дядьев, поселившись в других телах, отберут, унаследуют его печи, а до этого укоротят ему жизнь. Поэтому, не гневитесь на правду, Василий Митрофанович, не мешая вашей любви с Агнией Васильевной, никогда не даст благословения на ваше венчание. А про остальное вы все сами знаете, да и устал я, по правде говоря, ворошить эти шлаковые отвалы. Но я не мог не рассказать вам, коли вы тут хоть и пятое колесо, а в той же телеге...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Зная эту историю в пересказе Флора Лавровича Кучерова, нам понятно, почему перед операцией Молохов завещал все движимое и недвижимое, кроме пятиста тысяч на дожитие его жены Феоктисты Матвеевны, своему внуку Платону Молохову, которому передавал, как богом данному, свое отчество.

Отдельно, в особой бумаге, также нотариально заверенной, он говорил:

«Опекуном моего наследника Платона Васильевича Молохова прошу быть господина Строганова Вениамина Викторовича и прошу оного до принятия опекунства присягнуть перед богом и мирским законом не усыновлять моего внука Платона Васильевича Молохова, а по сему и не быть венчанным мужем дочери моей Агнии Васильевны Молоховой, кою я благословляю пребывать в благонравном гражданственном браке, в каком они с моего отцовского благословения и пребывают по сей день письменного выражения моей отцовской воли».

Не удивительно также, что Овчарову, навестившему его в больнице перед операцией, сказал:

— До чего ты, великий казначей, смахиваешь на моего покойного дядю Никифора, который нынче требовал у меня во сне отписать две мои домны Кассе, а одну — беспутному Клавке Акинфину.

А хирургу Молохов, так же силясь улыбнуться, заметил:

— Ежели вы меня, доктор, зарежете, то я на том свете буду молиться за вас, ибо такое зарезанье не могли учинить вы, ангельской души человек, а кто-то другой, вселившийся в вашу плоть.

Сказанное сочли результатом подготовительных к операции лекарств.

Агния Васильевна не покидала больницы. Ей давали успокаивающее. Она, бледная, горемычная, исхудавшая, не могла скрыть слез.

После операции отца силы вовсе оставили Агнию. Пришлось положить в больницу и ее. Три недели она провела там и осталась в ней, когда Василий Митрофанович был на ногах и в полном здравии.

Ему бы радоваться и благодарить судьбу за счастливый исход, а в нем проснулось ожесточение. Он был убежден, что его не отправили на тот свет только из-за боязни быть уличенными, что струхнул и доктор. Зачем ему каторга? Ведь на следствии выяснится все. Тогда придется сказать, за сколько и кто спасителя жизней заставил быть убийцей. Суду стало бы известно, в каких отношениях теперь находятся Акинфины и он. Как хотел Платон вовлечь его в акционерную кабалу, а он не захотел быть в ярме.

Теперь Василий Митрофанович, оживев, чувствуя себя независимым, изливал свою злобу и там, и на том, где не позволил бы себе и наипаскуднейший крохобор.

Приехав навестить выздоравливающую после нервного потрясения Агнию, он зашел в кабинет Овчарова и по-купечески, как в трактире, сказал:

— Сколько с меня? Попрошу счет!

— Не беспокойтесь, Василий Митрофанович, за вас избыточно уплатила фирма.

— А я не желаю, чтобы кто-то за меня платил, да еще избыточно. Я хочу по совести, из копья в копье, до полушки.

— Вот и заплатите по совести Платону Лукичу.

— Зачем же ему? Больница-то ваша. Верните ему, а я уплачу свое тоже избыточно. Пиши, великий казначей, я скажу, что почем... Начну с помещения. С палаты. Ценю как за номер в дорогой гостинице. Семь гривен за сутки — это красная цена. Прибавляю до рубля. Перемножь потом на прожитые сутки и впиши в счет. Последние сутки были неполные. Утром выбыл. За няньку... Сколько же ей поденщина? Четыре гривны. Клади восемь гривен. Ночью вставала. И опять множь восемь гривен на сутки.

Овчаров, стиснув зубы, молчал и слушал, а Молохов, распоясавшись, издевался:

— Теперь еда. Кормили жидким отваром с тощей курицы. Не знаю, во что и оценить эту жижину с манной кашкой...

— Цените в пятак, Василий Митрофанович!

— Зачем обижать? Можно и восемь копеек... Пусть все двадцать. Теперь самая главная плата за вырезание нароста. Будем считать так. Ежели выписной инженер получает триста целковых в месяц, значит, на день ему приходится десять рублей. Скостим праздники. Пусть будет двенадцать рублей. Шестнадцать пускай для круглоты. Выходит два рубля в час, а резал и зашивал он меня сорок пять минут. Сколько же? Не полтора же рубля, если без чаевых, за операцию... Мало ведь, господин Овчаров, получается... Он же еще подготавливался. Усыплял. Просыплял... Пожалуй, полные полдня провозился. Выходит...

— Не подсчитывайте, сделайте милость! — прикрикнул Овчаров.— Я тоже считать умею, если понадобится.

— Не понадобится.

— Как знать, Василий Митрофанович, все мы, ходя под богом, ходим под нашими легкими, печенками, селезенками. Почки и те, когда они исправны, так никто и

не знает о них. А когда, к слову говоря, окажется в одной камень, а в другой три, когда человек на стену лезет, тогда все готов за вынутие этих камней отдать...

Молохов готов был сжечь глазами Овчарова.

— А что все-то?

Овчарову не хотелось говорить тех слов, которые он сказал:

— Смотря по достатку, смотря по недвижимости... С иного за большой камень можно и большую домну спросить, а за маленькие камни по малой медной печи за каждый! И отдаст!

— Понял! Теперь я окончательно уразумел! В тебе Никифорова душа.

— Какого Никифора?

— Тебе лучше не знать... А я... А я, будь во мне тысяча камней, ломаного шамотного кирпича не отдам за них. Окаменею, но ничего не отдам Никифору... Последний спрос — сколько денег за мою погибель отвалил Кассе Платон?

Овчаров, боясь за себя, поспешно вышел и хлопнул тяжелой дверью.

ЦИКЛ ВОСЬМОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Овчарову в этой главе придется повторить свое грубоватое выражение: «Все мы, ходя под богом, ходим под нашими легкими, печенками, селезенками...» Сердца он не упомянул, оно не в его строке.

Сердце Луки Фомича Акинфина не беспокоило его, редко давая знать о себе. Всегда бодрый, он не отказывал себе в удовольствиях плотно поесть, умеренно выпить и при случае заглянуть под модную шляпку. Окружающие называли Луку Фомича молодящимся франтом на склоне лет.

Таким он выглядел вчера, на открытии Кассой загородного ресторана «Веселый лужок». Молодой и красивый отец Никодим отслужил молебен на открытие нового, благоприятствующего отдыху заведения, благословил его перед провозглашением басовитым диаконом «Многая лета».

Пристольные девушки из местных и приезжих были на молебне в длинных платьях, про которые тот же отец Никодим изрек: «Из всех самых коротких платьев самое короткое то, что самое длинное».

Парадокс был оценен сидящими за главным столом вместе с отцом Никодимом, запивавшим новейшие рекламные блюда свежим березовым соком, разбавленным смирновской водкой. Десерт запивался им клюквенным морсом, в который можно было подмешивать любые вина.

У главного стола так же рекламно прислуживали выписанные и отобранные лично Александром Филимоновичем девушки, умеющие подать, предложить и прислужить по-столичному. Были среди них и такие, что в «Веселом лужке» составят счастливые партии, став любящими женами и примерными матерями.

Очень большое впечатление произвел ресторан на съехавшихся из ближних и дальних заводов. Особенно восторгался среди других Антип Сократович Потаков. Расчувствовавшийся, он произнес спич и неосмотрительно предложил бокал прехорошенькой девушке, подаю-

щей шампанское, за что получил от Кэт излишне звонкую пощечину. Потаков объяснял сидящим за столом:

— Вы видите, как шаловлива моя милая, резвая ревнивица Кэт.

Сказав так, он коснулся подбородка прехорошенькой девушки и получил вторую, еще более громкую пощечину.

Здесь же, за одним из крайних столов, притулился Кузьма Завалишин со своей Зинаидой Сидоровной. Он полинял, постарел. Она цвела, утопая в розовом кружевном платье. Они приехали на паре «таксебейных» обвинок. Мотор пришлось продать. Дорого стоил питерский моторист, да и Платон Лукич сжалился, дав за мотор его цену по счету фирмы. Теперь и Кузьме и ей приходилось дорожить деньгами. Новый завалишинский замо́к, лихо спрашиваемый в первые месяцы, не оправдал надежд. Винты «прикипали», с трудом отвинчивались, что-то заедало внутри. Неоткрывающийся замок приходилось распиливать.

Банкротство не предвиделось, но похожее на него чуялось.

Завалишин и Гранилина не пришли бы сюда, в «Веселый лужок», если бы не было объявлено угощение бесплатным.

Оставим мечтавших стать миллионерами, назовем тех, кто не был. Агния Молохова, Вениамин Строганов, Платон и Скуратов, а с ними и другие не нашли для себя возможным появиться в этом «Лужке». Достаточно и того, что глава фирмы со своей супругой развлекаются здесь, попивая десертные и игристые вина.

Они весело награждают певиц, бросая им золотые монеты, завернутые в конфетные бумажки, не зная того, что это для них последний вечер, последний ужин.

Вернувшись домой, Лука Фомич оживленно рассказывал Платону, что было там, как жадно считал Овчаров будущие прибыли.

Довольный отец, счастливый глава фирмы, радуясь запахам первой теплой весенней ночи, вскоре крепко уснул и не проснулся.

Утром завывные гудки заводов Акинфина проревели о смерти их главы.

Застучали телеграфные ключи. Получены ответные телеграммы. Приедут Лучинины. Цецилия умоляет Пла-

тона держаться и принять утрату как неизбежность неминуемого.

От Клавдия еще нет вестей на разыскную телеграмму, да и скоро ли она найдет его, отдавшегося во власть гастролей музыкально-вокальной эксцентрической труппы? А если и найдет сегодня, то никакие курьерские поезда не успеют примчать Клавдия к дню погребения отца.

Жалостливая и любящая мать Калерия Зоиловна была непосредственна и на этот раз:

— Оттого, что по мертвому отцу будет надрывать свою душу и второй сын, новопреставленной душе краше не будет, а Клавочке с его хлипким здоровьем может стать совсем худо на похоронах.

Платон окончательно понял, а поняв, недоумевал, как могли прожить столько вместе два чужих человека, называясь мужем и женой.

Калерия Зоиловна, стараясь скрыть свое желание прочитать завещание мужа, не могла этого сделать. Она знала, что написано в завещании, составляемом при ее участии. Однако у нее закрались сомнения: не переделал ли он втайне от нее написанное и не обделил ли не любимого им Клавдика?

— Мама,— сказал ей Платон,— то, что ты ищешь в сейфе, вероятнее всего, лежит в ларце вместе с «Поминальным численником».

— Да, наверно, Платик, но это успеется... Но если тебе хочется знать волю отца, я открою ларец.

Калерия долго и нервно искала ключ от ларца. Отчаявшись его найти, она увидела его в замке. Еще торопливее, еще возбужденнее листала она «Поминальный численник», меж листов которого могло быть завещание, и, снова отчаявшись в поисках, так же неожиданно нашла его на дне ларца. В большом конверте. На конверте было написано: «Сыновьям моим Платону и Клавдию».

Конверт разорван. Завещание в ее руках. Она проверяет написанное и, сдерживая улыбку, произносит громко:

— Оно! То же самое... А я-то подумала, грешница...

И тут же, войдя в большой зал дворца, где на столе лежал Лука Фомич, она подошла к Платону, пожала ему руку выше локтя и шепнула:

— Он вас обоих любил поровну. И поровну разделил все тебе и Клавдию...

— Мама, постыдилась бы ты отца... Он еще дома,— сказал Платон и перешел к изголовью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Цинизм, как бы утонченно ни обрамляли его, как бы ухищренно ни украшали, всегда проступит в любом одеянии,— говорила Цецилия своему отцу Льву Алексеевичу и мужу относительно вызывающе нарядного, сверкающего саркофага. Такие про запас изготовлял Урван Лихарев, на случай преставления ко господу именитого купца, заводчика и всякого богатея, коему положено торжественное погребение.

— Так решила мама, и я, Лия, не вправе указывать ей. Для нее похороны торжественно-траурный ритуал... Мы все,— добавил Платон,— немножечко циники. Критиковать заслуживающий этого гроб также отчасти... Ты понимаешь меня...

А Лихарев был счастлив! Его творение удостоено такого признания.

Это также цинизм, сказала бы Цецилия. Вдохновенный цинизм художника, влюбленного в свое произведение, не задумывающегося о его назначении.

Цинизмом было громкое раскаяние у гроба Луки Фомича замочника Кузьмы Завалишина. Он просил душу Луки Фомича, пока еще она находится на земле, внушить Платону простить злосчастного Кузьку за измену фирме правды и равновесия, наказанного подколодной змеей Зинкой Гранилиной, выгнавшей его из дома и сказавшей, что теперь хозяйка только она и что нет ничего принадлежащего Кузьме, ибо все записано на нее.

— Кто бы мог подумать, господин новопреставленный Лука Фомич, что ею будет содеяна такая пакость!

— Перестань, Кузьма,— остановил его Платон,— неуместны здесь такие представления... Уведите его...

Вслед за уведенным упирающимся Завалишиным вышел и Платон.

— Можешь завтра же, балаганщик, возвращаться на старое место. Если тебе простит твоя жена... Я прощу.

Этого только и нужно было Кузьме Завалишину. Он утер сухое лицо и побежал к семье, в свой старый дом.

Цинично-торжественны были и самые похороны. Со-

гнали двенадцать священников и двенадцать диаконов. Дорога до кладбища была усыпана свежей хвоей и первыми весенними цветами. Старый экипаж был превращен в катафалк, покрашенный белилами и украшенный белыми махровыми кистями. Как только хватило времени и выдумки у вдовы, причитающей по умершему и очень часто теряющей сознание.

Катафалк пустым везли шесть белых лошадей. На нем не был бы виден золотой саркофаг, который двенадцать нанятых, одетых в белое, несли на вытянутых руках, как и крышку.

На сто человек затевался поминальный обед. Штильмейстер составил, отпечатал и разослал сто траурных поминальных приглашений с золотым обрезом.

Желающие помянуть, кто бы они ни были, номерные или нет, на базарной площади могли подойти к длинным, сколоченным из теса столам, на которые подавалось тут же варимое и наливалось из бочек на телегах. Так же бывало на масленой неделе и в Пасху.

Цинизмом было и появление Молохова. Он просил в чем-то прощения у покойного и обещал снять часть запрета на чугунные чушки и медные слитки. Это теперь ему было крайне необходимо. И все понимали, зачем он, перекрестясь, целовал побелевшую, холодную руку покойного.

Вероятно, цинично и перо, кусковато и тенденциозно описывающее немногое из этих широких купеческих похорон. Но не просить же жесткому перу его мягкую сестру — акварельную кисть, чтобы она снисходительнее нарисовала траурный карнавал и заставила его выглядеть скорбной церемонией, так как не было для этого скробной натуры, кроме разве Платона. Но и он скорбел тоже, как и мать, только о потере привычного для него равновесия в семье. Об уходе человека, называвшегося отцом и мужем, за которым было последнее твердое, но не всегда решающее слово.

И близкая когда-то Акинфиным семья Скуратовых не могла жалеть Луку Фомича за обиды, причиненные им Родиону, не защитившему его от Шульжина.

Для населяющих Шалую-Шальву старый хозяин стал безразличен, а за последние годы двуличие Луки затмил его сын своей прямотой и неслыханным улучшением жизни, заработков и труда на заводе. Шальвинцы знали, по прошлому, что всякая смерть хозяина прино-

сила перемены — когда к лучшему, когда к худшему. Какие они будут теперь, если в самом деле молва не врет, что заводами будут владеть два хозяина? Не нотариус, а его переписчица проболталась о равных долях наследования заводов Платоном и Клавдием. И это, казалось бы, касающееся только двух братьев, коснулось всех.

Все знали, что за птица Клавдий и каков у него полет. Не оживет ли в нем дух того мота и прожигателя Акинфина, что ради возведения царка заставил голодать шальвинцев?

Пока люди судили-рядили, старуха Мирониха, еще более возомнившая себя святой, тайной карающей рукой подневольного люда, раздумывала, каким из отобранных ею четырех «средствий» отправить Клавдия вслед за отцом, так погано и гибельно для людей написавшим свое завещание.

Траурный номер строгановской газеты сдержанно сообщал о жизни, прожитой Лукой Фомичом. Вениамину Викторовичу дали прочитать «Поминальный численник», и он нашел необходимым умеренно воспользоваться им, стараясь не прибегать к восхвалению рода Акинфиных.

Более двух столетий столпы этого рода умножали его владения, и, судя по «численнику», не было ничего хулящего в этом умножении. Но из памяти Вениамина Викторовича не уходило рассказанное Флором Кучеровым о роде Молоховых. Поэтому Строганову трудно было допустить, что в богатствах Акинфиных не было примесей «худородного серебра» в какой-то из его разновидностей.

Не стоит об этом. Дадим земле принять прах, обереженный от нее могильной выкладкой из кирпича.

Хоронили Луку Фомича в длинный майский вечер, чтобы, не останавливая заводы, дать проводить его всем пожелавшим этого. Пришли многие из тех, для кого похороны зрелище. На зрелище прибежала и шальвинская детвора.

Были на похоронах и два мальчика. Один из них обязан был проводить на кладбище умершего потому, что он был его дед. Второй приехал с матерью из Молоховки. Он не знал, что лежащий в сказочном гробу, в каких хоронят спящих красавиц, мог быть его дедом. Мальчиков занимала не разлука с уходящим в рай, а

их встреча друг с другом. Ведь они же ровесники, а их мамы тоже очень дружны.

— Нам, Платоник, пока нельзя играть,— предупредил его Вадимик,— а как только дедушка через подземелье уйдет на небо, тогда можно будет все.

Утесним строки о поминальном обеде, на котором заупокойные бокалы развязали и те языки, что умели держаться за зубами. Все же необходимо выделить главное, занимавшее всех. Всех занимало, как распорядится второй половиной наследства примчавшийся ветрогон.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Клавдию на станцию была подана тройка траурных вороных. Спектакль еще не кончился. Он продолжился. Клавдий по приезде закатил первый скандал:

— Как посмели... По чьей злой воле зарыли моего отца, не дождавшись меня? Виновен ли я, что в Брюсселе наследный принц не выпустил меня?!

В стенаниях Клавдий не мог провести и два часа. Отпоенный Лукерьей Болотной вещерицей диким медом, сваренным с церковным вином, Клавдий уснул. Проснувшись, он опорожнил бутыль целительного снадобья и проспал до утра.

Утром он не пожелал поздороваться с Цецилией, за что ее отец, Лев Алексеевич, не заметил протянутой ему Клавдием руки.

Наступил девятый поминальный день после кончины Луки Фомича. По стародавнему обычаю Акинфины побывают на могиле. Зная об этом, выживающая из ума Мирониха во имя спасения покоя и благоденствия на заводах уйдет из жизни и уведет с собой ненавистного всем «труждающимся и обремененным» Калеркиного выродка Клавку Акинфина. По гаданиям, снам и шальвинским пересудам он принесет раздоры и расколы на заводах и покусится на жизнь старшего брата Платона, ниспосланного фабричному люду его благодетелем.

Изработавшаяся, дряхлая, костлявая старуха, рано потерявшая мужа Мирониха, все эти долгие годы живя озлоблением, сосредоточила себя на мести Клавдию за свои муки, за людские страдания.

Ею, желчной, озверевшей в эти последние часы перед своим самопожерствованием, было подготовлено и прикинуто все необходимое для расчета с Клавдием. Так

бы и было, если бы волнения и напряжение перед расплатой не остановили ее мятежное сердце.

Кончина Миронихи прошла незамеченной. Кому была нужда до старухи, которая могла изменить направление дальнейших шальвинских событий? Как мог знать тот же Клавдий, что в этот девятый день, поминальный день, он мог бы и не прийти на могилу отца для выяснения с Платоном их дальнейших отношений, завещанных отцом?

Завещание выглядело письмом, обращенным к сыновьям, и наставлением им. Оно начиналось такими словами:

«Владейте и управляйте всем движимым и недвижимым сообща. Не для того и я, и дед ваш завязали нажитое в один тугой узел, чтобы вы разрубили его».

Не веря, видимо, в силу своих наставлений, не находя и в самом придуманном им слове «узел» соответствия разрозненно живущим и порознь работающим заводам, которые можно было легко разделить не только между двумя, но и семерыми наследниками. Поэтому для легко делимого была найдена искусственная неделимость.

В завещании каждый из заводов наследовался по частям, с подробным перечислением, что и кому,— например, о железоделательном заводе было сказано:

«...завещаю в оном доменную печь моему младшему сыну Клавдию, ему же и оба сортопрокатные станы. Станы же листопрокатные со всем прилежащим к ним, как и две сталеплавильные печи, дарую старшему сыну Платону. Ему же и рудодробильное и шихтовое обзаведение...»

Гвоздильный завод отдавался Клавдию, а волочильная фабрика, изготовляющая проволоку для гвоздей, завещалась Платону. Литейный цех так же скрупулезно перечислительно передавался во владение сыновьям по частям. Формовочный цех — одному, литейный — другому, печи же каждому по одной. Столярно-модельная мастерская отдавалась старшему, а лесопильный завод младшему.

Завещание на семнадцати листах предусматривало и раздел по комнатам дворца и строений при нем. Лесные и земельные угодья, покосы и пасеки размежевывались с той же целью неделимого разделения.

Читавшие завещание поражались изощренности Луки Фомича в завязывании множества узлов, узелков и

узлишек во имя одного, главного, заветного неразрубаемого узла, связующего воедино все существовавшие под единым наименованием: «Шало-Шальвинские заводы Акинфина и сыновей».

Нельзя было без обоюдного согласия братьев разделить и наличный капитал в деньгах, векселях и других бумагах.

Жить братья должны были только на прибыли, деля их так же, по обоюдному писаному согласию.

— О прибылях-то мы поговорим, Тонни,— предложил Клавдий Платону там же, на кладбище.— Владеем теперь заводами мы оба, а распоряжаешься прибылями ты. Они давно при тебе, а ты при них. Ты их душа,— польстил он брату,— а я... Но не будем переводить в слова, кто я... Какую бы долю прибылей хотел как «душа» и сколько бы нашел справедливым отдать мне?

— Справедливость, Клавдий, в данном случае обидела бы тебя, поэтому не будем приглашать ее в судьи. Лучше призовем двух других.

— Двух? Кого же?

— Твою совесть и мою.

— Это разумно. Мы же братья. А если мы братья, то твоя и моя совесть сестры. Пусть назовет мою долю старшая сестра.

— Начинал ты. Тебе и продолжать.

— Я затрудняюсь, Платон, назвать цифру моей доли.

— Тогда напиши ее... Хотя бы здесь. Тростью на песке.

— Изволь.— И он вывел на песке четверку. Посмотрел на брата. Пораздумал и приписал пятерку.

— Я понял, Клавдий. Тебя не трудно понимать. Твоя совесть подсказала тебе четыре доли из прибылей. Она была более снисходительна ко мне, чем ты, приписавший пятерку.

Клавдий еле заметно покраснел.

— Да, я ничего не хочу скрывать от тебя. Я хотел получать четыре с половиной доли, оставляя тебе пять с половиной. А потом...

— Что потом?

— Потом я подумал, что наш отец, разделив все поровну, оставил тебе больше.— Клавдий коснулся своего лба: — Я многое недополучил здесь по сравнению с тобой. И я хочу хотя бы чем-то вознаградить себя за недоданное.

Платон не мог и не должен был при этих обстоятельствах задеть самолюбие брата. Шел торг. Шел торг на большие суммы. Поэтому Платон заставил любезную и неуместную теперь усмешку превратиться в свою застенчивую улыбку.

— Не принижай себя, Клавик. Я всего лишь слесарь, а ты цезарь в своем кругу. Тебе отлично известно и самому, кто ты.

Падкий на похвалы Клавдий спросил:

— Так ли уж справедливо, Тонни, если ты будешь получать пятьдесят пять процентов, а я всего лишь сорок пять?

— Но их, Клавдий, нужно добыть. И не кому-то, а мне. И твои сорок пять, и пятьдесят пять мои. Ты знаешь, когда я встаю и когда ложусь. Тебе известно, каких сил стоит мне одна гвоздильная фабрика... Она же твоя. И если бы ты нанял кого-то управлять ею, тогда бы тебе не трудно было понять, что это значит...

— Не убеждай, я знаю и сам, что это значит...

Клавдию надоело сидеть на кладбище, его утомлял разговор о заводах, и ему нужно было как можно скорее покончить с прибылями, поэтому было сказано:

— Хорошо, Платон, решим не по-твоему, не по-моему — пять пополам.

— Если ты так великодушен, то прибавь своему приказчику половину процента.

— Прибавляю, Платон, а ты за это купишь у меня мою половину нашего дворца.

Платон согласился. Согласился он, когда они спускались с кладбищенской горы, выплатить и за принадлежащую Клавдию половину цирка.

— Он мне так же нужен, как и твоя больница. И вообще, Платон, я продал бы тебе все принадлежащее мне, если бы ты мог купить.

Такой прямой разговор с Клавдием предопределил дальнейший ход событий и подтверждал вынашиваемое Платоном желание по-своему перевязать отцовский узел. И он поделился своим намерением с Цецилией.

— Разумник ты мой, я угадала твои мысли. Осточертевший нам прикамский лес поможет тебе освободиться от этого паяца и рассчитаться с ним. Но для этого прежде всего нужен настоящий лесничий. Лес воруют. Наживаются на нем предприимчивые жулики. Папа на это смотрит сквозь пальцы. А ты, Тонни, не должен да-

лее пренебрегать нашим, понимаешь, нашим добром. Оно пригодится тебе и выручит тебя.

— Ты права, лесом нельзя пренебрегать,— признался Платон.— Я согласен, но при условии, что ты станешь моим акционером.

Цецилия, расхохотавшись, обняла Платона и сказала:

— Буду кем угодно, только избавь меня и папу от этого дремучего наследства. Я уже вызвала лесничего. Очень колоритная фигура. Увидев его, ты все поймешь и правильно рассудишь...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лесничий появился скорее, чем ожидали.

— Как вы так? — спросил его Родион Максимович.— Вам же на пароходе нужно было, потом через Пермь на поезде. Это же большой круг.

Лесничий ответил:

— Зачем надо по кругу на пароходе ездить? Лучше на коне, и билет не надо покупать.

— Вы на лошади? — удивился Скуратов.— В такую даль?

— Какая даль, Родион Максимович! Мы рядом живем. Четыре дня — и тут. Через большой камень только нелегко, а потом опять легко.

Лесничего звали Ильей Сысоевичем Парминым. Он так и назвал себя изумленному его видом Платону.

Пармин был очень странно одет. Широкий резиновый, с кожаным кармашком кушак. Кургузый пиджак. Брюки с напуском поверх голенищ. Выцветшая косоворотка. Говорил он с акцентом, какого Платон не знал.

Познакомились. Обменялись ни тому, ни другому не нужными словами.

— Вы русский, Илья Сысоевич?

— Русский. Все мы теперь русские, Платон Лукич.

— А родители ваши?

— Да тоже ж, пожалуй, русские, а там кто их знает.

— Вы давно служите лесничим?

— Как помню себя. Всегда.

— А где вы получили образование?

— У себя. Хорошо учили. Трудно было.

— Почему трудно? Не давались знания?

— Нет, давались. Били много.

— За что?
— Не знаю. Без этого, сказывали, нельзя, учить.
— И сколько же лет вы, Илья Сысоевич, учились?
— Долго. Сначала две зимы. Потом хворал зиму. Потом опять зиму учился. И летом книжку читал.
— О чем? Какую книжку?
— Не помню. Толстая книжка. Вершка два.
— В чем же состоит ваша работа?
Пармин не понял вопроса. Платон переспросил:
— Что вы делаете? Какова у вас работа?
— Всякая работа. В лесу много работы. Зверя бью. Рыбу с женой ловим. Есть-то ведь надо. Дом большой. Топить надо. Много дров пилим. Зима долгая. А без тепла в доме как?
— А как вы смотрите за лесом? — Платон хотел сказать: «Как наблюдаете за лесом?», да побоялся, что его не поймут.
— Глазами смотрим, Платон Лукич.
— А как проверяете, когда рубят лес?
— Тоже глазами.
— Измеряете?
— Как же не измерять.
— Как измеряете?
— Тоже глазами. Глаза видят, какой плот. Сколько плотов. Меня не обманешь. Караулю, когда плоты идут. В книжку пишу.
Платон понял, что ничего он не сумеет выяснить, лесничий, никакой не лесничий и даже не лесник. Желая узнать хотя бы что-то еще, он спросил:
— Много рубят леса?
— Много. Беда как много.
— Убывает лес?
— Как не убывать, убывает.
— Заметно убывает?
— Другой раз заметно. Другой раз нет. Большой лес. Беда большой. Долго ехать по нему надо.
— Сколько долго?
— Куда как.
— А вы знаете, где начинается, где кончается лес, за который отвечаете вы?
— Как не знаю. Хорошо знаю. Начинается у Камы.
— Вы можете показать на бумаге?
Пармин подумал, посмотрел на предложенный лист.
— Нет, не могу. Большой лист надо. И все равно

мало будет. Туда надо ехать, Платон Лукич. Там все видно.

— Вы можете показать?

— Как не могу. Я все могу. Парасковья Яковлевна тоже может.

— Кто это такая?

— Жена моя. Разве не знаете? Ее все знают. Вот она какая.— Он поднял над головой руку и привстал на носки.— На медведя ходит. Она главная у меня.

— Это хорошо, что у вас такая отличная жена.

— Как не хорошо. Беда как хорошо. Мне легко при ней. И ей легко. Я не тяжелый. На руках меня носит.

— На руках? Куда?

— Домой носит. Как я в праздник ногами пойду? Несет!

— Водку пьете?

— Нет! Водка карман ест. Кумышку гоним! А-ай, какую гоним! К нам, Платон Лукич! Поднесу. После стакана сидишь за столом, после двух лежишь под столом.

Было напрасным продолжать разговор. Платона сердил не Пармин, а Лучинины. Как мог Лев Алексеевич положиться на этого тщедушного, полуграмотного человека!

Лес во всех случаях нуждался в хозяине.

Отправив Пармина в «Гостиницу для всех», наказав дежурному технику проводить его и велеть содержать на полном пансионе за счет фирмы, решил, как он делал всегда, посоветоваться с Родионом.

Скуратов давно знал, что нужно делать с лесом, и тут же сказал Платону:

— Во-первых, сразу же сейчас же нужно запретить всякие порубки и сплав леса.

— А во-вторых?

— Во-вторых, назначить настоящего, хотя бы что-то знающего лесничего.

— Но кто, Родик, согласится жить в такой глуши?

— Деньги. Они найдут лесничего. Штильмейстер сделает все. Если не сумеет он, помогут газеты. Найдется, Тонник, лесничий...

На этом и порешили.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Лесничий нашелся. Он показался Платону таким, как он представлял лесничего. Крупный мужчина. С бородой. С добрыми глазами. Нетороплив. Малословен.

— Чердынцев Василий Иванович,— представился он.— Лучининские леса я знаю. Хорошей рекомендации о себе принести не могу. Я поссорился.

— На какой почве, Василий Иванович, если не секрет?

— На почве не вырубки, а истребления лесов.

— Это очень хорошая почва. Благородная почва.

Теперь оставалось решить, сколько платить, где жить и кого можно принанять в помощь.

К удивлению Чердынцева, Платон Лукич не по годам был опытен, сведущ и скор в решениях.

— Сколько вы получали, Василий Иванович, столько и будете получать, тем более что вы сами будете платить себе жалованье. Сами будете и строить свой дом. Сами будете и рассчитываться за все, что необходимо сделать. У нас не были предусмотрены расходы по лесу. Предусмотрите их вы сами.

— Как я могу без разрешения?

— Я вам его даю. Делайте все, что разумно, полезно. Делайте так, как бы поступали, если бы этот лес был вашим, а не Цецилии Львовны. И если вы будете поступать так, то мы окажемся взаимно полезны друг другу. Вы сами скажете, где вам недоплачено и за что. А если вы не окажетесь взаимно полезны... тогда перестанет существовать и сама взаимность наших отношений. Покрывайте лесом расходы и не забывайте записывать. Записывать так, чтобы можно было проверить записанное, если понадобится.

— Такого не бывало.... Я всегда служил.

— А сейчас вы будете сотрудничать с нами. Акционерствовать.

— Я попробую, Платон Лукич. Не ручаюсь, что получится у меня.

— Получится. Непременно получится, как только вы преодолеете страх, которым начинен всякий исполняющий чужую волю. Когда же вы почувствуете себя сотрудничающим, когда вы избавитесь от самоподозрения самого себя в обмане, которого нет и не будет, все станет на место.

— Как вы можете быть уверенным в этом...

— Могу, хотя бы потому, что никто не захочет из-за какого-то каравана леса потерять все и себя. Вы это поймете. И чем скорее, тем лучше.

— Наверно, пойму скоро.

— А когда поймете, вы сами увидите, что быть хозяином и не знать границ своего хозяйства невозможно. А поняв, вы установите и проверите эти границы. До вершка. У вас появится возможность много получить, а у нас мало уплатить. Потому что вам эти планы и карты будут стоить во много раз меньше, чем если бы это делали люди, нанятые со стороны.

Не прошло и месяца после запрета на порубку лесов, как стало многое выясняться. Новый лесничий оказался не только человеком слова, но и дела. Он развил широкую деятельность. Нашел ходы и ключи к полиции. Отчитывался, кому и что он уплатил. Писал иносказательно, но понятно. Порубщиков штрафовали и арестовывали на день-другой и выпускали.

Вор вора не только видит издалека, но еще дальше слышит, каковы у него дела.

В Шальву воры кинулись скопом. Каждому хотелось заполучить близкие к рекам лесные угодья и заключить контракты с указанием места и размеров порубок.

Сначала в Шалую-Шальву припожаловали приказчики, доверенные, агенты, а потом и сами лесопромышленники. Платон отказался разговаривать с ними. Да и не о чем. А Штильмейстер желал встречи. И на первой же из них, после предварительного разговора, который можно назвать разговором для узнавания друг друга, Георгий Генрихович вбил первый клин.

— Я с удовольствием бы продлил с вами отношения, но не могу,— ответил он первому, отрекомендовавшемуся Поповым.

— Почему?

— Вас уличают в надувательстве.

— Меня в надувательстве? Как можно? Кто наклеветал?

— Это вы узнаете на суде, если до него дойдет дело. А оно не может не дойти. Улики очень убедительны. Называют места, число десятин, количество плотов и чуть ли не число бревен, которые вы, говоря без смягчений, украли,— явно выдумывал Штильмейстер.

— Да как вы...

— Пожалуйста, не возвышайте голос. В вашем положении этого не следует делать... Разве я говорю, что вы вор? Это говорят те, кому вы, может быть, недоплатили или с кем-то что-то не поделили...

— Конечно, лес темный товар. И могло быть всякое... Не ситец. Аршином не вымеряешь. Да и на аршин тянут...

— Вот мне и хочется знать, сколько вы натянули... Я понимаю, что сразу на этот вопрос трудно ответить. Вы многое забыли. Не один же год вы натягивали... Вспомните. Подумайте и верните принадлежащее не вам. Тюрьма, даже улучшенная, такая, как пермская, останется тюрьмой.

— За что же тюрьма... Георгий Генрихович?

— Вы опять, господин Попов, разговариваете со мной громко. Тише. В вашем положении я бы разговаривал ласковым шепотком. Вы говорите, за что тюрьма? Слушайте. Если десять свидетелей подтверждают, что вами украден лес со ста десятин, и называют каких, не думаете ли вы, что суд присяжных оправдает вас?

— Допустим. Уличили клеветники...

— Все десять клеветники?

— Допустим, нет. Заставят уплатить, и вся недолга.

— Уплатить за кражу, за нарушение священного закона собственности...

У Попова забегали глаза. Штильмейстер заметил это.

— Не будем терять время. Подумайте, вспомните и назовите сумму, которую вы наличными должны вернуть наследнице.

Штильмейстер встал. Подал руку. Попов не уходил. Штильмейстер открыл дверь.

На очереди был второй.

С ним повторилось, но более уверенно, то же самое.

— Завтра жду. Я утомлен. У меня встреча с главой фирмы. Идите же, господин Тощаков. Я не могу заставлять ждать меня лошадей. Я с уважением отношусь к животным.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наутро они пришли в той же очередности. Попов задиристо спросил:

— Сколько, господин Штильмейстер?

— Вам лучше об этом знать, сколько. Воровали вы, а не я.
— Десять!
— Десять? — удивился Штильмейстер.— Как вам не стыдно!
— Сколько же еще?
— Вон! — указал он на дверь. —Вы разговариваете со мной как барин с извозчиком. Сто!
— Сто? — попятился Попов.— За сто лет на сто тысяч рублей самый отпетый ворюга из ворюг в лесу не украдет.
— Может быть, и не украдет, зато отучится воровать. Избавление от тюрьмы всегда стоит дороже преступления. Я не могу долго держать посетителей.
— У меня нет наличных...
— Есть векселя. Пройдите в главную бухгалтерию, к господину Потоскуеву. Я ему сообщу по телефону, и он...
— В бухгалтерию, а не вам, Георгий Генрихович?
— Очень сожалею, господин Попов, что всякое лицо вы принимаете за зеркало...
Второй «налим», Тощаков, сорвался с крючка. Вместо главной бухгалтерии он умчался на станцию. Это взбесило Георгия Генриховича, вошедшего во вкус «клиновыбивания». Он позвонил приставу. Перед отходом поезда станционный урядник подошел к Тощакову:
— Вы позабыли уплатить за комнату в гостинице.
Тот вынул десять рублей:
— Прошу прощения... Уплатите за меня, сделайте одолжение.
— Не могу-с.
— Но не опаздывать же мне...
Тощакова повезли в пролетке. Дорогой урядник ему объявил:
— Не желая позорить вас при пассажирах на станции, я для отвода сказал про комнату. А недоплата у вас за другую меблировку, так что прошу вас к господину Штильмейстеру.
— Зачем же вы уличили себя побегом и дали повод мне на суде сказать об этом? — спросил Штильмейстер.
— У меня нет таких капиталов, как у Попова. Я вполовине против него лес вырубал. Гляньте в контракты...
— Я и хотел половину. Разумеется, векселем. Кто же при себе возит такие суммы?

Штильмейстер в улучшенном виде повторил, как это нужно сделать.

Вечером из рук Георгия Генриховича Цецилия Львовна получила два векселя.

— Как это неожиданно и любезно... Но я считаю несправедливым получать деньги ни за что. Каждый пятый рубль будет вашим, господин Штильмейстер. Это все же какие-то случайные щепки прилетели из моего леса.

Войдя в эту игру, Штильмейстер не захотел останавливаться. Те, кто приезжали за восстановлением контрактов на порубку и сплав лучининского леса по Каме, уезжали из Шальвы, подписав вексель. Те же, кто не приезжал, приглашались деликатными письмами:

«Милостивый государь! Не желая прибегать к судебному посредничеству в отношении несоответствия выплаченного вами к вырубленному, покорнейше прошу прибыть для личных выяснений и уточнений разницы недоплаты».

Далее: «С совершенным почтением имею честь пребывать: за двоеточием следовала четкая подпись — Г. Штильмейстер».

Письма безошибочно били по цели, потому что они посылались ворам, каждый из которых знал, что он вор, и знал, что его могут уличить в краже. Новый лесничий Чердынцев называл их пофамильно. Не ответил только один, самый крупный вор, с которого следовало получить, по подсчетам Чердынцева, больше, чем со всех остальных. Это был тот, в облике которого супруга Льва Алексеевича Лучинина нашла оскорбительное сходство с Иваном Сергеевичем Тургеневым.

Окрыленный перспективой новой охоты за крупным зверем, Георгий Генрихович помчался в его логово. У нас могла бы появиться еще глава о поединке уличаемого и уличающего, но она в новом разночтении повторит тот же сюжет схватки, в которой неизбежным победителем окажется Штильмейстер. Пусть он достигает этого, мы же должны посмотреть на то новое отражение Верхнекамских лесов в делах фирмы Акинфиных, которое возникло после операции Георгия Генриховича...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не вдаваясь в тонкости соображений Платона Лукича, отказывавшегося от лесного приданого жены, не будем разбирать, что руководило им. Повышенная ли ще-

петильность, боязнь ли забираться в дебри прикамской пармы и отвлечься от главных шальвинских дел, или что-то другое, известное только ему... Теперь же он твердо решил ковать золотые подковы из дерева.

«Составные» дома, получившие признание и спрос, почти не продавались на сторону, хотя и могли бы давать прибыли, по выражению почившего Луки Фомича, «сам-три» и даже «сам-четыре». То есть в четыре раза больше затраченного на них. Но первым препятствием этому были ограниченные сырьевые возможности. Бассейн рек Шалой и Шальвы не переизбыточен лесными богатствами. Здесь лес, пожираемый заводами, все далее и далее отступал от них. Приобретать древесину в чужих, далеких дачах и доставлять ее было дорого и хлопотно. Дорогим и хлопотным стала бы доставка домов купившим их. И если по тем же причинам Платон отказался от изготовления веялок и молотилок, то было бы нелепостью повторить в более громоздком виде отвергнутое. «Составной» дом и в его несобранном виде не веялка. Он требовал обоза в десять — пятнадцать телег или саней, а затем перегрузки в вагоны.

Подковам достаточно посылочного ящика, а домам нужны вагоны и вагоны... Поезда!

Изготавливаемые же «составные» дома в благодатном Прикамье устраняли все шальвинские трудности. Там неисчерпаемость леса, дешевая рабочая сила и даровая широкая дорога — Кама.

— Лия,— начал раскрывать свою затею Платон,— я могу поступать только так, как могу: твой зеленый капитал не должен обогащать ни поповых, ни тощаковых. Я решил стать единственным и постоянным покупателем твоего леса.

— Какая прелесть! Тьма удобств! Мне взамен многих придется подписать один-единственный контракт.

— Да, придется, мое очарование, и расторгнуть все остальное.

— Нет, это просто. Я не нахожу слов, мой бэби... Это удивительно забавная игра «в магазин». Ты меня возвращаешь в мое милое детство: я торговала, а гувернантка и мама покупали...

— Я рад, Лия, за свое умение развлечь тебя, но, к сожалению, после того, как подрастают дети, их игры усложняются юридическими добавлениями.

— Тонни! Пусть они усложняются. Я уже подготов-

лена тем, что мне рассказывал твой верный оруженосец. И я нахожу разумным превращать лес в дома, доски... во все то, во что он может превратиться и увеличивать мои перенакопления. Я подпишу все, милый мой, закрывши глаза.

— Лия, не всегда и не на все разумно закрывать глаза. Притворяющийся слепым, Клавдий не закрывает их. Он требует, чтобы на фирменной марке значилось и его имя. Разумно ли допустить, чтобы оно перешло с пошлых афиш кабаре на почтенную вывеску фирмы и стало в ряд с моим ничем не ошантаненным именем?

— Да, Тонни, на это нельзя закрывать глаза. Имя Клавдия одиозно. Оно может бросить на нашу фамилию дурную тень... Какую — трудно предположить, зная, что от него можно ждать только унижающее нас. Фирма должна быть названа нейтрально...

— Ты ясновидящая, Лия! Кажется, любовь ко мне и ненависть к шантеклеру в павлиньей окраске приоткрывает тебе двери в мудрость и благоразумие... Если фирма не станет акционерным обществом, я останусь во власти замков, подков, крестиков и галантерейных новинок фабрики «Женский труд». Если бы двое самоубийц — Молохов и Потаков, да еще Мамаев, этот дальний проволоковолочитель, хотя бы фиктивно согласилися «акционерствовать», тогда бы появились формальные основания... У Клавдия достаточно союзников из моих недругов. На земле Штильмейстер не единственный тевтонский гений сутяжничества... Такого же может найти и Клавдий и нарушить мои планы...

— Нет, Тонни, нет... У него сплюснута голова. В ней может уместиться только подлость, но не ум, необходимый и для нее. Подлость без ума — это самоуничтожение Кузьмы Завалишина. Это выстрел в себя метившего в тебя Зюзикова. Клавдий бессилен кажущейся ему силой. Делай так, как ты находишь лучшим для своей мятущейся души. Она также не безглаза и когда-то прозреет...

— Лия, ты поклялась не возвращаться к демидовским аналогиям. Я хочу превращать лес в благополучие, а потом укрепляться на берегах Средней Камы...

— Разве я помеха этому? Но не запрещай и мне, Тонни, думать и желать. Я думаю, что камские предприятия твое последнее заблуждение. Оно будет самым прибыльным. Там миллионы растут из земли. Приходи и срубай их топором. Или новыми пилами, какие ты придумал.

И если, Тонни, ты в самом деле скупишь прикамские заводы, то и в этом случае... Может быть, именно в этом случае ты поймешь, что огромную закостенелую страну, привыкшую к мраку, который стал нормальной средой жизни России, нельзя просветлить, если ты зажжешь на Каме десять, двадцать... сто громадных факелов. Вековая темнота проглотит их свет. И ты погасишь их на Каме и в себе... Не торопи меня. Мне осталось сказать еще несколько слов... Погасишь их в себе и не оглядываясь убежишь к другому огню.

— К какому, Цецилия? Уж не к тому ли, что пытаются высечь во мне некоторые люди?.. Цецилия! Я не из тех кремней, которые подвластны всякому огниву. Для их огня я безнадежно невоспламеним.

— Ты меня не понял, Тонни. Я не о тех огнях, которые способны только сжигать. У нас есть свой свет, в котором нам суждено было родиться и в котором мы угаснем. Не мы придумали миллионеров и нищету. Папа уже превратил два свои воронежские имения в то, что безопаснее хранится в сейфах надежных банков. Продашь и ты. И особенно это легко будет сделать, когда твоя фирма станет акционерной. Продал свои акции — и ты как птица...

— Ты, Цецилия, безжалостнее, чем я думал...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Улыбки Фортуны смягчили нелепые предсказания Цецилии, уехавшей в свой Петербург вместе с не огорчившимся разлукой с отцом Вадимиком. Его родной землей была и, видимо, останется столичная земля. Он был в дорожном девчоночьем платье. Странна и глупа мода наряжать девчонками мальчишек. Эта одежда для мальчиков и неудобна и негигиенична. Неужели из Вадимика в самом деле может вырасти Клавдий? А мог бы сын вырасти им — Платоном. Он так любознателен, так привержен к разумным игрушкам.

— Папа,— сказал он, прощаясь,— ты привезешь мне маленький настоящий паровоз с паром и со свистком?..

Когда Вадимик сказал слово «паровоз», Платон облегченно вздохнул. Ему теперь не нужно приобретать свои ширококолейные паровозы. Казна покупает ветку, и вместе с ее продажей будут проданы казне тяжбы с Молоховым из-за его клочка земли и все заботы по расчи-

стке линии зимой, по ее ремонту летом. Не нужно будет запрещать или разрешать перевозки примазывающимся к дороге, неизвестно откуда взявшимся клиентам. Всем вдруг надо стало что-то провозить, что-то увозить. Для таких нужно содержать ватагу весовщиков, кассиров, контролеров, а затем еще платить налоги, не сводя концы с концами.

Флегонт Потоскуев мудр, сказав, что фирма была права, создавая ветку, и десять раз права, продав ее, получив прибыль. Жаль одного — ветка могла бы помочь «акционированию», но теперь оно предрешено и без нее. Акционеры есть. Есть!

Иван Балакирев, разбогатев на веялках, возродив маленькие кустарные предприятия и снабжая их всем недостающим, сделанным из металла, вполне может купить акции. Штильмейстер отсудит у Гранилиной ее угасающее замочное заведение; и туда вассалом-акционером вполне можно посадить Кузьму Завалишина. Недалеко уедут на своих колокольчиках и бубенчиках и Потаков с Шульжиным. Этот ямщичий товар не вывезет их на вершину золотой горы. Они вынуждены будут стать акционерами. Молохов уже приоткрыл фирме свои чугунные ворота. Первый поезд с грузом медных слитков покажет ему, как много поставщиков хотят ему подставить ножку. Теперь бы только не ошибиться в новом названии фирмы. Их два: «Весы» и «Равновесие».

Первое короче, но звучит как-то лавочно. Второе стало надоедливым, но выразительно. В самом деле, назвать акционерное общество «Равновесие» — внушает доверие и уважение.

Наверно, следует остановиться на «Равновесии». Оно в идее. С ним ему невозможно расстаться.

О чем же думать, о чем печалиться? Все хорошо. Все хорошо!

С Камы вернулся Родион. Он с Чердынцевым нашел места для лесопилок и двух заводов для «составных» домов. Там же несчетно много мастеров, умеющих строить баржи для сплава домовых комплектов. Пиловочные материалы пойдут белянами. Испытаннейшие суда.

Все хорошо!

Возведением корпусов заводов займутся инженер и трое техников. Будут строить из дерева. Не на сто же лет возводятся эти заводы. Жилье для рабочих произведут там же. Они уже знают, что, как и к чему. Конечно,

нужно будет послать пусковиков из Шальвы. Они научат тамошних рабочих приладке, точности, вниманию и...

И будущей весной первые караваны «составных» домов двинутся вниз по Каме... Вниз по матушке Волге и вверх по ней — в Нижний, на Макарьевскую ярмарку...

Все хорошо!

Хорошо-то оно хорошо, но зачем опять появился новый рассуждающий человек? Он не похож и чем-то похож на того самого Якова Самсоновича Молоканова. Похож, может быть, своей противоположностью. Тот из революции, а этот из противостоящих ей.

Он весьма и превесьма аристократичен. Его зовут Хрисанфом Аггеевичем Гущиным. Полковником без обозначения рода оружия, к какому он принадлежит. А это, впрочем, и не надо было делать. Род оружия у него в глазах, языке, в умении отвечать на вопросы и задавать их. Оно и в его необыкновенной осведомленности.

По внешности Гущина можно принять за льва столичных салонов. Высок. Черноволос. Картинные черты лица. В Лондоне он сошел бы за потомственного лорда, в Москве — за столбового дворянина. Заботлив о ногтях, бритье, манжетах, повязке галстука и тонком аромате, исходящем от него.

В «Гостинице для всех» он занял лучший номер. Учтив с прислугой, весел в общении с людьми. Сказал, что он бывал проездом в Шальве и любит ее. Мечтает поиграть в вертушку, увидеть бой петухов, а также побывать на окрестных заводах.

После первой, мимолетной встречи Платон пригласил Хрисанфа Аггеевича к обеду. За обедом шел только светский разговор. Он касался новых книг, театра, мод, литературных веяний, потери некоторых святых традиций. Говорили об отсталости заводов на Урале, о незыблемости империи, не ощущающей потерь от малых неудачных войн, о нелепости студенческих волнений, о «неомессианстве»... О нем особо и подробнее, чем о другом.

— Что вы, почтеннейший Хрисанф Аггеевич, подразумеваете под «неомессианством»?

— Оно, Платон Лукич, столико... Есть поэты. Талантливые стихотворцы. И петь бы им да петь, стяжая славу... Славу, положенную им. Положенное им в литературе, обществе и... И в том числе в народе. Народ стал чтивым и понимающим иной раз и в стихах... Чего же



боле для таких пиитов?.. Так нет. Им мало. Они все громче — я да я. Сначала «я пророк», а следом «я мессия». Не глупо ли? Не стыдно ли такое самозванство, Платон Лукич?

— Я затрудняюсь вам ответить, Хрисанф Аггеевич. Разное «я» по-разному звучит. Александр Сергеевич Пушкин также часто употреблял это местоимение. Его также можно при желании обвинить, как вы сказали, в «самозванстве».— Платон вышел из-за стола и продекламировал: — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

— И воздвиг, Платон Лукич, воздвиг! Не называя себя мессией, он был им. Был! Мы бы сидели без него и до сих пор в смрадных останках «Золотой Орды». Он был мессией, как был им Петр Ильич Чайковский в мире звуков.

— Чайковский, а не Глинка? — спросил Платон.

— Глинка был его предтечей, Иваном Крестителем, не более. Как вы можете, Платон Лукич, молясь Чайковскому, считать его вторым...

— Вы не знакомы, Хрисанф Аггеевич, с моей женой?

— Заочно. А почему вдруг задали такой вопрос?

— Мне захотелось узнать, откуда вам известно то сокровенное во мне, которым я не делюсь ни с кем.

— Платон Лукич! Мир так широк, так многослышим... А вы, Платон Лукич, так известны и на таком большом слуху, что даже назывались государю...

— Поэтому, наверно, Хрисанф Аггеевич, я был дважды не пропущен в думу...

— И очень хорошо, Платон Лукич, что не оказались в обществе громких слов и пустоты речей.

— Однако, Хрисанф Аггеевич, обед уже закончен. Не прогуляться ли нам в моем автомобиле?

— Чацкий сказал бы вам на это: «Люблю кареты, да кучерских боюсь ушей».

Платон любезно поклонился.

— Вы ко всему и сочинитель. Великолепнейший экспромт. И я отвечу вам экспромтом: «Не чту и я чужих ушей, прогнавши кучера взашей...» Я, Хрисанф Аггеевич, сам управляю моим экипажем...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Акинфин и Гущин слишком засиделись в маленьком обеденном зале. Тому и другому хотелось как можно больше знать друг о друге. Поэтому понадобилась совершенно нейтральная почва. Такой оказался «мотор», который тогда почти еще не называли автомобилем. Даже в песнях можно было услышать: «На острова летит стрелою мотор вечернею порой».

Вечерней порой мотор Акинфина не летел, а ковылял по самой ровной, накатанной полевой дороге и, пройдя свое, остановился на невысоком, обрывистом берегу Шалой.

— Теперь вы можете развить ваше вступление о «мессиях», Хрисанф Аггеевич, и, перескочив через несколько подготовленных ступеней, можете заняться мной.

— Вы, кажется, Платон Лукич, заглядываете в меня?

— Хрисанф Аггеевич, глаза хозяина обязаны быть взаимно любезными.

— Тогда оставим любезности...

— Вы это, Хрисанф Аггеевич, могли бы сделать при первой нашей встрече.

— Помешал этикет...

— Отбросьте и его.

— Тогда скажите мне: вы верите, что вами будет достигнуто равновесие, которое вы объявили на вашем новом фирменном знаке нового акционерного общества?

— Зачем верить в то, что видят собственные глаза? Сделано еще не так много, но больше, чем предполагалось. Надеюсь, Хрисанф Аггеевич, вы не оставляли глаза в номере гостиницы, знакомясь с Шальвой, и ваш слух не изменял вам, когда вы со свойственной вам учтивостью разговаривали со всеми, кто вам встречался, и в том числе с кузнецом Максимом Ивановичем Скуратовым. Шальва не Петербург. Что известно одному, становится известным и дворовым собакам.

— А как еще можно было иначе проверить увиденное глазами? Как можно было подтвердить, не сплю ли я? Только личными общениями с теми, кто на второй чаше весов поднят вами, Платон Лукич, так высоко, что вы создали себе рукотворный памятник.

— Благодарю вас, Хрисанф Аггеевич, за превышение оценки достигнутых фирмой азов равновесия.

— Если это «азы», то можно представить, какой будет средина вашей кириллицы. Вероятно, за два часа ваши рабочие будут зарабатывать больше, чем за десять часов у других.

— Какое мне дело, Хрисанф Аггеевич, до других?

— А другим есть дело до себя и до вас. И не только им, этим «другим», но и тем, кто не может не думать об этих «других»...

Платон Лукич, отбирая слова, строил предложения прежде про себя, а потом произносил для Гущина.

— Я полагаю, другие должны перенимать лучшее, а те, кто заботится о них, должны помогать им в этом перенимании,— произнес Платон подчеркнуто нараспев это слово, напечатанное в разрядку.

— Помогать? На это, Платон Лукич, не хватит денег, будь их в четыре раза больше в государственной казне. Да и сумеют ли они разумно и полезно воспользоваться этой помощью? — При этих словах Гущин вынул из жи-

летного кармана гвоздь.— Этот ваш гвоздь можно употреблять нарядной заколкой для галстука, так он хорош, блестящ и привлекателен. Всякий увидевший ваш гвоздь все другие назовет ублюдками.

— Разве это плохо, Хрисанф Аггеевич? Разве плохо, что русские гвозди стали вбиваться в стены других стран?

— Это хорошо и очень хорошо. Плохо, что другие не могут изготовлять таких или хотя бы чуть худших гвоздей и благодаря этому нарушается промышленное равновесие. Не шало-шальвинское, а шире. Гораздо шире. Очень широко... Вы когда-то гвозди брали символом всего остального производимого вами. И я беру этот гвоздь как символ ваших кос, ваших серпов, ваших чугунов и сковород. Ваше изумительное художественное литье красуется в самых фешенебельных домах. Изделия фирмы «Равновесие» стяжают славу в европейских странах. Ваше имя широко звучит. Это восторгает меня. Я уже набил саквояж вашими замками для презентов и сувениров. Я преклоняюсь перед этим. Преклоняюсь...

— Так в чем же должен виниться я? Я, находящийся вне политики?

— Как сказать, Платон Лукич... Чайковский как будто тоже был вне политики, а делал ее своей музыкой, не всегда сознавая этого.

— Хрисанф Аггеевич, не упоминайте всуе это святое имя!

— Я не всуе, Платон Лукич. Я преклоняюсь перед его музыкой и в доказательство могу вам сыграть без нот не треть Первого концерта, а половину, не дав ошибаться левой руке... Вы делаете политику, не сознавая этого. Вы порождаете революционеров, создаете тайные организации, вызываете эксцессы, воспитываете левых социал-демократов...

— Бог с вами, Хрисанф Аггеевич! Мы выпили только по две крохотные рюмки хереса. Я безразличен ко всем политическим партиям мира.

— И между тем пополняете их.

— У меня на заводах их нет.

— Не ручайтесь, Платон Лукич, не обольщайтесь любовью к вам двух-трех сотен рабочих. Не забывайте о тысячах остальных. Молчащих и мыслящих. Усовершенствуя свои заводы, Платон Лукич, вы усовершенствуете и мозги тех, кто работает на вас. Самое страшное под-

полье из всех подполий то, что скрыто в человеческой душе. Это ее личное, ни для кого не доступное, неуловимое, ожесточенно революционное подполье. Таких подпольщиков у вас семь-восемь на каждый десяток умиротворенных вами рабочих. Многие из них пока потенциальные революционеры, но ре-во-лю-ционеры. Сие не все понимают и в самых больших верхах. Вам же, умному, думающему капиталисту-идеалисту, необходимо как можно больше знать и понимать, чтобы не переоценить свои надежды на приручение стихий. Вулканы засыпают, но не умирают. Не у-ми-ра-ют, а лишь засыпают...

— Договаривайте, договаривайте, Хрисанф Аггеевич, я стреляный воробей. Стреляный в прямом и в иносказательном смысле.

— Это дурно. За это Зюзиков получил каторгу. Но не дурно ли, когда за вас и благодаря вам сжигают живьем Гранилиных, когда рвут плотины, когда угрожают бунтами, расправами.

— Ну, знаете ли, Хрисанф Аггеевич...

— Я-то знаю, очаровательнейший Платон Лукич. Вы-то не знаете или знаете очень мало. Окружающие видят, как живут ваши рабочие, какие у них дома, как они одеты, что варят, как едят, как лечатся, какие пенсии выплачиваются им. Требуют этого и организуются.

— Это уж, извините, не моя заслуга, а Кассы...

— Касса — отпрыск от тех же корней. Превосходная Касса и бессребный дуралей Овчаров так же прекрасен в своем подвижничестве. Но и он, «сея разумное, доброе, вечное», сеет отравляющие травы на других заводах. Там не учетверяются... это в прошлом... а удесятеряются враждебные силы и требуют страхования, лечения, добросовестной сдельной оплаты, постройки домов в рассрочку и всего, что они видели у вас и чем отравили свои мозги и заставили пылать свои темные души.

— Так что же, Хрисанф Аггеевич, гасить этот свет? Гасить? Закрывать возрожденное мною и Кассой среднее техническое училище и две школы для мальчиков и девочек? Фирме нужны рабочие, умеющие работать на станках. Прихлопывать это все?

— Я не знаю, Платон Лукич.

— Значит, вы колеблетесь?

— Я говорю — не знаю. Я в самом деле не знаю. Знаю, что вы мессия не мессия, а ранний, поторопившийся родиться пророк обновляемого капитализма. Вам бы

повременить с вашим появлением на свет лет на пятьдесят... Христос, извините меня за вольность, должен бы родиться не во времена римского рабства, а в эпоху Рафаэля. Его бы не распяли. Да и он бы оказался не таким...

Платон Лукич не мог и не хотел далее себя сдерживать:

— Так что же, Хрисанф Аггеевич, мне теперь делать, может быть, вернуться в мою мать и родиться от ее праправнучки?

— Грубо, но было бы, извините, разумным это длительное путешествие на полстолетия вперед. Да, повторяю — вы весь там, вдалеке... Вдалеке и по времени, и по месту действия тоже вдалеке! Не в России. У нас нет и не будет почвы для ваших обольстительных предприятий. Я учился не в России, а там,— Гущин указал на заходящее в облаках солнце.— Там бы вас поняли ваши собратья, а здесь они могут вас распять!

— Благодарю вас, Хрисанф Аггеевич, за приятное предвидение моей судьбы!

— Не отвечайте мне иронией за мое уважение к вам. Я знаю такое, что не дай вам бог знать.

— Напрасно вы об этом рассказали мне, Хрисанф Аггеевич. Напрасно.

После разговора с Гущиным, поздно вечером, Платон и Строганов слушали через приоткрытое окно дома далекие, но отчетливые восклицания рояля, доносившиеся через настежь открытые окна верхнего этажа «Гостиницы для всех».

— Это он,— сказал Платон Строганову.— Это он. Кто же еще может играть Первый концерт...

Закрыв створки, чтобы не слышать великолепное исполнение концерта, Платон спросил:

— Так кто же, по-вашему, этот виртуоз всех и всяческих игр? Из какого лагеря он? От тех или от этих? Хорошо было бы, Веничек, если бы Гущин был подослан Цецилией. И плохо, если кем-то другим.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Снова вращение шало-шальвинского калейдоскопа, смена месяцев и времен года опережают течение нашего повествования. И требующее многостраничного, пространного пересказа вынуждено спрессовываться до нескольких информационных строк.

Как приятно бы дать зимний верхнекамский пейзаж, где был нынче виден отблеск северного сияния, осветивший бревенчатые корпуса новостроек акционерной фирмы «Равновесие», баржи на штапелях, загружаемые «пильным белым товаром» и маркированными черной краской комплектами «составных» домов. Скоро вешняя вода подымет караваны барж, и буксирные пароходы потянут их к тем, кто, уже выложив свой «чистоган», подсчитывает свои верные прибыли.

Теперь и Цецилия Львовна, и Лев Алексеевич стали акционерами «Равновесия». Акционер и Кузьма Завалишин. «Подколодная змея Зинка», вразумленная угрозами Штильмейстера и хорошо нарисованного им Сибирского тракта, ведущего в «далекие леса Забайкалья, где пташки порхают, поют» и где прикованная к тачке Зинаида Сидоровна будет копать золото в горах. Улик на это много. Богохульные поминки на пепелище. Попытка переехать на моторе сынка Завалишина и ограбление его с подделкой бумаг. Штильмейстер не угрожал ей вечной каторгой, но пять лет гарантировал ей статьей из законоуложения... Она выла, целовала новые желтые, с тупыми носками полуштиблеты Штильмейстера и подписала заготовленную купчую крепость.

Подновленная фабрика замков теперь принадлежит в двух долях Завалишину, в восьми — фирме «Равновесие».

Этому также справедливо отдать хотя бы пять страниц, показавших бы, как труслива эта пакостливая внебрачная дочь Самодурства и Жестокости. Получив деньги, она уехала искать новых «фортун», чтобы не возвращаться более в Шальву. Скажем, однако, что, спившись и промотавшись, она вернется сюда и наймется судомойкой в ресторан «Веселый лужок». Но все ее перипетии только лишь жалкий эпизод по сравнению с коленцем, которое выкинул прогоревший вместе со своей вокально-музыкальной эксцентрической труппой Клавдий Лукич Акинфин.

Он продал самую драгоценную и заветную для Платона фабрику, производившую миллионы маленьких изделий, на головках которых так широко рекламировалась фирма «Равновесие». И кому он продал?

Кому?

Может быть, изворотливому наглецу, понимающему, как делаются гвозди, или хотя бы знающему в них толк?

Он продал фабрику Гризели... Помните ее? Певичку, обратавшую Клавдия своим голосом, свившую из него веревочку, на привязи которой он пребывал все эти годы, пока она и ее партнеры не выжали из Клавдия все до последнего рубля, сделав при этом его должником.

Наследственная и приобретенная устойчивость Платона Лукича едва не дала крен в сторону овчаровской больницы, но удар был разделен Родионом Максимовичем Скуратовым. Ведь он был приватным воспитанником мистера Макфильда.

Переговорив с Штильмейстером, оба они решили, что необходимо подчиниться законной продаже фабрики Агриппине Никитичне Фаломеевой — так значилась Гризель по паспорту и в купчей.

Штильмейстер и Скуратов надеялись, что преступление будет отмщено скорым наказанием. Они оценили теперь мудрость наследственного завещания Луки Фомича, в котором гвоздильная фабрика завещалась Клавдию, а волочильная, без проволоки которой невозможно производить гвозди, была отписана Платону. И кроме этого можно было уличить госпожу Фаломееву в подлоге. Фабрика была оценена в купчей вдесятеро дороже ее оптимальной стоимости. Но уличение в этом испортило бы замыслы Штильмейстера, ставшего также акционером фирмы.

Прибегая к обветшалому сравнению происходящего с шахматной игрой, заметим, что все ходы и расстановка фигур были таковы, что партия будет с треском проиграна и госпоже Фаломеевой придется разделить участь Зинаиды Гранилиной. Между тем в жизни куда неожиданнее, чем в шахматной игре, появляются ничтожные пешки и ставят под угрозу верную победу.

Клавдий при всей его «тупейности» в заводских делах нашел пешку, защищающую «королеву», если ею назвать Гризель. Ею оказался некий Михей Иванович Щеглов, не так давно изгнанный Платоном за подлоги. Щеглов, хорошо вознаграждаясь как агент оптового сбыта гвоздей, приворовывал. И теперь, лишившись доходного места, он не растерял связи с оптовыми заказчиками.

Он-то, знающий все тонкости, и был привлечен в новую эксцентрично-гвоздевую труппу потолстевшей и обезголосевшей Гризель, правда еще пригодной для «Веселого лужка».

Партия продолжилась так.

— Вот вам ключи,— вручил их Родион Максимович.— Фабрика в полной сохранности, Михей Иванович. Проверьте по инвентарному акту и начинайте огораживаться.

— Зачем же это нужно, Родион Максимович? Агриппина Никитична желает войти акционером,— сделал ответный ход щеголеватый по-щеглиному Щеглов.

Последовал ход Скуратова:

— Сожалею, Михей Иванович, но акционеры не сумеют принять госпожу Фаломееву, так как слишком выгодно продал Клавдий Лукич свою фабрику. Огораживайтесь!

— А мы поторгуемся, Родион Максимович... Зашли бы по старой дружбе. Мы в «Гостинице для всех», в бельэтажевых нумерах.

— Огораживайтесь, Михей Иванович!

— А где же рабочие?

— Наймите!

— А мои где, в тех смыслах, которые должны быть наши? Которые работали при фабрике...

— Я, Михей Иванович, не распоряжаюсь рабочими, но краем уха слышал, что они не желают терять право состоять в Кассе, объединяющей только рабочих и служащих фирмы «Равновесие», а вы вне «Весов»...

И так ход за ходом с явным перевесом Скуратова.

— Тэ-экс, Родион Максимович...

— Этак-с,— ответил Скуратов.— Огораживайтесь!

— Проволоки, стало быть, тоже не дадите, Родион Максимович?

— С удовольствием, но нам самим ее не хватает, Михей Иванович.

— На что не хватает? Ха-ха!.. Чем и во что вы будете ее перерабатывать?

— Через неделю поставим новые гвоздильные станки. В главном механическом...

— Ну-ну! Обойдусь. Не один вы волочите проволоку. Теперь ветка есть. Мигни только — хоть сто товарных будут тут.

— Разумеется, разумеется, Михей Иванович, особенно если есть чем мигать... Я думаю, что коли вы в «бельэтажевом» в одном номере остановились, то ваше мигание может выглядеть не ахти как кредитоспособно.

— Есть векселя, если мигалок не хватит. Будут и за-

датки старых моих клиентов. А пока цирковые гастроли дадут мелочишку на разбег...

— Даст ли вам разбежаться Александр Филимонович?

— Ха-ха! В Берлинах давали, а в Шальве-то уж...

— Разумеется, разумеется... Только Александр Филимонович вводит новые козлиные бои и любительскую борьбу также с выигрышными ставками.

— Ну и что? Как можно равнять всемирно знаменитую Гризель с козлами?

— Разумеется, разумеется, между ними никаких сходств, если не считать голоса...

Щеглов не нашелся, как и чем ответить. Побежденным себя не признал, но и не надеялся на выигрыш, казавшийся еще вчера лежащим в его кармане.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы знаем, мы уверены, что победит фирма. Силы сторон так очевидно не равны. И все же нам хочется знать, как это произойдет.

Пока на несколько дней поединок приостановился. Фабрика осталась под замками. Щеглов заручался заказами. Он сумел убедить дешевой ценой на гвозди и предъявлением недоверчивым оптовикам купчей крепости на приобретенный Фаломеевой завод и получал наличными задатки.

Не такими доверчивыми оказались поставщики проволоки, но и ее сумел достать и погрузить в вагоны Щеглов. Дело застопорилось маленьким пустячком. Головка гвоздя не могла уже штамповаться известной маркой фирмы, нужно было заказать новый штамп. А кому? Заказать можно было только в Екатеринбурге или в Перми. В довершение всего новая хозяйка потребовала на головке гвоздя вычеканить ее имя: «Гризель»... А где взять такого второго Уланова, который бы сумел на малой головке уместить это слово и сделать не один штамп, а много? Разных размеров, на все станки, а их около сорока.

Щеглов уломал капризную, жаждущую утраченной славы Гризель, и она согласилась выпускать пока гвозди с обычными головками в косую сеточку. Для этого не нужны граверы.

Пришла и проволока. Нашлись и рабочие. Мало ли

их сидит в ожидании работы в соседних рабочих поселках. Нашлись и пусковики, не нашлось электричества. Электрический цех по завещанию принадлежал Платону.

Щеглов бросился умолять Платона Лукича «дать электрического току».

Дежурный техник сказал вежливо и холодно:

— Платон Лукич отбыл в Петербург.

Вот тут-то и появилась в игре главная фигура.

Георгий Генрихович Штильмейстер с первого взгляда оценил душевное состояние Фаломеевой, встретившись с нею в ее номере гостиницы. Он избрал тактику, какая подобает вежливому человеку, к какой он часто прибегал в своей практике. Увидев же ее начавшее брюзгнуть лицо, синяки под глазами, неравномерно наведенные брови, потрепанное когда-то дорогое платье, давно не общавшееся с утюгом, он заметил и недопитую бутылку рома на столике. И весь антураж, все относящееся к этой, как он назвал ее про себя, «лахудренной истеричке». И он, нащупывая тональность, обратился к ней:

— Мы ведь с вами когда-то немножечко были знакомы, мадам Гризель...

— Я смутно припоминаю вас. Так много было встреч, обожателей, друзей, а память одна... Горничная, доложившая о вас, назвала...

— Георгием Генриховичем Штильмейстером. Запишите, пожалуйста,— сказал он уже без «мадам»,— Гризель, мое имя. Оно пригодится вам на суде.

— На каком?

— Не будем играть, Гризель, в «мышку-норушку», я опытный ловчий кот, но мне не хочется лакомиться вами.

Она попыталась вспылить, но удержалась:

— Что вам угодно от меня?

— Угодно вам, а не мне. Я пришел защитить вас и получить за свою адвокатскую защиту положенный гонорар. Вы, как мне пока еще нетвердо удалось установить, поссорились со своими партнерами.

— Да, а что? Они завидуют мне...

— Не только завидуют, Гризель, но и хотят воспользоваться прибылями гвоздильного завода в равных долях с вами!

— А этого они не хотят? — Гризель показала кукиш.

Гипотеза, построенная Штильмейстером, подтверждалась. Он угадал. Гризель визгливо протестовала:

— Что они дали мне на покупку завода? Сущие гроши... Я содержала их всех. Благодаря мне они получали отличные ангажементы. А господин Акинфин Клавдий Лукич вел широкий образ жизни, кутя вместе с ними. И я давала ему в долг большие деньги, которые зарабатывала я... Мой голос и моя внешность делали сборы...

— В этом я не сомневаюсь, Гризель. Вами можно только восторгаться. Не верить вашим успехам не может и самый тупой человек...

— Благодарю вас... Благодарю... Не хотите ли, я попрошу кофе? У меня есть ром...

— Как это шикарно! Только позднее... Не верить вашим успехам,— повторил он,— может только болван. Но, Гризель, какой болван поверит вам, что вы могли скопить сумму, приближающуюся к стоимости завода?

— Но, сударь, я же не только пела. У меня были и те, кому я пела у них дома...

— Но так ли уж много платится за этот вид пения?

— Кому как. Есть, сударь, певицы и танцовщицы, получающие за несколько рандеву домá. Виллы. Дворцы... Положим, я была не такой щукой. Но и не могу отнести себя к аквариумным рыбкам, довольствующимся маленькими червячками. Я могу купить еще два завода на свои накопления...

Штильмейстера оскорбляла эта наглая ложь.

— Послушайте, Гризель. Когда вы будете покупать очередной завод, попросите продать вам серьги с камнями не из бутылочного стекла, а хотя бы из чего-то похожего на самоцветы.

— Сударь! Это у меня театральные серьги. Для сцены. Такие заметнее публике...

— Пусть будет так, Гризель, а рваные и ржавые кружева вы тоже объясните бутафорией?

Гризель, сидевшая положив ногу на ногу, села прямо и одернула юбку.

— Чего вы добиваетесь?

— Я хочу сохранить вам свободное передвижение по империи, а до этого купить у вас завод, в котором вам не удастся сделать и одного гвоздя, если вы не впряжетесь с вашим... Я не знаю, в каких вы отношениях с ним... Если он и вы не впряжетесь в конный привод.

Гризель притихла. Она, кажется, постарела лет на пять в эти две-три минуты. А Штильмейстер делал ход за ходом:

— Вас ваши же друзья уличат в вымогательстве. В спаивании Клавдия Лукича. В шантаже... Вас уличат по многим статьям и параграфам и присудят вам столько лет, что из вашей жизни ничего не останется на престарелые годы. Присяжные вам не поверят, что вы захотели стать заводчицей. В суде присяжных есть и фабриканты. Они умеют смотреть в корень и ниже его.

— А сколько бы вы предложили мне за мой завод?..

— За ваш? Назначает цену продающий.

— Я посоветуюсь с Михеем Ивановичем...

— Его, кажется, трудно будет найти. Крысы первыми убегают с тонущего корабля... Завтра я вас жду в девять утра.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Никогда не следует предрешать развязки, как это сделал Вениамин Викторович Строганов. Он предсказывал, что Штильмейстер не заплатит Гризели и пяти рублей. А он уплатил ей уже пятьсот. И когда она, рыдая, размазывала плохой грим и клялась памятью матери: «Я Клавдию Лукичу вручила наличными тысячу двести пятьдесят рублей и простила долги...» — Штильмейстер поверил и сказал:

— Я вам плачу тысячу двести пятьдесят, оплачиваю дорогу и все расходы по поездке в Шальву, с почетом провожаю вас на орловских рысаках до станции. Прикажу вас нарядить в наших «новых модах», устрою для вас в «Веселом лужке» концерт. В цирке вам петь будет затруднительно. А вы подпишите мне купчую на ту сумму, какую вы ухитрились вписать в купчую и принудить Клавдия Лукича подписать ее.

— Хорошо,— покорно согласилась Гризель.— А в обещанные вами наряды войдет беличья шуба?

— Хоть три,— ответил Штильмейстер и пригласил Гризель, назвав Агриппиной Никитичной, в экипаж, чтобы отправиться к нотариусу.

На следующий день вечером орловские рысаки в серых яблоках, запряженные в карету, умчали на станцию Гризель, где она была усажена в купе первого класса и тотчас же свела знакомство с немолодым купцом в ка-

сторовой поддевке. Она кучеру дала рубль, другой — носильщику.

Теперь она могла это делать, зная, что набивает себе цену, платя рубли при купце.

Через два дня вернулся из Петербурга Платон. Телеграмма о возвращении завода разошлась с ним. Его встретил Штильмейстер, приехавший на той же паре орловских.

— Ну как, Георгий Генрихович?

— Я так и знал, что телеграмма минует вас... Купил.

— За сколько?

Штильмейстер указал на спину кучера и сказал:

— За столько же, за сколько купила завод госпожа Фаломеева.

Дома же за ужином разговор был другим.

— Я полагаю, Платон Лукич, полагает и Флегонт Борисович, что бухгалтерски все должно быть безупречно. Мы акционерное общество, и мы не можем объяснять каждому акционеру семейную подноготную. Клавдий Лукич продал завод за девятьсот семьдесят пять тысяч, за столько же мы купили его у госпожи Фаломеевой.

— Но ведь, Георгий...

— И «но» и «ведь» остается при ваших расчетах с вашим братом, а бухгалтерия ему будет начислять прибыли с его пая, который уменьшился на девятьсот и семьдесят тысяч, выплаченных акционерным обществом мадемаузель Гризель...

Глаза Платона и Штильмейстера встретились. Встретились не очень надолго.

— Но ведь, Георгий Генрихович, вы купили завод за тысячу двести пятьдесят рублей плюс шуба и тряпки... словом, не более чем за две тысячи.

— Если вы, дорогой Платон Лукич, хотите простить брата, то в это не может вмешиваться никто...

Платон отпил из бокала морс, затем принялся рассматривать свои руки, чтобы продлить паузу, ответил:

— Хорошо, Георгий Генрихович. Я это запишу в блокнот своей памяти... Клавдий промотает все. И когда он промотается, мне придется его содержать подобающим образом. Пусть эта разница в суммах будет неизвестным для него резервом. А сейчас ему следует перевести по телеграфу хотя бы что-то из положенных ему прибылей. Он, я полагаю, по уши в долгах. Пусть он подлец, нарушивший клятву на могиле отца, все же он его сын...

Не Штильмейстер, а его ненависть к Клавдию заметила:

— Калерия Зоиловна на прошлой неделе перевела ему пять тысяч рублей.

— Это не мое дело и, смею думать, не ваше, Георгий Генрихович. У сына и матери свои, не касающиеся всех других отношения...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Опять весна и опять похороны. Но до них ли теперь ветке большой дороги.

По ней курсируют и товарные, и товаро-пассажирские поезда. По требованию могут подать в Шальву и классный вагон. Только уплати за все места. Подадут и специальный вагон. С горничной, поваром и кухней. В таком вагоне прибыли Лучинины и Цецилия с Вадимиком. Он опять в девчоночьем платье.

Когда только кончится это издевательство над мальчиком гимназического возраста?

В Шальве снова много нового. Новые дома. Новый башкирский поселок с мечетью и красивым названием Султанстан. По мнению всех, это самый трудолюбивый и честнейший народ. Башкиры работают кто где. Быстро осваиваются и в цехах, но «простая» работа, на которую не идут коренные шальвинцы, им кажется сподручнее. Лошадь все еще главная тягловая сила и при круговой узкоколейке. С введением заводских и цеховых столовых Кассе пришлось расширить скотные дворы. Заготовка дров на склад для номерных рабочих тоже спорится у башкир. Это и заставило взять на постоянную работу тех, кто работал сезонно.

Вынужден был сменить гнев на милость и Молохов Василий Митрофанович. Надеясь на ветку, он тут же разуверился в ней. Не рвали, как он думал, его слитки, не дав им остыть. Браковали его товар. Не согласясь войти в акционерное общество, которым заправляет правление, а правление это — Платон, Молохов согласился плавить металл под надзором и по указаниям шальвинских плавильщиков. Жалко, что ли? Пусть мудрствуют, металл-то им, они и платят за каждую плавку.

Одно плохо — почки мучили зимой, а теперь, после овчаровской грабительской больницы, они опять как у молоденького... И скорым шагом стало можно ходить.

Доктора и брюхо сбавили. Приезжают. По расписанию велят кормить. И все бы ничего, жить можно, да опять повадились по ночам дядья и снова требуют дележа платины и всего, что через нее нажито. А это хуже почек.

Одно спасение в алтарной комнате.

Здесь уместно вписать из рассказанного в свое время Флором Кучеровым.

В замке барона Котторжана была домовая церковь с небольшим алтарем с полусферическим потолком. Барон, приняв православие, был верен католичеству. Ну, а коли так, то алтарь другой веры можно превратить в опочивальню. Зимой в ней было холодновато, весной и летом в самый раз. Прохлада. И что самое главное — дядья туда не смели наведываться.

Василий Митрофанович отлично понимал, что алтарь, какой он веры ни будь, божествен. Как туда попасть без покаяния, без креста, без похорон сгинувшему старшему, самому вредному дяде? И второй тоже возле двери походит-походит и назад в землю уйдет.

Василия Митрофановича неоднократно предупреждали, что свод ненадежен, что находиться и, того больше, спать под этой каменной угрозой опасно.

Опасно? А не опаснее ли не спать и обороняться медным крестом от мертвяков? Да и где слыхано, чтобы старый свод аршинной толщины рушился? Никогда такого не бывало. Рушились новомодные потолки, а старинные — хоть бы что.

Зная о ночных видениях мужа, Феоктиста Матвеевна перенесла свою ореховую кровать с лебяжьей перинкой из светлой спаленки в его мрачное и опасное, но спасительное убежище. Муж ведь, вдвоем-то спокойнее. Так и сталось. Вдвоем всегда легче. И совсем полегчало им, а свод рухнул.

Василий Митрофанович и Феоктиста Матвеевна не проснулись. Смерть была мгновенной для обоих.

Минуя канонические траурные дни, сразу же перейдем к тому, что, осушив слезы, сказала Агния Васильевна Молохова:

— Вениамин, жить в Молоховке я не могу. Платон мне и тебе предлагает комнаты в левом крыле. Завтра же до того, как ты будешь признан опекуном твоего и моего сына, молоховские заводы войдут в акционерное общество. Договоры и условия, если они кому-то понадо-

бятся, напишутся потом. Мне они не нужны. Платону я верю больше, чем себе.

Сентиментальный Вениамин целовал ее руки.

— И мне, Агустик, тем более не нужны.

— Рабочим, Вениамин, мы должны заплатить за все пустые дни, в которые они не работали по их вине или по упрямству отца. Им нужно уплатить и за их забастовочные дни. Им нужно уплатить просто так месячный заработок и не называть эти деньги поминальными. Они или их не возьмут, или вместо поминания... Зачем я должна порождать лишнюю ругань? Другое дело — дети... Им нужно что-то подарить. Значительное... Памятное. А что — я придумаю потом...

— Я даже не знаю, как назвать тебя, родная моя и единственная...

— И наконец, Вениамин... Нет, еще не наконец. Самое последнее будет самым трудным... А сейчас самое приятное. Ты будешь не только опекуном, но и законным отцом. В ящике письменного стола я нашла письмо. С меня снимается клятва оставаться навсегда твоей невенчанной женой. Вот, прочти. Оказывается, это было написано еще перед его первой операцией. Не правда ли, Венечка, абсолютно диккенсовская развязка? Добродетель побеждает жестокость... Дай я тебе утру мокрое умиление на твоем лице.

— Нужно быть деревом, чтобы не плакать, Агустик. Нужно быть чугуном, чтобы многое не простить Василию Митрофановичу и не поблагодарить за это письмо.

— И теперь самое последнее, не диккенсовское, а из каких-то древних и разбойничьих времен. Слушай, Вениамин. Отец показал мне дремучее место, где зарыто проклятое худородное серебро, припрятанные остатки платиновых богатств его родителя на самый черный-пречерный день.

Рассказывая, Агния волновалась, старалась не смотреть на Строганова. А он, услышав об этом, сказал ей:

— Забудь о нем, Агнюша. Пусть лежит в земле это зло. Неужели ты воскресишь проклятые умолкнувшие ужасы?

— Родной мой, я поступлю, как подсказывает моя совесть. Я укажу это место честнейшему старику Флору Лавровичу Кучерову. Пусть он соберет всех потомков Молоховых, живущих в нужде и бедности. Пусть он отдаст им этот клад и они разделят его между собой...

Разве это не будет справедливым решением?.. Я, Вениамин, хочу как-то, хотя бы немного, смягчить... А что смягчить — и не знаю... Но это не теперь, а потом. Потом, когда найдет нужным Флор Лаврович Кучеров.

Вениамину Викторовичу что-то хотелось сказать, но ничего не сказалось. Ему было трудно называть самое слово «платина» и пускать ее в свои мысли.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

По-своему и особо взвешивал Платон Лукич приход в «Равновесие» нового крупного акционера. Вместе с ним приходили новые рабочие. Это не гранилинские, забитые нуждой, полуголодные мастеровые. Они рады были грошовым надбавкам оплаты за работу. На Кассу они чуть ли не молились, едва не целовали заводские номера с изображением весов.

А вот как поведут себя поротые, озлобленные молоховские бунтари? Не потребуют ли они большего, чем им можно дать? Не захотят ли они сразу же тех благ, какие есть у шальвинских рабочих?

Платон Лукич не забывал и сказанное Гущиным: «Вулканы засыпают, но не умирают...»

Разумный афоризм, и все же Молоховка не вулкан. Это та же Шальва, только растравленная, взбудораженная жестоким отношением к рабочим. Но...

Но первые хорошие получки, льготы, заботливое внимание к житью-бытью утихомирят справедливо недовольных крикунов. Однако же Платон не знал, что неизвестное ему екатеринбургское подполье не забывало Шальву, Молоховку и все окрестные заводы. Усиленный надзор полиции не мог уследить за всем и каждым. Рабочие читали запрещенное, учились, встречались, обогащались знаниями, накапливали силы.

Молоканов действовал и помогал...

Платон Лукич, не исключая вспышек на заводах, верил в силу власти своих экономических реформ. Поэтому предчувствия, касающиеся молоховских смутьянов, всего лишь настораживали его, но не пугали. Он ждал, что к нему явятся представители комитета профессионального союза металлистов и он сумеет договориться с ними. А представители не приходили, зато пришла листовка. Ее принес почтальон в конверте, как обычное письмо.

Листовка была напечатана крупным шрифтом:



«Долой продажную Кассу Овчарова!

Долой его развратные «Лужки», подлые рулетки, азартные бои и все торгашеские заведения!

Требуем замены Кассы Комитетом Профессионального союза металлистов!»

Прибежавший Овчаров тоже получил из Молоховки листовку. В его глазах ожесточение, и весь он гнев, раздражение, а разговор с Акинфиным он начал тихо и смиренно:

— Я утишаю в себе, Платон Лукич, горькую обиду. Силой милому не быть. Кому люб Союз металлистов, тот пусть и вступает в него, а Касса пусть останется для тех, кто ею дорожит...

— Вы мудрец, Александр Филимонович, но все же мы должны считаться с желаниями наших рабочих.

Сказав так, Акинфин предложил ответить на листовку. Печатно. Гласно.

Ответ в кратком пересказе состоял в том, что Комитет Союза металлистов вправе выносить свои замечания о Кассе на обсуждение всех рабочих заводов фирмы.

Далее объяснялось, что недовольство господ рабочих и служащих отдельными заведениями Кассы упускает из виду вынужденные способы изыскания значительных сумм для покрытия расходов по ссудам, пенсиям, пособиям и многому другому, помогающему улучшению жизни трудовых семей.

Затем подтверждалось право каждого сделать выбор между двумя этими объединениями рабочих и служащих заводов.

В том же доброжелательном тоне гарантировалось возвращение паевых накоплений выходящим из Кассы ее членам.

Членам Союза металлистов фирма гарантировала страховые отчисления, в соответствии к заработку рабочих, состоящих в профессиональном союзе.

Комитету металлистов фирма предоставляла для расширения его работы в безвозмездное пользование дом бывшего управления заводом в селении Молоховка.

И, наконец, выражалась уверенность в содружестве и успехах двух самостоятельных рабочих организаций.

В день выхода газеты были выбиты стекла в доме Овчарова. Виновных не нашли. К дому Акинфина приставили двух полицейских. Прискакал отряд кавалеристов. В Молоховке ждали бунта.

Все обошлось спокойно. Никаких признаков волнений не оказалось. Умный жандармский чин не расценил листовку политической акцией, а всего лишь недостойным выражением недовольства Комитета Профессионального союза, оказавшегося неспособным достигнуть больших успехов по сравнению с Кассой.

Относительно выбитых стекол прошел слух, что это было женской местью Овчарову, за что — он знает сам.

Все стало на свои места. Узел был завязан деликатно и умело. Выход из Кассы стал невозможным, он угрожал потерей всех ее льгот. Отчисления фирмы, которые мог получить Комитет Профессионального союза, оказались мизерно малы. Поэтому правление Кассы и Комитет металлистов, оценивая обстановку, пошли на взаимные уступки. Состоящий в Кассе мог одновременно быть и чле-

ном профессионального союза, при условии, что страховые отчисления фирмы по-прежнему останутся за Кассой.

— Иного пока добиться нам не удалось,— сказал связному из Екатеринбурга Савелий Рождественский.— И все же достигнутое нами поможет сделать новые шаги. В себя мы не теряем веру. Мы сила!

Примерно так же говорил жандармский чин Платону Лукичу. А он по-прежнему стоял на своем:

— Сила только в улучшении жизни рабочих, в увеличении капиталов и доходов Кассы.

Действуя так, Акинфин повысил оплату рабочим нового акционерного завода. Ввел большие премии за выплавку добротного металла. Учредил в Молоховке приемный покой и два номерных магазина. Появились столовые в цехах.

И чем больше проявлялось внимание к своему желанному металлургическому акционеру, тем жарче пылали его печи, тем больше выплавлялось чугуна, стали, меди.

Малые затраты с лихвою окупались большими барышами. Платон Лукич Акинфин умел считать и миллионы, и копейки...

Молоканов так же умел считать малые и крупные завоевания рабочего класса.

ЦИКЛ ДЕВЯТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Листая страницы строгановских записей и «Поминального численника», листается и время. «Численник» не остановился на писаниях Луки Фомича. Платона потянуло к этой тяжеловесной, в кожано-металлическом переплете летописи акинфинского рода.

Сначала Платон вписывал в нее короткие заметки о самом «численнике», оценивая его как досужее разглагольствование благополучных предков после сытного обеда. Не низвергая написанное, он мягко подтрунивал над ним, находя, что все авторы этих страниц не страдали отсутствием самолюбования и забывчивостью о своих превосходствах по отношению ко всем остальным.

Начав с таких заметок, сдобренных почтительным юмором, не расставаясь с ним, Платон, увлекшись, стал писать о себе, о своей «гармонии равновесия взаимностей». Излагая ее много раз, как оказалось, он нигде не мог рассказать о ней так стройно, подробно и последовательно, как здесь. Вероятно, это происходило потому, что в предполуночной тишине никто его не перебивал, не задавал каверзных вопросов, и строки, как точные, безупречно сработанные брусья «составного» дома, послушно ложились в стены возводимого им сооружения из слов, точно выражающих его мысли, фраз, воплощающих открытые им истины.

Создаваемое на плотных листах отличной бумаги помимо его воли готовилось стать солидным трактатом, таким же убедительным, как его акционерное общество. Трактат вполне можно озаглавить тем же так много умещающим в себя словом «Равновесие».

Все получалось так гармонично, что даже хотелось вписать строку из пушкинского «Бориса Годунова»: «Достиг я высшей власти», а последующие слова: «но счастья нет моей душе», возникающие сами по себе, не хотелось даже произносить. Они же не уходили из головы, требовали сказаться.

Но почему же, как же «счастья нет моей душе», когда оно есть?..

За год с несколькими месяцами после ухода Молохова преобразованы его печи. Идет хороший металл. В Моловке прекратились волнения и приутих ропот рабочих. Все они теперь в Кассе. Они получили право приобретать в рассрочку дома и скот. Для них открыты номерные лавки Кассы и все ее блага — и страхование, и лечение... В день именин они поднесли медный каравай на литом чугунном подносе с подковообразной солонкой и сказали:

— Обожаемый наш спаситель, Платон Лукич, мы оживили былую славу стальных сплавов незабвенного инженера Амосова, и теперь можно делать все, чего не сделают другие...

Разве это не счастье?

Обстоятельства заставили Потакова и Шульжина примкнуть к акционерному обществу. И, сделав это, они обрели тишину и благополучие. Кэт получила возможность сменять возлюбленных немногим реже, чем свои туалеты. Можно сожалеть, что Антип Сократович теперь играет на воображаемом бильярде в доме для умственно неполноценных господ, но все же господ, в господском отделении, а не в обычных палатах для всех. Может быть, Потакову не суждено вернуться из этой палаты в свой дом, зато в своих домах живут его рабочие и также пользуются всеми номерными привилегиями.

Как может он роптать на судьбу?

Камские лесные заводы буквально устрашают своими прибылями. Зримое становится невероятным. Реальное — призрачным. Как только ухитряются оптовики, покупая сборные дома по баснословной цене, перепродавать их с большими прибылями?

Говорят, причиной этого успеха является не «Равновесие», а российское неравновесие природных богатств по отношению к промышленным возможностям. Говорят, что на этом зиждется благополучие господина Акинфина и его акционерного общества, сумевшего опередить других. Говорят, что это зыбкая удача предприимчивого выскочки...

Какая низменная, завистливая желчь! Какая клевета под флагом экономических наук! Какое умствование недоучек и угодливых прислужников заживо смердящего режима!

Кто кому мешает брать богатства, лежащие на поверхности? И кому не лень нагнуться, тот богатеет. При-

меры на глазах у всех. Жил-был никем не знаемый лесничий. Бедняк. Интеллигентный нищий. Попросил продать ему отходы. По сути дела древесный шлак. И чудо! Корье, сгнивающее на порубках, ожило товаром! Обрезки и пеньки, оказывается, способны стать третьим сортом первосортного сырья для тысячей поделок. Щепки, стружки, опилки и даже хвоя пошли в дело. Разве перечтешь, что из чего? Все эти смолы, дегти, скипидары... Не в этом суть.

Суть в том, что Чердынцев был радетельный лесничий, слуга лесов, а стал теперь их господином, богачом и акционером...

...Диалог с самим собой всегда приятен тем же, что и с самим собою бильярдная игра, потому что побеждает сам играющий и говорящий.

Трудней игра и разговор с другими. Они всегда чреваты неуспехом.

Такое произошло с Платоном Лукичом совсем недавно. Произошло и тронуло стрелку весов души Платона в сторону вступившего с ним в разговор.

Никто Платона Лукича не обвинял в зазнайстве. Он был учтив и вежлив одинаково и с теми, кого называли господами, и с теми, кто не мог числиться в господах. Кузнец ли он, литейщик ли, уборщик ли мусора в цехах. И уж конечно с теми, чьи руки восхищали Платона Лукича, он был особенно приветлив.

Главный гравер, рукам которого своим рождением обязаны тончайшие штамповки, Уланов Иван Лазаревич попал в беду. Отказали пальцы правой руки.

Тревога! Этим пальцам нет цены! Его немедленно освободили от работы. Платон Лукич собрал консилиум шальвинских врачей. Болезнь оказалась излечимой. Пальцы были переутомлены работой. Штихели и резцы перенапрягали их, не знавших устали.

Начались массажи, втирания мазей, лечебная гимнастика, проба лечить электричеством и...

И помогло. Уланов мог вернуться в цех с обязательным выполнением ежечасной разминки пальцев, гимнастики рук. Заботливые наставления исключали повторения болезни пальцев.

Узнав о выздоровлении, Платон Лукич приехал к Уланову поздравить его. Честь! Куда же больше, приехал сам! Привез бутылки, свертки, сласти, фрукты! Снилось ли такое раньше? И гость вошел к нему не в своей



рабочей тужурчешке, а в новой тройке! При галстуке и шляпе. Уважение же! И это надо понимать, а выздоровевший, которого лечили, как царя, встретил Платона Лукича суховато.

— Спасибо,— сказал Уланов,— хорошая больница. Земских таких не бывает. Все хвалят.

— Как себя чувствуют теперь ваши пальцы, Иван Лазаревич? — участливо спросил Платон Лукич.

— Как новые, Платон Лукич, да я-то чувствую себя не важнецко.

— Больница, Иван Лазаревич, всегда немножко угнетает...

— Это само собой, Платон Лукич. Но мне показалось, будто лечили не меня и заботились не обо мне...

— О ком же о другом, Иван Лазаревич?..

— Не знаю, о ком или о чем... Я не мастер гравировать слова. Только я еще раз, и, кажется, бесповоротно, убедился, что эта и всякая ваша забота не обо мне как о человеке Иване Уланове, а как о машине. Как, понимаете, о дорогом станке, который начал ржаветь и выходить из строя. А он нужен! Нужен до зарезу, без него большой провал...

— Мне очень странно слышать такое от вас.

— Странно или нет, Платон Лукич, но это так. Из тюрьмы вы тоже вызволяли не человека Ивана Уланова, а гравировальную машину. А я, во-первых, Иван Уланов — человек, а во-вторых — все остальное...

— Ну, хорошо... Думайте так плохо, но скажите: не все ли равно человеку, который тонул и которого спас другой человек? Он спас его. Сделал самое главное. И так ли уж важно, из каких побуждений он это сделал? Потому ли, что ему хотелось спасти? Или он хотел прославить себя? Или тот, предположим, был должен ему деньги?.. Много денег. И долг утонул бы вместе с должником... Не все ли равно?

— Не все равно, Платон Лукич. У человека есть душа. Какая она — не знаю, но какая-то есть, как и разум. Обидновато сознавать, чувствовать, что тебя спасают, что тебя ремонтируют, как машину, и не для тебя, а для того, на кого ты, машина, работаешь. От этого на душе становится невесело и в разуме как-то сумеречно. Неужели вам, Платон Лукич, непонятно это? Или не хочется понимать?

— Мне оскорбительно это понимать. Больницу строил и я...

— Тогда вам легче понять. Вы знаете, с чего ее строительство началось. Говорят, что со смерти фондового мастера. Вы дорожите мастерами, Платон Лукич. Я не встречал человека, который так холит мастеров... Но ведь, Платон Лукич, пасечник тоже холит своих пчел, заботится о них, строит им новейшие, удобные составные ульи... Для чего? Иной, может быть, и любит это трудолюбивое насекомое с острым жалом, но все равно он заботится о нем, чтобы получать мед. И тем больше забота, чем увесистее хочет получить пасечник прибыток от пчелы. Пчеле все равно, она бездумна. А все ли равно человеку, существу мыслящему? Человеку, который понял, что для хозяина он всего лишь пчела, рабочая «насекомая», увесисто обогащающая его своим трудом. А это,

Платон Лукич, поймут не двое-трое, а рано или поздно все люди. Весь трудовой народ всей земли.

— И что же тогда будет, Иван Лазаревич? — настороженно спросил Акинфин.

— Не знаю, Платон Лукич... Я мало читал, но слышал, что наступит такое время, когда все люди будут работать на всех людей. Сами для себя, а не для кого-то одного-двух-трех... Пусть для десятерых. И тогда забота о каждом человеке будет святой заботой каждого и святым долгом всех людей. Всех! Это, как вы понимаете, уже совсем другая «медицина»...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Много перевидал Платон Лукич снов за последнюю неделю. Снилось разное. Чаще судостроительное. Снился доходный путь от Перми до устья Камы... Очень часто виделись новые большие пароходы с знакомыми именами и названиями: «Лука», «Фома», «Родион», «Лев», «Цецилия», «Вениамин», «Агния»... Это быстроходные, винтовые, с кормовым флагом и дорогой его сердцу эмблемой «Весы». Буксирные, также очень крупные, носили названия, соответствующие им: «Равновесие», «Скорость», «Акционер», «Шальва», «Взаимность», «Конкурент», «Гармония»... Почти все те, которые мечтались и замышлялись на листах «Поминального численника».

Снился Акинфину и судовой завод в прикамском затоне. Там суда так же, как и «составные» дома, изготовлялись в очень большом количестве и могли собираться на любой из рек. На Енисее и на Дунае. На Печоре и на Дону. Все пароходства Камы, не выдержав дешевизны и превосходства акционерного общества «Равновесие», вошли в него, а свои плавающие калоши сбыли за бесценок на второстепенные реки.

Побывал в снах Платон Лукич и на часовом заводе в маленьком прикамском городке. От городка никаких дорог. Глушь. Он отрезан начисто в долгую зиму и от Камы. Зато рабочих рук там тысячи. А доставка материала для часов не потребует и одного обоза в тридцать подвод на целый год. Вывозка же готовых часов и того меньше. На одной лошади можно увезти... Даже трудно представить, сколько тысяч часов можно увезти на одной лошади.

Хорошо бы где-то на Каме построить завод пишущих

машин. Они очень скоро будут в большом спросе. Их и теперь расхватывают по невероятной цене. Но этот завод не снится. Следовательно, он преждевременен, и пока не ясен его облик. А вот завод швейных машин, которые всегда будут в спросе, труден только в челночном механизме, а все остальное обычное литье и штамп. Но и челночный механизм найдет своего Ивана Уланова. Он почему-то также снится каждую ночь. Неблагодарный, испорченный вниманием и деньгами человек. Его нельзя переубедить словами. Таким, как он, нужны наглядные уроки.

— Венечка,— обратился к Строганову Платон, выходя из своих мечтаний и отставляя стакан с остывшим чаем,— а почему обидный разговор с Улановым у меня не выходит из головы? Ведь я же столько раз слышал это же самое от других...

— Другими, Тонни, были люди другого круга,— ответил Строганов, давно уже определивший для себя значение сказанного Улановым,— вы можете не обращать внимания. Вам-то что до них? А вот Уланов... Уланов представляет собою тех, на ком строится все.

— Надо полагать, так и есть. Если фундамент дает хотя бы волосяную трещинку, на это нельзя, Веничек, не обращать внимания. Маленькая трещинка может превратиться в большую, а большая дать боковые трещины.

— Да, Тонни, фундаменты таинственны. Они в большей своей части под землей... Молоканов, например.

— К чему такие подспудные слова? А впрочем, Уланов, наверно, не один. Он на поверхности, другие могут быть гораздо глубже. Для Молокановых нужны предупредительные меры...

— Гущинские?.. Тонни, неужели вы на это способны?

— Бог с вами, Венечка! — замахал руками Платон.— Эти меры рождают новые трещины, а не устраняют их... Неужели, Венечка, прав мой отец? Он мне сто раз твердил: «Чем больше ты даешь, тем больше спросят».

— Лука Фомич изволил также утверждать, что собаку вредно досыта кормить, она не будет сторожить и не станет приносить дичь на охоте. Но это же ведь люди, Тонни.

— Однако же мы все млекопитающие и питающиеся молоком... Есть миллион — подай два. Живой пример то-

му Кузьма Завалишин. Равновесие нельзя терять ни в эту сторону, ни в ту. Слишком легок и благополучен был подъем в крутую гору... Нет, нет, Вениамин Викторович, я не хочу этим сказать то, что я прочел в ваших глазах. Благополучия должны и будут продолжаться в тех же скоростях, но надо же, чтоб их ценили. Юджин Фолстер меня учил: если я пять раз буду платить за грог, в шестой друзья будут негодовать, когда я попрошу их уплатить самих... Я, Веник, уплачу сто раз за грог, но надо же, чтоб те, кто пьет, знали, что грог не черпается мною из колодца. И даже если из колодца, то нужно помнить, что колодец мой!

Вениамину Викторовичу не хотелось поддерживать этого разговора, потому что у него были свои взгляды на принадлежность колодцев и теперь они становились настойчивее и тверже...

«Моих колодцев» у Платона Лукича было так много, что не составляло труда кого-то уличить в бесцеремонном пользовании их водой. И один из таких случаев услужливо представился. Штильмейстер и подсказал Платону Лукичу, как и на чем можно дать предметный урок.

Георгий Генрихович в это время исполнял обязанности главного управляющего и вице-председателя правления акционерного общества Скуратова. Родион Максимович отправился, как он сказал перед отъездом, «по англиям набираться уму-разуму». На самом же деле он отправился в Швейцарию. Платон готовился превратить свои сны в явь и хотел, чтобы Родион увидел, как производятся лучшие в мире швейцарские часы.

Не один Скуратов, и другие верные и способные инженеры совершали далекие путешествия за умением осуществлять задуманное в реальное. Один из них поехал к Зингеру предложить создание отделения по сборке швейных машин для Урала и Сибири. На самом же деле нужно было перенять технологию и способы изготовления челночного механизма.

Занятый большим, Платон Лукич не упускал и малого, которое настораживало его и угрожало стать большим, и он решил дать предметный урок, подсказанный Георгием Генриховичем, русским по духу и немцем по педантичности.

Об этом особая глава.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сторож в проходной задержал гвоздильщика Суздалева и потребовал у него вывернуть карманы, заметив проткнувший один из них гвоздь.

Суздалев послушно исполнил приказанное. В карманах оказалось семьдесят три гвоздя. Пересчитаны они были при свидетелях. Сторож отобрал у гвоздильщика проходной номер и велел сказать ему об этом его мастеру.

Егор Суздалев был известен хорошим добросовестным и «артельным мужиком». И никто не придал значения случившемуся, потому что никогда не считалось зазорным брать с завода необходимое по домашности. Шпиль, скажем, молоток, кусачки, зубило... Где их взять? На заводах точились медные ручки для пельменных сечек, мастерились фигурные пряжки для поясных ремней, делались запоры, щеколды, дверные ручки. А на казенных заводах ковались и оси для телег, топоры, колуны... Все, что надо, что можно было вынести или вывезти в коробке с отходами, то и вывозили. Казна стерпит.

На заводах Акинфина было построже, и если что-то такое случалось, то Фома Лукич говаривал: «Кашевар больше брюха не съест». Штрафовали, пристыжали нарушителя, на этом и кончалось.

При Платоне Лукиче старые порядки искоренялись решительно и строго. Действовала основа основ — «равновесие», в данном случае «добросовестность взаимностей». Взявший на заводе без разрешения хотя бы ржавую гайку нарушал святой принцип добросовестности. Так было и сказано в заводских правилах, отпечатанных в типографии. Это же короче и прямее повторялось в договоре взаимных обязательств и прав нанимающего и нанимаемого. Там в девятом пункте в двух строках говорилось: «Присвоивший принадлежащее заводу увольняется без возвращения».

Мастер так и сказал Суздалеву:

— Ты же читал, когда подписывал.

— Читал,— ответил он.

— Так что же ты хочешь?

— Прощения хочу на первый раз. Крыльцо же просело. Ухнет — и конец. Ребята же у меня...

Мастер жалел, что Суздалев не желает понять его.

— У всех крыльца. У всех ребята. Иди к Штильмейстеру. Ниже его никто тебя не помилует и номера не отдаст.

Штильмейстер принял Суздалева очень ласково, но повторил то же самое и разъяснил:

— Дело не в гвоздях, друг мой, а в нарушении нерушимого правила. Семьдесят три гвоздя и семи копеек не стоят. Но это присвоение принадлежащего заводу зовется воровством. Семикопеечное оно или семирублевое, все равно это воровство. Ты будешь уволен без возвращения на завод.

Увольнение за семьдесят три гвоздя заметно отозвалось в цехах и стало известно на всех акинфинских заводах. Увольнение Егора Суздалева влекло за собой тяжкие последствия. Он лишался права выплачивать за свой новый дом и терял его. Правила рассрочки, как известно, предусматривали взносы только в виде удержания из получки на десять — двенадцать лет. Лишаясь работы, Суздалев лишался права состоять в Кассе, а вместе с этим всех благ, которые давались Кассой.

Егор Суздалев побежал к своему школьному товарищу, к Савелию Рождественскому.

— Савушка, мне совестно идти к Платону. Ты же знаешь, каков он в таких делах, ты с ним проучился все восемь лет, а я только четыре, и у тебя больше тропочек к его доброте. Он простит... Мы же вместе ловили ужей и ставили силки на жуланчиков...

— А теперь, Егор, мы оба с тобой стали жуланчиками в его силках,— сказал Рождественский и обнадежил: — Ну, да ничего, ничего, я попробую найти тропку в его печень...

Рождественский на правах «Платонова однокашника» пришел к нему не в контору, а в его крыло дома и сказал:

— Здравствуй, Плат! Я редко докучаю тебе и не пользуюсь тем, чего уже нет и что не вернется никогда...

— Садись, Саваоф,— назвал Платон школьной кличкой Савелия.— И если ты пришел говорить об Егорше, то мы оба потеряем время, и больше ничего. Есть незыблемое и нерушимое, как верность нашей ребячьей «заединщине», когда мы, заединщики, клялись своими рогатками защищать один другого, а за измену быть расстрелянным

моченым горохом из этих же рогаток, по тридцать три горошины на каждого. Помнишь?

— Я помню, Плат, но помнишь ли ты, как мы простили Родиона Скуратова за сдачу в плен молоховским ребятам и не расстреляли его горохом?

— Они, Савелий, затравили его собаками, а это было преступным нарушением нашей игры в войну. Егора же Суздалева никто не травил, никто не брал в плен, не заставлял красть. Никто, Саваоф, кроме бесстыдной неблагодарности за все сделанное для него. Я был на новоселье у Егора. Я подарил ему памятный золотой гвоздь, как хорошему человеку и отличному гвоздильщику. Я готов наградить его за работу большой суммой. Он достойный человек. И эти семьдесят три гвоздя были взяты им по легкомыслию...

Савелий Рождественский почувствовал поклев на испытанную наживку по имени «детские годы». Желая, чтобы удача не сорвалась, он помог клеву верной привадой — похвалой:

— Тебя не зря многие называют святым. Ты, Плат, сказал золотые слова, Егорша взял гвозди по легкомыслию... Золотые слова,— повторил Рождественский.

Платон поблагодарил его скрещением рук на груди за сказанное и ответил:

— Слова, может быть, и святые, но не святее правил о взаимном доверии и взаимном уважении. Легкомыслие не оправдание. По легкомыслию можно лишить жизни человека и оправдать это лишение жизни легкомыслием, или невежеством, или чем-то еще таким, подобным этому. Я не имею права изменять самому себе. Я делаю все, что в моих силах. Облегчаю труд. Забочусь о ваших заработках. И сделаю еще больше... Мною будет сделано так много, что ты, Саваоф, и представить не можешь. Я не требую за это ни от кого никакой благодарности... За то, что воздают должное, не благодарят. Но я не могу позволить,— начинал волноваться Акинфин,— и не позволю, чтобы за все это мне в голову, в сердце вбивали гвозди. Пусть по легкомыслию, но все равно безнравственные гвозди. Семьдесят три гвоздя.

Рождественский молчал. Платон налил в стакан воды и выпил. А выпив, сказал:

— Да, я хозяин! Я ваш тиран с белыми крыльями ангела, как выгравировывают некоторые вызволенные

из-под охраны ангелов с черными крыльями. Да, я ненасытный упырь, пьющий из вас кровь тысячами комариных хоботков и ниточка по ниточке вытягивающий из вас жилы. И вы можете распять меня семьюстами тридцатью гвоздями на этой стене, и, распиная, проклясть, и сказать перед моим издыханием: «Умри вместе со своими кабальными правилами...» Но, истекая кровью, я не допущу и маленькой трещинки в монолитном фундаменте акционерного общества «Равновесие». В нем я не полновластный король, а президент, ограниченный парламентом, состоящим из акционеров.

Рождественский понял, сколь бесполезно менять крючки и наживки. Он воспользовался подсказанным не желающим этой подсказки Платоном.

— Я тоже акционер, господин президент. И теперь в Шальве редкий рабочий не акционер. Кто по своей убежденности, кто по овчаровской принужденности. У каждого есть по две-три десятирублевых акции, вот я и попрошу их сказать свое, акционерское слово... Будь здоров, Плат. Я было хотел поговорить с тобою решительнее и окончательнее, да побоялся поставить этим под удар твоего и моего товарища... Бывай здоров! Я не буду портить станков, взрывать плотин, прибегать к стрельбе и ко всему тому, на что способно бессилие, а не сила. Егора защитят достойными средствами сильных и правых.

На другой же день по цехам заводов от одного к другому стали ходить «Поручительские листы». Они начинались такими словами:

«Мы, акционеры общества «Равновесие», просим господина председателя Платона Лукича Акинфина в целях умиротворения неудовольствия за строгость наказания уважаемого всеми первоклассного пусковика гвоздильных станков господина Суздалева Е. наказать строгой мерой — штрафом в сто рублей, кои будут внесены нижеподписавшимися...»

Для вручения Акинфину подписанных листов избрали десять уважаемых, безупречных во всех отношениях делегатов.

Вместо десятерых желающих защитить Егора Суздалева оказалось более двухсот рабочих. Они в обеденный час широкими рядами пришли к чугунным литым воротам дома Акинфина.

Платон вышел, как всегда, уверенный, но бледный. Он вежливо поклонился и еще вежливее спросил:

— Чем я обязан, господа, такому многолюдному приходу?

В ответ на это гравер Виктор Пустовалов подал Платону «Поручительские листы» и сказал:

— Мы будем ждать вашего решения, Платон Лукич.

— Зачем же ждать, господа акционеры? — изумился Акинфин.— Зачем, когда все решено и я сам подписался на одном из этих листов? Вот на этом...

— И впрямь! — удивился Пустовалов.— Как же нам об этом не сказали?

Платон пожал плечами. Затем, увидев в рядах Егора Суздалева, подошел к нему, протянул руку и обрадованно сказал:

— Сняли, Егорша, твои поручители святой председательский грех с моей души. На это я и надеялся... Теперь ты пройдешь через проходную, в которой уже нет и не будет никаких сторожей. Нет худа без добра. Твое худо породило добро всеобщего, взаимного доверия имущества, принадлежащего всем акционерам и тебе...— Сказав так, он вручил Егору сторублевую акцию и добавил: — Это с меня штраф тебе за неумение прощать и маленькое легкомыслие...

Сторожа главной проходной перевели в подметальщики заводского двора. Проходная завода стала неохраняемой.

Дежурный табельщик открывал ее за полчаса до начала работы и закрывал до второй смены. Кому было нужно пройти на завод в рабочее время, ходили через табельную конторку.

Это новшество, это доверие сказалось на всех и каждом. Семьдесят три гвоздя незримо, но знаемо были вбиты в порог проходной, став семьюдесятью тремя так же незримыми, но знаемыми сторожами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Есть поговорки, которые неизменно приходят на ум. Одна из них — о бедах и несчастиях, обрушивающихся одно за другим.

Не успел Платон Лукич вырвать злополучные гвозди из своей памяти, как в него вонзил новый гвоздь Клавдий. Ожидавший от своего брата самого неожиданного, Платон не мог допустить того, что пришло в письме, запечатанном сургучом.

«Тонни, родной мой! Еще раз пощади меня! И спаси меня! Я виновен перед собой. Я искуплю свою вину. Речь идет о моей чести.

Я проиграл в карты мою наследственную доменку. Проиграл и дал слово выигравшему ее Топову Антону Денисовичу выкупить по оценке отца в наследственном завещании. Или дарственно передать ему.

Тонни, мой милый и родной брат, пойми меня и поверь мне — я больше никогда не прикоснусь к картам, но мне до этого так везло, а теперь счастье изменило мне. Я знаю, что тебе невозможно оторвать доменную печь от всего остального и тебе следует купить ее у меня. Отец, я думаю, не завысил цены на нее. И я выдал обязательство Топову Антону Денисовичу, заверенное пятью свидетельскими подписями тех, при ком я проиграл мою доменную печь.

Топов потребовал заверить мое обязательство нотариально, но я поклялся ему, что расчет с ним произойдет без огласки, которая может оказаться пятном на нашей фирме и на твоем ни в чем не повинном имени.

Прими, умоляю тебя, Топова и найди способ рассчитаться с ним, я согласен на вексель.

Не проклинай меня. Накажи, но не проклинай.

Всегда твой Клавдий».

Письмо пришло в день приезда Топова. Любезный, предупредительный и в мелочах, просто и элегантно одетый, он произвел на Платона впечатление человека, с которым он сумеет договориться.

Такому не будет нужна доменная печь, и, может быть, судя по его мягкости, чистоте голубых глаз, можно будет найти какие-то смягчающие обстоятельства и уплатить меньше проигранного. Ведь Клавдий, несомненно, был пьян, и это всякий порядочный игрок должен учесть.

С этого он и начал:

— Я знаю все, Антон Денисович, и не попрошу вас рассказывать, как это произошло. Но это произошло, и брат повинен уплатить проигранное. Но если вы разрешите, Антон Денисович, то я позволю себе заметить, что брат был не очень в себе за карточным столом. Разумеется, картам нет до этого дела. Коли пьян, так не играй.

— Нет, он был совершенно трезв, Платон Лукич. Это подтвердят все наблюдавшие игру, первая половина ко-

торой была невероятно благополучна для него. Многие вышли из игры, и у меня оставались последние три тысячи. Это подтверждает, что он был трезв.

— Я не смею не верить вам, Антон Денисович, но мой здравый смысл шепчет мне, что в здравом уме этого сделать было нельзя. Доменная печь нераздельна со всем принадлежащим к ней. И если бы я предложил вам взять ее, то вы получили бы голову без туловища. Ее невозможно продать раздельно, и, если вам угодно, я покажу ее, и вы увидите, что это часть единого организма. Ее никто не купит. И будь бы я недобросовестным человеком, я бы сказал: «Берите, она ваша». И вы бы не сумели ее взять.

— Я и не стремлюсь владеть ею, зная, что, усовершенствованная вами, она стоит дороже суммы, названной покойным Лукой Фомичом. Мне нужны выигранные мною деньги. Я же на них играл, но Клавдию Лукичу нечем было заплатить, и он поставил на кон доменную печь. Я согласился, тайно надеясь, что он отыграется, но карты отвернулись на этот раз от него.

Тот и другой помедлили, прикинули, какими будут дальнейшие переговоры. Платон первым прервал молчание:

— Значит, вы, Антон Денисович, ничего не хотите принять во внимание — ни запал азарта, ни болезненную приверженность к игре Клавдия Лукича? Ничего?

— Не знаю, право. Поверьте, я, как всякий выигравший, испытываю неудобство. Во всяком выигрыше есть что-то такое... какое-то отнимание денег... И, чтобы как-то смягчить это свое неудобство, я согласен взять меньше.

— На сколько?

— На десятую долю.

— Всего лишь на десятую? Это не достойно ни вас, ни меня.

— Помилуйте! Не половину же...

— Половина тоже, не кривя душой, состояние. И еще какое...

— Да, конечно. Для кого-то это состояние... Извольте, я согласен отдать на отыгрыш Клавдию Лукичу пятую долю... Но если вы,— сказал повышенным тоном Топов,— не оцените этого благородного жеста и вздумаете вести не очень приличный торг, то я потребую выигранное полностью.

Это возмутило Акинфина.

— Требуйте! Берите! Подавайте в суд! У вас же на руках гарантия, заверенная пятью свидетелями. Ее легко превратить в юридически приемлемый документ, и пусть проигравший предстанет ответчиком перед судом, если суд найдет возможным разбирать карточные долги.

Топов не ожидал такого поворота.

— Ну уж, и суд... Разве у меня нет короче путей?

— Нет. Самый короткий — это суд. Не пройдет полугода, как вы получите свой выигрыш. Если суд примет к рассмотрению это дело... А потом у Клавдия Лукича не окажется наличности и права подписывать векселя от имени фирмы. Оно им передано мне. И только я могу вам, если вы того пожелаете, выплатить треть проигранного. Если же...

— Вы опять угрожаете?

— Бог с вами! Я, как и вы, способен на благородные жесты...

— Треть? Даже не половина?

— Вот что, Антон Денисович, я и вы немножечко возбуждены. И вам, и мне нужно подумать. Кроме этого сегодня неприсутственный день, бухгалтерия на замке. Встретимся завтра...

Топову не хотелось переносить расчеты на другой день, но и боязно было насторожить Акинфина податливой торопливостью. Пришлось согласиться, попрощаться и уйти.

ГЛАВА ПЯТАЯ

До приезда в Шальву Топов не рассчитывал получить и пятой части выигрыша. Теперь он упрекал себя за неуступчивость. Ему нужно где-то провести ночь. В гостинице у него могли выкрасть обязательство. О нем знают уже два человека — Скуратов с пронзающими глазами и неприятной фамилией и Акинфин. Он деликатен и мягок. Но кто знает, что скрывается в нем под этой оболочкой. Домну из одного кармана в другой мог переложить любой появившийся в гостинице с пистолетом. Профессиональному шулеру Топову известны были и не такие смелые экспроприации. Поэтому он предпочел ночь провести без сна, где-то укрывшись в этом городишке, название которого так же звучало грабительски.

Предчувствия Антона Денисовича хотя и не были на-

прасными, все же, придумывая опасности, он не мог предусмотреть того, что не пришло бы в голову ни одному жителю Шальвы.

Топова еще утром встретил и узнал сидевший с ним в камере пермской тюрьмы Уланов.

Через Родиона Максимовича Ивану Лазаревичу стала известна цель приезда и фамилия Топова, выкликавшегося на вечерних поверках Поповым.

Двоякие чувства спорили в Уланове. Ему претило спасать доменку для Акинфина, но негодование, что домна может стать достоянием шулера, взяло верх. И он решил прежде разделаться с Топовым, затем решить вместе с Рождественским, как поступить дальше.

Весь этот день Иван Лазаревич старался не выпускать из поля зрения Топова, опасаясь попасться ему на глаза и оказаться узнанным.

По выходе Топова из дома Акинфина Иван Лазаревич оказался в непривычной для него роли преследователя. Его надежды на успех подкрепились соучастником этой операции Савелием Рождественским. И он считал, что Акинфин Акинфиным, а завод заводом и забота о заводе — это забота о работающих на нем.

Уланов, наблюдая за слоняющимся по улицам Шальвы Топовым, решил пригласить его на Игрище. Савелий Рождественский подошел к Топову, читавшему афишу, обратился к нему:

— Прошу прощения за беспокойство, милостивый государь... Не знаете ли вы, как пройти к Игрищу? Там знаменитый ресторан и презабавная рулетка на русский манер. Меня дернула нечистая приехать в эту шалую дыру в воскресный день, и я не знаю, куда деться...

На Топова Рождественский произвел хорошее впечатление, тем более что, назвавшись агентом из Москвы, приехавшим сюда за товаром, он был при деньгах и был не прочь от скуки сыграть «по маленькой»...

Дорога на Игрище была найдена общими усилиями, а затем потеряна на полпути. Топов и Рождественский оказались в густом укромном соснячке, где их ждал Иван Лазаревич. Он сразу же приступил к делу:

— Здорово живем, Попов! Потолстел ты, а не изменился после пермской тюрьмы. Не пугайся только, в полицию сдавать тебя не будем... сами управимся. Садись!

Подкосившиеся ноги усадили Топова на лужайку до приглашения Уланова.

— Что вы хотите сделать со мной, господа?..

— Спасти, господин Попов, спасти от тюряги,— успокаивающе предупредил Уланов.— Первым делом мне, как граверу, хотелось бы убедиться, как чисто переделана фамилия Попов на Топов и нет ли изъяна в переправке письменной буквы «П» на письменную же «Т» с добавлением в нее средней палочки... Мне, как мастеру по этим делам, хотелось узнать, правильно ли я предположил это мошенничество.

— Правильно,— глухо ответил Топов.

— А все-таки покажите... Или не доверяете? Неужели вы думаете, что мы грабители, которые хотят отобрать ваши денежки? Если б хотели, так уж сделали бы это...

— Что же хотите вы, господа? — плачуще спросил Топов.

Ответил Рождественский:

— Хотим, чтобы ваш паспорт остался при вас, а наша домна при нас.

Топов заплакал, затрясся.

Процедура возвращения доменки была короче и проще, чем такая же операция при такой же ситуации с Гризель.

Далее Уланову хотелось знать, должен ли он отдавать Акинфину обязательство, полученное от шулера Топова.

— Должен,— твердо сказал Савелий.— Это наша домна, наша, как и все заводы, которые будут принадлежать нам! Домну от Клавки нужно отобрать.

В тот же день вечером Иван Лазаревич Уланов отправился к Акинфину. Нужно было найти короткие слова.

Иван Лазаревич нашел эти слова:

— Не допытывайтесь, пожалуйста, господин Акинфин, как я сквитался с вами за вызволение меня из пермской тюрьмы.

Уланов положил на белый столик с вычурными кривыми ножками обязательство Клавдия.

— Что это, Иван Лазаревич? — подчеркнуто назвал Платон Уланова по имени и отчеству.

Уланов в ответ так же подчеркнуто назвал Платона по фамилии:

— Это ваша, господин Акинфин, родовая доменка и расписка в оплате за нее полностью.

— Как это вам удалось, Иван Лазаревич?

— Я просил вас — не допытывайтесь.

— Теперь я ваш должник, Иван Лазаревич...

— Нет, мы квиты, господин Акинфин! Квиты-с!

Уланов ушел. Опять не уснуть до утра... Когда это кончится?

А чему, собственно говоря, кончаться? Все кончилось. Доменка спасена. Ее Флегонт вычеркнет из наследственного пая мота и пьяницы. Кажется, разумно будет теперь выплатить Клавдию акциями или наличными за все, что еще принадлежит ему,— и конец. Денег достаточно. На часовой завод хватит и останется на перекрой зингеровских машин...

Платон хотел пригласить сонатиной Строганова, а он спустился из своего крыла без музыкального вызова.

— Значит, есть какой-то телефон без проводов от одной головы к другой,— обрадовался Платон.— Как пусто стало в нашем громадном амбаре! Мать переувольняла батальон своих горничных, отдавшись богомольям и путешествиям по монастырям. Вы запершись... Агния не возвращается и не возвращается... Может быть, нам катнуть на недельку в Питер?

— Не тянет как-то туда. Мне здесь пишется... Теперь я опекун и отец миллионера. Вас не обижает, что нашего сына стали называть Тоником?

— Платонов, Платов, Платиков, Тоников, Тоничек, теперь в Шальве народилось больше, чем всяких других имен, вместе взятых. Родиков, Родичек и Родионов тоже порядочно. Никодим уже отказывается крестить этими именами... Так что бы вы думали?

— Не знаю, что и подумать...

— Ездят крестить в другие приходы.

— Какая популярность имен!

— Вы все иронизируете, Веничек. Не надо терять чувство юмора...

— Да какой уж там юмор, когда в шальвинской гармонии все чаще и чаще диссонансы нарушают ее...

— Вы об Уланове, Веничек?

— Не только.

— О ком же?

— О многих и многом. Родион из поездки за границу вернулся каким-то не таким... Не тем.

— Наверно, устал Родик. Это мы выясним. А теперь попросим Лушу дать чай вместе с его привычным рижским спутником...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Из последней поездки за границу Родион Максимович Скуратов в самом деле вернулся в подавленном состоянии. Заметив это, жена спросила его:

— Что-то не удалось там тебе, Родиоша?

— Не знаю, что и ответить тебе, Соня. Прежде я вооружался там, а теперь происходит совсем по-другому...

— Что же по-другому-то? Наверно, измучился?

— Да нет, Сонечка. Я как-то перестаю верить в то, что мы делаем... Вернее, не в то, что делаем, а как это делается! Там тоже, Соня, пытаются сгладить, уравновесить жизнь... Но, понимаешь, как-то без вывертов.

Софья Васильевна пересела к мужу на кровать, где он, рано раздевшись, хотел полежать, пораздумать перед сном.

— Без каких, Родиоша, вывертов?

— Без овчаровских и... И без всяких других. Нам есть чему поучиться у них. Но есть чему поучиться им и у нас. Они беднее и богаче нас. У них нет той широты возможностей, которых мы не замечаем, а замечая, не обращаем на них внимания. Из одной и той же доски или слитка меди они делают и получают больше. Там нет щепок и стружек. Им приходится ловчиться и все пускать в дело. Нас же изнахратили наши богатства. Они обедняют нас.

Софья Васильевна, напрягаясь, вслушивалась в каждое слово мужа.

— Ты, Родиоша, как-то очень непонятно...

— Потому что я и сам понимаю не все. Чувствую, что у нас что-то не то, а оценить и понять во всей широте не могу, Соня... У нас как-то все на особицу и случайно. То вдруг нас начинают кормить и одевать золотые подковы, то «составные» дома... Я понимаю — это разбег... Но куда и во что разбег? Ну, будет, допустим, у нас часовой завод, завод швейных машин... Но ведь часы и швейные машины те же крестики, те же потаковские колокольчики, которые звонко и далеко звенят, но о чем они звенят, кому и что названивают?

— Деньги, очевидно, Родиоша. Ведь ты всегда хотел, чтобы в фирме больше было денег.

— Я и сейчас хочу, но не знаю — зачем? Для часов? А что изменят они? Что будут показывать их стрелки? Ход времени... Отсчет годам... А куда, Сонечка, идет это

время, куда бегут годы?.. А каким оно будет, Сонечка? Свободной акционерной империей свободных фирм? Так называет ее Платон, такой он видит Россию после свержения царя. А кто будут главными ее акционерами? Может быть, ты или я? Или Иван Уланов? Сережка Миронов? Витька Пустовалов? Художник Сверчков?.. Нет!

— А кто же, Родион?

— Думаю, что те, кто помогают народу свергнуть царя, чтобы после свержения в своих фирмах оседлать народ.

— Родион, ты повторяешь сказанное Савелием.

— Савелием ли только, Соня? Есть покрупнее люди. Есть! О них известно и Платону, но в их силу он не верит.

— А ты веришь, Родиоша?

— Не знаю, Соня... Я только думаю, что умный Платон все чаще и чаще походит на тетерева. Поет и, упиваясь своей песней, не слышит, что делается в мире. Иной раз мне, Сонюша, кажется, что Плат перевлюблен в себя, в свои уравновешивания и во многое другое. Он говорит, что капитализм выдуманное слово... Говорит, что называемое этим неудобным словом есть единственно возможный образ жизни, при котором человечество успешно развивалось в прямой зависимости от производства. В этом есть что-то правильное, но, Сонечка, я видел капитализм своими глазами. В Англии, в Германии, во Франции. Капитализм с живыми капиталистами, с которыми я встречался, пил, ел, разговаривал. Которым я платил, у которых я покупал и среди которых при моей внешности, при деньгах, которыми я мог распорядиться, они меня тоже называли капиталистом и ничего не скрывали от меня...

Софья Васильевна сказала:

— Это очень интересно.

— Это страшно, Соня. Их откровенность была похожа на заговор воров, вербующих меня в свою шайку. Они не скрывая говорят, что лучшим во властвовании является усыпление тех, кем ты повелеваешь. И разъясняли, как это делается. Называли удобные квартиры для рабочих, широкую продажу доступной им одежды, очарование их профессиональными союзами, вежливым обращением с ними... Сонечка, мне было не по себе. Они говорили о своем, а за их словами вставала Шальва, ее улицы с новыми «составными» домами... номерные овчаровские

магазины, цеховые столовые, наша больница и даже «Веселый лужок».

— А он-то почему? — спросила Софья Васильевна.

— Потому же... Там тоже есть свои «Веселые лужки», и какие! Они не усыпляют, а опьяняют и очень трезвых людей. Я за несколько вечеров в таких «лужках» прослушал лекции господ в черных цилиндрах о том, как важно не забывать древнее наставление: «Разделяй и властвуй», как важно, пропуская через сепаратор хитроумия своих рабочих, разделять их на сливки и обезжиренное молоко. Разделенные, они не будут едины в своей борьбе, в своих интересах... И, Сонечка, милая Соняша, перед моими глазами предстала наша фабричная знать с ее убогим благополучием, с ее акциями, накоплениями в Кассе и размежеванием с «обезжиренным молоком»... Это страшно, Соня! Будто и меня там пропустили через сепаратор и я вышел из него двумя Родионами. Один отрицает начисто капиталистическое право владеть и управлять заводами, рудниками, землей и вместе с ними — работающими на них, считая это подлым захватом и прямым грабежом. Другой Родион, споря с первым, находит капитализм вынужденно прогрессивным распорядком жизни, совершенствующим ее. Стыдно сказать, но пока единственно возможным, хотя и жестоким, общественным устройством. А все остальное... Все остальное, Соняша, пока пусть высокие, благородные, даже святые, но недовыкристаллизовавшиеся сверкающие самоцветы, теоретические мечтания. Трудно жить, Сонюра, двумя человеками в одном теле. Это не жизнь, а двоедушная гнусь!

— Что делать, Родион! — сочувственно и утешающе сказала Софья Васильевна.— Тебя ли одного заставляет двоиться жизнь?

— Это, Софья, не оправдание. Некоторые и с тремя душами в себе живут и благоденствуют...

— Платон?

— У него их, может быть, больше или нет ни одной...

— Какая-то, да есть... И тоже, наверно, недовыкристаллизовавшаяся. Или, скажем, недовыпеченная...

— Нет, Соня, Платон на редкость хитроумно выпеченный слоеный пирожок, с луком, с перцем, с медовым сердцем. С приглядным румянцем, заманным глянцем. Чертознаева, колдовская, обольстительная постряпенечка...

— Это который из двух Родионов в тебе говорит? — пытливо спросила Софья Васильевна.

— На этот раз оба в один голос,— горько улыбнулся Скуратов и решительно погасил свет.— Половина второго. Пора спать, Соняша.— Закрыв глаза, он завершил свою мысль: — И все же на свете нет таких пирогов, которые не распробываются, как и нет орехов, которые не раскусываются...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Очередным связным на этот раз была нарядная дама в широкополой шляпе. Рождественский встретился с ней на выставке художественного литья. Восхищаясь изделиями, она передала Савелию письмо.

Всякий, прочитавший это письмо, не понял бы, о чем оно. Для Рождественского теперь стало ясно, что Адриан его поддерживает в дальнейшем развенчивании Акинфина и одобряет прямой разговор при встрече с ним.

Савелий еще тверже поверил, что он сумеет и заставит поколебаться самонадеянного Платона в незыблемости своих идей. Коли Уланов, а затем история с гвоздями и требования комитета металлистов приоткрывали Акинфину глаза, то Савелий достигнет большего.

Достигнет именно он. Во всех случаях Акинфин не захочет потерять Савелия, а вместе с ним аховые прибыли ювелирного литья.

Убежденный в этом, Рождественский пришел к Платону в воскресенье и запросто сказал:

— Здравствуй, Плат. Сегодня у тебя пустой день...

— И ты его решил заполнить? Опять пришел о ком-то проявлять заботу?

— О тебе на этот раз. Ты же выслушивал себенаумейного Ивана Балакирева, послушай и меня. Разве плохо будет знать, что думает о тебе твой закадычный враг Савка Рождественский?

— Это уже интересно... Раздевайся и проходи.

Платон провел Савелия в маленькую, знакомую ему приемную и усадил за низенький столик с выгибными ножками.

— Давай позакадычничаем на полный пар. С чего начнешь, властитель крамольных дум?

— С чего прикажешь, великий усмиритель классовых противоречий,— ответил Рождественский в том же полу-

шутливом, полусерьезном тоне.— Начну, пожалуй, с Кассы. Касса, Плат, для тебя большущая находка и еще бóльшая потеря.

— В чем же потеря, Саваоф?

— Она показывает то, что для всякого хищного святоши разумнее скрывать.

— Что именно, Савелий?

— Когти!.. Не обижайся, Плат, ведь ты же сам просил меня «на полный пар».

— В таких случаях не обижаются, а просто не обращают внимания.— При этих словах Платон махнул рукой и подтвердил свой жест словами: — Отмахиваются — и все.

— В этом, Плат, у тебя большая сила воли. Ей не позавидует только осел. Ты мудро отмахнулся от комитета металлистов. Ты отмахнешься тем паче от сказанного мною.

— Не только отмахнусь, а просто не замечу.

Савелий закурил. Взвесил ответ.

— Такая возможность, Плат, у тебя пока имеется. Можно многого не замечать и отмахнуться. Скажем, идет снежок. Какое дело тебе до него! Идет, и пусть идет. А снег все гуще, гуще и дружнее, постепенно переходит в метель. Тоже можно отмахнуться и от нее, сидючи в хорошей кошеве. А метель все злее и злее, переходит в буран. Буран — в снежную бурю. Ты тоже можешь отмахнуться от бурана, но отмахнется ли он от тебя, Платон Лукич Акинфин? Отмахнется ли буран? Не заметет ли он тебя по самую макушку?

Платон испытующе посмотрел в смеющиеся глаза Савелия.

— Я догадываюсь, кто твой суфлер! Он хочет поколебать меня. Зря! Я не из трусливых...

— Так ты только говоришь, Плат, а дела твои совсем другое говорят.

— Например?

— Примеров много. Возьму, что мне на ум приходит. Уланова ты струсил... Вспомни ваш разговор после больницы. Вспомни семьдесят три гвоздя. Вспомни, как ты выкручивался тогда... Вспомни твой оборонительный и обольстительный приказ перед «большим бураном», которого ты начал бояться чуть ли не за год. Разве не боязнь, не трусость породили все твои «равновесия», «умиротворения»? Неужели это все только от широты

твоей души, а не для сохранения своих заводов? Ответь, если ты смел, «на полный пар»!

Акинфин, не возвышая голоса, с достоинством сказал:

— Обычно я не отвечаю тем, кто мелко плавает и крупно пустомелет. Тебе отвечу. Мы же с тобой играли в бабки. Я никогда и ни от кого своих суждений не скрывал. Революцию в России, как и в любой другой стране, можно предотвратить только теми способами, которые внедряю я. Если этого промышленники не поймут и не применят, тогда это их заставят сделать повстанцы и бунтари оружием и силой.

— Заставят и оставят княжить и править?

— Нет, почему же... Может быть, кого-то сожгут или утопят, но кого-то, а не всех.

Савелия это развеселило.

— Сильно, Плат, и очень густо задымил твои мозги твой Юджин Фолстер.

— А ты откуда знаешь это имя? От суфлера?

— Приходится, Платон Лукич, узнавать не только это, но и многое другое. Иначе как поймешь, что, откуда и по какой причине? Значит, по-твоему выходит, что революция, возможность которой ты не отвергаешь, всего лишь перепричешет капитализм, уравновесит его и сохранит?

— Какой же вывод отсюда, Саваоф?

— Их два. Первый — молчать и соглашаться с этим удельно-весовым неравноправием тысяч рабочих с одним тобой...

— А второй?

— Сперва до точки выясним о первом. Что значит и как надо понимать твой вес и каждого из тысяч уравновешенных с тобой?

— Как?

— Неужели ты, Платон, не понимаешь, что все принадлежит тебе? Заводы, станки, земли, миллионы, власть и право распорядиться всем этим, как ты пожелаешь... А что у нас? Ты, Плат, знаешь, что у нас!

— Разве вы не лучше стали жить, Савелий?

— Лучше. И даже хорошо. Но это ведь, Платон Лукич, сиюминутно. Ты можешь каждого из нас прогнать, а то и продать.

— Продать, Савелий?

— Ты не ослышался, Платон. Заводы принадлежат

тебе. И если ты их вздумаешь продать, то проданными окажемся и мы.

— Я этого не собираюсь делать.

— Не собираешься, но можешь. Имеешь право. Ты же собственник. Заводчик. Ты князь и царь и бог своих заводов. Это и без «суфлера» знают все.

— Называй кем хочешь. Не я установил этот закон, этот порядок. Не я, Савелий! Пойми меня.

— Я понимаю тебя, Платон Лукич Акинфин, но и ты пойми... Такой закон можно опять же без «суфлера» перезаконить и переупорядочить порядок.

— Как?

— Изволь. Не буду подбирать неуязвимые и неподсудные слова. Скажу без выкрутасов.

— Скажи без них.

— Тогда слушай и запомни. Запомни твердо. Твое трескучее капиталистическое «равновесие» заменит равноправие соединения всех! Всех, кому будет принадлежать все. Всех, кто законно будет получать только то, что он заработал своим трудом, своим умом.

— Мне жаль тебя, Савелий, и твоего подсказчика.

— А мне тебя, Платон...

Далее разговаривать было уже не о чем, к тому же пришел Вениамин Викторович Строганов.

— Ну вот,— не выдавая своего волнения, обрадовался Платон,— теперь есть у нас основания попросить накрыть нам стол и поговорить, какие новые художества затевает наш первоклассный артист Саваоф.

— Зачем об этом говорить? — отозвался Савелий.— Я лучше покажу наши новые пробные отливки. Вот они...

Савелий вынул из кармана и принялся показывать малюсеньких слоников, которые, как он сказал, принесут счастье не только тем, кто их приобретет, но и еще счастливей скажутся на прибылях.

Полюбовавшись слониками, похвалив их, Платон пригласил к столу и...

И как будто до этого ничего не произошло. Как будто и на этот раз юмор не изменил Платону Лукичу. Он шутил, рассказывал английские анекдоты. Он произнес здравицу за дружбу, которая не тонет и не горит. Он даже сыграл и спел песенку из далеких детских лет. Потом же, после ухода Савелия, сославшись на головную боль, Платон заперся в спальне...

Акинфин был мрачен и на другой день, и на третий.

А через неделю в Шальве стало известно об аресте Рождественского и еще девятерых, взятых вместе с ним на кладбище, где происходило сборище. Все они были заключены в пермскую тюрьму.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Долгом престижа и репутации среди рабочих Платон Лукич посчитал необходимой встречу с Рождественским в тюрьме. Савелий должен знать, что Платон не был причиной его ареста.

Думая об этом, Акинфин надеялся на большее. Новый губернатор стал ближе старого. В недавний день его именин Платон Лукич предусмотрительно, на всякий случай, вручил его превосходительству увесистый пакет акций «Равновесия» как законный гонорар за подсказку изготовления золотых подков...

Для крупного заводчика всегда полезно заполучить слугой высокое сановное лицо.

Акинфин послал нарочного к губернатору с письмом за пятью сургучными печатями. Кратко изложив суть дела об аресте нужнейшего и драгоценнейшего мастера Савелия Рождественского, Платон просил аудиенции.

До возвращения нарочного пришла обнадеживающая телеграмма: «Жду с лучшими надеждами на исход дела».

«Лучшие надежды» сказались сразу же, после обмена приветствиями Платона Лукича и губернатора в его роскошном кабинете.

— Любезнейший Платон Лукич, ваш Рождественский дубина,— объявил губернатор.— Преступления вашего обалдуя, как мне доложили, а равно и остальных ослов не столь велики, да их, пожалуй, и нет. Эти олухи, продолжая тяжбу с вашей странноватой Кассой взаимного кредита, вместо того чтобы собраться и решить свои дела открыто, собрались на кладбище. И это не могло не ввести в заблуждение полицию, арестовавшую их.

— Чего же они хотели, ваше превосходительство? — подчеркнуто наипокорнейше спросил Платон Лукич.

— Они не без оснований требовали закрыть «Веселый лужок», называя его публичным домом, каким он, извините, и есть на самом деле, притом безрегистрационным. Политических речей они не произносили, не угрожали империи. Следствие не нашло возможным наказывать их за междоусобицу двух легальных организаций.

— Их освободили, ваше превосходительство?

— Да, кроме Рождественского. Я попросил его задержать до вашего приезда, чтобы он знал, кому обязан своим освобождением.

— Это очень мило и любезно, ваше превосходительство. И так быстро...

— У нас, Платон Лукич, перенаселены камеры. Не хватает мест и заслуживающим их. Кто-то переусердствовал в предвидении наград и повышений... Нужно было там же, на кладбище, произвести памятную экзекуцию. а затем повторить ее публично... По этому поводу уже сделаны замечания и произведены понижения по службе. В наш век гуманизма мы не можем полнить места заключения и производить ложное впечатление в цивилизованных государствах в этот юбилейный год царствующего дома.

— Что же, ваше превосходительство, грозит остальным?

— Их, полагаю я, следовало бы, чтобы не притуплять рачительность полиции, куда-то выслать на поселение. Но едва ли такими мерами следует лишний раз омрачать благословеннейшее празднование блистательного трехсотлетия хранимого богом царствующего великого дома Романовых...

Губернатор обратил взгляд к ростовому портрету царя, смахнул предполагаемую слезу умиления и маленьким серебряным колокольчиком вызвал чиновника.

— Прошу сделать все необходимое и сопроводить в моем экипаже господина Акинфина Платона Лукича в губернскую тюрьму для встречи. Платон Лукич скажет, кого он желает облагодетельствовать своею великодушной встречей...

Затем губернатор, любезнейше подав руку, звякнул шпорами и сказал:

— А если он вам, этот самый Рождественский, нужен, можете взять его и потом для проформы написать мне ходатайство о помиловании.

Пропуская строки проезда Акинфина по знакомым улицам города в губернаторском экипаже, перейдем к встрече в камере, освобожденной от сидевших вместе с Рождественским, послушаем, как встретил он пришедшего за ним.

— Хочешь снова показать свое милосердие, господин спаситель?

— Прежде здравствуй... Как хочешь, можешь не подавать мне руки. Это твое право... И я пожалуй, не обвиню тебя... В твою больную голову может прийти всякое. И я щажу твои заблуждения... Что же касается моего милосердия, то ты не нуждаешься в нем...

— Зато ты нуждаешься во мне.

— Тоже нет. Без тебя твои ученики подтверждают, каким добросовестным был их учитель.

— И все же ты выкупил твою тонколитейную машину, чтобы привинтить ее на прежнее место.

— Ты повторяешь слова Уланова...

Стук в дверь прервал разговор. Человек в мундире внес два креслица, обитых плюшем, сказав: «Господа, вам так удобнее будет разговаривать»,— удалился.

— Садись, Савелий,— предложил Акинфин.

— Насижусь еще... Да и мне лучше разговаривать стоя.

— Как хочешь.— Платон сел.— Савелий, ты боролся против нашей Кассы. Это, оказывается, не так опасно.

— Я борюсь против капиталистов.

— Но я, кажется не самый страшный из них. И не самый горький...

— Ты не страшен и не горек. Ты сладок и ядовит. Трудно представить, какой вред ты наносишь рабочим своими заботами о них. Ты убаюкиваешь своими благодеяниями самое главное в рабочем — его сознание. Сознание хозяина всего созданного им... Ты называешь революцию чем-то вроде болезни, а не выздоровлением от произвола и внушенного такими, как ты, позолоченного самозакабаления.

— Говори, говори, Савелий. Мне полезно знать суждение Молоканова о своих пороках и достоинствах.

— Так знай. Ты выдернул из наших рядов самых даровитых, самых умных. Ты обогатил, и отравил их, и сделал своей опорой, поставив над нами. Тебя и враждебные капитализму называют лучшим из зол. Я так не назову. Ты опасен своей лучшестью. Эта забота, тысячу раз повторяю я, и за мной рано или поздно повторят тысячи рабочих, есть забота о машинах.

— Плохо ты думаешь вместе с Улановым о Кассе. О вашей кровной рабочей организации.

— Рабочей? Посмотри мне в глаза и повтори.

— Изволь, я смотрю и повторяю...

Глаза Платона были чисты. Чисты и правдивы, как у маленького сына Рождественского.

— Колдун ты или самозавороженный дурак? Касса тоже пряник! Гора пряников. А Овчаров... Я не знаю, как и назвать его. Он от души хотел лучшего и сделал много хорошего. Но все же Овчаров выпекал для тебя одурманивающие пряники. Он фанатичен. Религиозен.

— Его никто не видел в церкви.

— И незачем там ему быть. Никодим отвадил не одного его своими проповедями. Одна старуха из верующих сказала, что этот Сашка Овчаров тайный немоляй без икон. И его храм — это Касса. А что такое Касса? Видимость из спичечных коробок. Дунет не тот ветер — и рассыплется. Выдерни из-под Кассы Овчарова — и нет ее. Изменись твои дела — и конец страховым процентам. Нужно всеобщее, обязательное, узаконенное страхование. Я за весь рабочий класс, не по частям, а в целом. Нужен большой, настоящий ветер, чтобы он сдул соглашателей Овчаровых, а вместе с ними и тех, с кем вошли они в предательское согласие...

Платону Лукичу ничего не оставалось, как встать и, не простившись, уйти, затем побывать у губернатора и сказать ему, что этот арестант не нужен его заводам, что ему полезнее быть подальше от всех слоев общества.

Платон поднялся, подошел к двери, толкнул ее и остановился на пороге. Остановившись, он повернулся к Рождественскому:

— Иди, Саваоф, и сметай! Я открываю тебе и Якову Самсоновичу двери и на мое сметение!

— Да-да, господин Акинфин,— услужливо подскочив, сказал тот же человек в мундире,— его превосходительство приказало по вашему соблаговолению вернуть господину Рождественскому его одежду... Принесите одежду Рождественского,— крикнул он,— и незамедлительно готовьте выпись на его убытие из тюрьмы!

Акинфин видел, как Савелий в изнеможении сел на креслице и в его глазах онемел испуг.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

По выходе из ворот тюрьмы Акинфин отказался от вызванного для него извозчика и отправился пешком. Ему нужно было выяснить, что заставило его изменить решение на пороге камеры.

Может быть, пожалел? Но за что жалеть человека, желающего ему гибели? Такой способен и выстрелить, как Зюзиков в цирке...

Может быть, он хотел сделать великодушный жест? Едва ли. Кто мог увидеть его и кто будет знать о нем? Да и чем, и в чьих глазах мог украсить этот жест после стольких добрых дел, которые он сделал?

Может быть, он все еще дорожил им как мастером? Что за чепуха! Зачем он ему, когда таких десятки, которые так же не нужны, как и это мелкое литье? Что дает оно по сравнению с остальным? Прошла пора, когда радовали замки.

Так что же? А не все ли равно что! Может быть, ему хотелось сделать приятное Родиону. Он как-то странно отмалчивается после возвращения из-за границы. Что-то скрывает и носит в себе. Неужели и он также усомнился в том, чем жил все эти годы и еще большее число лет готовился к ним? И если это так, то он остается совершенно один. Никто не разделяет с ним его подвига.

Может быть, поговорить с Родионом и спросить его в упор?

Нет, пусть он побудет с самим собой, что-то выяснит для себя, и лучшее, здоровое непременно победит в нем. Ведь не мальчишка же он на пятом десятке лет. Не отвернется же он от самого себя.

Желая, чтобы Родион выяснил отношения с самим собой, этого же Акинфин пожелал и себе.

Свернув с главной Сибирской улицы на телеграф, Акинфин попросил вызвать на шальвинскую почту Скуратова.

Недолго ждал Платон Акинфин. И пермский, и шальвинский телеграфисты знали, кто и кого вызывает и как благодарят за это вызывающие и вызываемые.

Быстро перестукивали телеграфные ключи переговорные фразы.

«Хозяйничай, Родион. Я чувствую себя уставшим. Хочу проехать к Цецилии. Как там у вас?»

«Все хорошо. Чердынцев делает новые чудеса. Желаю счастливого пути. Поклон Лучининым. Приобрел ли икону Саваофа?»

«Саваоф отправляется в шальвинский собор. Меня не удивляет твое религиозное рвение, Родион, но икона нуждается в капитальной реставрации, а возможна ли

она, я сомневаюсь. Прощай. Телеграфируй ежедневно в Петербург. Точка, Родион, точка».

Телеграфист премного благодарствовал за полученное и принял новое поручение узнать, когда поезд на Петербург, и заказать билеты господину Акинфину Платону Лукичу.

Поезд будет через два часа. Билеты обеспечены. Теперь оставалось послать губернатору благодарственную телеграмму и отправиться на новый вокзал, там пообедать, а потом мчаться через русские северные города, в которые вслед за гвоздями, замками, подковами, а в скором времени часами и швейными машинами придет и его равновесие,— на страх врагам и царям, оно будет властвовать и утверждать его гармоническую монополию.

Так думал Платон о величии созидаемого и задумываемого им. Его теперь поражало и удивляло, как он мог снисходить до никчемной полемики и раздражаться черт знает чем.

Все это выглядело ничтожными мелочами, жалкой пылью. А...

А через два дня по приезде в Петербург, казалось бы, еще более ничтожные мелочи заволакивали его и лелеемое им куда более раздражительной, терзающе-въедливой пылью.

По приезде произошла неприятная встреча с большой афишей, на которой зазывными, выкрутасными, крупными оранжевыми буквами кричали два знобящих слова: «КЛАВДИЙ АКИНФИН» — и тут же он сам во фраке, с гитарой также вычурной формы.

В афише перечислялось, что он исполняет и кто принимает участие в его концертах на Островах.

Останавливать экипаж и читать афишу значило бы опять «снисходить». Пусть поет, пусть позорит фамилию отца, ее нет теперь на фирменном знаке, и тень Клавдия не падет на «Равновесие».

— Не придавайте этому значения, Платоша,— в первый же день приезда заботливо попросил его Лев Алексеевич Лучинин,— в столице случается и не такое. Что вам за дело до Клавдия Лукича! Он для вас не более чем однофамилец, а скоро не будет звучать и им. Проконцертит свои акции и перейдет в разряд фрачных босяков. Ему, я полагаю, дорого приходится приплачивать за каждый свой концерт и содержать труппу своих шар-

латанов. Хрисанф Аггеевич говорит, что вашему однофамильцу нужно платить и за услуги по бесплатной раздаче большего числа билетов, чтобы не выступать перед пустующими креслами.

Платону Лукичу оставалось только подтверждающе кивать головой да вставлять два-три ничего не значащих слова, таких, как «да-да» или «ну, конечно» и «я так же думаю».

Наскучавшемуся Льву Алексеевичу хотелось выговориться, и он рассказывал, перескакивая с одного на другое.

Он, оказывается, и в самом деле продал уже все имения за исключением подмосковного.

— Пусть остается на всякий случай. Оно стоит сущие гроши, и управляющий им, агрономически образованный человек, подобно лесничему Чердынцеву, покрывает расходы приходами от посевов и скота. А вообще-то, Платошенька,— вдруг с грустью сказал Лучинин,— хорошо бы нам всем последние годы пожить в подмосковной.

— Почему же последние? — насторожился Платон.— У нас еще будет впереди много и очень много лет.

— Мало, Платоша, очень мало. Вы не читаете заграничных газет, а я читаю...

— И что же в них можно вычитать? Одни сплетни, да распри, да самопохвальное рекламирование своих товаров и своей цивилизации. Все они на один лад. Уж я-то теперь знаю, как делаются газеты. Все они те же «Шалые-Шальвы», только печатаются не время от времени, а ежедневно... У Веничка была какая-то правда, какие-то очерки из действительной жизни, а там отвлечение внимания от того, к чему следует привлекать его.

Лев Алексеевич, согласившись с этим, подсел поближе к Платону, распахнул свой утренний халат, будто желая показать этим, что он распахивает и свою душу.

— Платоша, сын мой, не порожденный мной, заграничные, да и всякие газеты следует читать вниз головой. Где напечатано «да», следует читать «нет». Где предсказывается нескончаемое долголетие дому Романовых, там следует видеть близкий его конец. И чем пышнее празднуется трехсотлетие этого дома, тем бесславнее будет его низвержение.

— Па, вы опасный революционер...

— Я добросовестный реалист-реалистоционер. Я был

плохим губернатором. Губернатор не получился из меня. И слава богу, что не получился. Я бы оказался слугой заживо погребенного последнего Романова.

— Откуда, па, в вас такая убежденность? Кто начинил ею вас?

— Читайте, Платошенька, газеты вниз головой. Хрисанф Аггеевич читает их именно так.

Платон опять не обратил внимания на знакомое имя и отчество, потому что Лучинин, не останавливаясь, продолжал рекомендовать:

— Научитесь читать газетные строки, как я. Не только меж них, но и между букв, составляющих слова, вы почувствуете запах пороха. Вы и в рекламных объявлениях почувствуете, что мир становится тесен, что кому-то что-то некуда продавать, что географическую карту следует перечертить, что некоторые государства не прочь подвинуть наши западные границы пусть не за Москву, то под Москву...

— Кто вас питает, па, такими предположениями?

— Я пока еще, Платошенька, не нуждаюсь, чтобы меня кормили с ложечки. У меня своя голова и свой ум... Правда, я не чуждаюсь и чужих умов. Хрисанф Аггеевич очень наслышан и осведомлен.

Теперь Платон вспомнил это имя, и оно его обожгло.

— У вас бывает Гущин? Вы знаете его?.. Как он попал к вам?

— У меня не закрытый дом. Он назвался вашим знакомым, Платоша. Я увидел в нем умного человека и стал принимать.

— А вы, папа, знаете, к каким кругам принадлежит этот Хрисанф Аггеевич?

— А за кого можно поручиться, что он не принадлежит к этим кругам? Большинство скрывает такую принадлежность, а он — нет. Да и что мне за дело? Я же не собираюсь взрывать Зимний дворец. Да и зачем бы, когда там только тень Петра, а кроме этого ничего не было и ничего нет. Зачем же, для чего портить хорошую архитектуру дворца?

— Ах, па, вы добры, откровенны и наивны, играя с огнем.

— Этот «огонь» тоже побочный сын какого-то князя. Правда, его отец был победнее и, по правде говоря, очень беден. Он, как и Клавдий, пил, играл и был привержен к цыганкам. Поэтому сыну пришлось, так сказать, «гу-

бернаторствовать» не в очень уважаемой тайной олигархии, но ведь и там есть реалистоционеры, друг мой Платошенька...

Лев Алексеевич неистощимо обогащал Платона Лукича новыми сведениями и неопровержимыми, по его мнению, предвидениями. Центральным из них было предречение войны.

— Кто нападет из них, я не знаю. И так ли уж важно, кто? Важнее другое. Война подорвет устои России. Она может оказаться лакомым пирогом. Может наступить второе иго. Не варварское, а цивилизованное. Оно страшнее и оскорбительнее. При нем не будут жечь города, а будут истреблять все русское, национальное и внедрять чужой капитализм...

— И вы, па, о капитализме!

— Не называть же его социализмом, Платоша, коли он капитализм. Вы не читаете новейших книг. Это плохо, как и плохо то, что вы хотя бы часть своих денег, хотя бы один-два миллиона, не перевели в один из самых надежных лондонских банков. У вас же сын... Положим, у него есть дед. Я все перевел и завещал на внука и дочь...

Неутешительные разговоры с Львом Алексеевичем продолжились еще более неутешительно с Хрисанфом Аггеевичем Гущиным.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Гущин предстал все тем же столичным салонным львом:

— Теперь я, Платон Лукич, не полуинкогнито, а ваш соакционер по «Равновесию».

— Очень приятно, Хрисанф Аггеевич,— огорчился Акинфин.— Теперь вы будете не рекомендовать, а приказывать мне, как я должен себя вести.

— Ну что вы, что вы, для этого у меня маловато акций, Платон Лукич, и у меня нет шулера Топова. Я бы уж как-нибудь упросил его выиграть для меня за новую его фамилию побольше акций у Клавдия Лукича, чем сумел это сделать я.

— Курите, курите, Хрисанф Аггеевич. Для вас припасен этот гаванский десерт,— сказал Платон Лукич, придвигая коробку с сигарами.— Значит, и на этот раз Клавдий обманывает меня? Он поклялся продавать акции только мне...

— Клятвы для него стоят меньше, чем сами акции,— он рассчитывается ими даже с извозчиками.

— На что же надеется он?

— На гитару и на купчиху. Она влюблена. И в гитару с загогулинками, и в него с бронзовыми кудряшками. Но, Платон Лукич, я уверен, что как только она узнает, что за наследственным завещанием Луки Фомича стоит нуль, то боюсь, что Клавдий Лукич может снова оказаться на вашем попечении, Платон Лукич.

— Никогда. Я отдал все. Я был добросовестен к нему. И он нотариально подтвердил это в акте.

Раскурив душистую дорогую сигару, Гущин, пуская тоненькие струйки дыма, язвительно тонко заметил:

— Кроме актов есть акции. Есть и репутация. Достоинство фамилии. Когда его подберут валяющимся под столом трактира, то кто-то... может быть, из очень высоких сфер... попросит у вас милосердия к родному брату...

— О черт! — вскочил Платон и принялся быстро расхаживать по комнате.— Он отравит мне жизнь... Он уже отравляет ее.

— Он это делает и теперь, понося вас, где только можно, и даже с подмостков сцены распевая злую шуточную песенку:

Мой братец миллионы наживает,
А я трудом своим живу.
Он пот рабочий выжимает,
А я для вас пою, пою.

И что-то в этом роде, я не захотел запоминать этих подлых слов, Платон Лукич, и нашел способ запретить распевать эту песню, которая, сводя семейные счеты, подогревает вредные страсти. Его оштрафовали, Платон Лукич, а он, уплатив штраф акциями, повторяет ее и снова платит штрафы, утверждая, что аплодисменты стоят этого. Ему аплодирует чернь.

Гущин, заметя, что его слова производят гнетущее впечатление на Акинфина, утешил его и тут же снова еще больше огорчил:

— Он скоро перестанет петь в столице, я уже позаботился о прекращении выступлений в Петербурге его шарлатанов. В этом отношении мне было легко, Платон Лукич, обезопасить вас. Труднее будет мне, если начнутся происки новых акционеров. Мне стало известно, что маклеры для каких-то неизвестных лиц скупают ваши

акции, называя их беспроигрышными счастливыми билетами. Предлагали продать и мои, выигранные у Клавдия, но я попридержал.

— Пусть скупают, Хрисанф Аггеевич, это лишняя реклама для фирмы. Все не скупят. Не скупят и половины.

— Вам лучше знать, Платон Лукич, однако же достаточно и четверти акций, чтобы влиять на вас. Мне стало известно, что скупщики кинулись в Шальву. Там акции у каждого рабочего и у ваших врагов, вынужденно ставших вашими вассалами. Покупаются не только акции, но и люди.

На этот раз Платон сдержал свое волнение, проступившее знакомыми белыми пятнами на его лице. Он, собравшись, спросил настойчиво и властно:

— Что вы хотите добиться от меня, Хрисанф Аггеевич этими сочувственными припугиваниями?

— О мой бог! Как вы мнительны, Платон Лукич! Как и тогда, так и теперь мне ничего не может быть нужно от вас. И то, что вы называете припугиваниями, справедливее считать дружескими предупреждениями. Когда фирма была только вашей, только вы один могли распоряжаться всем. Теперь же вы ее захотели расширить, превратив в акционерное общество, получили вместе с новыми капиталами совладельцев, сохозяев. И каждый из них, в том числе и такой маленький совладелец и сохозяин, как я, может потребовать, чтобы расходов было меньше, а прибылей больше.

— К этому стремится всякий владеющий заводами, Хрисанф Аггеевич!

— Но не всякий одержим такой альтруистической благотворительностью, как вы, Платон Лукич...

— Это, повторяю и буду повторять, пока я существую, Хрисанф Аггеевич, не благотворительность, а тем более не альтруистическая, а минимальная осмысленная необходимость для обязательного...

— Равновесия,— досказал Гущин.

— Да!

— Вот оно-то и может не понравиться сохозяевам и может быть отвергнуто ими, Платон Лукич.

— Тогда неизбежны недовольства, волнения, и за ними возможен и крах!

— Так уж и крах, Платон Лукич... А если и крах? Им-то что? Что до этого вашим соакционерам? Им лишь бы взять, положить в карман, а там хоть извержение

Везувия и гибель Помпеи! Я, дорогой Платон Лукич, предупреждал вас: живите вровень! Я предупреждал не только от моего имени: не нарушайте своим равновесием равновесия в мире акул. Оно служит дурным примером для их порабощения и наживы. Они, как стая черных ворон, заклюют, а потом сожрут вас. Я, да будет вам известно, не ворон. Я слуга хищников. Забудьте об этом. Не верьте мне! Но вспомните меня, когда начнут падать ваши акции и когда начнется оглушительное карканье... Ого! — посмотрел Гущин на часы.— Не циферблат, а ипподром, не стрелки, а сумасшедшие рысаки... Я не прощаюсь, Платон Лукич, договорим вечером.

Разбитым, раздосадованным увидела Цецилия Львовна Платона Лукича.

— Здоров ли ты, Тонни?

— Лия! Родная моя! Я никуда не могу уехать из Шальвы. Она преследует меня. Преследует и здесь, в Питере...

— Тонни, я только могу повторить сказанное. Уехать из своей треклятой Шальвы ты можешь, только уехав из России. Только, Тонни, только... И ты рано или поздно уедешь из нее. Это предсказываю не я, а сама жизнь. Сама жизнь,— повторила она,— которую ты выдумал наперекор здравому смыслу, опережая течение времени.

ЦИКЛ ДЕСЯТЫЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вернувшись в Шалую-Шальву, Платон Лукич вернулся в себя. Здесь он дома. Здесь родное и свое. Голоса заводских гудков. Запахи. Уличные собаки. Столбы. Дым. Пруды. Люди. Через каждые два шага «здравствуйте». Разве они предадут и продадут свое «Равновесие» вместе с акциями? Они же повышаются и повышаются в цене.

Как трудно и длинно всегда бывает петербургское время. На этот раз оно, кажется, длилось годы.

Хорошо бы в лес. Хорошо бы вместе с Веничком пригласить на охоту Максима Ивановича Скуратова. Работает он теперь полдня, и ему будет приятно тряхнуть стариной.

Хорошо бы разбудить дремлющие старые хоромы. Придумать повод и дать бал. Бал для всех. Теперь никто не запретит ему пригласить всех своих сверстников, однокашников. Что из того, что бросил свой дом Савелий Рождественский? Ему стыдно теперь жить в Шальве. И даже лучше, что его здесь нет. У него всегда бы оставался нож за пазухой. Его отъезд не очернил Платона, а возвысил. Все же знают, кто ему открыл двери из камеры.

Жаль и очень жаль первого на Урале и, может быть, первого в России гравера Ивана Уланова. На Монетном дворе будут ему меньше платить. И он вспомнит Шальву, вспомнит и свое спасение. Скопленных денег ему ненадолго хватит. И все же хорошо, что нет и его. Хотя призрак Молоканова и бродит по Шальве... И пусть бродит...

Привезенный американский «зингер» с плохим английским языком отлично знает свое дело. Он обещает обойти знаменитую зингеровскую патентную формулу и рекомендует воспользоваться новым способом его однониточного шитья. Этого нельзя делать. Не всякое, даже гениальное, упрощение будет принято и правильно понято.

Американский зингеровец готов наладить автомо-

бильное производство. Платон также готов, да не готово все остальное. Для этого нужны и годы и деньги. Они будут. Терпение и настойчивость помогут и на этот раз, но поможет ли Родион? Он не тот, совсем не тот.

Что с ним? Неужели все это время он что-то носил в себе и все еще носит? Может быть, не дожидаться и начать первому? Может быть, это необходимо, чтобы не дать застареть беспокоящему его?

Нельзя же допустить, чтобы произошло непоправимое. Не заразили же его Савка и Уланов своими идеями сметения всего — до таких, как Завалишин Кузьма, как веялочный паучок Иван Балакирев.

Странные идеи... А кто же заниматься будет этой суетливой работой? Не Улановы же? Как можно обойтись без мелкого жучка-паучка? В природе тоже есть и должно быть свое равновесие. Во всякой природе, и тем более в людской.

Но еще страннее, что сын князя Лучинина, аристократ, образованный человек, и этот ядовитый Мефистофель, имя которого кощунственно начинается с тех же букв, что и Христос, тоже пугают себя и других войной. Войной, которая кончится либо разрезанием лакомого пирога, либо перепечением его в новом, революционном виде.

Как поднаторели нынче все в фокуснической фразеологии! Призраки Молокановых всюду и везде.

А где взять пирожников для испечения в этом «новом, революционном виде» России? Она же не герцогство размером в заштатный уезд. Где печь с десятитысячноверстным подом? Чем нагреть ее? Листовками? Речами таких, как Молоканов? Нет! Родион-инженер, Родион, самостоятельно управляющий столькими заводами, отлично понимает, какое решающее значение имеют ресурсы, запас мощности и другие компоненты, вплоть до уровня грамотности народонаселения. Таких, как бывший лесничий Пармин, ни в каком пироге не перепечешь в Чердынцева, в Скуратова, даже в «Зовут-зовутку» Микитова. Их считанные сотни, а нужны тысячи, десятки тысяч. И если Родион в самом деле заболел корью революции, то эту излечимую молокановскую болезнь нужно помочь ему преодолеть, не откладывая.

Не откладывая, Платон Лукич пригласил своего Родика к себе скоротать вечер за чашечкой кофе и разговором о закамском часовом заводе.

Родион пришел тем же и другим.

— Да что, право, Родик, я не знаю, как подступиться к тебе и расшевелить тебя,— начал Платон.— Мы всегда были вместе. Больше — мы были друг в друге. Ты во мне, я в тебе... Что-то произошло?

— Да, Тонни, что-то происходит со мной... Ты уходишь из меня.

— Ухожу или уже ушел?

— Не знаю, Тонни, может быть, и ушел. Пожалуй, ушел, и во мне осталась только твоя тень. Или, лучше сказать, пустота. Такая же пустота, как в опоке, когда вынута из нее отливка, а формовочная земля все еще сохраняет отпечаток того, что было отлито в ней.

— Ты презираешь меня?

— Себя!

— За что?

— За то, что я был тобой. Это трудно объяснить и еще труднее найти хотя бы приближенно точные сравнения. Слова, как бы гибки и ковки ни были, они всегда остаются крупнозернистым чугуном по сравнению с мыслями и чувствами человека.

— Так же думаю и я, мне всегда недоставало точных слов, если их даже я брал из трех языков.

Платону хотелось перевести разговор на другое и дать осознать Родиону сказанное им, может быть, сгоряча и преувеличенно... Поэтому Платон снова стал говорить о заводах:

— Родион! Мы превратили с тобой старые заводы в изумительный промышленный бассейн. Бывавшие здесь, ты знаешь и сам, называют тебя опередившим многих предпринимателей просвещенного Запада. Разве это не верно?

— Может быть, и верно, но что из этого?

Платон положил руки на плечи Скуратова.

— Что угнетает тебя, Родионик?

Родион снял руки Платона.

— Мы заблуждались, Тонни. Я говорю «мы», потому что мы ошибались не порознь и я всегда был твоей тенью. Моей тенью бывал и ты. Реже, но бывал. Так случается. Отображенное в зеркале оказывает воздействие на того, кого оно отобразило. Видишь, как мало на свете слов и как ими трудно выразить происходящее внутри человека. Отраженное очень часто корректирует отражаемого. Не внешне, в смысле проверки, как сидит на тебе пиджак,

гладко ли выбрито твое лицо, правильно ли повязан галстук. А в ином смысле: так ли думаешь ты, верны ли твои замыслы, не ошибочны ли твои мечты?

— Не клевещи на себя. Твои слова очень точны. Может быть, не для всех, а только для нас с тобой. Да, мы поочередно были зеркальными отражениями.

— Были, но приоритет был твой. И он перестал быть им.

— Почему же, Родик?

— Я думаю, что изменилась поверхность зеркала.

— Она стала кривой? Или вогнутой? Или выпуклой?

— Нет, Тонни, мне кажется, она стала прямой. Пусть не стала еще такой, но стремится стать идеально прямой. И ты теперь отражаешься во мне тем, каким ты есть.

— Значит, я был не тем, каким хотел казаться? И сумел притвориться другим?

— Слово «притворялся» лучше заменить словом «самообманывался», а еще лучше — «самоочаровывался».

— Чем, Родион?

— Всем, что было в тебе, что ты излучал, чем обольщал, влюблял, подчинял и, кажется, обожествлял себя.

— Обожествлял? Ты что?

— Да, Тонни, не случайно же ты однажды, будто исповедуясь, признался мне и сказал: «Иногда я чувствую себя мыльным пузырем, а иногда мессией». Не случайно же им тебя назвал этот... о ком ты рассказывал.

— Гущин,— напомнил Платон.

— Он! Исцеленный в больнице старик тоже называл тебя Христом и молился на тебя! Ты отринул его, но это подействовало на тебя.

— Кто же я, по-твоему? Прямо и честно.

— Ни то и ни другое. И — то и другое!

— Может быть, попросить кофе с коньяком?

— Для меня просто кофе. Он помогает думать, коньяк — «заумничать». А мне этого не нужно и особенно тебе, в твоем новом, кристальном качестве капиталиста без замутнения демократической игротней.

— Новое слово?

— Обновляться должны не только станки...

Луша принесла кофе и ушла. Кофе позволил сделать антракт и дать тому и другому взвесить и оценить, что произошло, и нужно ли дальше размежевываться. Может быть, разумно что-то сохранить, сохранив этим какие-то отношения.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Скуратов, отказавшись от коньяка, налил его в кофе, залпом выпил и объяснил:

— Для храбрости! — И продолжил: — Мы жили в иллюзиях и утопиях, что почти равнозначно, но не идентично. Иллюзия ближе к сну наяву, утопия — не сон, а сознание, убеждение, вера и даже больше. Твоей, а потом и моей утопией была теория «гармонического равновесия взаимностей». И иллюзией было ее реально зримое осуществление.

— Ты повторяешь слова Савки-Саваофа.

— Не только его, Тонни, но и многих. Шальва не так нема, не столь глуха. Савелиев и Улановых теперь не единицы и не десятки, а... Впрочем, я не вел им счет.

— Тогда это очень печально. Но ты-то как мог оказаться их единомышленником, Родик?

— Я не утаю ничего. Ясность и правда нам теперь необходима как никогда. Для этого мы должны вернуться к истоку и хотя бы конспективно пройтись по прожитому. Это хорошо известное, может быть, тебе покажется утомительным, но без этого нельзя понять, почему мы стали антиподами. Вернемся в наше детство.

— Вернемся.

— Люди не рождаются с наследственными убеждениями. Они приобретают их после рождения. Твой отец, как мы с тобой узнали об этом позднее, хотел для тебя гувернера, который бы привил тебе все необходимое, чтобы ты стал достойным наследником и продолжателем отца. Инженер Макфильд не пошел бы в гувернеры и не поселился бы в шальвинской глухомани. Но он нигде, ни в одной стране, не получил бы больше, чем ему предложил Лука Фомич. Макфильд, вернувшись, мог построить фабрику и осуществить свою мечту, применить изобретенные им станки по изготовлению крохотных гвоздей. И он стал твоим и отчасти моим воспитателем. Мы быстро усвоили английский язык, а он недурно болтал по-русски. Нам уже можно было рассказывать поучительные сказки, притчи, истории... Изо всех мне больше запомнилась история о сачке. Запомнил и ты ее.

— На всю жизнь. Она изумительна своей наглядной простотой.

— И своим растлением детской души. Вспомним ее. Это не будет лишним. Повторение — мать учения. Мы

тогда гуляли по берегу нашего пруда. Нам нужно было наловить сачком маленьких рыбок для аквариума, и сачок неожиданно послужил зерном того, что потом так пышно расцвело. Мы тогда не могли поймать ни одной рыбки. Для этого нужно было разуваться. И кто-то из шальвинских ребят вызвался наловить твоим сачком рыбок. И ему, зашедшему по пояс в воду, это удалось. Когда рыбки оказались в нашем маленьком ведре, ты сказал мальчугану «спасибо». Макфильд сказал, что это недостаточная благодарность. Он сказал, что ты должен отдать часть пойманных рыбок. Ты спросил: «За что?» Макфильд ответил: «За его работу, за его труд».

— У тебя феноменальная память, Родик.

— Да, Тонни, с моей памятью что-то случилось после того, как произошел сдвиг в моих мозгах. Но не будем останавливаться и вспомним, что было сказано о сачке. Макфильд сказал, что все должно быть справедливым. И по справедливости какую-то часть рыбок ты должен отдать мальчику, поймавшему их. Ты был дотошен и поэтому спросил, почему же ты должен отдать только какую-то часть, а не всех рыбок, он же их поймал всех. Тогда Макфильд сказал самое важное. Он сказал: «Но, Тонни, сачок-то ведь твой, и он поймал рыбок твоим сачком, и не будь у тебя сачка, мальчик ничего бы не поймал». Так сказал?

— Так, Родион. Я даже слышу тембр голоса Макфильда.

— А я — не только тембр, а гораздо больше. Дома он, дав усвоить сказанное, продолжил о сачке. И начал опять о справедливости. И притом, прошу заметить, взаимной справедливости. А она состояла в том, что по справедливости ты имеешь право брать опять же справедливую часть пойманной рыбы за твой сачок и немножко больше. Тогда и ты, и я спросили: почему же немножко больше, справедливо ли это? Макфильд назвал это справедливым. Справедливым потому, что сачок, которым ловят рыбу, портится, изнашивается, его необходимо чинить, а затем, когда не будет пригоден для ловли, придется купить новый сачок... Я не прибавляю ничего, говоря об этом сачке?

— Нет.

— Не придумываю я и то, что Макфильд, несколько раз возвращаясь к сачку, сказал тебе, что чем больше у богатых мальчиков будет сачков, тем больше рыбы пой-

мают бедные мальчики и тем богаче будут мальчики, у которых много сачков. Потому что рыба может продаваться на деньги, а за деньги можно купить все... Далее Макфильд неназойливо, деликатно рассказывал, что такое деньги и почему к ним нужно относиться бережно и разумно. Но это уже другой рассказ, новый этап формирования в маленьком Тонике мышления крупного капиталиста, каким он и стал... Что ты скажешь на это, миллионер Платон Лукич Акинфин, владеющий десятками первоклассных сачков, оборудованных новейшими станками, при помощи которых рабочие мальчики, ставшие взрослыми рабочими, мастерами и управляющими, что в общем-то одно и то же, стали производить большие уловы, очарованные своей темнотой? Ура! Я, кажется, нашел краткое определение для всех: очарование темноты!

Платон помрачнел. Подпер голову рукой. Уронил блюдечко.

— Я что-то недопонимаю, Родион Максимович.

— Что же тут непонятного? Все как в руководстве к дисковым замкам. Очарование темноты — это очарование темных людей. А такая очарованная темнота страшнее слепоты. Слепой не видит, но понимает. Ослепленный очарованием видит, но не понимает.

— Так ты, что ли, был темен, Родион?

— И я. И, как ни странно покажется тебе, и — ты. Ты главный очарователь, отраженно зачарованный и сам. И поверивший этому отраженному от тебя очарованию, что ты открыл... А ты ничего не открыл. Ты только подменил кнут. Его подменили, положим, до нас, а мы усовершенствовали его. Мы сделали его самобьющим кнутом. Бьющим не извне, не по спине, а изнутри. Рабочий как бы проглотил наш сладкий кнут.

— Что-то ты заговариваешься, Родиоша.

— Нет, я не заговариваюсь, а плохо выражаю свои мысли. Всякая идея может быть и крыльями, и костылями, и камнем на шее. Почему же ей не быть кнутом? Кнутом, неустанно подстегивающим труженика, то пугая его, то обнадеживая... Мы создали обольстительное самопорабощение труженика, работающего до изнеможения. Это чем-то напоминает овчаровское лото. Каждый может честно выиграть, а Касса выигрывает всегда. Десятую долю. Наше же лото было беспроигрышно. Одни больше, другие меньше, но выигрывали все, а мы или, скажу прямее, ты выигрываешь всегда. И выигрываешь

не десятую долю. И не пятую. Я не склонен винить тебя. Ты поступал, как поступает всякий капиталист, хотя, скажу так же прямо, поступал честнее. Меньше брал, зато чаще. Процент с миллиона рублей больше пятидесяти процентов с десяти рублей. Ты был, Платон, и остался капиталистом. А я был мальчиком при тебе и остался им...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Они долго разговаривали в тот вечер, не ссорясь и не мирясь, возвращаясь к сказанному и повторяя его в новых словах. Платон понял, что ничего нельзя изменить в их отношениях. Искусственно невозможно верить, любить, надеяться. Пришлось понять и признать, что они ушли друг из друга. Два заветных словечка — «молочные братики», венчавшие их, теперь звучали оскорбительно слащаво для того и другого. Призрак Молоканова не только бродит по Шальве, но и действует...

Уйдя друг из друга, они не могли уйти из фирмы. Для Акинфина это означало бы уйти из себя. Для Скуратова такой уход стал бы изменой тем тысячам людей, нераздельной частицей которых он был, а теперь стал ею еще безраздельнее.

Тот и другой, любя свои отношения определять словами, вскоре определили их. Это произошло само собой — и не произошло, а было всегда, не называясь и затуманиваясь возвышенными и, казалось, нерушимыми правдивыми словами. Они тоже были взаимным очарованием и самозатемнением. Зачем же далее жить им в очаровании этой темноты, казавшейся им обоим светом? Слиянием душ. Гармоническим соединением двух начал, символизирующим единство организующих труд и осуществляющих его... Родион об этом сказал Платону:

— Если воспользоваться твоим любимым сравнением, то следует нашу фирму назвать машиной, в которой ты и твои миллионы были движущей силой, я — трансмиссией, а все остальные — исполнительным рабочим механизмом.

И в тот же день им было решено:

— Зачем простое наряжать в наукопритворные одежки? Ты хозяин, а я твой приказчик... Коротко и ясно.

И все же это короткое и ясное тот и другой захотели оставить при себе. Что изменится от того, если будут знать все, кем стали эти два человека, которые для всех

были чем-то единым в различных обличьях? Ничего не изменится, когда люди узнают, что это не так, а если изменится, то не к лучшему. Худшего не хотелось и Скуратову. Враждебные фирме лица могут воспользоваться разладом и причинить ущерб, который скажется на всех.

Как некогда уровень жизни шало-шальвинских рабочих зависел от уровня воды в пруду, так и теперь зависит он от того, что продается, сколько продается и по какой цене покупается.

Меркой «питающего силой пруда» для Скуратова стала теперь еженедельная бумажка «докладушка» Флегонта Потоскуева об уровне доходов и расходов фирмы. Эта «вода» неукоснительно шла на прибыль. В «пруду» акционерного общества не было обмелений и спадов. О поддержании этого уровня Родион вынужден заботиться и впредь. Пусть львиная доля идет льву, что теперь, как никогда прежде, ожесточает Скуратова, но что может он изменить? И все же, оказалось, может...

Не веря теперь в незыблемость, в «извечность» проповедуемых Акинфиным трудовых отношений, при которых фабрикант будет незаменимым организующим началом, Скуратов проникся идеей строительства новых заводов. Об этом он говорил только с женой.

— Ты пойми, Соня, чем больше он вобьет своих капиталов в недвижимое, тем больше... в случае чего... тем больше достанется людям...

Софья Васильевна, зная о переменах в муже и в его отношениях с Акинфиным, спросила:

— В каком смысле «в случае чего»?

— Мало ли... Я и сам не знаю... Знаю, что газеты нужно читать вниз головой... Платон охладевает к своим расширениям заводов. Он так держался за долгие сроки выплаты рабочими денег за купленные ими дома, а теперь вдруг все это круто изменил, и всякий желающий может внести деньги сразу и стать владельцем своего «составного» дома.

Насторожившись, Родион спросил об этом Платона, и тот ответил:

— Нам, Родион, понадобятся деньги...

Скуратов заметил ему:

— Какие же деньги дает это нам, коли каждый проданный в кредит дом заложен по полной цене и фирма ничего не выигрывает, не проигрывает от продажи домов за наличные?

— Как ничего? А закладные проценты?

Тогда Скуратов сказал:

— Они входят в стоимость домов. Их же платит, не зная этого, купивший дом в рассрочку.

— А теперь эти деньги получит фирма.

— Да много ли их получит фирма? — не отставал Скуратов.

А Платон свое:

— Макфильд нас учил считать на пенсы. Если теперь это для тебя стало безразлично...

— Не договаривай, Платон. Мы выяснили все...

Проверяя, чем вызвана забота Платона о деньгах, Скуратов заговорил о часовом заводе:

— Ты можешь посмотреть генеральный план завода.

— Успеется...

— Наш американец закончил третий пробный образец швейной машины и очень обижается, что ты прохладен к его работе.

Платон сказал об этом определеннее:

— До швейных ли машин нам сейчас, Родион Максимович, когда ты все так просветлил и сломал главную машину, которая была в нас?

Платон ничуть не театрально ткнул себя в грудь, и Родион усомнился, стоило ли ему раскрывать себя. Не разумнее ли было свое носить в себе и делать все так же, как он и делал? Но не склеивать же несклеиваемое! Это унизительно и бесполезно. Пусть все остается таким, как есть. Они все равно нужны друг другу. Так и сказал Скуратов:

— Платон, мы расчленились, но не разделились. И если один не будет знать намерений другого, то как мы можем далее быть впряженными в один воз?

— Родион, если тебе дорог воз, то мы должны владеть всеми его колесами и не допустить, чтобы заело какую-то из их осей. Все до последней гайки должно быть неуязвимо... Мы должны скупать акции, а до этого понизить их в цене.

— Сказано — сделано, Платон Лукич, но зачем?

— Я уже сказал. Чтобы меньше было хозяев. И нам пока не до зингерствования и не до женевствования... Впрочем, на свои заводы можно ввести особые акции.

— Что-то угрожает нам, Платон?

— Пока ничто, кроме предчувствий и плохих снов...

Флегонт Борисович Потоскуев сказал, что понизить

в цене акции нетрудно. Он, посолиднев, не зажирел, продолжает совершенствоваться в коммерческих науках, много читая, как и Скуратов, сводя знакомства с людьми из мира делающих погоду на биржах, оказывающих самые подлейшие услуги с таким достоинством и благородством, будто они, как анатомы, во имя спасения жизни вынуждены лечить ножом.

Флегонт сумел скомпрометировать акции «Равновесия», уронить их стоимость и эластично, по требованию главных акционеров, выпустить раздельные акции по тем заводам, прибыль которых нарастающе устойчива.

Вениамин Викторович, не зная подоплеки дела, все принимал за чистую монету и согласился предоставить страницы редко выходящей теперь «Шалой-Шальвы» для статей, заметок, заявлений и предположений, которые сочинялись Флегонтом Борисовичем.

Описание финансовых обманов не стоит бумаги, затрачиваемой на них. Для нас достаточно знать, что все они почти удались. Правда, говоря так, мы опережаем другие события.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Я теперь один, совершенно один,— жаловался чуть ли не ежевечерне Платон Лукич своему терпеливому выслушивателю стенаний Строганову.— С Цецилией нас разделяют взгляды на жизнь и цель жизни. Сына практически у меня нет. Есть мальчик, похожий внешними чертами на меня и повторяющий во всем остальном мать и деда, Льва Алексеевича Лучинина. Мать никогда для меня не была матерью, а теперь и вовсе. Ее молитвы, монахини, монастыри, мне думается, противны и ей самой. Родион, уйдя из меня и из себя, увел меня из очарования моей темноты... Веничек, неужели в самом деле я был темен, свято веря, что я служу свету и сам являюсь светом? Неужели Молоканов светлей меня?

— Тонни, так можно дойти до участи Антипа Сократовича Потакова. Я бы на вашем месте предпочел мудрости легкомыслие, печалям — веселость, добровольной каторге — свободу.

— Как, Веничек?

— Очень просто. Встал бы завтра утром, умылся, оделся, приказал заложить лошадей и уехал бы...

— Куда?

— Мир широк и прекрасен. Сто дорог, и любая из них для вас будет стлаться скатертью.

Строганов увидел, что Платон, во что-то поверив, что-то приняв, с чем-то согласился и тут же отверг пришедшее ему на ум.

— А как же останется без меня это все? — Он очертил руками большой круг, приподнявшись на носки, вытянув пальцы, стараясь описать их кончиками как можно большее пространство.

— А что, Тонни, все? Эта шалая капля, угрожающая выйти из берегов и стать океаном?

— Я не ожидал, Венечка, от вас такой жестокости.

— Жестокостью мы называем всякую правду, которая нам не нравится. Будем трезвы. Что же это все, со всеми трубами, подковами, акциями, как не капля в огромной жизни нашей планеты? Что, как не капля? Что ваши миллионы, будь их двадцать, тридцать, как не копейки в сумме всех богатств мира? Копейки!.. И не все ли равно, будет этих копеек пятьдесят или сто тридцать семь.

Платон с насмешливым упреком посмотрел на Строганова и, выделяя каждое слово, принялся отвечать ему:

— Этот полемический прием называется софистическим, мой друг. Прибегая к софизму, я могу сказать, что для каких-то существ, населяющих каплю, она — вселенная. Жизнь по новейшим учениям, которые тщательно скрывает церковь, зародилась в капле воды и заполонила мир. Безжизненный мир стал живым и населенным. Так скажите же мне, милый Веничек, почему Шалая-Шальва не может стать такой каплей, которая преобразует дичайшую жизнь со всеми ее молохоподобными узурпаторами, с клещами типа Гущина, с паразитическими коронованными и некоронованными тлями и со всей ее анархией производств и распределений благ в гармоническое общество, предвестником которого стала жизнь в изумительной капле, в которой мы имеем честь пребывать? И, может быть, в ней почетно будет утонуть, сгореть, раствориться, чтобы она жила и выходила из берегов, становясь спасительным океаном...

Строганов опустил руки в прямом и переносном смысле. Он сказал:

— Тонни, вы знаете, что для меня не безразлично все, что вы делаете и говорите. Таких, как вы, я не встречал, хотя они, наверно, есть во всех сферах, где собственная

темнота ослепляет до самоистязания, до самопожертвования... Тонни, я не принадлежу к тем людям, для которых наука о развитии общества является их главной наукой, их целью жизни, самой их жизнью. Я не достаточно силен в этой науке, знаю, что есть законы развития общества, на которые нельзя повлиять, как на смену времен года, как на вращение земли, как на все, что управляет нами, а мы всего лишь можем либо помогать и ускорять это неизбежное, либо пытаться задержать его...

Платон согласился с Вениамином Викторовичем и сказал, что именно так думает и он, поэтому и стремится всеми способами ускорить приход неизбежного, которым и является гармония равновесия взаимностей...

Эти нескончаемые поучения, продолжась, довели бы терпеливого Строганова до истощения сил и терпения, если бы не тихий стук в дверь, а за ним появление высокого седого человека с жизнерадостными глазами, в дорожном костюме.

Он остановился в распахнутых дверях, ожидая чего-то, и, не дождавшись, спросил:

— Неужели Вальтера Макфильда так изменили годы, что он должен удостоверять свою личность визитной карточкой?

Платон по-мальчишески взвизгнул и бросился в объятия к Макфильду.

— Если существование бога я оставлял под сомнением, то теперь, в ваших объятиях, я уверовал в него... Я больше не одинок.

При таких неожиданных обстоятельствах перо готово ринуться в галоп и, перескакивая через слога и слова, роняя в стремительности своего бега кляксы, проскакать слева направо сотню строк. Но теперь не до скачек, привлекающих внимание, отвлекая его от главного.

Макфильд, стремясь побывать в России, хотел увидеть Шальву и теперь осуществил свое давнее желание.

Конечно, он был поражен увиденным, и, разумеется, восхищен достигнутым, и, несомненно, счастлив, что в этом грандиозном есть и его маленькие усилия.

Пусть за полями страниц останутся обеды, встречи, поездки, посещения цехов, технологические замечания, одобрения образцов швейных машин, коррективы по часовому заводу и многое другое, что представило бы интерес и, может быть, расцветило бы страницы. Это вер-

но, но второстепенно. Первостепенно то, что Вальтер Макфильд привез мир и надежды на лучшее.

Он смеялся над чтением газет вниз головой и называл предположения Льва Алексеевича Лучинина естественными возрастными размышлениями, какие в его годы у пожилых людей, принадлежащих к различным сословиям, извращаются по-разному. Одни говорят о скором конце света. Другие — о пришествии антихриста. Третьи, из высших слоев, предсказывают войну.

— Какая же может быть война, господа, когда все за ее исключение? — убеждал Макфильд, подразучившийся говорить по-русски.— Голова таких людей требует хорошего остывания.

Макфильд сумел найти умиротворяющие слова и для Скуратова:

— Мальчик мой, мы гости на земле, и нам нужно хорошо отгостить. Зачем наполнять голову задачами, которые нельзя решить?

Там, где недоставало Макфильду русских афоризмов, он приводил английские, тут же переводя их. Он рекомендовал учиться мудрости жизни у старой Англии.

Скуратов, не веря проповедям Макфильда, называя его про себя «епископом капитализма», видел в его болтовне искреннее желание смириться с ветром, не становясь его жертвой в борьбе с ним.

— Дон-Кихот,— сказал Макфильд,— бессмертен в книге и тотчас гибнет, как только выходит из ее переплета в жизнь, пытаясь перевоплотиться в похожих на тебя, мой мальчик...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Приезд Макфильда сказывается и еще скажется в этом последнем цикле глав, хотя и не изменит логики событий, как и второй приезд, который правильнее назвать приводом. В дом Акинфиных привели Клавдия. Пристав смущенно, будто оправдываясь, сообщил:

— По долгу службы, Платон Лукич... Вот бумага... Примите Клавдия Лукича под расписку. Или я не знаю, что с ним будет дальше.

Платон взял из рук пристава бумагу и запечатанное письмо. В бумаге на имя шальвинского пристава сообщалось, что господин Акинфин К. Л. высылается за бесчинства на попечение и поруки господина Акинфина Пла-

тона Лукича по просьбе вышеназванного бесчинствующего, высылаемого из Санкт-Петербурга.

Письмо было кратким, написанным крупно и разборчиво:

«Душа моя, мною сделано все возможное, чтобы уберечь от позора Вашего брата и Ваше имя. Бесконечно уважающий Вас Х. Гущин».

Платон с Клавдием встретился только на другой день, после того, как мать и прислуга привели его в надлежащий вид. Он, уже протрезвившись после вчерашнего угощения сердобольной Калерии Зоиловны, сумел снова оказаться навеселе.

Почувствовав себя свободным под опекой матери, Клавдий заявил Платону:

— Я русский Беранже, певец свободы!

Дальнейшее Платон выслушивать не захотел. Клавдий пел на французском языке «Марсельезу» после того, как Платон захлопнул за собою дверь будуара матери.

С матерью он в тот же день говорил почтительно и холодно:

— Если тебе, мамочка, все еще ничего не понятно, то я могу переехать и отдать дом в твое распоряжение.

— Зачем же, сыночек, нам столько комнат? Клавдику и мне достаточно одного крыла. С отдельным входом. И вы не будете отравлять жизнь друг другу...

— Хорошо, мамочка, пусть будет по-твоему. Только, пожалуйста, попроси его не появляться у меня. Если он это сделает, с ним обойдутся, как полагается в таких случаях.

— Платик, не забывай, что ты мой сын и он мой сын. Вы братья...

— Я, мамочка, знаю, что он твой сын, и если бы он не был им, то ему бы пришлось вернуться с приставом обратно.

Мать ушла обиженной и пообещала не беспокоить больше Платона своими приходами.

Отделенный Клавдий пил и пел в «Веселом лужке». Исполняя песни на французском языке, он щеголял им. Пел он и свои сочинения, еще более хвалясь этим. Когда же он пропел первые строфы «Марсельезы», дежуривший в «Лужке» урядник, не разобрав слов, но услышав опасную мелодию, крикнул:

— Приказываю замолчать, Клавдий Лукич! Я не посмотрю, кто вы. Это политика!

Пьяные требовали продолжения, а урядник угрожал «высидкой в клоповнике».

Находившийся там в это время Овчаров попросил:

— Клавдий Лукич, и я честью прошу не позорить увеселительного заведения нашей Кассы.

Тогда возмущенный Клавдий потребовал бокал шампанского и объявил:

— Сейчас, почтеннейшая публика, я спою вам неполитическую песенку моего сочинения.— И он запел известные нам куплеты про Платона: «Мой братец миллионы наживает, а я трудом своим живу».

Это взбесило Овчарова. Когда же Клавдий бравурно пропел: «Он пот рабочих выжимает», Овчаров вскочил на подмостки для музыкантов, схватил за шиворот Клавдия, волоком протащил его через зал и вышвырнул за дверь. Вернувшись, он громко приказал:

— Касса запрещает появление здесь этого глумителя дорогого для всех нас имени Платона Лукича!

Теперь урядник имел все основания осуществить свою угрозу относительно клоповника. Он свистнул. Полицейский, дежуривший возле «Лужка», отвез Клавдия в полицию на извозчике.

Клавдий ночевал на диване в кабинете пристава. Он утром, получив от Калерии Зоиловны двадцать рублей, попросил ее не беспокоиться.

— Если опять произойдет такое... непредвиденное, я велю стлать для Клавдия Лукича на диван простыню и давать байковое одеяло.

Ничего не оставалось, кроме лечения приложением к мощам и возложением рук преподобного схимника на главу Клавдия, одержимого зеленым змием. Калерия Зоиловна упросила Клавдия отправиться с нею в святую обитель.

После отъезда матери и брата Платон снова мог проводить время в обществе Макфильда, Строганова и появлявшегося в доме Акинфиных Скуратова.

Возобновились разговоры о возведении заводов швейных машин и часов. Платон и Родион были взаимно внимательны друг к другу и делали легкие попытки назвать свое размежевание естественной размолвкой и объяснить ее напряженной работой, происками завистливых врагов и чем-то еще, также вполне обоснованным и неоспоримым.

Нет сомнений, происшедшее было не без причин, как

ничто не случается без них. Но также не вызывало сомнений и то, что разрыв, притаившийся на дне их душ, ни на минуту не засыпал и в лучшие из дней притворялся, что он дремлет...

Июльское небо дышало ласково. Кучевые облака светились безмятежной белизной. Камские караваны обещали сбыться удвоенным надеждам Флегонта Борисовича Потоскуева.

Газеты одинаково успокоительно читались и вверх, и вниз головой. Ничто не предвещало войны. Все было очень тихо, как чаще всего бывает накануне войн, которые, долго и скрытно готовясь, прикрываются толщей улыбок, заверений в дружбе и верности и подтверждаются взаимным уважением царств, империй, и возникают тем стремительнее и злее, чем приветливей были улыбки и выразительнее взаимные уважения...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Быстро скользит вниз по Каме маленький беленький одноэтажный пароходик, ласково названный яркой киноварью — «Вадимик».

День снова обещает быть палящим. На реке еще держится утренняя прохлада. Необозримая тишина. Только всплески крупной рыбы нарушают ее тишь да ровный, улетающий за корму гуд винта.

Макфильд изъявил согласие отправиться с Акинфиным и Скуратовым, чтобы окончательно остановиться на каком-то из мест для возведения часового завода. Одно из таких мест было предположено рядом с небольшим уездным городом Осой. Небеса над городом не заволакивались фабричным дымом, дававшим себя знать на камских берегах выше и ниже тихой, малонаселенной Осы.

«Вадимик» пришвартовался к знакомой Любимовской пристани по другую ее сторону, обращенную к берегу, чтобы не мешать приставать большим пароходам.

На пристани как-то необычно толпились и шумно разговаривали люди.

Не случилось ли что-то?

Праздно заданный Платоном Лукичом самому себе вопрос получил неожиданный ответ, ошеломивший всех находившихся на «Вадимике».

Они узнали, что вчера началась война.

— Я в западне,— первое, что произнес Макфильд.

Платон неодобрительно посмотрел на него.

Все, что было можно, они узнали о войне. Из разноголосых сведений, в которых было много наносного, несомненным оставалось то, что война началась, и то, что им следует возвращаться в Пермь. Только там, у губернатора, они могут получить более точные сведения, а затем решить, что и кому следует предпринять.

Начало мировой войны 1914 года так широко, многогранно и документально подробно обнародовано, что можно, только перефразируя, повторять общеизвестное. Мы знаем, как началась эта самоубийственная бойня, как она продолжилась и во что вылилась. Тот же, кто был ее современником или участником, мог только предполагать, строить предвидения, ошибаться или быть близким к истине.

Многие, если не сказать — большинство, были убеждены, что война будет скорой и победной. Так же думал и пермский губернатор, ободряющий вверенных ему верноподданных царя, живущих в огромной губернии, простершейся далеко за Урал на восток и включающей в себя значительные пространства прикамских земель на западных отрогах горных хребтов.

Иначе судил не ставший губернатором сын князя Лучинина Лев Алексеевич. Он перевел в стерлинги полученное от продажи подмосковного имения, оставляя свой дом и коллекции на потомственно верных слуг.

Лев Алексеевич сожалел, что не предпринял в прошлом году переезд на Британские острова, когда это можно было сделать без хлопот. Теперь он вынужден отправляться туда далеким путем, через Владивосток. Цецилия извещала об этом Платона не очень умело зашифрованной телеграммой. Она дала повод Вальтеру Макфильду не искать выхода из западни через посольство Великобритании, а отправиться на родину хотя и очень далеким, но казавшимся ему, как и Льву Алексеевичу, самым надежным путем.

В первый же день возвращения в Шальву Платон Лукич заперся с Флегонтом Борисовичем Потоскуевым, не желая посвящать в дела Скуратова до предварительного выяснения курса фирмы.

— Первое, что занимает и беспокоит меня, это изменение видов изделий,— начал Потоскуев.— Приведу примитивный пример. Так ли будут покупать наши гвозди,

когда людям не до возведения строений?.. Когда так же, к примеру говоря, гвоздевой проволоке целесообразнее превратиться в колючую проволоку для заграждений на театре военных действий.

Флегонт Борисович, коммерсант по натуре и образованию, уже успел связаться с миром купли-продажи, спроса и предложения. И он выяснил, что сейчас очень понадобятся солдатские котелки, оси для двуколок, пряжки для ремней, подковки для сапог, солдатские кокарды, которых потребуется сотни тысяч штук...

— Этого мы не будем решать без Родиона Максимовича. Лучше о главном. Об акциях.

— Странное дело, Платон Лукич! Одни демонически рвут с наценкой наши акции, другие спешно сбывают их.

— Что же, по-вашему, должны делать мы? Скупать или сбывать?

— На этот вопрос отвечают по-разному, Платон Лукич. Одни дальновидные люди утверждают, что курс рубля неизбежно понизится, а облигации нашей фирмы, обладающей редчайшей приспособляемостью к спросу рынка, подскочат очень высоко. Но, Платон Лукич, говорят и противное сказанному... Я полагаю, курс нашего рубля понизится.

— Либо да, либо нет. Будем не полагать, а действовать. Принадлежащие мне суммы нахожу разумным переместить туда, где курс валюты не подвержен колебаниям. Вернуть всегда не поздно.

Потоскуев, найдя намерение Акинфина благоразумным, о чем-то еще хотел спросить его и не спросил. Он догадывался об изменениях отношений между ним и Скуратовым, и ему нужно было знать об этом. Для дела, а не для себя. Но как отделишь одно от другого?

Нехорошие предчувствия закрадывались в душу Потоскуева. Он гнал их, а они не подчинялись его всегда неопровержимой логике. Но зачем раздумывать о том, что может быть и что может не произойти? Достаточно других дел...

Жизнь в Шалой-Шальве переменилась до возвращения Акинфина. И каждый день происходят какие-то новые изменения. Предстоит и где-то уже началась мобилизация. Появились заказчики в погонах. Платон Лукич направляет их к Скуратову. У него тоже нехорошие предчувствия. Если бы виной их была только война, можно бы оценить и взвесить обстоятельства и постараться

устранить их. Какие-то тайные силы, не имеющие ничего общего с войной, незримо, неслышимо, но чувствуемо всем его существом подсказывают, как кем-то где-то ведется подкоп для взрыва.

— Может быть, не ждать динамита, Родион Максимович? — спросил Платон.— Ты же научился теперь говорить в глаза и самое жестокое...

Родион не раздумывая ответил:

— Пройдет и это. В жизни все проходит...

— Проходит, Родион, и сама жизнь.

— А пока она не прошла, нужно жить,— возразил Родион и, обратив внимание на чирикающих за окном конторки воробьев, сказал: — Лучше прыгать с ветки на ветку воробышком, нежели тлеть мудрецом в нарядном саркофаге.

— Я никогда не любил аналогий, хотя и пользовался ими. Для того чтобы прыгать с ветки на ветку, во-первых, нужны ветки и, во-вторых, соответствующая атмосфера или жизненная среда. А если воробей к тому же разумен, ему нужны идеи, дела, во имя которых он чирикает и живет...

— Хватит, Платон, об идеях, лучше поговорим о полумиллионе военного образца. Генерал просит незамедлительного ответа.

— Ответь ему. Как ответишь, так и будет... Отвечал же ты прежде без меня и вел все. А теперь тебе особенно нужно будет все вести и все решать. Я могу в самом деле отчирикать. Делай подковы. Штампуй котелки... Хорошо бы вместо крестиков получить заказ на георгиевские кресты и сабельные рукоятки.— А потом Платон раздраженно и выспренне досказал: — А если злые силы бросают «мудреца» в жерло домны, тогда ему не понадобится и тлеть...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Все постепенно уходило из-под власти Акинфина, теряющего власть и над собой. Он почти не вмешивался в заказы фирме, зная, что Скуратов не может допустить, чтобы что-то причинило урон рабочим, а следовательно, и фирме.

Ушла из-под влияния Акинфина и газета «Шалая-Шальва». Формально она принадлежала Строганову. Он был ее издателем и редактором. Он получал деньги от проданных посредниками номеров газеты или рассылае-

мых бесплатно за счет фирмы. Она же платила и за рекламные объявления. Платон был ее меценатом. Теперь же Вениамин Викторович не знал, что нужно печатать и какой должна стать газета.

Геннадий Генрихович Штильмейстер знал, что нужно печатать и как должна выглядеть газета, и она перешла к нему. Его умение оценивать обстановку и принимать быстрые решения привели в Шальву двух журналистов, охотно согласившихся получать удвоенное жалованье и десять процентов с выручки.

В Шальве ежедневно стали выходить «Военные вести». Эти небольшие листки перепечатывали телеграммы о происходящем на фронте.

«Шалая-Шальва», предсказывая скорую победу, старалась косвенно, не назойливо, а как бы вскользь, сообщать о процветании заводов акционерного общества «Равновесие» и об охоте за его акциями, купив которые утром можно продать с прибылью вечером.

Штильмейстер осторожно порекомендовал Акинфину:

— Платон Лукич, я более чем кто-то знаю, каким ударом для вас стала война. Она разрушила планы возведения заводов на Каме. Но она же нам обещает скорые баснословные увеличения капиталов... И как только, Платон Лукич, на театре военных действий наша победа опустит счастливый занавес выигрышного мира, вы, Платон Лукич, вдвое, втрое, вчетверо сделаете скорее и успешнее все то, на что вам потребовалось бы много лет...

Разговор происходил в парке дома Акинфина. Платон редко появлялся на заводах. Ему казалось, что он вступал в разлад и с самими зданиями цехов с трубами, и со всем, что любилось, чем восхищался он, что радовало его.

— Я любуюсь, Георгий Генрихович, вашим искусством строить при помощи красноречия вавилонские башни из благородных намерений и высоких порывов. Что бы вы хотели, отбрасывая цицероническое обрамление, в двух словах?..

— Предложить дополнительный выпуск акций.

— Зачем?

— Их нет в продаже, а они бы дали...

— Они бы дали,— перебил Акинфин,— новых сохозяев, которые бы повели себя... Неизвестно, как бы повели себя. Нам достаточно и того, что мы не знаем, у кого находятся и кем так упорно припрятываются акции, легкомысленно развеянные Клавдием и еще более легко-

мысленно врученные ему вместо наличных денег. Деньги безличны. Он пропил, прокутил их — и все. Акции же... Вы сами понимаете, Георгий Генрихович, что такое акции. А теперь скажите: кто подстрекает вас на это дополнительное расширение совладельцев?

— Только верность вам и фирме, Платон Лукич.

— Я постараюсь убедить себя в этом, Георгий Генрихович. А вы бы взаимно постарались убедить себя в необходимости скупки неизвестно где прячущихся акций. Может быть, для этого следует придумать убедительный испуг неизбежного падения их курса. А может быть... Я что-то плохо стал разбираться в самом очевидном...

Платон Лукич хотел развить свои мысли, чтобы проверить, не перепродался ли кому-то Штильмейстер, но в это время вошла Цецилия и, бросившись в объятия мужа, сказала:

— Милый, как изменилось твое лицо...

Лучинины прибыли «своим вагоном». Он был поставлен в тупичок ветки неподалеку от акинфинского парка. Там, где стоял собственно свой, а не «зафрахтованный», вагон Платона Лукича.

Лев Алексеевич нескрываемо был доволен, что война развязала узел его сомнений и подняла шлагбаум в долго ожидаемое. Теперь он приехал, чтобы убедить Платошу последовать его примеру. Лучинин не говорил, а как по писаному читал:

— Зачем нам подвергать себя в пятнадцатом, а может, и в этом году удесятеренным опасностям тысяча девятьсот пятого года и стать жертвами солдатских штыков, которые рекомендуют им повернуть в сторону тех, кто посылает их на гибель?

Для Льва Алексеевича ближайшее будущее России виделось в таких подробностях, что вступать в пререкания с ним было так же нелепо, как и с теми, кто предсказывал на неиграных картах, окропленных святой водой, день и число заточения кайзера Вильгельма в Шлиссельбургскую крепость.

— Позвольте уж мне самому распорядиться собой,— категорически отрезал Платон дальнейшие разговоры об его отъезде.— И позвольте изумиться, как могло в голову прийти путешествие из Шальвы в Молоховку через два океана и Американский материк.

— Да, Лев Алексеевич,— вмешался Макфильд,— вначале и мне этот длинный путь показался самым корот-

ким и безопасным. Когда же я взял в руки глобус, то увидел, что нам придется объехать весь земной шар. И я отказался от этого предприятия. Есть много способов очутиться в Англии.

— Да, мистер Макфильд, но лодки... подводные лодки...

Вечером Лев Алексеевич признал свой кругосветный рейс еще более опасным, а утром последовал совету Платона.

— Зачем нужны два вагона для возвращения в Петербург, когда достаточно одного вагона Платоши? В этот более просторный и удобный вагон уместятся редчайшие статуи, картины, да еще останется место для тех реликвий, которые Платоша не пожелает оставить в Шальве...

Дорогой вагон был оплачен и возвращен железной дороге. В свой вагон было перенесено, переупаковано все, что нужно было уберечь от солдатского погрома, который разразится в конце этого года или в начале того.

Теперь можно было не спешить, пробуя еще одну возможность — повлиять на Платошу через Вадимика.

У Вадимика было свое особое мнение. Он считал постыдным убегать от кайзера к английскому королю Георгу.

— Это, папа, не по-офицерски,— запальчиво сказал перераставший своего отца Вадимик, выглядя старше своих двенадцати лет. Он еще более и огорчительнее напоминал Клавдия.

— Ты, Вадим, уже чувствуешь себя офицером.

— Да, папа. У меня уже есть настоящая шашка, ремень с портупеями и форма. И если бы меня могли принять в армию, я бы знал, как поставить на колени всех наших врагов.

— Как же, мой мальчик?

— Нужны доменные печи, папа! Много доменных печей! Очень много!

— Ты прав, мой умник. Тогда у нас было бы много оружия. Пушек, снарядов, пуль...

— Нет, папа, пули хороши только для дуэли. Когда двое. Но теперь не бывает так, чтобы один царь дрался со вторым и кто кого убьет, тот и победитель. И потом... Потом я думаю, что наш император Николай Александрович невысок ростом. Он не выше тебя, а Вильгельм,

мне кажется, с детства учился стрелять. И он как гвардеец... Нужны, папа, домны на колесах...

— Домны на колесах? Зачем же на колесах?

— Чтобы солдаты могли толкать их впереди себя и заливать врагов огненной лавой. Тогда, папа, война могла бы закончиться тут же. Ты представляешь, как это здорово... Впереди домны поливают огненной лавой, такой же, как у нас. А позади солдаты толкают домны на колесах. Домны закрывают солдат от пуль, а врагов ничего ни от чего не закрывает... Хочешь, я тебе покажу... У меня нарисована доменная атака. Там нарисован и офицер на коне. Это не я, папа. Ты не подумай... Это другой, похожий на меня...

Платон обнял Вадимика, усадил на колени и принялся ласкать...

— Милый мой, последний и единственный Акинфин! Ты необыкновенный выдумщик. Только жаль, что ты далеко растешь от доменных печей.

— А зачем, папа, расти близко к ним? У них же очень ядовитый дым... Разве нет?

— Да нет, Вадимик. Ты преувеличиваешь...

— А мама и тетя Агния говорят, что домны отравляют и проглатывают людей...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Цецилии Львовне переезд в Лондон был нужен как толчок для увода Платона из одержимости его сумасбродными идеями.

Почуяв, что Цецилию не оставляют ее давние намерения, Платон сказал ей:

— Лия, мне осточертевает Шальва. И осточертей она окончательно, то и в этом случае я не мог бы заводы, как статую и картины, упаковать в ящики для отправки по железной дороге...

Цецилия, зная многое из того, что произошло с ним, находила, что нужно дать доболеть в нем его гармоническому равновесию и стать вровень с теми, чьи заводы успешно работают на Урале, а их владельцы еще успешнее живут на их прибыли далеко от их «Шальв».

Не ею это установлено и не ей изменять веками устоявшееся. И если вдруг почему-либо изменится привычное, то переведенных в Лондон средств достанет и для правнуков Вадимика.

С такой верой и с такими уверениями отца она уехала через Петербург вместе с отцом, сыном и матерью в Финляндию, чтобы там поискать путей в Англию, о которых позаботится мистер Макфильд через свое посольство в Питере.

Доставят их в крайнем случае на крейсере. Ее отец не просто же так отправляется в вояж. Он будет представлять в Англии общество Красного Креста России. Напрасно, что ли, он сделал большой взнос и получил от общества полномочия заботиться о добровольных пожертвованиях в Англии...

Платон снова остался один. Проводя вечера с Вениамином, Акинфин не мог себя теперь считать с ним «вдвоем». Взгляды Строганова ускоренно менялись. Недавно зашел разговор о Штильмейстере, и Строганов признался:

— Мне трудно понять, как я отношусь к этому обрусевшему потомку семидесяти семи иноземных дворянских кровей. Размышляя о нем, я вспомнил маленький французский рассказец.

— Какой же? — спросил Платон.— Я также теряюсь в догадках, думая об этом слишком преданном человеке. Расскажите, Веничек.

— Я не знаю, как это прозвучит в моей адаптации, но попробую...

Строганов пересел в другое кресло для отбивки рассказа от собственных слов и начал, как сказку:

— В некоем просвещенном королевстве при дворе славился один важный «персон» добродетелью. Он нежно любил своих детей и жену. Наслаждался музыкой и сам так играл на скрипке, что и глухие ко всему люди плакали, умиляясь до... дальше ехать некуда. Он очень хорошо относился к своим друзьям. Помогал в беде, заботился, был верен в дружбе. И всякий, кто встречал его, видел в нем святого человека, а на худой конец священника. А был он... Был он первым королевским палачом. Это было его профессией. И он отсекал головы, как хороший доктор вытаскивает зуб. И в повешении сказывался его благородный нрав. Он жидким мылом пропитывал веревку, чтобы казнимый не мучился. И так же до бритвенной остроты натачивал топор. Чтобы без боли отрубить голову. Вежливый, он говорил казнимому: «До свидания» — и, грустно улыбнувшись, успевал шепнуть:

«Пардон, но такова моя работа... До скорой встречи на небесах...» Таков был этот удивительный человек...

Платон Лукич, не сводя глаз и сохраняя добродушие на своем лице, очень любезно заметил Строганову:

— Удивительный человек и вы, Веничек. Вы обезглавливаете своих слушателей еще артистичнее, чем герой этой французской притчи...

— Это же бескровное, басенное отсечение, Тонни, при этом я не могу сказать, что Георгий Генрихович полностью соответствует рассказанному. И все же какая-то отдаленная схожесть с ним есть...

— И не только с ним, Веничек... А скажите, пожалуйста, что бы вы предпочли — повешение или бритву?

— Я бы предпочел Лондон.

— Благодарю вас, Венечка. Вы очень хорошо выполняете порученное Лией.

— Она, Тонни, давно уже не подметает мною пол. И если я мету в ее пользу, то делаю это по собственной воле. Вам нужно уехать, чтобы не говорить о бритвах. Хотя бы и шутя. Это плохой и опасный юмор, Тонни.

— А что делать, если я не вышел и не выйду из очарования собственной темноты?.. Родион очень инженерски коротко и философски точно сказал: если бы я не был очарован сам, то как бы я мог очаровывать других? Неужели вы, Веничек, думаете, что я не верил и не верю в свою мечту преобразовать мир и меня ослепляли только деньги?

— Нет, Тонни, деньги не были вашей самоцелью. Деньги для денег вам и вашему отцу были не очень нужны. Потому что нажитых миллионов хватило бы на многие поколения наследников Акинфиных. Но вы не могли пренебрегать ими. Вы властолюбивы, Тонни. А деньги — это власть. Вы честолюбивы, Тонни. А деньги — это слава. Деньги обеспечивают свободу действий, поступков, исполнение желаний и все то многое, что недоступно человеку без денег. Я не разделяю этих стремлений, отлично их понимая и не преклоняясь перед ними...

— И все же, Веничек, вы, превратив унаследованное от Молохова в акции, при всем вашем равнодушии к деньгам держите их при себе, а не раздаете их тем, об участи которых с детства вздыхает Агния.

— Прежде всего, Тонни, я ничего не унаследовал и живу на собственные трудовые деньги. Что ж касается Агнии, я думаю, она найдет применение своим акциям в

полном соответствии велению ее души. Агния отдала старый платиновый клад потомкам убитых из-за этой проклятой платины...

— И они, деля платиновый клад, кончили поножовщиной и двумя смертями...

— Увы! Нужно было Агнии самой разделить платину, а не указывать через Кучерова место ее захоронения и не доводить этим до кровавого дележа. Я бы не вспоминал, Тонни, на вашем месте о кровавой платине. О ней у меня будет рассказ, и вы узнаете, как я отношусь к такому дележу. Людям нужно возвращать принадлежащее им в лучшем виде.

— В каком же? — спросил Платон.

— Книгами, например. Агуся говорила о создании издательства очень дешевых и очень полезных книг. Для этого не потребуется и половины акций.

— Она хочет их продать?

— Может быть, уже продала.

— Как продала? — крикнул Акинфин.— А как же домны? Как остальные печи?

— Тонни, она давно рассталась с ними.

— Решиться продать акции и ничего не сказать мне — это же... Это я не знаю, как называется...

— Тонни! Вы кричите на меня, как будто я причинил вам какое-то зло! Вы же сами сказали, что всякий может распорядиться своими акциями, как он пожелает...

— Вениамин Викторович! Это было сказано до войны... А сейчас другое дело. Сейчас акции в чужих руках могут,— он показал на шею,— удушить меня. Неужели она в самом деле продала?.. Я должен предупредить ее... Я упрошу ее хотя бы повременить.. Не до зарезу же ей нужны книжки для бедных... Я сегодня же напишу ей! Нет, я лучше дам ей телеграмму. Письма все равно теперь читаются цензурой...

Таким не приходилось видеть Строганову хлопнувшего дверью Платона.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Телеграмма Платона Лукича была дважды напрасной. Агния Васильевна после отъезда Лучининых отправилась к двоюродной тетке Строганова в Москву, где она решила обосноваться, навсегда расставшись с Шальвой. А до этого Агния с большой надбавкой продала все

свои акции по увещеванию очень благородного и понимающего все обстоятельства дела господина Гущина Хрисанфа Аггеевича, которого так хорошо аттестовали все Лучинины.

Теперь у Агнии Васильевны легко на душе. Она вышла из этой шало-шальвинской круговерти, а заодно рассталась и с Петербургом. Зачем он ей без Лучининых?

Москва так хороша и величава. Здесь Вениамин будет счастлив. Может быть, и она также сумеет применить свои силы в книгопечатании. И, может быть, надо начать с нарядных и дешевых книг для детей...

Телеграмма вернулась к Платону Лукичу. Ее вернул Хрисанф Аггеевич Гущин.

— Я,— сказал он при встрече с Акинфиным,— уполномочен получать всю корреспонденцию, адресованную на дом Лучининых. Телеграмма пришла открытой. И если бы она была закрытой, я прочитал бы ее по обязанности и долгу. Я не буду ничего скрывать от вас, Платон Лукич. Щадящим лжецом быть легче, нежели правдивым подлецом. А я ни тот и ни другой. Хотя признаюсь, что я тот и этот. Ваши акции, кроме тех, что вы не выпускаете из сейфа банка, находятся в руках двух персон.

— Каких, Хрисанф Аггеевич?

— Милый мой Платон Лукич, не все ли вам равно как их звать? И испанцы ли они, или французы, шведы, бельгийцы или немцы. Капитализм не знает наций, границ, фронтовых позиций. Он правит миром и царями. Он хочет свить еще одно гнездо на перевальном рубеже двух величайших частей света. И хотим мы с вами или нет, он его совьет. Я только лишь колечко одного из ста ключей, которые к вам подбирают эти две персоны.

— Что вам угодно на этот раз, Хрисанф Аггеевич?

— Спасти вас, Платон Лукич. Считайте иезуитскими эти слова. В них, откровенно говоря, есть такая примесь... Но только примесь. Сорок два процента акций в их руках. А если Цецилия Львовна продаст свое камское приданое... Продаст во имя вашего освобождения.

— Она не может продать его...

— Может! Ее принудят обстоятельства. Строганов, тот, что граф и прямой потомок тех Строгановых, добивается на очень высочайшей высоте возвращения всех земель, принадлежащих Строгановым с грозненских времен и отторгнутых боковыми ответвлениями их рода. К таким принадлежит та ветвь, к которой относятся

предки Цецилии Львовны. И если она узнает, как шатко ее право на владение лесами, то при всем ее небрежении к деньгам продаст свою лесную Каму во избежание риска ее потери,— так нагло лгал Гущин.

— Сам Штильмейстер не сумел бы так намылить для меня петлю, как это сделали вы, господин Гущин.

— Петлю? Какую, Платон Лукич? Я всего лишь называю факты. В том случае, если Цецилия Львовна продаст леса,— а она их продаст,— и эти две персоны будут владеть не сорока двумя процентами всех капиталов фирмы, а... Я не счетовод. Флегонт Борисович скажет вам об этом до сотой доли. Но и без него я знаю, что тогда, при этих двух персонах, вы окажетесь их совладельцем, не бо́льшим, чем Антип Сократович был при ваших заводах. Кстати, помолодевший господин Шульжин, продав свои акции, в Питере купил дом и пригрел для Кэт не кита, но дворянина, без денег, но не без чинов. Она еще способна притворяться тридцатилетней.

— Что, в конце концов, вы хотите, Хрисанф Аггеевич?

— Всегда один и тот вопрос. Сотый раз! Хотя бы переставили слова. Впрочем, до слов ли вам теперь, Платон Лукич?

— Что вам?..

— Не надо взвинчивать себя. Мне ничего, Платон Лукич, не нужно, кроме незначительных процентов с тех двух персон и с вас. Они хотят купить все остальное. И немедля!

Платон Лукич взял себя в руки. Как тогда, после выстрела в цирке. Как при встрече с шулером Топовым. Как много, много раз за эти годы. Он расхохотался и спросил:

— Немедля? Как это можно, если бы даже я решился? Ведь это же не какая-то одна вещь.— Он посмотрел на рояль.— Да и он требует осмотра. Проверки. Оценки специалиста...

— И тем не менее, Платон Лукич, если взять оптимальную стоимость рояля и, не поднимая крышек, уплатить за него двойную цену, то потребуется две минуты, чтобы переложить деньги из одного бумажника в другой. Милый, Платон Лукич, не будем гонять шары. Потаков, светлая ему память, сам оказался в лузе. Я же вам хочу, не прикасаясь к кию, помочь доиграть вашу

партию так, чтобы в выигрыше оказались вы. Цена заводов Флегонта Борисовича на балансе.

— Это старая, заниженная цена, Хрисанф Аггеевич. Теперь она иная.

— Но не в полтора же раза,— сказал Гущин.

— Нет, но на четверть стоимости она возросла...

— На четверть? Что за счет? Вам предлагают уплатить в два раза... И, кажется, с походом. Вот цифра! Сохраните эту бумажечку для размышлений.

У Платона проступили мелкие капельки на лбу. Ему было стыдно, что он растерялся, и ему снова пришлось овладевать собой.

— Все это очень щедро,— продолжил Платон, игриво улыбаясь.— Но кроме этого есть же еще кое-что. Здание больницы... Цирк... Гостиница... «Веселый лужок» и многое принадлежит мне, находясь в аренде у Кассы...

— Ну, Платон Лукич, в вас уже просыпается купец. Пусть будет это стоить миллион еще. И полмиллиона за ваш дворец. Сто тысяч за такую щедрость причтется мне. Согласны?

— Хватит, Хрисанф Аггеевич. Довольно!

— Куда же больше! Я все сказал! Теперь осталось вручить вам адрес двух персон! От вас потребуется только два телеграфных слова: «Я согласен». Сейчас я удаляюсь не прощаясь, чтобы не дать сказать вам тех слов, которые могут оскорбить меня и тех двух персон. Они в отместку могут с вами поступить... Попридержу и я язык... Меня здесь нет.

Хрисанф Аггеевич исчез, как исчезает в театре привидение. И как будто и не было его.

Акинфин не мог брать далее себя в руки и останавливать слезы, капающие на стол и на маленький кремоватый листочек с адресом... И на другой — с баснословной валютной цифрой, ожидающей его в банке Лондона...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Смутными предчувствиями жила Шалая-Шальва. Смутным было и само небо над нею. Оно, не принимая дым заводских труб, будто противилось его мрачноте, силилось пропустить в редкие разводья темно-серых облаков солнечные лучи. Но и эти минутные просветы слабо проникали сквозь дымную толщу.

Ни ветерка, ни дождя. Смрадно и душно в Шальве.

Тягостно и на душах шальвинцев. Слухи под стать зловещим тучам без дождя окутывают заводы. Невозможно поверить шепотком передаваемому слуху от одного к другому, но и невозможно отмахнуться от него.

Как можно представить, что кто-то придет на заводы и назовется новым хозяином. Что будет тогда? И без того в каждом втором доме слезы по угоняемым на войну. Появились дома, где стало известно, что угнанный поилец семьи никогда не вернется к своей семье.

И откуда все знают все? Каждый приезжий вызывает подозрение. Не он ли привез в своем кармане скупленные акции? До них прежде не было дела труженикам, а теперь все узнали, что значат эти акции, которые были просто бумажками. Такими же, как талоны вертушки на Игрище или печатные карточки лото Овчарова. Он тоже ходит туча тучей. От него ничего никогда нельзя было выведать, а сейчас-то уж подавно. Молчит и Родион Максимович Скуратов. Истощал, как после долгой высидки в тюрьме. Сам же Акинфин, просидевший так много дней запершись, объявился живым покойником. Ходит по цехам и, здороваясь с рабочими, мастерами, инженерами, будто прощается с ними и прощается, по всему видать, как прощаются перед уходом в невозвратимое.

Люди все видят и все понимают, все чувствуют и предчувствуют.

Зачем-то ходил Платон Лукич на старую доменку и поднимался наверх, где заваливают уголь и руду. И опять, будто прощаясь со всеми, здоровался.

Неужели он проакционерил свое «Равновесие»?

Старик Максим Иванович Скуратов знает больше всех других. Знает и тоже молчит. У него для всех один ответ:

— Живы будем — не умрем. Горькая правда дороже сахарной кривды...

Как хочешь, так и понимай. О какой сахарной кривде он говорит? Неужели о той же, что была в листовках? Там тоже называли Акинфина сахарным. «Сахарным удавом» и «Аптекарем усыпительных золотых пилюль».

Смутно в Шальве. Смрадно! Состарившаяся знахарка Лукерья Болотная вещерица нашептывает людям:

— Прогневила Шальва небеса, не пускают они в себя ее греховный дым!

К чему эти слова, тоже не поймешь. Одно ясно — хорошего не ждать. И как его можно ждать, когда вечер

приходит до времени, а утро наступает позднее позднего.

Поздно наступило и памятное утро в последнее воскресенье сентября, когда долго прощавшийся с Шальвой Акинфин простился с нею навсегда. Так он и написал своей рукой на чертежном листке, оставленном на его столе:

«Прощай, Шалая-Шальва, прощайте все! Мне добрые люди открыли глаза, а злые закрыли их. Я ушел из вашей жизни, но не ушел и не уйду из моей гармонии равновесия взаимностей. Из нее нельзя уйти, потому что она единственный способ плодотворного единения капитала и труда. Не торопитесь проклинать своего «золотого змея», пока не изведаете силу других удавов, удушивших меня, но не мой дух.

П. Акинфин»

Письмо первой прочла горничная Луша и бросилась к телефону. Она сообщила Скуратову:

— Приезжайте, Родион Максимович. Платон Лукич самоубился.

От телефона она побежала к Строганову и разбудила его.

— Платон Лукич повесился... Повесился... Вчера он требовал у меня бельевую веревку.

Луша дрожала и заливалась слезами.

— Да нет, нет... Как же это можно? — бормотал спросонья Вениамин Викторович.— Он не мог... Вам показалось...

— Пойдемте, пойдемте к нему... Я боюсь одна...

Пока одевался Строганов, прискакала конная полиция. Дежурные телефонистки теперь были обязаны слушать телефонные разговоры и сообщать полиции обо всем подозрительном.

Долго искали по множеству комнат Акинфина. У дома собралась толпа. Слух обегал улицы и шальвинские дома.

Безуспешные поиски. Полиции не удалось найти и той самой бельевой веревки, о которой сообщила Луша. Продолжили поиски в парке, и после того, как и это оказалось напрасным, старый горновой домны высказал свои подозрения.

— Это похоже на правду,— подтвердил догадки горнового пристав.

По дороге на домну была найдена бельевая веревка.

— Она! Она самая! — сказала Луша.

И тут же было сделано новое предположение. Предположение о том, что Акинфин передумал и предпочел скорую смерть в доменной печи.

На этом сошлись все, кроме Родиона Скуратова. Он не хотел принимать во внимание и вторую явную улику — карандаш с малахитовым колпачком. Он был найден у въезда тачечников, засыпающих в старую доменку уголь и руду.

Строганов также был уверен, что Платон, не чуждый театральности, не изменил ей. Здесь, в этом месте, началась промышленная династия Акинфиных, здесь и закончил ее собой последний из нее.

Был второй повод думать о самосожжении. Платон говорил Строганову, что ему не хотелось бы оказаться на месте отца и повторить собой оскорбительную для него кощунственную пышность похорон. Им же было сказано о Кузьме Гранилине, что он единственный раз был разумен, когда бросился в пламя своего дома и сгорел вместе с ним.

Более недели продолжались расследования и опросы. Были проверены все догадки, все версии. Было проверено и предположение Родиона Максимовича, стоявшего на своем:

— Такие, как он, не способны лишить себя жизни! Во имя чего? Я спрашиваю: во имя чего?

Скуратов был убежден, что Платон, знающий все лесные тропы пришальвинских лесов с детства, сбежал. А до этого навел на ложный след бельевой веревкой и карандашом с малахитовым наконечником. Скуратов находил, что письмо, оставленное Платоном, написано без единой поправки, твердой рукой. Так такие письма не пишут перед уходом из жизни.

— И если, — говорил Родион Максимович, — окажется, что Акинфин позаботился и о своих акциях, то о какой же доменке можно говорить?

Но и это никого не убеждало. Письмо он мог написать заранее и переписать его сто раз. Об акциях говорили, что если он в самом деле позаботился о них, то у него же сын. Не сжигать же свои миллионы в печи.

Все в конце концов сошлись на доменке. Глупо же думать о побеге. Не Топов же он. Не шулер. Кто ему мешал уехать из Шальвы, никому и ничего не объясняя?



Допускали, что верны слухи о продаже заводов. Ну и что? Хозяин же. Он не ответен за это ни перед кем.

Молва недолго волновала людские умы. Для одних Акинфин ушел святым праведником, любившим трудовой народ. Другие назвали его самым притворным обольстителем рабочих, сумевшим держать их в своем добровольном ярме и уползавшим от своего стыда.

Так говорил и вернувшийся в Шальву раненый солдат Савелий Рождественский. Он тоже клялся всем святым для него, что скользкий удав в демократической коже сбросил ее и уполз к таким же, как он, и продал не только Шало-Шальвинские заводы, но и свою родину.

Доводы Рождественского ничем не подтверждались, но его догадкам хотелось верить. И многие поверили в

них твердо и бесповоротно после появления в Шальве новых хозяев. Они через переводчиков объявили:

— Теперь заводы будут в надежных и крепких руках!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У нового управляющего была русская фамилия Пивоваров, но по-русски он мог сказать только два слова: «Добрый день». Этими двумя словами и назвалась газета «Шалая-Шальва». Она вышла небольшим бесплатным листком, в котором сообщалось, что все принадлежавшее обанкротившемуся и уронившему себя в глазах истинных патриотов России акционерному обществу «Равновесие» теперь принадлежит компании «Планета».

Далее говорилось, что компания приложит все силы для скорого и победоносного окончания войны. К этому же призывались все работающие на Шало-Шальвинских заводах, которые не пожалеют труда своего, как не жалеют живота своего их кровные братья солдаты, присягнувшие вере, царю и отечеству.

Для доказательства своей преданности вере, царю и отечеству шальвинские рабочие с благоговением примут добавочный военный час, отрабатываемый безвозмездно «во имя ускорения победы и приближения конца скорой войны».

Начались молебны о даровании победы. Коренной поп отец Никодим, когда-то игравший с Платоном в войну, слег. Заболел головокружениями до потери сознания. Пришлось привозить попа из другого прихода.

С Кассой было решено в один день. Пригласили Овчарова и сказали ему через переводчика:

— Какие же сейчас пенсии, пособия и страхования могут быть, когда льется кровь, когда нужно думать не о тех, над кем не рвется шрапнель, а об изувеченных ею?

Овчаров, придя к новому управляющему, теперь называющемуся генеральным директором, ушел от него постаревшим и сгорбившимся за короткие минуты свидания. Старику теперь не полагалась и пенсия.

Выйдя на улицу, Александр Филимонович встретил Родиона и прохрипел ему:

— Радуйся! Начался настоящий капитализм, без румян, без пряников и без очарованной темноты...

В том же кресле, что и Овчаров, Родион Максимович выслушал решение о своей судьбе:

— Мы оставляем вас с прежним окладом для справок и...

— Не затрудняйте себя,— перебил Родион, отвечая на том же языке, не дав перевести сказанное на русский язык,— мною получено назначение на казенный пушечный Мотовилихинский завод.— Родион встал. Сказал: — Имею честь,— и ушел.

Переводчик нагнал его и спросил:

— Кто же будет сдавать дела, господин Скуратов?

— Как можно сдавать отобранное у меня? Господин генеральный директор без стука вошел в кабинет и сел на мое место. Следовательно, моя должность и мои дела приняты им.

— Мы еще сумеем и успеем поговорить и договориться с этим скотом,— сказал генеральный директор, но сделать этого не успел. В его кабинет влетела среди бела дня фронтовая граната. Она послужила сигналом к волнениям.

Столько лет Шалая-Шальва была смирной, спокойной Шальвой, а теперь она ошалела и вышла из берегов.

Цехи опустели. Умолкли заводские гудки. Трубы больше не дымят. Погашена старая доменка. Там состоялось богослужение. Выздоровевший отец Никодим сослужил похожее и на молебен, и на панихиду. И не похожее ни на то, ни на другое.

Прикатила правительственная комиссия под председательством вице-губернатора. Выслушали рабочих представителей. Главным из них был старик Скуратов Максим Иванович. Он степенно рассказал, как было дело и что произошло. Хитрый седобородый дипломат сказал вице-губернатору:

— Ваше высокое превосходительство! Разве наши рабочие подняли руку на слугу государя императора, а не на его врага? Чей он верноподданный? Не лютых ли супостатов нашего народа? Литейный мастер Младек, родом чех, признал в нем вражью кровь. И господин Штильмейстер, будучи иноземцем, толкует то же самое. И переводчик его в «Лужке», охмелевши, выболтал, кто он есть, этот генеральный шпион. Так убил ли его кто-то из наших, а может, и из пришлых людей. А не свершил ли суд праведный, какой вершат наши воины над ними, над супостатами матушки-Руси?

Вице-губернатору очень понравилось сказанное бла-

гочестивым стариком, похожим на угодника, сошедшего с иконы древнего письма.

Два дня переговаривался с кем-то вице-губернаторский телеграфист, неизвестно с кем. Видать, не с губернатором, а повыше, а может быть, и вовсе высоко... На третий день вице-губернатор объявил от высочайшего имени: все Шало-Шальвинские заводы впредь именовать казенными, управителем коих назначается его превосходительство господин Шульжин Феофан Григорьевич...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Перед отъездом в Мотовилиху Родион Максимович Скуратов зашел к Вениамину Викторовичу Строганову в «Гостиницу для всех». Он уже не жил в акинфинском доме, который приводился в порядок для встречи нового и старого управляющего Шульжина.

— Я пришел с вами проститься и рад, что успел до вашего отъезда закончить мое длинное письмо.

— Кому, дорогой Родион Максимович?

— Тому, кого и вы, Вениамин Викторович, теперь считаете живым.

Строганов промолчал.

— Я думаю, Вениамин Викторович,— продолжал Скуратов, не сводя с него глаз,— мы оба не ошибаемся в его здравии и благополучии, как и в его лондонском адресе.

— Если вам, Родион Максимович, известен адрес...

— Я понимаю, что вы хотите сказать... Но я не могу посылать это письмо почтой. Письма проверяются, и особенно идущие за границу. А у вас может случиться оказия. Я не запечатал письмо и приложил к нему копию для вас. Вы же записывали обо всем, что происходило в наших местах. Может быть, пригодится вам и мое письмо... А теперь разопьем самодельной медовой на прощание. Как-никак столько лет прожили — и, кажется, ни одного разногласия...

Строганов обнял Родиона и поцеловал.

— Если бы я, Родион Максимович, умел не только записывать, но и писать, каким бы светлым и чистым я вас запечатлел...

Они распили отвальную и еще раз обнялись.

Оставляя на столе письмо и его копию, Скуратов сказал:

— Не беспокойтесь, Вениамин Викторович, если оно потеряется. Теперь пишущие машинки не новость. Любочка будет перепечатывать это письмо до тех пор, пока оно не дойдет до своего адреса... И если, чему я не верю, оно не дойдет до того, кто уже в самом деле не сумеет его прочитать, то дойдет до других людей, которым, может быть, тоже, как и вам, Вениамин Викторович, будет небесполезно знать о прожитом, в прогляде на будущее...

После ухода Родиона Максимовича Строганов принялся читать отчетливо и плотно напечатанное письмо.

Вот оно:

«Не называю тебя никак, потому что у тебя нет имени, потому что это письмо не только к тебе, но и к тем, кто похож на тебя, кто повторяет тебя или повторит.

Как жалок, труслив и бесстыден выдуманный тобою твой конец. Тебе, почитателю высоких трагедий, фокуснику усыпительных обманов, можно было бы изобрести что-то пофеериччее и подостовернее.

Ты же умел обольщать и очаровывать тысячи людей так, что и сам верил в свое обольщение, входя в него, как входит вдохновенный артист в свою роль и живет в ней, как в настоящей живой жизни.

Ты выжал из меня самые дорогие порывы моей души. Ты превратил мои знания в свою наживу.

Чем я отличался для тебя от каслинского самородка «Молчуна», от волшебника замков Кузьмы Завалишина, от замечательного литейщика Младека и от всех самоучек и образованных инженеров, которые в России и в своих странах не нашли применения рукам и талантам? Ты поражал их деньгами. Ты дорого платил им, но во сколько тысяч раз ты получал за это больше?

Вспомни, как озолотил тебя гравер Иван Уланов. Вспомни, как ты пользовался усовершенствованиями, начиная с веялок и кончая улучшением волочения, похищенного у твоего конкурента.

Рядом с тобой хищники, угоняющие плоты камского леса,— маленькие шакалы, дожирающие объедки лесных владык.

Если бы какой-то волшебник мог показать, из чего составились твои миллионы, то молоховский платиновый ужас показался бы крохотным жульничеством.

Ты обокрал не своего брата, такого же вора, а нацию. И тебя назовут грабителем все люди, которые будут чи-

тать это письмо, написанное не мною одним. Для этого у меня не хватило бы ума и знаний.

Ты всегда выглядел пекущимся о работающих на тебя. Я знал, что ты не совсем таков, но находил до последних дней смягчения, обеляющие тебя. В конечном счете ты был лучшим из зол в море капиталистического зла.

Таким, как ты, жизненно необходимо самообороняться заботой о тех, кто работает на них. Это не в их душе, не в их сердце, а в их шкуре и в их страхе борьбы за ее спасение.

Лучше получить шесть «рыбок» вместо семи, но получить, чем потерять все шесть и остальной улов. А к этому идет и придет жизнь.

Очарование шальвинской темноты легко далось тебе. Не для всех шальвинцев будет легким и скорым освобождение от твоих чар. Может быть, для этого потребуются годы. Кто-то захочет за таких, как ты, пойти в бой, пролить кровь и отдать жизнь. Ее уже отдала зачумленная тобою Мирониха, готовя расплату с Клавдием.

Ты очень любил слова «вдохновенный», «талантливый», «созидающий», «одаренный», «творящий». Я не зачеркиваю ни одно из этих слов применительно к тебе.

Ты был одаренным, созидающим, но во имя чего?

Наполеон тоже был талантлив и вдохновенно созидал каждый свой жестокий поход. Лишена ли была созидательной жестокости пыток святейшая инквизиция? И разве ее сила, как и сила Наполеона, не зиждилась на одержимости темнотой?

Тебе и таким, как ты, невозможно понять эти далекие сравнения с твоим маленьким «наполеонствованием»и узаконенной цивилизованной инкивизицией жестокой конкуренции. А между тем все они порождены ослепительной темнотой царящих и порабощающих.

А ты был темен, обучаясь выборочно, приобретая только те знания, которые тебе могли понадобиться как владельцу своих заводов. У тебя хватило образования, чтобы проглатывать невежественных «молоховых», таких же недоучек, как и ты, «потаковых», и не хватило ума, как только ты вышел на большую арену. Тебя проглотили знающие лучше, чем ты, «географию» капитализма и приемы его широкого порабощения. Но и они так же самозабвенно темны, не допуская, что, кроме

«географии» закабаления, есть еще история нарастающего раскрепощения человечества.

Для тебя исключено представить это так же, как для черепахи — полет».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Чтение письма прервал Клавдий.

Он благопристоен, наряден и трезв. Ему так же захотелось проститься с Вениамином Викторовичем.

— Не правда ли, сеньор, мы расстанемся друзьями? Я решил на прощанье вручить вам сувенир. Извозчик! — крикнул Клавдий.

Извозчик, стоявший за дверями, внес что-то завернутое в скатерть и по знаку Клавдия ушел. Клавдий готовил сюрприз. Это было видно по выражению его лица и по тому, как он говорил.

— После того, как самоубийца опозорил нашу династию, мне не понадобится и ее хвастливая летопись, а вам она, может быть, на что-то пригодится.

Клавдий развернул принесенное. Им был ларец с «Поминальным численником».

— Чем я обязан вам, Клавдий Лукич? — спросил Строганов, стараясь скрыть свое волнение и свое опасение за подвох, который можно было ожидать от Клавдия.

— Ровным счетом ничем,— ответил, широко и небрежно жестикулируя, еще более обрюзгший комедиант.— Разве только символической бутылкой «мадам Клико». Пятьдесят рублей. Можно и тридцать пять... Мама, извините, носит карманные деньги при себе, но прячет их там, куда не осмелится протянуть руку даже сын... Она стала изуверски скаредна. Ограбивший нас сэр, как вы знаете, отказал гроши, не достигающие миллиона... Видимо, в последние дни его совесть заставила расплатиться за старую доменку, которую он получил от шулера Топова, не уплатив ему и франка.

Соря словами, Клавдий рассказал, что Калерия Зоиловна решила купить в Екатеринбурге небольшой особнячок, а он будет создавать опереточный театр.

— Ведь доменка-то моя. Моя, мистер Строганов, а не ее... Да зачем ей столько тысяч, когда вот-вот ей нанесет визит престарелая мадам с адамовой головой и косой в руках... Извините за наготу моих предположений,

но зачем же принаряжать близость ее конца в одежды розовых надежд... Ба-ба-ба! Это что у вас в графине? Не наша ли уж родная шальвинская медовушка?

— Да! Коли вы, Клавдий Лукич, не пренебрегаете народными напитками, я буду рад, если вы ее допьете.

— Я всегда любил народ! Жил для него. Слагал ему свои песни... И теперь выпью за него.

Говоря так, Клавдий наполнил медовушкой бокал и опрокинул его, допив остатки через горлышко графина.

Строганов тем временем проверил, лежит ли в ларце «Поминальный численник». «Численник» оказался на месте.

— Вот вам пятьдесят...

Клавдий небрежно сунул деньги в карман жилета и сказал:

— Если вам что-нибудь будет нужно из старинных безделушек, я буду рад перевоплотить их в более необходимое для жизни человека...

Закрыв дверь номера на ключ, Строганов вынул «численник» и переложил эту тяжелую книгу на дно дорожного сундука. От Клавдия всего можно ожидать.

Окончание письма Родиона Строганов дочитывал в поезде, когда Шалая-Шальва осталась за Уральским хребтом.

«Я признаю, что собственность цепкая сила... Она бывает и сильнее жизни. Несправедлив тот, кто скажет, что тебе ничего не принадлежит в Шальве. Ты очень много работал. Ты не только перекупал и присваивал чужое, но и создавал свое. Ты продвинул фабричное дело, ты, конкурируя, заставил окружающих тебя фабрикантов улучшать технологию и облегчать труд работающих. Ты внедрил страхование. Какими бы целями ни руководился ты, «сахарными» или «пряничными», все же наглядно показал, что рабочие могут жить лучше и есть досыта. Ты по закону твоего же «равновесия» заслуживал вознаграждения. И ты что-то зарабатывал. Лично ты. Своим трудом. И все же при самой высокой оценке твой годовой заработок проживался не более чем в один день твоей семьей, теми, кто прислуживал ей,

и всем, что создавало роскошь твоего дворца, переименованного в дом и остававшегося дворцом.

Ты пожинал и пожирал в тысячи раз больше, чем сеял и взращивал.

По законам частной собственности ты мог продать свои заводы и по фабрикантской нравственности мог предать свою родную Шальву. Но кому ты продал и предал этот кусок России? Кому?

Тем, кто со мной и с твоими земляками разговаривал через переводчиков? Тем, кто не торгуясь с тобой, бросил тебе жирную кость не за шальвинскую землю, не за прикамские берега, а за то, что лежит в недрах этих земель, о чем не знал ты, сверкающая вершина своего рода, а они прознали давно через своих геологов-лазутчиков?

Дай они тебе вдесятеро больше, они выплатили бы частичку из того, что принадлежит России.

Ты вор! Тебя бы теперь прикончила и Мирониха!

Во все времена, с каменных веков начиная, изменивший своей земле наказывался смертью! Ты мертв для нас! Ты сожжен в нашей памяти... Тебя нет... Тебя нет, хотя ты и есть униженно побежденный, через авантюрного Гущина, твоей женой. Ты теперь стал ее «будуарной принадлежностью», паразитически рантьерствующей на шальвинские миллионы, переведенные тебе при выгодном посредничестве того же Гущина. Сказал бы точнее, но воздержусь...

Пресмыкайся, пока пресмыкается! Но...

Но час придет, неизбежно придет возвращение всего созданного, добытого, воздвигнутого тем, труду которых обязано оно. И это неминуемо, как бы долго ни отодвигалось возвращение принадлежащего всем и захваченного немногими, убежденными, что это принадлежит им. Принадлежит только потому, что так утверждают ими же написанные законы.

Если до тебя не дойдет это письмо, оно дойдет до тех, кому вынужденно придется затемнять порабощение «равновесиями» и придумывать различного рода «гармонии», которых нет и не может быть в мире очарования темноты.

Впереди свет! Впереди солнце!

Р. и другие...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вениамину Викторовичу не довелось превратить свои черновые наброски в задумываемый роман-сказ, роман-притчу.

Он завещал это сделать тому, кого привлекут оставленные им записи, с обязательной заменой имен и названий заводов.

Строганов глубоко верил, что происходившее в Шалой-Шальве не пройдет бесследно для будущих времен и поколений.

Жизнь подтвердила и подтверждает сказанное и будет подтверждать...

1973—1976

ПОСЛЕСЛОВИЕ

РОМАНЫ ЕВГЕНИЯ ПЕРМЯКА

На путь литературного творчества Евгений Пермяк вступил давно, еще в двадцатые годы, когда участие в бурно кипевшей жизни будило художественное воображение юноши, звало к перу. Случилось это не тогда, когда его многочисленные рабкоровские корреспонденции, задорные агитки и фельетоны появились на страницах уральских газет, а значительно раньше, когда входили в его сознание нравственные устои народа, его живая самобытная речь, когда из того же народного источника щедро черпался драматически острый жизненный материал.

Евгений Андреевич Пермяк родился 31 октября 1902 года на Урале, дыхание которого ощущается теперь почти в каждой книге писателя, а его многочисленные тетради, объединенные в книге «Мой край», можно назвать лирическим признанием в любви к вечно родному Уралу.

Детство писателя прошло в заводском Прикамье. Здесь раньше, чем в букварь, он заглянул в мартеновскую печь, здесь родилась мечта стать рабочим. Здесь он учился и рос, преклоняясь перед мужеством трудолюбивых земляков, их потомственной доблестью и поистине волшебным мастерством.

О годах детства — детства и мечтах уральских ребят кануна революции писатель увлеченно рассказывает в повести «Детство Маврика». Такое повествование было задумано давно и поощрялось

мудрым сказочником Павлом Петровичем Бажовым. Это была повесть о мальчике, выросшем в краю заводов, рудников и приисков, в краю, где рабочий класс — корень, ствол и цвет дерева жизни, где своеобразно, самобытно и детство рабочей детворы.

В процессе работы повествование разрослось в двухтомный роман «Горбатый медведь», густо заселенный людьми разных социальных лагерей, ориентаций и партий, раскрывающий всю сложность жизненных противоречий кануна Октября. И все-таки в этом романе для взрослых не так уж далеко уклонился писатель от первоначального замысла. Вскоре на его основе возникла повесть «Детство Маврика», в которой образ мальчика естественно выдвинулся вперед, не заслоняя образов сверстников и взрослых, через которых открывается и познается большой мир сложных общественных отношений. Писатель не скрывает: ему хотелось, чтобы детство Маврика было похоже на его собственное детство. Евгений Пермяк отдал своему герою все лучшее, что было в нем и товарищах его детства, заставил жить активными общественными интересами, большими революционными событиями, которые пришли в тихую рабочую Мильву, на Мильвенский завод. Вместе со старшими и своими юными друзьями Маврик сбрасывает корону с монумента горбатого медведя, олицетворяющего самодержавие. Герой повести, как и сам писатель, смело и радостно идет навстречу еще таинственному, но прекрасному будущему.

Случилось так, что трудовая юность будущего писателя началась не на заводе, как он мечтал, а в раздольных Кулундинских степях. Сибирь научила будущего писателя пахать и сеять, убирать урожай, косить конной косилкой, молоть хлеб на мельнице-ветрянке... Сибирь очаровала раздольем степных просторов, запахом хлебов, полынным здоровьем, широкой старожильской натурой сибиряков, бездонным богатством народной речи... Сибирь навеяла почти всю книгу «Тонкая струна», цикл «кулундинских» рассказов и повестей: «Дочь луны», «Саламата», «Шоша-шерстобит», «Страничка юности», «Счастливое крушение»... Раскрывая мир своей юности, писатель рисует трогательные образы степняка Шарыпа, хрупкой и мечтательной Манике, гордой красавицы — сироты Настеньки и тихого голубоглазого Шоши-шерстобита, смелой, волевой Марьи — Саламаты и батрака Тимофея. К этим чистым душой и помыслами людям, встреченным в юности, когда зорок глаз и остра память, возвращается писатель с радостью, чтобы и сегодня нельзя было забыть, «откуда мы шли и как далеко ушли», сохранив и умножив душевное богатство народа.

Выходец из коренной уральской среды, Евгений Пермяк принес в литературу свой опыт, свою трудовую биографию, во многом определившую творческую самобытность писателя. Ему не нужно было

выдумывать героев. Его книги населены живыми людьми. Они прошли через сердце писателя, наделены его радостями и болями, живут в труде и борьбе, не кичатся подвигом и не ищут легкой доли. Созданные писателем образы несут в себе драгоценные качества человека нашего социалистического времени.

Творчество Евгения Пермяка тематически и жанрово многообразно. Среди его книг есть и пьесы — комедии и драмы, героические представления и водевили. Можно сказать, с пьесы-агитки, пьесы о молодежи и для молодежи писатель начал свой путь в литературу. Тогда же, после окончания в 1929 году Пермского университета, он переезжает в Москву и становится профессиональным литератором.

Творческая судьба писателя складывалась счастливо. Еще в канун тридцатых годов у молодого литератора появился добрый наставник — Павел Петрович Бажов. Первые же встречи стали началом большой творческой дружбы, укрепившейся в годы Великой Отечественной войны. Связывала писателей не только совместная работа, не только общность уральской темы. Дружбу эту питали живительные соки народной поэзии рабочего Урала. Автор знаменитой «Малахитовой шкатулки» оставил заметный след в творческих исканиях Евгения Пермяка, и он низко кланяется книгой «Долговекий мастер» мудрому сказочнику за науку жизни.

В совместных поездках с П. П. Бажовым по Уралу родилась и книга «Кем быть?» — заметный вклад Евгения Пермяка в научно-художественную литературу для юношества. Это путешествие в мир профессий уже несколько десятилетий с увлечением читается молодежью и взрослыми.

Евгений Пермяк обладает завидным качеством — умением видеть мир глазами детей, разговаривать с ними непринужденно просто, задушевно и доверительно: то серьезно о самом важном, то с добродушной улыбкой, со скрытой лукавинкой, с шуткой, ставшей примечательной особенностью его рассказов и сказок для детей и юношества. Книги «Дедушкина копилка», «Торопливый ножик», «Тонкая струна», «Первая вахта», «Пичугин мост», «Смородинка», «Колосок», «Замок без ключа» обогатили арсенал советской детской литературы новыми оригинальными произведениями на темы труда. Все эти книги словно бы нанизаны на один стержень и объединены им. Стержень этот — посильное участие юных героев в труде, в жизни общества. И славные ребята, персонажи этих книг, счастливы тем, что они нужны и начинают приобщаться пусть пока еще к незначительным, но полезным делам.

Особенно много сделал Евгений Пермяк как один из создателей современной сказки. Опираясь на традиции русской народной поэзии, писатель вдохнул в этот традиционный жанр новое, совре-

менное содержание. Выдумка, смелая фантазия в сказках Евгения Пермяка реальна, практически оправданна, максимально приближена к жизни. В своих научно-познавательных сказках и сказках-былях писатель утверждает творчество человеческого разума.

Труд человека — та вечно новая «волшебная сила», которая всегда остается современной. Только трудом добывается счастье, только в труде — могущество человека, источник его жизни.

Дорогой нелегких исканий шел писатель к созданию острого политического романа на современную тему («Сказка о сером волке», «Старая ведьма», «Последние заморозки», «Горбатый медведь», «Яргород»). Живые проблемы сегодняшнего дня и здесь вкладываются подчас в условные по своим формам рамки. Символика сказочных образов приходит на службу современной теме, подчиняясь ей.

Современность, по образному выражению Леонида Соболева,— это часть строящегося дома, тот этаж, в котором еще продолжаются работы, без других, уже законченных этажей он висел бы в воздухе, «нельзя также осмыслить его существование без представления о следующем этаже или крыше, которые должны его закончить». В этом строящемся этаже современной жизни бок о бок со своими героями-современниками работает и Евгений Пермяк. Опираясь на фундамент сегодняшней нашей жизни, писатель вместе со своими героями видит и тот завтрашний день, когда будут возведены новые этажи строящегося здания.

Современный роман обращен в грядущее. Современность в нем — не только день сегодняшний, но и наше завтра. «И если его в произведении нет,— справедливо считает Пермяк,— нет и произведения на современную тему... Современность — это не фон, каким бы большим и ярким он ни был...

В романе или повести современность не может быть и вторым планом, второй «линией фронта». Современность — это не только идея произведения, актуальная проблема, которая в нем ставится, но и все остальное, вплоть до сюжетных изломов, характеризующих именно наше, а не предшествующее ему время.

Оттого что над головами действующих лиц взлетает многоступенчатая ракета, они еще не становятся людьми современности. Внутренний мир героев тридцатых, сороковых годов и героев наших дней, конечно, имеет много общих черт, но есть между ними и различия. Заметить и показать эти различия, эти новые ростки в сознании и чувствовании героев — значит показать главнейшие приметы времени».

В этом русле и идут искания Евгения Пермяка как автора романов о нашей современности. Его привлекают не внешние приметы дня, а столкновения характеров и событий, выражающих дух вре-

мени. Поэтому современность в его романах не фон, а основное содержание, определяющее конфликты повествования, образную систему, всю его структуру. Идейно-художественной основой такого романа становится мир чувствований героя наших дней, его активная борьба за свои идеалы.

Писатель поднимает большие социальные проблемы и подает их политически остро. Публицистический накал письма, сатирическая окраска и лирическая проникновенность авторских характеристик — существенные особенности романов Евгения Пермяка. Судьбы его героев всегда отмечены печатью нашего времени. В столкновении резко контрастных характеров и убеждений раскрывается политическая зрелость и та высота нравственного сознания советского человека, на которую его подняло наше социалистическое время, вся атмосфера новой жизни.

Иногда Евгения Пермяка как автора современных романов критика упрекала в излишней публицистичности, обнаженной заостренности ситуаций и характеров. Но писатель намеренно вплетает ее в повествование, а в своих выступлениях на литературные темы даже настаивает, что так называемые публицистические нити никогда не были чужды русской литературе, начиная со «Слова о полку Игореве». Литература никогда не стояла в стороне от политической борьбы общества, а вмешивалась в нее. Этим и определялись активные гражданские позиции автора-повествователя.

Социально-психологические столкновения людей не могут быть абстрактными. Они неизбежно связаны с их производственной общественной деятельностью, с участием в политической жизни страны.

Разве важнейшие политические акции или военные потрясения минуют людей, сидящих за праздничным столом, разве жизнь и труд раздельны, разве жизнь не есть труд, а труд — жизнь? Такая публицистичность, разумеется, для современника заметнее, она даже может показаться нарочито обнаженной. Но в сущности без нее невозможен роман о дне сегодняшнем, о современниках, об их труде, о всем богатстве их внутренних движений и переживаний.

Вместе с другими советскими писателями ищет свежие повествовательные формы и Евгений Пермяк как автор романов о современности. Опять же смело и оригинально использует писатель не исчерпанные еще возможности устно-поэтической традиции. Особенно ощутимо это в романах «Сказка о сером волке», «Старая ведьма», где он как бы продолжает давно начатую работу над созданием современной сказки.

Раздвигая жанровые рамки романа о современности, Евгений Пермяк убеждает, что ему отнюдь не противопоказаны условные формы сказки-были, ее аллегоричность, сказочная символика. Не отказывается писатель от своих давних связей с уральским народным

сказом. Именно отсюда идет в его романах языковая сочность авторских описаний, мудрая лукавинка бывалого рассказчика. Все эти особенности раскрылись уже в первых романах Евгения Пермяка начала шестидесятых годов («Сказка о сером волке», «Старая ведьма», «Последние заморозки»).

Не прошли, наконец, бесследно и долгие годы, отданные драматургии. Стремительность развития действия, неожиданность сюжетных поворотов, лаконичность авторских характеристик органично сочетаются в жанрово-своеобразных романах Евгения Пермяка о современности.

Уже первый роман, предусмотрительно, по словам самого писателя, названный сказкой — «Сказка о сером волке»,— связан с жизнью тружеников Урала. На этот раз Евгений Пермяк рисует своих современников из приуральского села Бархуши. Живет здесь энергичный, знающий свое дело председатель колхоза Петр Бахрушин. Все у него ладится, неоткуда, казалось, ждать даже малого облачка. Но неожиданное случилось. Его считавшийся погибшим еще в годы гражданской войны брат Трофим Бахрушин, оказывается, жив, стал фермером в Америке и вот теперь желает навестить родное село, поклониться родительским могилам. Фермера-туриста сопровождает американский журналист Джон Тейнер, захотевший быть свидетелем «несколько необычной встречи двух братьев из разных миров» и написать книгу о жизни русской деревни.

Судьба американского фермера, история его приезда в качестве интуриста в родное село, встречи с советскими людьми и составляют сюжетную основу романа. Столкновение двух братьев, хотя и является сюжетным стержнем романа, его основным конфликтом,— это лишь событийное выражение больших социальных столкновений. В поединок вступают разные люди. Сталкиваются социальные системы, мировоззрения, различные взгляды на мир. Это и придает роману политическую остроту и публицистическое звучание.

Свою авторскую позицию писатель выражает активно, но вместе с тем охотно предоставляет своим героям возможность высказаться. Народная оценка психологии «серого волка» как бы подхватывается писателем, становится его авторской позицией, определяющей интонацию повествования и даже его стилевую структуру.

В характерах людей, в их энергии и пафосе перестройки мира, в конфликтах быстротекущих дней Евгений Пермяк подмечает типические процессы. На сравнительно малой площади писателю удалось развернуть повествование, емкое по мыслям, по острым философским и нравственно-психологическим проблемам. Создать, по словам Леонида Соболева, «короткий реалистический роман, насы-

щенный юмором и глубокой мыслью, написанный в очень свежей и привлекательной форме».

Замыслом нового романа Евгений Пермяк делился со многими своими друзьями и товарищами. Людмила Татьяничева рассказала писателю, как пагубно порой влияли на рабочих предоставлявшиеся им на некоторых уральских заводах «персональные дома». В иной такой домик с разросшимся участком проникала мелкособственническая гниль. Опираясь на эту «подсказку», Евгений Пермяк начал развертывать в роман, расцвечивать своими красками «сказку» о жизни сталевара Киреева. В ходе работы пришло и название «Старая ведьма». И опять сказка освещала замысел писателя, определяла суть повествования, на этот раз — сказка о том, как зарождалась на свете ведьма — собственность, как захотела она владычицей всех владык стать. Поделила она белый свет на царства-государства, на княжества-сутяжества. Ведьминским отродьем населила мать-ведьма мир, всем своим отпрыскам сердитые имена дала. Жадность, подлость, кража, кривда, нажива, клевета — все это от ее имени пошло. Зависть и насилие, тюрьмы и войны, злобу и ненависть, рабство и кабалу породила старая ведьма.

Роман начинается с события, обретающего аллегорический смысл. Знатный сталевар Василий Киреев обнаруживает в собственном доме гниль, домовой «грибок». Но гниет не только дом. Зараза гнили проникла в душу сталевара. Начатое с аллегории повествование писатель переводит в бытовой план, показывая, как постепенно проникала гниль собственничества в душу хорошего рабочего человека, как старая ведьма — страсть к наживе — оплетала его своими корнями.

Писатель непримирим к старой ведьме, жертвой которой становятся такие близкие ему люди, как Киреев. Он преисполнен высокого гражданского пафоса. Острым сатирическим пером пишет он портрет алчной стяжательницы Серафимы Ожегановой. Автор ненавидит ее «каждой каплей изведенных на нее чернил», с особым удовольствием показывает ее крах, оставляет у разбитого корыта. Писатель ведет открытую борьбу с собственническими пережитками, и его оружием в этой борьбе опять становится негодующее публицистическое слово. Эпическое повествование то и дело прерывается громким голосом автора, он издевается и негодует, сожалеет и восхищается.

В романе «Последние заморозки» предстают судьбы двух потомственных рабочих семей — Векшегоновых и Дулесовых. Их предки — тульские мастеровые люди и демидовские умельцы — положили когда-то начало Старозаводской улице в нынешнем современном уральском рабочем городе. У семей этих давние и сложные отношения. Но писателя интересуют сегодняшние дела этих людей.

Братья Векшегоновы создают на своем заводе новые «линии жизни». Однако производственные отношения не заслоняют человеческих контактов и духовных исканий героев романа. Каждый из них по-своему ищет дорогу к счастью — и не только для себя, но и для других. При всей разности характеров братьев Векшегоновых они едины в основном: труд для них — творчество в коллективе и для общества. Они счастливы тем, что несут добро людям.

Иная жизненная активность — у Руфины Дулесовой. Своекорыстная жажда славы не только не дает ей возможность найти свое счастье, но все больше отдаляет от людей, которых она любит. Самоуверенность, честолюбие, тщеславие, эгоцентризм в конце концов приводят Руфину к полному одиночеству. Писатель напоминает, что многие из этих качеств еще живы в душе человека и осложняют его путь к счастью, поиски своего настоящего места в жизни. Это и превращает семейно-бытовой роман в психологическое повествование.

Уже эти свои произведения писатель склонен был называть «маленькими романами». Семья таких романов Евгения Пермяка увеличивается, в середине и конце шестидесятых годов опубликованы «Счастливое крушение», «Бабушкины кружева», «Сольвинские мемории», а в семидесятые годы — «Царство Тихой Лутони», «Яргород», «Очарование темноты».

«За последние годы,— говорит Евгений Пермяк,— я пришел к убеждению, что жанр так называемого маленького романа таит в себе много возможностей и преимуществ. Короткий или маленький роман, сохранив природу многостраничного и будучи уплотненным за счет пересказа вместо показа второстепенного, позволяет отчетливее «сказаться главному».

Площадь таких романов действительно невелика. Они состоят из новеллистически кратких, часто сюжетно цельных глав. Это позволяет писателю густо населять свои произведения, широко охватывать большой жизненный материал, делать экскурсы в далекое прошлое, прослеживать связанные с ним судьбы людей, быстро менять место действия, развивать повествование динамически напряженно и увлекательно.

В маленьких романах Евгения Пермяка читатель увидит не только «последние заморозки» уходящего прошлого. В них — и уважение к минувшему, без которого писатель и его герои не представляют настоящего. Если «Счастливое крушение» лишь сентиментальный эпизод в судьбе юноши, едва не оказавшегося на переломе классовых боев «пленником прошлого», то в романе «Бабушкины кружева» минувшее причудливо переплетается с настоящим и во многом объясняет его. В «Сольвинских мемориях», которые сам автор склонен считать «романом-пересказом», «семейной хрони-

кой», последовательно хронологически прослеживаются судьбы потомков декабриста Глебова, сосланного на Сольвинский завод...

Почти все маленькие романы Евгения Пермяка написаны в сказовой манере. Ни один из них не обходится без вставной сказки, прочно связанной с повествованием и многое проясняющей в идейном замысле всего произведения. Сказка «О Жалевой правде», органически включенная в сюжетную ткань «Сольвинских меморий», сказочные образы и характеристики определяют жанровое своеобразие лучших маленьких романов Евгения Пермяка — «Царство Тихой Лутони», «Очарование темноты».

Перед читателем книга, в ней — два романа, они родственно живут под одной крышей, в одной обложке, под общим названием «Очарование темноты». Эти романы — как позитив и негатив, как отображение в зеркале и отображаемое... Герой романа «Царство Тихой Лутони» образованный инженер Колесов пытается найти мирные способы в борьбе с буржуазией, стремится к достижению всеобщего благоденствия, но, зачарованный темнотой своего политического видения, он терпит крах... Герой второй романа заводчик Акинфин ищет равновесия путем классового умиротворения. Он талантлив, как и его «близнец-антипод» Колесов, достигает многого и в иллюзиях достигнутого остается жертвой своей политической слепоты, непонимания классовой антагонистической природы общества...

«Царство Тихой Лутони» отличается от всех других маленьких романов. Это уже не «бытовой эпизод», не «сентиментальная повесть» и не «семейная хроника», а острый и актуальный по проблематике политический роман. Открывается он присказкой бывалого сказочника, начавшего свою «устную повесть» так: «Послушаешь иную новину и подумаешь — какая же это трухлявая старина, замшелая сказка в новой раскраске, знакомая кошка в заморской одежке, а когти те же. Но забытое — не убитое, вспомнишь — и оживет». И эта лукавая многозначительная присказка во многом определяет и авторскую интонацию, и сказово-реалистическую условность, и всю стилевую манеру повествования.

Молодой инженер Петр Колесов неожиданно появляется на масленичном гульбище возмечтавшего выбиться в настоящие капиталисты владельца тележного заводика Патрикия Шутемова. Появляется Колесов в ярком маскарадном плаще сатаны. Как выясняется, он отошел от подпольно-революционной борьбы, в которой участвовал, будучи студентом, но не ушел от революции: «Не веря более, что развивающийся капитализм можно победить, не взорвав его изнутри, не переродив экономическими средствами в новое общество, если не равных, то хотя бы равноправных. Инженер, как никто другой, может стать организатором этой экономической борьбы рабочих

с капиталистами, которые легально, дозволенными законами империи способами вернут себе все созданное ими — фабрики, заводы, шахты, а крестьяне — землю».

В захолустной уральской Лутоне Петр Колесов решается на «экономический эксперимент» — организует «Трудовое тележное товарищество на паях», которое вступает в конкуренцию с тарантасно-тележным заведением Патрикия Шутемова и побеждает его высоким качеством и невероятной дешевизной своих изделий. В этой экономической борьбе не устояла и мыловарня Леонтия Сорокина, ставшая «Трудовым мыловаренным товариществом на паях». Разорились кузнечно-механические мастерские Парамона Жуланкина, лесопилка Елисея Хохрякова. Забеспокоился и «князь саней, розвален и кошевок» купец первой гильдии Адриан Кокованин. Нависла угроза даже над заводом графини Коробцовой-Лапшиной, который, по совету того же Колесова, рабочие решили приобрести в рассрочку и превратить в товарищество.

Одну за другой одерживает победы над эксплуататорами талантливый и удачливый инженер Петя Колесов. Не обошлось, правда, как и во всякой сказке, без доброй волшебницы-феи. Ею оказалась влюбленная в Колесова наследница золотых приисков на Витиме Катенька Иртегова. Не случайно же мать Пети обожала эту сказочную красавицу — «статненькую, ладненькую, с тонкими рученьками, с пряменькими ноженьками, с розово-мраморным гладким личиком, точеным носиком, небалованную, никем не целованную, сто раз сватанную, да никого не обнадежившую Катеньку». «Картина писанная, ангельская мамочкина душа, дедов гордый, иртеговский характер, отцовская щедрость, теткина самосильная широта и ее глаза серые, ласковые да зорконькие, властненькие. И в душу заглянут, осветят ее, а другой раз так просквозят, что, кажется, ничего в тебе не может быть спрятанного. Все увидят». И увидела и пришла на помощь Петеньке своими капиталами, как в сказке, в самое трудное время.

Но на смену победам Колесова пришли неудачи и разочарования — одна другой горше и тяжелее. Не обошлось, как и во всякой сказке, без злой силы. Ею оказалась дочь пройдохи Шутемова — Эльза: «юрка и звонка, но зубаста: отец — сом, мать — щука, а она в обоих».

Правда, еще некоторое время Тихая Лутоня кажется Колесову огромной Россией разрозненных, в одиночку живущих Лутонь. И думается ему: «Если в каждой из тысяч малых Лутонь хотя бы немного будет легче жить, полегчает и в Большой Лутоне, распластавшейся на тысячи верст в двух частях света». Не убеждают Петра Колесова и разумные советы друга его детства рабочего-революционера Павла Лутонина о том, что истинные революционеры заботятся

о счастье миллионов людей, а не о сотне рабочих, которые станут жить безбедно и без случайной благотворительности случайных Кать и Петь.

Вскоре действительно зашаталось все, что так старательно создавал Петр: заводчик Стрехов, подстрекаемый злой Эльзой, прекратил поставлять металл товариществу. Добрая фея и на этот раз спасла Колесова своими миллионами, но вера его в мирную победу над капитализмом рухнула навсегда, «золотой сон Петра Колесова сменился жестоким пробуждением». «Был один и остался один Колесов. Теперь ему нужно чистосердечно раскаяться и признаваться, что планы, лелеемые им, не могли и не могут стать явью в зверином окружении подлого, жестокого мира стреховых, шутемовых, сорокиных, кокованиных, хохряковых... и бороться нужно не с ними, а с миром, который они составляют, свергать строй, уклад, ломать всю жизнь, олицетворяемую Эльзой... Друг Колесова Павлик прав. У рабочего класса один путь борьбы, один способ победы — революция».

И честный человек, очарованный иллюзиями пресловутого экономизма, отказывается от волшебных сказок, которые рассказывал себе и другим, решает вернуться «из сказки о трудовом царстве Тихой Лутони к Ленину».

Недолго оставалась в этой сказке и «редкостная невозможность» своей среды Катенька Иртегова. Разуверившись в «мелкой помощи одиночкам», и она уходит в революцию вместе с Петром Колесовым, ставшим на путь решительных революционных действий...

«Развитие капитализма в России, как и в его безвестной провинции — Тихой Лутоне, продолжалось, вступая в последнее десятилетие своего постыдного торжества». Этими словами писатель заканчивает роман об «экономических экспериментах» в тележной Лутоне, написанный в яркой сказочной манере, дающей простор реалистической условности, расцвеченный сочными красками, гибкими словесными оттенками,— той присущей народной традиции манере, в которой давно и успешно работает Евгений Пермяк.

Закрывая эту книгу, вновь вспоминаешь присказку, с которой она началась,— «о замшелой сказке в новой раскраске». Прошлое, давно забытое, нет-нет да и теперь оживает в «заморской одежке» в сказке о «народном капитализме», в буржуазных теориях «мирного перехода капитализма в социализм».

Рассказ о событиях, предшествовавших первой русской революции и происшедших в тихой безвестной Лутоне, оборачивается самым актуальным современным повествованием. Роман написан о прошлом, чтобы развенчать сегодняшние, еще живущие иллюзии неоэкономизма. Евгений Пермяк вновь доказывает свою писательскую приверженность к актуальным проблемам современности, ко-

торые он решает публицистически темпераментно и художнически самобытно.

Действие романа «Очарование темноты» происходит опять на Урале в вотчинном заводе Шалая-Шальва, на землях, близких к Демидовым миллионеров Акинфиных. Передовой для своего времени заводчик Платон Акинфин получил образование в Лондоне, где и женился на красавице Цецилии Лучининой, одной из наследниц строгановских лесных богатств. Молодой, предприимчивый заводчик очарован идеей равновесия повелевающих и повелеваемых, хозяев и рабочих. Исключающая всякие распри и забастовки, эта идея так заманчива и маняща, что не только Платон утопает в ней, но и тянет с собой в ее водоворот наиболее одержимых соратников, поверивших в «гармоническое сотрудничество» рабочих и работодателей.

Надо сказать, Платон Лукич весьма притягательная личность. Он общителен и прост, многое умеет делать своими руками. Удачливый заводчик стяжает в шало-шальвинской округе любовь одних и лютую ненависть других, особенно закоснелых заводчиков, для которых единственный способ сводить концы с концами — это безжалостно эксплуатировать, пользуясь самыми дешевыми рабочими руками...

Учредив акционерное общество «Равновесие», Платон Лукич приглашает соседей-заводчиков, увлекая перспективой удвоить, утроить, учетверить их прибыли. Он убедительно доказывает, как в процессе реконструкции заскорузлой техники заводов можно облегчить труд, улучшить жизнь рабочих, богатея при этом и продолжая выводить заводы на верный конкурентный уровень с другими такими же отсталыми предприятиями отечественного капитализма, запаздывающего в своем развитии и росте.

Улица за улицей возникают в Шало-Шальве предлагаемые рабочим с рассрочкой дома. Платон — желанный гость на свадьбах, кум на крестинах, его именем счастливые молодожены нарекают первенцев, старики поминают «о здравии»... На его предприятиях свободный рабочий день со сдельной оплатой, первоклассная больница, бесплатная врачебная помощь на дому, специальные магазины для рабочих, ссудно-страховая касса... Не в обиде и хозяин: его первоклассно переоборудованные заводы дают бешеные прибыли. Купаясь в лучах успеха, Платон Лукич не мстит терпящим убытки предприятиям соседних заводчиков, тем, кто отказался поддержать его акционерное общество в трудные годы наращивания технического превосходства.

Платон Акинфин оказывается белой вороной буржуазного общественного строя Российской империи. Он компрометирует этот строй зыбким благополучием своих рабочих. Его успехи обязаны спекуляциям на «узких местах» этого строя. Платон ослеплен сомни-

тельными удачами, очарован своей темнотой. Он верит в «золотой сон» торжества равновесия и примирения антагонистических сил. Мыльный пузырь его очарования медленно теряет высоту, и друзья Платона уже отходят от него. Сам же он после долгих колебаний довольно неожиданным способом «развязывает» стягивавшие горло узлы... Одни утверждают, что он покончил с собой, сгорел в жерле старой домны. Другие категорически отрицают самоубийство и считают, что он сбежал к своим помещенным за границу капиталам. «Молва недолго волновала людские умы. Для одних Акинфин ушел святым праведником, любившим трудовой народ. Другие назвали его самым притворным обольстителем рабочих, сумевшим держать их в своем добровольном ярме и уползшим к своим собратьям от своего стыда».

Автор не склоняется не в ту и не в другую сторону, что не изменяет сущность развязки романа — краха идеи умиротворения, попытки создать сказочное царство «добреньких» хозяев и «осчастливленных рабочих».

Оба эти романа — «Царство Тихой Лутони» и «Очарование темноты» — и их герои-антиподы Колесов и Акинфин одинаково оказались в плену решения острых классовых противоречий экономическими путями. Попытки эти потерпели крах в России. Терпят они и теперь нечто подобное там, где еще пытаются обольщать идеями «народного капитализма», «конвергенциями» и прочими утопиями гармонии труда и капитала. Оба эти романа глубоко современны. Автор даже заглядывает в завтрашний день капиталистического мира, ищущего идиллий единения антагонистических начал.

Закономерно и то, что оба эти романа вошли в книгу, озаглавленную «Очарование темноты». Книга эта как бы продолжает четырехтомное собрание сочинений Евгения Пермяка, становясь его пятым томом.

Писатель снова в работе над очередным романом, в новых раздумьях о нашей современности. Впереди у него — новые планы и, хочется верить, новые удачи.

Виктор ГУРА.

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений Андреевич ПЕРМЯК

ОЧАРОВАНИЕ ТЕМНОТЫ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1980, 608 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **М. Серебрянникова**
Художественный редактор **И. Смирнов**
Технический редактор **В. Новикова**
Корректор **В. Волк**

Сдано в набор 4/X-79 г. Подписано в печать 4/IV-80 г.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага печ. № 1. Гарнитура «Латинская».
Печать высокая. Печ. л. 19,00. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 33,27.
Зак. 4405. Тираж 228 000 экз.

Цена 2 руб. 40 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

В 1980 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

В. Белов — Повести и рассказы.

Г. Гегешидзе — Расплата. Романы. Повести. Рассказы. Перевод с грузинского.

Г. Гулиа — Фараон Эхнатон. Роман. Рассказы.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга 3-я.

Ц. Жимбиев — Год огненной змеи. Романы. Перевод с бурятского.

Д. Икрами — Поверженный. Роман. Перевод с таджикского.

В. Канивец — Ульяновы. Роман. Перевод с украинского.

Т. Касымбеков — Сломанный меч. Роман. Перевод с киргизского.

В. Конецкий — Вчерашние заботы. Соленый лед.

Е. Носов — В чистом поле... Повести. Рассказы.

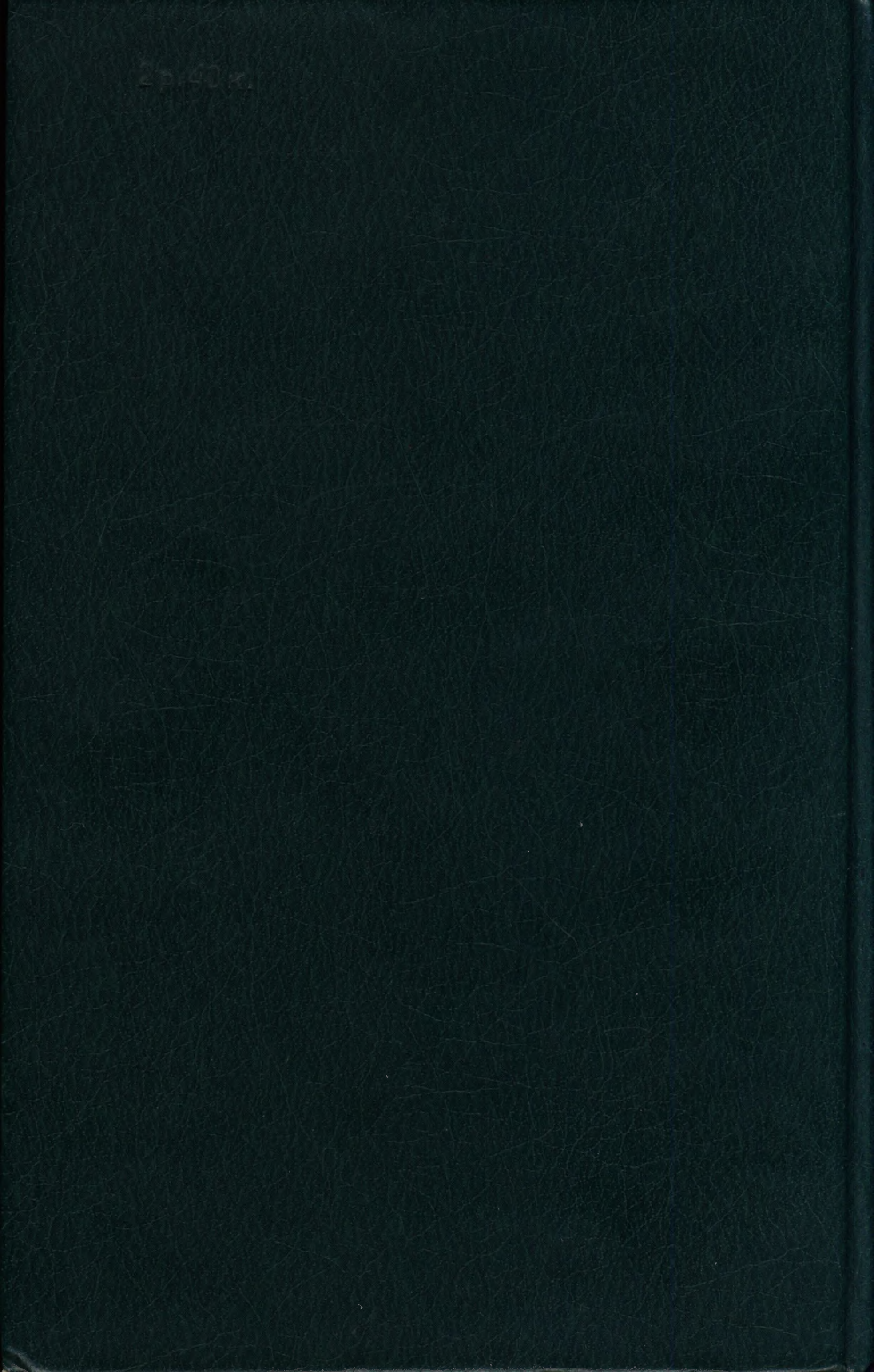
Е. Пермяк — Очарование темноты. Романы.

Литовские повести.

Ю. Рытхэу — Айвангу. Роман. Повесть.

Ю. Семенов — Семнадцать мгновений весны. Роман.

М. Траат — Сад Поммера. Романы. Перевод с эстонского.




Е. ПЕРМЯК